

37  
89

# ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

## ЧЕМ ЖИВУ И ЖИВ





WWW.EKMOB.RU  
**00219931**



2

**Э Р**  
ЛЬДАР ЯЗАНОВ  
ЧЕМ ЖИВУ И ЖИВ

ЭКСМО



# ЭЛЬДАР

МОСКВА «ЭКСМО» 2007

85,37

1999

# РЯЗАНОВ

ЧЕМ ЖИВУ И ЖИВ

134370-1

УДК 791.43  
ББК 85.374(2)ст  
Р 99

**ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ**

К 80-летию со дня рождения

84(2Рос=Рус)6

10

Художник Александр Коноплев

Фотографии из личного архива Эльдара Рязанова

В оформлении переплета и титула использованы  
фотографии Игоря Бердюгина и Николая Охрия

Рязанов Э.А.

Р 99 Чем живу и жив / Эльдар Рязанов. — М.: Эксмо, 2007. — 688 с.: ил.

ISBN 978-5-699-24337-2

Пытаться ограничить профессиональными рамками деятельность автора этой книги — занятие бесполезное. Эльдар Рязанов — ЯВЛЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ, настолько уникальное и яркое, что мы уже и не задумываемся над тем, кто же он в первую очередь.

Известный режиссер, чьи фильмы, как теперь принято говорить, культовые, мы смотрим по многу раз, а без «Иронии судьбы» вот уже тридцать с лишним лет не мыслим Нового года? Поэт, провозгласивший, что у природы нет плохой погоды, и написавший отнюдь не «жестокый», а, напротив, сентиментальный романс? Ведущий некогда знаменитой «Кинопанорамы»? Автор и ведущий незабываемых «Парижских тайн» на ТВ?

Всего не перечислить. И то, и другое, и третье... А главное — это Человек, которому можно доверять, с чьим мнением мы считаемся и которого просто очень любим.

Книга «Чем живу и жив» рассказывает о начале — о том, как пишущий стихи и мечтавший о мореходке романтический юноша вдруг подался во ВГИК и, более того, — начал снимать комедии. О том, как они создавались, что происходило «за кулисами». И сами повести, послужившие основой фильмов, реплики из которых давно и прочно вошли в нашу жизнь и стали «народными» пословицами и поговорками.

УДК 791.43  
ББК 85.374

© Рязанов Э.А., 2007

© Коноплев А.Б. Оформление, 2007

ISBN 978-5-699-24337-2

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007

## ВСТУПЛЕНИЕ

Мои родители принадлежали к категории читателей, зрителей, одним словом — к публике. В семье не было никого, кто имел бы хоть какое-либо отношение к литературе или искусству. Так что примера для подражания рядом не имелось.

Я научился складывать из букв слова, когда мне стукнуло три года. В детстве я буквально поглощал книги, читал запоем и чудовищно много. И где-то годам к двенадцати уже понимал: лучшая профессия на земле — писатель. Ибо ничего более прекрасного, нежели чтение книг, для меня не существовало (и до сих пор считаю: чтение — одно из высших удовольствий). А доставляли это счастье — сочинители, писатели, авторы. Поэтому в выборе профессии метаний или сомнений не было. Из-за количества прочитанного в школе за мной закрепилась кличка «ходячая энциклопедия». К сожалению, с годами прочитанного становилось все меньше и меньше, а невежества — все больше и больше...

К семнадцати годам я постиг, что писатель обязан досконально знать жизнь, а я, разумеется, ее не знал. Невысказанный быт эвакуации, очереди за хлебом, барачное жилье на Урале, с моей тогдашней точки зрения, являлись не столько жизнью, сколько прозой и скукой. И я решил — надо идти в моряки, избороздить свет, окунуться в экзотику, а потом поведать человечеству о пережитом в своих потрясающих книгах. Однако летом 1944 года Одесское мореходное училище не откликнулось на мой страстный запрос. И я случайно, чтобы перебиться годик в ожидании мореходки, поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Мне еще не исполнилось семнадцати.

В это время я, естественно, пописывал меланхолические стихи, как и многие юноши в этом возрасте. Мне удалось пробиться со своей заветной лирической тетрадкой к лучшему поэту военной поры Константину Симонову. Он расчехловил, притом очень вежливо, мои вирши, объяснив, что у поэта должны быть своя интонация, свое видение, свой мир, свой язык. Признаюсь, я тогда об этом и не подозревал.

Институт кинематографии, где нас учили классики Григорий Козинцев и Сергей Эйзенштейн, поглотил меня без остатка. Я был самым молодым на курсе и сразу же оказался в положении догоняющего, ибо был всегда честолюбив. Сокурсники, издавна мечтавшие о режиссерской профессии, были опытнее, взрослее, мудрее. За спинами некоторых стояла страшная война. Учеба в киноинституте удовлетворяла мои, так сказать, творческие инстинкты. И я забыл не только о капитанской фуражке и штурманской рубке. Я, несомненно, предал и свое неистовое желание стать сочинителем книг. Я променял свою писательскую мечту на сомнительную честь превратиться в кинорежиссера.

Это сейчас биографы и критики могут привирать, что пять лет работы в кинохронике, куда я попал по окончании ВГИКа, были периодом стихийного накопления жизненного материала. Ибо попутешествовал я действительно вволю: Камчатка, Командорские и Курильские острова, Сахалин, Кубань, Армения, Грузия — всех мест, где я побывал с кинокамерой, не перечислить.

Это сейчас, задним числом, легко заливать, что встречи с геологами и нефтяниками, моряками и летчиками, вулканологами и китобоями, пограничниками и железнодорожниками стали замечательной писательской школой, своеобразной копилкой сочных типов, характеристик, историй.

Очевидно, основой моей натуры была поверхностность. Я выбрал путь наименьшего сопротивления и покатился по наклонной «киношной» плоскости. Перейдя на «Мосфильм» в 1955 году, я вообще ударился в легкий жанр, который серьезные люди, не способные шутить, всегда считали чем-то второсортным. И эта точка зрения отражает наш невероятно вдумчивый национальный характер.

Пропущу для краткости чисто режиссерский период моей жизни, когда я поставил «Карнавальную ночь» (1956), «Девушку без адреса» (1957), «Человека ниоткуда» (1961), «Гусарскую балладу» (1962). Это все были киноленты, поставленные по чужим сценариям. Мои же писательские поползновения в этот промежуток времени были столь ничтожны, что не заслуживают никакого упоминания.







А с 1963 года начался новый этап моей биографии — я встретился с Эмилем Брагинским. Он пригласил меня в соавторы. Для начала мы накатали вместе киносценарий «Угнали машину», который немедленно был закрыт самим министром кино. Он сказал, что кино обладает магической силой. И после нашего фильма граждане Советского Союза начнут повально красть машины. Нам было жаль сюжета, и мы решили, что соорудим по нашему сценарию повесть и опубликуем ее. Так что если я и стал половинкой прозаика, то обязан этим цензурному запрету всесильного киноминистра. Сейчас я ему бесконечно признателен.

Свыше четырех месяцев мучились мы над каждым словом, сочиняя по готовому сценарию (где уже существовали образы, ситуации, сюжет) прозаическое произведение. Тогда мы поняли разницу между прозой и пьесой, прозой и сценарием.

В пьесе просто.

А н н а (охладев). Ой, как нескладно-то все!

И в а н (отворачиваясь к бутылке). А ты дума-ла, что мы тут мед пьем?!

А дальше режиссер выдумывает шикарные мизансцены, вводит музыку, артисты проникновенно произносят слова на фоне красивых декораций, а драматургу только и остается, что выйти в вечер премьеры на театральные подмостки с поклоном, поцеловать ручку героине, обняться с героем и долго тискать потного режиссера.

В сценарии тоже немудрено.

«На крыше дома возник силуэт преступника. Он был отчетливо виден на фоне закатного неба. Кровельное железо гремело под его торопливыми шагами. Из чердачного окна выпрыгнул следователь с револьвером в левой руке и устремился в погоню. Тогда преступник сиганул в жерло водосточной трубы и понесся вниз. Труба по мере прохождения его тела расширялась. Следователь нашел вторую водосточную трубу и последовал примеру находчивого авантюриста...»

Сценаристу нечего беспокоиться. Постановщик фильма все возьмет на себя. Режиссер превратит следователя из мужчины в женщину, перенесет действие из России за границу и в Средние века, переиначит диалоги, введет элемент инцеста... А кинодраматургу только

и останется выйти на сцену Дома кино в вечер премьеры и непроницаемо кланяться, принимая поздравления — за вещь, к которой он имеет весьма отдаленное отношение. А потом побежать в кассу, чтобы как то сгладить унижение...

В общем, мы с Брагинским написали прозаическое произведение — повесть «Берегись автомобиля». Ее напечатал журнал, а позже вышла книга. Тут бы мне взяться за ум, понять, что пришло время встать на магистральный путь и предаться сочинительству на бумаге. Но всяческие соблазны, которыми полна кинематографическая жизнь, как-то: лавры, фестивали, звания, призы — совратили мою нестойкую душу, отвлекли от главного предназначения, и я отлудил одноименную с нашей повестью киноленту. Так, по сути, и проходило мое бытие — в метаниях, противоречиях. Я буквально разрывался между глубоким трудом прозаика и легкой, беспечной работенкой кинематографиста.

Вероятно, мы с Брагинским организовали коллектив потому, что вдвоем сподручнее острить. Неспроста парами шутили Ильф и Петров, Вольпин и Эрдман, Масс и Червинский, Бахнов и Костюковский, не говоря уж об их более молодых сменщиках Горине и Арканове. Но попадались в литературе и титаны юмора, которые смеялись в одиночку, вроде Марка Твена, Аркадия Аверченко или Стивена Ликока. Мы же на титанов, увы, не тянули.

Но вообще если речь заходила о нашем дуэте, то все вокруг, конечно, считали, что я припился к Эмилю, дабы красоваться в титрах в качестве сценариста и получать половину его денежек за то, что ставлю брагинскую писанину в кино. Резонное мнение! Однако кое-что настораживало: зачем я тогда сдался Брагинскому в виде соавтора пьес и повестей?! Ведь пьесы реализовывали в театрах другие режиссеры, а повести доставались лишь читателю.

Правда, в конечном итоге некоторые пьесы — «С легким паром!», «Сослуживцы» (театральная кличка «Служебного романа»), «Гараж» и «Аморальная история» (девичья фамилия «Забывтой мелодии для флейты»), а также повести «Зигзаг удачи» и «Старики-разбойники» были бережно перенесены на целлулоид одним из авторов, а именно мною. Опять не удержался!



Однако кое-что из нашего бумагомарания не проникло в «самое массовое из искусств». К примеру, пьесы «Родственники» и «Притворщики» так и не сочетались браком с кинематографом. А «Убийство в библиотеке» — мистический иронический детектив — не прошло через мужественный идеологический кордон чиновников Госкино...

Мы не пашем, не сеем, не строим,  
мы гордимся общественным строем...

Спасибо им, что уберегли меня от очередной киноподелки!

Наш творческий брак (ха-ха, игра слов!) с Брагинским продержался тридцать пять лет. Таким сроком могут похвастаться не многие супружеские пары. Развод случился мирный и не повлиял на наши добрые отношения...

Однако я не ограничился одним Брагинским. Я еще принудил к соавторству Григория Горина («О бедном гусаре замолвите слово...», 1981), Генриэтту Алтман («Небеса обетованные», 1991) и Алексея Тимма («Привет, дуралей!», 1996). А однажды я надругался, по дружным уверениям критиков, над классиком — Александром Николаевичем Островским, когда переносил его дивную «Бесприданницу» на экран в манере «Жестокоего романа». В 1999 году я понял, что лучше работать не с одним соавтором, а с двумя, и взял за горло молодых писателей Александра Новотоцкого и Владимира Моисеенко. Вместе мы накатали разнузданных «Старых кляч». Тут всем стало окончательно ясно — как писатель-единоличник я не состоялся. Однако в 2002 году, устыдившись, я все-таки взялся за ум и практически в одиночестве наковырял для кино легкий фарсовый пустячок с заманчивым названием «Ключ от спальни». Иногда я, правда, заглядывал в водевиль француза Жоржа Фейдо и рассказы «сатириконцев», но тем не менее это вполне самостоятельное литературное хулиганство, за которое я несу индивидуальную ответственность. Тут бы мне и одуматься. Но я снова не удержался — спял по «Ключу от спальни» легкомысленную безделицу, дурошлепскую кинокомедию...

Репутация нахлебника, несмотря на то что мне удалось протиснуться в ряды писательской организации,

конечно, тяготила меня. И только уязвленным самолюбием я могу объяснить, что на пятидесятом году жизни я начал снова пописывать стишки. Наконец-то под моими литературными изделиями стояла одна фамилия. По недосмотру редакций некоторых журналов мои поэтические опусы проникли к читателю и даже вышли отдельными книжонками. Поэты-профессионалы относились к моему рифмоплетству либо высокомерно (это враги!), либо снисходительно (это друзья!). Как мне кажется, были правы и те, и другие. Но главное — стихов не замечали. Как будто их не существовало, и я склоняюсь к мысли, что так оно и есть. Ибо доказывать обратное — нудно.

Потом, опять-таки в глубоком одиночестве, я накропал повесть «Предсказание». Я был уверен, что наконец-то создал чисто прозаическое произведение, которое принципиально не собирался ставить в кино. Целый год я держался — но все-таки рухнул. Пустился по проторенной дорожке и опять согрешил.

Дальше — хуже. Я вообще докатился до телевидения. Конечно, некоторые попытаются объяснить мою очередную сделку с совестью тем, что не стало денег на фильмы, что невероятно трудно выйти на экран, а на литературном рынке колоссальное затоваривание. Но все равно это никак не может меня оправдать. Вместо того чтобы стиснув зубы, строчить «нетленку» в стол, я, как истинная шлюха, пошел торговать собой на голубом экране.

А после того, как мне исполнилось 75 лет, я, думаю, совсем поехал умом. Вместо того, чтобы нянчить внуков, руководить киноklubом, который еще при моей жизни назвали красивым именем «Эльдар» и из всех сил сочинять собственную красивую жизнь, кропая мемуары, я решил поставить фильм о Хансе Кристиане Андерсене. Почему? Зачем? Это можно было бы понять, если бы он приходился мне родственником или, на худой конец, предком, но он, вообще, оказался датчанином. Просто черт-те что! Объяснить этот свой необъяснимый поступок я не в силах до сих пор. Конечно, я соблазнил своего друга Ираклия Квирикадзе, и мы с удовольствием состряпали вместе киносценарий «Андерсен. Жизнь без любви». Это была трудная работа, ибо подлинная жизнь нашего героя сковывала нашу фантазию и мешала рассказать об этом датском сказочнике





лихую, интересную историю с погонями и выстрелами. Но, мне кажется, мы справились с этой невыполнимой задачей и сочинили такое, что самому Андерсену, если бы он смог прочитать наш опус, стало бы завидно. Тут бы мне успокоиться — всучить этот манускрипт какому-нибудь молодому кинорежиссеру, чтобы он мучился, попрошайничая деньги на постановку, искал бы артистов и страдал, изображая перед камерой датскую жизнь. Но нет — страстное желание самому заграбастать всякие там Оскары, Ники, Сезары и прочие золоченые побрякушки заставило меня взвалить на свои плечи неблагодарную и непосильную ношу. Во всяком случае, об уме (моем!) этот поступок не говорит.

Мало этого, не успел я закончить блокбастер об Андерсене (я не могу точно перевести слово «блокбастер» с американского языка, но догадываюсь — это что-то большое, длинное и дорогое), как я взвалил на себя «Карнавальную ночь-2», потому что, видите ли, первой ленте с Игорем Ильинским и Людмилой Гурченко исполнилось 50 лет. Казалось бы, нормальному человеку хватило бы и одной «Карнавальной ночи», но не мне, тем более что до Нового года оставалось всего 3 месяца. Я совратил молодого, недавно еще провинциального литератора Сергея Плотова стать моим соавтором, и мы скоростижно, всего за 9 дней, накатали сценарий. Самое смешное, что он нам, авторам, нравился. В такую махровую авантюру я еще ни разу не пускался. Главный ужас состоял в том, что выпустить фильм в эфир нужно было именно 1 января 2007 года. А отодвинуть Новый год, как оказалось, я был не в состоянии. Пришлось двигать себя и бедную съемочную группу...

Но все! Хватит! В этом году мне, если повезет, стукнет 80! Завязываю с кино и перехожу к прозе. Надеюсь, литература истосковалась по мне, ждет меня, ненаглядного. Я тешу себя надеждой, что, покончив с целлюлойдом, создам свои прозаические шедевры на бумаге. Что-нибудь вроде «Войны и мира» или, на худой конец, нечто лихое наподобие «Мастера и Маргариты». Одного боюсь: как бы опять дешевый блеск кинематографа или соблазнительная мишура телевидения не отвлекли меня от главного призвания моей жизни...

*Март 2007 года*



## Как я стал режиссером

然天總



す  
を

## КАК Я СТАЛ РЕЖИССЕРОМ

Первый свой неблагоприятный поступок я совершил, когда учился в третьем классе. Я был записан в несколько библиотек в районе и вдруг откопал еще одну, новую. Для того, чтобы записаться, надо было принести справку из школы. И книжки тебе выдавали бы соответственно тому классу, в котором ты учился. Но я сильно опередил по чтению сверстников. В школьной справке, выданной для библиотеки, указывалось, что я ученик 3-го (было, к счастью, написано цифрой) класса. Я такими же чернилами переделал цифру 3 на 5, совершив, следовательно, подлог. Я волновался, конечно, когда вручал библиотекарше липовый документ, но она ничего не заметила, и я стал получать книги, положенные пятиклассникам.

В восьмом классе я уже не сомневался: самая лучшая профессия на земле — писатель! Для меня не существовало занятия прекраснее, чем чтение книг. Хотелось стать писателем и доставлять такое же удовольствие другим.

Писатель должен знать жизнь — это я усвоил крепко. А я ее совершенно не знал. Мое тогдашнее бытие не представляло интереса — так я считал в то, военное, время. Длиннющие многочасовые очереди за иждивенческой нормой черного хлеба по карточкам; трудный быт эвакуации; жизнь в холодном бараке, где приходилось растапливать печку кусками резиновых шин, брошенных на свалке; охота на гигантских, полуметровых крыс, шныряющих по бараку; умение готовить обед почти что из ничего; наука нянчить младшего брата и делать уроки — все это было буднями, прозой, даже скорее прозябанием. А уж если писать, то о сильных характерах, экзотических далеких странах, о небывалыхключениях, больших страстях, — думал я.

И пришел к выводу, что, прежде чем освоить писательское дело, я должен выбрать себе такую профес-

сию, которая дала бы возможность познать жизнь. А потом я создам произведения об увиденном, испытанном, пережитом.

В то время моей любимой книжкой был «Мартин Иден» Джека Лондона. Ее герой, моряк Мартин Иден, объездивший полмира, повывавший и перенесший многое, становится писателем. В этом образе я нашел для себя пример, которому намеревался следовать. Сначала я утолю свою жажду путешествий и приключений, увижу новые земли и их жителей, а потом опишу это в своих сочинениях. Вопрос был для меня ясен и прост: надо поскорее кончать школу, поступать в мореходное училище и, подобно Мартину Идену, бороздить океаны, насыщаться жизненными впечатлениями. Типичные взгляды юного романтика.

Чтобы не тратить целый год на опостылевшую учебу, я решил сдать экзамен за десятый класс экстерном. Условия были таковы: надо выдержать одиннадцать экзаменов. На каждый из них «отпускался» один день подготовки. Человек, схлопотавший двойку по какому-либо предмету, выбывал из этих «соревнований» навсегда, как принято на спортивных олимпиадах. Если ученик получал двойку на третьем, пятом или седьмом экзамене, он к дальнейшим испытаниям не допускался. Дело было явно безнадежное.

И все-таки я отважился рискнуть. Очевидно, в моем характере уже тогда гнездились кое-какие авантюристические наклонности.

Поначалу дела двигались недурно. С литературой у меня сызмальства сложились неплохие отношения. Сочинение, устный русский язык и литература прошли легко, в табеле красовались три пятерки. Дальше следовал иностранный язык, с которым я тоже более или менее справился, заработав твердую четверку; к географии — без нее моряку невозможно — я относился с особой симпатией.

Каждый день рано утром я открывал учебник и садился его читать. Естественно, впервые, потому что до этого момента я его в глаза не видывал! Ведь в десятом классе я не учился вовсе и ничего ни по одному



предмету не знал. Я проглатывал учебник за день и на завтра отправлялся сдавать.

Очень я страшился физики. Ведь мои школьные годы пришлись на военное время. Учителя физики, — тогда ее преподавали только мужчины, — поголовно воевали. Поэтому физику мы просто не изучали, этого предмета как бы не существовало. Вместо отметки в ежегодных табелях против графы «физика» был прочерк. Так что с этой наукой я был совершенно не знаком и не сомневался, что непременно завалюсь.

В физическом кабинете, где мне предстоял позор, стояли какие-то загадочные приборы, на которые я тупо взирал, ничего не понимая. Я вытащил билет и сел готовиться к экзамену.

Первые два вопроса в билете были теоретические, а третий — задача. Я в то время обладал довольно свежими мозгами и хорошей зрительной памятью. Накануне я как раз успел проштудировать учебник физики. Не понял я в нем, правда, ни бельмеса, но прочитал добросовестно от корки до корки. Благодаря колоссальному напряжению воли я заставил себя вспомнить те страницы, на которых был материал по первым двум пунктам экзаменационного билета. Перед глазами как бы всплыли строчки, и я слово в слово по памяти записал на бумажку то, что вчера видел в учебнике. На задачу же я усталился как баран на новые ворота и оставил ее в покое. Я даже не понимал, с какого бока к ней можно подойти.

Наконец меня вызвали к доске. На первые два вопроса я отбарабанил наизусть весь текст учебника. Учителя остались довольны: «Спасибо, садитесь. Отлично». Это было неслыханное везение! Ведь стоило им подобраться к задаче, я тут же оказался бы разоблачен в своем невежестве, выбыл бы из экзаменационного марафона.

Так благодаря счастливой случайности я перевалил один из самых сложных для меня рубежей.

С каждым днем преодолевать барьеры испытаний становилось все труднее и труднее — сказывалась усталость. Напряжение для неокрепших мозгов было непосильным.

И вот наступил последний, одиннадцатый экзамен — по химии. Химия десятого класса — органическая и совершенно не похожа на неорганическую химию, которую я в девятом классе знал неплохо. Вытащив билет, я посмотрел на него, как на китайскую грамоту. Вышел к доске — и «не сказал ни единого слова», буквально, не открыл рта. Педагоги растерялись: в лежавшем перед ними табеле — только хорошие и отличные отметки! Срезать ученика на последнем испытании было, конечно, слишком кровожадно. Я же тупо стоял перед доской и молчал. В общем, учителя пожалели меня. Они нарушили свой педагогический долг и поставили мне по химии тройку, за что я им, естественно, очень и очень признателен.

Таким образом, я, совершенно неожиданно для себя, сделался владельцем аттестата об окончании десятилетки. Из шестидесяти человек, которые пустились в это рискованное приключение, до финиша добралось только восемь. Благодаря человеколюбию педагогов я оказался одним из тех немногих счастливцев.

Теперь можно было подавать документы в мореходку. Я послал в Одессу письмо-заявление с просьбой допустить меня к приемным испытаниям и стал ждать ответа. Шел сорок четвертый, военный год. Почта работала плохо. Время летело, а ответ не приходил.

Если в ближайшие дни не придет конверт из Одессы, то у меня пропадет год, который я выиграл лихой сдачей экзаменов за десятый класс. И я стал размышлять: «Может быть, пока, временно, стоит поучиться в каком-нибудь другом институте?» Но в каком? Я был еще очень зелен, не готов к выбору. Мне еще не было семнадцати.

И однажды, помню это как сейчас, я встретил на улице одного из тех восьми избранных, который тоже завоевал аттестат об окончании десятилетки. Я его спросил:

— Куда ты поступаешь?

Он сказал:

— Во ВГИК.

— А что это такое? — поинтересовался я.

Он ответил:



— Институт кинематографии.

— А-а-а! — Я был несколько обескуражен, потому что никогда в жизни не слышал о существовании подобного института. — И на какой же факультет? — продолжал я допрос.

Он объяснил:

— На экономический. Я буду организатором производства.

— Кем-кем?

Он предложил:

— Я еду сейчас в институт. Хочешь, поедем со мной, ты там все сам помотришь.

Сказано — сделано. Мы сели в трамвай и поехали во ВГИК. Там я ознакомился с программой вступительных экзаменов. Чтобы попасть на операторский факультет, надо было уметь фотографировать и представить свои снимки. Я никогда не имел фотоаппарата и фотографией не занимался. Ясно, что оператором мне не быть!

Поступающие на художественный факультет волокли увесистые папки с собственными работами — графикой, живописью, рисунками. Об этом вообще не могло быть речи. Я в жизни не нарисовал ничего!

На актерском абитуриенту надо было читать стихи, басню, отрывок из прозы, играть этюды на заданные темы. Я сроду не участвовал в самодеятельности и в глубине души подозревал, что как артист бездарен. Следовательно, и актерская будущность для меня отпадала.

Оставался еще экономический факультет, на который стремился мой знакомый. Но профессия организатора кинопроизводства меня не привлекала.

И, наконец, режиссерский! Здесь как будто бы ничего конкретно уметь не нужно — ни фотографировать, ни рисовать, ни играть. Требовалось, правда, предъявить литературные труды. А они как раз имелись! Я, как подавляющее большинство юношей, писал стихи. И я понял: надо подаваться, конечно, на режиссерский факультет. Годик перебыюсь, за это время сумею списаться как следует с Одессой, выясню условия приема и на будущий год поступлю в мореходное училище.

Мгновенно все решив, я поехал домой, взял свои

документы, аттестат, тетрадочку стихов и отвез все это в приемную комиссию ВГИКа.

После подачи документов я выяснил, что выбрал факультет, где толпилось двадцать пять претендентов на одно место. Двадцать пять! И сейчас и тогда такой конкурс считался очень внушительным, просто огромным. Надо признаться, что к кино я не питал в то время никаких теплых чувств, фильмов видел мало, предпочитал посещать театры. Мое кинематографическое невежество было поистине катастрофическим.

Первый вступительный экзамен — рецензия на фильм, название которого мы должны узнать только в просмотрном зале. Так что подготовиться заранее не представлялось возможным. Фильмом оказался «Депутат Балтики» режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица. Фильм мне понравился чрезвычайно. Но в рецензии, написанной по школьным стандартам, я толком не смог объяснить, что же именно произвело на меня впечатление.

Поставили мне за эту работу тройку.

Второй экзамен назывался загадочно — письменная работа. Мы явились в институт, нас загнали в аудиторию и заперли. На каждом столе лежал распечатанный на машинке рассказ А. Чехова «Жалобная книга». Этот маленький рассказ состоит из записей, оставленных проезжающими пассажирами в вокзальной жалобной книге: «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И Ярмонкин...», «А жандармиха ездилa вчера с буфетчиком Костькой за реку. Не унывай, жандарм...», «Прошу посторонних записей в книге жалоб не делать. За начальника станции Иванов-Седьмой...», «Хоть ты и седьмой, а дурак...» и т.д.

Задание заключалось в следующем: на свой вкус выбрать три любые записи и охарактеризовать людей, которые их оставили. Короче говоря, требовалось создать три литературных портрета.

Я умел писать стихи «под Маяковского», «под Есенина», «под Надсона», улавливая литературную манеру того или иного поэта. Я понял, что сейчас мне надо сочинить рассказы «под Чехова». Я сообразил также, что хорошо, если эти три новеллы будут разными по



форме. Одну новеллу я написал в виде письма, другую — как отрывок из дневника, а третью — как рассказ от автора. Я постарался максимально соблюсти чеховскую интонацию, чеховскую манеру письма, чеховский язык. Очевидно, мне это в какой-то степени удалось: я получил пятерку.

Теперь предстояла главная экзекуция — собеседование! Про этот экзамен в институте ходили легенды. На коллоквиуме могли задать вопрос о чем угодно, про кого угодно, как угодно. Могли заставить сыграть актерский этюд на любую тему, попросить спеть, станцевать, походить на руках... Пытка для каждого выдумывалась индивидуально. Основная задача приемной комиссии — заставить абитуриента врасплох, поставить его в безвыходное положение и посмотреть, как он будет выпутываться.

Для собеседования необходимо было также приготовить отрывок из прозы, стихотворение, басню и прочесть их с художественным, артистическим мастерством.

В общем, угадать, откуда будет нанесен удар, не представлялось возможным. Оставалось только положиться на фортуна. Проникшийся этим фатальным настроением, не ожидая ничего хорошего, я понуро вошел в зал, где сидели мучители, изображающие приемную комиссию. Кроме того, меня угнетало одно обстоятельство. На мне был надет единственный мой пиджак с большими заплатами на локтях. Мне ужасно хотелось скрыть от комиссии свою бедность. Это сейчас не стыдятся заплат и даже, наоборот, выставляют их напоказ. Такова нынешняя мода. Я же тогда старался как-то скрутить рукава и подогнуть локти, чтобы было незаметно.

Первый вопрос, довольно абстрактный, мне задал Григорий Михайлович Козинцев, набиравший курс:

— Скажите, что вы читали?

Я как-то растерялся, оробел и, наверное, поэтому ответил нахально:

— Ну, Пушкина, Лермонтова, и вообще я для своего возраста читал много.

В комиссии почему-то засмеялись. Потом меня спросили, помню ли я картину Репина «Не ждали». Ре-

пин был одним из немногих художников, которых я в то время знал. И я ответил с гордостью, что помню.

— А сколько человек на ней изображено?

Я начал вспоминать и сказал — шесть. Теперь я понимаю: таким способом проверяли мою зрительную память. Я ошибся. Оказывается, там нарисовано семь человек. Об одной фигуре, выглядывающей из-за двери, я забыл.

Затем мне проиграли музыкальную пьесу и поинтересовались, какие зрительные образы возникают у меня, когда я слушаю эту музыку. Честно говоря, у меня не возникало никаких образов. Но я понимал, что, если отвечу правду, они сразу же раскусят, что я совершенно немусыкален, а это надо скрыть. Поскольку музыка была громкая, я сообщил комиссии что-то очень банальное: море, буря, корабль, лишенный управления, несетя по воле волн и т.д.

Мой ответ, видимо, пришелся не по вкусу, и Г.М. Козинцев, предчувствуя, что со мной придется расстаться, решил дать мне еще одну, последнюю попытку.

— Ну, хорошо, — сказал он усталым голосом, — сочините нам, пожалуйста, рассказ, кончающийся вопросом «Который час?»

Воцарилась зловещая пауза. В тишине раздавался усиленный скрип мозгов абитуриента. Я понимал, что время идет, я произвожу невыгодное впечатление. Пытаясь как-то оттянуть развязку, я спросил:

— Не обязательно смешное?

— Пожалуйста, что хотите.

Я представил себе лестницу, где жил на пятом этаже в старом доме, и начал:

— Вот, по обшарпанной лестнице, на пятый этаж бредет усталый почтальон. Лифт не работает — война. Почтальон поднимается. Он запыхался. Он уже немолод. Он позвонил в дверь. Из квартиры вышел старик. Почтальон вручил ему письмо. Старик посмотрел на конверт: на обратном адресе значилась полевая почта, где воевал его сын. Но адрес был написан чужой рукой. Старик взял письмо и вернулся в комнату. В комнате сидела старуха. Он сказал:

— Письмо пришло!



Старик вскрыл конверт и прочитал, что их сын погиб смертью героя. Старик выронил из рук листок бумаги и спросил:

— Который час?..

...Потом мне задавали еще какие-то каверзные вопросы. Экзаменаторы нападали, я отбивался как мог, с ужасом ожидая, что меня попросят исполнить актерский этюд или прочитать стихи. Но, по счастью, все обошлось. Очевидно, я им надоел, и они сказали: «Ну ладно, вы свободны». Меня отпустили, вклеив за собеседование тройку.

Это была победа, потому что меня приняли. Правда, приняли условно. «Условно» означало следующее: меня берут как бы на испытательный срок. Если окончу первый семестр с хорошими результатами, то останусь учиться. Если же получу плохие отметки по специальности, то меня в середине зимы вышвырнут на улицу.

Институт меня принял условно, да и я в него тоже поступил весьма условно. Любви друг к другу мы не питали: ни я — к институту, ни институт — ко мне.

Итак, прошло всего два месяца, и ученик девятого класса благодаря цепи счастливых случайностей превратился в студента первого курса Института кинематографии. Повторяю, мне не исполнилось еще и семнадцати лет. И, говоря откровенно, я совершенно не был подготовлен к учебе во ВГИКе.

Я оказался самым молодым на курсе. Меня окружали люди, мечтавшие о кинорежиссуре с давних пор. По сравнению с ними я чувствовал себя абсолютным профаном — ведь я не ведал про кино ровным счетом ничего. Если говорить о старте, я находился в крайне невыгодном положении. Мне пришлось взять сразу стремительный разбег, чтобы догнать своих однокашников, людей взрослых, обладавших жизненным опытом — некоторые из них пришли с фронта. Моя молодость, неопытность, отсутствие взглядов на искусство являлись одновременно и недостатком и достоинством. Достоинство, пожалуй, заключалось в том, что я представлял собой, по сути, мягкую глину, из которой можно вылепить что угодно. Я был открыт для любых знаний, взглядов и теорий, которые захотел бы вложить в меня мастер — так назывался педагог, руководящий курсом.



Наш курс набирал и вел Григорий Михайлович Козинцев, уже тогда бывший классиком советской кинематографии. Его творчество мы изучали по истории кино. Он являлся одним из авторов, вместе с Л. Траубергом, знаменитой «Трилогии о Максиме», одним из создателей «Фабрики эксцентрического актера» (ФЭКС), фильмы которой гремели еще в двадцатые годы. Козинцев, знаменитый шекспировед, театральный и кинематографический режиссер, маститый педагог, казался нам человеком почтенного возраста. И только потом мы поняли, что в то время ему было всего-навсего тридцать девять лет.

Козинцев преподавал довольно своеобразно. Во-первых, он жил в Ленинграде, а ВГИК, как известно, находится в Москве. Во-вторых, он снимал картины и был занят. Но иногда, примерно два-три раза в учебный год, он находил несколько дней для нас и приезжал в институт. В эти дни курс освобождался от других лекций и семинаров, и мы занимались только режиссурой.

На самом первом занятии Григорий Михайлович огласил свою программу:

— Режиссуре научить невозможно. Поэтому я попытаюсь научить вас думать. А если вам удастся освоить этот процесс, то до всего остального вы доберетесь сами, своим собственным умом.

Этим заявлением Григорий Михайлович взвалил на себя бесконечно сложную, я бы сказал — непосильную задачу.

Уезжая в Ленинград, мастер оставлял нам задания по режиссуре, а когда возвращался, мы показывали ему то, что «натворили». Всесторонне образованный и остроумный, Григорий Михайлович в своих оценках был точен, всегда ухватывал суть недостатка студенческой работы и буквально двумя-тремя словами делал из учеников «отбивную котлету».

Когда я поставил «Ванину Ванини» по Стендалю, то у меня на сцене два артиста рвали страсти в клочья. Они шикарно закидывали на плечи плащи и обнажали шпаги. Козинцев сказал кратко и язвительно:

— Из жизни графов и князьев!

Козинцев расправлялся с нами, учениками, мгновенно и остроумно.

Например, Вениамину Дорману, снявшему на пленке отрывок из Симоновского «Жди меня», он заявил следующее:

— Понимаете, Веня, сначала Константин Симонов написал хорошее стихотворение «Жди меня». Потом он сочинил пьесу под тем же названием. Это было значительно хуже. Потом сняли фильм «Жди меня». Это было совсем плохо. Потом под тем же названием выпустили одеколон. Так вот, у вас, Веня, — одеколон!

Лятиф Сафаров представил сценический отрывок по неоконченному роману М. Лермонтова «Вадим».

Козинцевский диагноз: «Ну, это вообще, солдатский театр в Гомеле времен Достоевского».

Никто из нас, разумеется, не видел солдатские спектакли тех времен, но мы все дружно смеялись, понимая, что это была за жуть...

Тамара Феокистова поставила «Барышню и дурака» из цикла Максима Горького «Забывшие рассказы» — о встрече молодого Горького с проституткой. Всю ночь герои занимались только тем, что беседовали о жизни. По поводу моей игры Григорий Михайлович произнес загадочную фразу:

— Народный артист Рязанов сыграл не так плохо, как мог бы.

Так я до сих пор и не знаю, была ли хула это или же похвала...

Помню одно из первых заданий. Мы знакомились с жизненным материалом и писали документальные очерки — кто о пожарной команде, кто о заводе, кто о морге, кто о больнице. Я выбрал скорую медицинскую помощь. На основе собранных фактов каждый из нас написал новеллу. Я сочинил сюжет, который очень меня увлекал. (Не надо забывать, что юный автор писал эту историю в конце 1944 года, и военный скудный быт проник в ткань повествования.)

«...молодой танцор наконец получает главную роль в балетном спектакле. Он долго репетирует и на премьере пользуется бешеным успехом: цветы, овалы, много раз вызывают, публика неистовствует. А в

это время где-то в каморке, под крышей старого дома, больная мать, которая не смогла быть в театре, ждет сына к ужину, приготовленному по случаю премьеры. Здесь же на столе (почему на столе?) лежат купленные на рынке у спекулянтов новые полуботинки — материнский подарок в честь премьеры сына.

И вот танцор, раскланявшись и переодевшись в плохонький костюмчик и пальтишко, заспешил домой. По дороге он так торопился, что попал под трамвай и ему отрезало обе ноги. А дома на столе его ждали новые полуботинки...»

Все эти мелодраматические страсти были написаны абсолютно серьезно, без тени пародии. Мне казалось, что, слушая мой рассказ, все сокурсники зарыдают от сочувствия бедному и несчастному танцору. Я искренне удивился, когда этого не произошло.

Очевидно, и другие мои сочинения не приводили Козинцева в восторг. Терпение его иссякло, и в конце второго года обучения он мне сказал:

— Знаете, дорогой Элик, нам все-таки придется с вами расстаться. Мы вас отчисляем из института. Вы слишком молоды.

Я был в отчаянии и, наверное, поэтому ответил весьма логично:

— Когда вы меня принимали, я был на два года моложе. Вы могли бы это заметить тогда.

Козинцев озадаченно почесал затылок.

Г.М. Козинцев и два студента Вилен Азаров и Эльдар Рязанов. Гатчина. 1947 г. На съемках фильма «Пирогов»



— Тоже верно, — согласился он. — Да, ничего не поделаешь! Черт с вами, учитесь!

Нетрудно догадаться, что к этому времени я совершенно забыл о том, что когда-то мечтал стать моряком, и мне до смерти хотелось закончить Институт кинематографии...

После окончания института все мы, ученики Григория Михайловича, продолжали поддерживать с Козинцевым теплые, сердечные отношения. Он всегда оставался для нас учителем. Он следил за нашими судьбами, писал нам письма, где разбирал достоинства и недостатки созданных нами лент. Мы всегда знали, что в Ленинграде живет строгий, но добрый судья наших произведений. И когда в мае 1973 года Григорий Михайлович скончался, каждому из нас показалось, что какая-то «отцовская нить», связывающая нас с собственной молодостью, оборвалась. Несмотря на то что все мы были уже немолоды, у каждого из нас возникло ощущение сиротства...

Институт кинематографии помещался (да и сейчас) за площадью перед Выставкой достижений народного хозяйства (ныне Всероссийский выставочный центр). Для Москвы в то время это была далекая окраина, захолустье.

Зимой, ранним утром, на небе еще сияли звезды, а по полю гуськом, след в след, брели по высокой снежной целине плохо одетые и плохо накормленные

Студенты  
Вениамин Дор-  
ман, Григорий  
Аронов и Эльда  
Рязанов на пер-  
воймайской  
демонстрации.  
1947 год



студенты — туда, где за горизонтом, на самом краю поля стояло одинокое здание института.

Во время занятий раздевалка пустовала, верхняя одежда висела не на крючках гардероба, а накинута была на студенческие плечи: в аудиториях, в полукруглых коридорах стоял адский холод. Будущие кумиры нынешнего зрителя все время хотели есть и согреться. Все набивались в просмотровый зал, где с потолка и по стенам свисали глыбы льда. Студенты сидели в пальто, в ватниках, в армейских шинелях, закутаннные в маминны платки, и смотрели американские и английские кинобоевики из жизни Генрихов и Людовигов, богатеев и миллионерш. На экране перед нами разворачивались сказочные пиры, изящные королевские балы и забавы. Глотая слюни, прижимаясь друг к другу, мы смотрели, как зачарованные, на экран.

Прошедшее всегда видится как-то ностальгически, всегда сопровождается чувством умиления и прекраснотушия, о неприятном вспоминается редко. Но мой рассказ о годах во ВГИКе будет неполным, если я не поведаю, как нас учили идеологически, как из нас пытались сделать верных ленинцев-сталинцев. Главный упор в области идеологического воспитания делался на, так сказать, общественные предметы: марксизм-ленинизм, диалектический и исторический материализм, политэкономия социализма, марксистско-ленинская эстетика. Педагоги-начетчики вдавливали нам догматическую галиматью, заставляли учить наизусть слово в слово четвертую главу Краткого курса истории ВКП(б), сочиненную самим И.В. Сталиным. Избави бог пересказать что-то марксистское своими словами. Здесь, с точки зрения учителей-схоластов, могли прорваться неточность или, чего доброго, вольнодумство. Педагогиталмудисты заставляли нас на каждом зачете и экзамене представлять конспекты проштудированных сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина (эти сочинения назывались «первоисточники»). Причем учителем проверялся почерк, так что подсунуть чужой конспект было рискованно. Это грозило не просто «двойкой» по предмету, но и исключением из института. И мы сдирали друг у друга конспекты, доставшиеся нам по наслед-



ству со старших курсов. Причем, переписывая, мы даже не пытались вдуматься, что мы сточим.

Почему-то преподаватели марксистских дисциплин в нашем институте были, как правило, люди физически ущербные или несчастные. Так, марксистско-ленинскую эстетику читал нам слепой Козьяков, которого всегда приводила на лекции его злая жена. Завкафедрой марксизма-ленинизма был одноногий Пудов, а кафедрой политэкономии возглавлял одноглазый Козодоев. Студенты не любили эти предметы и насильников-педагогов.

Кто-то сочинил фривольную шутку, будто Пудов и Козодоев принимают экзамен вместе.

Пудов говорит одноглазому коллеге:

— Я сейчас отлучусь, а ты тут смотри в оба.

На что Козодоев отвечает одноногому Пудову:

— Ладно. Только ты быстро — одна нога здесь, другая там.

Шутка жестокая, что говорить, но понять анонимного автора было можно. Особым садизмом отличался «диапатчик» Степанян, у которого физического изъяна не было. Он был нравственным уродом. Он доводил студентов до состояния полной невменяемости. Например, мой сокурсник Ляtif Сафаров после сдачи экзаменов Степаняну месяца три заикался. Одну студентку он довел до того, что она не смогла ответить на вопрос, как звали Маркса. А моего друга Василия Катаняна он на экзамене спросил: «Что такое дальтонизм?» И когда затюканный Катанян промямлил, что не знает, марксист сказал: «Как вам не стыдно, это термин из области медицины!»

Но за нашей идейной чистотой следили не только педагоги общественно-политических дисциплин. Мы были окружены со всех сторон. В том числе и наши работы по режиссуре находились под контролем, в первую очередь, идейным, мировоззренческим. Идеологические нарушения в творчестве ли или же какие-то манифесты об искусстве карались немедленно исключением из института.

Первый урок послушания я получил еще на первом курсе Всесоюзного Государственного института

кинематографии. Нам, студентам, было дано задание для годового экзамена по режиссуре: выбрать по своему вкусу отрывок из современного советского литературного произведения и создать на бумаге экранизацию этого фрагмента, то есть, написать киносценарий. За эту работу нам должны были поставить итоговую годовую оценку по режиссуре. Напомню, условия учебы были таковы: если ты получаешь двойку по специальности (режиссура или актерское мастерство), тебя выгоняют из института. Передача этих предметов исключена. Так что понятна важность задания. Время было суровое, весна сорок пятого года, шел конец гигантской войны. И наш выбор пал на талантливую, жестко написанную военную повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». Я говорю «наш выбор», потому что для осуществления этой курсовой работы я объединился со своим сокурсником, азербайджанцем Лятифом Сафаровым. Кстати, судьба его сложилась трагически. На Бакинской киностудии он со временем стал видным режиссером, снимал картины, был сделан первым секретарем Азербайджанского Союза работников кино. А потом его «не переизбрали». То есть не назначили сверху. Он чем-то кому-то не угодил, и его отстранили. А у него — обостренное восточное самолюбие. А тут еще добавились семейные неурядицы, и Лятиф Сафаров покончил с собой...

Но это случится через двадцать лет, в шестидесятых годах, а пока мы, вдохновенные, полуголодные студенты чрезвычайно воодушевлены предстоящей работой. Мы поехали в Переделкино, где тогда жил Александр Бек, познакомились с ним, поделились своими замыслами и намерениями. В повести «Волоколамское шоссе» рассказывалось о гвардейцах-панфиловцах, которые осенью 1941 года насмерть стояли под Москвой. Я не перечитывал с тех пор эту повесть, но тогда нам казалось, что автором сказано новое слово о войне. Бек писал более сурово и правдиво, чем многие его собратья по перу. Нас привлекло к этой вещи именно ощущение горькой правды, которой дышали многие страницы.

Одним из героев повести был молодой командир-казах Баурджан Момыш-Улы. Уже после войны я узнал, что это подлинный, так сказать, документальный чело-



век, даже не с измененным именем. Момыш-Улы выжил в этой страшной войне, а после нее стал казахским писателем.

У Бека был, в частности, эпизод, где перед строем расстреливали дезертира. Командовал расстрелом Момыш-Улы. У автора, помнится, был намек, что командир и дезертир знали друг друга с детства. Нам, первокурсникам, хотелось усилить драматизм эпизода. Мы уцепились за эту подробность и развили ее. Нам казалось, что будет острее, если Момыш-Улы должен отдать приказ о расстреле друга. И мы выдумали эпизод, которого не было у Бека...

«Унылая, дождливая погода. На поляне стоит строй солдат. Перед ними, у опушки леса, мокнет жалкая фигура дезертира. Его глаза с мольбой смотрят на Момыш-Улы. Командир взирает на осужденного, в глазах его жалость и непреклонность. Он начинает отдавать приказ, и в это время перед его глазами, сменяя друг друга, проходят картины детства и юности. И в каждом видении они вдвоем, нынешний командир и приговоренный.

Вот они воруют яблоки из сада и испуганно спасаются от хозяина... Вот они плещутся в речке, брызгаются, хохочут, валтузят друг друга... Вот они вместе сидят за одной партой в школе, одного из них вызывают к доске, а второй подсказывает, выручая товарища... А вот свадьба нынешнего дезертира, а дружкой, шафером все тот же Баурджан Момыш-Улы. Вот он говорит тост, желая молодым счастья... Это видение обрывалось резкой командой, произнесенной хриплым голосом: «Огонь!» Это приказал Момыш-Улы. Грянул залп. Фигура дезертира, обмякнув, упала на мокрую рыжую траву. Командир, не оборачиваясь, зашагал прочь...»

Что-то в этом роде написали мы с Ляtifом Сафаровым. Видений было, пожалуй, побольше, но я и не пытаюсь вспомнить все. Сейчас такого рода реминисценции — раскоjee, общее место, штамп. Прием девальвировался, но тогда это было относительно внове, во всяком случае, еще не навязло в зубах. Мы с Ляtifом очень гордились своей выдумкой, поехали в Переделкино к Александру Беку. Там, на даче, которую он, кажется, снимал у кого-то, мы прочитали ему наш опус.

Писатель одобрил наш сценарий и, в частности, этот эпизод. Окрыленные, мы вернулись в Москву и отдали наш первый в жизни сценарий на машинку, а потом сдали, как и положено, в деканат.

И вот наступил день, конец весенней сессии, когда должны были быть оглашены оценки по режиссуре. Надо сказать, что нашего мастера — Г.М. Козинцева — на экзамене не было, то ли он снимал картину, то ли еще чем-то был занят, так что он в этой истории не участвовал. Короче, экзамен принимал заведующий кафедрой режиссуры Лев Владимирович Кулешов и ассистентка Козинцева по преподаванию режиссуры, знаменитая актриса немого кино Александра Сергеевна Хохлова, жена Кулешова. И вот Кулешов зачитывает отметки... Ростоцкий, Азаров, Левин, Катанян, Дорман, Фомина, Дербышева... Все сокурсники названы, все получили оценки, кто лучше, кто хуже. Не оглашены только две фамилии — Сафарова и моя.

Мы в недоумении, что случилось? Кулешов и Хохлова разбирают работы товарищей, а о нас ни слова, как будто нас не существует. Мы с Сафаровым переглядываемся, понимая, что произошло нечто нехорошее. Но что? Мы считали — у нас пристойная работа, уж на тройку-то она вполне тянет. В томительном ожидании проходит час... Наконец добираются до нас.

Конечно, невозможно, более чем через пятьдесят лет, вспомнить прямую речь, но смысл кулешовских слов навечно врезался в память.

— К сожалению, мы не можем аттестовать работу Рязанова и Сафарова, — говорил талантливый, в прошлом прогрессивный, левый, а потом многократно битый, режиссер Лев Владимирович Кулешов. В те годы это был затюканный властью человек. Он уже не снимал картин, и должность во ВГИКе была его единственным средством к существованию. — В этом сценарии допущена грубейшая идеологическая ошибка. Гражданская позиция, взгляды Рязанова и Сафарова внушают нам большую тревогу. Они в своей экранизации столкнули два гуманизма — советский и общечеловеческий, они противопоставили два мировоззрения. Известно, что советский гуманизм — более высокая форма, неже-



ли гуманизм общечеловеческий. Оплошность студентов (назовем это так, мы не считаем, что они поступили сознательно) настолько серьезна, что мы возвращаем им их сценарий для переделок, для коренной переработки. Если же они будут упорствовать, боюсь, что придется поставить им двойки. Мы могли бы сразу же выставить неудовлетворительную отметку, но мы хотим дать возможность молодым людям одуматься, исправиться.

Итак, все наши однокашники успешно перешагнули на второй курс. Все, кроме нас. Если мы упрямся, нам влепят двойку, и тогда «прощай, ВГИК!» Мы с Сафаровым впервые в жизни встали перед подобной дилеммой. Потом она возникала перед каждым из нас практически в каждой картине.

Если быть откровенным, мы впервые услышали, что существуют два гуманизма.

До этого мы даже не подозревали об этом. И, честно говоря, мы совершенно не хотели их противопоставлять и, тем более, сталкивать. Мы не понимали, чем мы провинились, чего от нас хотят? Мы перечитывали эпизод, он нам очень нравился. Вот если бы после реминисценций Момыш-Улы разжалобился и не расстрелял бы дезертира, мы, может, и поняли бы упрек, но «шить нам дело» из-за рассказанного выше эпизода — казалось несправедливым. И Александр Бек одобрил, а ведь он же автор повести. Что делать? Эта наша выдумка была, несомненно, украшением короткометражного сценария. Потом, в будущем, я заметил, что острее так называемых редакторских замечаний всегда направлено против самого яркого, самого интересного, отличающегося от нормы. Нюх на это у них особый. Короче, мы были не согласны, уродовать сценарий не хотели. Мы стали тянуть время, выжидать. Товарищи наши по учебе разъезжались. Некоторым — Ростоцкому, Дорману, Азарову — удалось поехать в побежденную Германию. Другие отправились на халтуру — фотографировать по деревням, чтобы подзаработать на жизнь. Иные наслаждались отдыхом, каникулами. Мы — двое неприкаянных — продолжали метаться. Соппротивление наше постепенно слабело. Мы поняли, что угроза Кулешова не была шуткой, не являлась педагогическим приемом.

И в деканате с нами провели воспитательные душещипательные беседы. И мы кончили рыпаться. Сдались!

Мы выбросили из эпизода расстрела все эти видения, и сценарий сразу же стал более плоским. Нам он перестал нравиться. Мы отдали его на кафедру и стали ждать своей участи с довольно гадким чувством. Мы были уверены, что нам поставят по тройке, так как большего, с нашей точки зрения, эта киноверсия не заслуживала. Как же мы были удивлены, более того, поражены, когда узнали, что нам поставили отличную отметку, пятерку. Радости нам эта оценка не доставила. Мы понимали, что получили награду за послушание, за то, что наступили на свои мысли, чувства, убеждения. Оказалось, что, действительно, за сделку с совестью платят неплохо. Это было начало, так сказать, первый наглядный урок...

Сорок шестой год оказался трудным, можно сказать, страшным для нашего киноискусства. Правительство пыталось каленым железом выжечь дух свободомыслия, который после Победы казался естественным для народа, выигравшего войну и посмотревшего Европу. В идеологии бесчинствовал А.А. Жданов, и серия грозных, несправедливых постановлений обрушилась на творческую интеллигенцию. Одно из них «О кинофильме «Большая жизнь» касалось, в частности, и Козинцева. Его с Л. Траубергом фильм «Простые люди» был ошельмован, подвергнут обложной критике. Но если у Григория Михайловича все-таки осталась работа во ВГИКе (его не лишили возможности преподавать), то у Эйзенштейна, по фильму которого «Иван Грозный» (вторая серия) в постановлении наносился главный удар, дела были совсем плохи. У Сергея Михайловича случился инфаркт, а после выхода из больницы он был лишен каких бы то ни было средств к существованию. Козинцева и Эйзенштейна связывали добрые, дружеские отношения, и Григорий Михайлович, будучи сам в немилости, помог опальному другу. Он пригласил Эйзенштейна во ВГИК читать курс теории режиссуры своим ученикам, то есть нам.

И вот однажды осенью сорок шестого года на четвертый этаж с трудом поднялся и, задыхаясь, вошел в аудиторию очень старый, как нам казалось тогда, че-



ловек. (Через два года, когда его не стало, мы с изумлением узнали, что он умер всего-навсего пятидесяти лет отроду.) Это был Эйзенштейн. Тот самый Сергей Эйзенштейн, живой классик, чье имя уже оведала легенда.

С Эйзенштейном у студентов сразу же установились добрые отношения. Он разговаривал с нами как с равными. В нем не чувствовалось никакого превосходства, никакой фанаберии. Он не пытался подавлять своей эрудицией, кстати, поистине колоссальной. Этот всемирно известный человек оказался настолько прост, что чувствовал себя среди нас, мальчишек и девчонок, как среди сверстников. Не обращая внимания на большое сердце, Сергей Михайлович был необычайно подвижен и легок. Несмотря на трудный период своей жизни, он был весел, часто острил. И никто не испытывал ни священного трепета, ни неловкости, ни смущения. Его очень любили и встреч с ним ждали.

Иногда занятия по режиссуре проводились на квартире Сергея Михайловича. Эйзенштейн любил, когда студенты приходили к нему домой. В его маленькой трехкомнатной квартире на Потылихе не оставалось ни одного квадратного сантиметра, не заполненного книгами. Книжные полки — во всех комнатах, в коридоре, в ванной, даже в туалете. Заработанные деньги он тратил на пополнение своей уникальной библиотеки.

Целую стену в кабинете занимали тома с дарственными надписями авторов. И Чаплин, и Синклер, и Драйзер, и Джойс, и Цвейг — весь цвет литературы XX века, все считали для себя честью подарить свой труд великому режиссеру.

Я много раз бывал у него дома и совершал с помощью редкостных книг увлекательные экскурсии — и в эпоху Возрождения, и во французский импрессионизм, и в древнегреческое искусство. Именно Эйзенштейн научил меня понимать красоту живописи и привил любовь к ней.

Благодаря Сергею Михайловичу я пристрастился к собиранию книг. Это были, конечно, в буквальном смысле попытки с негодными средствами. Кроме стипендии я ничего на книги потратить не мог. Но тем не менее Сергей Михайлович таскал меня по букинистическим магазинам, знакомил с букинистами, открывал

передо мной неповторимый мир старых книг, древних изданий.

Эйзенштейн, понимая, что втравил меня в дорогостоящую затею, совершал поступки, которые знающим его людям покажутся неслыханными: он мне дарил книги! Для Сергея Михайловича добровольно расстаться с книгой было мучительно, невыносимо. До сих пор у меня хранятся монографии о Тулуз-Лотреке, Домье, Дега с его дарственными надписями. Но больше всего я ценю сценарий «Иван Грозный». Он преподнес мне свое сочинение в 1947 году, в апреле месяце, и сделал провидческую надпись: «Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову — проходимцу, тунейдцу и бездельнику. Профессор С. Эйзенштейн».

Эйзенштейн был остер на язык. Молва приписывает ему хлесткие характеристики, которые он давал своим коллегам. Например, Григория Львовича Рошаля он назвал: «Вулкан, извергающий вату». О Сергее Иосифовиче Юткевиче он отозвался так: «Человек с изысканно плохим вкусом». А о Сергее Аполлинариевиче Герасимове выразился очень кратко: «Красносотенец!»...

Между тем моя учеба двигалась по-прежнему неважно. Летом 1947 года все студенты нашей мастерской работали в Ленинграде у Козинцева, который снимал фильм «Пирогов», о знаменитом хирурге. Мы были практикантами и выполняли в съемочной группе самые разные обязанности. Первое же задание — раздобыть обезьянку для эпизода с шарманщиком — я с бле-

Портрет Сергея Эйзенштейна. Работа художницы Нади Леже. Книга С.М. Эйзенштейна, подаренная мне с соответствующей надписью. Обратите внимание на дату



## ИВАН ГРОЗНЫЙ

КИНОСЦЕНАРИЙ  
С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ  
В. ЛУГОВОКОГО



ГОСКИНОИЗДАТ  
МОСКВА 1944

*Дорогому Александру  
Проходимцу  
Тунейдцу  
Бездельнику  
проф. Юткевичу  
1947*



ском провалил. После этого я не справился с рядом других поручений — не смог достать еще какие-то аксессуары, нужные для съемки. В наказание меня не допустили к работе с массовкой, со вторым планом, которую в виде поощрения доверили моим расторопным товарищам.

В кино и по сей день существует заблуждение, что ассистент, способный достать из-под земли все необходимое, проявит себя и хорошим режиссером, словно он сумеет извлечь из-под земли даже талант. Мне кажется, умение раздобывать, выцарапывать — принадлежность другой профессии: администратора.

Наконец настало время, когда на третьем курсе нам дали возможность испортить какое-то количество пленки. Я решил экранизировать юмористический рассказ Карела Чапека «Покушение на убийство».

Суть рассказа, напомню, в следующем: пожилой советник, благополучный человек, сидит вечером дома у окна. Вдруг раздается выстрел. Пуля с улицы впивается в стенку рядом, буквально в двух сантиметрах от его головы. Советник вызывает по телефону полицейского инспектора. Налицо покушение на убийство. Инспектор задает вопрос: кто же мог это сделать? Нет ли у советника врагов, людей, которым он причинил какое-нибудь зло? Советник вспоминает свою жизнь, и выясняется, что он, казалось бы, безобидный человек, принес много бед разным людям.

На роль советника требовался актер солидной комплекции и в возрасте. Всех своих сверстников, учив-

Эльдар Рязанов.  
1947 год. 3-й  
курс ВГИКа

Г.М. Козинцев



шихся на актерском факультете, я отмел. Сергей Бондарчук казался мне немножко мрачноватым, я опасался, и не без оснований, что в нем маловато юмора. Сергей Гурзо был озорным мальчишкой. Вячеслав Тихонов — слишком красив. Выбор пал на моего приятеля, студента Текстильного института. О его актерских способностях я не имел представления, но, наголо остриженный и толстый, он очень подходил внешне. Усы, которые украшали моего приятеля, по-моему, достаточно его старили. Я решил, что вот этот смешной толстяк и годится на главную роль.

Я надел на него пижаму и долго хохотал, прежде чем начать съемку. Студент-текстильщик играл с большим подъемом.

Когда раздавался выстрел, он ложился на пол и полз через всю декорацию, не щадя пижамы, к телефону, чтобы вызвать полицейского инспектора. При этом мой знакомый старательно пыхтел.

Во время просмотра моей первой комедии почему-то никто не смеялся. Козинцев спросил:

— Этот человек, который играет главную роль, он что, артист?

— Нет, — разъяснил я. — Это студент Текстильного института.

Козинцев вздохнул.

— Ну, понятно, почему у нас в стране так туго с мануфактурой!

После этого последовала блистательная лекция Григория Михайловича о том, что художник должен воспитывать в себе чувство стыда. Я многое понял тогда, и, в частности, то, что нельзя сместить любимыми способами, что вообще не все средства воздействия хороши, что художник должен быть очень разборчивым. И еще один вывод я сделал тогда: я никогда больше не буду снимать комедию! И со спокойным сердцем и легкой душой отвернулся от своего призвания.

В те годы в нашем художественном кино выпускалось чрезвычайно мало фильмов. Мы уже перешли на четвертый курс и понимали, что в художественной кинематографии нас ждет в лучшем случае работа ас-



систентов. Шансов выбраться в режиссеры и получить самостоятельную постановку не было никаких.

На четвертом курсе у нас появились новые педагоги — режиссеры Александр Згуриди и Арша Ованесова, известные мастера научно-популярного и документального кино. Нам предложили на выбор специализироваться по документальному, научно-популярному или художественному фильму.

Зная ситуацию, Григорий Михайлович не советовал нам идти в художественный кинематограф: лучше самому делать фильмы о микробах, станках, удобрениях или работать режиссером на кинохронике, нежели быть на ассистентских побегушках в игровом кино.

Учитывая все обстоятельства, я отказался от честолюбивых замыслов и перешел к Ованесовой, в мастерскую документального фильма.

Прикрываясь здравым смыслом, я совершил, конечно, компромисс, сделку со своей совестью, чего, как я знал, истинный художник позволять себе не должен. Однако потом выяснилось, что уход на хронику оказался очень полезен. У меня появилась неограниченная возможность знакомиться с жизнью во всех ее проявлениях.

Дипломный фильм я задумал и снимал вместе с сокурсницей Зоей Фоминой. Нам хотелось снять кинематографическую поэму о московских студентах, о Москве. Мы стремились пронизать фильм светлой лиричностью, окрасить его своим личным отношением: ведь, рассказывая о студентах, мы рассказывали и о себе. Фильм «Они учатся в Москве» был нашим прощанием с юностью, с лучшими годами жизни, он во многом автобиографичен.

Мы являлись авторами всех компонентов дипломного фильма (кроме операторской работы), начиная от замысла и сочинения сценария до монтажа, подбора музыки и написания стихотворного дикторского текста. Во время съемок мы трудились и за директора картины, организуя каждую съемку, выполняли функции помощника оператора, таская штативы и аккумуляторы, и занимались своими прямыми обязанностями — режиссерскими и ассистентскими. Поиски героев очерка, выбор мест съемки, раскадровка эпизода, уста-

новка каждого кадра, работа с персонажами и со вторым планом, мизансценическое решение сцены — вот тот объем, с которым мы столкнулись в первой самостоятельной работе.

Государственная экзаменационная комиссия приняла наш фильм «на ура!» и постановила выпустить наш дипломный киноочерк на большой экран. Но, к сожалению, это решение так и осталось на бумаге.

Мы получили дипломы с отличием. Председатель ГЭК, замечательный режиссер Сергей Васильев сказал:

— До встречи на экранах страны!

Но в то время проникнуть на экран было очень, очень и очень трудно...

Итак, я стал режиссером-документалистом.

За пять лет работы на хронике мне довелось побывать во многих интереснейших местах нашей страны. Я путешествовал по Сахалину, Камчатке, Курильским и Командорским островам, плавал на китобойной флотилии, снимал краболовов в Охотском море, прославлял нефтяников Кубани и путейцев Октябрьской железной дороги. Моими героями были дети и спортсмены, рабочие и писатели, рыбаки и пограничники, ученые и оленеводы. Перечислить всех людей, с которыми я встречался, которых узнал, с которыми подружился или поссорился, невозможно. Это было время стихийного накопления жизненного материала.

Кинохроника — искусство особого рода. В периоды народных потрясений, катаклизмов, когда страна и народ подвергаются тяжелым испытаниям, документальный кинематограф выходит всегда в первый ряд. Жизнь народа в такие периоды настолько трагична и неповторима, что никакое игровое кино, никакой вымысел, никакая беллетристика не могут сравниться с подлинными событиями, запечатленными на киноплёнке. Мы знаем, например, что во время Великой Отечественной войны около двухсот кинодокументалистов находились в армии, на фронтах. Они создавали летопись войны на передовых позициях, в тылу врага, в партизанских отрядах. Многие кадры фронтовых кинооператоров и сейчас невозможно смотреть без слез, без волнения.

Кстати, мысль о том, что кинопублицистика вы-



ходит на авансцену в переломное для страны время, подтвердилась начальными годами перестройки. Именно документалисты, как и газетчики, первыми вторглись в застойное, дремотное существование и стали сдирать заскорузлую благопристойность, отшлифованное лицемерие, отрепетированное годами вранье о социальной системе, развенчивать псевдогероев, взрывать разоблачениями, вызывая шок, боль, сострадание, гнев.

Именно кино- и телехроникеры показали всему миру августовский путч 1991 года и трагические события 3—4 октября 1993 года.

Но я пришел в кинохронику в иное время, а именно в 1950 году. Это был период, когда вся страна переодевалась по желанию безумного генералиссимуса в форменную одежду. Вслед за армией, работниками КГБ и МВД мундиры начали носить железнодорожники, дипломаты, юристы, горняки, ученые. Казалось, что в скором времени в униформе будут щеголять писатели и артисты. Старый, выживший из ума тиран сочинял трактаты о языкознании и устраивал показательные судилища внутри страны и в так называемых социалистических странах, уничтожая свободолюбивых, влиятельных конкурентов. В концлагерях томились и погибали миллионы невинных, — кто за политический анекдот, кто за то, что попал в плен, кто по доносу, кто по навету. А по радио неслоь на всю страну: «Живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей...»

Документальное кино тех лет не имело никаких отношения ни к жизни, ни к документу, ни к правде. Обожествлялся великий вождь, воспевалась якобы зажиточная жизнь народа, всячески создавалось на экране ощущение постоянного всенародного праздника. Но наивно думать, что всем этим безудержным славословием занималась в искусстве и литературе циничная банда подонков. Все было сложнее — сплав веры и страха, честолюбия и слепоты, окружавший всех массовый психоз, железный занавес, отрезавший СССР от Запада, могучие, ежедневные залпы вранья из всех средств массовой информации. В конечном итоге деформировались все человеческие ценности и критерии. Кроме того, творческую интеллигенцию покупали званиями, Сталински-

ми премиями, поездками за рубеж, приглашениями на праздничные правительственные банкеты, распределением дач и прочих благ. Ежегодно, например, документальные фильмы о традиционном воздушном параде или хвастливые полотна о республиках непременно награждались Сталинской премией. Сколько интриг среди режиссеров-постановщиков уходило, чтобы получить именно такую постановку. Режиссер, назначенный на подобный фильм, мог смело сверлить дырку в лацкане пиджака для лауреатской медали.

После просмотра какой-то ленты об одной из прибалтийских республик Иосиф Виссарионович задал недовольный вопрос:

— А почему в фильме не показаны скачки?

Никто не посмел объяснить вождю, что в этой республике нет коневодства, поэтому не показаны и скачки. Наоборот, пообещали, что такой эпизод будет вставлен. В республику с Северного Кавказа отправили целый эшелон со скакунами и устроили грандиозную инсценировку. С той поры в каждой документальной картине о союзной или автономной республике, о крае или национальном округе снимался эпизод «скачки», ибо отец народов это любил. Есть ли в этой местности лошади, в традициях ли данного народа скакать, — значения не имело.

Магия инсценировки (это называлось тогда «восстановление факта») дошла до того, что режиссер Леонид Варламов в фильме «Победа китайского народа» «восстановил» форсирование Народно-революционной армией могучей реки Янцы-Цзян. На самом деле это событие уже давно свершилось. Руководители Китая предоставили в распоряжение Л. Варламова десятки тысяч солдат, артиллерию, танки, авиацию, и документалист разыграл огромное сражение. Вертовские традиции киноправды были позабыты. Никому не приходило в голову снимать скрытой камерой. Если кого-то сняли небритым или плохо одетым — эти кадры выбрасывались еще в монтаже. У наших кинохроникеров образовался совершенно противоестественный для репортера инстинкт. Если во время съемки оператор видел через глазок камеры какой-то непорядок, ну, например, на-



чался пожар, перевернулась машина, возникла драка и т.д., он автоматически выключал камеру, прекращал съемку, ибо знал — это не пойдет, зачем зря тратить пленку. Тогда как любой западный хроникер, повинуюсь нормальному журналистскому инстинкту, в подобные моменты автоматически включал киносъемочный аппарат.

Дзига Вертов, революционер, сделавший киножурналистику искусством, в то время прозябал на задворках Центральной студии документальных фильмов. Все его теории были выброшены на свалку, а сам он, после многочисленных проработок, чудом уцелевший от бесчинств энкавэдэшников, превратился в старика с испуганными глазами и доброй, застенчивой улыбкой. Он исправно ходил на якобы добровольные занятия в общественном университете марксизма-ленинизма, посещение которого являлось неким свидетельством благонадежности. Иногда дирекция студии бросала Вертову подачку в виде очередного еженедельного выпуска «Новостей дня», и бывший новатор очень старался, чтобы его продукция ничем не отличалась от официозного, серого потока. Очень милый, интеллигентный, добрый, покорный, уничтоженный властью художник. Как всем тогда казалось, ненужный осколок позавчерашнего. Но только он и остался в истории советского документального кино, а многократные лауреаты с допуском к съемкам секретных объектов (это была высшая мера доверия со стороны органов) канули в Лету. Никто не помнит ни их имен, ни их фильмов.

Но тогда молодой ассистент режиссера, стремившийся к самостоятельной работе, я не очень-то думал обо всех этих материях. Я был продуктом своего времени. Все лакировали действительность. И я не хотел отставать от своих старших, увенчанных лаврами, коллег. Я тоже лакировал жизнь, как умел. Снимая фильм о нефтяниках Кубани, я заставил покрасить фасад магазина, чтобы он выглядел на экране новеньким и красивым. У одного нефтяника в квартире стояла неважная мебель. Зато у соседа обстановка была отменная. Но сосед не считался героем труда и не являлся героем нашего фильма. Вместе с оператором я перетащил отлич-

ную мебель в нужную нам квартиру. Не скрою, чувство стыда, воспитанное во мне еще в институте, давало о себе знать. Наверное, поэтому я совершал эти манипуляции под покровом ночи, чтобы не видели окружающие...

В 1954 году мне и режиссеру Василию Катаняну, моему однокашнику и другу, предложили сделать фильм об острове Сахалин. Мне всегда нравились люди необычные, события из ряда вон выходящие, где проявлялись незаурядные качества людей, их мужество, воля, самопожертвование, дружба, и я с удовольствием взялся за работу над фильмом о далеком восточном острове.

Приехав на Сахалин и осмотревшись, мы узнали, что год назад в море случилось интересное событие: рыболовецкое судно было затерто льдами. На помощь рыбакам поспешили самолеты. На парашютах команде корабля сбрасывали мешки и ящики с продуктами, взрывчатку, письма родных. Взрывами рыбаки проложили себе дорогу во льдах и вышли в чистые воды, на свободу.

Мы решили, что подобный эпизод просто необходим для картины. Но поскольку такие истории встречаются не каждый день, нужно воспользоваться методом «восстановления факта», то есть инсценировать этот эпизод.

Будучи режиссерами молодыми, энергичными, мы принялись за организацию съемок. На рыбацкое судно (конечно, другое, не то) сел оператор Леонид Панкин, и оно отправилось в Охотское море искать льды.

Первым делом кинооператор попросил рыбаков не бриться. Несколько суток искали и наконец нашли

На Камчатке.  
1952 г.



большое ледяное поле. Корабль добровольно втерся в самую его середину. В Южно-Сахалинск радировали, что первая часть операции выполнена благополучно: судно в ледяном плену. На двух самолетах наша киногруппа отправилась к месту происшествия. Предполагалось, что с одного самолета кинооператор снимет общий план льдов и все спасательные операции, с другого — сбросят мешки и ящики на парашютах.

Мешки и ящики, естественно, набили опилками, ведь продуктов на корабле было вдоволь. Но чтобы оправдать перед зрителем кадры, которые первый оператор снимет на судне, требовалось показать, что с парашютом на лед опустился и сам кинооператор. Иначе откуда взялись бы кадры, снятые на корабле? Сбрасывать человека на льдину, которая дрейфовала в море, опасно. Мы как-то не хотели рисковать жизнью кинооператора Александра Кочеткова, стремившего прыгнуть, и нашли другой выход.

У портного в Южно-Сахалинске купили манекен. Купили на свои деньги, так как сметой эти расходы не предусматривались. Одели манекен в казенный полшубок, привязали валенки, прицепили парашют. Теперь кукла, изображающая кинооператора, была готова к выполнению задания.

Когда мы подлетели к ледяному полю, то увидели в середине его черную точку — маленький кораблик, затерянный во льдах. Дубли делать нельзя — кукла

1955 г. Съёмки фильма «Весенние голоса». Операторы А. Приезжев, В. Николаев и я



у нас только одна и парашют тоже один. Поэтому требовалась четкая организация. По радию наладили двустороннюю связь. По моей команде операторы включили камеры и с самолета выбросили чучело на парашюте.

А дальше, в монтаже эпизода следовали кадры, снятые оператором, который с самого начала находился на корабле. Подразумевалось, что сразу же после приземления на льдину оператор начал фиксацию событий. Небритые рыбаки бежали к ящикам и мешкам, вскрывали их (конечно, другие ящики), доставали продукты, спирт, консервы, письма. Моряки приветственно махали летчику, который кружил над кораблем.

Самолеты улетели, и оператор Леонид Панкин, который находился на судне с самого начала, заканчивал съемки на ледяном поле. Он снял, как закладывают взрывчатку в лед, взрывают в нем траншею, как рыбацкий сейнер выходит в чистые воды, в океан.

Получился эффектный эпизод о взаимовыручке, взаимопомощи летчиков и моряков, в документальности которого никто не усомнился. Так что «лакировать действительность» и «восстанавливать факты» оказалось непростым делом, оно тоже требовало своего «мастерства».

Дальний Восток в какой-то степени удовлетворил мои романтические, джек-лондоновские наклонности. Я охотился на китов с китобоями. Бродил по тундре с геологами и оленеводами. Тонул на краболовном разведчике. Поднимался в кратер Ключевской сопки с вулканологами. С рыбаками ловил сельдь. С краболовами ставил сети на крабов. Вместе с пограничниками преследовал нарушителей границы... Дальневосточные экспедиции были счастливым периодом моей жизни на хронике. Каждодневная же работа над киножурналами и выпусками новостей после возвращения с Дальнего Востока невольно толкала к стереотипности мышления. Я чувствовал, что постепенно утрачиваю свежесть взгляда, начинаю думать штампами. Готовые рецепты, годящиеся на все случаи жизни, стали часто подменять творческие поиски.

И я понял — надо уходить в художественное кино.

После смерти Сталина, в пятьдесят четвертом — пятьдесят пятом годах правительство приняло реше-



ние резко увеличить количество фильмов, выпускаемых нашей кинематографией. Встала задача — производить сто — сто двадцать фильмов ежегодно.

И тут выяснилось, что создать такое огромное количество художественных картин невозможно: не хватает кадров режиссуры.

На «Мосфильм», на «Ленфильм» и другие студии стали приходить новые люди. Это были театральные постановщики, режиссеры, работавшие в кинохронике, художники, актеры, драматурги, мечтающие ставить игровые картины.

Я тоже мечтал попробовать свои силы в художественном кино, но не очень понимал, как к этому подступиться. После самостоятельной работы на хронике не очень-то хотелось корпеть ассистентом.

Хотя фильм «Остров Сахалин» поехал на фестиваль в Канны, что являлось для молодых режиссеров большой честью, надо было начинать, по сути, с нуля. И на этот раз на помощь мне пришел случай.

Однажды, разговаривая с известным кинорежиссером-документалистом Леонидом Кристи, я пожаловался на то, что на хронике мне стало неинтересно.

— У меня есть прекрасная идея, — сказал Кристи. — Сергея Гурова (тоже известный режиссер-документалист) пригласили на «Мосфильм» сделать фильм-ревью о художественной самодеятельности ремесленных училищ. Гуров недавно перенес инфаркт, он не очень хорошо себя чувствует, ему нужен молодой, энергичный напарник. Я поговорю с ним о вас.

И действительно, Кристи, не откладывая в долгий ящик, сразу же поговорил с Гуровым. Идея Гурову понравилась, он в тот же день поехал на «Мосфильм» и назвал мою кандидатуру дирекции. И уже на завтра меня пригласили на студию и предложили поставить совместно с режиссером Гуровым фильм «Весенние голоса».

Так я попал на «Мосфильм». Этот чудесный, невероятный поворот в моей судьбе произошел в начале 1955 года, буквально за два дня. Цепь счастливых случайностей по-прежнему сопровождала меня...

Ревю «Весенние голоса» оказалось идеальным вариантом для перехода от документального кино к ху-

дожественному. В жанре этого фильма были заложены элементы того и другого видов кинематографа. Я мог работать, опираясь на свой опыт хроникера, и осваивать новое.

Я не знал студии, производства, не понимал, как справиться с грудой неведомых доселе обязанностей. Но рядом со мной находился опытный и доброжелательный Сергей Николаевич Гуров. Он бережно ко мне отнесился, щадил мое самолюбие, старался выводить меня на первый план, помогал бескорыстно, по-отечески.

С первого же дня работы над фильмом «Весенние голоса» навалилось огромное количество дел, проблем, сомнений. Бесперывно нужно было отвечать на десятки разнообразных вопросов. Какой ритм эпизода? Когда происходит действие — днем, вечером, ночью? Каким воспользоваться объективом? Как покрасить деревья? Что поставить на стол? Какую артистку пригласить на эпизод?

Эти проклятые главные слова в искусстве — как, какой, какое, в какой мере.

Я вскоре понял, что снять первый художественный фильм, если постановщик еще пассивен и учится сам, — значит ответить на те вопросы, которые будут задавать ассистенты, гримеры, операторы, реквизиторы, бутафоры, декораторы, артисты. Все они подвергали меня перекрестному допросу. На их лицах было написано, что они готовы тут же выполнить мои распоряжения. Но я-то понимал, что многие из этих людей работали на своем веку с Эйзенштейном и Пудовкиным, с Пырьевым и Довженко, с Роммом и Райзманом. И в их глазах — мне казалось — я всегда читал один-единственный, основной вопрос, который, конечно, они никогда не произнесут вслух: а какой ты режиссер? И режиссер ли ты на самом деле?

Я не раз вспомнил добрым словом кинохронику. Кинохроника воспитала во мне умение мгновенно ориентироваться в неразберихе событий, молниеносно принимать решение, тут же мысленно составлять монтажную фразу, давать задание оператору, находить наилучшую точку для съемки кадра. Репортажной работе противопоставлены долгие размышления. Событие всегда разви-



ваается во времени и пространстве. Его нельзя ни задерживать, ни остановить. Не успел снять — разводи руками: событие кончилось, все ушли, и ты остался с носом. Репортаж научил меня быстро отбирать детали, подчинять их главному, соразмерять частности с основной мыслью. Ведь хроникер никогда не знает заранее подробностей, они обнаруживаются непосредственно на съемке, возникая неожиданно, сразу, на глазах...

Когда вместе с Сергеем Николаевичем Гуровым мы заметили, что огромная лавина вопросов, обращенных к нам, пошла на убыль, мы осознали: фильм подходит к концу.

«Весенние голоса» промелькнули по экранам незаметно. Фильм не поднимал никаких проблем, не открывал новых особенностей жанра — в нем честно и добросовестно показывалась самостоятельность трудовых резервов. Короче говоря, картиной нельзя было гордиться, но и стыдиться ее тоже было нечего. «Весенние голоса» явились для меня как бы приемным экзаменом в художественный кинематограф...

Когда в феврале 1955 года я появился на «Мосфильме», то и не подозревал, что у режиссера должен быть какой-то специфический, особенный характер. Лишь бы способностей хватало! Я тогда представлял собой довольно-таки мягкого, уступчивого, даже безвольного человека. Конечно, не в такой степени, чтобы считать меня полной «тряпкой», но от стального режиссерского идеала я находился за много верст и много лет.

Для меня подлинной школой режиссуры во всех ее компонентах, и в особенности в становлении характера, стала «Карнавальная ночь». Тут я впервые оказался один на один против комплекса, именуемого «постановка фильма».

Началось сразу же с кардинальных уступок. После окончания «Весенних голосов» меня приняли в штат «Мосфильма», и я намеревался ехать в свой первый в жизни отпуск. Как вдруг — срочный вызов к директору студии Ивану Александровичу Пырьеву.

Я вошел в кабинет Пырьева и увидел там двух сосредоточенных людей в серых костюмах. Одного из них я знал, — это был обаятельный и веселый Борис

Ласкин, написавший сценарий фильма-ревю «Весенние голоса». Вторым оказался известный писатель-юморист Владимир Поляков. Вроде бы ничто не предвещало той драмы, которая разыграется здесь через несколько минут.

Иван Александрович начал задушевно и ласково:

— Вот, познакомься, это — замечательные, талантливые люди. У них есть замысел музыкальной комедии.

Соавторы согласно кивнули головами.

— Как ты относишься к тому, чтобы поставить музыкальную комедию? — спросил Пырьев невинным голосом и посмотрел на меня.

Я понял, к чему он гнет.

— С большим неодобрением, — бестактно ответил я.

Ласкин и Поляков были шокированы.

— Мне кажется, ты бы смог поставить комедию. И с музыкой ты умеешь работать.

Я не знал тогда, что во время съемок «Весенних голосов», вечерами, когда Гуров уезжал домой, и я работал в одиночку, Пырьев частенько заходил в павильон и, прячась за декорацией, присматривался к тому, как я справляюсь с делом. А в том фильме-ревю было много музыки. Вот ему и померещилось, что я умею работать с музыкой.

— Не имею никакого желания ставить музыкальную комедию. И вообще, я еду в отпуск, отдыхать. Вот у меня путевка и железнодорожный билет, — я машинально полез в карман.

— Покажи, — вкрадчиво попросил Иван Александрович.

Я еще был очень наивен, плохо разбирался в Пырьеве и неосмотрительно вручил ему путевку и билет. Пырьев нажал на кнопку звонка, в кабинет влетел референт.

— Сдайте в кассу билет, путевку верните обратно, а деньги возвратите ему. — Пырьев показал на меня, референт кивнул головой и удалился. — А ты поедешь в Болшево, в наш Дом творчества. Будешь там отдыхать и помогать им писать сценарий.

Обыкновенные руководители не поступают так, как обошелся со мной глава студии. Тут, конечно, сказалось то, что Пырьев был не только должностным ли-



цом, но и режиссером. Он остался им и на посту директора. Он шел к цели — в данном случае он хотел заставить меня принять свое предложение — не официальными, а чисто личными, я бы сказал — режиссерскими ходами. Этот поступок Ивана Александровича смахивал на самоуправство, а я, вместо того чтобы отстаивать свои жизненные намерения, спасовал, струсил. Откровенно признаюсь: я Пырьева очень боялся. О его неукротимости и ярости на студии гуляли легенды. Я испугался, что, если буду перечить, он меня запросто выставит со студии. В этом столкновении воля Пырьева победила довольно легко, я, в общем-то, не сопротивлялся.

Кинорежиссер Пырьев принял пост директора крупнейшей студии вовсе не из карьерных соображений — в этом он уже не нуждался. Иван Александрович был человеком незаурядным, ярким, самобытным и весь свой выдающийся организационный талант и нескончаемую энергию бросил на создание новой кинематографии. Именно при нем на студию пришли режиссеры, многие из которых украсили наше киноискусство.

Каждого из приглашенных на «Мосфильм» Пырьев пытался заставить делать комедию. Пырьев сам поставил немало комедийных лент и очень любил веселый жанр. Но все шарахались от этого как от огня. Почему-то никто из молодых режиссеров не желал быть Гоголем, никого не прельщала слава Салтыкова-Щедрина.

Я тоже пытался увильнуть, и неоднократно. В период постановки «Карнавальной ночи» я отказывался четыре раза. Первый раз — когда еще писался сценарий. Второй — когда фильм запустили в производство и шел подготовительный период. После того как был снят первый материал, я отбрыкивался еще дважды. Но, видно, плохо отбрыкивался. Пырьев раскусил, что я человек слабохарактерный, и не уступал ни в какую. Мне ничего не оставалось, как покориться.

Иван Александрович, сознавая, что начинающему постановщику трудно охватить весь объем работы, вмешался в комплектование съемочной группы. Он хотел сплотить вокруг меня зрелых, знающих кинематографистов, которые окажут творческую помощь, подпопрут меня своим опытом. В коллективе действительно собра-

лись очень умелые люди. Все они были профессионалами высокого класса.

Возглавлять же этих талантливых людей пришлось мне — молодому, никому не ведомому, неоперившемуся режиссеру. А в кино, как известно, свято место пусто не бывает. Увидев, что постановщик — зеленый новичок, ничего еще не смыслящий и ничего не создавший, некоторые из них сразу же принялись меня учить, как надо снимать музыкальную комедию.

Частенько точки зрения сотрудников не только отличались друг от друга, но, главное, абсолютно расходились с моим мнением. Я сообразил, что если буду спорить с каждым, то, во-первых, наживу в группе врагов, а мне с этими людьми надо пыхтеть в одной упряжке целый год. Во-вторых, я посчитал, что, если стану по каждому поводу убеждать и вводить всех в свою веру, у меня просто не хватит ни сил, ни времени на съемку картины. И тогда я начал воспитывать в себе умение всех слушать, не возражать, даже согласно кивать головой, а делать по-своему.

Самым трудным был мой поединок с Пырьевым. Доверив мне картину в труднейшем жанре музыкальной комедии, Иван Александрович как бы поручился за меня перед Кинокомитетом — ведь он же управлял студией, а доверить постановку фильма новичку считалось делом рискованным. Но в данном случае то, что он оставался режиссером, очень мешало. Ему-то это наверняка не мешало, но мне приходилось нелегко. Пер-

Ивана Александровича Пырьева я считаю своим третьим учителем. Именно он принял меня на «Мосфильм» и помог мне стать режиссером

Огурцов — артист Игорь Ильинский



вая схватка, если так можно назвать битву с явно превосходящими силами противника, разыгралась вокруг исполнителя роли Огурцова. На эту роль я пробовал многих и, наконец, остановился на кандидатуре прекрасного и многогранного артиста Петра Александровича Константинова. Проба получилась убедительной. Правда, Огурцов Константинова не столько смешил, сколько страшил. На экране действовал очень взаврадашний, натуральный, зловещий чиновник. Фигура, созданная Петром Александровичем Константиновым, вызвала бы у зрителя глубокие и далеко не веселые аллюзии.

Но Пырьев, увидев пробу Константинова, забрал ее категорически: — Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский!

Дело заключалось не в том, что Константинов не понравился директору студии или Пырьев больше любил Ильинского. Нет, проблема упиралась в трактовку сценария, в будущую интонацию фильма. Я намеревался поставить реалистическую, не только смешную, но и ядовитую ленту, где социальные мотивы — разоблачение Огурцова — играли бы доминирующую роль. То есть я стремился снять в первую очередь сатирическую комедию, зло высмеивающую дураков бюрократов, оказавшихся не на своем месте. «Будет замечательно, — думал я, — если картина станет вызывать не только смех, но и горечь».

Пырьев же направлял меня в сторону более ус-

Кадр из фильма  
«Карнавальная  
ночь».  
Людмила  
Гурченко,  
Юрий Белов



ловного кинозрелища, где красочность, музыкальность, карнавальность создавали бы жизнерадостное настроение, а Огурцов был бы лишь нелеп, смешон и никого не пугал. Сочная, комическая манера Ильинского, с точки зрения Пырьева, идеально подходила к такому толкованию. При этом Иван Александрович не отрицал сатирической направленности картины, он считал, что при гротесковом, буффонном решении сила сатиры увеличивается. Я же был уверен (и тогда и сейчас), что так называемая реалистическая сатира бьет более точно, более хлестко, более полновесно.

В этом сражении опять победил Пырьев. Я не смог настоять на своем и уступил в очередной раз. И рад, что уступил! Я счастлив, что снимал в главной роли Игоря Владимировича Ильинского. Мне кажется, он создал замечательный и типичный образ туполобого чиновника. А я познакомился и сдружился с крупнейшим актером нашей страны. Что же касается интерпретации фильма, я не берусь судить, кто из нас был тогда прав — Пырьев или я. Ведь существует только один вариант «Карнавальная ночь». А сравнивать осуществленную комедию с неосуществленным замыслом — невозможно.

Когда начались съемки, Пырьев еженедельно, каждую субботу смотрел отснятый материал и тут же вызывал меня для очередной нахлобучки или разноса. Если же эпизод ему нравился, он не боялся похвалить и не считал это непедagogичным. Постепенно я стал применять и к Пырьеву свою излюбленную тактику. Когда он директивно советовал то, что мне приходилось не по нутру, я делал вид, что соглашаюсь. Возражать не решался — страшился Пырьева. Потом уходил в павильон или монтажную и делал по-своему. Но Иван Александрович был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца. Он вскоре раскусил мои маневры и, обыывая меня «тихим упрямым», продолжал упорствовать и добивался своего. Во время постановки «Карнавальная ночь» если кто и проявлял режиссерский характер, то в первую очередь директор студии, а уж только потом режиссер-постановщик.

Члены съемочной группы тоже не оставляли меня своими советами. Съемки шли невероятно тяжело.



Надо было заставить всех слушаться себя. А ведь окружали меня люди именитые, многие — старше и опытнее. Вспоминаю такой случай. В павильоне оператор ставил свет, а я репетировал с артистами очередную сцену. Наконец все готово — можно снимать. И тут неожиданно меня вызвали к директору студии. Срочно. Это означало, что Пырьев только что ознакомился со свежей партией снятого материала и намерен высказать свое мнение. Я оставил съемку и помчался. На этот раз Иван Александрович одобрил мою работу, и, окрыленный, я возвращался в павильон. Я шел за декорацией, меня никто не видел. И вдруг я остановился как вкопанный. Я услышал команду оператора Аркадия Кальцатого: «Внимание! Мотор! Начали!» Помощник режиссера крикнул: «205-й кадр, дубль первый!» — и щелкнул хлопушкой. Актеры послушно сыграли сцену, которую я отрепетировал перед уходом. Оператор скомандовал: «Стоп!» Съемка проходила без меня! Это была неслыханная бестактность со стороны Аркадия Николаевича.

Только бесцеремонное, пренебрежительное отношение к молодому постановщику могло толкнуть его на подобный поступок. ЭТО НЕ ПРИНЯТО! Оператор не имел никакого права снимать в мое отсутствие. Лишь если бы, уходя, я сам попросил его об этом. Что мне было делать? На размышление оставалась какая-то доля секунды. Не драться же! Не орать! Это говорило бы исключительно о моей слабости. Решение пришло мгновенно. Я вышел из-за декорации и спокойно, но громко сказал помощнику режиссера:

— Этот дубль не печатать!

Это значило, что никто не увидит кадра № 205, дубль первый. Слова «не печатать» означали брак, на который не надо тратить позитивную пленку.

Таким образом я демонстративно перечеркнул операторскую самостоятельность, показав, что съемка начнется лишь сейчас, когда пришел постановщик. Одновременно я преподавал урок и артистам: не слушаться никого, кроме меня! Как они сыграли сцену, когда я отсутствовал, в данном случае не имело значения. Я поступил так не из амбиции, просто вел борьбу за пра-

вильное, нормальное положение режиссера в съемочной группе.

Образовались сложности и другого рода. Молодому человеку труднее всего бывает получить именно первую постановку. Ведь тогда огромные средства, отпущенные на фильм, доверяются совершенно неизвестному субъекту. А если он бездарен, или слабоволен, или чересчур прислушивается к чужим мнениям, ведет себя как флюгер, картина непременно выйдет плохой, деньги будут выброшены зря, и государство потерпит моральный и материальный убыток. Поэтому, когда работает дебютант, за его материалом идет усиленный контроль, и это разумно. Естественно, что и за мной следили со всех сторон настороженные глаза. А ситуация с картиной сложилась тревожная. Много сцен приходилось переснимать, ведь постановка была для меня одновременно и школой. Возник перерасход сметы и отставание от сроков. Молодой режиссер явно не справлялся с работой. Мое положение покачнулось. Я, как говорится, зашатался. Это сразу же почуяли некоторые мои «друзья» из съемочной группы и понеслись жаловаться. А рассказать им было что. По неопытности и неумению я наделал немало ошибок. Тучи над моей головой темнели и опускались все ниже и ниже. Беспокойные слухи побудили художественный совет студии собраться для определения дальнейшей судьбы нашего фильма.

Я показал маститым мастерам отрывки из «Карнавальная ночь», составляющие первую половину картины. Среди членов художественного совета, к сожалению, не обнаружилось никого, кто в своей жизни поставил хотя бы одну комедию. Надо отдать должное уважаемым режиссерам — они были единодушны в оценке: снятый и подмонтированный материал сочли серым, скучным и бездарным. В частности, Сергей Иосифович Юткевич печально констатировал, что положение с фильмом — безнадежное: ведь половина уже отснята, а оставшиеся деньги на исходе. Ему было ясно, что актеров менять поздно, а выгонять режиссера бессмысленно. Никто из уважающих себя художников не возьмется за доработку. Вывод художественного совета оказался



таков: единственное, что остается, — закончить скорее съемки и забыть об этом кино как о кошмарном сне.

«Благословив» меня таким образом, члены художественного совета разошлись с чувством исполненного долга. А я, убежденный высокими авторитетами в собственном ничтожестве, вернулся в павильон, чтобы продолжать съемки веселой картины. В этот момент я, пожалуй, впервые проявил подлинные черты режиссерского характера. Я не раскис, не сник, меня охватили злость, азарт, и я решил, что докажу этим...

Юткевич безудержно хвалил мой следующий фильм «Девушка без адреса», когда художественный совет принимал картину. «Девушка без адреса» была, по-моему, слабее «Карнавальная ночи», и я не понял такой необъективности С.И. Юткевича. Мне объяснили, что тогдашний его выпад по поводу «Карнавальная ночи» был направлен не столько против меня, сколько против Владимира Полякова, одного из соавторов сценария. Поляков незадолго перед этим сочинил ехидную поэму, где высмеивал угоднический круговорот вокруг Ива Монтана, приезжавшего к нам в страну с гастролями в 1956 году. И Юткевич был одним из объектов издевки. Мне, молодому режиссеру, принимающему все за чистую монету, подобное не могло даже придти в голову. Но каждому из нас, даже корифеям, как выяснилось, не чуждо ничто человеческое. Потом, все остальные годы, с Сергеем Иосифовичем у меня были ровные, нейтрально-доброжелательные отношения...

Пырьев, тем не менее, был озадачен, как художественный совет принял снятый мной материал. Ему-то нравилось, как я снимал. Но Иван Александрович попросил Михаила Ильича Ромма посмотреть, что я там такое творил? Не забуду этого просмотра. Мы в зале находились вдвоем: легендарный режиссер и я. Ромм смотрел на экран восхитительно, — он все время смеялся. Иногда он чуть не падал со стула, несколько раз он фамильярно толкал меня в бок, показывая, как он восхищен. После просмотра он крепко пожал мне руку, но ничего не сказал. Что-то он поведал Пырьеву — об этом можно догадываться. После чего меня до конца съемок никто не трогал...

Конечно, если бы не поддержка Пырьева, меня убрали бы с постановки. Иван Александрович ни разу не усомнился в том, что я выиграю битву. Кроме того, он сам ставил комедии и на собственной шкуре испытывал, как это трудно, как редко приходит удача, как хрупок и незащищен комедийный жанр, как надо бережно к нему относиться.

По сути дела, Пырьев стал моим третьим учителем, после Козинцева и Эйзенштейна. Несмотря на множество конфликтов, неизбежных между двумя упрямыми, я понимал, что Иван Александрович желает мне добра. И не только желает, но и делает его. И я платил ему самой искренней симпатией и нежностью, что не мешало нашим препирательствам. Короче, весь материал, который я показывал художественному совету, целиком вошел в окончательный монтаж «Карнавальная ночь» и, как потом выяснилось, не был таким уж чудовищным.

Вскоре после заседания художественного совета в газете «Советская культура» появилась заметка одного из редакторов Кинокомитета, а именно К.К. Парамоновой. В частности, в статье сообщалось, что на «Мосфильме» по отвратительному сценарию молодой режиссер снимает очередную пошлую комедию. А ведь я в это время прилагал невероятные усилия, чтобы создать легкую, веселую, жизнерадостную картину.

Но все эти неприятности, жалобы, статьи, выступления и сплетни послужили для меня как бы испытанием на прочность. Меня клеймили, а я понимал, что надо проявить твердость и не поддаваться. На меня жаловались, а я стискивал зубы и продолжал работу, не тратя сил и энергии на жалобщиков. Картину заранее обрекали на неудачу, а я надувался, как бычок, и бормотал про себя: «Увидим!»

Для режиссера вообще очень важно найти баланс между собственными убеждениями и так называемым мнением со стороны. Говорят, со стороны виднее. Это и верно и неверно. Иногда посторонний взгляд бывает поверхностным и даже ошибочным. Но порой он подмечает очевидные недостатки, мимо которых ты, находясь внутри картины, проходишь. Режиссеры — люди,



и им тоже свойственно ошибаться. Но точное ощущение интонации картины во всех ее компонентах несет в себе от начала до конца фильма только один человек — режиссер. Тот, кто судит, должен знать намерения и индивидуальность художника. У нас говорят, что пол-работы показывать нельзя. И это правильно. Ведь для вынесения приговора, мнения, суждения по незавершенной работе непременно нужно обладать особой интуицией, талантом и тактом, а ими владеют редкие люди.

После окончания «Карнавальной ночи» меня часто спрашивали, чем я руководствовался во время съемок, что было для меня главным. Так вот, я не думал об успехе, о фестивалях и рецензиях, я мечтал лишь о том, чтобы меня не погнали с работы и дали когда-нибудь поставить еще одну картину.

Мне было не до честолюбия. Передо мной стояла только одна задача — выжить...

Препятствия, которые я преодолевал, ставя первую свою комедию, конечно, повлияли на перековку моего покладистого характера. Я еще не превратился в волка, но овечкой быть уже перестал. Профессия, где все время приходится брать ответственность на себя, где невозможно уклониться от решений той или иной проблемы, где надо уметь заставить людей выполнять то, что тебе нужно, не может не оставить следа...

Интонацию «Карнавальной ночи» можно было сформулировать так: комедия вихревая, праздничная, музыкальная, нарядная, жизнерадостная и при этом сатирическая. Конфликт заключался в столкновении Огурцова с молодежью, которой предводительствовала культработник Леночка Крылова. Озорники и выдумщики лихо и остроумно боролись против идеологической дохлятины, которую насаждал Огурцов. За этими силами стояли две точки зрения на искусство, два разных отношения к жизни. Эта схватка отражала несовместимость двух начал — казенного, так называемого «социалистического», и творческого, общечеловеческого.

От исполнителей ролей, от участников массовых сцен я добивался искрометности, легкости, озорства, новогодней приподнятости. Мне очень важно было создать атмосферу бесшабашности, чтобы еще нелепее выгля-

дела угрюмая, псевдосерьезная и неуместная деятельность чиновного Огурцова. Я понимал, что воздух картины надо до отказа насытить безудержным весельем. Не должно быть места кадрам, где бы на переднем плане или на фоне не имелось бы сочных примет праздника. Массовые сцены, в обычных фильмах образующие второй план, здесь вышли вперед и стали так же важны, как и актерские. Все эпизоды с участием героев, предшествующие встрече Нового года, разыгрывались на людях, на фоне предкарнавальная суеты, репетиций, уборки, подготовки к вечеру. Встреча Нового года проходила в красочной, возбужденной толпе, в сопровождении нарядной музыки, оживленных танцев. Движение, динамика рождали другой важный компонент — ритм.

«Карнавальная ночь» неслась в огневом, бешеном ритме. Лишенный психологической углубленности, с поверхностными, чисто внешними мотивировками поступков персонажей, сценарий надо было реализовать в сверхскоростном темпе, чтобы никто не успел поразмыслить, опомниться и обнаружить драматургическую слабость. Стоило зрителю в чем-то засомневаться, как на него тут же наваливался каскад новых впечатлений, оглушая и увлекая за собой. Но этот режиссерский прием не только прикрывал определенные недостатки сценария. Вихревой ритм держал аудиторию в неослабном внимании и напряжении, заряжал бодростью и оптимизмом.

Вызвать сумасшедший ритм из исполнителей оказалось труднейшей задачей. Актеры наши, к сожалению, разучились играть фарс, буффонаду, гротеск (не на чем было учиться!), не владели живостью и беглостью речи, не умели хорошо двигаться. Дубли варьировались в основном для того, чтобы, погоняя актеров, убыстрять диалог. И если первый дубль, скажем, длился пятьдесят метров (то есть две минуты), то последний, как правило, двадцать пять. Убыстрению ритма посвящались также и операторские усилия. Многие эпизоды снимались с движения, стремительными панорамами, когда камера динамично двигалась вслед за артистами. Оператор и художники часто прибегали к сочным цветовым акцентам. Карнавал переливался буйством кра-



сок, мельканием ярких костюмов, лучей цветных прожекторов.

Большее половины метража комедии занимало ревью. Танцевальные и вокальные номера были лишь обозначены в сценарии, их тематику и содержание пришлось придумывать в режиссерской разработке. По сути дела, нам надо было сочинить и создать темпераментное, увлекательное концертное представление, где тупость, ханжество и официальность Огурцова звучали бы резким диссонансом. Точность и сформулированность замысла помогли мне, молодому режиссеру, не утонуть в миллионе путей, возможностей, вариантов.

Однако преданность собственной экспликации, если ее довести до абсурда, может обернуться другой стороной. Скажем, режиссер тщательно и серьезно готовится к съемке. Полностью, до мелочей продумывает сцену и уже потом, в павильоне, старается ни на йоту не отходить от своего замысла. Но ведь на съемочной площадке часто всплывает нечто непредусмотренное, то внезапное и свежее, мимо которого ни в коем случае нельзя пройти. Если раздавить это только что рожденное в угоду своей схеме, то экранный результат наверняка окажется сухим, мертвым, лишенным живительных соков. По-моему, самое дорогое на съемке — это экспромт, импровизация.

Бывает и по-другому. Режиссер приходит в павильон, не отягощенный предварительными раздумьями. Он не ведает, куда его понесет «вдохновение», и начинает фантазировать на глазах у сотен участников съемочного процесса. Те терпеливо ждут, когда же наконец постановщик примет какое-нибудь решение. Нередко подобное «сочинительство» оборачивается профессиональным браком или же тем, что режиссер проводит смену попусту, так и не успевая ничего снять.

Я считаю наиболее плодотворной ту систему работы, когда ты крепко стоишь на платформе своего замысла, когда ты готовишься к съемке и твердо знаешь, чего хочешь добиться. Но в процессе съемки ты открыт для экспромта, импровизации, любого сюрприза. Тут важно ощущать настроение членов группы, артистов и уметь подхватить то интересное, непосредственное, что

тебе «подбрасывают». И хотя вчера ты об этом даже не подозревал, честь тебе и хвала, если ты смог обогатить задуманное, включив в него новую идею. Но в нашей профессии надобно не только чувствовать атмосферу на съемочной площадке, но и создавать ее. Без хорошего настроения режиссеру в комедии не обойтись. Впрочем произнесенная острота, ненароком брошенная шутка, припомнившийся к месту анекдот, умение подтрунить (а не накричать) над неумехой — все это задает необходимый тон для работы. А для этого режиссеру самому надо быть здоровым, отменно выспаться, чувствовать себя бодрым, приучиться отгонять дурные мысли, обиды, огорчения, не думать о наказаниях, которые следуют за невыполнением плана. Я заметил, что легкость и раскованность на съемке невидимыми лучами передаются с экрана в сердца зрителей, заставляя их рассмеяться, улыбнуться или растрогаться...

Не стану описывать сокрушительный успех моей первой дебютной картины. Расскажу только о премьерe в Ленинградском Доме кино. Зрительный зал в тогдашнем клубе кинематографистов был маленький, мест эдак на 150—200. Поэтому было четыре сеанса — два в субботу и два в воскресенье. Как Вы знаете, дорогой читатель, в Ленинграде жил и работал мой учитель Григорий Козинцев. Я был уверен, что мастер придет на дебют своего ученика, тем более что слухи и разговоры о нашем фильме были более чем лестные. Однако в субботу Григорий Михайлович не пришел. Я тоже ему не звонил, считая, что учителю должно быть, по меньшей мере, любопытно, что там учудил его ученик, пусть даже нелюбимый. Но ведь о фильме говорят очень хорошо, причем все поголовно. Значит, что-то в нем должно быть... Не пришел он и на дневной сеанс в три часа. Оставался последний в семь часов вечера. Без десяти семь Козинцева в Доме кино не было. И тогда я не выдержал, снял трубку и набрал его номер. Григорий Михайлович сам снял трубку, и я понял, что он и не собирався смотреть мою ленту. Я пробубнил что-то вроде того, что, мол, был бы рад, если бы он приехал на просмотр. Последовала большая пауза. Вероятно, Козинцев посмотрел на часы, а потом принял решение.

Клоуны: Влади-  
мир Зельдин  
и Борис Петкер.  
Огурцов —  
Игорь Ильинский

→



— Задержите просмотр! — сказал он.

— Попробую, — ответил я.

Я подошел к кому-то из великих ленинградских режиссеров и передал просьбу Григория Михайловича.

Козинцев в Ленинграде пользовался неслыханным авторитетом. Начало фильма задержали на полчаса. Последний просмотр тоже прошел оглушительно, как и три предыдущие. Козинцев подошел ко мне, пожал руку и с застенчивой улыбкой сказал:

— М-да... Ничему этому я вас не учил! — Надо было полагать, что в данном случае это был неслыханный комплимент.

Спустя несколько фильмов я получил от него письмо, что я любимый режиссер его семьи и что на мои картины они ходят сообща.

Так я стал режиссером. А впереди мне предстояло снять еще двадцать пять кинокартин, написать ряд сценариев, пьес, повестей, выпустить книги стихов, осуществить немалое количество телепередач, но тогда я об этом не догадывался.



## ПАМЯТЬ ОБ ЭМИЛЕ

Это — назовем красивым словом «эссе» — посвящено памяти моего друга, моего соавтора. Я вспомню о том, как мы сочиняли вместе, как сходились и расходились, что случалось редко, ибо наше содружество было поистине счастливым и продолжалось тридцать пять лет.

После «Гусарской баллады» я оказался свободен. Сценария для следующей постановки у меня не было, я лихорадочно читал толстые журналы в поисках литературного произведения для экранизации. И присматривался к драматургам и сценаристам, которые не были заняты в это время. Как-то на «Мосфильме» мы встретились с Брагинским и, выяснив, что оба находимся в одинаковом положении, решили пообщаться и, может быть, выдумать сюжет. Я смотрел на Брагинского как на очередного сценариста, не подозревая, что это содружество потом выльется в постоянное и длительное соавторство. Брагинский тоже смотрел на меня как на очередного режиссера и тоже ни о чем не подозревал. Итак, мы начали придумывать сюжет и одновременно знакомиться. Выясняли вкусы, пристрастия и симпатии в искусстве, короче говоря, притирались друг к другу...

Историю о том, как какой-то человек угонял частные машины у людей, живущих на нечестные, нетрудовые доходы, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома, мы оба слышали в разных городах — и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. В каждом городе утверждали, что этот факт случился именно у них.

Рассказывали, что в какой-то газете об этом даже писалось.

История нам понравилась, мы решили на ней остановиться. Но прежде чем начинать работу над сценарием, нам хотелось убедиться в достоверности этого происшествия. Хотелось непосредственно познакомиться с человеком, замешанным в столь необычном и столь гуманном преступлении. Мы искали газету, но тщетно.



Обращались с запросами в юридические учреждения, но не смогли найти следов подобного судебного дела.

И тут наконец мы поняли, что история вымышленная, что это, конечно, легенда, которая приняла обличье всамделишного случая.

Отсутствие реального жизненного прототипа сильно озадачило нас.

Однако не настолько, чтобы мы отказались от самой идеи воплощения его средствами искусства. Коротче говоря, в «Берегись автомобиля!» основная сюжетная схема практически без всяких изменений была взята нами из жизни, вернее, из легенды.

Сразу же возникла проблема: в какое русло направить сюжет? То, что надо писать комедию, не вызывало сомнений. Но и комедия могла быть разной. Сначала думали — сделать нечто вроде вестерна. Автомобильные погони, немыслимые комедийные трюки, стремительность и динамика. Герой фильма — а-ля Робин Гуд. Как и подобает всякому благородному разбойнику, он совершал бы подвиги легко, непринужденно и победно. Словом, все шло к тому, чтобы создать лихой, но незамысловатый фильм во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости.

Вестерн, как правило, жанр облегченный. Его положительные герои замечательны во всем, отрицательные изображены в одних черных красках. При такой трактовке, конечно, не могла идти речь ни о показе широкой социальной картины общества, ни о создании интересных, ярких характеров. И мы отказались от мысли сделать комедийный автомобильный вестерн. Попытались приспособить эту историю к другому.захотелось еще раз взвесить общечеловеческие категории добра, зла, благородства, подлости, справедливости. Поэтому мы предпочли парадоксальные, извилистые ходы вглубь прямому движению по плоскости.

Наш герой — честный человек по сути, но по форме он жулик. Справедливый и благородный по первому впечатлению отставник — по сути махровый спекулянт. Следовательно, которому подобает быть по долгу службы твердым, решительным и непоколебимым, по-

звolyет себе иметь человеческие слабости, то есть на проверку оказывается очень мягким и добрым.

Больше всего хлопот нам доставил главный персонаж. По своей социальной сущности он, конечно, Робин Гуд. Но лепить образ очередного благородного разбойника не хотелось. Героя пришлось изобретать. Правда, не совсем заново. Мы опирались на известные традиции литературы и кино. Дон Кихот, чаплиновский Чарли, князь Мышкин — вот три составных источника нашего героя. Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно. Этот человек — большой, чистосердечный ребенок. Его глаза широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова простодушны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин.

Как незвонкая фамилия, так и заурядная внешность героя должны были дезориентировать зрителя относительно преступных наклонностей самого персонажа. Мы придумали ему официальное занятие — страховой агент. Днем он принужден гарантировать возмещение тех убытков, которые будет наносить ночью.

Затем потребовалось заполнить в анкете нашего героя ту графу, которая свидетельствует о семейном положении. Поначалу думалось, что Деточкин женат, даже имеет детей, может быть, еще каких-то родственников. Но по мере того, как наш сюжет продвигался вперед, становилось все более очевидным, что нормальное семейное положение не для Деточкина. Он из тех идеалистов, которые сначала пытаются устраивать общественную жизнь, а потом уже личную. Поэтому мы обрекли своего героя на одиночество. У него есть мать, в некотором роде вариант самого Деточкина, только на пенсии. Есть женщина, которую он любит, но не посвящает в свои подвиги на ниве справедливости. Она водит троллейбус, и их свидания происходят на остановках согласного расписанию движения троллейбусов.

Деточкин, конечно же, условная фигура, но не настолько, чтобы не вызывать реальных жизненных ас-



социаций. Мы хотели поставить Деточкина на грани условного и безусловного, но так, чтобы в его реальность зритель верил.

Таким же образом обстоит дело с его психической полноценностью. С одной стороны, у него было сильное сотрясение мозга после аварии, с другой стороны, у него и справка есть, что он нормальный. Вот и думайте как пожелаете.

Он, если хотите, идеальный герой, который спущен с небес на прозаическую землю, чтобы обнаружить наши отклонения от социальных и человеческих норм. Деточкин — своего рода шкала человеческой честности...

Итак, наш первый с Брагинским киносценарий написан. Однако...

Редакторам Кинокомитета сценарий не понравился. Нам говорили: вообще-то сценарий интересный, но зачем Деточкин ворует автомобили? Гораздо лучше, если бы он просто приходил в ОБХСС и сообщал, что, мол, такой-то человек — жулик и его машина приобретена на нетрудовые доходы. Такой сюжетный поворот был бы действительно смешон и интересен. И потом, объясняли нам, в сценарии с Деточкиным полная путаница. Он положительный герой или отрицательный? С одной стороны, он жулик, с другой стороны, он честный. Непонятно, что с ним делать: посадить в тюрьму или не посадить? Короче, сценарий вызывал недоумение и недовольство. И тем не менее фильм под названием «Угнали машину» был запущен в подготовительный период. Велись кинопробы. На роль Деточкина мы утвердили Юрия Никулина, на роль следователя Подберезовикова — Юрия Яковлева. Однако незадолго до начала съемочного периода выяснилось, что цирк отправляется в многомесячные гастроли в, не помню уж точно, не то Японию, не то Аргентину. И Никулин тоже должен уезжать. А сценарий, между нами говоря, писался специально на него. Мы в процессе сочинения встречались с Юрием Владимировичем, читали ему первым новым придуманные сцены. Одновременно с кинопробами Никулин начал учиться вождению автомобиля. Никого другого в этой роли мы представить себе не могли. И вдруг такой удар — исполнитель уезжает. Ос-

вободить Никулина от зарубежных гастролей могло только очень влиятельное лицо. В это время у нас появился новый министр, пришедший из самого ЦК КПСС, Алексей Владимирович Романов. Что он из себя представлял, нам было неизвестно. Но если кто и мог спасти нашу картину, то, конечно, только он. К нему-то я и отправился. Представился. Объяснил ситуацию. Романов сказал, что, прежде чем помочь, он хотел бы ознакомиться со сценарием. Это казалось вполне логичным. Сценарий был немедленно доставлен министру. А еще через несколько дней произошла вторая встреча.

Алексей Владимирович сказал, что сценарий ему показался плохим. В первую очередь в воспитательном смысле. Ведь после выхода подобной картины советские граждане примутся угонять автомобили, фильм будет поощрять дурные инстинкты. Поэтому он не только не станет звонить в «Союзгосцирк», освобождать Никулина от гастролей, но и вообще остановит производство нашей ленты. Под предлогом того, что картина осталась без исполнителя главной роли, Кинокомитет картину «законсервировал». «Консервация» — это такая своеобразная форма, когда производство фильма временно останавливают. Но мы понимали, что нас, судя по всему, закрыли навсегда.

Брагинский и я очень расстроились. Зато потом мы благодарили судьбу, что случилось именно так! Если бы фильм не закрыли, мы бы никогда не додумались писать прозу. А тогда нам стало жаль потерять сюжет,

Примерка грима  
И. Смоктуновскому.  
Э. Рязанов,  
Э. Брагинский,  
оператор  
А. Мукасей  
и гример  
О. Струмцова



и один из нас сказал: «Не попробовать ли нам написать о Деточкине повесть?» И другой начал: «Читатели любят детективные романы. Приятно читать книгу, зная, чем она кончится. И вообще лестно чувствовать себя умнее автора...»

Четыре месяца мы потратили на то, чтобы по готовому сценарию, где были разработаны все коллизии и характеры персонажей, написать прозаическое произведение. Мы поняли, что проза нуждается в тщательной работе со словом, а юмористическая проза особенно трудна, потому что не терпит словесных оборотов, выражений и описаний, которые находятся вне комедийного жанра. Любая авторская ремарка, изображение пейзажа или обрисовка внешности героя, прослеживание действия требуют жанровой интонации, максимальной спрессованности фразы, чтобы в результате вызвать у читателя смех или, по крайней мере, улыбку. А это очень тяжело!

В комедийном киносценарии или пьесе юмористическую нагрузку помимо сюжета и характеров несет, главным образом, диалог. Ремарки же подчас пишутся не то чтобы небрежно, но во всяком случае весьма упрощенно: «Иванов вошел», «Анна охнула», «Семен в отчаянии присел на стул». И это можно понять — ведь ремарки не произносятся артистами, а играют. В прозе же каждое слово читается. Там нет подсобных или вспомогательных фраз, какие, к сожалению, часто встречаются в кинематографической и театральной драматургии.

На съемках  
фильма «Гараж».  
Э. Рязанов,  
Э. Брагинский  
и С. Немоляева



В дальнейших своих сценариях и пьесах мы с Брагинским пытались сделать смешной и описательную часть, а не одни лишь диалоги. Мы надеялись (может быть, тщетно!), что наши сочинения для кино и театра будут не только играть артистами, но и читаться публикой. Во всяком случае мы считали, что пьеса и киносценарий — полноценный вид литературы, не допускающий никаких скидок. И автор, пишущий для кино или для театра, обязан относиться к слову с такой же тщательностью и ответственностью, как и прозаик.

Короче говоря, несмотря ни на что, повесть «Берегись автомобиля!» была написана и журнал «Молодая гвардия» принял ее к публикации. Нас это очень обрадовало.

Но главным достижением для нас с Брагинским было вот что: во время работы мы сообразили, что каждый из нас дополняет другого, и «постановили»: нам надо писать вместе!

Должен сказать, что встреча с Эмилем Брагинским, создание прозы, которая предшествовала постановке фильмов или пьес, имели в моей творческой судьбе поворотное значение. Если до этого я был режиссером, который воплощал на экране чужие идеи, сюжеты, характеры, то начиная с «Берегись автомобиля» я стал не только режиссером-интерпретатором, но и режиссером-автором...

«Если бы Рязанов был мудрее, — писал потом Брагинский, — то эта творческая встреча состоялась бы много раньше. Потому что на самом деле Рязанов и Брагинский познакомились давным-давно в доме кинорежиссера Анатолия Рыбакова. На Рязанова эта встреча не произвела ни малейшего впечатления. На Брагинского тоже. Рязанов теперь жестоко раскаивается в этом. Брагинский тоже. Из-за невнимательности, из-за отсутствия чуткости, неумения заглянуть в чужую душу пропало ровно десять лет! И оба знают — потерянных лет не вернешь! И позже Рязанов частенько встречал своего будущего соавтора и ни разу не схватил его за руку, вскричав при этом: «Пойдем напишем что-нибудь выдающееся...» Нет, Рязанов говорил: «Здорово!», или «При-



вет!», или «Как дела?» — и шел себе дальше, не дождав-  
шись ответа...»

Нас с Брагинским частенько спрашивали: «А как же вы пишете вместе? Наверное, вдвоем сочинять значи-  
тельно труднее, чем в одиночку? Литературное творчест-  
во очень индивидуальный, интимный процесс, как же вы находите общий язык в прямом и переносном смысле?»

С самого начала работы наше содружество, как и всякая уважающая себя организация, приняло устав. Пункт первый — полное равноправие во всем. Вплоть до того, что работаем по очереди — день у одного, день у другого. От Совета Безопасности ООН мы позаимствова-  
ли право вето. Если одному из нас не нравится реплика, эпизод, сюжетный ход, даже отдельное слово — он накладывает вето, и другой не смеет спорить. Это очень важно для экономии времени и, кроме того, в окончательный текст попадает только то, что устраивает обоих.

Право вето действовало до последнего дня, ликви-  
дируя на корню конфликты. Благодаря ему мы за три-  
дцать пять лет совместной работы ни разу не поссорились.

Третье правило нашего устава — писать всегда сообща. Находясь друг против друга.

Если говорить о технической стороне работы — кто же именно водит пером по бумаге, то дело обстояло так: у Брагинского в кабинете один диван, у меня тоже один. Очень важно первому занять ложе. Тогда другой не имеет возможности лечь — некуда! И писать приходилось тому, кто сидит. Всем понятно, что писать в горизонтальном положении просто-напросто неудобно!

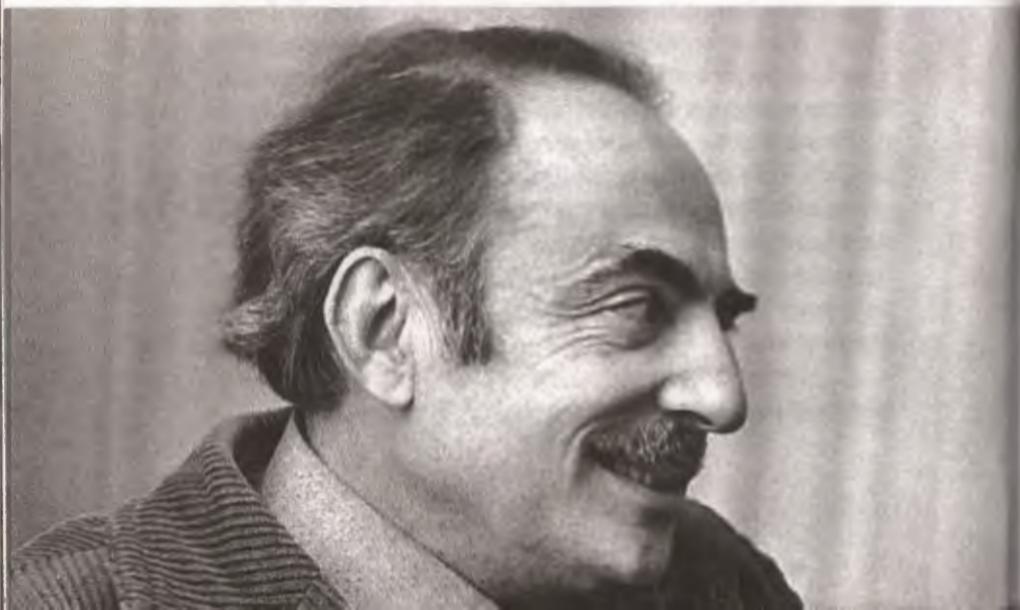
В юмористической литературе соавторство не такая уж редкость: Ильф и Петров, Масс и Червинский, Бахнов и Костюковский, Горин и Арканов. Очень трудно, находясь в одиночестве, сочинять смешное. Во время работы вдвоем всегда один из нас автор, а другой читатель. Причем эти роли ежесекундно меняются. Если, когда мы пишем, один засмеялся, значит, есть надежда, что в зрительном зале найдется хоть один человек, которому тоже будет смешно. Правда, бывает и так, что автору смешно, а в кинозале — гробовое молчание.

Нередко интересуются вот чем: не жалко ли было каждому из нас отдавать сокровенные мысли, собранные

наблюдения и находки в общий «котел» соавторства? Очевидно, для коллективной работы у обоих оказались неплохие характеры. Ведь сочинительство вдвоем — это умение уступать соавтору. Каждый из нас знал достоинства другого и старался не замечать его недостатков. Это тоже помогало нам избежать раздоров. Кроме того, ни я, ни Брагинский не страдали комплексом «ячества». Мы действительно не помнили, кто из нас что именно придумал, предложил, сочинил. Конечно, вкладывая в общий «котел» что-то очень личное, как бы «убиваешь» себя. Но никаких сожалений из-за подобных ежедневных, ежесекундных «самоубийств» мы не испытывали.

В свое время мы сочинили шуточную коллективную автобиографию. Вот она:

«...Эмилия Брагинского и Эльдара Рязанова связывает многое: во-первых, их имена начинаются на одну букву, а именно на «Э» обратное; во-вторых, они появились на свет буквально друг за другом. Рязанов родился 18 ноября, а следом, 19 ноября, издал свой первый, но отнюдь не последний крик Брагинский. Правда, Брагинский заорал в 1921 году, тогда как Рязанов еще целых шесть лет пребывал неизвестно где и впервые возвестил о своем появлении лишь в 1927 году; в-третьих, Брагинского и Рязанова объединяет то, что они ни внешне, ни внутренне не похожи друг на друга. Жизненный путь Брагинского был богат и извилист: сначала непонятно зачем он учился, но не доучился в медицинском институте и почему-то окончил юридический. Потом... рабо-



тал корреспондентом журнала «Огонек», а в свободное от службы время написал пьесы: «Раскрытое окно», «Встречи на дорогах», «Наташкин мост».

Путь Рязанова был тоже не прям: по недосмотру педагогов он окончил режиссерский факультет киноинститута и снимал документальные фильмы. Затем, работая на киностудии «Мосфильм», Рязанов создал несколько игровых фильмов, которые ошибочно называют художественными: «Карнавальная ночь», «Человек ниоткуда», «Гусарская баллада»...

В 1963 году одинокие скитания будущих соавторов кончились. Они наконец-то встретились и написали повесть «Берегись автомобиля». Во время совместной работы они, вопреки ожиданиям, не поссорились и решили продолжать в том же духе.

Так родился писатель с двойной фамилией: Брагинский-Рязанов. В последующие годы этот писатель сочинил повести и пьесы: «Зигзаг удачи», «Убийство в библиотеке», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Забывтая мелодия для флейты», «Тихие омуты». В свободное от занятий литературой время половина писателя, а именно Рязанов, поставила (потому что половина!) по этим произведениям одноименные кинокомедии. Исключение составляет «Убийство в библиотеке». Этой вещи не удалось проскочить через цензуру.

Но поскольку писатель Брагинский-Рязанов любит не только кино, но и театр, он написал пять пьес:



«С легким паром!», «Сослуживцы», «Родственники», «Притворщики» и «Аморальная история». Некоторые театры, некритически относясь к вышеназванным пьесам, играют их на своих подмостках...»

Попытаюсь рассказать на примерах работы с Брагинским, как протекает процесс выдумывания сюжета... Итак, мы решили сочинить вместе что-нибудь эдакое. Каждое утро мы с соавтором встречаемся. Один из нас с надеждой смотрит на другого, думая, что тот сейчас скажет что-нибудь умное. В комнате висит длительная унылая пауза, тупые глаза соавторов шарят по стенам, внутри полное ощущение собственной бездарности. Наконец один произносит:

— Мне рассказали интересный случай.

Глаза второго загораются в предчувствии удачи: сейчас мы схватим сюжет за хвост, как жар-птицу. Но не успевает первый закончить свой рассказ, как глаза другого гаснут и он только выразительно машет рукой. Тем не менее эта новелла вызвала в мозговых извилинах напарника какую-то реакцию, что-то там зацепила, и он в свою очередь извлекает из недр памяти забавную историю, которая произошла с его знакомым. Эта история тоже не тянет на сюжет, но отдельные ее элементы можно использовать. Ежедневно соавторы совершают жуткое насилие над памятью, пытаюсь вспомнить занятные случаи, газетные статьи, анекдоты, фабулы других произведений (нельзя ли трансформировать так, чтобы никто не заметил?), судебные процессы, происшествия, фельетоны, истории из собственного прошлого...

Каждый день соавторы, как это ни странно, умудрялись придумать по несколько сюжетов, но, как правило, все их браковали. Для этого есть множество причин. Во-первых, нужно, чтобы понравилось обоим. А это бывает крайне редко. Если одному сюжет не по душе — он хоронился, причем без музыки. Во-вторых, выяснялось: кто-то уже успел опубликовать нечто очень похожее. Здесь ужасно вредили эрудиция, образование, начитанность, привычка совать свой любопытный нос в печатные издания. Невежество в данном вопросе куда лучше, оно не обременяет. В использовании чужих сю-



жетов могло бы помочь также и отсутствие совести. Увы, мешало воспитание, данное родителями. В-третьих, к сожалению, необычайно была развита самоцензура — часто это портило, губило острые, интересные замыслы.

К тому времени, как останавливались на каком-либо сюжете, мы отметали несколько десятков других. Процесс выдумывания или нахождения сюжета длился несколько дней, а мог тянуться месяцами. Этот этап совершенно неуправляем, и планирование здесь потерпело бы фиаско. Для нас выбор сюжета всегда был моментом особой ответственности. Ведь когда мы решались взять в качестве основы определенную интригу, то, таким образом, обрекали себя на несколько месяцев труда. И в случае ошибки все это время было бы потрачено впустую, а подобной нелепой бесхозяйственности, конечно, допустить невозможно. Как же все-таки рождается сюжет? Каждый раз по-разному...

О том, как мы нашли историю для «Берегись автомобиля», уже рассказано.

В основу «Зигзага удачи» лег действительный случай, рассказанный нам приятелем. Один сборщик членских взносов регулярно и тайно занимал деньги из профсоюзной кассы. От сбора взносов до сдачи всей суммы в районный профсоюз проходило около месяца. Эту щель сборщик и использовал. На собранные деньги он покупал облигации трехпроцентного выигрышного займа. Если облигации не выигрывали, он их продавал, а деньги приносил в районную профсоюзную кассу. Если же облигация выигрывала, он брал выигрыш себе, опять-таки возвращая нетронутыми деньги членов профсоюза, и все оставалось шито-крыто. Эта история послужила толчком для сюжета. Казус, на котором построена фабула «Зигзага удачи», заключался в том, что человек купил облигацию, а на нее пал выигрыш в десять тысяч рублей. Однако облигация приобретена на членские взносы всего коллектива фотографии «Современник». Так кому же принадлежит выигрыш? Тому, кто купил облигацию, или всем пайщикам, внесшим членские взносы? Эта дилемма и становится пружиной драматических и комедийных событий в повести и фильме «Зигзаг удачи».

«Зигзаг удачи» рассказывал о том, как шальные

деньги сделали славных людей злыми и алчными. Но надо отметить, что симпатии авторов оставались на стороне героев картины, людей обычных, небогатых, задушенных бытом и нехваткой всего, включая деньги. Сочувствие наше было, вероятно, инстинктивным.

Это потом мы твердо поняли, что бедность, дефицит, перебои со всем необходимым, нищенские пенсии озлобили людей, сделали нас хмурыми, желчными, неприветливыми, скандальными, угрюмыми. Наш национальный характер из-за социальных бед и несчастий изменился в худшую сторону.

В «Зигзаге удачи» авторский голос говорил: «Давно известно, что деньги портят человека. Но отсутствие денег портит его еще больше!..»

Иной раз отправной точкой для воображения может послужить какой-то анекдотический случай, происшедший в жизни. Так, например, возникла пьеса «С легким паром!».

Нам рассказали историю об одном человеке (назовем его Н.), который после бани забежал к друзьям. А там шумела вечеринка — справляли не то день рождения, не то годовщину свадьбы. Помытый, чистенький Н. усердно начал веселиться и вскоре, как говорится, «ушел в отключку». В компании находился шутник Б. Он подговорил разгулявшихся друзей отвезти на вокзал пришедшего из бани Н., купить билет на поезд, погрузить спящего в вагон и отправить в Киев. Так они и поступили. Во время всей этой операции Н. не раскрыл глаз.

Несчастный, ничего не понимающий Н. проснулся в общем вагоне на самой верхней полке поезда, прибывшего в город на Днепре, вышел на привокзальную площадь и обнаружил, что, кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек, при нем ничего нет.

Мы с Эмилом стали фантазировать, что же могло произойти с этим недотепой в чужом городе, где у него нет знакомых, а кошелек пуст. Возникла мысль о сходстве домов и кварталов, об одинаковых названиях улиц в разных городах, о типовой обстановке квартир, о серийных замках, выпускаемых промышленностью. Нам показалось занятным запихнуть горемыку в такую же квартиру, как у него в Москве, и посмотреть, что из



этого получится. Но тогда надо оставить его в состоянии «несоображения». Так придумалось путешествие в самолете — ведь за час полета человек не успевает прийти в себя. И вот наш герой — мы ему дали фамилию Лукашин — очутился в чужой квартире, в чужом городе; им стал Ленинград, нам не хотелось разрабатывать эту ситуацию как серию несуразностей, несоответствий, как эксцентрическую комедию положений. Хотелось повернуть анекдотическую завязку сюжета к разговору о важных проблемах, пропитать пьесу лирикой и создать объемные характеры героев. Тут мы родили героиню — хозяйку ленинградской квартиры, Надю Шевелеву. Сразу стало ясно, что естественный скандал, который должен вспыхнуть между Надей, увидевшей на своей тахте незнакомца, и Женей, уверенным, что он у себя дома, в конечном счете приведет к любви. Однако, если бы Женя и Надя были людьми свободными, не связанными ни с кем, эта ситуация напомнила бы игру в поддавки: авторы нарочно свели в одной квартире юношу и девушку, чтобы они мгновенно влюбились друг в друга. И тогда мы осложнили ситуацию. Мы «подарили» Жене невесту Галю, а Наде «преподнесли» жениха Ипполита. То есть мы поставили себя как драматургов в трудное положение: за одну ночь мы должны были заставить героев расстаться с прежними привязанностями и полюбить друг друга. На этом этапе проявилась и главная мысль пьесы, ее идея. Хотелось рассказать о том, как в суматохе дней, их суете и текучке люди часто не замечают, что не живут подлинными чувствами, а довольствуются их суррогатами, эрзацами. О том, как важно найти в жизни настоящую любовь. Хотелось протестовать против стандартов не только внешних — архитектура, обстановка квартир, костюмы, — но и внутренних. Протестовать против морального равнодушия и компромиссов, с которыми примиряются многие в жизни.

Для того чтобы мысль прозвучала рельефнее, доходчивее, надо было сделать и Надю и Женю постарше. Если бы эта история произошла между молодыми людьми, лишенными жизненного опыта, не знающими метаний, ошибок, она бы воспринималась иначе, можно было бы понять ее как очередной флирт или временное

увлечение. Когда же героями оказались неустроенная женщина, уставшая от долгой несчастливой жизни, с думами о надвигающейся старости, и уже немолодой холостяк без семьи и детей, тогда все случившееся, как нам казалось, получило серьезный подтекст, стало ближе большинству людей. Мы стремились к тому, чтобы пьеса вызывала раздумья, заставляла зрителей соотносить сценическую историю с собственной жизнью. Но при этом мы не забывали, что пишем комедию, обязанную смешить. И еще мы сделали одну вещь: погрузили ситуацию в новогоднюю атмосферу. Это придало пьесе черты сказки, усилило лирическую интонацию, возник рождественский флёр.

Разработка этого сюжета предполагала плавное течение, большое количество точных подробностей и нюансов. Развитие фабулы можно было сравнить с подъемом по лестнице, где очень важно не перескакивать через ступеньки. Все время существовал соблазн — поскорее влюбить друг в друга главных героев. Но это было бы упрощением, неправдой. Процесс освобождения Жени и Нади от прежних влюбленностей, переход от взаимной неприязни к обоюдной заинтересованности, рождение первой нежности, ощущение партнера как хорошего, близкого человека, угрызения совести по поводу внезапного «предательства» бывших жениха и невесты, чувственное влечение, возникшее от первых шуточных поцелуев, наконец, осознание, что пришла настоящая, главная любовь жизни, — все это требовало от авторов детального, неторопливого и психологически верного рассмотрения.

Как видите, от первоначального жизненного случая, послужившего поводом для создания сюжета, в пьесе «С легким паром!» оставили лишь поход в баню и переезд героя в другой город...

В повести, послужившей основой для фильма «Вокзал для двоих», причудливо преломились, видоизменились истории, тоже случившиеся в действительности.

Ситуация, когда за рулем сидела женщина, сбившая человека, а вину принял на себя мужчина, бывший в машине пассажиром и любивший эту женщину, взята из жизни. Я знаю этих людей, но не буду называть их



имен. Вторая история, толкнувшая нас на написание сценария, произошла с талантливым поэтом Ярославом Смеляковым. Судьба его при сталинщине сложилась трагически. Он трижды сидел в лагерях и смерть Сталина встретил за колючей проволокой. В 53-м году, после смерти вождя, заключенные ждали амнистии, ждали изменений и вохровцы. В лагере, где отбывал наказание Смеляков, режим чуть-чуть смягчился, и поэтапустили навестить своих товарищей по несчастью Валерия Фрида и Юлия Дунского — будущих известных кинодраматургов, которые уже отбыли срок и жили на поселении в нескольких километрах от зоны. Но к утренней поверке Смеляков должен был стоять в строю пэков. Отсутствие его в этот момент считалось бы побегом, и срок отсидки автоматически увеличился бы. Обрадованные свиданием, надеждами на улучшение участи, бывшие лагерники и их гость хорошо провели время. Выпито было, вероятно, немало. Все трое проспали час подъема, и более молодые Фрид и Дунский помогли Ярославу Васильевичу добраться до лагеря, тащили его, ослабевшего, чтобы он поспел в срок к утренней поверке. Эту правдивую и одновременно невероятную историю мы слышали от непосредственных участников.

Вот эти два эпизода, а также давнее желание сделать фильм о вокзальной официантке стали отправными пунктами и привели к тому, что родился сценарий трагикомедии «Вокзал для двоих».

Когда я работал без Брагинского, я ставил иногда и драмы, например, «Жестокий романс», «Дорогая Елена Сергеевна» или «Предсказание». Но когда мы встречались для работы с Эмилем Вениаминовичем, мы всегда были верны комедийному жанру. Неважно, нацелились ли мы работать для театра, кино, телевидения или для издательства. И всякий раз, думая о том, чтобы читателю и зрителю было смешно и интересно, мы тем не менее старались избегать чисто развлекательных комедий. Проблемные же комедии, как и проблемные драмы, рождаются, как известно, в тех случаях, когда авторы стремятся не уйти от реальных жизненных противоречий, а разобраться в них. Естественно, что комедиографам разбираться приходится своеобразно.

разно. Надеюсь, читателю ясно, что комедийное разрешение конфликта не имеет ничего общего с облегченным подходом к нему. Конфликт можно заострить драматически, а можно комедийно. Это уж зависит от того, что уместнее для данного сюжета, а также от наклонностей авторов. Но и в том и в другом случае конфликт необходимо углубить, а не притуплять и не сглаживать. Только тогда можно рассчитывать на общественно полезный итог своей работы. Разумеется, сочиняя, мы не верили, что искусство и литература, высмеивая, могут сделать из дурака умного. По нашему убеждению, художники должны апеллировать не к совести бесчестного лжеца, не к человечности бездушного бюрократа, не к разуму дурака — они должны адресоваться к чувству юмора умного, порядочного, сердечного человека. Пародийный образ руководителя народного театра из «Берегись автомобиля» (в исполнении Евгения Евстигнеева) не уничтожит свой жизненный прототип, но, надеюсь мы, поможет другим увидеть его таким, каков он на самом деле. Идеальный спекулянт, которого играет в том же фильме Папанов, не разбудит совести у реальных торговцев, но наверняка углубит представление о них.

На недобрых людей не только важно указать пальцем, важно их и обезвредить, сделав смешными. И сатирический перст в этом случае довольно сильное оружие. Иными словами, комедия призвана вооружать хороших, умных людей против чванливых глупцов, самодовольных корыстолюбцев, спесивых бюрократов, малограмотных нуворишей. Однако, кроме едкой сатиры, комедия может и должна подтрунивать над слабостями, недостатками, прегрешениями славных и добрых людей, посмеиваясь над ними без яда, без злости, но тоже достаточно определенно и хлестко.

И тут часто приходится слышать такие упреки: что же вы поставили умного человека в дурацкое положение и смеетесь над ним? Но ведь в дурацкое положение можно поставить именно умного человека. Дурак находится в нем всю жизнь...

Вместе с Эмилем мы сочинили эксцентрическую комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», ленту, насыщенную смешными трюками.



Кроме того, трагикомическая киноповесть «Старики-разбойники», где сыграли блистательные Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев и Ольга Аросева, — тоже плод нашего совместного труда.

Кстати, хочу поведать вполне очаровательную историю, случившуюся с нами в очаровательную осень 1972 года.

Мы с Брагинским жили в Дубултах, в писательском Доме творчества, и сочиняли сценарий об итальянцах в России. В это время в Ригу приехал на гастроли Псковский театр драмы. На гастрольной афише театра мы увидели название нашей пьесы «Сослуживцы». Это была приятная новость, и мы с Брагинским решили, что обязательно съездим в город, посмотрим спектакль. Почему получилось так, что мы не обратились к администрации театра, а просто купили билеты в кассе, я не помню. Но несомненно, этим нашим поступком управляла рука судьбы! Неслыханно, чтобы автор покупал билеты на свою пьесу. Это просто не принято! Обычно автор приходит в дирекцию театра, называет себя, его «хватают под белые ручки» и усаживают на лучшее место. А после спектакля предупрежденные руководством актеры начинают аплодировать, показывая на сидящего в зале сочинителя. И тот, как бы смущаясь, как бы не ожидая подобного подвоха со стороны исполнителей, выползает на сцену, жмет руку герою, целует ручку героине, аплодирует остальному ансамблю, делая вид, что онто, дескать, ни при чем. Мол, все они, артисты. Это в достаточной мере отработанный ритуал.

Но мы пошли на свой спектакль непроторенным путем, то есть через кассу. Я тогда не вел «Кинопанораму», народ меня в лицо не знал и, слава Богу, пальцем не тыкал. Мы находились в театре, как говорилось ранее, инкогнито. Никто из труппы не подозревал, что авторы уже проникли в фойе. Мы купили красочную картонную программку, которую украшали шаржи на актеров, занятых в пьесе. Под каждой карикатурой были помещены стихотворные эпиграммы. К примеру, под гротесковым портретом артистки В. Ланкевич, играющей Калугину, шли такие строчки:



Я — директор в учреждении,  
 Все работники у меня в подчинении.  
 И хоть «против» есть и «за»,  
 Зовут все мымрой (за глаза).

Актрис М. Романову и Т. Римареву, исполняющих роль Верочки, сопровождали следующие стихи:

Я секретарша Верочка, и задаю я тон.  
 У Веры для проверочки к услугам телефон.  
 По ультрамоде Верочка одета весь сезон,  
 И снится, снится Верочке не телефон, а он!

Под шаржем на артиста М. Иванова красовалось:

Я оптимист! Но робок немножко.  
 Два сына у меня и кошка.  
 Экономист решал задачу:  
 Как кошку прокормить  
 И двух детей в придачу?

В программке указывалось, что авторами стихов являются два артиста, играющие роли Новосельцева и Самохвалова, а именно вышеупомянутый М. Иванов и Ю. Пресняков. Мы по наивности решили, что они авторы только эпиграмм. Но, как вскоре выяснилось, мы их недооценили. Во всяком случае, уже по одному лишь виду программки становилось ясно, что зрителя ждет встреча с комедией, с веселым представлением. Когда мы просочились в зал и уселись на свои места, мы сразу посмотрели на сцену. Как известно, занавес в современном театре давно отменили за ненадобностью, но в данном случае декорацию закрывало от глаз зрителя какое-то подобие занавеса. Над сценой висело огромное белое полотно (по-моему, были сшиты три простыни), на котором большими буквами было намалевано четверостишие. Его мы с Брагинским вроде бы не писали. Привожу стишок с той своеобразной пунктуацией, которая была принята в Псковском театре:

Смехом, умей бить!  
 Смехом, умей видеть!  
 Смехом, умей любить!  
 Смехом, умей ненавидеть!

Мы догадались, что это, вероятно, эпитафия к спектаклю, который тоже сочинен двумя артистами. В том, что они писали вдвоем, мы с Эмилем не видели ничего плохого. В конце концов, мы тоже пишем дуэтом.

Далее простыня с эпитафией уехала наверх и начался долгожданный спектакль. Сначала мы не могли понять, в чем дело. Играли, казалось, нашу пьесу. И действующие лица те же самые, которых мы сочинили. И говорили они как бы о том, о чем мы писали. Но что-то было не то! Мы не сразу поняли, что артисты играли нашу пьесу «Сослуживцы», пьесу, написанную прозой, пьесу, где мы долго бились над тем, чтобы диалог звучал как можно более разговорно, — так вот, артисты играли ее в стихах!

Нашему изумлению не было границ! Мы переглянулись, чтобы убедиться, не галлюцинация ли это? Потом мы посмотрели на зрителей, которые, по нашим расчетам, должны были возмутиться, шикать, размахивать руками, свистеть, улюлюкать. Но нет, зрители внимательно и доброжелательно следили за артистами, ожидая, как развернутся события дальше. Они ведь не подозревали, что вирши, которые изрекали действующие лица, сочинены не нами. И что мы, авторы пьесы, так же, как и они, зрители, слышим их сейчас впервые. Более того, с нами эти стихи никто даже не согласовывал. Мы находились в остолбенении! Эти два актера проделали невероятно трудную и, с нашей точки зрения, столь же бессмысленную работу! Мы, конечно, не могли объективно судить о качестве стихов, мы были слишком к этому не готовы. И нас можно понять. Однако нам эти стихи крайне не понравились! Но вдруг стихотворный текст кончился и послышались знакомые нам реплики. Пьеса потекла по привычному руслу. Мы стали успокаиваться, решив, что театр придумал этаким своеобразным прологом в стихах, а дальше пойдет все, как у нас. Но не тут-то было. Только мы расслабились и стали оценивать игру артистов, как вдруг постановка опять вскочила на поэтическую лошадь (кажется, ее звали Пегас). Актеры задекламировали в рифму. Смысл наших фраз был насильственно запихнут в стихотворный размер. Доверчивая публика сидела как ни в чем не бывало, думая, что так и положено. Захотелось

вскочить, прервать спектакль, заорать, что мы этого не сочиняли. Но мы не посмели решиться на такой поступок! Мы вжались в кресла, стараясь сделаться поменьше, и покорились печальной судьбе. Спектакль шел то в стихах, то в прозе. Шел так, как хотел он, а не мы. Мы корчились, порывались уйти, но в конце концов покорились и заставили себя испить горькую чашу до дна. В антракте, стоя в очереди в буфет, мы повторяли друг другу особенно полюбившиеся нам стихотворные строчки. Вроде таких:

САМОХВАЛОВ:

Как заместителю мне важно для карьеры  
Созданье деловой и «нужной» атмосферы.  
Не нужен мне оклад в четыреста рублей,  
Мне нужен штат лишь из «своих» людей.

Прошли мы и через все круги второго акта. Спектакль, поставленный Вениамином Вениаминовым, наконец-то кончился. Зрители горячо аплодировали, представление явно имело у публики успех. Мы посоветовались, как нам поступить. Конечно, надо было немедленно идти за кулисы, устраивать скандал и запрещать это стихотворное графоманство. Но мы подумали: вот явятся два столичных автора, будут сердиться, нервничать, кричать, «топать ножками». А что толку? Спектакль идет уже второй сезон. Театральный Псков, вероятно, этот наш позор уже повидал. В провинциальных городах редкий спектакль держится на сцене больше двух сезонов. «Сослуживцев» все равно скоро снимут. И это безобразие кончится само собой. А два рифмоплета, которые, кстати, неплохо сыграли свои роли, вероятно, получают какие-то деньги за незаконное соавторство с нами. Что же это получится — мы залезем в их карман? А какие гроши получают актеры, в особенности в провинции, мы хорошо знали. Грабить артистов?! С нашей стороны это было бы нехорошо! Мы глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга и понуро побрели к гардеробу. И сделали вид, что нас здесь не было, мы ничего не видели и, главное, не слышали, что мы ничего не знаем об этой «своеобразной» постановке...



Должен признаться, этот мирный финал ледящей душу истории — целиком заслуга Брагинского. Ибо у меня характер взрывной и вспыльчивый. И если бы рядом не было Эмиля, то неизвестно, чем бы эта история закончилась...

После фильма «Забятая мелодия для флейты» наши пути с Эмилем разошлись. Почти восемь лет мы не работали вместе. Причем разошлись мы не из-за какого-то конфликта или ссоры.

Разошлись мы, пожалуй, из-за того, что наши творческие интересы стали не совпадать.

Кстати, я предложил Эмилю принять участие в работе над «Небесами обетованными», но этот материал его не заинтересовал. Эмиль отказался. Он в свою очередь предлагал мне свои проекты, но они не заинтересовали меня.

Однако это никак не повлияло на наши личные отношения. А когда осенью 1997 года мне пришел в голову сюжет новой комедии о любви, то я сразу же подумал:

— Это нам надо сочинять вместе с Эмилем.

Эмиль принял мое предложение с радостью, и мы стали писать «Тихие омуты». Оба волновались, как пойдет наша работа после столь долгого перерыва. Но казалось, разлуки не было, как будто мы лишь вчера кончили нашу последнюю вещь. Почти полгода трудились мы над сценарием, сделали несколько вариантов. В апреле 1998 года сценарий был готов.

Когда мы работали над «Тихими омутами», Эмиль был в прекрасной форме. Ясность ума, чувство юмора, свежесть восприятия, игра воображения — все это было присуще ему в полной мере. Вообще трудились мы весело и дружно, пожалуй, как никогда, много смеялись сами, когда сочиняли перипетии, случившиеся с нашими героями. Хотелось, чтобы наше хорошее настроение передалось читателю и зрителю.

12 мая Эмиль уехал с Ирмой, своей женой, которая прошла с ним вместе долгий жизненный путь, в Бельгию и Францию. Он поехал не по делам, а просто так — отдохнуть, как говорят, проветриться, отключиться от работы.

А 26 мая после славной симпатичной поездки Брагинские прилетели в Москву.

Настроение у Эмиля было превосходное, он острин, легко шагая по шереметьевскому аэровокзалу. Около пограничного контроля, как ни странно, не было очереди. Эмиль протянул паспорт в окошечко девушке-пограничнице, пошутил с ней, забрал паспорт и пересек границу России. И вдруг внезапно рухнул и, не приходя в сознание, скончался. В Шереметьевском аэропорту нет службы «Скорой помощи», ее вызвали из Москвы, но было уже поздно.

Как-то несколько лет тому назад я отвечал на анкете, где был вопрос: «Как бы Вы хотели умереть?» Я ответил: «Мгновенно и на Родине». Эмиля настигла легкая счастливая смерть. Но, как и всегда, она оказалась преждевременной. Смерть поторопилась...

Однажды, во время работы над «Тихими омутами», Эмиль обмолвился, что если, не ровен час, с ним случится такая «крупная неприятность», как смерть, он просит меня выхлопотать ему место на Ваганьковском кладбище. Я ответил: «Конечно, конечно», — и тут же забыл об этом, ибо разговор был явно не актуален. Однако, когда случилось несчастье, вспомнил его последнюю просьбу. Дело в том, что Ваганьковское кладбище в центре города, поэтому с местами там всегда проблема. Но все утряслось, и последнее пристанище Эмиля находится именно там, где он хотел, совсем близко от могилы Булата Окуджавы.

Мы сочиняли вместе 35 лет. Случались перерывы в нашей работе, мы расставались, и я работал с другими соавторами, а он с другими режиссерами, но мы ни разу не поссорились. Споры случались очень часто, творческих несогласий, несовпадения мнений было сколько угодно. Вспыхивали и обиды, и взаимные претензии — как же можно прожить бок о бок тридцать пять лет без этого, — но ни одной настоящей ссоры, ни одного серьезного конфликта не произошло. И, думаю, в первую очередь это заслуга Эмиля, ибо характер его — не конфликтный, не амбициозный, лишенный каких бы то ни было взрывков.

В свое время мы написали совместную шуточную автобиографию в цифрах. Цифры менялись в зави-





симости от прожитых лет, но суть оставалась. Вот эта автобиография в цифрах 1998 года:

«Писателю Брагинскому-Рязанову 147 лет. Хотя сам писатель, в сущности, моложе каждого из соавторов. Он родился лишь в 1963 году и прожил, следовательно, 35 лет. Первые слова, которые произнес этот литератор, были: «Берегись автомобиля». Писатель весит 179 килограммов. Его рост 346 сантиметров. По его сценариям поставлено 9 фильмов не только в кино, но и на телевидении. Писатель сочинил также 6 пьес и 11 иронических повестей. У писателя двое детей — мальчик и девочка (им 91 год) и двое внуков — девочка и мальчик (им 32 года). Писатель Брагинский-Рязанов работает только в комедийном жанре, непоколебимо убежденный, что юмор — кратчайший путь к сердцу зрителя или читателя».

**Э Р**  
ЛЬДАР ЯЗАНОВ  
ЧЕМ ЖИВУ И ЖИВ

**Берегись автомобиля**



**ЭМИЛЬ БРАГИНСКИЙ,  
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ**

## **БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ**

**ПОВЕСТЬ**

### **ГЛАВА 1 детективная**

Читатель любит детективные романы. Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится. Вообще лестно чувствовать себя умнее авторов...

Итак, стояла темная ночь. Накрапывал дождь. Тускло светили редкие фонари — зачем освещать город, когда все равно темно?

По обе стороны улицы молча высились дома-близнецы с черными провалами окон. Оставалось загадкой, как счастливые новоселы находят свой дом, тем более ночью. Но одинокий прохожий с портфелем в руках шагал уверенно. Было совершенно очевидно, что он знал, куда и на что идет! Около ворот одного из домов прохожий остановился и огляделся по сторонам. Глаза его, как водится, горели лихорадочным блеском. Он прижался к стене, стараясь остаться незамеченным. Это ему удалось. Он вошел во двор. Огромная тень скользнула по белой плоскости дома. Неизвестный подкрался к стоящему в самой глубине двора типовому гаражу и снова огляделся.

Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление.

Первым делом злоумышленник достал из портфеля бутылку с подсолнечным маслом и, аккуратно открыв пробку, полил им замок и петли ворот гаража. Потом он надел перчатки и, вынув из того же портфеля отмычку, вскрыл замок. Подсолнечное масло было высшего сорта, и ворота гаража распахнулись бесшумно. Неизвестный перевел дух...

В это время на шестом этаже беспокойно ворочался в постели Филипп Картузов — неправдоподобно толстый человек. Ему снилось, что у него угоняют машину. Это был тот редкий случай, когда сон в руку!

Услышав звук заведенного мотора, Филипп про-

снулся и, вскочив с кровати, подбежал к раскрытому окну.

Из его собственного гаража выезжала его собственная «Волга»!

— Угоняют машину! — беспомощно закричал Филипп.

Как был, в одних трусах, он скатился вниз по лестнице и выбежал под дождь. Машина приветливо подмигнула своему бывшему хозяину красным огоньком и скрылась. В этот момент у места происшествия, конечно, совершенно случайно, не оказалось ни одного милиционера. Зашлепав босыми ногами по лужам, потерпевший припустился к перекрестку.

На углу в стеклянном стакане дежурил регулировщик. Не подозревая ничего дурного, он только что дал зеленый свет украденной машине.

Увидев голого человека, милиционер с нескрываемым любопытством высунулся из своего стакана и сочувственно спросил:

— Вас раздели?

— У меня угнали машину!

— И раздели?

— Нет, я сам!..

В настоящем детективе регулировщик, как Тарзан, выпрыгнул бы из стеклянной будки и, с размаху угодив в седло мотоцикла, устремился в погоню.

— А ну дыхните! — привычно повелел милиционер.

Картузов покорно дыхнул. Он не в первый раз дышал в лицо милиции. Не учуяв алкоголя, регулировщик стал звонить куда надо... На милицейские посты всех шоссе, убегающих из Москвы, был сообщен номер украденной «Волги».

А виновница торжества мчалась в южном направлении. Фары редких встречных машин на мгновения освещали мужчину, прильнувшего к рулю. Эти мгновения были столь коротки, что разглядеть лицо похитителя не представлялось возможным. Стрелка спидометра замерла на цифре «130». Машина глотала километры. Погони пока еще не было, но преступник не сомневался — погоня будет! И вот коварный крутой поворот...



Уважаемый читатель! Когда ты угоняешь машину, соблюдай правила уличного движения!

Не снижая скорости, «Волга» пошла на поворот! Визг тормозов, но... поздно! Машина перевернулась! Задранные кверху колеса продолжали стремительно вращаться, но сейчас машина обходилась без них! Царапая крышей асфальт, «Волга» продолжала нестись по шоссе с угрожающей быстротой! И это ее спасло. Машина снова перевернулась и, приняв нормальную стойку, как бешеная, поскакала дальше...

**ГЛАВА 2**

**в которой, как и надо ожидать, появляется следователь, человек с пронзительными глазами**

Бесконечно разнообразен мир городского пассажирского транспорта (в алфавитном порядке):

- Автобусы
- Велосипеды
- Верблюды
- Грузовики
- Дороги канатные
- Коляски детские
- Коляски инвалидные
- Лифты
- Лошади
- Метро
- Мопеды
- Мотоциклы
- Мотоциклы с коляской
- Мотороллеры
- Олени северные
- Ослы
- Поливочные машины
- Речные трамваи
- Служебные машины
- Собаки ездовые
- Такси
- Трамваи
- Троллейбусы
- Фуникулеры
- Хождение пешком...

Но человеку всего этого мало. Он, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Очевидно, это свойственно только мыслящим организмам. Ничем другим не объяснить желание каждого индивидуума иметь собственный автомобиль. Разговоры, что машина экономит время, ссылки на классиков, что «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» — только разговоры и ссылки.

Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.

Видя эти колебания автовладельцев, можно подумать, что сделано еще не все, чтобы отравить радость собственника. А между тем, и в этой области достигнуты немалые успехи. Гаражей нет и не будет. Помыть машину негде, а ездить на грязной машине дорого.

— Скажите, — вежливо осведомляется сержант милиции у автовладельца, рискнувшего выехать утром на неумытой машине, — вы сами по утрам умываетесь?

— Я опаздываю на работу! — голос у любителя умоляющий, он действительно опаздывает.

— И зубы вы чистите? — спокойно спрашивает сержант, он-то никуда не торопится.

— Мне некогда...

— Да, вам некогда помыть машину. Ваши права!

— Ну оштрафуйте меня, я же опаздываю! — каключит нарушитель. Противно просить, чтобы тебя штрафовали. Но сержант милиции сделает одолжение и удовлетворит просьбу!

Шофер, а любитель тоже шофер, всегда виноват, даже тогда, когда он прав. На любом перекрестке можно наблюдать, как регулировщик отчитывает водителя, но никто никогда не видел обратной картины. Любитель не может быть культурным, если не стал им до того, как приобрел свой транспорт.

У владельца нет свободного времени. Когда он не чинит машину, не полирует ее, не заправляется бензином, не накачивает шины, не рыскает по городу в поисках запасных деталей, не развозит по домам знакомых или знакомых своих знакомых, он испытывает страх.



Обыкновенный животный страх, что машину уведут. Каждый собственник убежден, что вору приглянулось именно его движимое имущество. Поразительное самонадеяние!

Каких только замков не увидишь на личной машине! В этой области техническая мысль находится на уровне нашего кибернетического века. Тут и тайные реле, и прерыватели, и замки с алгебраическим шифром, и фантастические запоры на руле, похожие на ракетные установки. И только некоторые любители-консерваторы ставят на дверцы машин дедовские амбарные замки.

Существует и такое приспособление: от машины на четвертый этаж, прямо в окно, тянется электрический провод. Когда вор лезет в автомобиль, в квартире хозяина пронзительно воеет сирена. Хозяин просыпается, высовывается в окно и лично наблюдает, как угоняют его машину...

Ровно в девять утра невыспавшийся, мятый Картузов волочил свое измученное тело по коридору следственного отдела районной прокуратуры. У дверей с табличкой «Подберезовиков М. П.» высокий костлявый субъект, выбросив, как шлагбаум, длинную руку, преградил Картузову путь.

— ...ините, мне ...оже ...обходимо в этот ...бинет! — загадочно и нежно проблеял Пеночкин, ибо фамилия костлявого шлагбаума была такова.

Филипп оторопел. Ему почудилось, что Пеночкин говорит по-заграничному, а по-заграничному Филипп не понимал.

— ...идется ...отерпеть! — в своей экономной манере предложил Пеночкин. Он проглатывал начала слов и крепко поднаторел в этом деле.

— Но у меня угнали машину! — выпалил Картузов и изумился, что понимает не по-русски.

— ...оразительное ...впадение! — ехидно заметил Пеночкин. — У меня ...оже угнали! Я вас ...ошу, ...аймите ...ередь!

Картузов только сейчас увидел, что на стуле, прижатом к стене, понуро сидит еще один тип и неодобрительно смотрит на новичка.

— Но у него ведь не угнали машину! — вскричал Филипп.

— ...али! — эхом отозвался Пеночкин.

— Этого не может быть!

— ...очему это у вас ...ожет, а у ...ругих нет? — обиделся Пеночкин.

— У меня угнали сегодня ночью!

Шлагбаум снисходительно погладил Картузова по голове:

— Вот у него ...крали ...шину ...осемь ...есяцев ...назад, а у ...еня ...етыре ...есяца. Так что у вас ...асса ...времени ...ереди! ...алуйста!

И Пеночкин указал Филиппу на стул. Картузов послушно сел.

А по ту сторону двери за письменным столом возвышался изможденный шатен с пронзительными, как у следователя, глазами.

Совсем недавно Максим Подберезовиков отправил на небезызвестную скамью группу матерых валютчиков... И вчера как молодого и подающего надежды его бросили на безнадежный участок работы вместо несправившегося Чуланова. Дело об угоне двух машин было непопулярным в следственном отделе, как всякое дело, которое не удастся раскрыть. Теперь, словно в честь назначения Подберезовикова, ночью была украдена еще одна «Волга», по счету третья.

Подберезовиков резво взял старт. На рассвете он примчался на место преступления, нагнал страху на управдома и допросил потерпевшего Картузова. Тщательно собрав с петель ворот гаража остатки подсолнечного масла, Подберезовиков отправил их на срочное исследование.

Помощница Максима Таня сняла отпечатки пальцев преступника. К сожалению, не удалось сфотографировать отпечатки следов его ног, — они были затоптаны босыми ступнями Филиппа.

В девять часов утра следователь снова был в своем кабинете.

Только что доставили результаты исследований. Масло оказалось рафинированным. Также удалось установить, что вор действовал в хлопчатобумажных перчатках. Такие перчатки производит фабрика № 7 Мос-



горшвейпотребсоюза, и они безуспешно продаются во всех галантерейных магазинах.

Следователь усиленно размышлял над обстоятельствами ночной кражи. Ему было ясно, что здесь, как и в предыдущих случаях, орудует одна и та же рука, опытная и умелая.

— Таня, сведений с шоссе не поступало? — спросил Максим.

— Пока ничего нет, — ответила его помощница.

В детективном романе у следователя непременно должен быть друг, помощник или подчиненный. У Шерлока Холмса им состоял доктор Ватсон. Такой человек необходим следователю. Не для помощи — следователь и сам найдет преступника в последней главе. Но перед кем он раскроет свой выдающийся талант криминалиста? Вряд ли его олимпийским спокойствием и несравненной храбростью станет восхищаться сам преступник! В последние годы на роли ближайших друзей следователя стали претендовать юные девушки. У современных Холмсов — прехорошенькие помощницы, часто из числа студенток-практиканток. Это удобнее, чем держать в доверенных лицах мужчин. Ведь сокрытие преступления как нельзя больше способствует зарождению чувства, именуемого любовью. Чем тяжелей преступление, тем сильнее и ярче любовь! Было бы грубым нарушением традиции, если бы Таня не любила Подберезовикова. Поэтому она и любила его молчаливой любовью. О чем он, естественно, не догадывался.

— Я верю в вас! — нарушила молчание Таня. — Вы найдете преступника!

Подберезовиков, в который раз, не заметил скволившего в словах девушки всепоглощающего чувства.

— Вы обратили внимание, Таня, — сказал ушедший в себя следователь, — что во дворе, где произошла кража, рядом на улице ночует много безгаражных машин?

— Да, — с недоумением произнесла Таня.

Помощник следователя должен быть немного глуповат.



— А ведь украсть машину, стоящую на улице, было легче, нежели из гаража...

— Верно, — радостно сказала Таня, пораженная тонким ходом мысли любимого начальника.

Тут следователь посмотрел на огромный портрет Станиславского, который почему-то висел в его кабинете.

— Если здесь применить учение Константина Сергеевича о сверхзадаче, возникает любопытная мысль: преступник идет по пути наибольшего сопротивления. А почему? Вот раскрыв его сверхзадачу, мы и поймаем преступника!

— Как я сама не догадалась! — восхитилась Таня. Однако Подберезовиков не клюнул на лесть.

— Между прочим, — продолжала девушка, — потерпевшие собрались у нас в коридоре.

— Все? — спросил следователь.

— Там и серая «Волга», и та, у которой помят передний бампер, и последняя.

Мысль о встрече с клиентами не привела Подберезовикова в восторг, но уклоняться от опасности было не в его обычаях.

— Зовите их всех сразу! Как говорится, одним махом!

Потерпевшая тройка цугом вбежала в кабинет. Следователь встал из-за стола.

— Давайте знакомиться!

— Мы очень рады, что назначили именно вас, — поклонился ветеран, который ждал уже восемь месяцев.

— Мы ...адеемся, что вы ...авдаете ...аше ...оверие!

Максим посмотрел на Пеночкина и, скрыв улыбку, заверил:

— Я ...уду ...тараться!

Потерпевшие дружно сели, располагаясь для долгой беседы.

— У вас есть какие-нибудь новости? — поинтересовался Максим.

— Нет! — хором ответили потерпевшие.

— Я думаю, будет полезнее, — жестко отчеканил следователь, — если вы с утра станете приходить на работу к себе, а не ко мне. Когда вы понадобится, я вас вызову!

— ...нятно. — Пеночкин поднялся первым. — До свидания!

— До свидания, — подхватил дуэт, и расстроенные потерпевшие гуськом потянулись к выходу. Таня плотно прикрыла за ними дверь, но в кабинет тотчас постучали.

— Войдите! — крикнул Максим.

Это вернулся Картузов.

— Ночью я позабыл вам сообщить деталь. Может, она поможет...

— Слушаю вас.

Филипп стыдливо покосился на Таню.

— У меня на левом заднем крыле гвоздем процарапано неприличное слово!

— Какое? — строго спросил следователь.

### ГЛАВА 3

#### в которой мы знакомимся с Юрием Деточкиным, страховым агентом

Прошла неделя. Человек, как известно, ко всему привыкает. Картузов привык к тому, что у него угнали машину. Больше того, это горестное происшествие по-своему украсило его жизнь. Он стал ощущать себя невинной жертвой произвола, и это возвысило его в собственных глазах. Он начал рассказывать своим сослуживцам о событиях знаменательной ночи. Постепенно рассказ обрастал новыми деталями. Когда появилась сцена, в которой Картузов стрелял из ружья в преступника, но промахнулся, у сослуживцев сдали нервы, и они начали избегать страдальца. Тогда Картузов стал делиться своей бедой с людьми незнакомыми. За отсутствием машины, он ездил теперь на работу автобусом.

За шесть остановок можно было поведать эффектную историю со всеми подробностями. Кроме того, у Картузова появилась уважительная причина, чтобы ежедневно уходить со службы в прокуратуру. Запрет следователя не подействовал и, потерпевшие упрямо торчали в его коридоре.

Но Подберезовиков не мог сообщить ничего утешительного.

Прошла неделя...

Пассажирский лайнер ТУ-104 приближался к Москве.

— Наш самолет, следующий по маршруту Тбилиси — Москва, прилетает на Внуковский аэродром, — профессионально сияя от счастья, объявила стюардесса. — Пассажиры просят пристегнуться!

И пассажиры стали послушно пристегиваться, словно это поможет в случае катастрофы.

Худой человек с простодушным унылым лицом старательно привязал себя к креслу. Потом он достал из портфеля бухгалтерскую ведомость на выплату командировочных и в графе «фамилия» аккуратно вывел «Деточкин Ю. И.»

В рубрике «количество дней» он поставил цифру «7». Его сосед, пожилой южанин, повернул к нему бритую голову.

— Из командировки едешь?

— Да, домой, — застенчиво улыбнулся Деточкин, расписываясь в ведомости и скрепкой подкалывая к ней авиабилет.

Самолет крепко встряхнуло. Южанин болезненно поморщился, — он плохо переносил полет.

— Вы читали в «Вечернем Тбилиси», — Деточкин счел долгом вежливости продолжить беседу, — при заходе на посадку разбился самолет «Боинг-707»?

— Слушай, не надо, не люблю я этих разговоров!

— А я воспитываю себя так, — кротко разъяснил Деточкин, — чтобы смотреть опасности прямо в глаза! Тем более от нас ничего не зависит, все в руках летчика. Вы застраховали свою жизнь?

— Слушай, зачем пугаешь? Зачем нервы мотаешь? — простонал попутчик, изнемогая от воздушной болезни.

— Страхование — прекрасная вещь, — вдохновенно продолжал Деточкин, вынимая из портфеля гербовую бумагу, — вот ты гибнешь при катастрофе, а твоя семья получает денежную компенсацию!

Побледневший южанин ничего не ответил.

— Может быть, застрахуемся от несчастного случая? — предложил Деточкин. — Можно оформить здесь, пока мы еще в воздухе!

— Слушай, — догадался южанин, — ты страхово-  
вой агент, что ли?

— Да. — Младенческая улыбка осветила лицо  
Деточкина, и он похорошел.

— Я так скажу, дорогой, — сосед рассердился, —  
ты не страховой агент, ты, дорогой, хулиган! Если мы  
разобьемся, кто ее найдет, эту бумагу? А если мы не ра-  
зобьемся, я буду зря деньги платить?!

— Но вы же не в последний раз летите, — Деточ-  
кин ободряюще глядел на него наивными и грустными  
глазами.

Тут самолет провалился в воздушную яму. Южа-  
нин вцепился в подлокотники.

— Зачем я лечу? Зачем, я спрашиваю?

— В самом деле, зачем? — Деточкин был не  
чужд любопытства.

Южанин мечтательно улыбнулся.

— Сын в институт поступает!

— В какой? — спросил вежливый Деточкин.

— Я подберу самый лучший!

Деточкин улыбнулся.

— Вы что же, летите за него сдавать экзамены?

— Не будь наивным! Экзамены — это случай-  
ность. А в важном деле нельзя полагаться на случай!

В проходе между сиденьями появилась стюардес-  
са с подносом в руках. На подносе лежали мятные кон-  
фетки. Деточкин потянулся к конфетке, но сосед схва-  
тил его за руку и отослал стюардессу.

— Понимаешь, девушка, не нуждаемся!

Он изловчился, снял с полки чемодан и раскрыл.

— Бери, страховой агент, это лучше будет! Че-  
модан был заполнен черешней.

— Своя? — спросил Деточкин, отправляя ягоду  
в рот.

— У нас в стране все свое... — уклончиво отве-  
тил хозяин черешни.

Самолет накренился, и южанин опять застонал:

— Ненавижу летать и круглый год летаю.

— Бывает... — Деточкин уплетал черешню.

— Это потому, что каждому овощу свое время.

Мимоза — одно время, помидор — другое, а мандарины — они вообще сами по себе!

— Вы бы на поезде ездили, — посоветовал Деточкин.

Видя, что аппетит у него отменный, сосед захлопнул чемодан.

— Я-то могу на поезде, черешня не может!

В иллюминаторе показался аэродром.

— Ну как, — спросил Деточкин, — все-таки будем страховаться? Самый последний момент — самый опасный.

— Опоздал, дорогой! — усмехнулся южанин. Самолет уже катился по бетонной дорожке. — Я подумаю. Ты ко мне заходи.

— На Центральный рынок? — лукаво спросил Деточкин.

— Зачем на Центральный? Я всегда на Тишинском работаю!

Как это ни странно, но, не успев ощутить под ногами твердую почву, многие пассажиры вновь поднимались в воздух. Эти смельчаки добирались в центр Москвы не на автобусе, а вертолетом. Деточкин был среди них, а южанина среди них, конечно, не было.

Через тридцать минут Деточкин прибыл в центр города. Тысячи москвичей в хорошем московском темпе бежали по улицам, скрывались в тоннеле подземного перехода, выбегали из-под земли и вновь исчезали в кратере метро. К остановке один за другим подъезжали троллейбусы. Сквозь их стеклянные стены, как товары в витрине, были видны пассажиры.

Деточкин терпеливо стоял на остановке и чего-то ждал. Прошло около часа. За означенное время от остановки отъехало двадцать три троллейбуса. Ни в один из них Деточкин не сел. Когда подошел троллейбус, двадцать четвертый по счету, Деточкин засуетился. Он сошел с тротуара, обежал машину спереди и заглянул в окошко водителя.

— Люба! — сказал Деточкин ненатуральным голосом. — Здравствуй, Люба! Я вернулся!

Водитель, воспетый современным поэтом: «она в спецовочке такой промасленной, берет немислимый



такой на ней», не обратила на Деточкина никакого внимания. Она нагнулась к микрофону и объявила:

— Товарищи, побыстрее заполняйте машину! Не скапливайтесь в хвосте!

А потом, позабыв отодвинуться от микрофона, продолжила в той же интонации:

— Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны!

Деточкин просветлел лицом и обрадованно кинулся к входу. За его пробегом следил весь троллейбус. Когда Юрий Иванович финишировал возле двери, створки плавно захлопнулись перед его носом. Пассажиры захохотали. Троллейбус медленно отошел от остановки. Глядя в зеркальце, Люба наблюдала за тем, как уменьшалась сутулая фигура Деточкина.

Смотря вслед троллейбусу, Юрий Иванович был полон неправильных, пессимистических мыслей по поводу своей личной жизни. Понимая, что Люба появится здесь не раньше чем через полтора часа и поэтому примирение надо отложить на вечер, Деточкин побрел к себе на службу. Известно, что работа — лучшее лекарство от душевных невзгод. Если тревожно на сердце, легче всего забыться при встрече со своим начальником.

Когда Юрий Иванович вошел в комнату, где сидели его коллеги по районной инспекции Госстраха, арифмометры перестали трещать, все сотрудники обрывали разговоры на посторонние темы и начали, как по команде, с соболезнованием глядеть на Деточкина. Наступившая тишина ему не понравилась. Желая избежать расспросов, он быстро проследовал через комнату и толкнул дверь в кабинет начальника.

Руководитель инспекции, Яков Михайлович Квочкин, встретил Деточкина репликой, полной сарказма:

— Ну? Как ваш тбилисский дядя?

— Дядя плох! — сокрушенно ответил Деточкин.

— В прошлый раз была тетя?

— Двоюродная сестра. Она скончалась...

— Все мы смертны, — вздохнул начальник. —

Если бы люди не умирали, мы бы не страховали их на случай смерти! Вы не станете отрицать, Деточкин, что я проявляю к вам чуткость. Каждый раз, когда заболе-

вают или помирают ваши родственники, я предоставляю вам отпуск за ваш собственный счет.

— Это верно, — согласился Деточкин, — вы на редкость чуткий руководитель!

— Но родственников у вас много, а штатных единиц у меня мало. Ваши отъезды срывают нам план.

— Яков Михайлович, — пообещал Деточкин, — я нагоню!

— Идите и нагоняйте! — Начальник отпустил подчиненного, ограничившись поучением общего характера: — Помните, я не позволю ставить родственные интересы выше общественных!

Выйдя на улицу, Деточкин с облегчением подумал, что в жизни все компенсируется. Вот встреча с Любой — она оказалась хуже, чем он предполагал. Зато встреча с начальником не принесла ожидаемых неприятностей. Одним словом, ничья — 1:1. Но оставалось главное — надо было позвонить домой. Деточкин вошел в автоматную будку, набрал номер и, взяв себя в руки, беспечно сказал:

— Мама, это я! Я приехал из командировки! За мной, я хотел сказать, ко мне никто не приходил?

— Кому ты нужен? — последовал энергичный ответ. И никому не нужный Деточкин, сразу успокоившись, отправился нагонять свой производственный план.

#### ГЛАВА 4

#### в которой следует обратить внимание на бежевую «Волгу» № 49-04-МОТ

Огромные масштабы жилого строительства сильно удлинняли ежедневный рабочий пробег страховых агентов. Деточкин трудился, не жалея ног.

Новосела страховать особенно трудно. Получив новую квартиру, счастливец не желает думать о пожаре, землетрясении или наводнении. Тем более противно думать о собственной кончине.

Войдя в дом № 17 по Тополиной улице, Юрий Иванович поднялся лифтом на самый последний этаж. Как почтальоны и разносчики молока, Деточкин всегда совершал обходы сверху вниз.

Он начал с квартиры № 398.

— Здравствуйте, товарищ Ерохин! — поздоровался Деточкин, у него была уникальная память на фамилии тех, кого он намеревался заполучить в клиенты.

— Здравствуйте, — ответил Ерохин, тоже обладавший неплохой памятью, — только я страховаться не буду!

Ерохин был человек заводской, откровенный и не любил подтекста.

— Во время пожара все сгорит! — уже без всякой надежды сказал Деточкин.

— Новое купим! — оптимистически парировал неподдающийся Ерохин.

— Человек может умереть, — напомнил Деточкин.

— А я еще поживу, — не сдавался упрямец, — мне всего пятьдесят два...

— Прекрасная мысль, — подхватил Юрий Иванович, — вы отлично выглядите. На вид вам значительно меньше. Можно застраховаться на дожитие!

— На что? — первый раз с интересом спросил Ерохин.

— Ну, например, доживете до семидесяти лет, получите страховое вознаграждение. А не дотянете — ну... — Тут Деточкин развел руками.

— Это что же, вроде пари?

— Ну, вроде...

— Значит, если я помру до срока, — рассуждал вслух Ерохин, — выиграете вы? А если я доживу до семидесяти, выиграл я, так?

— Так, — согласился Деточкин и хлопнул в ладоши, — будем оформляться! Установим размер ваших взносов, направим вас на медицинскую комиссию...

— До свидания, — ласково сказал Ерохин и повернулся к Деточкину спиной.

После квартиры № 398 следовала квартира № 397. В ней жили застрахованные люди. В свое время Деточкин победил их с первого захода. Супруги Семицветовы, Инна и Дима, владели неплохим имуществом, и им не хотелось, чтобы оно сгорело безвозмездно. Супруги были молоды и хороши собой, так же, как их новая однокомнатная квартира. Инну украшали синие модные глаза удлинненной формы. Именно потому она носила

синие ресницы, синие серьги, синие кофточки и синие чулки. Чтобы не потеряться рядом с эффектной женой, Дима употреблял ярко-красные галстуки и очки в квадратной золотой оправе.

Выписывая Семицветовым квитанцию на очередной платеж, Деточкин думал о Любе. Ему все нравилось в ней, даже ее троллейбус. «С прошлым надо кончать, пора жениться!» — Деточкин принимал такое решение после каждой командировки. Занятый мыслями об устройстве личного счастья, он не замечал странного поведения своей клиентуры. Супруги то и дело по пояс высывались в окно.

Наконец Дима не выдержал. Если у человека есть возможность похвастать, он ею воспользуется, не заботясь о последствиях.

— Товарищ агент!.. — Дима поманил Деточкина.

Деточкин подошел и покорно выглянул в окно. Внизу у подъезда стояла свеженькая «Волга».

Инна и Дима, жмурясь от удовольствия, следили за впечатлением, какое произведет «Волга» на Деточкина. И действительно, она произвела на него впечатление. Деточкин тупо смотрел на машину. Он не ожидал подвоха от Семицветова, и особенно в день своего приезда.

— Я смотрю, ваше благосостояние растет! — мрачно изрек Юрий Иванович, не сводя глаз с проклятого автомобиля.

— Как и всего народа! — радостно откликнулся Дима. — Иду вперед семимильными шагами!

Вопреки желанию мозг Деточкина начал лихорадочно трудиться в нежелательном направлении.

— Бежевая... — задумчиво произнес Деточкин, — цвет неброский... Вы все время держите ее под окном?

— Скоро поставлю гараж, — пообещал Дима.

— Может, застраховать нашу машину на случай угона? — озабоченно спросила его жена.

— Страхование индивидуальных автомобилей, — машинально затараторил Деточкин, думая о другом, — производится только на случай гибели или аварии в результате столкновений или стихийных бедствий.

Дима усмехнулся.

— Я не настолько богат, чтобы оплачивать стихийные бедствия!

Он не без гордости продемонстрировал посетителю замок невиданной сложности.

— Достал для гаража. Японский! К нему ключей не подберешь!

— Трудно подобрать! — грустно согласился Деточкин, со знанием дела изучая замок. — И отмычка его не возьмет. Тут автоген нужен! А автогеном резать — это такая возня...

Деточкин безнадежно махнул рукой и, попросившись, ушел в подавленном состоянии.

— Наша машина его доконала! — удовлетворенно констатировала Инна.

— Чему ты удивляешься? — Диме было пора на работу, и он начал переодеваться. — Это рядовой труженик. Для него «Волга» несбыточная мечта. Где ему взять пять с половиной тысяч?

Дима надел белую рубашу и, завязывая галстук, отдал распоряжение по хозяйству.

— Тебе, Инночка, есть боевое задание. Заедешь в книжный к Ангелине Петровне и возьмешь Экзюпери про принца. Запиши фамилию, забудешь!

— Милый, не остри. Фамилию Экзюпери я знаю наизусть!

Дима завершил свой туалет итальянским плащом «болонья» с золотыми пряжками на погонах. Сейчас Семицветов походил на респектабельного молодого карьериста международного отдела той организации, где имеется такой отдел. Поцеловав жену, Дима ушел.

На улице он увидел Деточкина. Страховой агент как зачарованный стоял возле машины и не мог отвести от нее взгляда.

— Вас подбросить? — предложил Семицветов, пряча снисходительную улыбку.

— Нам не по пути! — поспешно ретировался Деточкин.

Бежевая «Волга» № 49-04-МОТ с плюшевым тигром, прильнувшим к заднему стеклу, плавно покатила по столице.

Дима проезжал знакомыми местами...

Вот родильный дом имени Грауэрмана. Здесь двадцать семь лет назад акушерка шлепнула по заду новорожденного Семицвєтова...

Вот памятный угол. Здесь маленький Димочка впервые сам купил мороженое и сделал свой первый практический вывод: мороженое не отпускают задаром. А Дима очень любил крем-брюле...

Остановив машину у светофора, Дима с умилением вспоминал, как он похитил деньги из маминой сумочки, чтобы купить пломбир, и его снова шлепнули по заду, только значительно больше...

Дали зеленый свет, и Семицвєтов поехал дальше. Вот букинистический магазин. Дима сбывал сюда книги, подаренные ему ко дню рождения, и книги из отцовской библиотеки, которые стояли во втором ряду и никогда не вынимались. Это осталось незамеченным, и Дима сделал второй практический вывод: не пойман — не вор!

А вот палатка «Утиль», Дима сдавал сюда вторичное сырье.

И здесь он сделал свой третий практический вывод: деньги не пахнут!

Через несколько минут бежевая «Волга» приблизилась к зданию Института связи. Дима притормозил. Да, прошло уже четыре года, как он закончил этот институт. Дима отлично помнил тот по-весеннему солнечный день, когда председатель комиссии, вручая ему назначение, дружески улыбнулся.

— Вы, Семицвєтов, в Семипалатинск. Но это совпадение — чисто случайное...

И тогда Дима сделал свой четвертый практический вывод: человек сам кузнец своего счастья...

Поглядев на часы, Семицвєтов заторопился — было без десяти одиннадцать. Миновав комиссионный магазин, «Волга» № 49-04-МОТ свернула в переулок, проехала целый квартал и только затем остановилась.

Тщательно заперев машину, Семицвєтов повернул обратно и направился в комиссионный магазин. Он миновал отдел готового платья, не взглянул на витрину в отделе фарфора и фаянса, ничем не поинтересовался в секции мехов и скрылся в служебном помещении.

Минуто спустя с Димой Семицвєтовым произош-



ла удивительная метаморфоза. Он перестал походить на дипломата. Теперь на нем висел штапельный тускло-голубой форменный халат с эмблемой магазина. С лица исчезло выражение самонадеянности, появилось выражение услужливости. Дима зашел за прилавок отдела магнитофонов, радиоприемников, телевизоров и занял свое рабочее место. Все-таки Дима не зря закончил Институт связи.

Уже четыре года он применял за этим прилавком свои высокие технические познания.

Начался беспокойный день. Дима то и дело выбегал на угол смотреть — цела ли машина? Мысль о том, что пять с половиной тысяч попросту брошены на мостовой и к тому же снабжены колесами, не давала ему покоя. Бросаться деньгами было не в его привычках. И вместе с тем, как человек скромный, Дима не хотел ставить свою машину возле магазина.

В пятом часу вечера, когда Дима показывал покупателю узкоплечную кинокамеру, объявился Димин тесть — Семен Васильевич Сокол-Кружкин.

— Прост-таки бездельничаешь среди бела дня! — обычно и безапелляционно, на весь магазин объявил тесть.

Дима не нашелся, что ответить. В душе он презирал своего ближайшего родственника, но при встречах с ним тушевался от его командных замашек.

Семен Васильевич решительно отнял у покупателя камеру и так же громко вынес свой приговор:

— Барахло! Не советую!

Обратив в бегство кинолюбителя, Сокол-Кружкин дружески заорал:

— Семицветов, гони полсотни!

— Пожалуйста, потише, — зябко сказал Дима. — Кроме того, Семен Васильевич, я вам уже давал деньги!

Сокол-Кружкин так поглядел на зятя, что прения были прекращены.

— А вы достали? — тихо спросил Дима.

— Допустим, бой стекла! — расправил свои могучие плечи Сокол-Кружкин. Он был горд, что добыл для дачи дефицитный строительный материал.

— А зачем нам битое стекло? — позеленел Дима.

— Ты, Семицветов, прост-таки болван! — не стес-

няясь, как и всякий громкоговоритель, подытожил тесть. Продавцы и покупатели с интересом поглядели на Диму. — Попался бы ты ко мне в батальон, я бы, допустим, сделал из тебя человека!

— На осколки я деньги не выдам! — прошипел Дима.

— А я уже отобрал осколки побольше! — захохотал Сокол-Кружкин.

— А теперь такое время, — ехидно напомнил ему Дима, — что на каждое стеклышко нужен оправдательный документ!

— Документов, допустим, будет больше, чем стекла! — и Семен Васильевич протянул здоровенную ладонь, в которой могло поместиться значительно больше, нежели пятьдесят рублей.

— Я бы просил вас, — шепотом сказал Дима, вручая требуемую сумму, — по делам приходите домой, а не в магазин.

— Кругом за прилавок шагом марш! — гаркнул тесть, спрятал деньги в карман и ушел, стуча подкованными каблуками.

Дима, чтобы успокоиться, сбегал на угол, поглядел на машину и купил мороженое. Он съел любимое с детства крем-брюле и с некоторым опозданием сделал свой пятый практический вывод: жениться надо на сироте!

## ГЛАВА 5

### в ней впервые встречаются Деточкин и Подберезовиков

Юрий Иванович Деточкин заканчивал работу. В последней квартире долго не открывали. Потом на пороге появился сам хозяин, С. И. Стулов, с недовольным лицом человека, которого оторвали от дел неслыханной важности.

— Я из Госстраха! — представился усталый Деточкин, привыкший к любому хамству жильцов.

— Молодец! — послышалось в ответ.

Деточкин вздрогнул от неожиданности и уставился на хозяина квартиры.

С. И. Стулов не обладал представительным экстерьером, но вид имел вполне достойный.

— Так вот и ходишь из квартиры в квартиру? — спросил Стулов.

— Так и хожу! — недоуменно ответил Деточкин.

— Молодец! — тихо одобрил Стулов.

Тут Деточкин понял, что имеет дело с лицом значительным. И не ошибся. Стулов всегда говорил не повышая голоса. Он знал, что подчиненные его услышат. Стулов регулярно возглавлял какое-либо ведомство и, активно трудясь, доводил его до состояния краха и разгона. Он был незаменим при реорганизации, преобразовании и перестройке. Он умел начинать любое новое дело, продолжить его Стулов не умел. Сейчас он находился в состоянии невесомости. Одно ведомство разогнали, другое еще не создали. Стулов сидел дома и привычно ждал назначения. Он еще не знал, чем будет руководить, но знал, что будет!

— Так вот и привлекаешь народные средства? — спросил Стулов, демократично пригласив Деточкина в комнату.

— Пытаюсь.

— Молодец! И давно работаешь?

— Два года.

— Молодец! Ты и меня будешь страховать?

— Постараюсь!

— Молодец!

Уже застраховавшись и провожая Деточкина к выходу, Стулов оценил свою сознательность:

— Так вот, не подкачал я!

— Молодец! — не сдержался Деточкин и быстро ушел. Стулов опешил. Его самого еще ни разу не награждали этим словом.

Юрий Иванович добирался домой на метро. Под грохот поезда думал о своей маме. Деточкин любил маму. Конфликта поколений в их семье не существовало.

Мама ждала Деточкина. Когда он отпер дверь, мама вышла в коридор и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала сына в щеку.

— Все-таки я не могу понять — какие у страхового агента могут быть командировки в Тбилиси? Обед на столе. Что ты стоишь, иди мой руки!



Во время обеда мама продолжала говорить без умолку. Деточкин и не пытался вставить слово. Он знал, что мама все равно не слушает собеседника, довольствуясь собственным мнением. Было странно, что при таком качестве характера мама не сделала карьеры. Всю жизнь она работала плановиком в Министерстве нелегкой промышленности и лишь недавно вышла на пенсию. Теперь чуть ли не всю свою пенсию Антолина Яковлевна тратила на печатные издания. Она боялась отстать от быстротекущей жизни.

— Ешь, — говорила мама, — не сутулься! Твои командировки кажутся мне подозрительными. Корчной выиграл международный турнир. Я болела за Таля. Он отстал на пол-очка. И эти командировки кажутся подозрительными не только мне.

— Кому еще? — испугался Деточкин.

Но мама уже поехала дальше.

— Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь луковый суп по рецепту великого писателя Дюма-отца.

— Очень вкусно, — отозвался Деточкин-сын.

— Командировки кажутся подозрительными Любе. Она права, что не желает идти замуж за недотепу.

— Она это тебе говорила? — печально спросил Юрий Иванович.

В дверь позвонили. Деточкин вздрогнул и перестал есть исторический суп.

Пришла соседка из квартиры сверху:

Мама Деточкина — артистка Любовь Добржанская. Деточкин — артист Иннокентий Смоктуновский



— Антонина Яковлевна, у вас не найдется щепотки соли?

Соседка целый день моталась по квартирам, выпрашивая одну луковицу, таблетку пирамидона, чаю на заварку, две морковки, ложечку сахарного песка или ломтик хлеба.

У нее всегда не хватало только необходимых вещей. Остальное имелось в изобилии. Для нее переезд из коммунальной квартиры в отдельную обернулся трагедией.

— Спасибо, я отдам, — поблагодарила соседка, которая почему-то всегда забывала отдавать.

Хлопнула дверь. Деточкин снова вздрогнул.

— Это ты всегда такой после твоих командировок! — Мама гневно потрясла седой мальчишеской стрижкой. — Я говорила с Любой, она не хочет идти за тебя замуж, ты ненадежный человек!

— Но почему?! — вскричал Деточкин.

— Ешь второе! Перестань горбиться! Енисей перекрыли, а я не видела. Я пойду к твоему начальнику и скажу, чтоб тебя не гоняли в разные города, ты потом нервный!

Деточкин поперхнулся. Он верил, что мама может пойти к начальнику.

— Ты поставишь меня в неловкое положение... — сказал он, умоляюще глядя на маму.

— Вот, я купила на рынке черешню! Дерут спекулянты!

Люба —  
артистка  
Ольга Аросева



Ягода оказалась Деточкину знакомой.

— Мне кажется, я уже ел эту черешню. Спасибо. — Он встал.

— Куда ты идешь? — требовательно спросила мать.

— Мама, мне уже тридцать шесть!

— Спасибо, что ты мне сообщил это, — поблагодарила мама, блеснув озорными глазами.

— Я всегда рад сообщить тебе что-нибудь новенькое, — немедленно включился Деточкин. — Я ведь беру пример с тебя!

— Тебе до меня далеко! — сказала мама. И они расстались, довольные друг другом...

Смеркалось. Деточкин вышел из дома и огляделся по сторонам. Приняв меры предосторожности, он поднял воротник пальто. Шляпы на нем не было, иначе он бы надвинул ее на лоб. Слившись с толпой, Юрий Деточкин зашагал в неизвестном направлении. Из другого конца большого города в еще более неизвестном направлении шел Максим Подберезовиков. Они двигались навстречу судьбе. Они сближались.

В киоске у входа в метро продавали «Вечернюю Москву». Деточкин встал в очередь. Подберезовиков встал за ним. Им дали два экземпляра газеты, сложенные вместе. Деточкин разнял их и одну газету отдал Подберезовикову.

Они ехали рядом на эскалаторе. Оба читали. Они вошли в один и тот же вагон. Сели напротив друг друга. На следующей остановке в вагон вошла женщина с ребенком. Деточкин и Подберезовиков вскочили одновременно, уступая женщине место. Хорошее воспитание подвело Юрия Ивановича. Подберезовиков мельком взглянул на него. Через несколько секунд он вторично поглядел на своего соседа, теперь внимательней. Деточкин ощутил на себе взгляд. И как бы невзначай подвинулся к двери. Подберезовиков уже не выпускал его из поля зрения. Деточкин чувствовал это спиной, обернуться он не смел. Выйдя на перрон, Деточкин все-таки не удержался и посмотрел назад. Подберезовиков шел следом. Стараясь не бежать, Деточкин покинул станцию метро. На улице было почти темно. Толпы не было, и на этот раз смешаться было не с кем. Деточкин по-

вернул налево. Подберезовиков повторил его тактический маневр. Деточкин свернул за угол и перешел на примитивный бег. Невдалеке показалось спасительное здание районного Дворца культуры. Оно было построенно в эпоху архитектурных излишеств. Деточкин спрятался за одно из них. Он стоял за колонной, не выглядывал и не дышал. Выждав несколько минут, он, крадучись, вошел во дворец. Первым, кого он увидел, был Подберезовиков.

У каждого следователя обязательно есть увлечение, которому он посвящает время, свободное от розыска преступников. Шерлок Холмс, например, играл на скрипке, Максим Подберезовиков — в самодеятельности.

Чтобы сохранить равновесие, испуганный Деточкин оперся на Доску почета активистов-аккордеонистов. Подберезовиков молча смотрел на Деточкина. Он продолжал мучительно вспоминать, где он видел этого человека? С ним происходило то же, что часто бывает с каждым. Навязчивое желание восстановить в памяти дурацкий мотив, название скверной книги или фамилию гражданина, с которым тебя ничто не связывает, нередко портит в общем счастливую жизнь. Пока не вспомнишь то, что тебе не нужно, не можешь делать то, что тебе необходимо. Подберезовиков напрягся. Его усилие не пропало даром.

— Я узнал вас! — издал торжествующий клич Максим.

Лицо Деточкина стало серым, как фотография на Доске почета:

— А это не я!

— Не отпирайтесь... Это вы говорили: «А судьи кто?»

Обмякший Деточкин неудержимо сползал вниз.

— Я про судей ничего такого не говорил!

— Говорили, говорили. — Подберезовиков подхватил Деточкина. — Это же вы играли Чацкого!

— Ах, Чацкого? — До Деточкина дошел наконец смысл слов Подберезовикова. — Я совсем забыл.

И Деточкин захохотал. Глядя на него, засмеялся и Подберезовиков. Они дружно ржали, испытывая взаимную симпатию.

— Так вы на репетицию... — заливался Деточкин.

— Ага! — покатывался Подберезовиков.

— Значит, будем играть вместе... — корчился Деточкин.

— В одном спектакле, — умирал от смеха Подберезовиков.

Вечеря времени коснулись и коллективов самодеятельности. Их стали укрупнять. Создавались народные театры.

Самодеятельный коллектив милиции, где выступал Подберезовиков, слили с самодеятельностью таксомоторного парка, где подвизался Деточкин. Все вместе стало называться Народный Большой театр. И сегодня милиционеры впервые встречались с таксистами.

Главный режиссер собрал энтузиастов сцены в пустом зрительном зале.

— Товарищи! — заявил режиссер. — Есть мнение, что народные театры вытеснят наконец театры профессиональные! И это правильно!.. Естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Кроме того, артисты должны где-то работать. Неправильно, нехорошо, если они весь день болтаются в театре, как это было с Ермоловой и Станиславским. Насколько бы лучше играла Ермолова вечером, если бы днем она стояла у шлифовального станка.

Деточкин и Подберезовиков, которые сидели рядом, рассмеялись.

— Товарищи! — продолжал режиссер. — Звание народного театра ко многому обязывает. Кого вы только не играли в своих коллективах, лучше не перечислять! Не пришла ли пора, друзья мои, замахнуться на нас... Вильяма... нашего Шекспира?

— И замахнемся! — поддержал зал.

Создание народного театра прошло безболезненно. Когда народные артисты дружной гурьбой высыпали из дворца, совершенно нельзя было разобрать, кто из них милиционер, а кто таксист.

— Я люблю сцену! — возбужденно рассказывал Деточкин своему новому приятелю Максиму Подберезовикову. — Выходишь под луч софита в другом костюме, в гриме и парике — никто тебя не узнает!



Максим охотно с ним согласился.

— Я рад с вами познакомиться! — искренне сказал Юрий Иванович.

— Мы еще встретимся! — пообещал Подберезовиков. Они разошлись, помахав друг другу рукой. Пятнадцать минут спустя Деточкин, достав из кармана ключ, успешно отпирал дверь чужой квартиры. Он вошел в прихожую, беззвучно закрыл дверь и замер. Он не услышал ничего, кроме ритмии собственного сердца. Потом он поглядел на вешалку. На ней одиноко висело женское пальто. Деточкин не взял его. Даже наоборот. Он снял свой плащ и повесил рядом. Затем скинул ботинки и сунул ноги в шлепанцы. Вдоль стены Деточкин подкрался к комнате и... боязливо постучал. Никто не отозвался. Он отважился постучать вторично. И опять никакого ответа. Тогда Деточкин расхрабрился. Он слегка приотворил дверь и, извиваясь, протиснул в щель свое худосочное тело.

В комнате пахло чем-то яблочным, сладким и семейным. Втянув носом воздух, Деточкин решил остаться здесь навсегда...

Люба, упакованная в уютный домашний халат, сидела за столом и с аппетитом уплетала пирог собственного производства. Деточкину нравилось смотреть, как вкусно ест Люба.

У каждого бывает внутренний враг. Своим врагом Люба считала надвигающуюся полноту, хотя Деточкин категорически не разделял этой точки зрения. Люба истязала себя спортом и крутила до одури металлический обруч хула-хуп. Ровно в одиннадцать часов утра Люба останавливала свой троллейбус и, к ужасу пассажиров, быстро делала производственную гимнастику. Ценная инициатива передового водителя была поддержана управлением и внедрялась в жизнь по всем маршрутам.

Но ничто не помогало Любе. Она ограничивала себя по всем, кроме еды.

— Явился? — сказала Люба, налегая на пирог. — Где пропадал?

— Добрый вечер, Люба. Я был в командировке.

— Садись, если пришел, — разрешила Люба.

— Спасибо. — Деточкин присел на краешек стула.

— Пей чай.

— Спасибо.

— Ешь пирог!

— Спасибо. Большое спасибо, — изблагодарился Деточкин. Люба пододвинула к нему варенье. — Спасибо, — еще раз повторил затюканный Деточкин.

Чтоб как-то начать беседу, он неуверенно сказал:

— В Москве тепло. Можно сказать, жарко. А в Тбилиси просто жара!

— Я так и думала, что ты был в Тбилиси.

— А куда еще ехать?

— Тебе виднее. Может, ты в этом Тбилиси уже штампик в паспорт проставил?

Измученный таким оборотом дела, Деточкин полез в пиджак и предъявил Любе свой неженатый паспорт.

— Это ничего не значит, — вздохнула Люба, — можно и без печати.

— Что ты, Люба! Без печати ничего нельзя!

— Нет, Юрий Иванович, что-то ты от меня скрываешь...

— Понимаешь, Люба, — стал запинаться Юрий Иванович, — я вот первый раз поехал... в командировку... был уверен, что больше никогда не поеду... А потом еще раз поехал, как получилось — сам не знаю... Характер у меня, что ли, такой... вспльчивый... Ну и делаю глупости. Сам понимаю — глупо, и все-таки еду... в командировку...

— Подумай, что ты несешь! — вскричала Люба.

Стало очень тихо. Оба, и Люба и Деточкин, размышляли о неудавшемся счастье.

— Юрий Иванович! — официально заявила Люба. — Верни мне ключ!

— Насовсем? — дрожащим шепотом спросил Деточкин.

— Да, насовсем, — подтвердила Люба.

Глядя в непреклонные глаза, Юрий Иванович встал и положил ключ в тарелку, рядом с пирогом. Затем потоптался па месте, ожидая помилования. Затем попятился к выходу, не теряя надежды, что его остановят. Надежда не оправдалась, и он оказался в коридоре. Там он снял шлепанцы и долго-долго надевал ботинки. Никто ему не мешал. Взяв свой плащ, Деточкин вышел на лестничную площадку. Траурно хлопнула дверь.

Оставшись одна, Люба заплакала. Это было банально, зато естественно.

Раздался звонок.

Люба пошла открывать.

У двери сиротливо стоял Деточкин.

— Ты зачем звонишь? — горько спросила Люба.

— Но у меня же теперь нет ключа...

## ГЛАВА 6

### **В которой выясняется, что жить можно не только по паспорту, но и по доверенности**

По субботам и воскресеньям миллионы горожан, утомленных бензином, рвутся вон из любимого города.

Через тысячи лет археологи раскопают стоянки современных дикарей и досконально изучат состояние консервной и ликеро-водочной промышленности середины двадцатого столетия.

Однодетные и болеедетные горожане вынуждены общаться с природой весь летне-каторжный сезон. Они желают, чтоб их отпрыски максимально резвились среди чудом сохранившихся березок.

Те же грядущие археологи еще хлебнут горя с расшифровкой памятника неизвестному мученику, опутанному бронзовыми авоськами и бронзовыми детьми на фоне абстрактно-барельефной электрички. Этот монумент пока не воздвигнут. Но при первой возможности его изваяет какой-нибудь заваливший член Союза художников.

Летне-каторжный сезон начинается в январе, а иногда и раньше, ибо дачу нужно снимать загодя. Чем раньше, тем шире выбор. Дачевладельцы делятся на упрямец, которые не сдают жилплощадь в аренду, на чудачков, сдающих по сходной цене, и на сволочей. Последние снимают денежные пенки с каждого миллиметра своей легальной частной собственности, выступающей под псевдонимом собственности личной.

Как и вся страна, Дима Семицветов был охвачен строительной лихорадкой. Страна строила коммунизм, Дима — дачу. Каждому свое, как поговаривал в аналогичных случаях Сокол-Кружкин.

Еще в школе Дима учил: коллектив великая сила! Один в поле не строитель! Задумав вложить свои сбереже-

ния в недвижимую собственность, Дима возглавил дачно-строительный кооператив из себя самого и своего тестя.

Благодарное отечество выделило подполковнику в отставке Сокол-Кружжину тридцать соток Подмосковья. Получив надел, Семен Васильевич пошел по стопам Мичурина. От великого селекционера он отличался не только тем, что не был новатором. Сокол-Кружжин пристрастился исключительно к одной культуре — «клубника ранняя». Пока его старые боевые друзья трудились на целине директорами совхозов, поднимали в деревнях отстающие хозяйства и создавали животноводческие фермы, Семен Васильевич добивался высоких урожаев «клубники ранней» на собственном участке. Признательные москвичи платили ему за это на новых рынках немалые деньги.

То, что участок был оформлен на имя тестя, в общем, устраивало зятя. Конечно, лучше иметь дачу на свое собственное имя, но придут люди в синей форме и невежливо спросят:

— Откуда у вас деньги?

К подполковнику в отставке они не придут.

Бежевая «Волга» тоже была записана не на Димино имя, а на жену. Дима ездил по доверенности. Доверенность была основой его существования. Он все делал по доверенности. Каждый раз, когда он должен был купить для дачи очередной гвоздь, Сокол-Кружжин нотариально подтверждал ему свое доверие. А гвоздей требовалось много! В нотариальной конторе Дима слыл своим человеком.

Доверенности преследовали Диму. Они снились ночами и являлись в бреду во время болезней. Ложась в постель, Дима подавлял в себе желание предъявить жене доверенность.

Такая жизнь не удовлетворяла денежного и мыслящего Семицветова, но выхода не было, особенно сейчас, в период разгула общественности и контроля. И за это Семицветов не любил Советскую власть. Советская власть платила ему той же монетой!

Было, как принято писать, восхитительное утро. Превосходное подмосковное солнце замечательно освещало изумительную природу, окруженную со всех сторон добротным частоколом.



За частоколом на своем участке ритмично махали лопатами Дима и Сокол-Кружкин. Оба были в противогазах. Противогазы по знакомству достал Сокол-Кружкин в краеведческом музее. Дело в том, что Дима раздобыл сегодня утром машину «левого» дерьма. И вот сейчас они удобряли им почву.

Инна не принимала участия в семейном воскреснике.

Она гуляла по великолепному смешанному лесу, где людей было больше, нежели деревьев. В многотысячном состязании любителей природы Инна заняла одно из призовых мест — она урвала два ландыша. Они были нужны ей для приготовления питательного весеннего крема «Светлого мая привет», придающего эластичность любой коже. Инна служила косметологом в Институте красоты. Это создавало ей устойчивую независимость, столь необходимую в супружеском сосуществовании.

Инна вернулась домой, когда с удобрением было покончено. Стянув противогазы, мужчины отдохали на куче строительного мусора.

— У Топтунова отбирают дачу! — крикнула Инна, делясь сенсационной новостью, которой знакомые огорошили ее в лесу.

— И правильно отбирают! — загремел Сокол-Кружкин. — Давно пора! С жульем, допустим, надо бороться!

— Но почему он жулик? — искренне возмутился Дима. — Человек умеет жить.

— Ты мне скажи, — вошел в раж Семен Васильевич, — на какие заработки заместитель директора одноэтажной трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный каменный особняк?

— Это его дело, — примирительно вставил Семицветов.

— Нет, наше! — праведный гнев обуял тестя. — Мы будем прост-таки нещадно преследовать лиц, живущих на, допустим, нетрудовые доходы!

— Папочка, заткнись! — нежно прошипела дочь. Семен Васильевич захохотал.

— Ага, испугались! Кто ты есть? — повернулся он к Диме. — Вот дам тебе прост-таки... коленом — и вылетишь с моего участка!

Стращать Диму было излюбленной забавой тес-тя. Его солдафонский юмор постепенно приближал Ди-му к инфаркту.

— Я понимаю, Семен Васильевич, — заикаясь, пролепетал Дима. — Вы шутите...

И он тоскующим взглядом обвел штабеля кир-пичей и досок, «бой стекла» в нераспечатанной фаб-ричной упаковке, младенчески-розовые плитки шифе-ра и многое другое, купленное хоть и по доверенности, но на его кровные деньги.

Едучи в город на бежевой «Волге», Дима размыш-лял о своей собачьей жизни. Даже выходной не как у лю-дей, а в понедельник... И эта идиотская зависимость от родственников. Вдруг Инна полюбит другого и уйдет? То-гда тещь вышвырнет его с дачи, а неверная жена выкинет на ходу из машины. Почему он должен строить благополу-чие на непрочном фундаменте женского постоянства?

Когда Дима слышал формулировку «нетрудовые доходы», ему хотелось кусаться! Он вкальвает с утра до ночи, всем угождает, гоняет по городу, имея дело со вся-кой нечистью — с фарцовщиками и тунеядцами, добы-вая у них иностранный товар... А когда он вынимает из клиента жалкий рубль, то подвергается при этом несо-размерной опасности! В его профессии, как у саперов, ошибаются только один раз! Почему он, молодой, с выс-шим образованием, талантливый, красивый, вынужден все время таиться, выкручиваться, приспособливаться!

— Кто ты есть? — Сокол-Кружкин повернулся к Диме. — Вот дам тебе прост-таки... коле-ном — и выле-тишь с моего участка!

Инна — актриса Т. Гаврилова, Сокол-Кружкин — А. Папанов, Дима Семицветов — А. Миронов



«Когда все это кончится?» — думал Дима и понимал, что никогда!

Он опять поставил машину за квартал от магазина и не заметил, что в сквере напротив укрылся за томиком Шекспира Некто в темных очках. Этот Некто следил за тем, как Дима запирает машину, как скрылся за углом и как зашел в комиссионный магазин.

Дима приступил сегодня к торговле в весьма раздраженном состоянии.

— Мне нужен заграничный магнитофон — немецкий или американский... — интимно сказала усатая покупательница, перегнувшись через прилавок и положив при этом многопудовую грудь на телевизор «Рекорд».

— Нету! — коротко ответил Дима. «Хоть бы побрилась», — думал он, с омерзением глядя на ее усы. Заметив, что «Рекорд» в опасности, Дима потребовал:

— Уберите это с телевизора!

Дама послушно отодвинулась и, перейдя на хриплый шепот, спросила:

— Скажите, пожалуйста, кто из вас Дима?

— Ну я Дима! Что из этого? — продолжал хамить продавец.

— Я от Федора Матвеевича.

— Какого еще Федора Матвеевича?

— Приятеля Василия Григорьевича...

— Ну, ладно, предположим...

— Мне необходим заграничный магнитофон!

Этот Некто, ук-  
рывшись за томи-  
ком Шекспира,  
следил за тем,  
как Дима  
запирал машину.

«Некто» — артист  
И. Смоктуновский



— Есть очень хороший — советский!

— Не подойдет! — отрицательно пошевелила усами покупательница.

— Заграничный надо изыскивать... — задумчиво протянул Семицветов, привычно становясь на стезю вымогательства.

— Я понимаю! — Дама имела достаточный опыт. — Сколько?

Дима растопырил пятерню.

— Пятьдесят новых? — переспросила ошарашенная покупательница.

— А как же? Нужно узнать, нужно привезти, нужно попридержать... Оставьте телефончик...

В это время человек в темных очках, спрятав Шекспира в портфель, покинул сквер и, не торопясь, подошел к витрине комиссионного магазина. Он делал вид, что разглядывает норковую шубу. На самом деле он высматривал Семицветова. «Занят, — удовлетворенно подумал Некто. — И не скоро освободится. Приступим к делу!» Человек в темных очках фланирующей походкой направился к Диминой «Волге». Он небрежно навистывал: «А я иду, шагаю по Москве...» — зорко оценивая переулочную обстановку. Это был знаменитый Двестилешников переулоч, где автомобили, пешеходы и магазины смешались в одну оживленную кучу. Некто протолкался к «Волге» и оперся о бежевое крыло. Ни одна живая душа не обращала на него ни малейшего внимания. Вдруг у места, где назревало преступление, объявился милиционер. Некто отпрянул от машины. Рядом оказался табачный киоск.

— Пожалуйста, «Беломор» и спичек!

— «Беломора» нет, — ответил киоскер, облезлый и грустный старик в черных канцелярских рукавниках.

— Тогда дайте сигареты «Друг».

Купив сигареты, Некто обернулся. Милиционера подхватила воскресная толпа и унесла в неизвестном направлении. Человек, собирающийся украсть машину, закурил.

«Час пробил!» — высокопарно подумал он и незаметно надел хлопчатобумажные перчатки. Достав из портфеля отмычку, он в мгновение ока вскрыл машину.



Через еще одно мгновение он уже сидел за рулем. Потушив сигарету, он, конечно, спрятал окурок в карман, снова огляделся по сторонам, но уехать не удалось! К тротуару подкатило такси и стало вплотную к его «Волге». Некто обернулся — сзади, также вплотную, стояла «Татра». Беззаботный таксист вышел из машины и лениво заковылял покупать папиросы. Мысленно прокляв его, человек в темных очках вынул из портфеля томик Шекспира и притворился, что увлечен бессмертными стихами. Наконец такси отъехало. Но в этот момент в окно постучали. Пришлось опустить стекло. У бежевой «Волги» нервно сучил ногами толстенький мужчина с чемоданом на «молниях».

— Эта ваша машина? — заискивающе спросил толстенький.

— Нет! — ответил Некто. Ему не хотелось врать.

— Но вы шофер?

— Нет-нет.

— А что вы здесь тогда делаете? — спросил толстенький.

— Пытаюсь угнать эту машину, а вы меня задерживаете! — ответил Некто.

— Тогда, пожалуйста, угоните вместе со мной, — пошутил толстенький. — Я опаздываю на поезд.

Некто мучительно размышлял. Пассажир рядом, все-таки маскировка. Какой нормальный вор угоняет машину вместе с пассажиром?

— Вы действительно опаздываете?

— Да.

— Садитесь. Но вы становитесь соучастником! — честно предупредил Некто.

— Хорошо, хорошо... На Курский вокзал.

Рассыпаясь в благодарностях, толстенький влез в машину вместе со своим чемоданом.

Злоумышленник вставил ключ в зажигание, чтобы завести «Волгу», но... она отчаянно завопила! Сработал тайный сигнал, поставленный знакомым Диминым электриком.

— Вот! Я вас предупреждал, — сказал Некто, с отличной скоростью выскочил из машины и затерялся в толпе. Машина продолжала надсадно гудеть, собирая



зевак. Поняв, что попал в переplet, пассажир тоже принял попытку скрыться, но было уже поздно.

С криком: «Не отпускайте вора!» — гигантскими кенгуриными прыжками мчался Семицветов.

— Я не вор! — оправдывался толстенький. — Я опаздываю на поезд! Вот у меня билет!

— Предусмотрительный! Все подготовил! — ехидно заметил кто-то, а Дима, выхватив билет, строго распорядился:

— Держите его! — и стал отключать сигнал.

Через сто семнадцать минут к месту происшествия примчалась синяя оперативная машина с красной полосой, известная под названием «раковая шейка». Из нее выскочили Подберезовиков с блокнотом, Таня с саквояжем, юноша с фотоаппаратом и сержант милиции.

— Кто владелец? — грозно спросил следователь.

— Я... — оробел Дима и показал на толстенького: — Мы вора схватили!

— Я не вор! — в сотый раз повторил толстенький. — Я опаздываю на поезд, а он отобрал у меня билет!

Юноша с фотоаппаратом щелкнул крупным планом сначала Диму, а затем толстенького. Оба затихли. Таня, не теряя времени, снимала с дверцы машины отпечатки пальцев.

— Ваши документы! — обратился Подберезовиков к задержанному. — И документы на машину! — сказал он Диме. — Разбираться будем не здесь. Кто свидетель?

— Я! — бодро откликнулась женщина с хозяйственной сумкой. — А что случилось?

— Я не вор! — безнадежно повторил толстенький. — Вор сбежал! К сожалению, я не запомнил его лица, — добавил он, ухудшая этим свое положение. — Я опаздываю на поезд!

Он поглядел на часы:

— Впрочем, я уже опоздал!..

Таня нашла в машине томик Шекспира, забытый злоумышленником.

— Ваша? — следователь показал книгу Диме.

— Что вы! — ответил тот.

— Ваша?

Толстенький покачал головой. В подобную передрягу он влипал впервые в жизни.

— Я свидетель! — продавец табачного киоска появился возле машины и сразу стал центром внимания.

Фотограф с восторгом набросился на него со своим объективом.

— В профиль я получаюсь лучше! — намекнул киоскер. Его сняли и в профиль.

— Я начну с самого начала, — не без торжественности приступил к рассказу старик. — Сегодня не завезли «Беломор». Я уже устал отвечать: нет «Беломора»!

— Ближе к делу! — попросил следователь.

— Молодой человек, в вашей профессии нельзя торопиться. «Беломор» — это деталь для следствия. Он тоже просил «Беломор». А потом купил сигареты «Друг». Тридцать копеек пачка, на этикетке собака. Я подумал: почему он нервничает? Вам интересно?

— Очень! — ответил Подберезовиков.

— Он высокий, сутулый. Лицо обыкновенное. Даже симпатичное лицо. Ходит с портфелем. В шляпе. Тот, кто курит «Беломор», не курит сигареты с собакой на этикетке. Они дороже и создают другое настроение. А это его сообщник, — он показал на пришибленного толстяка. — Они посовещались, и он тоже влез в чужую машину! Они хотели удрать вместе!

— Я не сообщник! — нищенски затагнула жертва. — Я просто невезучий, несчастный человек. У меня горит путевка в Сочи!

Толстенькому стало жутко. Он осознал, что вместо курорта едет в тюрьму!

## ГЛАВА 7

### **в которой бежевая «Волга» еще раз подвергается нападению**

Назавтра после работы Деточкин привычно маячил на остановке. Когда подошел желанный троллейбус, Юрий Иванович, как и все пассажиры, проник в него с задней площадки. Несмотря на роман с водителем, Деточкин не разрешал себе ездить без билета. Он аккуратно проделал все процедуры, связанные с бескондукторным обслуживанием, и оказался в Любиной кабине.

— Следующая остановка — Пушкинская площадь! — объявила в микрофон Люба, искоса поглядев на Деточкина.

— Люба, я должен с тобой поговорить!

Люба промолчала.

— Люба, я пришел с тобой мириться!

— А мы не ссорились! — холодно ответила Люба. Она следила — кончилась ли посадка?

— Можно ехать! — позволил Деточкин. — Одни сошли, другие сели.

Троллейбус покатил дальше.

— Зачем нам ссориться, Люба? Мы же с тобой близкие люди.

Люба горестно усмехнулась:

— Близкие люди знают все друг про друга! А ты все время что-то от меня скрываешь. Был шофером, вдруг становишься страховым агентом! Потом эти командировки... неожиданные... Какие? Почему?

Деточкину было противно лгать Любе, но сказать правду он не смел.

— Когда-нибудь ты все поймешь. Только чем позже это случится, тем лучше...

— Ты пришел издеваться надо мной, Юрий Иванович? — Люба устала от тайн Деточкина. — Перестань меня мучить, а то я задавлю кого-нибудь!

И она едва не выполнила это намерение.

— Значит, мы не помирились... — подытожил Деточкин, ударившись при резком торможении головой о стекло.

— Следующая остановка — площадь Маяковского, — печально сказала Люба. — Своевременно оплачивайте проезд!..

Так и не наладив отношений с Любой, Деточкин прибыл во Дворец культуры. В самодеятельности Юрия Ивановича любили. Он обладал прирожденными актерскими данными. Он был непосредствен и правдив в любви, самой невероятной драматической ситуации.

Атмосфера в репетиционном зале была накаленной. Вчера «Спартак» не смог одолеть «Динамо», и поэтому режиссер находился в трансе. Артисты знали футбольную слабость своего маэстро и сидели смиренно.



— Каждый игрок должен знать свою роль назубок! — раздраженно выговаривал режиссер Подберезовикову, спутавшему текст. — Игрок не должен бестолково гонять по сцене, играть надо головой! И не надо грубить! — цыкнул он на виновного, пытавшегося оправдаться. — А то я вас удалю с поля, то есть с репетиции!

В перерыве игроки, то есть артисты, вышли покурить.

Деточкин достал из кармана пачку сигарет и предложил Подберезовикову.

— Что у вас за сигареты? — заинтересовался Максим.

— «Друг», — безмятежно сообщил Деточкин. Подберезовиков взял у него из рук злополучную пачку:

— Да... сигареты «Друг»... Собака на этикетке... Тридцать копеек...

— Я-то вообще «Беломор» курю, — разъяснил Деточкин с присущей ему откровенностью. — Но не было «Беломора».

— Это вы точно заметили — «Беломора» не было. Именно поэтому он и купил сигареты «Друг».

— Кто он? — все еще беспечно спросил Деточкин.

— Преступник!

Внезапно Деточкин ощутил себя на краю пропасти. Он хотел отступить, но сзади была стена. Проходить сквозь стены, даже сквозь сухую штукатурку, Деточкин не умел. Он безысходно взглянул на небо. По голубому потолку бодро вышагивали вполне реалистические колхозницы со снопами пшеницы. Деточкин пожалел, что он не с ними. Деваться было некуда.

— К-ка-кой преступник?

Следователь принял испуг приятеля за обычный обывательский интерес к нарушению закона.

— Современный, культурный. Я бы даже сказал — преступник нового типа! Раньше жулики что забывали на месте преступления?

— Что? — любопытствовал Деточкин.

— Окурки, кепки... А теперь — вот! — И Подберезовиков показал томик Шекспира, который Некто оставил в машине.

Деточкин вздрогнул и отшатнулся от книжки.

— Вы не бойтесь! — улыбнулся Максим. — Здесь нет пятен крови!

— Вы следователь?

Подберезовиков листал Шекспира.

— Отпечатков пальцев нет — преступник всегда работает в хлопчатобумажных перчатках. Нет ни библиотечного штампа, ни фамилии владельца — знаете, некоторые надписывают свои книжки...

— Знаю... Но я не надписываю! — заверил Деточкин.

— Я веду дела по угону машин, — продолжал Подберезовиков. — Но вам это неинтересно!

— Мне это чрезвычайно интересно! — Деточкин говорил святую правду.

— Я вам по секрету скажу, — понизил голос следователь, — в городе орудует шайка. Угоняет личные машины. За год из одного и того же района угнали четыре автомобиля.

— Три, — машинально поправил Деточкин.

— И вы уже слышали? Правильно, четвертую угнать не удалось. Но скоро с этим будет покончено! — вселил он надежду в Деточкина.

— П-почему?

— Вчера я задержал одного из членов шайки!

— К-кого? — поразился Деточкин. Он и не подозревал, что Некто в темных очках имеет сообщников.

— Представляете, инженер — из совнархоза. Жена — врач. Двое детей. Только что квартиру получил на юго-западе и занимается таким делом!

— А к-как он вы-глядит? — испугался Деточкин.

— Такой маленький, толстенький.

— Вы его арестовали? — Деточкин даже перестал заикаться. — Зачем такая строгая мера?

Подберезовиков снова улыбнулся.

— Он собирался удрать на курорт, но я взял с него подписку о невыезде!

— А вдруг он не сообщник? — горячо вступился Деточкин. — Инженер совнархоза, уважаемый человек, а вы лишили его заслуженного отдыха.

— Мое чутье тоже подсказывает — он не виноват, — задумчиво протянул следователь. — Но оконча-

тельное выяснение — дело нескольких дней. Мне уже известны приметы главаря шайки: он высокий, лицо обыкновенное, даже симпатичное, ходит с портфелем, в шляпе, и главная примета — сутулый.

Деточкин незаметно для Максима распрямил плечи.

— А как вы будете ловить главаря?

Подберезовиков не успел ответить. В вестибюле появился режиссер с судейским свистком:

— Прошу всех на второй тайм!..

У великого Репина в Куоккале были «среды», в «Литературной газете» на Цветном бульваре — «вторники», у Семицветовых в квартире № 397 — «понедельники» — два раза в месяц. Тратить деньги на гостей еженедельно Дима не желал.

Приглашались нужные люди, поэтому Сокол-Кружкин, со свойственной ему меткостью, окрестил эти сборища «нужником». Самого Семена Васильевича никогда не звали. Однажды он все-таки заявился, вмешивался во все разговоры, надрался коньяку и стал кричать, что Дима прохвост и по нему тоскует уголовный кодекс. Наиболее предусмотрительные гости не рисковали прийти на следующий «понедельник».

Сегодня подбор был изысканным. Пришли те, кто может достать пластик для дачи, пальто-джерси, дамские замшевые сапоги, билеты в Дом кино и многое другое, столь же необходимое.

Пришел поэт, осыпанный почестями и перхотью. Реальной пользы от поэта не было, но без него вечеринка была, как шашлык без шампура. Главный гость окончил литинститут и стал поэтом. С тем же успехом он мог окончить мединститут и стать врачом. Все-таки лучше, что он окончил литературный институт...

Пришел и нужный Филипп Картузов. У него в «Пивном зале» можно было при случае укрыться в отдельном кабинете, вкусно поесть и потолковать о делах.

Вечер протекал интеллектуально. Рассказывались анекдоты средней скабрёзности, сообщались последние новости из серии «кто с кем живет» и «где что дают». Когда дошел черед до Картузова, он поведал, как у него

увели машину. Оказывается, Филипп бросился под колеса, чтобы заставить вора притормозить. Но машина у Филиппа была такая замечательная, что не захотела давить хозяина. Она перепрыгнула через него и удрала! Вранье Картузова имело у выпивших гостей успех.

— Это называется гипербола! — пояснил поэт. Он долго читал свои стихи. Упрашивать его не приходилось.

«Понедельник» удался. Инна сновала между кухней и комнатой, демонстрируя завидные бедра. Дима надрывно пел под гитару блатные песни.

И вот меня обрили и костюмчик унесли,  
На мне теперь тюремная одежда.  
Квадратик неба синего и звездочка вдали  
Мерцают мне, как слабая надежда... —

слезливо выль Семицветов, боясь, что этот сюжет станет автобиографическим.

В этот вечер Дима не выглядывал в окно. Он не боялся за свою «Волгу». У него была на это уважительная причина.

А внизу, во мраке надвигающейся ночи сутулый мужчина, предварительно надев любимые хлопчатобумажные перчатки, привычно отпирал бежевую «Волгу». Вчерашний урок не прошел для него даром. Подняв капот, он преспокойно отключил секретный сигнал. Затем он сел за руль, положил на сиденье портфель с набором инструментов и вставил ключ в замок зажигания, чтобы завести машину. Он повернул ключ — машина смолчала! Чтобы включить скорость, он, как положено, нащупал ногой педаль сцепления и... закричал от нестерпимой боли!

Похититель не мог догадаться, что вчера же, после первого покушения, Дима купил в охотничьем магазине волчий капкан и тот же знакомый электрик установил его на педаль сцепления.

Капкан сработал — Деточкин был пойман!

Да, дорогой читатель! Ты, конечно, не мог догадаться, что машины угоняет Деточкин! А если ты все-таки догадался, то ты, дорогой читатель, как сказал бы С.И. Стулов, — молодец!

Деточкину было очень больно. Человек, не попадавший в капкан, не может себе этого представить, а вол-

ки никогда об этом не рассказывали. Деточкин не стал звать на помощь. Превозмогая боль, он попытался разомкнуть железные челюсти, стиснувшие его ногу. Но капкан был рассчитан на дикого зверя, и у Деточкина не хватило сил. Тогда он расстегнул спасительный портфель, достал ножовку и стал пилить железо, пока оно горячо...

«Понедельник» кончился. Радужные Семицветовы выпроваживали гостей. Чтобы ненароком никто не застрял, они вышли вместе с ними. Впереди шагал поэт. Он мучительно вспоминал, как зовут хозяина дома...

При виде бежевой Волги, все сильно развеселились.

— Люблю кататься по ночам! — взвизгнула жена того, кто достает модный пластик.

Компания окружила машину. Деточкин сжался в комок, перестал пилить и сполз с сиденья на пол.

— Семицветов, твоя машина — блондинка! — сострили билеты в Дом кино.

— Димочка, повезите нас куда-нибудь! — попросило пальто-джерси.

При этих словах прикованному Деточкину захотелось завывать, как настоящему волку.

Гостей охватил энтузиазм.

— Дима, едем!

— Инночка, уговорите его!

Дима стойко отражал натиск:

— Нет, друзья, нет! Когда я принял — я не сажусь за руль!

— Дима, не трусьте! — крикнуло пальто-джерси, которому особенно хотелось кататься.

— Нет-нет! — поддержала мужа Инна. — Теперь изобрели такую пробирку. Полиция заставляет в нее дыхнуть, и сразу видно — пил или не пил! Если пил — напрочь лишают прав!

Гости разочарованно разбрелись.

Дима обошел вокруг машины и на всякий случай подергал дверцы. Одна из них, передняя левая, вдруг слегка поддалась и тут же, вырвавшись из Диминой руки, снова захлопнулась.

Дима изумился. Он дернул второй раз, но дверца не открывалась, так как сейчас Деточкин держал ее мертвой хваткой.

— Здорово же я набрался! — решил Дима. — Инючка! — обратился он к жене. — Я должен бросить себя в горизонтальное положение!

Когда Семицветовы скрылись в подъезде, Деточкин допилил капкан и вывалился на мостовую вместе со своим неразлучным портфелем. С трудом поднявшись, незадачливый похититель заковылял прочь от подлой машины...

Люба испуганно вскочила с постели. Ее разбудил тревожный ночной звонок. Накинув халат, она, в предчувствии беды, выбежала в переднюю.

— Кто там? — крикнула Люба.

— Люба, это я! — голос был настолько жалкий и несчастный, что Люба сразу открыла.

В двери стоял раненый Деточкин и смотрел на Любу, как на свою последнюю надежду.

Податливое женское сердце дрогнуло.

— Что с тобой, Юра?

— Да вот, понаставили всюду капканов...

Люба подумала, что Деточкин бредит. Она обняла его за поникшие плечи и повела в комнату...

— Капкан на живого человека! — зло выговаривал Максим Подберезовиков Семицветовым, примчавшимся к нему на следующее утро. — Это, знаете ли, надо додуматься! Мы вас можем привлечь!

— Вот-вот! — возмутился Дима. — Бандит хотел угнать нашу машину! Он распилил мой собственный капкан! А вы попробуйте достать в Москве волчий капкан. Его ни за какие деньги не купишь!..

— Потихе! — посоветовал следователь, и Дима, вспомнив, где он находится, тотчас присмирел.

— А вы хотите привлечь меня! — уже заискивающе закончил Дима. — Хороша законность!

Подберезовиков еще раз поднял глаза на Семицветова, и тот умолк.

— Преступник дважды пытался угнать одну и ту же машину... — рассуждал Максим. — Это совпадение не случайно. Я думаю, он хотел угнать именно вашу машину!

— Резонно. Я тоже об этом догадался! — робко съязвил Дима.

— Почему он прицепился именно к вашей машине? — продолжал следователь.



— Вы меня об этом спрашиваете?

— А кого же? — простодушно спросил Максим. — Вы не подозреваете никого из ваших знакомых?

— У нас знакомые, — обиделась Инна, — вполне приличные люди.

Про себя Дима подумал: может, действительно орудует кто-нибудь из своих?

— Вам никто не завидует? — продолжал расспрашивать следователь.

— Чему завидовать? У нас скромное положение. Умеренная зарплата. Мы живем тихо, незаметно...

Подберезовиков нажал кнопку звонка. На вызов в кабинет вошла Таня, как всегда, переполненная чувством.

— Таня, запросите поликлиники, не обращался ли кто-либо с характерной травмой ноги! — отдал распоряжении Максим.

— Хорошо! — согласилась Таня, с нескрываемой нежностью глядя в серые подберезовиковские глаза.

Позвонил телефон. Подберезовиков снял трубку и услышал добрый голос Деточкина.

— Привет Юрию Ивановичу! — расплылся в улыбке Максим. — Как — не придете? Смотрите, режиссер назначит вам штрафной удар!

На обоих концах провода рассмеялись.

— У меня нога болит, — сообщил Деточкин.

— Тогда вы лучше полежите... Пусть нога отдохнет... Всего вам хорошего... — посоветовал Подберезовиков и положил трубку на рычаг.

— У кого нога? — заволновался Дима.

— Это нога у того, у кого надо! — раздраженно ответил Максим и невольно сам задумался. Потом отогнал мысль, недостойную дружбы, и попросил Диму:

— Ну что ж? Звоните!

— Когда?

— Когда у вас угонят машину!

## ГЛАВА 8

### про художественный свист

Надвигался конец квартала. В районной инспекции Госстраха наступили суматошные дни. Надо было выполнять и перевыполнять квартальный план.

Руководитель инспекции Яков Михайлович Квочкин собрал своих подчиненных на краткий митинг. Он хотел вдохновить сотрудников на последний финишный рывок.

— Я сам пойду по квартирам! — заявил начальник, увлекая агентуру личным примером. — Но этого мало. Посмотрим, не создано ли за последний месяц какое-нибудь новое учреждение?

Посмотрели: создано Управление художественного свиста.

Решили: послать туда лучшего агента.

По опыту было известно, что в процессе организационной неразберихи еще не оперившиеся работники не умели оказывать достойного сопротивления мастерам страхового дела.

Слегка прихрамывающий Деточкин направился в УХС. Художественный свист в течение многих лет находился в состоянии анархии. Никто им не занимался, никто ему не помогал. Артисты свистели кто во что горазд. Теперь этому был положен конец.

Управлению удалось захватить бывший дворянский особняк, расположенный в Дудкином тупике. В самом названии тупика было что-то символическое.

Когда Деточкин входил в особняк, его едва не облили цинковыми белилами. Управление, естественно, начало свою творческую деятельность с перекраски фасада.

Юрий Иванович, припадая на левую ногу, шел по длинному коридору, всматриваясь в таблички. «Высший художественный совет» — было начертано на высоких двустворчатых дверях, обитых черным коленкором на вате. На двери, обитой дерматином похуже и без звуковой изоляции, красовалась вывеска: «Главный художественный совет». Следующий вход был с матовым стеклом, как в уборных. Чтобы не создавать путаницы, табличка гласила: «Художественный совет». Кроме дверей с названиями, было множество безымянных.

Мимо Деточкина сновали рабочие и уборщицы. Они разносили по кабинетам новую мебель. Естественно, нельзя было работать по-новому при старой мебели.

Деточкин растерялся. Он не знал, с кого начать, и наконец вошел в первый попавшийся кабинет. Здесь

трудился обаятельный Согрешилин. Увидев Юрия Ивановича, он заулыбался, обнял его, повел к кожаному креслу, усадил. Сам Согрешилин пристроился в таком же кресле напротив.

— Я еще не слышал, родной мой, но я должен предостеречь.

Деточкин ничего не понял.

— Конечно, в вашем репертуаре что-то есть... — дружелюбно улыбался Согрешилин.

— Я не свистун, — Деточкин начал понимать создавшуюся ситуацию.

— А что вы делаете? — спросил Согрешилин. — Токуете тетеревом, ухааете филином, плачете иволгой, курлыкаете журавлем или стучите дятлом?

— Я насчет страхования, — начал было Юрий Иванович, но Согрешилин его перебил:

— А... понимаю. Вы текстовик! Вы предлагаете тему страхования? Но, согласитесь, родной, какой может быть страх у нашего человека?

— Но это государственное страхование, — поправил собеседника Деточкин.

— Государственное? — задумался Согрешилин. Он стал опасаться, что допустил промах. — В общем, это, конечно, тема...

— Можно застраховать на случай смерти... — предложил Юрий Иванович.

— Смерти не надо, — быстро вставил Согрешилин. — Художественный свист должен быть оптимистичным!

— Я хочу внести ясность, — настаивал Деточкин. — Я не подражаю птицам и не свищу.

— Будете свистеть! — убежденно заявил хозяин кабинета. — Здесь все свистят!

— Не хотите от смерти, я застрахую вас от несчастного случая. — Юрий Иванович достал из портфеля гербовую бумагу.

— Так вы страховой агент, — наконец сообразил Согрешилин.

— Я сейчас заполню бланк, а вы поставите подпись, — предложил Деточкин.

— Дорогуша! — Согрешилин смотрел на Деточ-

кина, как на ближайшего друга. — Мне нравится ваша напористость. В общем, я не против. Но вы желаете, чтоб я так сразу поставил свою визу на документ? Ай-ай-ай! Это безответственно!

Профессиональный опыт не помог Деточкину. Битый час проторчал он у Согрешилина, но так и не смог уговорить его поставить свою подпись.

Деточкин ходил из кабинета в кабинет. Ходил он долго. Страховать были согласны все. Ставить свою подпись никто!

Деточкин устал. Нога болела. Он присел в холле на шаткий современный стул. Вокруг царила тишина. Лишь перестук пишущих машинок, доносившийся из машбюро, нарушал торжественный покой. Машинки отбивали отрицательные заключения по всем развлекательным мелодиям. Из их перестука складывался мотив антимарша, исполняемого с лихой жизнерадостностью, как того и требовала эпоха.

Вдруг машинки замолчали. Вместо них дробно застучали каблучки. Из комнат выскакивали сотрудники и бежали в одном направлении. Согрешилин несся в первых рядах.

Из кабинета с табличкой «Начальник управления» степенно вышел С. И. Стулов. Увидев знакомое лицо, он негромко обратился к Деточкину:

— Ты теперь здесь работаешь? — Стулов привык к безудержному раздуванию штатов управления. Стулов по опыту знал, что зато потом будет кого сокращать.

— Сегодня здесь, — ответил Юрий Иванович.

— Молодец, — одобрил С. И. Стулов и направился в зал прослушивания вслед за табуном. Когда он удобно расселся на мягком диване, механики включили стереофонический магнитофон.

В рабочее время сотрудники управления дружно слушали фривольные программы низкопробных западных варьете, чтобы не допустить в родное искусство художественного свиста никакой безнравственности. Сами сотрудники считали себя настолько непорочными, что не боялись тлетворного влияния ни буржуазного твиста, ни буржуазного свиста.

Деточкин одиноко скучал в холле.

«Если бы я их страховал от потери занимаемой должности, выстроился бы длинный хвост», — с яростью думал Юрий Иванович.

Прослушивание закончилось одновременно с рабочим днем, ровно в пять часов.

Деточкин в потоке сотрудников пошел к выходу. Впервые за всю свою практику он не сумел застраховать ни одного человека.

## ГЛАВА 9

### приключенческая, в которой за Деточкиным устремляется погоня

Прошла еще одна неделя... Районная инспекция Госстраха перевыполнила квартальный план. Страховые агенты выдали на-гора сто один и шесть десятых процента.

У Деточкина зажала нога. Отношения с Любой развивались в духе взаимопонимания. Деточкин исправно посещал репетиции и каждый раз интересовался, не удалось ли Максиму схватить главаря. Настроение у Юрия Ивановича было превосходным. Мучило одно — он так и не угнал семицветовский автомобиль.

Подберезовиков, подозревавший, что на Димину «Волгу» будет опять произведено покушение, установил за бежевой красавицей тщательную слежку. Но злоумышленник не подавал признаков жизни, может, он ушел в глухое подполье, может быть, его отвадил волчий капкан. Когда Дима поставил в своем дворе цельнометаллический гараж и запер его на японский замок, следователь даже расстроился. Стало ясно, что ночью машину угнать невозможно, и было маловероятным, что, наученный горьким опытом, вор кинется на нее днем. След преступника терялся. За отсутствием прямых улик толстенькому пришлось отменить подписку о невыезде, и он улетел в Сочи, чтобы прийти в себя. В следовательском отделе уже подтрунивали над Максимом, и только Таня защищала его, как могла. Потерпевшие тоже потеряли веру в нового следователя.

— Этот Подберезовиков... не ...авдал ...аше ...ове-  
рие! — говаривал Пеночкин Филиппу Картузову...

Снова, в который раз, стояла темная ночь. К га-

ражу приблизился Деточкин с неизменным портфелем в руках. В связи с установкой гаража Подберезовиков отменил ночное наблюдение, о чем Деточкин выведаль на одной из репетиций. Юрий Иванович осмотрел защитное сооружение и нашел, что гараж хорош. Знакомый Деточкину японский замок был тоже недурен!

— Да, — рассуждал про себя Деточкин. — Эту крепость можно взять только автогенном. Но какая вольтка! Баллон с кислородом, баллон с водородом, шланги, горелка... Можно, конечно, взорвать динамитом... Будет большой шум! Свидетели проснутся! Да, из этого гаража ее не вынешь. Спи спокойно, дорогой Семицветов! — И Деточкин ушел не солоно хлебавши.

Прошло двадцать четыре часа. Ночь опять не подкачала. Она была темная-претемная.

В постели рядом с женой спокойно спал дорогой Семицветов. Ему снился забор, который скрывал от завистливых глаз дачу, записанную на его собственное имя...

По ночной пустынной улице, слегка позвякивая, ехал автокран. Он свернул во двор и остановился возле гаража. Из кабины деловито выскочил Деточкин. Он взялся за крюк и подцепил его под японский замок.

— Вира! — скомандовал Деточкин.

Трос натянулся, и корпус гаража легко взмыл в воздух. На кирпичном полу беззащитно стоял бежевый автомобиль.

Зрелище гаража, парившего над «Волгой», было фантастическим. Жаль, что его видели только двое — Деточкин и водитель автокрана. Юрий Иванович наплел крановщику с три короба, что, мол, кого-то надо встречать, что кто-то болен, что ключи у кого-то на даче. Самый вид Деточкина, все его слова были настолько искренними, что крановщик ни в чем не усомнился и взялся помочь.

Деточкин проворно открыл «Волгу», проверил, нет ли капкана или еще чего-нибудь новенького, отключил сигнал бедствия и вывел машину.

— Майна! — скомандовал Юрий Иванович, и автокран бережно опустил гараж на прежнее место.

В этот момент Дима проснулся. Ему захотелось по-маленькому. Не открывая глаз, он в полусне добрал-

ся до санузла. На обратном пути Дима подошел к окну, разомкнул слипшиеся веки и поглядел на гараж... Во дворе никого не было. Дима возвратился в постель и сразу заснул...

А Деточкин не терял времени даром. Он приехал на «Волге» в какой-то кривой переулок. Он помнил, что под брезентом законсервирована ржавая колымага, которая в своей далекой молодости была легковым автомобилем. Убедившись, что за ним никто не следит, Деточкин поднял брезент и ловко отвернул номерные знаки. Нетрудно сообразить, что несколько минут спустя бежевая «Волга» № 49-04-МОТ уже выступала под шифром «82-14-МОП»...

Любу вновь разбудил ночной звонок.

— Кто там? — сонно спросила она.

— Люба, это я!

Люба испуганно отворила дверь:

— Что случилось? Опять капкан?

— Нет, на этот раз обошлось, — вздохнул Деточкин, не рискуя войти в квартиру. — Я пришел попрощаться, я уезжаю в командировку...

— Сейчас, ночью? — Люба старалась отвечать спокойно.

— Приходится... Можно, я от тебя позвоню маме? — Деточкин переступил порог.

— Езжай, езжай в Тбилиси! — и Люба ушла к себе в комнату.

— Зачем в Тбилиси? Я поеду еще куда-нибудь! — крикнул вдогонку влюбленный автомобильный жулик.

Ответа не последовало.

Телефон был в коридоре, и Деточкин позвонил домой.

— Мама! — нежно начал Деточкин, когда она наконец подошла. — Я не виноват, но я сейчас уезжаю в командировку...

Он отвел трубку от уха, чтобы не слушать того, что ему говорила мама.

— Я вернусь через несколько дней. Мама, не волнуйся! — попытался сказать он в конце, но все это оказалось лишним, так как мама уже повесила трубку.

Деточкин поскребся в дверь к Любе, но она за-

перла ее на крючок. Обстоятельства были таковы, что следовало торопиться. И Деточкин ушел, разрываясь между чувством и долгом.

Стоя у окна, Люба с изумлением увидела, как ее Юрий Иванович сел в шикарную «Волгу» и укатил по неизвестному маршруту.

На следующее утро Семицветовы встали рано. Накануне Дима договорился с механиком сделать «Волге» профилактику. Супруги быстро позавтракали и спустились к гаражу.

Механик уже поджидал их.

— Здравствуйте! — подобострастно поздоровался Дима. Автолюбители, особенно неопытные, всегда заискивают перед механиками, которые знают, что у машины внутри.

— У нас заедает левый поворот! — пожаловалась Инна.

— Поглядим — сказал механик.

— Когда переводишь скорость, она вдруг «тук-тук-тук»... — добавил Дима.

— Послушаем! — сказал механик.

— И еще — греется переднее правое колесо, — продолжал Дима.

— Пощупаем...

— Позавчера весь день пахло бензином! — вспомнила Инна.

— Понюхаем! — издевательски сказал механик.



К людям, не смыслящим в технике, он относился свысока. — Вы отоприте гараж-то!

Дима достал из кармана ключ, похожий на иероглиф, отпер замок, снял его с петель, отодвинул засов и открыл первую створку ворот.

Машины в гараже не было!

Дима обомлел. Он не поверил своим глазам. Он распахнул вторую створку. Солнечный луч ворвался в гараж и осветил пустое место.

— Где машина-то? — бестактно спросил механик.

Дима и Инна тупо смотрели на кирпичный пол. Вчера перед сном они загнали «Волгу» в гараж и собственноручно заперли его на японский замок. Замок оставался целым, гараж стоял на месте, машины в нем не было!

— Чего молчите-то? — рассердился механик. — Я не для шуток пришел!

Ошарашенные мистическим исчезновением автомобиля, Семицветовы онемели. Они были не в силах издать ни единого звука. Они по-прежнему, не моргая, смотрели на пол. Кирпичный пол был в порядке. Значит, машина не провалилась сквозь землю.

— Тук-тук-тук... — передразнил Диму механик. Он выразительно постучал пальцем по лбу и ушел...

...Чего только не узнаешь в дороге! Водитель не должен бессмысленно любоваться окрестным пейзажем. Даже на ходу он обязан расти, расширять свой кругозор, повышать интеллектуальный уровень. Имен-



но для этого на краю шоссе понатыканы дорожные плакаты:

«Крым — лучшее место для отдыха!»

«Кавказ — лучшее место для отдыха!»

«Рижское взморье — лучшее место для отдыха!»

«Самолет — лучший вид транспорта!»

«Такси — лучший вид транспорта!»

«Суда на подводных крыльях — лучший вид транспорта!»

«Быстро, выгодно, удобно!» — это про Аэрофлот.

«Надежно, выгодно, удобно!» — это про сберкассу.

«Вкусно, выгодно, удобно!» — это про камбалу.

«Пейте советское шампанское!» — это специально для шоферов, чтобы не пили в дороге.

Вокруг советских городов  
Сажай клубнику всех сортов!

Хочется вылезти и посадить.

«Лучшему строителю — право первого прыжка!» — это на строящемся трамплине. Бедный лучший строитель!

Читая проносящиеся мимо плакаты, Деточкин отвлекался от невеселых мыслей. Несмотря на замену номера, неприятностей можно было ожидать на любом километре пути.

Вдруг вдалеке, на обочине, ярким зеленым пятном возник неудачно покрашенный под цвет листвы милицейский мотоцикл. При виде инспектора ОРУДа Деточкин сбавил скорость — этот импульс присущ всем водителям. Беседа с инспектором как-то не входила в планы Юрия Ивановича. Он смотрел прямо перед собой, стараясь не встретиться взглядом с опасностью.

Но инспектор повелительно вытянул руку, приказывая Деточкину остановиться. В голове, как дорожные плакаты, замелькали лаконичные, но выразительные мысли:

«Почему остановил?»

«Что я нарушил?»

«Знает или не знает?»

«Наверное, знает!»

«Бегство — лучший вид спасения!»

«Но мотоцикл — самый лучший вид транспорта!»

И Деточкин притормозил. Мечтая отделаться штрафом неизвестно за что, он зажал в руке мягкий рубль и на плохо гнущихся ногах пошел навстречу гибели.

— Товарищ начальник! — обычным угодливым голосом нарушителя заныл Деточкин.

— Здравствуйте! — приветливо поздоровался старшина милиции. Он был немолод и устал от возни со своим едко-зеленым мотоциклом. — Я вижу, вы один едете! Если не торопитесь, помогите мне завести этот драндулет. Тут одному не справиться!..

— Завести мотоцикл?! — вскричал Деточкин, с трудом подавив желание расцеловать милиционера. — Обожаю заводить! — Он переложил рубль в карман, отодвинул старшину в сторону и с удовольствием ударил ногой по педали.

Мотоцикл даже не чихнул.

— Аккумулятор подсел! — пожаловался инспектор. — Я давно прошу пересадить меня на другой мотоцикл.

— Со старым аккумулятором — это не жизнь, — посочувствовал Деточкин. — Раз-два, взяли!

Они выкатили мотоцикл на асфальт.

— Садитесь! — предложил Деточкин.

Инспектор уселся в седло.

— Вперед! — скомандовал Юрий Иванович. Он побежал по шоссе, как молодая счастливая мама, толкающая перед собой коляску с сыном.

Однако мотоцикл не подавал признаков жизни. Деточкин взмок, но продолжал бежать.

— Стоп! — сказал старшина и перешел на дружеское «ты». — Я вижу, ты уморился. Давай я тебя покатаю!

— Смысла нет.

— Тогда вот что, — посоветовал инспектор, — подцепим к твоей «Волге». У тебя есть трос?

— Кто его знает, что там есть? — вырвалось у Деточкина, но он тут же поправился. — Да я не помню. Сейчас погляжу.

Он подскочил к «Волге», открыл багажник, дос-

тал оттуда металлический канат и победно помахал им в воздухе.

— Есть буксир!

Старшина и Деточкин общими усилиями прицепили мотоцикл к «Волге». Деточкин сел за руль машины, милиционер снова прыгнул в седло, и они покатали по шоссе, связанные одной веревочкой. Наконец, непокорный мустанг чихнул и завелся. Проехав еще немного, они остановились. Деточкин отцепил канат.

— Спасибо, друг! — растроганно благодарил старшина. — Выручил.

— О чем разговор! — великодушно развел руками Юрий Иванович. — Человек человеку — друг...

— Точно, — подтвердил инспектор. — Случилась со мной беда — ты мне помог, случись с тобой беда — я тебе помогу...

— А вместе делаем общее дело, — оживился Деточкин, — ты по-своему, я по-своему...

И они улыбнулись друг другу.

— Скажи, брат, — спросил Юрий Иванович, — тут телеграф есть поблизости?

— Ты езжай за мной! — предложил инспектор и возглавил автоколонну.

Теперь впереди ехал старшина на милицейском мотоцикле, а за ним неотступно следовал Деточкин на угнанной «Волге». В таком порядке они и прибыли в мотель.

Мотель — такая гостиница, где раньше всего за-

— Ты мне помог... Случись с тобой беда — я тебе помогу...  
— А вместе делаем общее дело, — оживился Деточкин, — ты по-своему, я по-своему...



ботятся об автомобиле, а потом уже о человеке. И, как ни странно, человека это устраивает. Машина здесь моется, отдыхает, поправляет свое здоровье, а ее владелец комфортабельно блаженствует в кругу себе подобных. Непривыкшее к ласке сердце автотуриста тает от восторга, и он начинает думать, что иметь машину хорошо! Вечерами в холле можно участвовать в викторине на тему: «Правила уличного движения», а на спортивной площадке сыграть в популярную культмассовую игру «Не уверен — не обгоняй!» Те, кто не любят игр и предпочитают тихую жизнь, могут посмотреть в лекционном зале научно-популярный фильм «Непереключенные света ведет к аварии!»

Деточкину предложили место на стоянке и номер с балконом. Юрий Иванович отказался. Он заторопился на телеграф и отправил товарищу Квочкину скорбную депешу:

«Слезно прошу оформить отпуск пять тире шесть дней свой счет связи катастрофическим состоянием здоровья любимого племянника заранее благодарен Деточкин».

А рядом в телефонной будке старшина милиции выслушивал сообщение о том, что если на его участке появится бежевая «Волга» № 49-04-МОТ, то ее следует задержать!

Деточкин и инспектор вместе вышли на улицу. Они зашагали вдоль стоянки, где собрались машины

Инспектор — артист Г. Жженов,  
Деточкин — артист И. Смоктуновский.  
Режиссер Э. Рязанов и оператор А. Мукасей



самых разнообразных марок и цветов. Заметив, что за руль бежевой «Волги», точно такой же, как у Деточкина, садится дородный седой мужчина, собираясь отъехать, инспектор бросил Юрия Ивановича на произвол судьбы и побежал.

— Документы на машину, пожалуйста! — услышал Деточкин.

— Прошу вас! — И седой мужчина, на лацкане пиджака которого поблескивал лауреатский значок, полез за документами.

Деточкин, почуяв, что дело пахнет керосином, зашпешил к бывшей семицветовской «Волге». Он включил двигатель и в зеркальце, укрепленном над рулем, увидел, что теперь инспектор идет к нему.

Когда у тебя нет документов на машину, а их собираются проверять, то бегство, на самом деле, лучший путь к спасению! Деточкин, не мешкая, лихо рванул с места!

Стремительный старт бежевой «Волги» показался инспектору подозрительным. Он подбежал к своему мотоциклу и ударил ногой по педали. Двигатель сразу завелся. Мысленно поблагодарив за это Деточкина, инспектор устремился за ним в погоню!

Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее! В погоне может происходить все! Можно на обыкновенной лошади догнать курьерский поезд и вспрыгнуть на ходу на крышу купированного вагона! Можно запросто перескочить с одного небоскреба на другой! Можно пронестись на машине под самым носом электрички, хотя в действительности шлагбаум закрывают задолго до появления состава! Можно уцепиться за хвост реактивного лайнера, прыгнуть в океан в нужном месте и схватить за горло мокрого преступника!

Один бежит — другой догоняет! Таков непреложный закон жанра! Детектив без погони — это как жизнь без любви!

Деточкин выжимал из рядовой «Волги» все, что она могла дать. Инспектор тоже выжимал из рядового мотоцикла максимум скорости. Выжимали они приблизительно одинаково, и расстояние между ними не сокращалось. Их разделяли двести метров, проигранных старшиной на старте.



Они нудно мчались без всяких происшествий. На дороге не было препятствий, моторы работали исправно, горючее было в изобилии, нервы гонщиков не сдавали.

Неизвестно, как долго бы это продолжалось и чем закончилось, если бы Деточкину не бросился в глаза дорожный знак: «Осторожно, дети!» Рядом приказывал второй знак: «Скорость 20 км!» И напоследок огромный плакат взывал: «Водитель! Будь осторожен! Здесь пионерский лагерь!»

Деточкин любил детей. Он резко затормозил. Стрелка спидометра поползла вниз и замерла на цифре «20». Лицо Юрия Ивановича приняло мученическое выражение. Он видел, что инспектор приближается к нему с угрожающей быстротой.

Стиснув зубы, Деточкин продолжал ехать со скоростью двадцать километров в час! Инспектор был уже совсем близко. Деточкин понял, что это конец! Ему хотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера.

Инспектор примчался к роковому рубежу и поглядывал на запрещающие знаки.

Инспектор тоже любил детей и в благородстве не уступал Деточкину. Хотя догнать бежевую «Волгу» не составляло сейчас никакого труда, старшина резко затормозил и тоже поплелся со скоростью двадцать километров в час! Лицо его страдальчески исказилось, но он держал себя в руках и упорно тащился в темпе катафалка.

Зато Деточкин, которого умилил поступок инспектора, воодушевился.

Теперь они ехали друг за другом на расстоянии каких-нибудь двадцати метров. А по обеим сторонам шоссе в густой зелени виднелись светлые корпуса. Около них резвились пионеры. Им было категорически запрещено выбегать на дорогу.

Деточкин первым подъехал к концу детской зоны. Облегченно вздохнув, он сразу понесся как угорелый! Инспектор продолжал двигаться медленно. «Волга» удалялась!

Но вот и инспектор тоже вырвался на свободу и устремился в бешеную погоню! Его отделяли от «Волги» прежние двести метров. Все началось сызнова!

Шоссе, по которому они мчались, пересекала ав-

тострада. Этот перекресток был новейшим сооружением в два этажа, с поворотными бетонированными кругами. Сверху он, как известно, напоминал клеверный лист или две гигантские восьмерки.

Деточкин решил воспользоваться сложным переплетением дорог и уйти от старшины. Деточкин повернул направо.

В свою очередь инспектор, надеясь перехитрить преследуемого, повернул налево, чтобы встретиться с ним лицом к лицу...

Началась диковинная гонка. Одурев от долгой погони и потеряв всяческую ориентацию, они то мчались в разные стороны, то неслись навстречу друг другу, то инспектор оказывался впереди Деточкина, и тот его старательно нагонял, то они менялись местами. Одним словом, была полная неразбериха.

Вдруг Деточкин увидел впереди тягач, который тащил за собой длинную пустую платформу.

Деточкину пришла в голову дерзкая мысль.

Он с ходу вогнал свою «Волгу» на движущуюся платформу и затормозил.

Милицонер проскочил мимо, искренне удивляясь, куда девался преследуемый.

Водитель тягача спокойно жевал булку с отдельной колбасой и ничего не подозревал, а Деточкин покатался на платформе, пока ему не надоело, дал задний ход, снова съехал на шоссе, и... тотчас же милицейский мотоцикл оказался рядом.

— Попался, брат! — торжествуя произнес инспектор.

— Да уж... попался... — согласился Деточкин.

— От милиции не уйдешь... — И, как водится, именно в этот момент мотоцикл чихнул и заглох!

Деточкин высунулся в окно и с удивлением отметил, что мотоцикл сначала отстал, а потом и вовсе остановился. Деточкин тоже остановил «Волгу», но на почтительном расстоянии.

Инспектор сполз с мотоцикла.

— Ты погоди, не уезжай! Понимаешь, опять аккумулятор!

— Я тебя предупреждал, — отозвался Деточкин, — со старым аккумулятором — это не жизнь!

Инспектор стал приближаться к «Волге».

Деточкин слегка нажал на газ. Машина тронулась с места. Деточкин соблюдал дистанцию. Так они и беседовали, словно инспектор ОРУДа вышел на шоссе проводить Юрия Ивановича и давал ему вдогонку последние дружеские наставления.

— Я этого всегда боялся! — сознался инспектор. — Будет важная работа, и он подведет! Вот не пересадили меня на новый мотоцикл!

— Сочувствую! — вздохнул Деточкин. — Не повезло тебе!

— Зато тебе повезло!

— Из нас двоих кому-то должно было повезти! — резонно заметил Юрий Иванович.

— А чего ты от меня удираешь? — вдруг спросил инспектор.

— Привычка! — ответил Деточкин. — Ты догоняешь, я удираю!

— И у меня привычка! — поддержал шутку старшина. — Ты удираешь, я догоняю! Вышел бы, друг, помог завести мой мотоцикл. Подцепили бы к «Волге», как в прошлый раз... — Хотя на машине Деточкина стоял другой номер, а не «49-04-МОТ», инспектор превосходно понимал, что здесь дело нечисто.

— Э, нет, брат, — улыбнулся Юрий Иванович. — Я уже убедился, как ты отвечаешь на доброту... Счастливо тебе, и не поминай лихом!

И Деточкин пустился наутек!

## ГЛАВА 10

### в которой следователь узнал, кто угоняет машины

Прибыв к осиротевшему гаражу Семицветовых, Максим Подберезовиков сразу выдвинул рабочую гипотезу: тут не обошлось без автокрана! Всякая догадка нуждается в подтверждении, поэтому был проведен так называемый следственный эксперимент.

Во двор вызвали автокран. Правда, приехал не

тот кран, который действовал ночью, но для эксперимента это не имело значения.

Максим попросил Семицветова запереть гараж на замок. Затем Подберезовиков в точности повторил все ночные манипуляции вора, и, к восторгу многочисленных зевак, запрудивших двор, кран непринужденно поднял гараж в воздух.

Максим торжествовал. Таня гордилась любимым следователем. А Диме было не по себе оттого, что он сделался центром внимания.

С тех пор как преступник умудрился угнать семицветовскую «Волгу», Подберезовиков стал особенно популярен в следовательском отделе. Его коллеги вскладчину приобрели для Максима ценный подарок.

Когда следователь вместе с помощницей, вернувшись с места происшествия, подвергали кропотливому анализу цепь роковых событий, дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет своим ходом шумно въехала игрушечная заводная бежевая «Волга». На ней был прикреплен бумажный номер «49-04-МОТ».

Видя, что из коридора за ним выжидающе наблюдало двадцать пар глаз, Максим не растерялся. Он бросился к машине, схватил ее и прижал к груди обеими руками.

— Таня! — ликующе закричал Максим. — Я ее поймал! Потому что весь коллектив, как один человек, пришел ко мне на помощь! Можно писать рапорт начальнику!

— Зачем писать? — крикнули из коридора. Там хотели, чтобы последнее слово осталось за ними. — Доложишь устно. Он тебя вызывает!

— Вот это уж неостроумно! — парировал Максим.

— Зато правдиво! — немедленно последовало в ответ. Зазвонил телефон. Таня сняла трубку, и оказалось, что Максима действительно требует начальник.

Подберезовиков отдал игрушку Тане.

— Заприте ее в несгораемый шкаф! — громко, чтобы слышали в коридоре, распорядился Максим. — И поставьте часового, а то дерзкий бандит не постесняется угнать ее и отсюда!

И он направился к начальнику, провожаемый одобрительными взглядами товарищей, оценивших его выдержку.

Справедливо ожидая разноса, Максим нервно переступил порог кабинета Георгия Сергеевича Калужского. Начальник поднялся из-за стола во весь свой двухметровый рост.

— Максим, вы удивитесь, но я вам завидую! — Предугадать ход мыслей Калужского было всегда невозможно, и Максим напряженно ожидал, что произойдет дальше. — Волчий капкан, — весело продолжал начальник, — японский замок, автокран — романтика! Вам все завидуют! Правда, вы не можете поймать преступника, но это уже мелочь! Зато вы с интересом наблюдаете, как разворачиваются события. Сознайтесь, вам нравится незаурядный жулик? Он неустанно угощает вас чем-нибудь новеньким. Может быть, он талантлив? Может быть, он талантливее вас?

— Очень может быть... — подавленно согласился Максим.

— Вы прекрасно устроились, — в той же насмешливой интонации продолжал Калужский, — он будет себе угонять машины, а вы будете себе получать зарплату!..

— Но, Георгий Сергеевич... — взмолился Подберезовиков, чувствуя себя идиотом.

— Шутки — шутками, — перебил Калужский, — но эта история стала уже скандальной. Мы назначили вас вместо несправившегося Чуланова, потому что вы подавали надежды. Но хватит подавать надежды, подавайте преступника!

Максим чувствовал свою вину и молчал.

Вконец добывая подчиненного, Калужский спросил:

— Скажите, Максим, какого цвета игрушечный автомобиль вам надо будет дарить в следующий раз?

Подберезовиков, убитый горем, вернулся к себе в кабинет. Таня не выдержала. Она решила спасти дорожного человека.

— Я вас люблю, Максим Петрович! — твердо заявила Таня.

Но объяснение не получилось. Как и следовало ожидать, Подберезовиков понял ее неправильно.

— Не надо меня утешать! — сказал Максим. — Я вас тоже люблю. Давайте-ка лучше задумаемся над странным влечением нашего друга именно к машине Семицветова.

Таня покорно снесла и это. Она знала, что ее удел — страдать!

Чтобы найти ключ к мучившей его загадке, Подберезовиков решил поближе познакомиться с личностью потерпевшего.

Раньше всего он направился к управдому. Следователь трижды приходил в часы приема, указанные в объявлении, но каждый раз дверь была заперта.

Наконец ему удалось поймать водопроводчика. Он утешил Максима тем, что жильцы гоняются за управдомом месяцами — и ничего, живут... А от управдома все одно никакой пользы...

Максим не стал с ним спорить. Он поднялся лифтом на верхний этаж, намереваясь посетить соседей Семицветова.

— Вы что же, меня подозреваете в краже? — в упор спросил Ерохин из квартиры № 398.

— Что вы? — удивился Максим. — Но я хотел бы спросить, не подозреваете ли вы кого-нибудь?

— А я у вас сыщиком не служу! — Ерохин не выказывал желания продолжать разговор.

— Но машину-то угнали! — не унимался Максим. — Надо найти!

И тут Ерохин не сумел скрыть неприязни к своему соседу. И этому была причина — Ерохин не терпел паразитов.

— Я за Семицветова спокоен! Он новую купит! — и перешел в атаку на следователя: — До чего у вас профессия противная — выпытывать, выслеживать...

— А по-вашему, — в тон ответил Максим, — пусть себе воруют, расхищают?

— А они и так крадут и тащат. И дачи возводят! А вы им машины ищете, уважаемый товарищ следователь!

— Вы что же хотите сказать, что Семицветов — жулик?

— Нет, — возразил Ерохин, — заявлять — это не по моей части!

— Понятно! — сказал Максим. — До свидания!

— Прощай! — поправил его дотошный Ерохин.



В комиссионном магазине царила обычная торговая сутолока. Среди продавцов не было видно Димы. Его загнала в угол усатая покупательница с полновесным бюстом.

— Димочка, — шептала она басом прямо ему в лицо, — вы позвонили, и я тут как тут!

— Есть магнитофон «Грюндиг», — сообщил Дима, тщетно пытаясь высвободиться. — Стерефония. Идеальное состояние. Элегантный внешний облик. То, что вам надо!

— Выпишите, пожалуйста! — даже не поглядев магнитофона, согласилась женщина-усач. — Я все помню... — кокетливо намекнула она.

Дима решил внести поправку. Он растопырил пять пальцев на одной руке и дополнительно показал три пальца на второй.

— Мы же договорились — пять! — охнула покупательница.

— У меня изменились обстоятельства! — невозмутимо доложил Дима. Они в самом деле изменились: Дима начал копить на новую машину.

Но сделка не успела состояться. Семицветов внезапно увидел следователя, который подходил к прилавку.

Дима похолодел. Он грубо оттолкнул даму и метнулся на свое рабочее место.

Продавец не знал, что Подберезовиков сначала посетил директора магазина. Тот выдал Диме превосходную аттестацию:

— Семицветов — гордость комиссионной торговли! Семицветов — это чуткость и отзывчивость! Семицветов — это знание продукции и проникновение в душу потребителя! Семицветов — это фотография на Доске передовиков.

— Я вижу, Семицветов — ваша слабость! — улыбнулся Максим.

— Семицветов — моя сила! — гордо объяснил директор. Он был убежден в непогрешимости своего продавца.

— Здравствуйтесь, товарищ Семицветов! — поздоровался следователь, удивившись, что в таком заштат-

ном теле помещается столько добродетелей. — Когда вы освободитесь, я хочу с вами поговорить.

— Я свободен! — пролепетал Дима. И про себя добавил: «Пока свободен!» Он был убежден, что Подберезовиков слышал его разговор с усатой хищницей.

И как бы в подтверждение его догадки, следователь сказал:

— Вы сначала закончите с гражданкой ваши дела!

Потными от страха руками Семицветов выписывал чек на пресловутый «Грюндиг». Подберезовиков терпеливо ждал, дама поплыла в кассу. Максим с интересом рассматривал дорогой магнитофон.

— Может, вам нужен такой аппарат? — с надеждой спросил Семицветов.

— Спасибо, не нужен, — ответил Подберезовиков.

И в этот момент послышалось то, что сейчас больше всего боялся услышать Дима.

— Димочка, можно вас на минутку? — и усатая гренадерша сделала попытку снова загнать Семицветова в угол. На Подберезовикова она не обращала никакого внимания. Ей было невдомек, что это следователь.

— Пожалуйста, заберите вашу покупку! — стойко оборонялся Дима.

Увидев, что он не идет в угол, дама навалилась на прилавок и попыталась тут же всучить мзду.

— Не оскорбляйте мое достоинство советского продавца! — громко возмутился Семицветов.

— Но как же... я так не могу... — сконфузилась покупательница и предательским шепотом добавила: — Мы же договорились!

Максиму стало интересно.

— С кем и о чем вы договорились? — снова чересчур громко спросил Дима. Он переиграл и этим выдал себя. А Максим недаром был актером.

Женщина окончательно растерялась. Усы ее поникли.

Она схватила в охапку тяжелый магнитофон и с позором выкатилась из магазина.

— Унижают меня, третируют, топчут, — жалобно сказал Дима, ища поддержки у следователя.

— Я вам сочувствую! — не без сарказма заметил Максим. — И машину у вас угнали! Вы невезучий!

— Это правда! — согласился продавец.

— Почему же вы не спрашиваете о судьбе вашей «Волги»? — жестоко полюбопытствовал Максим.

— Я еще не успел, — неуклюже оправдался Дима. — А есть какие-нибудь новости?

— Нет! — сухо ответил Максим.

— Вы... Вы пришли еще что-нибудь узнать?

— Спасибо, я уже узнал.

И следователь покинул помещение. Диме и правда не везло. Вернувшись домой в этот трагический день, он застал у себя Сокол-Кружкина.

— Я погиб! — с порога сообщил Дима. — Меня застукали! — И поведал родичам о визите следователя.

— Тебя посадят! — бодро сказал тесть. — А ты не воруй!

— Вы же у меня в доме! — огрызнулся Дима.

— Твой дом — тюрьма! — расхохотался Сокол-Кружкин.

— Папа! — решительно вмешалась Инна. — Твои казарменные шутки сегодня неуместны!

— Что же делать? Что же делать? — Дима не находил себе места.

— Сухари сушить! — от души посоветовал тесть.

— Надо дать следователю в лапу! — внесла предложение практичная Инна.

— Ты сошла с ума! — вздрогнул супруг.

— Надо дать много, и тогда он возьмет! — сказала Инна.

— Молчать! — зашелся Семен Васильевич. — Смирно! Не допущу! Позор!

Инна не позволила ему продолжать.

— С твоими поучениями, папочка, ты лучше бы выступал на рынке!

— Я торгую клубникой, выращенной собственными руками! — Семен Васильевич показал свои натруженные ладони. — А за взятки не то что зятя, родную дочь сотру в порошок!

Дима заплакал.

Он плакал оттого, что, как сапер, подорвался на

мине, что зазря потерял восемьдесят рублей, что надо будет всучить следователю взятку, а это страшно, оттого, что тесть у него мерзавец, и вообще оттого, что плохо быть вором в этой стране!

Сокол-Кружкин с презрением посмотрел на ревущего зятя и сказал, садясь к обеду:

— Ничего! В тюрьме тебя перевоспитают. Лет через десять вернешься другим человеком!..

Дима три дня носил в кармане изрядную сумму, упакованную в конверт с идилическим рисунком, но не решался идти к следователю. На четвертый день Инна запихнула в такси сопротивлявшегося мужа и привезла его к зданию прокуратуры.

Когда Дима поднимался по лестнице, от страха его подташнивало. В коридоре он начал икать и стал двигаться толчками в такт икоте.

Он был столь взволнован, что ввалился в кабинет Подберезовикова, не постучав. Встретившись взглядом со следователем, Дима интуитивно осознал, что если он вручит конверт, то уже не выйдет из этого здания без конвоя.

И вдруг случилось самое страшное: Дима лишился дара речи!

— Здравствуйте! — недоуменно сказал Максим, не ожидавший посетителя.

Дима хотел ответить, но не сумел. Он только кивнул.

— Что-то опять случилось? — спросил следователь.

Дима отрицательно помотал головой.

— Что с вами? Вы плохо себя чувствуете?

Дима вновь примитивно кивнул. В мимическом искусстве он сильно уступал Марселю Марсо.

Максим налил в стакан воды и протянул немому.

Дима покачал головой. Он по-прежнему не мог вспомнить ни одного слова.

Ситуация стала забавлять Максима.

— Зачем вы пришли?

Ответить на подобный вопрос было чересчур сложной задачей для начинающего мима. Сделать то, ради чего он явился, — достать из кармана конверт и пере-



дать следователю — Дима почему-то не хотел. Он застыл, как истукан, глупо моргая.

— Знаете, у меня нет времени играть с вами в молчанку! — прикрикнул Максим.

Дима обрадовался.

Наконец у него появился предлог уйти, и уйти без вооруженного сопровождения. Он попятился к двери. На выходе, в предчувствии свободы, у него прорезался голос.

— Я пошел... — сказал Дима.

Правда, очутившись в коридоре, Дима не пошел, а побежал.

Он вылетел на улицу, пронесся мимо жены и скрылся за углом.

Чтобы догнать сбежавшего, Инна снова прибегнула к помощи такси.

— Ну? — зашипела Инна, перехватив бегуна. — Что ты мчишься? Разве за тобой гонятся? Он взял, да?

— Ты — дура!.. — первый раз назвал жену ее настоящим именем Дима Семицветов...

Максим Подберезовиков переживал трудные дни. Как у всякого одаренного человека, у него было, конечно, чрезмерно развитое чувство самокритики. Он обзывал себя всякими нехорошими словами. Но это не помогало раскрытию преступления.

Единственной усладой Подберезовикова оставались те вечера, когда он приходил во Дворец культуры и приобщался к гению Шекспира. Но последние две репетиции были отравлены тем, что не являлся партнер Максима — Деточкин.

Подберезовиков направился к нему домой выяснить, в чем дело.

— Я из народного театра, — представился Максим маме Деточкина.

Антонина Яковлевна встретила его радушно. Она скучала и была рада любому гостю.

— Я очень довольна, что Юра играет в театре. По-моему, у него есть способности. Я ненавижу Юрины командировки, — продолжала мама, как обычно, без

всякой связи. — Всегда срывается среди ночи и исчезает. Люба права — тут что-то неладно...

— Кто это Люба? — едва успев вставить Максим.

— Юрина невеста. Он какой-то несовременный — очень долго за ней ухаживает. Она водит троллейбусы — славная женщина! Они познакомились, когда он пришел ее страховать. Какие у страхового агента могут быть командировки? Почему он возвращается нервный? А на этот раз он заявил Любе, что поедет не в Тбилиси, а еще куда-нибудь. Вы мне можете объяснить, что все это означает? Вы кто по профессии?

— Следователь! — Максим слушал монолог словоохотливой мамы Деточнина с возрастающей внутренней тревогой.

— Вот вы и разберитесь! — отреагировала на профессию Максима Антонина Яковлевна. — Когда я была молоденькой, за мной тоже ухаживал следователь, но я вышла замуж за красноармейца.

— А когда Юрий Иванович уехал? — спросил Подберезовиков с тайной надеждой.

— На нашей свадьбе гулял весь полк. Мы пели «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка», — продолжала вспоминать мама. — Вы знаете эту песню?

— «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка», — закончил Максим. — Когда он все-таки уехал?

— Трое суток назад, ночью, — сказала Антонина Яковлевна. — И представьте себе, самое поразительное: он заехал прощаться к Любе на какой-то «Волге»!

— Может, это было такси? — Следователь должен быть человеком, который всегда сомневается.

— Нет, он сам был за рулем.

— Разве Юрий Иванович умеет водить машину?

— Еще бы! — с гордостью сказала мама, не подозревая того, что творит. — Десять лет шофером работал, потом в аварию попал. У него было сотрясение мозга. Он лежал у Склифосовского. Я тоже не выходила из больницы. Врачи посоветовали Юре пока не ездить. И он пошел в страховые агенты, временно, конечно. Я так хочу, чтоб они поженились! Я мечтаю о внуке или о внучке, мне все равно!



Максим улучил удобный момент, поспешно распрощался и ушел.

Он был потрясен своим открытием.

Он вспоминал, и воспоминания жгли его сердце.

«Деточкин проявлял болезненный интерес к пописку главаря...

У Деточкина болела нога как раз на следующий день после истории с волчьим капканом...

Деточкин горячо защищал толстенького...

Деточкин обычно курил «Беломор», но тогда у него оказались сигареты: «Друг»...

Наконец, Деточкин исчез той самой ночью, когда у Семицветова угнали машину... Улики? А может быть, совпадения?

Нет, это улики! Но косвенные, а не прямые!»

Тут Максим, который шагал по вечернему городу, остановился.

Он ясно увидел перед собой доверчивые, добрые, грустные глаза Юрия Ивановича, которые смотрели на него с укором.

И Максим осудил себя за дешевую подозрительность, за пристрастие к первой, поверхностной, версии, за оскорбление дружбы.

«Юрий Иванович — скромный работяга, небогато живет, любит искусство. Как он грандиозно репетирует! Как он правдив и естествен!

Нет, конечно, не Юрий Иванович крадет автомобили!

А может быть, все это маскировка?»

Максим опять зашагал по улице, ускоряя темп.

«Конечно, Деточкин притворяется! Он актер не только в народном театре, но и в гуще народной жизни! Ведь я сам сообщил ему, что снял слежку с семицветовской машины, и он тотчас же нагло воспользовался моей откровенностью! Это не я оскорбляю дружбу, а Деточкин втоптал ее в грязь!»

Максим бежал и бежал по ночной Москве. Он задыхался. Он перестал бежать, остановился и обнял фонарный столб.

Подберезовиков являл собой образец сомневающегося следователя, и это было прекрасно!

Казалось, все нити вели к виновности Деточкина, но Подберезовиков упорно боролся с логикой. Сердце подсказывало, ему, что тут дело не просто!

«Может, я ошибаюсь? — терзал себя Максим. — Может, я поддался на болтовню пожилой женщины? Надо еще раз тщательно все взвесить. У меня сдают нервы. Я готов посадить друга. Юрий Иванович не должен быть виновным!..»

Максим вернулся домой. Он не спал ночь. Он страдал. Его мысли путались. Он изо всех сил сдерживал себя и остерегался выводов. Он сопоставлял факты. Он опровергал факты. Он ходил по комнате. Он пил кофе.

«Каждый преступник совершает свое преступление не ради удовольствия, а с конкретной целью. Для чего Деточкину похищать машины? Что делает он с таким количеством денег? Копит? Не похоже! Предается разгулу? Тоже маловероятно.

Нет, Юрий Иванович не преступник!..»

А утром следователь побежал в районную инспекцию Госстраха, все еще надеясь, что Юрий Иванович послан в командировку на служебной машине.

Но Яков Михайлович Квочкин окончательно разоблачил своего страхового агента:

— У Деточкина уйма хилых родственников. На этот раз вышел из строя его любимый племянник.

В душе Максима все оборвалось и рухнуло. Его положение стало отчаянным: вина Деточкина была теперь бесспорной!

Заставив себя отбросить эмоции, Подберезовиков приступил к выполнению служебного долга. К концу дня в кармане следователя лежало подписанное прокурором постановление на арест Деточкина Ю.И., обвиняемого в краже автомобилей!

## ГЛАВА 11

### **в которой человек, укравший машину, топчется от нее избавиться**

Мерно шумело море. Отдыхающие, поверившие плакату, что Рижское взморье — лучшее место для отдыха, мерзли на песчаном берегу, не решаясь войти в холодную воду. Все были счастливы, так как сегодня не

шел дождь. На пронизывающем ветру дрожали вековые сосны, распространяя вокруг себя полезный для здоровья аромат.

К пляжу подъехала бежевая «Волга», та самая. В отличие от других машин, из которых выскакивали полуголые курортники, из этой никто не вышел.

Рядом с Деточкиным, на переднем сиденье, отсчитывал деньги добротный откормленный элегантный мужчина с набриолиненными жидкими волосами.

— Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... — степенно перебирал рублевые бумажки покупатель машины.

— С ума сойти! — нервничал Деточкин. — У вас что же, все деньги рублями?

— По-старому это десять рублей, и, пожалуйста, вы что, не считаете рубль за деньги? Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

— Это не по-честному! — был недоволен Деточкин. — Как я потащусь с охапкой денег?

— И, пожалуйста, не сбивайте меня, а то я вынужден буду начать сначала. Семнадцать, восемнадцать...

Деточкин смирился и замолчал. У него не было другого покупателя. Вот уже три дня он мотался по Риге и ее живописным окрестностям, но никто не хотел покупать машину без документов. Положение Деточкина было отчаянным, как вдруг подвернулся этот тип.

Он считал очень долго. Невдалеке продрогшие курортники с ожесточением играли в волейбол. Некоторые согревались другим способом — отхлебывали из термосов горячий чай или более крепкие напитки.

Покупатель все еще считал. Кажется, он приближался к концу. Деточкин мысленно поблагодарил его за то, что он не припас мелочи.

— Пять тысяч четыреста девяносто восемь, пять тысяч четыреста девяносто девять, пять тысяч пятьсот! — закончил подсчет бесстрастный голос. — Все!

— Почему у вас деньги одними рублями? — не отставал Деточкин. — Это что-то подозрительно, нехорошо!

Новый владелец «Волги» насмешливо поглядел на Юрия Ивановича.

— Разве вы прокурор? Я же не интересуюсь, откуда у вас машина и почему на нее отсутствуют документы.

— А я могу ответить, — нисколько не смутился Деточкин. — Я угнал эту машину. Могу сообщить, у кого и за что...

— Ну что же, — усмехнулся покупатель. — Сыграем в эту игру. — Я — пастор! Эти рубли — пожертвования моих прихожан. Ему! Но — осталось немножко...

— И вы верите в Бога? — поинтересовался Деточкин.

— Все люди верят, — улыбнулся пастор, — одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то и другое недоказуемо... Будете пересчитывать?

— Буду! — И Юрий Иванович приступил к обязанностям кассира.

Летний день клонился к вечеру. Надев мохнатые свитера или пальто-деми, курортники переключались на новый вид отдыха. Толпа фланировала по берегу, увязая ногами в песке. Отдельные сумасшедшие все еще пребывали в купальных костюмах, мужественно борясь с обледенением тела.

Деточкин вышел из «Волги», держа вздувшийся портфель, битком набитый рублиями.

Пастор лихо развернул машину и умчался на проповедь.

А Деточкин пешком потопал на станцию и стал ожидать электричку.

— Я тебя, Юра, буду ждать... Сколько бы ни пришлось... Год, два, десять лет! — Десять — это ты перебрала! — невесело заметил Деточкин. — А если можно будет с тобой поехать, я поеду... И на Колыме люди живут, или где там еще?



Приехав в Ригу, он зашел в почтовое отделение и от имени Петрова Петра Петровича перевел тюк денег в город Метельск. Предварительно он проделал странные расчеты: из суммы в 5500 рублей он вычел 16 рублей — стоимость обратного билета в Москву на поезде вместе с постельным бельем, потом отбросил 13 рублей — командировочных, по 2 рубля 60 копеек в сутки, и 8 рублей 10 копеек — стоимость бензина на перегон машины из Москвы в Ригу. Получилось 5402 рубля 90 копеек. Из этой суммы он отнял стоимость почтового перевода — 109 рублей 25 копеек.

Вот эту итоговую сумму в 5353 рубля 65 копеек он и перевел почему-то в город Метельск.

Садясь в купированный вагон скорого поезда Рига — Москва, Деточкин дал себе клятву покончить с подобными делами. Никогда в жизни он не дотронется больше ни до одной чужой машины!

После каждой автомобильной авантюры Деточкин решал, что именно этот случай — последний.

Уже подъезжая к Москве, Юрий Иванович привел в порядок документацию. Он достал из портфеля отчетную ведомость на выплату командировочных и в графе «фамилия» четко вывел «Деточкин Ю. И.» В рубрике «количество дней» он проставил цифру «5», расписался в получении денег, а затем приобрел к ведомости железнодорожный билет и квитанцию на перевод. Формальности были соблюдены.

**Деточкин:**

— И вы верите в Бога?

**Пастор:**

— Все верят...

Одни верят, что Бог есть, другие в то, что его нет. И то, и другое недоказуемо...

**Артисты**

Д. Банионис  
и И. Смоктуновский



В воскресенье утром поезд прибыл на станцию назначения. Деточкин с опаской вышел на перрон и привычно огляделся по сторонам. Никто к нему не подошел и не приказал «руки вверх!»

Юрий Иванович отыскал телефон-автомат и, волнуясь, набрал свой домашний номер.

— Мам, это я! — с напускной бодростью сказал Деточкин. — Я только что приехал. Я здоров! — Он выдержал небольшую паузу. — Дома все спокойно? Никто не приходил?

— Ты доигрался в своем народном театре, — обрадовала сына мать. — К тебе заходил следователь!

## ГЛАВА 12

### в которой следователь и преступник выясняют отношения

— Когда ко мне приходил следователь? — спросил Деточкин, едва переступив порог родного дома.

— Позавчера, — ответила мама, подставляя щеку для поцелуя. — Ты пропустил по телевизору такой футбольный матч! Яшин стоял, как бог!

Деточкин поцеловал маму.

— Что он обо мне спрашивал?

— В библиотеке «Огонька» вышел Мельников-Печерский. Я открываю его заново. Он ничего не спрашивал.

— А что ты ему наговорила? — Деточкину был знаком общительный характер Антонины Яковлевны.

— Я, как всегда, молчала. Я рта не раскрыла! — сказала мама, убежденная, что так и было.

— Почему он приходил? — настойчиво выпрашивал сын. — Он беспокоился, что я пропустил репетицию? Или у него была другая причина?

— Разве может возникнуть причина для прихода к тебе следователя?

— Мама, я твой сын!

— Каждый день узнаешь что-нибудь сенсационное! — улыбнулась Антонина Яковлевна.

Как и все мамы, она не сомневалась, что ее сын — кристальной души человек, почти святой! Всю свою жизнь она воспитывала в Юре любовь к справедливости. Справедливость была коньком мамы Деточкина. Сейчас, с

уходом на пенсию, она целиком посвятила себя служению этой безупречной идее. Встречаясь с недостатками, Антонина Яковлевна не проходила мимо и успешно боролась с ними при помощи писем и газеты! Пока Деточкин расправлялся с семицветовской «Волгой», мама проделала не менее трудную операцию. Мама добилась закрытия «забегаловки», рассадника зла и порока, и теперь в освободившемся помещении шла стрельба. Здесь разместили тир данного микрорайона.

— Ты всегда возвращаешься из своих командировок взвинченный! — заметила мама. — Успокой свои нервы. Пойди в тир и постреляй в цель!

— Пожалуй, сегодня я промахнусь! — сказал Деточкин. Он чувствовал себя скорее мишенью, нежели стрелком. Весь воскресный день он потратил на мучительные размышления — идти вечером на репетицию или избежать встречи с Максимом?

«Подозревает меня следовательно, или он заходил как товарищ по сцене?» — Деточкин не мог перенести проклятой неизвестности и мужественно отправился во дворец ставить точки над «и».

Когда Юрий Иванович объявился в зрительном зале, режиссер учинил ему скандал. Постановщик орал, что Деточкин подводит всю команду, что предстоит решающая игра, то бишь премьеры, и что он переведет его в дублирующий состав! В заключение режиссер сунул ему в руки длинную шпагу и погнал на сцену биться с первым попавшимся.

Когда пришел Максим, режиссер заодно намылил шею и ему. Максим тоже получил оружие и был послан на сцену схватиться с Деточкиным, как и полагалось по сюжету.

Так они и встретились, со шпагами в руках.

— Защищайтесь, сударь! — угрожающе сказал Максим. Впервые в жизни он приступал к допросу на освещенной сцене и в берете с пером.

— К вашим услугам! — в тон ответил Деточкин, пытаясь прочесть на лице Максима свою судьбу.

Следователь был непроницаем. Он стал в позицию и почувствовал, как во внутреннем кармане прощелестело постановление на арест.

Деточкин тоже принял позицию.

Шпаги их скрестились!

— Я имею честь напасть на вас! — жестко сказал Максим. — Где вы пропадали?

— Черт возьми! — крикнул Деточкин, скрывая волнение. Он не знал, что следователь был в Госстрахе, и допустил промах. — Я ездил в командировку!

В пылу сражения участники не замечали, что разыгрывают сцену скорее по Дюма, чем по Шекспиру. Режиссер не мог прийти в себя от изумления.

— Как здоровье любимого племянника? — безжалостно спросил следователь, делая свой главный выпад.

— Какого племянника? — бессмысленно запирился Юрий Иванович.

— А волчий капкан? А больная нога? А сигареты «Друг»? — наносил удар за ударом Максим.

Точка на «и» была поставлена, и не одна!

Юрий Иванович осознал, что попался.

У него помутилось в глазах. Подберезовиков, в свою очередь, понял, что пора переходить к следующему акту пьесы, где главным действующим лицом станет вышеупомянутое постановление.

— Прекратите отсебятину! — закричал из зала взбешенный режиссер. — Во времена Шекспира не было сигарет «Друг». И потом, почему вы перешли на прозу?

Деточкин, продолжавший по инерции размахивать оружием, с перепугу хватил противника по голове. Бедный Максим рухнул как подкошенный.

— Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны! — неожиданно для самого себя приказал режиссер, ставивший сцену дуэли и не по Дюма, и не по Шекспиру, а по модной в нынешнем футболе бразильской схеме четыре — два — четыре.

Режиссер кинулся к Подберезовикову и убедился, что тот жив. Вместе с Деточкиным, который шептал оправдательные слова, они подняли тело с полу и отнесли на диван.

Максим скоро пришел в себя. Успокоенный режиссер оставил противников наедине. Юрий Иванович положил на лоб следователю мокрую тряпку.



— Как вы себя чувствуете? — спросил Деточкин, участливо заглядывая в глаза своей жертве.

— Вашими заботами! — с иронией ответил Максим. Деточкин возложил ему на лоб новую холодную повязку.

— Именно вас я никак не хотел ударить, даже нечаянно!

— Да, это мне понятно! — саркастически заметил Максим.

— Ничего вы не понимаете! — с горечью вырвалось у Деточкина.

Подберезовиков внутренне согласился с ним. Он действительно еще не все понимал. Совесть не позволяла ему пустить в ход постановление об аресте, пока он не доберется до самой сути: что же толкнуло Деточкина на скользкий путь? Следователь настойчиво подавлял в себе теплые чувства, которые, несмотря ни на что, вызывал в нем неуклюжий, чуточку смешной Деточкин.

Подберезовиков сбросил со лба мокрую повязку и встал.

— Нам надо поговорить!

Деточкин печально кивнул.

— Надо!

Они вышли на улицу и шли рядом, как магнитом притянутые друг к другу.

Оба не отваживались начать решающий разговор. Они проходили мимо «Пивного зала».

— Зайдем? — нарушил молчание преступник.

— Зайдем! — печально согласился следователь. «Пивной зал» был похож на баню — дикая жара, стены из белого кафеля и столы из мраморной крошки. Густой табачный дым вполне заменял клубы пара, пивная пена — мыльную, пиво лилось, как вода, и действительно, воды в нем хватало, но особенно дополнял сходство глухой гомон голосов.

При входе в «Пивной зал» посетители инстинктивно оглядывались, ища глазами шайку.

Шайка здесь тоже была — ее возглавлял Филипп Картузов.

Подберезовиков и Деточкин отыскивали свободный столик, заказали пива и раков. Не прошло минуты,

как им подали. Картузов требовал от официанток гоночного обслуживания. Клиенту не давали опомниться. Заказы выполнялись мгновенно. Это приводило небалованного едока в отличное расположение духа. Он лакал разбавленное пиво и радовался этому.

Время от времени в зале появлялся Филипп, важный и недоступный. Он хозяйским оком окидывал свою баню. Убедившись, что предприятие работает на всю катушку, методично наматывая для него золотые ниточки, Филипп величественно удалялся.

Деточкин и Подберезовиков не замечали окружающей среды. Они не сводили глаз друг с друга. Все остальное было для них как бы не в фокусе.

— Откуда ты такой взялся? — допытывался Максим. — Мама у тебя такая хорошая, про паровоз поет. — Тут он окинул Юрия Ивановича подозрительным взглядом. — Простите, а вы не псих?

— Нет, у меня и справка есть...

— Артист! Хороший артист! Я всегда говорил — настоящий жулик, как правило, настоящий артист!.. А человек вы осмотрительный, — продолжал Подберезовиков, — крали только у тех, кого вы считали жуликами. Я об этом давно догадался.

Деточкин не стал возражать.

— Вы надеялись, что это послужит на суде смягчающим обстоятельством. Возможно, вам скинут годик со срока...

Деточкин застенчиво молчал.

— Как вы докатились до этого? — выспрашивал Подберезовиков. — Ну объясните же мне!

— Ладно, — нарушил молчание припертый к стене Деточкин. — Я расскажу вам, как все это началось...

И Юрий Иванович поведал Максиму, как сразу после больницы пошел он работать в гараж при торговой базе. В этом государственном учреждении процветала частная инициатива, и Юрию Ивановичу это не понравилось. Воспитанный мамой в любви к справедливости, он восстал! Но сплоченная компания дельцов своевременно выгнала его «как не справившегося с работой». Деточкин озлобился. Он остался на мели. Ему срочно нужно было подработать. Он взялся перегнать только что купленную машину в другой город. Перегнать,

а не угнать! В пути хозяева разоткровенничались, и Деточкин сообразил, что везет таких же расхитителей народного добра, с какими он общался на торговой базе. Один был крупный специалист по «стройматериалам» — вагонами крал. Его приятель ведал путевками — и тоже недурно жил. Юрий Иванович вспылал.

Он как бы нечаянно заглушил мотор и велел своим пассажирам выйти на шоссе и толкать «Волгу» сзади, пока она не заведется. Частники вылезли и стали усердно толкать. Они хорошо толкали, «Волга» завелась, и Юрий Иванович уехал, оставив жуликов на дороге.

— Я слышал эту легенду, но не знал, что она про вас, — сказал Максим.

— Про меня, — согласился легендарный Деточкин.

— Сколько вы всего продали автомобилей? — официально допрашивал Подберезовиков.

— Четыре!

— Допустим, четыре! — Следователь быстро считал в уме. — Это в старых деньгах выходит почти четверть миллиона.

Деточкин молчал.

— Приличные деньги! — допекал его Максим.

Деточкин молчал.

— Можно сказать, состояние! — продолжал Подберезовиков.

Деточкин молчал.

— Где вы прячете свой капитал?

На этот вопрос следователя нельзя было не ответить, и Деточкин показал на свой портфель.

— Здесь!

Портфель беспечно лежал на свободном стуле.

Максим не поверил своей удаче. Он нашел не только преступника, но и деньги.

Подберезовиков произвольно потянулся к вещественному доказательству. Деточкин сочувственно улыбнулся, Максим тотчас отдернул руку.

В этот момент к их столику степенно приблизился Филипп Картузов. В один из своих царских выходов он увидел следователя и теперь радушно приветствовал его:

— Здравствуйте! Что же вы мне ничего не сказали? Прошу вас вместе с другом перейти в отдельный кабинет!

— Спасибо, только незачем... — отказался Максим и, не упуская портфель из виду, отхлебнул пива.

Увидев, что следователь пьет не то пиво, Филипп проворно выхватил у него кружку и приказал:

— Раечка и Лидочка!

Понятливые официантки налетели на столик и с ловкостью завязтых грабительниц отняли у знатных гостей пиво и раков. Максим все время следил, чтоб в суматохе не исчез портфель с богатством.

— Сейчас подадут свежее пиво. Только что завезли! — объяснил толстяк. — И раков заменят.

— Их только что поймали? — ехидно спросил Деточкин. При виде благоденствующего врага он взъерепенился.

— Ваш друг — шутник! — невозмутимо сказал Картузов. Образ страхового агента слабо отпечатался в его памяти.

Раечка и Лидочка принесли первоклассное пиво и отборных членистоногих.

— Кушайте на здоровье! — Филипп поборол в себе желание осведомиться о своей машине и скрылся в табачном дыму.

— Уйдем отсюда! — предложил Максим, не прилагиваясь к продукции отличного качества.

— Уйти от такой вкусноты? — всполошился Деточкин. — Да ни за что! Вряд ли в тюрьме меня будут так угощать!

А Филипп Картузов вернулся к себе в директор-

— Именно вас я никак не хотел ударить, даже нечаянно.  
— Да, это мне понятно! — саркастически заметил Максим.

Артисты  
Олег Ефремов,  
Евгений  
Евстигнеев,  
Иннокентий  
Смоктунувский



ский кабинет и опустился в кресло, по-бабьи подперев голову пухлой рукой.

«Зачем ко мне пожаловал следователь? — медленно, в меру способностей, отпущенных ему природой, размышлял Филипп. — Не такой он парень, этот Подберезовиков, чтобы без дела таскаться по кабакам».

Максим и Юрий Иванович молча сидели друг против друга. Пауза была тягостной. Максиму хотелось раскрыть портфель, но он разумно полагал, что бар — неподходящее место для демонстрации таких денег.

Деточкин превосходно понимал Максима. Он не хотел его больше мучить.

Юрий Иванович взял портфель к себе на колени и стал расстегивать. Подберезовиков напряженно следил за каждым движением Деточкина. Тот выволок наружу аккуратную стопку бумаг и, смущаясь, положил ее на стол.

— Что это? — не понимал Максим.

— Документы, квитанции... — запинаясь Деточкин.

— Что еще за квитанции? — недоумевал Максим, которому вместо денег всучивали какие-то бумажки. Он с раздражением взял документы и стал их листать. Вдруг он покраснел. То, что он прочел, было по сильнее, чем удар шпагой. Максиму стало нестерпимо стыдно за то, что он подозревал Деточкина.

Он прочел в этих квитанциях, что Юрий Иванович Деточкин переводил вырученные от продажи воро-

— Откуда ты такой взялся? Мама у тебя такая хорошая, про паровоз поет... Простите, а вы не псих?



ванных машин деньги в детский дом города Метельска на подарки ребятишкам!

— А сколько денег вы оставляли себе? — подавленно спросил Максим.

— Ничего не оставлял. Только на проезд и командировочные.

Да, дорогой читатель! Деточкин не брал себе денег! Он хоть и вор, но бескорыстный, честнейший человек! А переводил он деньги в Метельск потому, что в военные годы, когда мама ушла в ополчение, Юра воспитывался именно в этом детском доме.

В кабинет Картузова вбежала Раечка.

— Они разложили на столе бухгалтерские документы!

Сомнения покинули Филиппа. Он понял, что это — ревизия!

И тогда Картузов решил притупить бдительность следователя.

В титанической борьбе с контролерами он применял адскую смесь собственноручного изобретения. На вкус это варево не отличалось от пива, но зато успешно приводило ревизора в состояние, именуемое далее в протоколах как «крайняя степень опьянения».

— Смесь номер один? — спросила умненькая Раечка, правильно оценив молчание своего заведующего.

— Соображаешь, — одобрил Филипп.

Официантка, окрыленная похвалой, галопом доставила гостям зашифрованный напиток.

Максиму и Деточкину было грустно. Оба понимали, что на них свалилась беда, и не знали, как быть.

Максим вдруг ощутил с предельной ясностью, что не сможет пустить в ход постановление на арест!

Деточкин думал — поймет ли мама и как ко всему отнесется Люба? В маме он был уверен — она поймет! Деточкин хотел увидеть Любу немедленно и сказать ей, что он опять попался в капкан! Но этот капкан пилой не перепилишь!

А Максим думал, под какую спасительную статью подвести Деточкина, и с тоской признавался себе, что нужной статьи нет!

— Первую машину я не продавал, — сказал Деточкин, надеясь хоть этим как-то утешить товарища. —







Я ее в Курске у милиции оставил. Приклеил к ветровому стеклу подробную объяснительную записку, а сам ушел на вокзал и вернулся в Москву.

Теперь молчал Подберезовиков...

— А со второй машиной, — продолжал давать чистосердечные показания Юрий Иванович, — несправедливость вышла. Я ее подогнал к милиции и тоже оставил записку, что это — машина жулика. А ее вернули владельцу. Тогда я и решил продавать...

Они молча сидели напротив друг друга, отхлебывая смесь № 1. Средневековая хитрость Филиппа Толстого удалась на славу. Максим вдруг понял, что нет для него человека роднее, чем Деточкин. А у Деточкина напрочь отказали сдерживающие центры.

— Я тебя люблю! — объяснил Максим. — Смотри, что я сейчас для тебя сделаю!

— Что? — живо заинтересовался Юрий Иванович. Подберезовиков достал из кармана пресловутое постановление и показал Деточкину.

Деточкин его внимательно изучил — он впервые в жизни держал в руках столь ценную бумагу.

— А теперь верни ее мне, — велел Максим. Юрий Иванович послушно вернул документ.

— А сейчас я ее порву! — торжественно заявил следователь. — Гляди!

— Не смей! — Деточкин кинулся на Максима. — Тебе попадет!

Завязалась небольшая потасовка. С большим трудом преступник одолел следователя, вырвал у него приказ на собственный арест и спрятал к себе в карман.

— Ладно! — Максим был настроен благодушно. — Дарю его тебе на память!

— Спасибо! — сказал Деточкин.

Они расплатились, по-братски поделив расходы, и вышли на улицу. Они шагали обнявшись и напевали:

Если я заболею, к врачам обращаться не стану,  
Обращусь я к друзьям, не считайте, что это в бреду...  
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,  
В изголовье поставьте упавшую с неба звезду...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Стихотворение Я. Смелякова.

— Слушай, друг, — попросил Деточкин, — не сажай меня до премьеры, прошу тебя.

— А я тебя вообще сажать не буду, живи свободно...

— Понимаешь, такая роль... Раз в жизни бывает.

— Играй премьеру и все последующие спектакли, — искренне разрешил Подберезовиков.

— Я пошел к Любе, — признался Юрий Иванович и пошел по улице, унося портфель со всеми документами.

— Под машину не попади, — отечески крикнул вдогонку Максим.

### ГЛАВА 13

#### в которой Деточкин не успокаивается на достигнутом

Деточкин взял такси и помчал по знакомому троллейбусному маршруту. Был поздний вечер. Такси легко обгоняло освещенные полупустые троллейбусы. Наконец показалась Любина машина. Деточкин обрадовался и попросил шофера такси подъехать к тротуару. Однако пока Юрий Иванович расплачивался, троллейбус отошел от остановки.

Деточкин пустился вдогонку. Настигнув беглеца, он уцепился за лесенку, ведущую на крышу.

Желание увидеть Любу было столь велико, что Деточкин не стал ждать следующей остановки. Он взобрался по ступенькам на крышу и с риском для жизни по-пластунски пополз вперед. Добравшись до переднего края, Деточкин бесстрашно свесился вниз и постучал кулаком по стеклу водителя.

Люба ахнула и затормозила. Она выскочила из кабины и с ужасом обнаружила на троллейбусной крыше своего нареченного.

— Люба, это я! — сообщил сверху Деточкин. — Я вернулся.

— Ну-ка слезай! — растерянно скомандовала Люба.

— А ты не будешь ругать? — грустно спросил пьяненький Юрий Иванович. — Я торопился к тебе!

— Ты что, спятил? — вскипела Люба. — Спускайся немедленно.

— Нет, лучше я тут поеду! — уперся Деточкин.

— Сейчас я тебя оттуда скину! — сказала Люба и недвусмысленно направилась к лесенке.

Деточкин капитулировал. Он прыгнул вниз и полез к Любе целоваться. Но Люба не позволяла себе на работе никаких вольностей. Она скрылась от пылких объятий в своей кабине. Деточкин полез следом, громко распевая:

— Я в Любин троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный...

Люба рывком рванула с места, Деточкин плюхнулся на дермантиновое сиденье, не сводя с нее преданных собачьих глаз.

Объяснение было бурным.

Люба честила Юрия Ивановича почему зря, безжалостно снимая с него стружку. Она говорила, что он скверно кончит, что он связался с какой-то бандой и стал хулиганом, разъезжает на подозрительных «Волгах» в сомнительные командировки, что он скоро сопьется и что туда ему и дорога!

Деточкин не стерпел незаслуженных оскорблений и рассказал Любе все.

Это произвело на нее неизгладимое впечатление.

Люба замолчала.

Троллейбус мчался по ночной Москве, спеша к себе в парк. Это был последний рейс.

Ночью в троллейбусном парке рядами стояли пустые машины, и штанги над ними были приспущены, как флаги...

Люба и Деточкин молча вышагивали по узкой дорожке между троллейбусами. Дошли до конца одной дорожки, свернули на другую, снова шли между троллейбусами, которым, казалось, нет числа...

— Ведешь ты себя... — тихо сказала Люба, — как дитя, честное слово... Ведь посадят, понимаешь ты это или нет?

— Понимаю...

— Я тебя, Юра, буду ждать... Сколько бы ни пришлось... Год, два, десять лет!

— Десять — это ты перебрала! — невесело заметил Деточкин.

— А если можно будет с тобой поехать, я поеду... И на Колыме люди живут, или где там еще?

Двое снова вышагивали по узкой тропинке между троллейбусами. Сотни машин собрались здесь на ночь, чтобы передохнуть перед большой работой...

Деточкин возвращался от Любы вдоль берега Москвы-реки. Великая река неторопливо несла свои чистые воды в Оку. Блики рассветных лучей, отражаясь в волнах, играли на задумчивом лице Юрия Ивановича. На этот раз он решил покончить с прошлым навсегда, и на этот раз — бесповоротно. Он достал из портфеля шляпу и хлопчатобумажные перчатки и без сожаления швырнул их в реку. Затем он выбросил гаечные ключи, отмычки, бутылку с подсолнечным маслом и картотеку учета жуликов. Инструменты потонули, а шляпа и картотека поплыли в Оку.

Деточкину стало хорошо. Он почувствовал себя светло и радостно и, главное, совершенно свободно.

И тут, как нарочно, он увидел двухцветную «Волгу», с номером 49-49-МОТ и сразу вспомнил, что ее владелец Стелькин — взяточник.

Деточкин помрачнел и задумался. Он не хотел подводить Подберезовикова. И наконец понял, как ему следует поступить.

Юрий Иванович побежал вдоль берега и догнал картотеку, которая, по счастью, еще не успела доплыть до Оки. С риском для жизни Деточкин перегнулся через парапет...

Несколько минут спустя похищенная двухцветная «Волга» влилась в поток уличного движения.

Деточкин подъехал к перекрестку, но проскочить не успел. Вспыхнул красный свет, «Волга» вздрогнула и, сердито урча, застыла у линии «стоп».

Поглядывая на светофор, Деточкин думал о том, какой сюрприз преподнесет он Максиму Петровичу.

Деточкин не обратил внимания, что рядом у перекрестка встал троллейбус, набитый пассажирами.

Было бы просто нечестно перед читателем, если бы это оказался какой-нибудь посторонний троллейбус, не имеющий отношения к данному сюжету. По счастью, все вышло как надо! За огромной троллейбусной баран-

кой восседала Люба. Она до сих пор не могла прийти в себя после вчерашних разъяснений Деточкина. И вдруг... увидела виновника своих тревог. Он сидел за рулем соседней «Волги» в непринужденной позе собственника!

Загорелся зеленый сигнал, и «Волга» приемисто взяла с места.

Люба стала действовать не размышляя, повинувшись исключительно зову сердца.

Троллейбус ринулся со старта, как наскипидаренный! Пассажиры, стоявшие в проходе, свалились друг на друга!

Троллейбус наращивал скорость — видимо, у водителя были самые решительные намерения. Троллейбус проскочил остановку, как курьерский поезд полустанок. Пассажиры стали кричать, взывая о помощи.

— Товарищи, спокойно! — пытался установить порядок храбрец пассажир. — У нашего шофера отказали тормоза.

Троллейбус лавировал между машинами, не снижая темпа. Пешеходы спасались бегством, сбивая соседние автомобили.

А Юрий Иванович Деточкин, вызвавший весь этот с р-бор, быстро ехал впереди, не оглядываясь и не подзревая о том, что творится у него за спиной.

Он спокойно свернул с магистрали в нужный ему переулок.

Троллейбус, порвав с проводами, последовал тем же путем. Штанги соскочили и стали буйно метаться из стороны в сторону, круша фонари на столбах и окна в бельэтаже. Обесточенный троллейбус беспомощно остановился. Люба заплакала. А двухцветная «Волга» скрылась вдали. Деточкин спешил к Максиму. Вот он проехал гулкую арку ворот, поставил машину во дворе, у окон прокуратуры, и... ушел!

Этим же утром Максим Подберезовиков вошел в кабинет радостно-возбужденным.

— Таня! — сказал он. — Этот человек — он превосходный человек!

— Кто? — не поняла Таня.

— Тот, кто угонял машины!

— Вор не может быть превосходным человеком! —

безапелляционно заявила Таня. — В институте мы этого не проходили!

Подберезовиков поглядел на помощницу, как редактор — на опечатку.

— Может! — непедагогично сказал Максим. — Кроме того, он мой друг!

— Поняла! — радостно воскликнула Таня. — Для того чтобы поймать жулика, вы сначала подружились с ним! Вы великий следователь!

Подберезовиков смутился и опять ничего не понял.

Так он и проживет жизнь, не узнав, что рядом с ним, в служебном кабинете, долго и утормо билось в унисон преданное сердце.

В дверь постучали.

— Войдите! — разрешил Подберезовиков.

В кабинете появился лохматый субъект с портфелем, как у Деточкина, и сразу обрадовал следователя:

— У меня угнали машину! Среди бела дня! В центре города! Безобразия!

— Садитесь, пожалуйста! — предложил Подберезовиков посетителю. — Ваша фамилия?

— Легостаев, Владимир Степанович. Вот документы на машину. — И присаживаясь, он протянул Подберезовикову технический паспорт.

Максим не стал смотреть документы.

— Ваша профессия? — спросил он, явно находясь под влиянием идеи Деточкина.

— Какое это имеет значение?

— Первостепенное! — со всей серьезностью ответил следователь, с опаской думая, не зря ли он дал отсрочку Юрию Ивановичу.

Лохматый посетитель пожал плечами.

— Я доктор физико-математических наук. Руководитель лаборатории.

— А на самом деле? — машинально спросил Максим.

Ученый уставился на Максима.

— Вообще я шпион Уругвая. А что, это так заметно, товарищ следователь? Чем вы, собственно говоря, занимаетесь?





— Значит, это не он! — сказал следователь, переставая думать о Деточкине.

Доктор наук заерзал в кресле, ясно поняв, что ему не видать своей машины.

Пятнадцать минут спустя вместе с потерпевшим Легостаевым Подберезовиков выехал на место происшествия и, конечно, не нашел там украденного автомобиля.

Когда он вернулся в управление, Таня доложила, что звонил какой-то Деточкин.

Максим насторожился.

Вроде бы Юрию Ивановичу до премьеры незачем больше тревожиться. Не замешан ли все-таки Деточкин в афере с новой машиной?

И когда раздался звонок, Максим бросился к телефону.

— Скажите, — Деточкин сразу взял быка за рога, — вы уже слышали, что сегодня опять угнали машину?

Максим выронил трубку.

В автоматной будке Деточкин терпеливо ждал, пока его друг придет в норму.

— Куда у вас в кабинете выходят окна? — задал следующий вопрос Юрий Иванович, когда Подберезовиков снова задышал в аппарат.

Максим распахнул окно, выглянул во двор и застонал. Двухцветная «Волга» № 49-49, серия МОТ стояла внизу, как раз под его окнами.

— Зачем вы это сделали? — захрипел в телефон Максим. — С каких это пор: вы угоняете машины у честных людей? Где же ваши принципы?!

— Э, нет, — запротестовал Деточкин, — это машина Стелькина, а он взяточник!

— Какой еще Стелькин? — негодовал Максим. — Это машина известного ученого, доктора наук. Он только что был здесь! Документы на машину я держу в руках.

— Минуточку! — с настырностью маньяка не отступал Деточкин. — Я сверюсь с картотекой.

Он полез в портфель, проверил и сообщил:

— Нет, это машина Стелькина.

Подберезовиков зашелся от ярости.

И потому, что он молчал, Деточкин вдруг осознал, что произошла катастрофическая ошибка.

— Не может быть.... — залепетал Деточкин. — Неужели я так ошибся?

— Вы сейчас же перегоните «Волгу» ее владельцу! — потребовал Подберезовиков. — Запишите адрес. О выполнении доложите мне!

И, продиктовав координаты Легостаева, закончил:

— Докатились вы, Деточкин, до банальной кражи.

Потрясенный Юрий Иванович повесил трубку.

— Как это все стряслось? Как я мог дать такую промашку? — казнил он себя за непростительную ошибку.

Да, дорогой читатель, Деточкин неправильно записал номер, внося его в картотеку. Он элементарно ошибся! А с кем этого не бывает?

Человеку свойственно ошибаться, говорит древняя пословица.

Разве не ошибся Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Пеганель, секретарь Парижского географического общества, выучив вместо испанского языка португальский?

Вспомните Колумба, который по ошибке открыл Америку!

Разве не ошибаются врачи?

И не ошибочно ли все время назначать С. И. Стулова на руководящую работу?

Человеку свойственно признавать свои ошибки, гласит современная пословица.

Максим стоял у окна и ждал, когда Деточкин исправит свою ошибку.

Вскоре во двора прокуратуры появился запыхавшийся Юрий Иванович. Не смея поднять глаза, он сел в машину и уехал.

Задание следователя Юрий Иванович выполнил безукоризненно. Он подогнал «Волгу» к зданию научно-исследовательского института и позвонил из проходной в лабораторию, попросив профессора Легостаева срочно спуститься вниз.

Доктор физико-математических наук долго жал Деточкину руку. Он был восхищен оперативностью розыска.

— Передайте вашему следователю, что, если у меня когда-нибудь, не дай бог, что-нибудь украдут, я обращусь только к нему.

— Он одаренный следователь! — поддержал репутацию друга Деточкин.

— Сначала мне это не показалось! — доверительно сообщил профессор Юрию Ивановичу. — Но я с удовольствием каюсь в своей ошибке!

Оказывается, доктора наук тоже ошибаются!

Деточкин и Легостаев расстались по-дружески. Деточкин извинялся, Легостаев благодарил.

Из ближайшего автомата Юрий Иванович рапортовал следователю, что машину вернул, и, чувствуя себя виноватым, боязливо спросил, что же делать дальше. В душе он надеялся, что Максим скажет ему: «Готовьтесь к премьере!»

— Я вам советую, очень советую, — настойчиво подчеркнул Подберезовиков, — явиться ко мне, как говорят, с вещами!

— А спектакль? — робко напомнил Деточкин.

Следователь посмотрел на портрет Станиславского и беспощадно сказал:

— Спектакля не будет!

Через час Деточкин с неизменным портфелем в руке нехотя приближался к зданию прокуратуры. У арки, ведущей во двор, ему поморгала красная электрическая вывеска «Берегись автомобиля!»

Деточкин внимательно прочел вещь надпись и вошел в подъезд. Он отыскал кабинет Подберезовикова и осторожно постучал.

— Пожалуйста! — послышался голос Максима.

Деточкин боком протиснулся в дверь, стараясь не встретиться взглядом с другом. Максим тоже отвел глаза. Обоим было неловко. И только Таня бесстыдно пялила глаза на жулика, которого ее следователь считал хорошим человеком.

Деточкин расстегнул портфель, достал из него пухлую папку и доложил, по-прежнему не глядя на Подберезовикова:

— Это отчет о проделанной работе!

Потом Деточкин вручил Подберезовику важный документ и сухо напомнил:

— Это постановление о моем аресте!

## ГЛАВА 14

## о последнем триумфе Деточкина

По улицам города ехала машина, именуемая у обывателей «черный ворон», хотя она уже давно не черного цвета. Внутри находились Деточкин и два милиционера. Юрий Иванович пребывал в состоянии крайнего волнения.

Машина подкатила к зданию районного Дворца культуры и остановилась у служебного входа. В сопровождении конвоя Деточкин последовал за кулисы.

Да, дорогой читатель! Несмотря на то что исполнитель главной роли был под арестом, премьера состоялась!

Это Максим выхлопотал у начальника соответствующее разрешение, и обвиняемому дали возможность сыграть свою последнюю роль.

Спектакль вызвал нездоровый ажиотаж в судебных и следственных кругах. Все пришли поглазеть на парня, который крадет машины и одновременно играет Гамлета. Да, роль принца Датского, лучшую роль в мировом актерском репертуаре, исполнял Юрий Иванович Деточкин.

Зал заполнился до отказа. В проходах стояли. Целый ряд занимали работники инспекции Госстраха во главе с Яковом Михайловичем Квочкиным. В первом ряду сидели мама и Люба. Обе плакали еще до начала. В зале шепотом рассказывали, что главную роль будет играть заключенный. Многие этому не верили.

Спектакль начался. Первую сцену, у замка Эль-



синор, разыгрывали перед закрытым занавесом. Гамлет в ней не участвует, и сцена была принята относительно спокойно. Зал, как обычно, кашлял и чихал, хотя на улице стояло лето.

Когда занавес поднялся и во втором эпизоде вышел Деточкин, загримированный Гамлетом, в зале вспыхнула веселая оvação.

...Но Деточкин ее не слышал. Он был далеко отсюда, в датском замке Эльсинор, он был принцем Гамлетом и жил его жизнью. Он уже забыл о том, что только на время стал из арестанта принцем крови, что выходы из кулис сторожат конвойные, что впереди суд и приговор.

Бывший шофер, бывший страховой агент, бывший автомобильный жулик оказался великолепным Гамлетом. У него был прирожденный актерский талант, и Деточкин заворожил им зал.

Все уже позабыли скандальную биографию Деточкина и трепетно следили за судьбой мятущегося принца.

А когда Гамлет начал свой знаменитый монолог «Быть или не быть», за кулисами зарыдал счастливый режиссер.

В финале спектакля, где Деточкин-Гамлет схватился в смертельном поединке с Подберезовиковым-Лаэртом и оба умирали на сцене, ревел уже весь зрительный зал под предводительством мамы и Любы.

Премьера прошла с громовым успехом.

Режиссера и исполнителей вызывали без конца!

Несмотря на огромный успех, после премьеры актера, игравшего Гамлета, везли в камеру под конвоем



Конвой целовал охраняемого преступника и обливался слезами в присутствии своего начальства, которое пришло за кулисы и взволнованно поздравляло Деточкина. А Таня попросила у восходящей звезды автограф.

Зал не утихал и перешел на скандированные аплодисменты.

У выхода ждали только что испеченные поклонницы.

Одним словом, был полный триумф!

Деточкин возвращался к себе в камеру предварительного заключения с букетами цветов и чувствовал себя, как в раю. Цветов было много. У Деточкина не хватало рук, и потому конвойные тоже ехали с букетами!

## ГЛАВА 15 судебная

Юрий Иванович Деточкин скорбно мерил шагами камеру Н-ской тюрьмы. Близился день суда, а Деточкин знал, что всякий суд кончается приговором.

Используя свое служебное положение, Максим Подберезовиков часто навещал в тюрьме обвиняемого друга. Оба по-мужски молчали. Максим смотрел на Деточкина безумными глазами Ивана Грозного, убившего своего любимую сына. А Юрий Иванович взирал на следователя, как всепрощающий отрок с картины раннего Нестерова.

Максима сменяли Люба и мама. Несчастье сплотило женщин. Теперь они не расставались. Люба, беспокоясь об Антонине Яковлевне, переехала жить к ней. А мама, понимая состояние невестки, не оставляла ее даже в троллейбусе. Мама уходила из водительской кабины только для того, чтобы взять билет на очередной рейс.

Они вместе пекли для Юры его любимые пирожки с творогом и с нежностью смотрели, как узник уплеет их за обе щеки.

Мама и Люба хотели нанять адвоката, разумеется, самого лучшего. Но Деточкин воспротивился. Он решил сам защищать свою свободу!

И вот пришел день страшного суда. Деточкин из обвиняемого стал подсудимым. Как и на премьере «Гамле-



та», зал был переполнен публикой. Нарушитель закона одиноко сидел на деревянной скамье. Прокурор с суровым прокурорским лицом угрожающе перебирал бумаги.

Раздалась команда: «Встать! Суд идет!»

Появился судья в сопровождении двух народных заседателей.

На традиционный вопрос судьи, признает ли подсудимый себя виновным, Деточкин ответил, что нет, не признает.

Процесс длился несколько дней.

Люба и мама опять сидели в первом ряду. У обеих болело сердце. Люба была вынуждена взять отпуск за свой счет. В районной инспекции Госстраха тоже никто не работал. Все сотрудники во главе с Яковом Михайловичем Квочкиным не выходили из зала суда, переживая за сослуживца.

Работники прокуратуры вместе с Максимом и Таней явились на процесс, отложив следственные дела. А не пойманные ими преступники вольготно разгуливали на свободе.

Кроме заинтересованных лиц, в зале находилось еще немало народу. И оставалось неясным, почему же они не трудятся.

Сокол-Кружкин прервал осенне-полевые работы и тоже торчал здесь вместе с дочерью. Димы с ними не было. Соблюдая семейные правила, Инна оформила мужу доверенность на выступление в суде. И Семицетова вместе с другими потерпевшими заперли в комнате для свидетелей. Для них время тянулось особенно медленно. Пеночкин предложил составить «пульку» и достал из кармана две колоды карт. Чтобы забыться, играли по крупной ставке со всеми достижениями преферанса — с «темными, разбойником, со сказками и бомбами». Диме и тут не повезло. Он просадил шестьдесят три рубля.

Тем временем прокурор долго и с пристрастием допрашивал Деточкина:

— Кто дал вам право отбирать машины и тем самым подменять собой государство?

— Я не подменял государство, а ему помогал!

— Вы готовили отчет по каждой машине. Значит, вы знали, что вам придется держать ответ?

— Да! — простодушно согласился Деточкин.

И прокурор сразу поймал его:

— Вы понимаете, что этим фактически признаете вину? Когда вы отрицали свою виновность — вы лгали!

— Юра никогда не лжет! — громко запротестовала мама, привстав со своего места.

Судья призвал ее к порядку.

Прокурор впился в Деточкина, как клещ. Он терзал его ехидными вопросами. Он был очень любопытен, этот прокурор. Он во все лез, ему до всего было дело. Он расставлял ловушки, старался сбить с толку. Он имел точную цель — доказать суду, что Деточкин опасный тип.

Представитель обвинения измучил Юрия Ивановичи. Мама и Люба просто возненавидели прокурора, а Максим переживал, что не может прийти другу на помощь.

— Этот малый его упечет! — вслух оценил прокурорскую дотошность Сокол-Кружкин.

Когда суд перешел к допросу потерпевших, положение Деточкина ухудшилось. Свидетели ненавидели Деточкина, и не без оснований. Они клепали на подсудимого, настраивая против него и публику и суд.

Вызванный первым, Филипп Картузов упирал на то, что кража его машины — кража со взломом. Надо покопаться в биографии взломщика — может, на его совести лежит еще не один вскрытый сейф?

Вслед за Филиппом давал показания пастор.

— Мои деньги пропали, — вкрадчиво говорил умный пастор, — но они пошли на хорошее дело, угодное Богу, поскольку товарищ подсудимый отдал их детям. Я никаких претензий к нему не имею.

Однако свидетель Пеночкин претензии к подсудимому имел. Пеночкин подал суду мысль о том, что еще неизвестно, сколько денег оседало в карманах преступника после продажи машин. Да, он переводил деньги в детские дома, чтобы... пустить следствие по ложному следу.

— А за ...олько на...амом ...еле он ...родавал ...шины? — размахивал руками Пеночкин. — Ни ...дин ...ор-



мальный ...еловек не ...танет ...аниматься этим ...росто так!.. Значит, он — ...богащался!

Деточкин безучастно молчал. Он чувствовал себя песчинкой в пустыне закона.

— Юра, почему ты молчишь? — вскрикнула мама.

Судья объявил перерыв.

Максим прорвался к Деточкину и долго ругал его за пессимизм. Мама и Люба сидели по обе стороны подсудимого и гладили его худые, острые колени. Мама гладила левое колено, Люба — правое. И Деточкин, как Антей, воспрянул духом!

После перерыва центром внимания сделался Дима Семицветов, который, как известно, рекламы не любил.

— Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть, — патетически говорил Дима, — на конституцию. В ней записано: каждый человек имеет право на личную собственность. Оно охраняется законом. Каждый имеет право иметь машину, дачу, книги, деньги... Деньги, товарищи, еще никто не отменял. От каждого по способности, каждому по труду в его наличных деньгах...

Прокурор поднялся с места и сделал важное сообщение:

— Следственные органы доводят до сведения суда, что против свидетеля Семицветова возбуждено уголовное дело!

Дима помертвел.

— Давно пора! — пророкотал зычный баритон Сокол-Кружкина. — Мы не допустим, чтобы рядом с нами обдeldывала делишки всякая шваль!

Инна заплакала.

— Ничего! — утешал ее отец. — Найдешь себе другого, честного!

— А почему меня одного? — в припадке отчаяния Семицветов раскрыл свое некрасивое нутро. — А другие свидетели лучше, что ли?

— И до них доберутся! — успокоил его тесть.

Семицветов сделал несколько шагов и упал на скамью возле Деточкина.

Юрий Иванович вскочил.

— Гражданин судья, я не хочу сидеть рядом с ним!

— Не паясничайте! — оборвал председательст-

вующий, и Деточкин сел подалее от Семицветова, на самый краешек скамьи. — А вы, гражданин Семицветов, не ускоряйте событий!

Дима вскочил со скамьи и выбежал из зала. Если будущее Семицветова вырисовывалось теперь довольно ясно, то судьба Юрия Ивановича Деточкина оставалась еще туманной.

Наконец суд вызвал самого важного свидетеля — Максима Подберезовикова.

Ввиду торжественного момента Максим явился на суд в милицейской форме.

— Уважаемые товарищи судьи! — заговорил Максим. — Сначала я вел это дело как следователь, но когда выяснилось, что обвиняемый — мой друг, я отказался от ведения дела и выступаю сейчас только как свидетель. Я понимаю, товарищи судьи, перед вами сложная задача: Деточкин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений. Он продавал машины, но отдавал деньги детям... Он, конечно, виноват, но он, — сдержал слезы Подберезовиков, — конечно, не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи, он очень хороший человек...

— И отличный работник! — крикнул с места Квочкин и сразу напустился на соседа, который не проронил ни слова: — А вы не знаете, так молчите!..

Суд перешел к прениям сторон. Слово получил прокурор.

— Сегодня суд рассматривает необычное дело. Подсудимый может вызвать у недальновидных людей жалость и даже сочувствие! На самом деле это опасный преступник, вступивший на порочный путь идеализации воровства! Если взять на вооружение философию преступника, то можно отбирать машины, поджигать дачи и грабить квартиры! Поступки Деточкина могут послужить примером для подражания. Государство само ведет борьбу с расхитителями общественного добра и не нуждается в услугах подобного рода. Я настаиваю на применении к подсудимому строжайших мер наказания как к лицу социально опасному!

— Изверг! — крикнула мама. Она не могла больше молчать.

— Женщину в первом ряду удалите из зала! — распорядился судья.



Антонина Яковлевна встала и с гордостью направилась к выходу. Уже в дверях, как болейщица своего сына, она снова крикнула:

— Судью на мыло!

Люба тоже не выдержала:

— Не осуждайте Юру, он не виноват!

В зале поднялась сумятица. Все стали вскакивать с мест. Судья, срывая голос, перекрыл всеобщий шум:

— Я требую тишины или немедленно очищу зал!

Угроза подействовала. Стало тихо.

— Подсудимый, вам предоставляется последнее слово! — объявил председательствующий.

Деточкин встал.

— Граждане судьи! Я даже рад, что все это кончилось! Что это за донкихотство и робингудство в наше время! Разве это жизнь? А вы попробуйте угнать машину, граждане судьи! Думаете, просто? А продать ее? Честному человеку ворованную машину из-под полы не всучишь! Вот и получается бессмыслица! У вора крадешь — вору продаешь!.. Я почему только машинами занимался? Дача колес не имеет, ее не угонишь. Я ведь хотел как лучше! Может быть, я и неправильно действовал, но от чистого сердца! Не мог я этого терпеть! Ведь воруют! И много воруют! Я ведь вам помочь хотел, граждане судьи, и потому все это вот так и получилось... Отпустите меня, пожалуйста! Я... я больше не буду... честное слово, не буду...

На этот раз из глаз Максима покатались редкие, скупые слезы.

Люба стиснула зубы.

— Свободу Юрию Деточкину! — пронесся над залом страстный призыв Сокол-Кружкина.

Суд поспешно удалился на совещание.

Перед судьями стояла неразрешимая дилемма: с одной стороны, Деточкин крал, с другой стороны, не наживался!

Судьи пребывали в растерянности. Им нельзя было позавидовать!

Дорогой читатель! Пожалуйста, вынеси сам приговор Юрию Деточкину. Суд не прочь переложить эту ответственность на твои плечи. Как и подавляющее большинство населения, ты незнаком с уголовным кодек-



сом, и поэтому тебе легче определить приговор. Если ты добр, то смягчишь участь Юрия Ивановича, а если строг — валяй, сажай Деточкина за решетку!

Определяя меру наказания, помни, что во время следствия Деточкин подвергался судебно-медицинской экспертизе и был признан психически нормальным.

#### ГЛАВА 16

#### вроде бы последняя

По иронии судьбы, рукопись повести «Берегись автомобиля!» попала на обсуждение в Управление художественного свиста. Никогда не угадаешь, где будут обсуждать твою рукопись.

К этому времени УХС окрепло, разрослось, провело сокращение штатов и 497 уцелевших сотрудников, видимо, не зря получали заработную плату. Художественный свист находился на подъеме и даже проник в некоторые смежные области искусства.

Обсуждение происходило в Главном художественном совете, где председательствовал сам С.И. Стулов. Пришли 43 сотрудника, из коих 34 рукописи не читали. Это не помешало им высказывать о ней свое суждение. В порядке исключения пригласили авторов.

Тон, в котором велось обсуждение, был крайне доброжелательным. Все выступавшие говорили корректно, вежливо и не скупились на добрые слова.

Обаятельный Согрешилин был особенно ласков:

— Родные мои! Я бы внес в это милое сочинение одно пустяковое изменение. Солнышки вы мои! Не надо,

— Ведь воруют!  
И много воруют!  
Я ведь вам помочь хотел,  
граждане судьи!  
Отпустите меня,  
пожалуйста!  
Я... я больше не буду... честное слово... —  
так закончил свою речь обвиняемый



чтобы Деточкин угонял машины! Зачем это? Я бы посоветовал так: бдительный Деточкин приносит соответствующее заявление в соответствующую организацию. В заявлении написано, что Семицветов, Картузов и... кто там еще? Пеночкин — жулики. Их хватают, судят и приговаривают! Получится полезная и, главное, смешная повесть.

— Молодец! — похвалил оратора Стулов.

— Ненаглядные вы мои! — продолжал Согрешилин, пытаясь обнять сразу двух авторов. — Подумали ли вы, какой пример подает ваш Деточкин? Ведь прочитав книгу, все начнут угонять машины!

— Но ведь Отелло, — вскочил один из авторов, — душит Дездемону во всех театрах мира, а также в кино! Разве потом ревнивые мужья убивают своих жен?

— Молодец! — эмоционально вскричал Стулов, который любил жену.

— Душа моя! — Согрешилин поставил автора на место. — Зачем же сравнивать себя с Шекспиром? Это по меньшей мере нескромно...

— Товарищи, поймите нас! — поддержала Согрешилина хорошенькая женщина с высшим гуманитарным образованием. — Вы же симпатизируете своему герою. А он — вор! По сути дела, вы поощряете воровство!

На этот раз подпрыгнул другой автор.

— Но ведь Деточкин бескорыстен!

— Ни один нормальный человек, — перебил Согрешилин, — не станет возвращать деньги. Это не типично.

— И поэтому, — обольстительно улыбнулась хо-

— Свободу Юрию Деточкину! — пронесся над залом страстный призыв Сокол-Кружкин



рошенькая женщина, — совершенно непонятно, ради чего написана повесть.

— Как — непонятно! — хором завопили авторы. — Повесть направлена против семицветовых! Против того, что они существуют в нашей стране! Против всяческого примирения с ними! А сюжетная линия Деточкина — это же литературный прием, юмористический ход. Книга все-таки будет юмористической, можно даже сказать, сатирической...

При слове «сатирической» наступило неловкое молчание.

Обсуждение зашло в тупик.

Никто не хотел одобрять. Все знали, что не одобрять — безопасней. За это «не» еще никого никогда не наказывали! Но не одобрять в письменной форме тоже как-то не хотелось. Все-таки документ.

— Родные мои! — вдруг нашелся Согрешилин. — Я вообще не понимаю, почему мы обсуждаем незаконченную вещь? Посадят авторы Деточкина в тюрьму или нет? Пусть они решат его участь, тогда мы возобновим обсуждение.

— Деточкина надо посадить! — указал заместитель начальника управления.

— Молодец! — согласился Стулов.

— Деточкина не следует сажать! — категорически возразил другой заместитель.

— Молодец! — снова согласился Стулов. Положение актеров стало безвыходным.

В этот момент дверь распахнулась. В сопровождении конвоиров в помещение Главного художественного совета вошел герой.

— Молодец! — по-детски обрадовался Стулов при виде Юрия Ивановича. — Я тебя знаю!

Деточкин не без улыбки познакомился с авторами и объявил всем собравшимся:

— Мне надоело ждать! Меня не волнует, что станет с повестью! Меня волнует, что будет со мной!

— Пусть решают авторы! Мы не навязываем свою точку зрения! — подытожил С.И. Стулов.

— Будем выкручиваться! — пообещали авторы, которые к этому привыкли.





Обсуждение пошло им на пользу, и они написали «счастливый эпилог».

### СЧАСТЛИВЫЙ ЭПИЛОГ

Прошло время. Неизвестно сколько. Но, вероятно, немного.

По улице шел Деточкин без охраны.

Он направился к телефонной будке, зашел в нее и набрал свой домашний номер.

— Мама, это я! — нежно сказал Деточкин.

— Ты откуда звонишь, из тюрьмы? — удивилась мама.

— Нет, из автомата. Меня выпустили...

— Наверно, ты им надоел! — сказала мама.

Потом Деточкин позвонил Подберезовикову.

— Привет! — сказал Деточкин.

— Привет! — отозвался Максим, узнав друга по голосу.

— Как дела? — спросил Деточкин.

— Нормально! — откликнулся Максим.

— До встречи! — сказал Деточкин.

— До скорой! — поправил его Максим.

Несколько минут спустя сутулая фигура уже маячила на троллейбусной остановке. Когда подошел родимый троллейбус, Юрий Иванович засуетился. Он обошел машину кругом и, сдернув с головы кепку, заглянул в окошко водителя.

— Люба! — позвал наголо обритый Деточкин. — Здравствуй, Люба! Я вернулся!

Конец

P.S. Своего сына Деточкины назвали Максимом.



## Гараж



**ЭМИЛЬ БРАГИНСКИЙ,  
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ**

**ГАРАЖ**

**САТИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ  
В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ**

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА**

- СИДОРИН** — председатель правления. Главный ветеринар Института по охране животных от окружающей среды. Кроме того, он преуспевает в частной практике. Сидорин активно обаятелен, любит быть в центре внимания, уверен в своей неотразимости, краснобай, хвастун и позер.
- АНИКЕЕВА** — заместитель председателя. Тот заместитель, который на самом деле главнее председателя. И не только потому, что руководит научной деятельностью института, но и потому, что по характеру Аникеева — фельдфебель. Одета строго. Губы не красит, ресницы не мажет, глаза не подводит. При этих всех мужских качествах у Аникеевой есть муж, дети и внуки.
- СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ** — подходит правлению тем, что умеет не выносить сор из избы.
- МАЛЕЕВА** — внешность у нее неказистая, но на ее бледном личике сияют огромные мятежные глазищи, в которых есть свет, смелость и притягательность.
- СМИРНОВСКИЙ** — ему, увы, уже за пятьдесят, но, ура, еще нет шестидесяти. Он умен, насмешлив, иногда циничен, но всегда осторожен. К тому же он член-корреспондент Академии наук.
- МАРИНА** — дочь Смирновского. Молода и привлекательна. От нее недавно ушел муж. Ушел потому, что полюбил другую, несмотря на то что у нее нет папы-академика. В то, что творится на душе у Марины, она не разрешает заглянуть никому.
- НАТАША** — симпатичная и умненькая. Как и все аспирантки Смирновского, влюблена в своего учителя. Но с большим успехом, чем остальные.
- ЖЕНА ГУСЬКОВА** — растрепанное, милое существо — доброе, ласковое, бесхарактерное, безвредное, безобидное и безопасное.
- ХВОСТОВ** — лысоватый мужчина, который в настоящий момент потерял дар речи, то есть немой.

**ФЕТИСОВ** — человек простой, говорит без подтекста. У него золотые руки.

**КАРПУХИН** — верный клевет правления. Человек решительный, правильный, умеет проложить себе дорогу. В общем, знает, как надо жить.

**ЯКУБОВ** — ему за шестьдесят. У него сморщенное, умное и печальное лицо, на котором написано, что многое уже выстрадано за долгую и пеструю жизнь.

**ТРОМБОНИСТ** — это не какой-нибудь заурядный лабух, из тех, что вечерами трубят в ресторанах. Наш музыкант — дипломант Всесоюзного конкурса, солист Самого Что Ни На Есть Большого симфонического оркестра. Вместе с коллегами по оркестру он будил звуками тромбона слушателей всех континентов.

**СЫН МИЛОСЕРДОВА** — молод и дьявольски хорош собой. Помимо открытого лица и дорогой заграничной одежды, обладает непринужденностью и уверенностью, что именно он хозяин жизни.

**КУШАКОВА** — большеглазая, большеротая, большеногая (нет, это неграмотно, правильно — длинноногая) женщина тридцати пяти лет, стильно обернутая в джинсовую материю.

**ТОЛСТЫЙ ПАЙЩИК** — личность загадочная. Проспал все собрание.

**МУЖ АНИКЕЕВОЙ** — нежно любит жену и восхищается ею.

**ЖЕНИХ** — очень хочет жениться и вовсе не хочет вместо этого находиться на собрании.

Общее собрание пайщиков гаражно-строительного кооператива происходит в зоологическом музее. Здесь, в музее, принадлежащем Всесоюзному научно-исследовательскому институту охраны животных от окружающей среды, разнообразные пыльные чучела млекопитающих, птиц и пресмыкающихся выгодно оживляют унылую атмосферу собрания.

Вперемижку с мертвыми волками, черепахами и горными орлами понуро сидят пока еще живые члены кооператива. За столом президиума — товарищ Сидорин — председатель правления, который провозносит сейчас отчетный доклад, товарищ Аникеева — его заместитель, и секретарь правления.

**СИДОРИН** (*монотонно*). А потом мы вылетели из титула третьего квартала. Детский сад номер восемь, видите ли, написал письмо, чтобы мы не строили гараж рядом с детьми... Пришла комиссия... Возникли непредвиденные расходы в виде угощения, сами понимаете, их осметить нельзя. Дальше... Жильцы соседнего дома ночью засадили строительный участок саженцами быстрорастущих деревьев, а сами тем временем накатали телегу в исполком, что мы уничтожаем зеленую зону... Слава богу, одиннадцать деревьев не привились... Ну, опять пришла комиссия, но мы были соответственно подготовлены и три дерева, которые пустили побеги, предварительно обработали мазутом... Пришлось уплатить штраф за три погибших дерева, но участок удалось отстоять... Большую помощь оказал нам лично товарищ Миросердов... Таким образом, мы снова попали в план сдачи объекта этим годом. Это значит, что гараж будет закончен, в лучшем случае, во втором квартале будущего года, но мы обещали строительному тресту подписать акт о приемке строительства этим годом... тогда они получают прогрессивку, но это их дела. Было совершено два поджога. Первый раз сгорела сторожка с рабочими инструментами и спецовками. Во время второго поджога, когда запылали деревянные секции забора, нашим дежурным активистам удалось поймать поджигательницу... ею оказалась многодетная мать, которую, конечно, пришлось отпустить. Товарищи! Во время строительных работ был, совершенно случайно, поврежден телефонный кабель... Жильцы соседних домов, оставшиеся без телефонной связи... пытались разгро-

мить строительство и нанести физические увечья некоторым членам правления... Опять возникли непредвиденные расходы... Но мы решили оплатить стоимость пальто.

МАЛАЕВА (*появляется в зале*). Здравствуйте!.. (*Проходя к свободному месту, раскланивается с сослуживцами.*)

СИДОРИН. ...Одного из членов правления, уничтоженного во время установления контактов с обесточенными жильцами... Я имею в виду пальто, а не члена правления... В настоящее время кабель восстановлен, строители взяли на себя повышенные обязательства, но на прошлой неделе бригада опять на стройку не вышла... ее временно перебросили на аварийный объект. Но вчера, товарищи, четырех рабочих нам вернули. Так что дела идут неплохо...

АНИКЕЕВА (*поднимается со стула*). Ну, товарищи, кто за то...

Пайщики дружно и привычно вскидывают руки, не дожидаясь конца фразы.

...За что? (*Смеется.*) Кто за то, чтобы признать работу правления гаражно-строительного кооператива «Фауна» — удовлетворительной?

ФЕТИСОВ (*с энтузиазмом*). Почему удовлетворительной? Признать работу хорошей!

ТРОМБОНИСТ. Верно!.. Славно потрудились! Можно и хорошей!

КАРПУХИН (*одобрительно*). Большие молодцы!

ЖЕНИХ (*надевает пальто*). Признать прекрасной и пойти домой...

АНИКЕЕВА. Товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает удовлетворительная и неудовлетворительная. Кто за то, чтобы признать удовлетворительной?!

Пайщики дружно голосуют.

СИДОРИН. Так, принято единодушно! Благодарю вас всех от имени правления.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Можно идти? Можно? Пайщики один за другим поднимаются со своих мест.

СИДОРИН. Но, товарищи, собрание еще не окончено... Слово имеет наш секретарь, Алла Петровна.

**СЕКРЕТАРЬ**. Прошу сесть, товарищи. Правление просит заслушать доклад по хозяйственно-финансовой деятельности правления гаражно-строительного кооператива «Фауна» за истекший срок.

В зал входит Наташа.

В прошедшем году был проделан...

Марина и Смирновский замечают Наташу.

...определенный цикл строительных работ в объеме, предусмотренном сметой строительно-эксплуатационных расходов, утвержденной...

**МАРИНА** (*Смирновскому*). Твоя прискакала, папочка, совсем обнаглела. Уже на собрания является...

Наташа проходит через зал. Подходит к Смирновскому и Марине.

**НАТАША** (*тихо*). Добрый вечер, Павел Константинович! Ну сколько можно заседать?

**СМИРНОВСКИЙ** (*смущенно*). Вы зачем пришли?

**НАТАША** (*конспиративно*). Есть срочное дело. Зайдем за белого медведя!

**СЕКРЕТАРЬ**. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете, как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете, как укладка асфальта. А работы по... укладке асфальта были оплачены строго по смете, как работы по озеленению.

**СМИРНОВСКИЙ** (*Наташе. Они уже спрятались за белым медведем*). Ты ставишь меня в неловкое положение.

**НАТАША**. О твоей больной печени знает весь институт, от вахтера до директора! Ешь! (*Заставляет есть творог, который принесла с собой.*)

**СМИРНОВСКИЙ**. Я сейчас говорю не о моей больной печени...

**НАТАША**. А о чем?

**СМИРНОВСКИЙ**. Ты прекрасно знаешь, о чем.

**НАТАША**. Не понимаю.

**СМИРНОВСКИЙ**. Здесь столько людей и все всё видят!



НАТАША (*притворяясь наивной*). Что видят?  
(*Кормит Смирновского.*)

СМИРНОВСКИЙ (*нежно*). Наташка, не балуйся!

НАТАША. О наших отношениях знает весь институт. Я должна бояться за свою репутацию, я женщина... Ну, а ты-то чего дрожишь? Ты человек холостой, свободный.

СЕКРЕТАРЬ. Все расходы производились согласно смете, но, товарищи, имеется перерасход... Например, шпаклевка, в сумме 56 рублей, которая на нас висит. 56 рублей — это, конечно, мелочь, но она висит, товарищи. Согласно решению общего собрания, прошлый раз мы собрали по 30 рублей на административные расходы.

ТОЛСТЫЙ ПАЙЩИК. В «черную» кассу, что ли?

СЕКРЕТАРЬ. ...Давайте не будем это называть «черная касса», это вполне чистая касса. Мы можем отчитаться в каждой копейке. Более того. Расходы по непредвиденному угощению составили 553 рубля, что превышает сумму, которую мы собрали в прошлый раз, а расходы на транспорт...

МАЛАЕВА. Кошмар какой-то... Когда это кончится? Мой бандит один дома заперт.

ЯКУБОВ. А сколько ему лет?

МАЛАЕВА. Да семь уже.

ЯКУБОВ. Пока мы отсюда выберемся, ему стукнет все восемь, а то и десять. Не боитесь одного оставлять?

МАЛАЕВА. Он привык быть дома один... Совершенно самостоятельный мужчина. И потом, я успела заехать покормить его, (*Улыбается.*)

СЕКРЕТАРЬ. Правление просит утвердить отчет по хозяйственно-финансовой части.

АНИКЕЕВА. Кто «за», товарищи, прошу голосовать!..

Пайщики опять дружно проголосовали.

...Все прекрасно, спасибо.

СИДОРИН (*встает за столом президиума*). И еще один маленький, но довольно-таки большой вопрос.

МАРИНА (*со вздохом*). Жизнь состоит из одних

вопросов... А хочется, чтобы она состояла из одних ответов.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*он сидит рядом с Мариной*). Разумеется, положительных?..

МАРИНА (*иронически*). Да! Но не от вас!

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*якобы сокрушенно*). Так!.. Для начала получил отрицательный ответ...

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину.

СИДОРИН. Я понимаю, что курица — это очень важно, но я прошу тишины.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*убирает курицу в авоську*). Извините... Но все-таки...

СИДОРИН. Товарищи, это вопрос очень деликатный... Где-то огорчительный...

Наташа и Смирновский возвращаются из-за белого медведя, садятся на свои места.

Меня лично это просто убивает.

Толстый пайщик прислоняется к бегемоту, закрывает глаза.

СИДОРИН (*медоточиво*). Как вы знаете, родные мои, у нас по проекту тридцать три бокса, поэтому у нас тридцать два пайщика. Один гараж предназначен для ремонта. Так вот... Несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции нашего района. Вприпрыжку к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль... Она, к сожалению, задевает часть нашего участка. (*Со вздохом.*) Поэтому нам уменьшили гараж на пять боксов...

КАРПУХИН (*озадаченно*). ...Магистраль нельзя отодвинуть?

СИДОРИН (*развел руками*). Товарищи!.. Мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок... Но вы сами понимаете, это магистраль, она прямая, она нужна всему городу, и нам объяснили: единственный выход — это... сократить число пайщиков на пять человек.

СМИРНОВСКИЙ (*дочери и Наташе, тихо*). Сейчас начнется бог знает что.

СИДОРИН. Мы сразу собрали экстренное засе-

дание правления. Первое, что мы решили, это отказаться от ремонтного бокса.

АНИКЕЕВА (*елейно*). Для нас главное люди, а не машины, естественно.

СИДОРИН. И поэтому нам придется сократить только четырех... человек, а не пять.

ФЕТИСОВ. Ну что ж, четыре — это лучше, чем пять, но хуже, чем три. (*Смеется.*)

АНИКЕЕВА. Фетисов!..

ТОЛСТЫЙ ПАЙЩИК (*перед тем как заснуть*). Что за смех такой! Мешаете!

СИДОРИН. Товарищи, мы тщательно взвешивали каждую кандидатуру. Мы принимали во внимание все. ...Кто, когда вносил деньги. Оказывал помощь строительству. Ездил хлопотать в различные инстанции, участвовал в субботниках, сторожил по ночам... Сейчас я... зачитаю список лиц, которых мы предлагаем исключить... то есть вывести.

АНИКЕЕВА (*вносит ясность*). Ну что там миндальничать, ведь дело есть дело — исключить, к сожалению.

СИДОРИН (*с притворным энтузиазмом*). И тут же внести в новый список, в наш резерв. Мы будем добиваться второй очереди... Извините, жизнь есть жизнь, кто-то может умереть...

АНИКЕЕВА (*железным голосом*). Товарищи, этот список согласован с дирекцией и общественными организациями нашего института по охране животных от окружающей среды.

МАРИНА (*к отцу*). Так, сейчас меня вышибут, на одну семью два гаража...

НАТАША. На Павла Константиновича никто не посмеет замахнуться.

МАРИНА (*Наташе*). Тебя не спрашивают. (*Снова отцу.*) Но его дочери могут запросто дать под зад коленом. Папа, как ты считаешь, могут?

СМИРНОВСКИЙ. Я считаю, что ты разговариваешь как пьяный дворник.

МАРИНА. Папочка, ныне все так разговаривают. Даже твоя подружка.



НАТАША (*виновато*). Иногда приходится употреблять сильные слова, иначе не поймут.

СИДОРИН. Итак, зачитываю список с болью в сердце.

АНИКЕЕВА. Зачитывайте!

СИДОРИН (*как бы не решаясь*). С болью в сердце зачитываю список...

АНИКЕЕВА (*жестко*). Зачитывайте.

ЖЕНИХ. Зачитывайте, в конце концов!

СИДОРИН. Хвостов Семен Александрович.

Все пайщики, как по команде, оборачиваются и смотрят на Хвостова.

Мы все боролись за товарища Хвостова, пытались его защитить, отстоять, мы сделали все, все возможное...

АНИКЕЕВА. Но есть пределы и нашим возможностям, товарищи!

Хвостов, озираясь, растерянно встает.

СИДОРИН. Номер второй, Гуськов Евгений Иванович.

Теперь все смотрят на жену Гуськова.

Мы относимся к товарищу Гуськову с большой симпатией...

Жена Гуськова поднимается со своего места. Садится. Всклакивает и бежит к столу президиума.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*кричит дурным голосом*). Как Гуськов? Почему Гуськов? Я так и знала. (*Подбегает к столу президиума.*) Хватит. Я вам не позволю издеваться над моим мужем.

АНИКЕЕВА. Жена Гуськова, не нервничайте!

Жена Гуськова выхватывает у Сидорина список и рвет его в клочья.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Мой Гуськов в нашем институте известный козел отпущения. Он делает научные открытия, а лауреатство хапают другие, которые примазались к открытию, а в результате мой Гуськов имеет фигушки...

СИДОРИН. Успокойтесь вы, успокойтесь! (*Протягивает стакан воды.*)

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*отталкивает руку со стаканом*). Нет, оставьте, не надо мне... Мой муж пишет научный доклад для симпозиума в Париже, а едете за шмотками вы, товарищ Аникеева!.. А моего Гуськова вместо Парижа загоняют в Нижний Тагил. Командировочные два шестьдесят в день. (*Плачет.*) И вообще, мой Гуськов в Нижнем Тагиле радикулит заработал...

АНИКЕЕВА. Жена Гуськова, успокойтесь, сядьте, не мешайте вести собрание. Что касается Парижа, то в соответствующих сферах было решено, что еду именно я! Во-первых, я доктор наук; потом, мои труды по орнитологии переведены на французский. Я очень хотела, чтоб поехал Гуськов... тоже, но насчет шмоток — я лично все деньги потратила на научные книги.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*перестает рыдать, язвительно*). Да? А кассетный магнитофон кто привез?

АНИКЕЕВА. Вы его видели?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Видела.

АНИКЕЕВА. Вы его слышали?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Слышала!

АНИКЕЕВА. Вы его включали?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Да!

АНИКЕЕВА (*взяв себя в руки, снова ласково*). ...Ну как вам не совестно, ну сядьте...

Жена Гуськова отходит от стола.

Ну как ребенок, честное слово.

СИДОРИН (*к секретарю*). Будьте любезны, передайте мне копию списка. (*Берет копию.*) Спасибо! (*Называет следующую жертву.*) Фетисов Виталий Кузьмич. Ну, знаете, товарищ Фетисов... попал в этот скорбный список...

ФЕТИСОВ (*медленно поднимается*). Да вы что? Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал!

Такого не ожидал никто, и наступает мертвая тишина. Долгая мертвая тишина. Затем тишину нарушает drobный звук отодвигаемых стульев. Царапая пол, стулья вместе со своими седоками все дальше и дальше отъезжают от Фетисова. Вокруг него образуется выразительная пустота.

КАРПУХИН (*приходит в себя первым*). Если это так, то тебя правильно турнули!

АНИКЕЕВА (*секретарю, тихо*). Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе!

Тромбонист (*Фетисову*). И сколько вам за это заплатили? В свободно конвертируемой валюте или в рублях?

ФЕТИСОВ. В рублях. Хватило на «Запорожец» и на гараж.

МАРИНА. Что же вы так продешевили? За родину можно было взять и дороже!

ФЕТИСОВ. Так ведь это не пригородная дача под Москвой, как у некоторых... А дом в деревне... участок пятнадцать соток... Дом в два этажа, но вот удобства... во дворе... А этого теперь не любят, все образованные стали, и потом, от железной дороги семь с половиной километров, пока с авоськами допрешь, зато из дома вид на реку.

АНИКЕЕВА (*к секретарю, тихо*). Из протокола про продажу вычеркните.

Тромбонист возвращается к Фетисову, снова садится рядом.

ФЕТИСОВ. ...А за рекой луг, этот дом мой дед построил, и отец там родился, и я — предатель. Когда мать умерла, мне жена все уши пробубнила — продадим, продадим. Кому эта рухлядь нужна? А там во дворе сарай железом крытый, а погреб какой?..

АНИКЕЕВА (*Сидорину*). Это лирическое отступление надо бы кончать.

ФЕТИСОВ. ...Да у нас, если хотите... До сих пор в реке рыба водится, несмотря ни на что, несмотря ни на какие институты! А я продал, а меня правление продало...

Положив голову на бегемота, сладко захрапел толстый пайщик.

КАРПУХИН (*поглядел на спящего*). Во дает начальник отдела насекомых!

ЖЕНИХ. Набегался за бабочками.

ФЕТИСОВ. ...Во кому хорошо-то...

СИДОРИН (*завершает «казнь»*). И последний — Якубов Александр Григорьевич, как это ни прискорбно.

Все повернули головы в сторону Якубова.

...Лично я знаю... товарища Якубова, как говорится, сто лет.

АНИКЕЕВА. Да, и все эти сто лет мы знаем его с самой лучшей стороны...

СИДОРИН. И тем не менее кто-то должен, то есть, простите, кого-то мы должны...

В этот момент к столу президиума угрожающе приближается Хвостов. Это тот самый Хвостов, которого в списке исключенных назвали первым и который только сейчас осознал, что произошло, и перешел в атаку. Он взволнованно жестикулирует и открывает рот, что-то говоря, но не слышно ни единого слова.

АНИКЕЕВА. Хвостов, не напрягайте связки, вам вредно.

КУШАКОВА. Откуда взялся этот болтун?

Наташа пружинисто вскакивает со стула.

НАТАША (*пылает благородным гневом*). Нехорошо, некрасиво, непорядочно так говорить. Семен Александрович — наш лучший лаборант.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. А лучшие всегда идут впереди.

НАТАША. Да я вам все расскажу подробно.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Подробно не надо.

МАРИНА. Наташа, ты не член кооператива? сядь и успокойся, я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь?

ЖЕНИХ (*громко*). Товарищи! Домой хочу, к невесте! Я, между прочим, сюда прямо из загса пришел.

Наташа подбегает к столу президиума.

НАТАША (*горячо*). Семен Александрович Хвостов работает с фауной Ледовитого океана. И нежно любит нашего тюленя Боря... И вот когда Боря заболел, то Семен Александрович прыгнул в бассейн с ледяной водой, чтобы дать тюленю лекарства... Так Хвостов простудился и потерял голос, врачи говорят — надолго.

КУШАКОВА *(язвительно)*. Очень трогательная история...

ТРОМБОНИСТ. А какие лекарства дают тюленю?

НАТАША. Семен Александрович громко протестует против несправедливости и бессовестного исключения Хвостова. Я вас правильно перевела?

Хвостов многократно кивает головой.

МАРИНА. Вот он и кивает, как дрессированный тюлень.

АНИКЕЕВА. Хвостов, отойдите, от вас слишком большой шум!

СИДОРИН. ...Товарищи! Голосуем каждого в отдельности или списком?..

ГОЛОСА ПАЙЩИКОВ. Да, да, да, голосуем.

КАРПУХИН. Списком, списком, чего там волынку тянуть.

МАЛАЕВА *(Якубову)*. Александр Григорьевич! Надо бороться!

ЯКУБОВ. Бесполезно. Тех, которых не исключили, вон их насколько больше. И каждый, естественно, проголосует против нас...

МАЛАЕВА. Нет, не может быть, чтоб каждый.

СИДОРИН. Итак, дорогие друзья, будем голосовать списком...

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(поднимает нагсадный крик)*. Подождите, не поднимайте руки, вы их потом всю жизнь не отмоете!..

АНИКЕЕВА *(прибегает к испытанному демагогическому приему)*. Жена Гуськова, ну что вы так волнуетесь, может быть, еще собрание и не согласится с правлением?

СМИРНОВСКИЙ. В нашем кооперативе всегда согласны с любым правлением.

ТРОМБОНИСТ. Да не соглашаться с правлением... это все равно что против ветра... плевать.

Жена Гуськова подлетает к столу президиума.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Товарищи, я умоляю вас, ну пожалейте же Гуськова, он застенчивый человек. А у

нас во дворе с машины каждую ночь что-нибудь воруют, вчера подфарники открутили...

СИДОРИН. Товарищи! Кто — за?

СЕКРЕТАРЬ. ...Раз, два, три, четыре...

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*кричит*). Сначала надо голосовать, кто против! (*Поднимает обе руки.*)

СИДОРИН. Что же вы обе руки-то тянете, ласковая моя?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Да потому, что здесь у вас подхалимов, прилипал, подголосников, лизоблюдов и лиходеев много, а нас, честных, мало, если б я была в брюках, я бы и две ноги задрала. (*Всхлипывает.*)

АНИКЕЕВА. Жена Гуськова! Уйдите отсюда. Вы ведете себя безнравственно. Покиньте собрание.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. ...Только под конвоем...

СИДОРИН. Товарищи, я понимаю, что это очень плачевная процедура, но она неизбежна... Давайте голосовать, иначе мы так никогда не кончим.

МАЛАЕВА. Не совсем красиво получается у вас...

ТРОМБОНИСТ. Да, стыдно, товарищи, но голосовать надо!

ВЫКРИКИ С МЕСТ. Конечно!.. Голосуем! Ну давайте, в конце концов! Ну сколько можно!

ЯКУБОВ (*нервно, отрывисто*). Позвольте! Мне нужно кое-что... выяснить! По имеющимся у меня сведениям, в списке пайщиков появился какой-то там Милосердов, но никакого Милосердова мы на собрании не принимали...

АНИКЕЕВА (*в ужасе*). Как вы смеее называть товарища Милосердова какой-то и никакой?

СИДОРИН. ...Даю уважаемому собранию справку... Правление действительно кооптировало в члены гаражно-строительного кооператива сына товарища Милосердова. (*С намеком.*) Мы не сомневались и не сомневаемся, что по этому поводу не может возникнуть никаких возражений.

ФЕТИСОВ. Да что же это делается-то, а? Сынка большого начальника по блату впихнули, а меня, работника института, выпихнули.

КАРПУХИН. Разрешите мне сказать! (*Каждое правление всегда имеет своих верных клеветов.*) Мы

Директор рынка — артистка Анастасия Вознесенская

→



ЖИВУЩИЙ МИР  
АРТИСТОВ И АНУАРКТИКИ



здесь все свои люди, давайте говорить начистоту. Вот приняли сына товарища Милосердова в кооператив, и гараж быстро начал строиться, вспомните, сколько лет мы... мыкались.

Я КУБОВ. Вы так об этом говорите, будто наш гараж какое-то левое строительство. А я во всем и везде привык идти законным путем.

МАРИНА. Законным путем идти можно, дойти трудно! Товарищи из правления! Предъявите нам сына нашего благодетеля!

Сидорин переглянулся с Аникеевой. Аникеева вздохнула.

СИДОРИН. Товарищ Милосердов-младший, вы не возражаете против того, чтоб показаться на глаза собравшимся?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Нет, нет, не возражаю.  
(Лениво встает.)

КУШАКОВА. Хорошенький какой!

ТРОМБОНИСТ. Где такой пиджачок рванули?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. В Сингапуре.

ТРОМБОНИСТ. Далекое!

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Я могу сесть?

ФЕТИСОВ. Почему он не поставил себе гараж где-нибудь посреди площади!

АНИКЕЕВА. Конечно, садитесь!

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Благодарю за внимание. *(Садится рядом с Мариной, встречаясь с ее ироничным взглядом.)* Ну, я же не виноват, что я его сын. Родителей не выбирают, хотя я лично своими доволен. А вас как зовут?

МАРИНА. Марина. Только... я вас умоляю. Не называйте своего имени. Вы для меня навсегда останетесь... сын Милосердова. В этом романтика нашего времени.

СИДОРИН. Прошу голосовать.

Пайщики поднимают руки.

Хвостов решительно идет к столу президиума. Берет графин, отдает Сидорину, стакан — Аникеевой, поднос — секретарю.

АНИКЕЕВА. Хвостов! Уйдите! Вы уже выступали!

Обездоленные  
голосуют проти  
Жена Гуськова  
Светлана  
Немоляева,  
Тромбонист —  
Семен Фарада  
Хвостов —  
Андрей Мягко  
←

Но Хвостов не уходит, а... взбирается на стол и плашмя ложится на бумаги. Поначалу все опешили. Но вскоре раздаётся нестройный смех.

(В ярости.) Хвостов, покиньте стол президиума немедленно!

ЖЕНА ГУСЬКОВА (громко и радостно). А он не слезет. Он лежит в знак протеста!

НАТАША. Бедняга, да он не может протестовать иначе.

Аникеева пытается спихнуть Хвостова со стола. Сидорин с извинительной улыбкой помогает Аникеевой. Секретарь тянет Хвостова за ноги.

КАРПУХИН. Ничего себе кооперативчик. Ничего себе собраннице!

Присутствующие с нескрываемым интересом следят за поединком.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (Марине). Махнемся по рублику? Вы на кого поставите — на Хвостова или на правление?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Товарищи! У меня курица потекла.

СИДОРИН (раздраженно). Уймитесь вы со своей курицей!

АНИКЕЕВА (обессилен в борьбе с Хвостовым). Все! Пусть лежит, если ему так нравится! Давайте голосовать, товарищи!

Аникеева:  
— Хвостов!  
Покиньте стол  
президиума  
немедленно!  
Жена Гуськова:  
— А он не слезет!  
Он лежит  
в знак протеста.  
Артисты  
Семен Фарада,  
Георгий Бурков,  
Светлана  
Немоляева,  
Андрей Мягков,  
Ольга  
Остроумова,  
Алла Будницкая,  
Ия Саввина,  
Валентин Гафт



ФЕТИСОВ (*во все горло*). Не дам голосовать! Не дам! Чем я хуже других. Я простой человек, и деньги у меня такие же.

ТРОМБОНИСТ (*Фетисову*). Тише, тише!

ФЕТИСОВ. Уйди отсюда, труба!

ТРОМБОНИСТ. Да не труба, а тромбон!

ФЕТИСОВ. Я дом продал, у меня там на участке двенадцать яблонь, и все ухожены, и все приносят. Я во всех субботниках участвовал. Я вам еще покажу!

АНИКЕЕВА (*командирским голосом*). Молчать! Хватит! Смирно! Одна бумага рвет, другой на столе валяется, третий истерики устраивает, про яблони тут рассказывает, частный собственник! Все кандидатуры утверждены и согласованы. Вам что, порядки наши не нравятся?

ЯКУБОВ (*грустно*). Ваши — не нравятся. И не отождествляйте себя с Советской властью. То, что вытворяет ваше правление, — это произвол. Только собрание вправе решать, кто здесь четверо лишних!

КАРПУХИН. Хватит болтологии, товарищ председатель! Мы что, здесь до утра намерены торчать?

ВЫКРИКИ ИЗ ЗАЛА. Голосовать! Голосовать!

НАТАША (*Смирновскому*). Все это бессовестно. Ну неужели вы не заступитесь, Павел Константинович? Вас-то они послушают?

МАРИНА. Папа в своей жизни уже достаточно

На съемках  
фильма «Гараж»  
Режиссер  
Э. Рязанов,  
главный опера-  
тор В. Нахабце



заступался. Это дорого обошлось и ему и тем, за кого он заступался...

СМИРНОВСКИЙ. Что было, то было.

МАРИНА. ...И не лезь в драку, у нас у самих рыло в пуху!

СМИРНОВСКИЙ *(в сердцах)*. Да я и не лезу!

ФЕТИСОВ *(не унимается)*. В конце концов, имею я право узнать, кто в нашем гараже не из нашего института?

СИДОРИН *(ласково)*. Золотой мой! Что, что, а право-то вы имеете.

ФЕТИСОВ *(непреклонно)*. Тогда огласите!

СИДОРИН *(Хвостову, который по-прежнему лежит на столе)*. Будьте любезны, приподнимите животики! Я достану список!

Вместо ответа Хвостов еще сильнее прижимается к столу.

АНИКЕЕВА. Черт с ним, с этим малахольным! *(Сидорину.)* Вы же наизусть помните.

СИДОРИН. Ну хорошо. *(Обращается ко всем.)* Кооператив «Фауна» находится под эгидой нашего института. Но вначале у нас просто не хватало заявлений. Вы знаете, люди всегда долго раскачиваются. Поэтому мы приняли несколько человек, не работающих в нашем институте, но живущих неподалеку от будущего гаража. У нас есть замечательный храбрый полковник. У нас есть очаровательный крупный дипломат. Сейчас он за границей. И небезызвестный заслуженный артист, тромбонист из знаменитого оркестра, он перед вами...

Тромбонист раскланивается.

Мы их всех утверждали на общем собрании и не имеем права исключить из нашего кооператива лишь потому, что они не из нашего института. Тем более что они-то принимали самое активное участие.

ЯКУБОВ *(саркастически)*. Странная у вас память... Вы забыли упомянуть о щедром и могущественном директоре рынка.

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(визжит)*. Каком еще директоре рынка? Мы рынок не принимали. Не принимали рынок!



МАЛАЕВА. Правильно она говорит!

ФЕТИСОВ. Трубач был!

ТРОМБОНИСТ (*на нерве*). Тромбонист!

ФЕТИСОВ. Ну, все равно! Генерал был!

СЕКРЕТАРЬ (*поправляет*). Полковник!

ФЕТИСОВ. Все равно. Дипломата помню! Рынка не было!

АНИКЕЕВА. Нет, был! Если этот псих слезет со стола, я вам предъявлю протокол.

ЯКУБОВ. Директора рынка вы после вписали в протокол. В наше время секретов не бывает.

СИДОРИН. Дорогой мой, как вы смеете?

ЯКУБОВ. Смею, и вам я не дорогой!

ЖЕНИХ. Да закругляйтесь, я домой хочу, к невесте, она такая, в белом платье...

ФЕТИСОВ. Правильно! Вы все в белом, а мы?..

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*кричит*). Товарищи, в этом правлении все жулики. Вам директор рынка всем сунул...

СИДОРИН (*пытается призвать всех к порядку*). Прекратите этот базар!!

МАРИНА. Уточняю — это не базар, а рынок!

АНИКЕЕВА. Вы, жена Гуськова, ответите мне за клевету!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. А вы, товарищ Аникеева, за полученные взятки!

ФЕТИСОВ (*голосом грома*). Где директор рынка? Дайте мне его! Я из него мясной ряд сделаю!

Кушакова встает с места и, слегка улыбаясь, подходит к столу президиума. Короткое замешательство. Все ожидали увидеть нечто хамское, обьевшееся, а вместо этого видят хорошенькую, элегантную даму.

ТРОМБОНИСТ. Ух ты!

КУШАКОВА (*Фетисову, с ласковой улыбкой*). Пожалуйста, сделайте из меня мясной ряд...

Сын Милосердова присвистнул.

(*По-прежнему обращаясь к Фетисову.*) Почем же вы будете брать за кило? Не знаете? Я вам скажу. Вот эта часть (*показывает*) называется голяшка. Здесь не дороже четырех рублей, идет только на студень, дальше...

ФЕТИСОВ. Я знаю!

КУШАКОВА. Вы не знаете! *(Задирает юбку.)* Это огузок! Здесь вы можете взять по пять рублей, идет и на первое и на второе.

ТРОМБОНИСТ *(оцениваяюще)*. Ничего огузок!

КУШАКОВА. А вот дальше, вы знаете, это задняя часть, все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей, можно содрать и по шесть и по семь рублей!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Какая бесстыжая баба!

КУШАКОВА. По-вашему, по-мещанскому, если человек работник торговли, значит, это обязательно вор и взяточник?

АНИКЕЕВА *(недоумевающе)*. Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов!

КУШАКОВА. Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок?

АНИКЕЕВА. Действительно! Рынок открывается в семь утра, она встает в половине шестого.

КУШАКОВА. В половине пятого, я работаю как каторжная!

ФЕТИСОВ. Это правда, вид-то у нее тюремный. *(Смеется.)*

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Это точно, по ней тюрьма плачет.

АНИКЕЕВА *(укоризненно)*. Человек встает чуть свет для того, чтобы вы, жена Гуськова, могли покупать свежие овощи, мясо, творог, фрукты.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Я не могу покупать по рыночным ценам, я, в отличие от вас, товарищ Аникеева, в правлении не состою, мне в лапу не суют.

КУШАКОВА *(наконец-то вспылила)*. Заткнитесь вы, истеричка!

АНИКЕЕВА *(к жене Гуськова)*. Слушайте, вы эти грязные намеки прекратите и у меня перед лицом ручонками не размахивайте.

ЯКУБОВ. А что это вы, товарищ Аникеева, так страстно защищаете ее, это наводит на подозрение...

АНИКЕЕВА. На подобную тему я вообще разговаривать не желаю.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Это почему же?

Аникеева не устаивает ее ответом.

ФЕТИСОВ. ...Я предлагаю взять директора рынка и вышвырнуть!

Кушакова издевательски смеется.

КАРПУХИН. Я возражаю. Правление подготовилось к собранию!..

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*перебивает*). Ну да! Верно, на рынке готовилось, среди помидоров...

МАРИНА. Я б сейчас съела помидорчик!..

КАРПУХИН. При чем здесь помидоры, я не понимаю! Я настаиваю...

ЯКУБОВ. Мы вас достаточно наслушались, прихвостень правления!

КАРПУХИН (*убежденно*). Да, мне нравится наше правление, мне нравится руководство нашего института, потому что я против анархии, я за порядок и дисциплину. Я из большинства. На таких, как я, держится все. А для вас самое главное личные интересы, будь, мол, у меня гараж, а остальное все пропади пропадом!

ЯКУБОВ. Как раз у нас-то и не будет гаражей.

КАРПУХИН. Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Ну, знаете, вы совсем уже... нахальство какое!

ФЕТИСОВ. Товарищи, товарищи! Я предлагаю для пользы общего дела переизбрать правление.

МАЛАЕВА. Правильно!

МАРИНА (*азартно*). Сейчас дойдет до драки!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Правильно! Переизбрать!  
(*Поднимает руку.*)

КАРПУХИН. Как это так? Что такое? А ну опусти руку! (*Силой пригибает поднятую руку жены Гуськова.*)

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Вы прохиндей!

Фетисов залиvisto свистит.

АНИКЕЕВА. Фетисов, прекратите хулиганство!

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*к Хвостову, задыхаясь от волнения*). Ну-ка подвинься, друг, я лягу рядом с тобой в знак протеста!

Хвостов послушно отодвигается, и жена Гуськова укладывается на столе рядом с ним.

СМИРНОВСКИЙ. Какой маразм!

МАРИНА (*смеется*). То ли еще будет!

ЖЕНИХ (*подлетает к Сидорину*). В конце концов, вы председатель или рыба мороженая?

ТРОМБОНИСТ. Ну голосуйте хоть что-нибудь. Что угодно. Ну господа! Уже четыре часа здесь сидим. Это невозможно.

Шум. Выкрики: «Кончайте волынку! Наведите порядок!»

СИДОРИН. Кто за список, предложенный правлением?

АНИКЕЕВА. Да, да!

СИДОРИН. Я прошу поднять руку!

Жена Гуськова и Хвостов стучат по столу президиума. Фетисов снова свистит. Кушакова, Сидорин, Аникеева голосуют.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*кричит*). ...Долой, долой!

Тромбонист достал инструмент и дудит изо всех сил. Карпухин зажимает уши.

КАРПУХИН (*Тромбонисту*). Ну прекратите! Что вы, офонарели, что ли?

ТРОМБОНИСТ (*перестает дудеть*). Кто за список правления, прошу голосовать. (*И первый поднимает руку.*)

КАРПУХИН. Ну, это другое дело.

Пайщики голосуют. Немой Хвостов пытается засвистеть. Сидорин и Аникеева зажимают ему рот. Секретарша считает голоса пайщиков.

СЕКРЕТАРША. Раз, два, три... замолчите! Четыре, пять, шесть, семь, восемь...

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Возмутительно!

Секретарь. Девять, десять. Не мешайте! Одиннадцать...

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека.

МАРИНА. А вы-то сами?



СЫН МИЛОСЕРДОВА. А я не претендую.  
СИДОРИН. Кто против?

Против голосуют только исключенные: Фетисов, Якубов и двое лежащих.

Кто воздержался?

МАЛАЕВА. Я воздержалась.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Нашелся хоть один полупорядочный, и то слава богу.

МАЛАЕВА. Я не желаю участвовать в этом безобразии.

СИДОРИН *(не обращая внимания на слова Малаевой)*. ...Слава богу, поздравляю, товарищи, на этом вопрос, так сказать, закончен.

Пайщики начинают расходиться.

СМИРНОВСКИЙ *(с досадой)*. Надо было и мне голосовать против. Конечно, это ни к чему бы не привело, но я бы не чувствовал себя так мерзко. Испугался. Два гаража на одну семью.

МАРИНА. Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде, к сожалению.

НАТАША. Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, а потом долго себя терзать.

СИДОРИН *(обращается с призывом ко всем)*. Товарищи! Минуточку! Нет, ничего страшного, но мы опять вынуждены вас ограбить. Сдавайте по сорок рублей на непредвиденные расходы.

Оживленно обмениваясь репликами, пайщики дружно становятся в очередь к секретарю правления.

АНИКЕЕВА *(устало)*. Жена Гуськова, Хвостов, слезайте со стола. Вы уже посторонние...

ТРОМБОНИСТ. Спать на столе президиума имеют право только члены кооператива.

КАРПУХИН *(смеется)*. Отлично сказано!

Жена Гуськова и Хвостов покорно сползают со стола. Сидорин, Аникеева и секретарь в ужасе смотрят на стол, который сверкает полированной пустотой.

АНИКЕЕВА. Где список?.. Что это?

СИДОРИН. Где?.. Что?.. Как?..



АНИКЕЕВА *(в панике)*. Товарищи! Они украли все наши документы, ну все до единого!

КАРПУХИН *(с возмущением)*. Вы знаете, это уже чересчур! Ведь это ж подсудное дело!

ТРОМБОНИСТ. Отдайте бумажки, вы уж свое отыграли!

СИДОРИН. Хвостов, голубчик, зачем вам понадобились наши документки?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Да не крал он ваши документы. *(Злорадно.)* Он их съел, я лежала на столе рядом с ним и видела, как он дожевывал последний список.

Общий переполох. Смех.

СМИРНОВСКИЙ. Я вздрогнул.

ТРОМБОНИСТ. Вот почему у нас бумаги-то не хватает.

МАЛАЕВА. Семен Александрович, вы действительно все съели?

Хвостов утвердительно кивает.

МАЛАЕВА. Спасибо! *(Незаметно для всех метнулась к двери.)*

СИДОРИН *(Хвостову)*. Как ветеринар, я обещаю вам, прожорливый мой, заворот кишок.

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(в ажиотаже)*. Да, у него будет заворот кишок... В знак протеста.

ФЕТИСОВ. Ох, вы у меня попляшете, я до верхов дойду, я еще вас выведу на чистую воду.

КУШАКОВА. Лично я хочу на свежий воздух как можно скорее.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Правильно, одно ваше присутствие загрязняет окружающую среду.

КУШАКОВА *(передергивает изящными плечиками)*. Замолчите! Как вас только муж терпит!

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(ее переполняет негодование)*. А вы... а вот... а у вас бриллианты на руке на ворованные деньги!

Так же незаметно Малаева вернулась обратно, однако теперь не может больше оставаться в стороне от событий. Ей нужно привлечь к себе внимание, и с этой целью она взбирается на стул.

МАЛАЕВА (*пытаясь перекрыть общий галдеж*). Я хочу сказать вам несколько слов, это очень важно.

СИДОРИН. Кончилось собрание. Вы опоздали, милочка!

ТРОМБОНИСТ. Ваш поезд ушел. (*Подражает гудящему паровозу.*) Ту-у-у!

ЯКУБОВ. Да дайте человеку сказать!

КАРПУХИН. Вы что, очумели, что ли, вечно, что ли, здесь сидеть? Надоела эта говорильня. Лично я вот сдаю сорок рублей (*расписывается в ведомости*) и исчезаю...

МАЛАЕВА. Подождите, мне... мне необходимо выступить. Мы поступили, ну честное слово, несправедливо.

АНИКЕЕВА. Домой ступайте! У вас там ребенок один, вспомните, что вы мать.

ФЕТИСОВ. А вы ей глотку не затыкайте!

СИДОРИН (*как обычно, предельно вежлив*). Елена Павловна, пожалуйста, мы дадим вам слово. Мы сейчас все разойдемся, и выступайте сколько вам заблагорассудится, пожалуйста.

МАЛАЕВА (*на нерве*). Прекрасно, уходите, я все равно скажу все, что я об этом думаю.

ТРОМБОНИСТ (*похохатывая*). Вы перед чучелами все скажите, они уже давно созрели.

Карпухин изо всех сил дергает входную дверь, бьет плечом, толкает всем телом, но солидная дубовая дверь не поддается.

КАРПУХИН. Товарищи, вы знаете, кто-то запер дверь!

ЖЕНИХ. Вы что там, спятили, что ли?..

КАРПУХИН. Да, это дурная шутка.

ЖЕНИХ. Откройте же немедленно, в конце концов.

АНИКЕЕВА (*холодно анализируя ситуацию*). Эту бесстыдную акцию наверняка совершил кто-нибудь из исключенных.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*орет*). Правильно! В знак протеста.

ЯКУБОВ. Мы вас живыми не выпустим!



ФЕТИСОВ (*озорно напевает*). Как я сам не дотумкал, как я сам не дотумкал...

АНИКЕЕВА. Правильно вас все-таки исключили, правильно! Я чувствую, это Хвостов. Вы посмотрите, как у него бегают глаза, вы видите?

Все поглядели на Хвостова, у которого действительно бегают глаза.

ТРОМБОНИСТ (*жалобно*). Это возмутительно. У меня завтра в десять утра запись на радио, фондовая.

КАРПУХИН (*с угрозой*). Ну вот что, Хвостов, или кто там еще, немедленно откройте дверь. У меня жена больная, вы понимаете? Она с ума сходит, куда это я подевался. Ключ! Немедленно отдайте!

ЖЕНИХ (*с отчаянием*). Друзья, выпустите меня отсюда, у меня сегодня брачная ночь.

МАЛАЕВА. Ну и что?

ЖЕНИХ (*оторопел*). Как это «ну и что»?

КАРПУХИН. Товарищи, давайте... взломаем дверь!

СМИРНОВСКИЙ. Это не так-то легко сделать. Это здание ведь не теперь строилось.

АНИКЕЕВА. Да вы что? Вы понимаете, что вы говорите? Вы, как выражаетесь, высадите дверь, а кто будет охранять эти бесценные экспонаты? Нашему бегемоту сто двадцать лет. Я как заместитель директора категорически запрещаю это делать!

СИДОРИН (*с лисьими интонациями*). Дорогие мои бывшие члены кооператива. Я отлично понимаю и где-то, поверьте мне, разделяю ваши чувства. Но, пожалуйста, перестаньте своевольничать и верните ключи.

МАЛАЕВА (*продолжая настаивать на своем*). Слушайте! Ну мы все равно уже заперты. Ну дайте мне толкнуть речь. Ну пожалуйста!

СИДОРИН (*срываясь, раздраженно*). Дома толкнете, соседям, родственникам, там толкайте сколько хотите. (*К исключенным.*) Пожалуйста, родные мои, признайтесь, кто совершил этот разбой? Будет хуже, мои серебряные...

МАЛАЕВА (*совершенно спокойно*). Ну я заперла, я!

КАРПУХИН. Что?

МАЛАЕВА. Ну, легче вам от этого?

СИДОРИН. Что значит вы?

СЫН МИЛОСЕРДОВА *(восхищенно)*. Сильна малышка!

СИДОРИН *(кипя от злости)*. Вы понимаете, что вы говорите... Понимаете или нет? «Я заперла дверь»!

АНИКЕЕВА. Да болтает, успокойтесь.

КУШАКОВА *(с неподдельным изумлением)*. Зачем вы это сделали, вас же не исключили?

МАЛАЕВА. Вам, боюсь, этого не понять.

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(вдруг)*. А ветчина уже позеленела. *(Показывает.)*

СИДОРИН. Да уйдите вы с вашей ветчиной!

МАРИНА. А я действительно есть хочу. Я не обедала и тем более не ужинала. Я в гости собиралась.

СЫН МИЛОСЕРДОВА *(обрадовался)*. Со мной не пропадете, Марина! *(Открывает чемоданчик «дипломат».)*

Марина *(заглянула в чемоданчик)*. Из чего пить будем?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Из горла, как в подворотне!

МАРИНА. Тогда зайдем за белого медведя!

Скрываются.

ТРОМБОНИСТ. Товарищи, давайте возьмем и отберем у нее ключи!

КУШАКОВА. Конечно.

МАЛАЕВА *(с усмешкой, Тромбонисту)*. Вы что же будете... женщину обыскивать?

КУШАКОВА. Зачем? Это сделаю я.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Вот личность, ни стыда, ни совести!

МАЛАЕВА. Не надо, не затрудняйтесь, я могу сама раздеться, без посторонней помощи. Просто боюсь, что это не доставит удовольствия присутствующим.

АНИКЕЕВА *(едко)*. Да, уж это действительно.

Карпухин налетает на Малаеву.

КАРПУХИН. Отдай ключи, гадюка!

Исключенные встанут стеной на защиту Малаевой.

МАЛАЕВА (*из-за спин защитников*). Не настолько я глупа, чтобы в обществе таких благородных людей держать при себе ключи. Товарищи... я их спрятала в надежном месте.

АНИКЕЕВА. Я ей не верю. (*Суслием.*) Придется все-таки обыскать!

СМИРНОВСКИЙ (*Аникеевой*). Лидия Владимировна, вы что, в своем уме?

МАЛАЕВА. Ничего, Павел Константинович, успокойтесь, пускай устраивают шмон.

СИДОРИН (*схватился за голову*). Какой кошмар!

КАРПУХИН. Боже мой!

СИДОРИН. Запертые мои! Мы не имеем права самовольничать! Если это делать, то с разрешения общего собрания.

МАЛАЕВА (*весело*). Товарищи, кто за то, чтоб меня обыскать? Давайте, товарищи, не робейте...

КАРПУХИН. Я хочу вырваться отсюда, у меня жена больная, и я проголосую за что угодно, только бы отсюда смотаться. (*Поднимает руку.*)

ЖЕНИХ. У него жена больная, а у меня невеста здоровая, я — за! (*Голосует.*)

ТРОМБОНИСТ. Товарищи, конечно, вам этого не понять, но у меня завтра утром запись на радио, если я не выплюсь, я такое сфальшивлю. Ужас. (*Голосует.*)

СЕКРЕТАРЬ. Другого выхода нет. (*Голосует.*)

Портрет Лии  
Ахеджаковой  
в фильме  
«Гараж»  
художника  
Б. Кочейшвили



КУШАКОВА. Я вообще встаю ни свет ни заря, половина пятого... *(Голосует.)*

АНИКЕЕВА. Обыск — отвратительная штука, но это вынужденная необходимость, товарищи! *(Голосует.)*

СИДОРИН. На что только не приходится идти, чтобы вернуть пайщиков их семьям. *(Голосует.)*

СМИРНОВСКИЙ. Прошу внести в протокол, я протестую!

СИДОРИН. Профессор, мы запомним, что вы протестуете, но записать некуда, ведь протокол съели.

Воспользовавшись общей суматохой, Хвостов пробрался к дальней форточке, тихонько вынимает из-за пазухи документы, похищенные, но, разумеется, не съеденные, комкает, выбрасывает в форточку.

МАЛАЕВА. Ну, так кто будет меня обыскивать?  
ТРОМБНИСТ. Сейчас начнется стриптиз!

К Малаевой молча приближаются Аникеева и Кушакова.

АНИКЕЕВА. Начнем с сумочки...

МАЛАЕВА. Пожалуйста...

Аникеева, не стеснясь, заглядывает в сумку.

Жалость какая, фотографа нету! *(Задирает руки.)* Ну, а теперь щупайте меня!

СМИРНОВСКИЙ. Товарищ Аникеева, неужели вы осмелитесь! Позор!

АНИКЕЕВА *(с металлом в голосе)*. В интересах

Тромбонист:  
— Я трублю панику, потому что наше дело труба!

Артист — Семен Фарада



коллектива, Павел Константинович, осмелюсь и не на такое!

МАЛАЕВА. Павел Константинович, не горячитесь. Представьте, что я на таможне и у меня ищут наркотики или бомбу!

АНИКЕЕВА (*извиняясь*). Товарищи, у меня нет опыта! Я это делаю непрофессионально. (*Начинает личный досмотр.*)

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*они с Мариной вышли из-за белого медведя*). Лиха беда начало!

МАЛАЕВА. Да смелей, смелей... Ой, щекотно! Не надо, ну щекотно! (*Хохочет.*)

Якубов не выдерживает, подбегает и отталкивает Аникееву.

ЯКУБОВ. Вы совсем зарвались! Я этого не позволю!..

АНИКЕЕВА. Все видели, он меня ударил!

ЯКУБОВ. Еще не ударил, но сейчас...

МАЛАЕВА (*Якубову*). Александр Григорьевич, не пачкайте руки. Товарищи, вы же видите, единственный способ... предотвратить рукопашную — это предоставить мне слово...

СИДОРИН (*застонал*). Какое еще слово? Зачем? Господи! Где ключ, ключ где, паршивая моя?

ТРОМБОНИСТ. Может, она с приветом, как Хвостов, тот все документы слопал, а это малявка ключ проглотила?

МАРИНА. Что вы, ключ здоровенный. Она бы подавилась.

АНИКЕЕВА. Слушайте, товарищи! Знаете что? Придется уступить силе. Ну о чем вы собираетесь говорить?..

МАЛАЕВА. Значит, вы мне даете слово?

КАРПУХИН. Да пропади она пропадом, пусть мелет все, что угодно. Вы только установите ей регламент. У меня жена больная. Кстати, есть здесь телефон? Я хочу позвонить!..

АНИКЕЕВА. Да нет здесь телефона!

ТРОМБОНИСТ. Действительно, чего мы ее боимся, эту курицу? Пусть кудахчет, только покороче!

СИДОРИН (*к Малаевой*). Сначала, лапушка моя, правление должно одобрить тезисы вашего выступления.

МАЛАЕВА. Могу вас заверить, мои тезисы вы не одобрите!

СИДОРИН (*официально*). Ну хорошо, открываем вторую серию нашего многосерийного собрания. Я предоставляю слово товарищу Малаевой. (*К Малаевой*.) Только, пожалуйста, говорите быстрее, не размазывайте, а то у нас дома поднимется переполох.

ЖЕНИХ (*к Малаевой*). Прежде чем вы начнете говорить, выпустите меня одного, меня невеста дома ждет.

МАЛАЕВА. Я очень хорошо понимаю ваше нетерпение, но если я открою дверь для вас одного...

ЖЕНИХ. Да, пожалуйста...

МАЛАЕВА. ...Выврнутся все.

ТРОМБОНИСТ. Товарищ жених, вы совершили... грубейшую ошибку.

ЖЕНИХ. Почему?

ТРОМБОНИСТ. Надо было закончить сначала все дела с невестой, а уж потом идти на собрание.

ЖЕНИХ (*отмахнулся*). Да ладно!..

МАЛАЕВА (*начинает свою речь*). Мы работаем в институте, который занимается охраной животных. Человек — это тоже животное...

КАРПУХИН. Что это такое? А?

СИДОРИН. Как что — лекция!

МАЛАЕВА. Его тоже надо охранять!

СЫН МИЛОСЕРДОВА. От кого?

МАЛАЕВА (*ее не сбить*). Человека надо охранять от человека, от жадности, которая нас съедает... от желания захватить, захапать. Мы поступили низко. Это мягко сказано. Мы — подлецы!

КУШАКОВА. Так, начала читать морали!

МАЛАЕВА. Вы подумайте, никто, ни один человек из тех, кого не тронули...

АНИКЕЕВА. Короче можете?

МАЛАЕВА. Да!.. Не выступил против, я даже не знаю, как это сказать, против... нечистоплотности правления. Правление, конечно, выбрало четверых самых беззащитных. И вы подумайте, ведь речь-то идет не об угрозе жизни, не о свободе, не о работе, не о кварти-

ре... (Говорит горячо, с чувством, с болью.) Речь идет о коробке, в которой можно хранить грудку штампованного железа.

КАРПУХИН. Между прочим, это железо стоит семь, даже девять тысяч.

МАЛАЕВА. Это ваше, мое дешевле.

АНИКЕЕВА (ядовито). Что же вы предлагаете?

МАЛАЕВА. Я предлагаю жить по демократическим советским принципам. Для этого надо начать все сначала.

МАРИНА. Да, в час ночи, это в самый раз!

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Оказывается, белые вороны еще существуют.

КАРПУХИН (не понимая, о чем речь). В природе это большая редкость, но, по счастью, у нас есть. (Показывает на чучело белой вороны.)

СЫН МИЛОСЕРДОВА. По счастью, у вас есть!

МАЛАЕВА (продолжает). Обсудить каждого пайщика в отдельности.

ТРОМБЕНИСТ. Да она же чокнутая!

МАЛАЕВА. Каждого голосовать и по числу голосов решить, кто тут лишний!

Собрание охнуло.

СИДОРИН (к Малаевой). Ласточка моя, маленькая, нам для этого потребуется несколько недель.

Малаева:

— Вы вычеркнули Александра Григорьевича. Ясное дело. Человек вышел на пенсию... А то, что он всю войну разведчиком прошел?..

Артисты  
Светлана  
Немоляева,  
Георгий Бурков,  
Глеб Стриженов,  
Валентин Гафт  
и Лия  
Ахеджакова



МАЛАЕВА (*непреклонно*). Хоть год! Для правды времени не жалко.

Тромбонист достает инструмент и оглашает зоологический музей зловещими раскатами.

СИДОРИН. Не дудите, музыкальный вы мой! С ума можно сойти, что вы раздуделись на ночь глядя?

ТРОМБОНИСТ. Я трублю панику, потому что наше дело — труба!

КУШАКОВА (*Малаевой*). Если ты такая принципиальная, отдай свой гараж и выметайся добровольно.

МАЛАЕВА. Если собрание решит меня исключить, я выметусь и жаловаться не буду.

КУШАКОВА. У тебя дома ребенок голодный. А ты юродствуешь!

МАЛАЕВА. Мой ребенок, хочу кормлю, хочу нет!

КУШАКОВА. Видите, она и в семье такая...

МАЛАЕВА (*на ее глазах слезы, голос дрожит*). К примеру, вы вычеркнули Александра Григорьевича. Ясное дело. Человек вышел на пенсию, и списали человека, а то, что он тридцать лет в нашем институте отыскал...

СИДОРИН (*поправляет*). Отработал!

МАЛАЕВА. Отработал! То, что он всю войну разведчиком прошел? Два ордена Славы, медаль за взятие Берлина... Это, конечно, значения не имеет!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Имеет!

МАЛАЕВА. Или возьмем злосчастливого Гуськова!

Прогрессивные силы готовы к отпору.

Артисты  
Светлана  
Немоляева,  
Андрей Мягков,  
Лия Ахеджанова



ЖЕНА ГУСЬКОВА. Гуськова! Да, товарищи, возмем Гуськова!

В Аникеевой просыпается перестраховщик с солидным стажем. Она перехватывает инициативу.

АНИКЕЕВА. Товарищи! Правление о военных заслугах товарища Якубова, к сожалению, понятия не имело. *(К Якубову.)* Александр Григорьевич, миленький, ну почему же вы нам ничего не сказали о своем славном военном прошлом? Ну почему?

ЯКУБОВ. Да какое имеет значение это военное прошлое для получения гаража?

АНИКЕЕВА. Но как же?

СИДОРИН *(с ласковым укором)*. Ну что вы?

АНИКЕЕВА *(с пафосом)*. Товарищи! У нас тут страшная недоработка, просто страшная. Нужно было посмотреть личное дело каждого.

СИДОРИН. Да, конечно, конечно.

АНИКЕЕВА *(лицемерно)*. Спасибо вам, товарищ Малаева...

МАЛАЕВА *(с сарказмом)*. Пожалуйста!

АНИКЕЕВА. ...за своевременный сигнал. Вот только теперь я поняла, как вы правильно поступили, заперев дверь. *(Обращается ко всем.)* Товарищи! Мы совершили грубейшую, я бы просто сказала, политическую ошибку...

ЯКУБОВ. Хорошо! Но как вы думаете все это исправить?

СИДОРИН *(Якубову)*. Мы, разумеется, вас восстановим.

АНИКЕЕВА. Да, Александр Григорьевич!

СИДОРИН. Я не знаю, как это сделать! Но, вероятно, за счет... кого-нибудь другого?

АНИКЕЕВА. Естественно...

ЖЕНА ГУСЬКОВА. А как же с нами будет?

ТРОМБОНИСТ *(тревожно)*. Так кого именно вы хотите вышвырнуть?

АНИКЕЕВА. Товарищи!.. Правление просто зашло в тупик. Я объявляю перерыв.

МАРИНА. Ну нет...

АНИКЕЕВА. ...Мы прервемся...

ТРОМБОНИСТ (*рассердился*). Какой перерыв в половине второго ночи?!

КАРПУХИН (*в гневе*). Товарищи! Я не понимаю, что, собственно говоря, здесь происходит? Выскочила эта (*показывает на Малаеву*) шмакодявка, и теперь мы что, должны все перестроиться, перековаться? Отдавать друг другу гаражи? Мы всего эдакого наслушались и начитались. Мы, чего тут скрывать, боремся здесь за место под солнцем, в виде гаража!

СИДОРИН (*наводя порядок, кричит*). Место под солнцем на юге! В Сочи! Перерыв!

ЯКУБОВ. Позвольте! Меня восстановили или нет?

АНИКЕЕВА. Александр Григорьевич! Считайте, что ваша машина уже стоит в гараже.

ЯКУБОВ (*первый раз улыбнулся*). Что ж, спасибо, лучше поздно, чем никогда.

СИДОРИН. Поздравляем, вы восстановлены!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. А мы-то как же?

ФЕТИСОВ. Во жизнь! Каждый счастлив в одиночку!..

Правление уходит куда-то вглубь.  
Волнуются растерянные пайщики.

### Конец первого действия

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Второе действие начинается с того, чем кончилось первое.

Тромбонист начинает играть нежную и печальную мелодию. Усталые пайщики разбрелись по музею, разбились на группы. К Кушаковой подсаживается Карпухин.

КУШАКОВА (*показывает на Малаеву*). Кто вот эта вот идейная пигалица, которая устроила всю эту заваруху?

КАРПУХИН. Эм. Эн. Эс. ...

КУШАКОВА. Что это такое? С чем это едят?

КАРПУХИН (*расшифровывает*). Младший научный сотрудник. Кандидат наук, специалист по ядовитым змеям.

КУШАКОВА (*шутит*). Она многого от них набралась...



КАРПУХИН *(тоже шутит)*. Или змеи от нее...

КУШАКОВА *(смеется)*. Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем.

КАРПУХИН. Угадали!

КУШАКОВА. Муж давно ее бросил?

КАРПУХИН. Мужа отродясь не было.

КУШАКОВА *(эти двое явно нашли общий язык)*.

Как так? Я слышала, ребеночек-то имеется.

КАРПУХИН *(пошло смеется)*. Мир не без добрых людей. Я не люблю всякие эти слухи, всевозможные пересуды, но у нас говорили, что ребеночек-то... *(Шепчет на ухо Кушаковой.)* Понимаете?..

КУШАКОВА. Какой ужас! Раньше мужчины платили женщинам, это было нормально, а теперь... Какое падение нравов!

К Малаевой подходит Фетисов.

ФЕТИСОВ. Елена Павловна!

МАЛАЕВА. Да... *(Она все еще переживает свое выступление.)*

ФЕТИСОВ *(скрывая теплое чувство к Малаевой)*. Я ведь в автомобилях дока. Всякую профилактику и любой ремонт...

МАЛАЕВА *(улыбнулась сквозь слезы)*. Я знаю, вы великий народный умелец.

ФЕТИСОВ. Так что для вас я все сделаю. Бесплатно, конечно.

МАЛАЕВА. Спасибо...

ФЕТИСОВ *(нежно)*. Да я ваш чахлый «москвичонок» в «мерседес» превращу.

МАЛАЕВА *(растроганно)*. Спасибо, Виталий, но мое выступление, оно ведь ничего не изменит.

ФЕТИСОВ. А это вне зависимости!

МАЛАЕВА. Спасибо.

Подошел Хвостов, по-братски погладил Малаеву по голове. Она тоже его погладила, как сестра милосердия, утешая. На окне сидит Наташа, возле нее Смирновский.

НАТАША. Ну почему ты на мне не женишься?

СМИРНОВСКИЙ *(чувствует, что этот раз-*

говор происходит не впервые). А чего тебе не хватает? Отпуск мы и так проводим вместе. Если куда выбираемся в театр, тоже вдвоем, и в кино. Тебе нужно официальное положение профессорской жены?

НАТАША. Надоело быть любовницей, унизительно.

СМИРНОВСКИЙ. Но это ханжеская точка зрения.

НАТАША *(с грустной улыбкой)*. А я сама ханжа.

СМИРНОВСКИЙ *(вздыхнув)*. Я же старше тебя, уж не будем подсчитывать, на сколько.

ЖЕНИХ *(подбегает)*. Скажите, там нет выхода?

НАТАША *(с сочувствием)*. Нет, там тупик.

ЖЕНИХ. У-у-у! Полный тупик. *(Убегает.)*

СМИРНОВСКИЙ *(невесело)*. Через несколько лет вообще превращусь в старика. А ты все еще останешься молодой, сильной женщиной. Начнешь исчезать по всякому удобному и неудобному случаю.

НАТАША. Извини, но ты несешь такую ерунду, на которую я даже отвечать не желаю. Я тебя люблю и хочу за тебя замуж. Ну, я на этом заклинена.

Смирновский кладет голову на плечо Наташе. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. Тромбонист перестает играть. Все вскочили.

ТРОМБОНИСТ. Кто там?

МАРИНА. Выпустите нас!

ЖЕНИХ. Откройте, ради бога!

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Позовите товарища Анিকেву. Я ее муж!

Аникеева, Сидорин и секретарь подбегают к двери.

АНИКЕЕВА. Петр Петрович, это ты?

МУЖ АНИКЕЕВОЙ *(из-за двери)*. Лидусик, это я!

СИДОРИН *(с мольбой)*. Петр Петрович, спасите нас!

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Лидусик, там внизу толпа родных и близких. Все психуют! Что у вас происходит?

АНИКЕЕВА. Петр Петрович, тут одна дефективная нас заперла...

СИДОРИН. И у нас получилось закрытое, то есть запертое, собрание.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Вахтер пропустил меня одного, он знает, что я муж заместителя директора.

ЖЕНИХ (*влезая в разговор*). Товарищ муж Аникеевой, там у вахтера есть запасные ключи...

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Он не отдает. Ваш вахтер идиот!

СИДОРИН. Да, но он на посту!

ЖЕНИХ (*чуть не рыдая*). Но почему мое счастье должно зависеть от какого-то вахтера?!

АНИКЕЕВА (*гаркнула на жениха*). Да перестаньте вы! (*Снова к мужу*.) Скажи ему, Петя, что я приказываю отдать ключи. Слышишь?

СЕКРЕТАРЬ (*с уверенностью*). Это бесполезно. Он подчиняется только начальнику охраны.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ (*понизив голос, интимно*). Лидусик, Сашенька никак не засыпает, требует бабушку.

АНИКЕЕВА (*тоже тихо*). Ну скажи ему что-нибудь, ну придумай! Скажи, что бабушка улетела на ковре-самолете.

ЖЕНИХ. Позвоните по телефону сто сорок три...

АНИКЕЕВА (*перебивая жениха*). Помолчите!.. (*Опять к мужу*.) А вы привыкайте жить без меня...

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. А что передать родным и близким?

СИДОРИН. Передайте, пусть расходятся по домам. Ведь собрание когда-нибудь кончится.

ЖЕНИХ. Я... Я сейчас закричу. (*Вопит*.) Ка-ра-у-у-ул!

СИДОРИН (*утешает*). Подождите, миленький, не кричите, миленький... Все кончается на этом свете, рано или поздно.

Муж Аникеевой ушел. Все снова разбрелись по музею. Опять заиграл Тромбонист. Мелодия грустная, трогательная. Сын Милосердова и Марина сидят в стороне.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*иронически*). Какая романтическая ночь!

МАРИНА (*сразу подхватывает интонацию*). У меня такое ощущение, что мы с вами в джунглях.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Кругом звери и дикари. МАРИНА. Слышите? Явно трубит слон.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Наверное, у него брачный период, как у нашего жениха. В этих джунглях могут съесть в любую минуту. Ну давайте хоть познакомимся перед смертью.

МАРИНА *(пожимает плечами)*. ...Про вас все ясно. Закончили Институт международных отношений.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Вы мне льстите.

МАРИНА. Ну восточных языков.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Опять промахнулись.

МАРИНА. Ну я не знаю. Кинематографии... что ли?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Вы идете по стандарту. Раз сын Милосердова, значит, что-то очень модное.

МАРИНА *(с радостным изумлением)*. Неужели вы слесарь?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Нет, это чересчур! Я археолог, меня как-то слабо интересует настоящее... Я предпочитаю копать в прошлом... А вы, дочка профессора, кто?

МАРИНА *(с горечью)*. У меня все по штампу. Закончила факультет... филологический... Его называют — факультет невест. Занимаюсь сатирой.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Русской или иностранной?

МАРИНА. Нашей.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Девятнадцатым веком?

МАРИНА. Нет, современной.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. У вас потрясающая профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет.

МАРИНА *(бросила оценивающий взгляд на собеседника)*. Знаете, а вы занятный.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Знаю. Вы тоже.

Тромбонист кончил играть и пытается овладеть всеобщим вниманием.

ТРОМБОНИСТ. Послушайте, я расскажу замечательную историю. Были мы с оркестром на гастролях в одном областном центре. Там есть над обрывом смотровая площадка, что ли... и видна панорама... красивая... Туда молодожены приезжают... ну, обычай такой. И я

вот сам видел... из одной машины вышла молодая в фате... вполне подходящий кадр... а из другой, — обе машины в лентах, с шариками, — выскочил муж... здоровенный бугай... но тоже симпатичный... Муж идет немного сзади и нечаянно наступает на белую... ну, не на марлю... а кружевной шлейф, и с невесты слетает не только фата, но и парик...

НАТАША (с любопытством). И что она, лысая оказалась?

ТРОМБОНИСТ. Сильно облезлая. Она поглядела на мужа, ох, нехорошо поглядела, и, не говоря ни слова, вlepила ему по физиономии. Тогда верзила, тоже молча, вынул из кармана брачное свидетельство, порвал его и развеял по ветру, а потом они пошли каждый в свою машину и разъехались в разные стороны.

КАРПУХИН (уныло). Ну зачем вы эту белиберду нам рассказали?

ТРОМБОНИСТ. Развеселить хотел.

ЯКУБОВ. Не вышло.

ЖЕНИХ. Варвары, выпустите меня. Меня невеста ждет.

ТРОМБОНИСТ (усмехнулся). Оптимист!

ФЕТИСОВ (женеху). Ну что ты кипятишься, чего тебе так приспичило? Ты же не мальчик уже.

МАЛАЕВА. Вы уж в который раз небось женитесь?

ЖЕНИХ. В первый! (Отозвал Малаеву.) Можно вас на секундочку?

МАЛАЕВА (приблизилась к жениху). Да что же вы так терзаете себя?

ЖЕНИХ (доверительно). Понимаете, я добивался ее семнадцать лет.

МАЛАЕВА. А сколько вам сейчас?

ЖЕНИХ. Много, я люблю ее с девятого класса, она дважды выходила замуж, а я ждал. И вот видите, дождался. Понимаете? (Переходит на шепот.) Я умоляю вас... на коленях.

МАЛАЕВА. Ну что вы! Перестаньте! (Тоже переходит на шепот.) Я выпущу вас.

ЖЕНИХ (заговорщически). Все, я понял, спасибо...

Карпухин первым заметил перешептывание Малаевой и Жениха.

**МАЛАЕВА.** Идите к дверям и стойте там как ни в чем не бывало.

Малаева и Жених крадучись идут к дверям.

*(Громко, как бы ведя светскую беседу.)* Где вы достаете свечи?

**ЖЕНИХ** *(не сразу сообразил).* Какие свечи? У меня электричество. *(Спыхватывается.)* Ах, свечи, у меня есть сосед, он все может достать...

**МАЛАЕВА** *(продолжает жеманно).* А как вы поступаете с карбюратором?

**ЖЕНИХ** *(в тон).* С карбюратором я поступаю великолепно.

Карпухин настороженно следит за действиями Малаевой и жениха. И когда Малаева вставляет ключ в замочную скважину...

**КАРПУХИН** *(радостно вскрикивает).* Ага, попалась!

Малаева отскакивает от двери.

**МАЛАЕВА** *(жениху).* Извините, не судьба!

**ЖЕНИХ.** Я прошу вас!

**КАРПУХИН** *(преследует Малаеву).* Ну-ка позвольте! Отойдите!..

Малаева с трудом отбивается от него. Жених заступает за Малаеву, но Карпухин отбрасывает Жениха в сторону. Малаева убегает от Карпухина и, чувствуя, что ее настигают, передает ключ жене Гуськова, та мчится в другую сторону. Теперь преследователи, число которых все увеличивается, бросаются за женой Гуськова, та успевает передать ключ Фетисову, тот — Якубову, Якубов — Хвостову, тот опять Малаевой...

**ЖЕНИХ** *(в отчаянии рвет на себе волосы).* Боже мой! Пока я здесь бегая, она же запросто выйдет замуж за другого. Я ее знаю!!!

Преследователи и преследуемые образовали кучу малу.

МАЛАЕВА (*торжествующе*). А мы ключ в другом месте спрятали!

Общий стон. Лишь сообщники Малаевой торжествующе хохочут.

АНИКЕЕВА (*пытается найти выход из тупика*). Товарищи! Уже глубокая ночь...

СИДОРИН. Положа руку на сердце, очень хочется спать.

АНИКЕЕВА. Пороху мы сегодня все равно не изобретем, давайте перенесем собрание на другой день.

МАЛАЕВА (*неожиданно для всех поддерживает предложение*). Я тоже «за». Никто ничего не соображает, утро вечера мудренее, предлагаю лечь поспать!..

ЖЕНИХ. Как поспать?

ФЕТИСОВ. А где спать-то?

МАЛАЕВА. Да здесь, конечно, на полу, на столе...

Раздается нестройный смех пайщиков.

...А утром на свежую голову...

КУШАКОВА. Да она просто издевается над нами!

ТРОМБОНИСТ (*подбегает к Малаевой*). Сейчас я вас тромбоном ударю.

Хвостов оттесняет Тромбониста в сторону.

КАРПУХИН (*к Малаевой*). А я тебя... убью.

ФЕТИСОВ (*становится между Карпухиным и Малаевой*). Если ты ее хоть пальцем тронешь, я тебе все ребра переломлю!

Рядом с Карпухиным грозно вырастают Тромбонист, Аникеева, Кушакова. Рядом с Фетисовым и Малаевой не менее грозно вырастают Якубов, немой Хвостов, жена Гуськова. Стенка на стенку.

Смирновский, оценивая обстановку, берет Наташу под руку и становится в строй отверженных.

АНИКЕЕВА (*дружелюбно*). Павел Константинович, вы ошиблись, вы встали не туда.

СМИРНОВСКИЙ (*твердо*). Я в жизни очень часто ошибался, но сейчас я встал именно туда, куда нужно.

Жених сначала встал рядом с Аникеевой, теперь перебегает к Смирновскому. Потом снова в строй Аникеевой.

ЖЕНИХ. Ага, я тоже встану туда, куда нужно. *(Перебегает на сторону Смирновского.)*

ФЕТИСОВ *(хлопает Жениха по плечу)*. Молодец, жених!

СЕКРЕТАРЬ. Он добегаётся! *(Становится возле Аникеевой.)*

СИДОРИН *(занимает миротворческую позицию, то есть стоит точно посередине)*. Люди добрые... Дайте нам разойтись, мы соберемся снова. *(По-прежнему стоит между двумя враждующими сторонами.)*

МАЛАЕВА. Если мы сейчас ототрем дверь, то второй раз по этому поводу вы собрание не созовете.

Стенки надвигаются друг на друга.

ФЕТИСОВ. Ключики мы вам не отдадим. Мы вам не буратины.

СИДОРИН *(разнимает враждующих)*. Люди мои! Вы дороги мне, и те и другие. Кровопролития и междоусобицы я не потерплю. *(Принимает решение.)* Всё! Давайте спать!.. *(И показывает пример. Достает из кармана газету и расстилает на полу.)* Ах, подстилка коротковата, жаль! Сейчас и подушечку принесем... *(Берет с тумбы чучело обезьяны.)*

АНИКЕЕВА. Не трогайте макака суматранского, председатель правления! Это же единственный экземпляр у нас в стране, вы что?

СИДОРИН *(укладывается на пол, подложив макаку под голову)*. Спокойной ночи, малыши! Давайте укладывайтесь кто как может.

АНИКЕЕВА *(склонилась над Сидориным)*. Слушайте, вы, председатель, вы что, с ума сошли? Да вы что, действительно хотите повергнуть всех во всеобщий повальный сон?

СИДОРИН. А вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь?

ТРОМБЕНИСТ *(в истерике)*. Будь проклят тот день, когда я купил машину...

МАРИНА. До чего довели человека.

ТРОМБЕНИСТ. ...Будь проклят тот день, когда я вступил в этот проклятый кооператив...



НАТАША. Да успокойтесь, пожалуйста.

ТРОМБОНИСТ. ...Будь проклят этот проклятый гараж.

ФЕТИСОВ. Все, был музыкант, и нет музыканта!

ТРОМБОНИСТ. ...Будь проклято это проклятое собрание!..

ЖЕНИХ (*наклоняется над Сидориным*). Товарищ председатель, я не хочу спать один и не буду. Я выброшу в окно. Под вашу ответственность я покончу с собой...

МАЛАЕВА (*останавливает Жениха*). Куда, здесь высоко, вы разобьетесь.

КАРПУХИН (*кричит*). Товарищи! Правление пошло на поводу у шизофренички... (*Показывает на Малаеву.*)

СЕКРЕТАРЬ. Верно!

КАРПУХИН. И потом, что это значит? Спать-то? Как это — спать?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Ну, спать!

МАРИНА. Спать. (*Начала сдирать с постамента муравьеда.*)

Смирновский и Наташа занимают скамейку.

СМИРНОВСКИЙ. Будем устраиваться на сон здесь.

АНИКЕЕВА (*тихонько пытается остановить разгром*). Не трогайте... Фетисов! Оставьте архара в покое. Как вам не стыдно, ведь вы же ученые. Товарищи! Марина, поставьте муравьеда на место!

-Немой- Хвостов продолжает подрывную деятельность



Но пайщики, боясь, что не хватит «подушек», налетают на чучела, отдирают от постаментов и валят на пол. Никто не обращает внимания на призывы Аникеевой. Аникеевой неожиданно пытается помочь Жених.

**ЖЕНИХ** (*призывает к сознательности*). Товарищи, мы должны защищать животных, а не наоборот.

К столу президиума подходит Карпухин. Пытается улечься рядом с женой Гуськова. Жена Гуськова решительно отпихивает Карпухина.

**ЖЕНА ГУСЬКОВА**. ...Хам, грубиян, отойдите! (*Зовет Малаеву.*) Леночка! Идите сюда, я приготовила вам царское ложе. (*К Карпухину.*) Нахал!

**МАЛАЕВА** (*тоже к Карпухину*). Развратник! Подкрался!

**КАРПУХИН** (*даже растерялся*). Да почему! У меня жена дома... (*Вдруг сам отскакивает от стола.*) Господи боже мой, ведь запах же отвратительный...

**ЖЕНА ГУСЬКОВА** (*расстроена*). В кои веки достала живого карпа, такую очередь отстояла. И теперь из-за этого собрания все продукты испортились... (*Уносит куда-то сумку.*)

**ТРОМБОНИСТ**. Я вспоминаю эвакуацию, ташкентский вокзал.

Кушакова подсаживается к Сидорину, лежащему на полу.

**КУШАКОВА**. Прежде чем бы заснете, извольте дать мне справку, трыпка.

Карпухин и Малаева, перерубаются, перед тем, как уснут  
 Артисты  
 Вячеслав Невинный  
 и Лия Ахеджакова





СИДОРИН. Какую еще справку, рыночная моя?  
КУШАКОВА. Вот вам бумага, ручка, пишите.

*(Протягивает блокнот Сидорину.)*

СИДОРИН. Что писать?

КУШАКОВА. Пишите, я продиктую. *(Диктует.)*

Справка дана гражданке Кушаковой А. А. в том, что она провела ночь в зоологическом музее на общем собрании гаражно-строительного кооператива «Фауна»...

СИДОРИН. Куда справка?

КУШАКОВА *(цедит сквозь зубы)*. Для мужа моего. У меня муж ревнивый... В присутствии такого-то количества свидетелей...

СИДОРИН. Свидетелей чего?

КУШАКОВА. Подпишитесь и поставьте печать, пошляк.

СИДОРИН *(ехидно)*. Завидую... Как вы с мужем-то живете. Не жизнь, а именины сердца. Печать у нее, верная моя. *(Показывает на секретаря.)*

Кушакова находит секретаря, которая улеглась на бегемоте.

КУШАКОВА. Шлепните печать!

Секретарь достает из-под головы сумочку, из сумочки печать, прижимает к бумаге, которая становится отныне документом, прячет печать и мгновенно засыпает.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. ...Раз пошла такая спячка, может, мы свет погасим?

ТРОМБОНИСТ. Правильно...

МАРИНА *(с издевкой)*. Только давайте голосовать сначала, можно ли погасить свет?

Хвостов выключает свет. Теперь все пайщики страдают в темноте.

ТРОМБОНИСТ. Ой, в темноте страшно.

КАРПУХИН *(ворочаясь)*. Мне жестко...

МАРИНА. А я не умею спать одетой.

НАТАША. Лишь бы никто не захрапел.

И будто в ответ на ее слова храпит спящий толстый пайщик.

ТРОМБОНИСТ. Эй, кончай там безобразничать!

НАТАША. Карлукхин, это вы храпите?

КАРПУХИН. Ты за собой последи. Чем ты вообще занимаешься, аспиранточка? Тема твоей диссертации лженаучна, ты типичный псевдоученый. Изучаешь серебристого журавля, а он, между прочим, гнездится за границей, у нас бывает только пролетом... Этот журавль в небе вообще не наша птица.

СМИРНОВСКИЙ *(с легкой насмешкой)*. Вы уж не сердчайте, дорогой Карпухин. Серебристый журавль птица темная, она газет не читает и поэтому представления не имеет, наша она или капиталистическая.

Неразборчивые голоса и смех пайщиков.

ФЕТИСОВ *(вдруг запел)*. Темная ночь, ты, я знаю, родная, не спишь...

АНИКЕЕВА. Этого еще не хватало, Фетисов, замолчите.

ТРОМБОНИСТ. Перестань фальшивить, певец!

МАЛАЕВА *(задумчиво)*. Есть такое стихотворение: у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.

ФЕТИСОВ *(тоскливо)*. Зачем я только в город переехал? На родине все неподдельное: дома деревянные, воздух свежий, лес зеленый, звери бегают, а здесь...

СЫН МИЛОСЕРДОВА *(поет)*. Спи, моя радость, усни...

Фетисов и пайщики смеются.

МАРИНА И СЫН МИЛОСЕРДОВА *(поют вместе)*. ...в доме погасли огни-и-и...

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Товарищи, подхватывайте!

Хвостов поднимается, садится, затем уходит куда-то вглубь...

ХОР ПАЙЩИКОВ *(поют недружно)*. Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит... Рыбки уснули в пруду, птички уснули в саду... Кто там вздохнул за стеной? Что нам за дело, родной. Глазки скорее сомкни! Спи, моя радость, усни...

СМИРНОВСКИЙ *(вдруг)*. Товарищи! А я не согласен с Малаевой! Как это определить: кто лучше, кто хуже? По какой шкале? Все внесли одинаковую сумму, у всех одинаковые права. Вы знаете, я предлагаю бросить жребий.

АНИКЕЕВА *(безапелляционно)*. Жребий — это не наш метод. Мы не в карты играем.

СМИРНОВСКИЙ. Причем жребий должны тянуть все, даже правление.

ГОЛОСА ПАЙЩИКОВ. Верно, верно, жребий. Пусть и правление тянет. Пусть тянут все.

СИДОРИН *(садится на полу)*. Насколько я понимаю, полусонные мои, собрание стихийно продолжается. Ну что же, давайте продолжим прения. Но я не могу руководить в потемках.

Кто-то включил свет. Однако замученные пайщики продолжают валяться на своих лежанках, и собрание возобновляется, но на этот раз в бивуачно-туристском стиле.

*(Смирновскому.)* Павел Константинович! Вы крупный ученый, говорят, с мировым именем. Вы — член-корреспондент, в институте все зависят от вас, кроме меня. Я всего-навсего ветеринар. Если вас даже академиком изберут, звери от этого болеть не перестанут, их надо лечить. Поэтому, бесценный мой, я вам скажу правду в глаза: у вас на одну семью два гаража.

СМИРНОВСКИЙ. Ну что ж, мы с Мариной будем испытывать судьбу так же, как и все.

СИДОРИН. ...Но правление-то имеет преимущества.

СМИРНОВСКИЙ. Галантерейный мой, правление дискредитировало себя.

АНИКЕЕВА *(кряхтя поднимается на скамейке)*. Ох, Павел Константинович, бок отлежала... Я глубоко уважаю вас как ученого, но ваш моральный облик...

СМИРНОВСКИЙ *(думая, что разговор пойдет о Наташе)*. Так, интересно.

АНИКЕЕВА. ...Мне как заместителю директора института звонили из весомой организации... В овощном магазине номер шестьдесят два люди покупали картофель в пакетах — и что они там находили?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Неужели ананасы?

Марина громко смеется.

АНИКЕЕВА *(сыну Милосердова)*. ...Не шутите, мальчик, не шутите. *(Снова обращается к Смирновскому.)* ...Они находили там визитную карточку Павла Кон-

стантиновича со всеми его регалиями, званиями, адресом и домашним телефоном.

Пайшики обрадованно засмеялись.

Что это за выходки? Во-первых, вас никто на овощную базу не отправлял.

СМИРНОВСКИЙ (*кратко*). Послали всю мою лабораторию, всех моих научных сотрудников. И я считал невозможным не пойти с ними. Я привык работать добросовестно. Если я при окладе пятьсот рублей в месяц пакую картофель, то я отвечаю за каждую картофелину. Жалобы на качество были?

АНИКЕЕВА (*растерялась*). Вроде нет...

СМИРНОВСКИЙ. Когда вы покупаете коробку конфет, там лежит бумажка: укладчица номер такой-то. А на овощной базе ни мне, ни докторам наук, ни кандидатам, никому номеров не выдавали. Вот я и вкладывал в пакеты визитную карточку.

СИДОРИН (*пошел в атаку*). Восхищаюсь вашей принципиальностью, Павел Константинович. Сегодня на собрании вы раскрылись вовсю. То вы за правление, то против. Я-то думал, что вы, извините, большой ученый, а вы, извините, элементарный собственник.

СМИРНОВСКИЙ (*печально*). Да, Сидорин, я и собственник, и большой ученый, и, что обидно, трус. Казалось бы, чего мне бояться? Но меня в молодости столько били! Били за то, за что потом премии и звания давали. Но испугали на всю жизнь. Мне уже много лет — пора перестать бояться кого бы то ни было.

АНИКЕЕВА. Исповеди вашей, Павел Константинович, не велика цена. Вы ведь сейчас все это говорите только для того, чтобы спасти второй гараж.

НАТАША (*вспыхивает*). Как вы смеете так беспардонно разговаривать с самим Павлом Константиновичем! Павел Константинович — бескорыстная душа. Он плевать хотел на все эти ваши гаражи. А вы все... вы просто озверелые мещане!

КАРПУХИН. Да, действительно, докатились. Нам смазливые любовницы проповеди читают.

Наташа изменилась в лице. От запальчивости не осталось и следа. Глаза ее наполняются слезами.

Смирновский с болью и любовью смотрит на Наташу, и в наступившей тишине отчетливо слышны негромкие слова Смирновского.

СМИРНОВСКИЙ. Я не знал, что должен отчитываться перед гаражным кооперативом о своей личной жизни. Но моя Наташа не любовница, а жена... Карпухин, извинитесь перед ней немедленно!

Карпухин переводит растерянный взгляд со Смирновского на Наташу, которая не сводит глаз со своего кумира. Карпухин понимает, что переборщил. Он подходит к Наташе и говорит, глядя в сторону.

КАРПУХИН. Извините, пожалуйста. Я не знал, что вы жена.

МАРИНА. Чего только в биологии не бывает. Мама ровесница дочери! *(Наташе, тихо.)* Мамочка, поздравляю. Ты добилась своего. Ухватила богатого и знаменитого.

НАТАША *(тихо, Марине)*. Ты бесстыдница, доченька! Я просто люблю твоего отца.

МАРИНА. Не спорю, любишь! Богатых и знаменитых всегда любят.

НАТАША. Что, мне его из-за этого разлюбить?

СМИРНОВСКИЙ *(тревожно, жене и дочери)*. Девочки, не ссорьтесь!

Малаева снова становится центром внимания.

МАЛАЕВА. Карпухин, вы чудовище! И вообще — зачем вам гараж в Москве?

КАРПУХИН. А где мне, по-твоему, нужен гараж?

МАЛАЕВА. В Сибири. Вы же собираетесь расселить своих несчастных обезьян в сибирской тайге.

ФЕТИСОВ. Что за хреновина! Обезьяны там перемерзнут.

КАРПУХИН. Дилетантская точка зрения. Я создаю специальный вид обезьян — морозоустойчивый!

ТРОМБОНИСТ. Господи, чего не приснится ночью.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. А зачем? Кому это надо?

МАЛАЕВА *(издевательски)*. Это имеет огромное значение для нашего народного хозяйства.

КАРПУХИН. Ты свои подковырки брось! В Индии обезьяны собирают кокосы. А мои макаки в сибир-

ской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать орехи в ящики...

СМИРНОВСКИЙ (*подсказывает*). Наклеивать ярлыки...

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Наклеивать ярлыки — это мы обезьянам не отдадим!

КАРПУХИН (*Смирновскому*). А вы, Павел Константинович, между прочим, дали на мою работу положительный отзыв!

СМИРНОВСКИЙ (*грустно*). Это лишний раз доказывает мою неразборчивость.

КАРПУХИН. Это лишний раз доказывает вашу принципиальность.

МАЛАЕВА (*с озорством*). Товарищи, я предлагаю исключить Карпухина! Ему нужен гараж где-то между Томском и Хабаровском. Он будет ездить по тайге на «Жигулях» и проверять — выполнили ли его обезьяны квартальный план!

КАРПУХИН. А тебе, лилипутка, нужен гараж в пустыне среди твоих гремучих и дремучих змей. Тебе будет удобнее добывать твой яд!

ЖЕНИХ (*нервно вскакивает*). Я сейчас пишу кандидатскую — «Поведение животных в условиях повышенной опасности». Животные, в отличие от людей, не уничтожают себе подобных. Тигр не ест тигра, медведь не пожирает медведя, а заяц не убивает зайца. Вот, к примеру, овцебыки. Когда на них нападают волки, то самцы образуют каре, внутри которого прячутся самки и детеныши, а овцебыки рогами отгоняют хищников. Если кит ранен и не может всплыть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, то другие киты подплывают под него и как бы выносят его наверх. А мы, наоборот, топим друг друга. Животным свойственно чувство товарищества... Отпустите меня к невесте, я сейчас на стенку полезу!

Хвостов где-то раздобыл палку, прикрепил к ней плакат, на котором написал «Я вам покажу», и выходит на первый план. Привлекая к себе внимание, он гремит ведром, которое, наверное, забыла уборщица. Хвостов шагает с плакатом, как на демонстрации, а за ним следуют в едином строю Фетисов и жена Гуськова.

СИДОРИН. Что это значит? Что вы нам покажете?

ФЕТИСОВ. Он вам все покажет!



ЖЕНА ГУСЬКОВА. В знак протеста!

АНИКЕЕВА. Мы вам не позволим ничего показывать! Мы вам сами все покажем!

СИДОРИН (*утомленно*). Товарищи, уже светает, и пора подводить неутешительные итоги. Признаюсь, это была не лучшая ночь в моей жизни. Музей разгромлен. Все осатанели и несут черт-те что! А этот олух стоит с плакатом! (*К Хвостову*.) Ну что ты тут торчишь?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Это нечестно! Он не может вам ответить!

ФЕТИСОВ. Он же безголовый!

СИДОРИН. Всё! Меня довели. Я сдаю позиции и согласен на жеребьевку при условии, что вы пожалеете родное правление.

Аникеева понимает, что время работает против нее и пришла пора уступать.

АНИКЕЕВА (*новым для всех ласковым тоном*). Мы столько для вас сделали! Боже мой, сколько кабинетов мы обходили, скольких людей уламывали, сколько времени и нервов на это потратили. Чтобы достать цемент, мы всю бригаду в Большой театр водили.

СИДОРИН. По счастью, у дирижера такса боле-ла стригущим лишаем.

АНИКЕЕВА. Иногда мы даже закон нарушали. Совали кому пятерку, кому десятку, кому флакон духов, кому коробку конфет. Но делали это для общего блага.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*Марине*). Когда эта бо-дыга кончится, поедем ко мне завтракать?

МАРИНА. На завтрак меня еще никогда не при-глашали. Обычно зовут ужинать.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. У нас с вами начинае-тся новаторски.

МАРИНА (*усмехнулась*). Я знаю, что произвожу впечатление женщины, с которой можно начать за ужином, за обедом и даже за завтраком.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Сейчас вы скажете, что вы не такая.

МАРИНА. Нет. Не скажу. Но и завтракать не по-еду. Я уже свое отзавтракала.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Не рано ли?

МАРИНА (*глядя в сторону*). Мой недавний муж отбил у меня всякую тягу к еде в любое время суток.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Марина, вместе с вами я согласен даже голодать.

Наташа и Смирновский смотрят в окно на заспанный город.

НАТАША. Если бы не этот гаражный симпозиум, ты бы на мне не женился?

СМИРНОВСКИЙ *(полушутя)*. Ни за что на свете!

НАТАША. Надо же! И собрание может принести пользу.

Постепенно идея жребия овладевает массами. Пайщики бурно обсуждают эту возможность как единственный и спасительный выход.

ЯКУБОВ *(встает)*. Черт побери! Я все молчал, молчал. Как же, меня ведь купили — обратно приняли, и я... растаял, и предал... товарищей по несчастью... Подумать только, что со мной стало... В войну я разве бы так поступил... там я ничего не боялся, а сейчас... из-за паршивого гаража... Есть такая избитая фраза: я бы с ним в разведку не пошел. Так вот сегодня я бы сам с собой не пошел в разведку. Не нужно мне ваших подачек! Конечно, жребий! И только жребий!

ФЕТИСОВ. Молодец, Александр Григорьевич. Я тебя снова зауважал.

ТРОМБОНИСТ. Черт подери, я тоже с вами. Надоело играть под дирижерскую палочку. Что мне все время указывают? Мы здесь все солисты!

МАЛАЕВА. Ладно, давайте сыграем в жребий. Но только сначала избавимся от блатных — от сына, страшно сказать, самого Милосердова и...

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Так. Папе моему врезали ни за что ни про что.

МАЛАЕВА *(продолжает)*. ...и от директора рынка.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Верно, тогда из порядочных только двое пострадают.

СМИРНОВСКИЙ. Разумно.

ФЕТИСОВ. А больше у нас блатных нету?

СЕКРЕТАРЬ. Больше нет. Я, как секретарь правления, за это ручаюсь. А Кушакову я сама вписывала в протокол после собрания по указанию товарища Аникеевой.

АНИКЕЕВА *(возмущенно)*. Вы ренегатка!

СЕКРЕТАРЬ. Да, я ренегатка. И горжусь этим!

МАЛАЕВА. Предлагаю голосовать мою идею, то есть спровадим блатняг.

КУШАКОВА (*выходит вперед для нанесения удара*). Ах ты какая передовая! Сколько ты заплатила мужику за то, что он тебе дитя сотворил? Мужичонка-то был храбрец!..

СИДОРИН (*Кушаковой*). Ну знаете! Вы перешли все границы.

ЯКУБОВ (*брезгливо*). Пойдите вон!

КУШАКОВА. Я бы ушла, да заперто.

МАЛАЕВА (*побледнев, с трудом удерживается от слез, но пытается говорить беззаботно*). Обыскивать меня обыскивали, теперь давайте залезем ко мне в кровать. Мужа у меня не было, нет... и не будет... наверное... А ребенок... Захочу... еще одного заведу. Муж на сегодня — это не обязательно. Главное для женщины — дети... Таких, как я, знаете сколько... (*Плачет.*) Я счастлива... и сын мой счастлив... А насчет денег, которые я платила... как это только ваш липкий язык повернулся... такое брякнуть... Если хотите знать истину, был у меня банальный роман с женатым. А он выбрал семью... Вы хотели оскорбить меня? Но оскорбили вы себя!

МАРИНА (*к сыну Милосердова*). Эта рыночная гнида своим выступлением решила вашу судьбу. Вас обоих сейчас вышибут.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*беспечно*). Пусть себе развлекаются. Им же надо выпустить пар.

АНИКЕЕВА. И все-таки жребий — это не наш путь. Мы не можем продвигаться вперед вслепую.

СМИРНОВСКИЙ. Мы только это и делаем.

АНИКЕЕВА. Надо вывести из кооператива четверых. И эта задача нам по плечу. Я согласна с общим мнением об исключении так называемых «блатных». Только я не согласна с формулировкой, это не блатные, это — полезные люди. Что такое Кушакова? Это не директор рынка. Кушакова — это бетон. Кушакова — это железные ворота. Кушакова — это бульдозер. Что такое сын Милосердова — не мне вам объяснять. Но... (*Улыбается.*) ...Что стоит услуга, которая уже оказана? Они свое дело сделали, гараж уже почти готов. Мы должны их исключить, но вынести им при этом благодарность.

КУШАКОВА (*с угрозой*). Видела я вашу благо-

дарность в гробу в белых тапочках. Мы с вами еще посчитаемся.

АНИКЕЕВА (*Кушаковой*). Мне с вами считать нечего.

КУШАКОВА (*с издевкой*). Так уж прямо нечего. А когда у вас якобы не хватало денег на «Жигули» и вы у меня заняли полторы тысячи...

АНИКЕЕВА (*жестко*). Это поклеп! Вы грубо лжете! Это дешевая месть!..

КУШАКОВА. Не такая уж дешевая. Зря я с вас расписки не взяла.

АНИКЕЕВА. Вы — кляузница!

КУШАКОВА. Значит, плакали мои денежки.

МАЛАЕВА. Ничего, красавица, вы их быстро наверстаете.

КУШАКОВА. Ну и нравы в этом научном кооперативе. Хуже, чем па рынке.

АНИКЕЕВА. Я вас привлеку к суду. У меня вон сколько свидетелей!

КУШАКОВА (*смеется*). А у меня ни одного!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Я — свидетель!

ФЕТИСОВ (*изумленно*). Неужели при тебе давали?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Я не видела, но у меня чутье. Я говорила, что правлению в лапу суют!

КУШАКОВА. Мало того, что деньги зажилила, еще судом грозитесь! Вот смехота!

АНИКЕЕВА. На суде, гражданка Кушакова, вам будет не до смеха.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*к Марине, тихо*). По-вашему, Аникеева брала взятку?

МАРИНА. Вне всяких сомнений.

СЫН МИЛОСЕРДОВА. А я не уверен. Доктор наук из-за денег мараться не будет.

МАРИНА. А из-за чего будет?

СЫН МИЛОСЕРДОВА. Из-за продуктов, например.

Аникеева продолжает зачитывать список, с трудом сохраняя видимое спокойствие.

АНИКЕЕВА (*ко всем*). Номер три — дочка Смирновского. Хватит им одного гаража на семью.

МАРИНА (*Смирновскому*). Папа, я тебя преду-

преждала — не высовывайся! Но меня это все не касается. Ты мне подарил машину, так будь последователем: я ее буду ставить в твой гараж. Тем более что ты молодожен, а с милой рай и без гаража.

СМИРНОВСКИЙ *(отщучивается)*. Не выйдет, малыш. Я лягу при входе. Ты же не переедешь папочку?

МАРИНА *(показывая на себя)*. Эта? Эта кого хочешь переедет!

Сын Милосердова добродушно смеется.

Аникеева заканчивает чтение списка кандидатов на выброс.

АНИКЕЕВА. И номер четвертый... *(После паузы.)* Гуськов!

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(благим матом)*. Опять Гуськов! Почему Гуськов?

АНИКЕЕВА *(хладнокровно)*. Потому что нужен кто-то четвертый. Прошу голосовать!

КАРПУХИН. Я категорически «за»! Предложение Аникеевой хорошее: двое блатных, дочка профессора и кто там четвертый... я забыл...

МАЛАЕВА. Четвертый, конечно, Гуськов...

КАРПУХИН. Гуськов для этого годится! Давайте голосовать.

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(на пределе отчаяния)*. Как Гуськов? Почему Гуськов? Опять Гуськов... *(Подходит к Карпухину и как-то по-новому долго и странно глядит на него.)* Толик, почему у тебя джинсы разорваны? Ты опять дрался?

Актрисы  
Ия Саввина  
и Светлана  
Немоляева



КАРПУХИН (*ухмыляется*). Какой я вам Толик? Вы что, спятили?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Толик, не груби маме! Садись делать географию. (*Оборачивается к Малаевой.*) А ты, Людочка, ешь овсяную кашу. В твоём возрасте очень полезно есть овсяную кашу.

АНИКЕЕВА. Жена Гуськова, не паясничайте!

Поначалу всем кажется, что это со стороны Гуськовой лишь глупая неуместная шутка.

СИДОРИН (*жене Гуськова*). Неутомимая наша, перестаньте нас разыгрывать!

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*на этот раз Сидорину*). Гуськов, ты почему пришел вчера в одиннадцать вечера? Только не ври, что у тебя было собрание. Ты что, завел женщину? (*Всхлипывает.*) Я понимаю, что после всей этой домашней каторги я уже не такая хорошенькая. Но у нас же двое детей. (*Плачет.*) Это твои дети, это наши дети! Что же ты молчишь, отвечай!

Присутствующим стало страшно.

СМИРНОВСКИЙ. Господи, да она помешалась!

И тут в Сидорине просыпается человеческое начало.

СИДОРИН (*обнимает жену Гуськова*). Разумная моя, кроме тебя одной... у меня никого нет. Не было и не будет. Я люблю только тебя, и, пожалуйста, успокойся (*с душой*), пожалуйста, не нервничай. Все будет хорошо. (*Карпухину.*) Толик! Садись учить географию!

Артисты  
Андрей Мягков  
и Валентин Гафт



ФЕТИСОВ (*многозначительно, Карпухину*). Толик! Не огорчай маму...

КАРПУХИН (*растерянно*). Да вы что, товарищи...

ФЕТИСОВ. ...А то врежем!

КАРПУХИН (*покорно*). Ну хорошо, папы.

СИДОРИН (*Малаевой*). А ты, Люда, ну-ка ешь кашу!

МАЛАЕВА (*включается в эту печальную игру*).  
Овсяная каша — моя любимая каша.

ЖЕНА ГУСЬКОВА (*Сидорину*). Гуськов! У нашей Людочки пальто совсем износилось, а девочки теперь ходят такие модные... (*Вздыхает.*)

Сидорин гладит ее по голове.

(*Вдруг будто очнувшись, вздрагивает.*) Ой! Господи, что это со мной? Мне что-то холодно.

Жених быстро отдает свое пальто Сидорину. Сидорин укрывает им жену Гуськова.

ТРОМБОНИСТ (*жене Гуськова*). С тобой все в порядке... Тебя здесь никто в обиду не даст. Хочешь, я для тебя сейчас сыграю что-нибудь очень хорошее...

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Сыграй! (*Всхлипывает.*)

Тромбонист играет для жены Гуськова нежную, щемящую мелодию.

Вы простите меня. Простите меня, пожалуйста, товарищи!

СИДОРИН. Ничего.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Товарищи, простите меня, ну, пожалуйста.

СИДОРИН. Ничего, ничего...

Хвостов прерывает Тромбониста.

ХВОСТОВ (*хриплым голосом*). Люди! Человечи! Одумайтесь! Вон утро уже! Так мы вообще тут с ума все посходим! (*Сам изумляется тому, что с ним произошло.*) Заговорил!..

ФЕТИСОВ. Фантастика! Немой заговорил.

ХВОСТОВ. Это у меня от всего этого кошмара голос прорезался. Пайщики! Давайте голосовать сразу три пункта: первое — вышвырнем к чертовой бабушке блатных. Это раз.

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*встает по стойке смирно*). Чту память о моем гараже.

ХВОСТОВ. Второе — переизберем правление. Это два.

СИДОРИН. Так, кажется, нас свергают.

СЕКРЕТАРЬ. А меня за что? Я давно перешла на сторону народа!

ХВОСТОВ. И третье — давайте, кто из нас лишний, пусть все-таки решает жребий. Голосуем сразу три пункта. Кто «за», прошу поднять руки.

Сидорин с барской снисходительностью первым поднимает руку. Потом голосуют Малаева и секретарь, Смирновский, Марина, жена Гуськова. Один за другим голосуют пайщики.

КАРПУХИН (*поднимает руку*). Ничего не поде-лаешь, я из большинства.

ХВОСТОВ. Понятно! Кто против?

Против голосует только Аникеева. Все смотрят на нее.

Подавляющее большинство «за»!

СИДОРИН (*дает совет*). Так, значит, нужно на-резать бумажки и две из них, несчастливые, пометить, ну, скажем, крестиком...

ХВОСТОВ (*Сидорину*). Мы это сделаем без вас, ладно, многоликий вы наш! Кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку?

ФЕТИСОВ. У меня есть ушанка.

ХВОСТОВ. Спасибо!

И тут слышится отчаянный стук в дверь.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ (*из-за двери*). Случилось не-счастье, откройте!

АНИКЕЕВА (*бежит к двери*). О господи! Неужели что-нибудь с внуком?

МАЛАЕВА. Сейчас... я сейчас... (*Тоже бежит к двери.*)

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Откройте, в конце концов!

МАРИНА. Это опять муж Аникеевой.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Лидусик! Лидусик!

АНИКЕЕВА. Что случилось?

Малаева наконец-то отпирает дверь.

Входит муж Аникеевой.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Пока ты тут заседаешь, нашу машину угнали!

АНИКЕЕВА (*с облегчением*). Боже мой! Я-то думала, что-нибудь с Сашенькой. Как я испугалась.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Машина стояла, как всегда, около третьего подъезда...

АНИКЕЕВА. Ты... в ГАИ был?

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Я позвонил, сообщил им номер нашей машины.

АНИКЕЕВА. Позвонил! Бежать же надо! Дай пальто!

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Давай одевайся! Где твоё пальто? (*Находит, подает.*)

СИДОРИН (*его осенила идея*). Товарищи! Поскольку по закону человек, не имеющий машины, не может быть членом гаражного кооператива, товарищ Аникеева автоматически выбывает. И теперь помечать крестиком нужно только одну бумажку!..

Смех и неразборчивые голоса пайщиков.

АНИКЕЕВА. Какая прелесть! Предаете, фальшивый мой?

СИДОРИН. Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать, а предвидеть!

СЫН МИЛОСЕРДОВА (*весело*). Повторите эту ценную мысль, я запишу!

КАРПУХИН (*встает на защиту Аникеевой*). Товарищи! Не надо торопиться, машину могут найти.

СИДОРИН. Если машина найдется, мы тут же вставим товарища Аникееву в резерв.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ (*Сидорину*). Вы же у нас дома бываете!

МАЛАЕВА (*Сидорину*). Как вас только животные терпят?

СИДОРИН. Животные меня любят! Им я ничего плохого не делаю.

ТРОМБОНИСТ. Как это все некрасиво!

АНИКЕЕВА (*Сидорину*). Ничего, дорогой мой, мы с вами поговорим завтра в другом месте и на другом уровне.

МУЖ АНИКЕЕВОЙ. Пойдем, Лидусик!

АНИКЕЕВА. До свидания, товарищи!

Аникеевы уходят, им сейчас не до жребия.

СИДОРИН. Да что вы на меня накинулись, закон есть закон, не я его писал...

ХВОСТОВ. Товарищи! Вот у всех на глазах я помечаю одну бумажку крестом...

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(обреченно)*. Вы увидите, что эту единственную несчастливую бумажку вытащу именно я.

ХВОСТОВ *(кладет бумажки в шапку нищему)*. Так, приступаем к жеребьевке. *(Встряхивает.)* Кто первый?

ЖЕНИХ. ...Товарищи, позвольте мне первым, у меня очень уважительная причина...

ФЕТИСОВ. Не бойся, давай!

ХВОСТОВ. Смелее! Не дождется невеста.

ЖЕНИХ *(тащит бумажку, рассматривает)*. Счастли-и-ива-а-я! *(Смеется.)* Спасибо. До свидания. *(Мчит-ся к выходу и исчезает.)*

КУШАКОВА *(ко всем)*. Вы еще горько пожалее-те обо мне. Я добьюсь, что магистраль перенесут, и она пройдет по вашему участку. А частные гаражи мы снесем как уродующие лицо города.

Возмущенные неразборчивые голоса пайщиков.

И по этому месту будут мчаться автобусы и троллейбусы... *(У входа оборачивается и плюет в сторону пайщиков.)* Тьфу.

КАРПУХИН *(трет глаз, как бы вытирая слезу)*. Смотрите, ведь она так могла и в глаз попасть!

СЕКРЕТАРЬ. О господи!

СМИРНОВСКИЙ. Да, уникальный экземпляр.

Пайщики снова тащат жребий.

СЕКРЕТАРЬ *(радостно разглядывает бумажку)*. Пусто, пусто.

МАЛАЕВА *(вытянула жребий)*. Чисто!

ТРОМБОНИСТ *(нервно)*. Поздравляю.

Тащит Сидорин. Все затихли.

ФЕТИСОВ *(Сидорину)*. Чтоб ты крестик вытянул! *(Смеется.)*

Сидорин вздрогнул и все-таки вытащил счастливый билет.

СИДОРИН *(с облегчением)*. Я чист!..

КАРПУХИН *(расталкивая пайщиков)*. Позвольте...

ФЕТИСОВ. Ну, сейчас вот этому достанется!

МАЛАЕВА. Ну, Карпухин!

Карпухин колеблется.

СЕКРЕТАРЬ. Быстрее!

Карпухин медленно, как картежники, разворачивает бумажку.

ТРОМБОНИСТ. Как в очко играет.

КАРПУХИН *(наконец-то развернул — и у него чистая бумажка)*. Ну правильно, так и должно быть, потому что правда всегда на нашей стороне.

Нервно смеются те, кто еще не тащил. Тянет жребий жена Гуськова.

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Я боюсь.

ХВОСТОВ. Давайте, смелей!

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Сейчас, тьфу. *(Стучит по дереву, сплевывает через левое плечо.)* Я боюсь.

ТРОМБОНИСТ. Давайте!

СИДОРИН. Смелее!

ЖЕНА ГУСЬКОВА *(вытянула, медленно разворачивает, вскрикивает)*. У меня чистая, честное слово, посмотрите! Первый раз повезло.

ХВОСТОВ. Давайте, товарищи, тяните...

Тянет Смирновский. Чистая...

По одной бумажке берите, по одной!

Тянет Марина. Чистая бумажка. Показывает свой фантик Смирновскому.

Сын Милосердова, он не ушел с собрания, с улыбкой смотрит на Марину.

Товарищи! Кто еще не тянул?

ТРОМБОНИСТ. Я не тащил! *(Вытаскивает, и радостная улыбка плывет по его лицу.)*

Вытаскивают счастливые билеты Якубов и Фетисов.

ФЕТИСОВ. Вот она, моя родимая! *(Размахивает удачной бумажкой.)*

ХВОСТОВ. Крестов ни у кого нет?

Спящий пайщик проснулся. В роли спящего — Эльдар Рязанов

→



ТРОМБОНИСТ. Вроде ни у кого.  
ЯКУБОВ. Вот у меня пустая бумажка. (Показывает.)

ФЕТИСОВ. А кто же крестик-то вытянул?  
ХВОСТОВ (в ужасе). Товарищи! Я не тянул.  
МАРИНА. Сейчас он опять голос потеряет.

Карпухин смеется.

МАЛАЕВА (Карпухину). Вам, конечно, его не жалко?

ХВОСТОВ (обреченно тянет и... радостно изумляется). Чисто?!

СИДОРИН. Как чисто?

ХВОСТОВ...Посмотрите! Пожалуйста...

СМИРНОВСКИЙ. Что же опять произошло?  
Вроде все тянули.

ХВОСТОВ (пошарил в ушанке). Товарищи! Кто-то не тянул жребий. В шапке одна бумажка, еще...

СИДОРИН. Кто-то все-таки не тяну-у-ул жребий...

СМИРНОВСКИЙ. Кто не тянул жребий?

ЖЕНА ГУСЬКОВА. Неужели все начнется сначала?

МАЛАЕВА. Товарищи! Кто не тянул жребий? Кто?

КАРПУХИН...Товарищи, кто-то все-таки не тянул.

У бегемота мирно спит толстый пайщик. Все становится ясным. И пайщики дружно направляются к нему. Впереди с шапкой-ушанкой в руках движется Хвостов. Пайщики смеются. Смех будит толстого. Он приоткрывает глаза и тупо тарарщится на своих коллег, не понимая происходящего.

ХВОСТОВ (протягивает шапку толстому пайщику). Тяните жребий.

СИДОРИН. Вытащите эту бумажку, счастливые вы наш!

КОНЕЦ

1977

## Ирония судьбы

В ДВУХ СЕРИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВО  
КИНОСТУДИИ  
МОСФИЛЬМ

# Двоякая судьба, или с Мелким поросли!

МОСКВА ЛЕНИНГРАД

**В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:**

А. ИЯГОВ,  
Б. БРЯЛЬСКА,  
Ю. ЯЧОВЛЕВ

**В РОЛЯХ:**

Л. ДОБРЖАНСКАЯ,  
О. НАУМЕНКО,  
Л. АХЕДЖАКОВА,  
В. ТАЛЫЗИНА,  
А. ШИРВИНЯТ,  
Г. БУРКОВ,  
А. БЕЛЯВСКИЙ,  
Г. РОМИНСОН

СЦЕНАРИЙ Э. БРАТНИНСКОГО,

Э. РЯЗАНОВА

ПОСТАНОВКА Э. РЯЗАНОВА

ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР В. НАХАБЦЕВ

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК А. БОРИСОВ

КОМПОЗИТОР И. ТАРИВЕРДИЕВ

КИНОКОМЕДИЯ



**ЭМИЛЬ БРАГИНСКИЙ,  
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ**

## **ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ СЛЕГКИМ ПАРОМ!**

Трудно понять, почему люди радуются приходу Нового года, вместо того чтобы плакать.

Если вдуматься, новогодний праздник — печальное событие в нашей скоротечной жизни. Ведь все мы еще на один шаг приближаемся к роковой черте. А сама процедура встречи Нового года ускоряет процесс приближения. Вместо того чтобы спать, сохраняя здоровье, люди всю ночь нарушают режим и безобразничают.

В честь сомнительного праздника происходит массовое уничтожение зеленого друга и массовое употребление зеленого змия.

Наступление Нового года всегда окутано таинственностью и ожиданием счастья. Именно под Новый год могут случаться совершенно немыслимые события, которые никак не могут случаться в обычную, рядовую ночь.

Наша маловероятная и тем не менее достоверная история началась 31 декабря, часов за десять до смены года.

В новехоньком микрорайоне, на окраине Москвы, в домах, похожих друг на друга, как граненые стаканы, одним словом, в одинаковых, белых, крупно- или мелкопанельных домах велись лихорадочные приготовления к встрече Нового года. Во всех квартирах пекли пироги, варили студень, жарили индеек (а где не достали индеек, жарили кого-нибудь другого), заправляли майонезом салаты, выставляли на балконы водку и шампанское и, разумеется, украшали елки — натуральные или искусственные — разноцветными, яркими игрушками.

В доме № 25 по Третьей улице Строителей отмечался сегодня двойной праздник — и Новый год, и новоселье. А раз новоселье, значит, жильцы совсем недавно переехали в этот дом. Кое-что побилось, сломалось, все лежало не там, где нужно, все валялось друг на дру-

ге, мебель была расставлена впопыхах, не все люстры повешены, занавески в одних квартирах уже висели на окнах, а в других еще лежали в чемоданах. Новый дом, новая квартира, новая жизнь, новое счастье.

И, наверно, поэтому хирург Евгений Лукашин — внешность заурядная, зарплата заурядная (стоит ли много платить человеку, который режет других людей?), возраст заурядный (около сорока), — одуревший от переезда Евгений Лукашин находился в своей новой квартире № 12 в опасной близости от красивой молодой женщины по имени Галя. Симпатичная мама Лукашина — Марина Дмитриевна — благоразумно пряталась на кухне.

— Женя, — говорила Галя с явной хитрецей, — у меня к тебе предложение, совершенно неожиданное.

Лукашин был искренне заинтригован:

— Галя, не пугай меня!

— Давай вместе встречать Новый год!

Однако сообразительность не являлась достоинством Лукашина.

— Но мы и так встречаем вместе!

— Ты меня не понял. Давай встречать совсем вместе и не пойдем к Катаньянам! — Гале очень хотелось перейти из разряда возлюбленных в разряд невест.

Раздался звонок в дверь. Мама, которая до этого прислушивалась к разговору — в современной квартире была современная звукопроводимость, — недовольно поднялась с места и пошла отворять.

— С наступающим, Марина Дмитриевна! — весело сказал благополучный, мордатый Павел Судаков, бывший школьный друг Евгения Лукашина. Павел явно намеревался войти, но Марина Дмитриевна решительно преградила ему дорогу:

— Тише, что ты кричишь?!

— А что случилось?

— Кто там пришел? — донесся из комнаты голос Лукашина.

— Соседка зашла за луковицей! — отозвалась мать, а Павел оторопел и, невольно включаясь в игру, перешел на шепот:

— Что у нас происходит?

— Павлик, зайди, пожалуйста, завтра! — попросила Марина Дмитриевна.

— Завтра не смогу. Вечером я улетаю в Ленинград.

— Счастливого пути! — И Марина Дмитриевна захлопнула дверь перед самым носом Павла.

Нахальный Павел тотчас же позвонил снова. На этот раз Марина Дмитриевна сначала накинула на дверь цепочку и только потом приоткрыла.

— Ты что хулиганишь? — озорно спросила Марина Дмитриевна.

Павел растерянно смотрел на нее сквозь дверную щель.

— Мама, кто там опять? — послышался голос Лукашина.

— Телеграмма от тети Веры! — и глазом не моргнув, сочинила родная мать.

— А вы, Марина Дмитриевна, с детства учили нас говорить только правду! — укоризненно сказал Павел.

— Бывают обстоятельства, когда неплохо соврать! — доверительно объяснила Марина Дмитриевна.

— Но Саша и Миша ждут нас в бане! А прямо из бани я еду на аэродром!

— Сегодня повеселитесь без Жени! Кстати, зачем ты едешь в Ленинград?

— Ира застряла там в командировке. Требуется, чтобы я прилетел встречать с ней Новый год. — Павел еще больше понизил голос. — Я никому не скажу, все-таки... что происходит?

— Пока это тайна... Узнаешь... в свое время. — Видно было, что дразнить Павла доставляло Марине Дмитриевне удовольствие.

— У Жени от меня нет тайн!

— Иди в баню! — Марина Дмитриевна защелкнула дверь и вернулась в кухню, на пункт подслушивания.

Тем временем Лукашин все еще не понимал хитрого Галиного плана:

— Но мы же договорились встречать Новый год с Катанянами. Подводить некрасиво. Ты уже сделала салат из крабов. Кстати, где ты достала крабы?

— Давали у нас в буфете!

— Я так люблю крабы!

— Тогда тем более съедем их сами! — намекнула Галя.

— А где мы их станем есть? — простодушно спросил Женя.

— Какой ты непонятливый! — нежно сказала Галя. — Мы будем встречать здесь, у тебя.

— А кого еще позовем? — спросил тупой Лукашин.

— В том-то и весь фокус, что никого! — Галя была терпелива.

— А мама? Она будет встречать с нами?

— Мама уйдет. Она все приготовит, накроет на стол, конечно, я ей помогу, а потом уйдет к приятельнице. У тебя мировая мама!

А мама, которая услышала, как Галя распорядится ее судьбой, только лишь вздохнула.

— Ты умница, — воодушевился Лукашин. Он только сейчас осознал все выгоды, которые принесет ему реализация Галиного плана. — Почему это предложение не пришло в голову мне?

— Кто-то из двоих должен быть сообразительным!

— Ты знаешь... мне эта идея определенно нравится! Я выпью, я расхрабрюсь, обстановка будет располагать, и я скажу тебе то, что давно собираюсь сказать!

— А что именно? — с надеждой спросила Галя.

— Обожди до Нового года! — Лукашин явно не мог решиться на объяснение, что-то ему мешало.

— Боюсь, у тебя никогда не хватит смелости! — подзадоривала Галя.

— Трусость старого холостяка. Однажды я уже делал предложение женщине. К моему великому изумлению, она согласилась. Но когда я представил себе, что она поселится в этой комнате и будет всю жизнь мелькать перед глазами, туда-сюда, туда-сюда, я дрогнул и сбежал в Ленинград.

— А от меня ты тоже убежишь? — Галя сняла со стены гитару.

— Нет, от тебя не убежишь! — В голосе Лукашина прозвучала нотка обреченности. — Все уже решено окончательно и бесповоротно. Я так долго держался и наконец рухнул.

Галя победно улыбнулась, глаза у нее блеснули.

— Женя, а когда люди поют?

— Поют?.. На демонстрации поют...

— А еще?

— В опере...

— Нет, нет!

— Я не знаю... когда выпьют, поют...

— Балда! — нежно сказала Галя. — Не знаешь, когда поют...

— Когда нет ни слуха, ни голоса!

— Люди поют, когда счастливы! — подсказала Галя и протянула Лукашину гитару.

Сообразив, что он на самом деле счастлив, Лукашин тепло взглянул на Галю, взял гитару и встал у окна. За окном виднелись снежные поля Подмосковья, которые еще не успели застроить. Лукашин начал напевать. У него оказался негромкий, как говорят, домашний голос, немного хриплый, но приятный. Теперь таких доморощенных акынов у нас пруд пруди.

— Никого не будет в доме.

Кроме сумерек. Один  
Зимний день в сквозном проеме  
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев  
Быстрый промельк маховой.  
Только крыши, снег и, кроме  
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,  
И опять завертит мной  
Прошлогоднее унынье  
И дела зимы иной.

Но нежданно по портьере  
Пробежит вторженья дрожь.  
Тишину шагами меря,  
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери  
В чем-то белом, без причуд,  
В чем-то впрямь из тех материй,  
Из которых хлопья шьют...

— Это чьи слова? — спросила Галя, прижимаясь к Лукашину.

— Пастернака. — Лукашин отложил гитару в сторону и... поцеловал девушку.

После долгого поцелуя Галя вырвалась из объятий и выбежала в переднюю. Лукашин помчался следом.

— Женечка, мне пора! — Галя вела беспронг-рышную игру. — У меня еще столько дел сегодня.

Лукашин нервно потоптался на месте, потом снял с вешалки и подал Гале белую шубку, а потом... капитулировал. Он вынул из кармана брелок, на котором болтался ключ. По-видимому, это был ключ не только от его квартиры, но и от его сердца.

— Вот, возьми ключ и приходи к одиннадцати часам встречать Новый год! Я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой!

Галя взяла ключ и, скрывая торжество, лицемерно заметила:

— Но я ведь буду мелькать у тебя перед глазами?

Лукашин чистосердечно признался:

— Я так этого хочу!

— Салат принести?

— Но я не понял главного: ты согласна или нет? —

Очевидно, Лукашин был не самым крупным знатоком женской психологии.

— Но я ведь взяла ключ! — И, быстро поцеловав Лукашина, Галя исчезла за дверью.

— А как же с Катаньянами? — крикнул вдогонку счастливый зануда.

С лестничной площадки донесся веселый голос:

— Обойдутся!

Несколько ошарашенный случившимся, Лукашин направился в кухню, где хозяйничала Марина Дмитриевна.

— Мама, кажется, я женюсь...

— Мне тоже так кажется, — согласилась мать.

— Ну и как тебе Галя, нравится?

— Ты ведь на ней женишься, а не я!.. — ушла от ответа Марина Дмитриевна.

— Но ты же моя мама! — парировал Лукашин.

— Важно, чтобы ты не забыл об этом после женитьбы!

— Мама, кажется, я женюсь...

— Мне тоже так кажется, — согласилась мать.

— Ну и как тебе Галя, нравится?

— Ты ведь на ней женишься, а не я!.. — ушла от ответа Марина Дмитриевна.

Мама Лукашина — артистка Любовь Добржанская

→



— Значит, Галя тебе не нравится... — огорчился сын.

— Не могу сказать, что я от нее в восторге, но в общем она неглупая, воспитанная... И потом... если ты сейчас не женишься, ты уже не женишься никогда...

— Мне еще только тридцать шесть!

— Это бестактно с твоей стороны напоминать мне о моем возрасте, — улынулась мама, — но я не обижусь, я же мировая мама! Я всё приготовлю и уйду к приятельнице!

— И что она во мне нашла? — рассуждал вслух Лукашин. — Я много старше ее, а она ведь красавица...

— Я тоже удивляюсь, что она выбрала тебя, когда ты такой болван!

— Почему я болван? — притворно обиделся Лукашин.

— Зачем ты рассказывал ей про Ленинград? Когда делают предложение одной женщине, не вспоминают про другую!..

— Теперь понятно. Теперь я понял, — веселился Лукашин, — как делают предложение. А это Павел приходил?

— Павел. Он уезжает в Ленинград. Но я его выставила, чтобы он тебе не помешал.

Лукашин взглянул на часы.

— Они меня заждались. Может, мне тоже пойти в баню?

— Не вижу ничего плохого, если ты Новый год встретишь чистым! — сказала Марина Дмитриевна.

Уходя, Лукашин заговорщически подмигнул матери:

— Только ты Гале про баню не говори. У нас есть ванная, и Галя все это может неверно понять.

Мама вздохнула:

— Боюсь, что ты со своим характером будешь у жены под каблуком.

Лукашин уже отыскал портфель, из которого высовывался такой, как у Павла, березовый веник.

— Мама, я разделю общую мужскую участь!..

...Раньше настоящие мужчины ходили в манеж гарцевать на выхоленных лошадях, отправлялись в тир стрелять в бубнового туза, в фехтовальные залы — сра-

жаться на шпагах, в английский клуб — сражаться за карточным столом, а в крайнем случае шли в балет. Сегодня настоящие мужчины ходят в баню. Тот, кто думает, что баня существует исключительно для мытья, глубоко заблуждается. В баню ходят главным образом для того, чтобы пообщаться друг с другом. Где еще можно спокойно поговорить? В гостях вечно перебивают другие приглашенные, да и рот все время занят едой и выпивкой. В общественном транспорте толкаются, на стадионах шумно. Лучшего места для душевной беседы, чем баня, не найти! О визите в баню сговариваются заранее, к банному мероприятию тщательно готовятся, освобождая для него полный день. Поход в баню — святое дело. Его нельзя комкать тем, что помоешься и уйдешь чистеньким. Подлинные аристократы духа так не поступают. Кто после парилки не «ловил кайф» в предбаннике, тот еще не испытал чувства блаженства. В предбаннике современные голые мужчины, завернутые в белые простыни, наконец-то становятся похожими на римских патрициев. Именно предбанник и есть тот самый клуб, где, никуда не торопясь, позабыв каждодневную гонку, можно излить душу хорошему человеку.

Было около шести часов вечера, когда, отменно попарившись, четверо друзей — Лукашин, Павел, Михаил и Александр, — потягивая пиво, вели сокровенный разговор.

Павел глубокомысленно рассуждал:

— Я понимаю, ванна в каждой квартире — это правильно, это удобно, это цивилизация. Но процесс мытья, который в бане звучит как торжественный обряд, в ванной — просто смывание грязи. И хорошие поздравительные слова — с легким паром! — они же к ванне неприменимы: какой может быть в ванной пар?

— Ты прав, баня очищает, — согласился Александр.

— Как здесь ни приятно, мне пора... — Лукашин встал.

— Все-таки ты нехороший человек, мы ведь ждем! — с упреком заметил Михаил.

В компании всегда находится такой вот заводила.

— Чего ждете? — не понял Лукашин.

— Хочешь уйти сухим? — сощурился Михаил. — Не хочешь отметить собственную женитьбу?

— Где, в бане? — усмехнулся Лукашин.

— Почему бы и нет? — настаивал Михаил.

— Женья прав! — поддержал Лукашина Александр. — Здесь ведь не отпускают.

Теперь усмехнулся Михаил и... расстегнул портфель.

— Если бы не я, вы бы все пропали. Вот, жена просила купить для гостей! — И он достал из портфеля бутылку «Экстры».

Лукашин поморщился. Но обидеть друзей?.. Как часто мы не хотим обидеть друзей!..

— Но только по одной! — поспешно вставил Павел. — Мне на аэродром.

— Люди, не беспокойтесь! — Михаил уже разливал по кружкам вредную бесцветную жидкость. — Всем надо быть в форме, всем Новый год встречать!

— Ребята, приходите завтра ко мне, только обязательно, а то встречаемся редко. Я вас с женой познакомлю... — пригласил Лукашин.

— Я не могу, я ведь буду в Ленинграде... — напомнил Павел.

— Мне интересно, что ты в конце концов выбрал... — раздавая кружки, сказал Александр.

— Не что, а кого! — Лукашин взял кружку. — Все-таки это ужасно! Водку после пива. Я еще сегодня так устал. У меня в поликлинике было столько пациентов...



Михаил снова порылся в портфеле.

— Вот, шоколадка, какая ни есть, но все-таки закуска.

— Только давайте буквально по глотку! — взмолился Лукашин.

— Павел, скажи тост! Ты у нас самый красноречивый, — предложил Александр.

Павел действительно не лез за словом в карман:

— А ты самый недалекий!

Павел поднялся, все тоже встали.

— За нашего застенчивого друга Женю Лукашина, который наконец преодолел этот недостаток и нашел себе жену — последним из нашей компании. Будь счастлив, Евгений!

Лукашин засмутился:

— Ну что же... за это... наверно... надо...

Выпили, и Александр спросил:

— Как ее зовут?

— У нее прекрасное имя — Галя! — гордо сообщил Лукашин.

— И главное, редкое! — добавил Павел.

— Положение безвыходное. За Галю тоже надо выпить! — сокрушенно вздохнул Михаил и достал из портфеля следующую бутылку.

— Мне больше нельзя! — заартачился Лукашин.

— Люди, он не хочет выпить за свою невесту! — возмутился Александр.

— Галя, будь счастлива! — поднял кружку Павел.

Сцена в бане.

Артисты —  
Александр  
Ширвиндт,  
Андрей Мягков,  
Георгий Бурко,  
Александр  
Белявский



— Вы мерзавцы! — жалобно сказал Лукашин. — До приема в поликлинике у меня еще было ночное дежурство!

Затем он, конечно, выпил вместе со всеми.

— Расскажи, как ты с ней познакомился? — спросил Лукашина Михаил.

— Она пришла в поликлинику ко мне на прием.

— Она что... больная? — Александр слыл остряком.

Лукашин обиделся:

— У нее был вывих.

— Ясно! — кивнул Александр. — Именно поэтому она выходит за тебя...

— Выпьем за то, чтобы вы оба были всегда здоровы! — Это, конечно же, был Михаил.

— Если дальше пойдет в таком темпе, я не попаду на аэродром, — перепугался Павел.

— Положись на меня, я никогда не пьянею... Дай билет! — Михаил отобрал у Павла билет и переложил к себе в карман.

— Я не буду больше пить. Она подумает про меня, что я алкоголик, — жалобно заныл Лукашин.

— Это неслыханно! — воззвал к народу Александр. — Доктор отказывается пить за здоровье!

— Дернул меня черт пойти с вами в баню! — беря кружку, в сердцах сказал Лукашин.

Выпили.

— Теперь расскажи, как ты с ней познакомился? — не отступал Михаил.

— С кем? — переспросил Лукашин. От усталости он очень быстро захмелел.

— С Галей. Или у тебя есть еще кто-нибудь?

— У меня никого нет. Я холостой! — задиристо ответил жених.

— Выпьем за холостую жизнь! — предложил Павел.

— Ура! — заорал Лукашин.

— Ему хорошо! А вы представляете, как мне попадет от жены, если я в таком виде заявляюсь домой встречать Новый год, — посетовал Александр. Но ему никто не посочувствовал.

Лукашин, который несколько минут назад отка-



зывался пить, уже вошел в азарт. Давно известно, в таком деле, как выпивка, главное — начать.

— Люди! У меня возник новый тост!

Для пущей убедительности Лукашин взобрался на медицинские весы, использовав их как трибуну. Теперь уже Михаил призвал к чувству меры:

— Тебе больше нельзя! Ты сегодня женишься!

— Я про это не забыл! — заявил Лукашин.

— Если ты забудешь, я напому! — пообещал

Михаил. — Я никогда не пьянею!

— За нашу дружбу! — провозгласил Лукашин.

Оригинальный тост растрогал Александра:

— Красиво говоришь!

Все четверо снова выпили.

— Ты прирожденный оратор! — сказал Лукашину Павел и тоже полез на весы. — Подвинься... Давай взвесимся на брудершафт!

— Давай! — поддержал Лукашин. — Сколько мы вместе потянем!

— Ребята, ребята! — шумел вконец опьяневший

Павел. — Я придумал тост, лирический!

— Давай лирический! — поддержал Лукашин.

Но Михаил строго сказал:

— Все! Хватит пить!

— Пусть Павел скажет лирический... — начал было Лукашин, но Михаил его перебил:

— Нет, все, довольно! Нам пора на аэродром!

— А зачем? — искренне изумился Павел.

— Кто-то из нас летит в Ленинград! — объяснил

Михаил.

— Кто? — спросил Павел.

— Поехали! — предложил Александр. — Там разберемся!

— Не поехали, а полетели.

— Пристегнулись простынями! — шумел Павел. —

Отойти от винта!..

— Внимание! Внимание! Объявляется посадка в самолет «ТУ-134», следующий рейсом 392 по маршруту Москва — Ленинград. Пассажиров просят пройти на посадку...

Голос диктора разносился по всему аэродрому, включая буфет. А там, не выпуская из рук портфелей с вениками, мирно спали Лукашин и Павел. Александр мужественно боролся с дремотой, и лишь Михаил сохранял видимую бодрость.

Когда диктор еще раз повторил объявление, Александр вскочил с места:

— По-моему, это наш самолет!

— Я с тобой согласен! — Михаил сохранял спокойствие. — А ты не помнишь, кто из нас улетает?

— Не помню, — сказал Михаил. — Но ты можешь на меня положиться. Сейчас мы пойдем простым логическим ходом.

— Пошли вместе! — примазался Александр.

— Ты летишь в Ленинград? — спросил Михаил.

— Нет, что ты! — испугался Александр. — А ты?

— И я нет! Применяем метод исключения. Значит, остаются эти двое. — Михаил показал на спящих.

— Их спрашивать бесполезно! — махнул рукой Александр.

— Ты наблюдателен. Спрашивать надо меня. Я единственный из вас не потерял природной смекалки. — Михаил всегда был скромным.

— За это я тебя люблю! — признался Александр.

— Сейчас не об этом, — застенчиво отмахнулся Михаил. — Павел может лететь в Ленинград?

— Может.

— А Женя?

— Тоже может. Давай кинем жребий! — Александр был в восторге от своей идеи.

Зато Михаил отнесся к ней отрицательно:

— Мы не станем полагаться на случай! Кроме того, я напоминаю тебе, что надо торопиться, а то самолет улетит без нашего друга!

— Без какого? Ты же трезвый! Ты никогда не пьянеешь!

Михаил гордо кивнул:

— Поэтому я тебе отвечаю. Сегодня в бане мы пили за Лукашина, потому что он женится!

— У тебя поразительная память! — восхитился Александр.

— Сейчас не об этом! Значит, Женя летит в Ле-

нинград на собственную свадьбу! Он бы сам нам это рассказал, но его развезло от усталости.

— Подожди, — спохватился Александр, — а разве он не рассказывал, что невеста приходила к нему в поликлинику?

— Рассказывал! — Сбить Михаила с толку было не так-то просто. — Значит, она приезжала в Москву в командировку!

— Железная логика! — И вместе с Михаилом Александр подхватил Лукашина под руки и поволок к выходу на посадку.

— Куда вы меня ведете? — промычал спросонья Лукашин.

— К твоему счастью! — ответил Михаил. Он достал из кармана билет и протянул бортпроводнице. И, улыбнувшись, шепнул Александру: — Все-таки хорошо, что мы его помыли!..

В предновогодних небесных просторах спешил в Ленинград рейсом № 392 самолет «ТУ-134».

В салоне воздушного корабля безмятежно спал Евгений Лукашин, прижимая к груди портфель с березовым веником.

А через час сердобольный попутчик уже вводил Лукашина, который мешком висел на его руке, в зал ожидания Ленинградского аэровокзала.

Не стоит говорить о том, что зал ожидания в Ленинграде ничем не отличался от зала ожидания в Моск-

Лукашин, перелетая в город на Неве, нахально спит на плече режиссера



ве: одинаковые разноцветные кресла, одинаковые кресла, одинаковые табло и одинаковые огромные окна, за которыми смутно белели самолеты. Брошенный попутчиком, Лукашин приоткрыл глаза, с надеждой искал друзей, но их нигде не было видно.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Лукашин к грузному лысоватому мужчине, который понуро забился в красное псевдокожаное кресло и не моргая, тоскующим взглядом взирал на мир. — Который теперь час?

— До Нового года два часа пятьдесят минут! — трагически возвестил незнакомец.

— А где я? — спросил Лукашин.

— Там же, где и я!

— А где вы?

— На аэродроме! — грустно ответил мужчина. — По дороге в Красноярск нелетная погода, и в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле!

— А в лучшем случае?

— Тоже в кресле, но только в воздухе. Вы встречали Новый год в воздухе?

— Нет! — отрезал Лукашин. — И не хочу! С наступающим вас! Мы проводили Павлика, и теперь я поехал домой. — Вдруг Лукашин сообразил, что уже много времени. — Боже мой! Галя скоро придет!

Диктор бодро объявил:

— К сведению пассажиров, отлетающих в Красноярск: в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями...

Собеседник Лукашина простонал:

— Почему я не уехал поездом? Почему?..

...В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое: иные дома, иные улицы, иная жизнь.

Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома: такие же дома, такие же улицы, такая же жизнь. Здания давно уже не строят по индивидуальным проектам, а только по типовым.

Прежде в одном городе возводили Исаакиевский собор, в другом — Большой театр, а в третьем — Одес-

скую лестницу. Теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр «Космос», в котором можно посмотреть типовой художественный фильм.

Названия улиц тоже не отличаются разнообразием. В каком городе нет Первой Загородной, Второй Пролетарской, Третьей Фабричной... Первая Парковая улица, Вторая Садовая, Третья улица Строителей... Красиво, не правда ли?..

Лукашин ввалился в такси и сказал водителю:

— Третья улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж...

— Хоть на пятый! — ответил таксист, и машина рванула с места...

...Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки.

Типовое проникает в наши души. Встречаются типовые радости, типовые настроения, типовые разводы и даже типовые мысли!

С индивидуализмом у нас покончено, и, слава богу, навсегда!..

Мчалось такси по разукрашенному, праздничному Ленинграду, а на заднем сиденье сладко дремал Лукашин и не подозревал о том, что его отделяет от дома приблизительно семьсот километров.

Такси подъехало к новостройке. Лампочка, спрятанная под козырьком, освещала родной адрес: «Третья улица Строителей, 25».

Лукашин вывалился из машины, с трудом преодолел ступеньки при входе в подъезд и облегченно вздохнул:

— Наконец-то я приехал!..

Добравшись до двери под номером 12, Лукашин порывлся в карманах, добыл ключ и успешно вставил его в скважину нижнего замка. Совсем не трудно догадаться, что ключ подошел.

Слегка пошатываясь, Лукашин открыл дверь, оказался в передней и машинально начал раздеваться. Совсем не трудно догадаться, что планировка ленинградской квартиры ничем не отличалась от планировки московской. И обои, конечно же, были такими же.

Объяснить это легче легкого. Жилые дома в Мо-

ске и жилые дома в Ленинграде сдавались в эксплуатацию одновременно. В это время выпускались обои именно этого цвета и артикула, а серия дверных замков с ключами — именно такой конфигурации. Все очень просто. И, главное, удобно для промышленности. В ленинградскую квартиру недавно въехали новоселы. И здесь вещи еще не нашли постоянного места и был тот славный беспорядок, который еще долго бывает после переезда.

Лукашин содрал с себя дубленку, сорвал с головы шапку и зашвырнул ее куда попало, бросил на пол пиджак (пиджак ведь тоже должен отдохнуть) и вступил в единоборство с брюками. Избавиться от них оказалось не так-то легко. Ослабленный алкоголем и авиацией, Лукашин вконец изнемог в неравной борьбе. Он все-таки выбрался из брюк и, едва живой, дополз до тахты, которая, как уже совсем не трудно догадаться, стояла точно в том же месте, что и у него дома. Лукашин взобрался на тахту и блаженно свернулся калачиком, натянув на себя мягкий гэдээровский плед. Через мгновение он спал.

Вскоре дверь в квартиру № 12 снова отворилась. Это пришла хозяйка, Надежда Васильевна. Пожалуй, Надю можно назвать красивой женщиной, но все-таки было видно, что ей уже перевалило за тридцать. Она сняла пальто, зажгла полный свет. Лукашина Надя не замечала. Она достала из сумки попку, это была электрическая бритва по имени «Агидель», и положила ее на буфет. Затем критически осмотрела накрытый новогодний стол. Потом подошла к шкафу, вынула из него новогоднее платье, кинула на тахту, платье упало на Лукашина. Только теперь Надя его заметила и, как положено женщине, вскрикнула.

Но Лукашин даже не пошевелился.

— Эй! — закричала Надя, медленно приходя в себя. — Эй, вставайте! Что вы здесь делаете? Эй, кто вы такой?.. Проснитесь, слышите, немедленно проснитесь!

Лукашин не отвечал.

— Вы живой или нет? — Преодолев страх, Надя попыталась растолкать Лукашина, но ее усилия оказались тщетными.

— Не... не надо меня трясти... — пробормотал сквозь сон Лукашин.

Надя в растерянности заметалась по комнате. Яростно схватила подушку, бросила в Лукашина.

— Кошмар какой-то... — Не открывая глаз, Лукашин взял подушку и запустил ею в Надю.

— Ах так, ну ладно, берегитесь!

Надя выбежала в кухню и вернулась с чайником.

— Я вас в последний раз предупреждаю!

И по лицу Лукашина побежали струйки холодной воды.

Поначалу это показалось спящему приятным. Он блаженно заулыбался.

— Ой, как хорошо! Ой, поплыли!

Потом вода проникла за шиворот, и Лукашин сразу же приподнялся:

— Вы что, с ума сошли? Я... я вам не клумба!

На всякий случай Надя отскочила в сторону.

— Вы откуда взялись? — закричал Лукашин. — Выметайтесь отсюда! И без разговоров!

Надя оторопела:

— Это неслыханно! Что вы здесь делаете?

— Я... тут... мы спим! А кто вы такая? Что вам здесь нужно?

Надя поставила чайник на стол.

— Хватит дурака валять! Что вы здесь разлеглись!? Ну-ка, выкатывайтесь отсюда, живо!

— Ну, это уже нахальство! — возмутился Лукашин. — Мало того что вы ворвались ко мне в квартиру, вы ведете себя как бандитка!

— К вам в квартиру? — передразнила Надя.

— Да, представьте себе, — в тон ответил Лукашин, — я здесь живу!

— А где, по-вашему, живу я? — в изнеможении спросила Надя.

— Мне-то какое дело! — не слишком вежливо ответил Лукашин. — Пожалуйста, уйдите отсюда, и как можно скорее. Сейчас ко мне придет моя невеста, Галочка, и я не хочу, чтобы она застучала меня с женщиной.

— Объясните мне наконец, — вскричала Надя, — почему ваша невеста будет искать вас у меня?

— Мне не до шуток. У меня голова раскалывается. Который час?



— Скоро одиннадцать. Ко мне должны прийти, и ваше присутствие здесь не обязательно! — И Надя швырнула Лукашину его брюки.

— Но почему ваши гости явятся ко мне встречать Новый год? И как вы сюда забрались? Я позабыл захлопнуть дверь, да?

Тут Лукашину захотелось попить, он схватил чайник, из которого его только что поливали, и потянулся губами к никелированному носику. Но Надя с такой силой вырвала чайник из его рук, что горемыка свалился с тахты.

— Но почему вы безобразничаете? Я пить хочу!

— Послушайте, вы! — грозно сказала Надя. — Вы хоть что-нибудь соображаете?

— Все соображаю. Безусловно.

— А где вы находитесь, по-вашему?

— У себя дома. Третья улица Строителей, 25, квартира 12!

— Нет, это я живу Третья улица Строителей, 25, квартира 12! — язвительно сообщила Надя.

А Лукашин ответил столь же язвительно:

— Нет, здесь живем мы с мамой. Уже три дня. Полезная площадь тридцать два метра, и соседей у нас нет!

— Извините, — издевательски продолжала Надя, — но это у нас с мамой отдельная квартира полезной площадью тридцать два метра!

Лукашин снова взобрался на тахту.

— Не могу сказать, что у нас с вами большие квартиры.

— Это очень ценное наблюдение, — насмешливо заметила Надя. — Я была бы вам крайне признательна, если бы вы... как можно скорее испарились!

И Надя решительно спихнула спеленатого в плед Лукашина на пол.

— Я требую уважения к себе! — запричитал Лукашин, пытаясь освободиться от пледа. — Кто меня закатал? Мама!

— Мама ушла! — холодно отозвалась Надя. В ответ Лукашин задулил в нее брюками. Надя тотчас кинула их обратно.

— Чья мама ушла? — спросил Лукашин.

— По счастью, у нас с вами разные мамы!

— И они обе ушли... Караул... — совсем тихо произнес Лукашин.

— Кто-то из нас двоих наверняка сумасшедший! — сказала Надя, и Лукашин осторожно вставил:

— Я знаю кто...

— Я тоже знаю... — поддержала женщина.

Лукашин осмотрелся, не зная, что делать дальше, как вдруг сомнение закралось в его душу:

— Зачем вы передвинули шкаф?

Надя была безжалостна:

— Как его внесли, так он здесь и стоит!

— Но это же моя мебель! — В голосе Лукашна зазвучали умоляющие ноты. — Польский гарнитур за семьсот тридцать рублей!

— И двадцать рублей сверху! — прокомментировала Надя.

— Я дал двадцать пять! — Лукашин повернулся и простонал: — Наваждение какое-то. Зачем мама поставила на стол чужие тарелки? И ширму нашу семейную умыкнули....

— Кажется, вы начинаете прозревать! — зафиксировала Надя.

Лукашин пытался отсрочить неизбежное:

— Значит, вы пришли, передвинули шкаф, заменили тарелки и... куда вы девали люстру?

— Отвезла в комиссионку! — ответила Надя.

— Где я? — жалобно пролепетал Лукашин.

— Третья улица Строителей, 25, квартира 12! — объявила Надя.

— Но, честное слово, это мой домашний адрес! Хотя мне кажется, я все-таки в чужой квартире! — Лукашин был уже не пьян, но еще не был трезв.

— Наконец-то! Теперь вы можете уйти со спокойной душой! — И Надя сдернула с Лукашина плед.

— Не надо! — закричал Лукашин. — Куда же я пойду в таком виде? Что вы, смеетесь? — Он схватил Надино платье и прикрыл им голые ноги.

— Мое новогоднее платье! — взвизгнула Надя и вырвала его из рук полураздетого пришельца.

— Не обнажайте меня! Я жду Галю, она придет

по этому адресу, я вам паспорт покажу! Где мой пиджак? — Лукашин искал глазами пиджак, который валялся на полу, за шкафом. — Вот мой пиджачок... висит... А вот и паспорт мой. Вот — город Москва... Нет, вы смотрите! Сто девятнадцатое отделение милиции. Прописан постоянно по Третьей улице Строителей, 25, квартира 12! Это, между прочим, документ. И... чешите отсюда!

Надя насмешливо скривила губы:

— Значит, вы думаете, что вы в Москве? — не выдержала она и расхохоталась в полный голос.

— А где я, по-вашему? — в ответ рассмеялся Лукашин, но это был неуверенный смех. — В Москве, деточка, в Москве!

Тогда Надя выдвинула из буфета ящик, достала свой паспорт и протянула Лукашину. Тот послушно прочел:

— Ленинград, Третья улица Строителей, 25, квартира... — Он вернул паспорт, и только сейчас дошел до него страшный смысл прочитанного: — Вы что же... намекаете, что я в Ленинграде?

Надя торжественно молчала. Лукашин нервно засмеялся и сразу же прервал себя:

— Но как же я мог попасть в Ленинград, я ведь шел в баню...

— С легким паром! — поздравила Надя.

— Спасибо! — сказал Лукашин, а Надя показала рукой на дверь:

— А теперь уже хватит! Уходите!

— Но если я действительно в Ленинграде... какая беда, а? — Лукашин в ужасе опустился на пол. — Пойдите, мы поехали на аэродром... да, я помню... мы провожали Павла... перед этим мы мылись... Неужели я улетел вместо Павла?

— Не надо пить! — догадалась Надя.

— Да я абсолютно непьющий... В рот не беру... Нет, это невероятно... Галя уже пришла, а я на полу... в Ленинграде... Хоть бы я попал в какой-нибудь другой город...

В лифте Надиного дома медленно и с достоинством поднимался Ипполит Георгиевич, мужчина солидный и знающий себе цену. Он остановился возле Нади-



ной двери, поправил галстук, улыбнулся и, предвкушая удовольствие от будущей встречи, позвонил в дверь.

Ипполит и не подозревал, какую реакцию вызовет его звонок.

— Не открывайте! — закричал Лукашин. — Я сейчас встану!

— Сразу не открыть — это хуже! — и Надя решительно шагнула в коридор, у двери она обернулась: — К вашему сведению, это пришел он! Берегитесь!

— Что вы делаете? Подождите! Я сейчас оденусь! — и Лукашин с головой накрылся пледом.

Надя отворила дверь.

— С наступающим, Наденька! — Ипполит нежно поцеловал любимую. — Вот тебе новогодний подарок!

— Спасибо. Я тебе тоже приготовила подарок, — сказала Надя, — он в комнате. — И пока Ипполит раздевался, добавила: — Но я тебе должна кое-что сообщить... В это невозможно поверить... Ты умрешь со смеху... Короче говоря, я пришла домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Я его с трудом разбудила... Я его поливала из чайника...

Ипполит как-то странно взглянул на Надю и шагнул в комнату.

Лукашин выглянул из-под укрытия:

— С наступающим!

— Ну что ж! — медленно произнес Ипполит, обращаясь к Наде. — Ты приготовила отличный подарок! — И сдернул с Лукашина плед.

— Ведите себя прилично! Она здесь ни при чем, это я во всем виноват! — поспешно вставил Лукашин, стараясь при этом незаметно прикрыть пледом босые ноги.

Ипполит, прокурорски сощурился, посмотрел на Надю:

— Мне бы хотелось узнать маленькую деталь... так, из любопытства, — кто это?

— Я его не знаю! — пожала плечами Надя.

— Я посторонний, я здесь нечаянно... — добавил Лукашин.

— Это совсем незнакомый мужчина... — сказала Надя.

— Да, я мужчина, — покорно согласился Лукашин.



— Как он сюда попал? — прошипел Ипполит.

— Понимаешь, это невероятное совпадение... — начала объяснить Надя.

— Невероятное... — как эхо повторил Лукашин.

— Он тоже живет: Третья улица Строителей, 25, квартира 12...

— 12, — вздохнул Лукашин.

— Но только в Москве, — продолжала Надя.

— В Москве я живу... — Эхо проявило крохотную самостоятельность.

Ипполит негодующим жестом указал на брюки Лукашина, валяющиеся на полу:

— А это что?

Надя в который раз запустила брюками в их владельца.

— Это мои штаны, — с гордостью произнес Лукашин и поморщился. — Осторожнее, помнете!

Пока Лукашин тщетно пытался под пледом натянуть на себя брюки, Надя старалась вдолбить Ипполиту, как было дело.

— Он с приятелями пошел в баню...

— В баню мы пошли, — подтвердил унылый голос.

— Там они выпили, и его по ошибке запихнули в самолет!

— В самолет, — отозвался Лукашин. Он все еще пытался под пледом всунуть ноги в штаны. Однако это оказалось для него непосильным делом.

— Нет! В бане нет самолетов! — терпеливо объяснил Лукашин



— Где? В бане? — повысил голос Ипполит. — Ну, с меня достаточно.

— Нет! В бане нет самолетов! — Ради такого важного сообщения Лукашин даже высунул голову.

— Вас не спрашивают! Заткнитесь!

— Да, мы там мысли! Скажите ему! — обратился Лукашин за подтверждением к Наде. — С Павликом мысли!..

— Да замолчите вы! — в отчаянии крикнула Надя, понимая, что пьянчужка только ухудшает и без того ужасное положение. — Они из бани поехали на аэродром.

— Провожать Павлика, — кротко пояснил Лукашин.

— Ах, здесь еще Павлик?! — Ипполит заметался по комнате в поисках второго соперника.

— Его нет, я вместо него! — Лукашин честно старался помочь, но от его чрезмерной помощи правда начинала казаться неуклюжим враньем.

— Значит, должен был прийти Павел? — Ипполит все понимал по-своему.

— Подержите плед, я оденусь! — Лукашину надоело мучиться, он отдал плед Наде и Ипполиту и наконец натянул проклятые брюки.

— Дорогой мой! — теперь уже занервничала Надя. — Никто не должен был прийти. Этот вот попал в самолет по ошибке...

— Что, его в багаж сдавали? — серьезно спросил Ипполит.

— Ты посмотри на него, какой несимпатичный! — Он просто отвратителен! — медленно согласился Ипполит.

Актеры — Барра Брыльска и Юрий Яковлев





— Может быть. Я не помню, — искренне признался Лукашин.

А Надя, желая польстить Ипполиту, показала на Евгения:

— Ты посмотри на него, какой он несимпатичный!

Ипполит немедленно согласился:

— Он просто отвратителен!

— Это спорный вопрос! — не согласился Лукашин. — Зачем вы так? Что я вам сделал плохого?

— Все-таки, как он оказался в твоей постели? — допрашивал Ипполит.

— Я не нарочно! Извините, хозяйка, не знаю, как вас зовут?.. — спросил Лукашин, с ботинком в руке двинувшись к Наде, но Надя его грубо оттолкнула.

— Прекрасно, он у тебя в постели, — перебил Лукашина Ипполит, — но он не знает, как тебя зовут! Нет, я пошел!

— Значит, если бы он знал, как меня зовут, ты бы остался? — разозлилась Надя. — Ипполит, дорогой, я тоже не знаю, как его зовут. Я его вижу первый раз в жизни!

— Вот теперь я тебе верю. Прекрасные современные нравы!

Во время перепалки Ипполит ринулся к вешалке, но Надя силой вернула жениха обратно. По пути они совершенно нечаянно опрокинули на пол Лукашина, который с большим трудом пытался принять вертикальное положение.

— Ты приготовила отличный подарок! — И Ипполит сдернул с Лукашина плед.

— Ведите себя прилично! Она здесь ни при чем...

— Кто это?! — угрожающе спросил жених.

Артисты —  
Андрей Мягков,  
Юрий Яковлев,  
Барбара  
Брыльска



— Что же вы меня все время роняете? — взмолился Лукашин. — Дайте я встану и уйду навсегда...

— Ипполит, — говорила Надя, не обращая на Лукашина внимания, — давай не будем портить друг другу новогодний вечер. И не заставляй меня все время оправдываться, я ведь ни в чем не провинилась. Какой-то забулдыга попал ко мне в квартиру...

— Я не забулдыга, я — доктор, — запротестовал Лукашин.

— Ну, предположим, он случайно оказался в Ленинграде, — Ипполит, мужчина логического склада, стремился докопаться до истины, — предположим, он живет по такому же адресу, но зачем ты егопустила?

— Она меня не впускала, — разъяснил Лукашин, — ключ подошел!

Он предъявил ключ.

— Вы можете проверить.

Ипполит повернулся к Наде:

— Значит, ты дала ему ключ?

— Не давала она ключ! — в который раз вмешался в разговор Лукашин. — Какой вы тупой!

— Но почему ты мне не веришь? — вспыхнула Надя. — Этот тип противен мне так же, как тебе.

— Себе я тоже противен! — Лукашин взял портфель с веником, в коридоре схватил в охапку дубленку и оказался на лестнице. Только в лифте он надел пальто и напялил на голову шапку. Выскочив на улицу, Лукашин поглядел на здание, которое он только что покинул и в котором случилось с ним столь невероятное происшествие.

— Дом точно такой же... — грустно пробурчал бедолага.

А в комнате Надя зажигала новогоднюю елку. Ипполит, как бука, сидел насупившись и нервно вертел в руках вилку. Надя подошла к Ипполиту и обняла:

— Ну, перестань дуться... И не смей меня ревновать... Если я когда-нибудь полюблю, ты узнаешь об этом первый...

— Я не сержусь... Но ты должна меня понять... Я прихожу... — сказал Ипполит, невольно оттаивая.

— Я понимаю... Я на твоём месте закатила бы такое!.. — выпалила Надя, и оба засмеялись.



— То, что он появился у тебя в доме, — говорил Ипполит, — соответствует твоему характеру!

— Но почему? — Надя надула губы.

— Ты безалаберная... молчи... ты непутевая... у меня в доме или в моей лаборатории он бы не смог появиться... странно, что вообще ты его заметила. Ну мало ли что там валяется?

— Ты угадал, — улыбнулась Надя, — я его заметила не сразу.

Она развернула подарок, принесенный Ипполитом: — Ой, это же настоящие французские духи, они же такие дорогие! Но я тебе тоже приготовила... — Надя достала бритву... — вот, самой последней марки... с этими, как их, плавающими, что ли, ножами!

— Зачем ты сделала такой дорогой подарок? — Ипполит был явно польщен.

— Беру пример с тебя! — Надя всплеснула руками. — Ой, я же не надела праздничное платье... — Она схватила платье, выбежала в другую комнату, вернулась, взяла флакон с духами и опять убежала...

А на улице Евгений Лукашин на всякий случай спросил у прохожего, который спешил встречать Новый год:

— Извините... Это действительно Ленинград, город на Неве?

Прохожий с укором поглядел на Лукашина:

— Пить надо меньше!

— Надо меньше пить! — согласился Лукашин. —

Пить меньше надо.

...Надя в нарядном платье вплыла в комнату, Ипполит влюбленно оглядел ее:

— Просто принцесса из сказки!

— Я рада, что тебе нравится! — счастливо улыбнулась Надя.

Ипполит и Надя не без торжественности уселись за праздничный стол.

— А сейчас давай проводим старый год! Ведь в этом году я встретил тебя... — разливая вино, сказал Ипполит.

— А я тебя... — Надя и Ипполит подняли бокалы и чокнулись.

— Так хочется побриться... Но ничего, к утру я обрасту...

— Люблю встречать Новый год! — сказала Надя. Ипполит встал и снял со стены гитару.

— Надя, мне так нравится, как ты поешь...

— Просто ты ко мне необъективно относишься. — Надя взяла гитару и стала перебирать струны.

— Это верно. — И Ипполит устроился поудобнее в кресле.

Надя начала напевать. Пела она просто и сердечно.

По улице моей который год  
Звучат шаги — мои друзья уходят.  
Друзей моих медлительный уход  
Той темноте за окнами угоден.

О Одиночество, как твой характер крут!  
Посверкивая циркулем железным,  
Как холодно ты замыкаешь круг,  
Не внемля увереньям бесполезным.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,  
На том конце замедленного жеста  
Найти листву и поднести к лицу  
И ощутить сиротство как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,  
Твоих концертов строгие мотивы,  
И — мудрая — я позабуду тех,  
Кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,  
Свой тайный смысл доверяют мне предметы.  
Природа, прислонясь к моим плечам,  
Объявит свои детские секреты.

И вот тогда из слез, из темноты,  
Из бедного невежества былого  
Друзей моих прекрасные черты  
Появятся и растворятся снова.

— Чьи это слова?

— Ахмадулиной, — ответила Надя, встала и повесила гитару на место.

— А-а, — промычал Ипполит, делая вид, что фамилия ему знакома.

— Тебе салат положить? — спросила Надя, возвращаясь к столу. — Или ростбиф?

— Салат, — страстно дыша, сказал Ипполит. — И ростбиф!

Однако есть он не стал, а поправил галстук, откашлялся и заговорил весьма высокопарно:

— Надежда, выслушай меня! Сегодня, в последний час старого года, я намерен поставить вопрос ребром. Мне кажется, что нам пора покончить с нашим холостым положением. Как ты смотришь на то, если мы поженимся?

Надя ласково улыбнулась:

— Я смотрю на это с удовольствием. Но при условии, что ты не будешь так ревнив...

— Я уже не молод, но я чувствую, что...

И тут раздался звонок в дверь.

Ипполит изменился в лице:

— Это еще кто?

— Понятия не имею! — искренне ответила Надя, собираясь пойти открыть, но Ипполит оттеснил ее:

— Нет уж, извини!

И Ипполит отпер дверь сам.

У двери стоял Лукашин со своим дурацким портфелем.

— Извините, что беспокою... Я постеснялся открыть своим ключом...

— Что вам опять нужно? — нервно спросил Ипполит.

— Кроме вас, у меня в этом городе никого, — честно признался Лукашин. — И денег тоже нету... А задаром билет не дадут... Вы мне не одолжите, ну, рублей пятнадцать... я завтра же телеграфом вышлю...

Надя уничтожающе взглянула на Лукашина:

— Чтобы вы оставили нас в покое, придется вам заплатить! — И ушла в комнату за деньгами.

— Пожалуйста, заплатите мне, если можно... — сказал он ей вдогонку.

Пользуясь отсутствием Нади, Ипполит наклонился к Лукашину и доверительно попросил:



— Теперь, когда мы одни... как мужчина мужчине... что вы здесь делали?

Для большей убедительности Лукашин начал с самого начала:

— Понимаете, у нас традиция... 31 декабря мы с друзьями ходим в баню... А Павел должен был лететь в Ленинград... А я должен был сегодня жениться...

— На ком? — быстро спросил Ипполит.

— Это не имеет отношения к делу... Мы выпили за мою женитьбу, за мою невесту, за меня...

— Вы пьяница? — догадался Ипполит.

— Наоборот. Именно поэтому я опьянел, у меня не оказалось необходимой подготовки. После — правда, я это плохо помню — на аэродроме, мы пили что-то еще... И, очевидно, меня вместо Павлика запихнули в самолет. — И Лукашин, чтобы подчеркнуть правдивость своего рассказа, глупо улыбнулся. — Все это очень просто.

— И главное — достоверно... Что же вы делали в самолете? — допытывался Ипполит.

— Я думаю, спал... летел спя...

— Ну хорошо. Вы не помните, как попали в самолет, но как вы из него вышли, вы должны помнить? — Дошлый ревнивец хотел поверить Лукашину, но не мог.

— Должен, но не помню. Но зато я помню, что приехал сюда на такси. Я сказал водителю свой адрес, и меня вот привезли...

Ипполит уже терял терпение:

— Допустим, адрес совпал, допустим, ключ подошел, хотя это маловероятно, но неужели вы не заметили, что мебель другая?

— Такая же! — сказал Лукашин, смотря на Ипполита невинными светлыми глазами.

— Что? — повысил голос Ипполит.

— Мебель точно такая же.

— А вы не обратили внимания, что в квартире беспорядок? Потому что люди только что переехали...

Лукашин вежливо перебил взбешенного Ипполита:

— Но мы тоже только что переехали... с мамой... три дня назад.

— Не делайте из меня идиота! — завопил Ипполит, рванул с вешалки пальто и выскочил на лестницу.

Тотчас вернулась Надя:

— Вот деньги... а где Ипполит?

Лукашин смотрел в сторону:

— Ушел!

— Что вы ему такое сказали?

— Правду!

— Какую правду? — подозрительно спросила Надя.

— Я начал с самого начала... — Лукашин по-прежнему не смотрел на Надю... — Я ему сказал, что у нас есть традиция, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню... — Первый раз взглянув на Надю, Лукашин увидел, что она вот-вот расплачется, и ринулся к выходу: — Сейчас я его верну!

Лукашин кубарем скатился по лестнице, вылетел на улицу и вдалеке увидел Ипполита.

— Послушайте! — изо всех сил заорал Лукашин. — Ипполит... Простите, не знаю вашего отчества.

Ипполит побежал к «Жигулям», быстро открыл дверь и забрался в кабину.

Лукашин подбежал к автомобилю и хотел открыть дверцу, но Ипполит резко рванул с места. Лукашин попробовал было догнать машину, но проиграл соревнование...

Пока Лукашин тщетно гнался за «Жигулями», его невеста Галя впорхнула в подъезд лукашинского дома, который, как известно, находился в Москве. Из-под белой пушистой шубки виднелось вечернее лиловое платье.

Галя остановилась возле квартиры № 12, хитро улыбнулась, достала из сумочки заветный ключ и по возможности неслышно отворила им дверь. В прихожей Галя, все так же стараясь не привлечь внимания жениха, сняла пышную шубку и тихонечко повесила ее на вешалку. Прежде чем войти в комнату, Галя не удержалась и погляделась в зеркало. Она осталась довольна собой, и не без основания. На нее, слегка улыбаясь, смотрела эффектная, элегантная, броская современная женщина.

Затем Галя, крадучись, пробралась в большую комнату, где заботливыми руками предусмотрительной

мамы был накрыт праздничный стол ровно на две персоны. Галя повернулась на каблучках, надеясь неожиданным появлением преподнести сюрприз жениху, но... жениха почему-то не было видно. Галя на рысях обыскала квартиру, заглянула на кухню, в ванную и еще кое-куда, вернулась в большую комнату и растерянно позвала:

— Женя!

Но жених Женя не отвечал. А часы бесстрастно, как и полагается часам, показывали без четверти двенадцать...

...В это время в Ленинграде запыхавшийся Лукашин вернулся в Надину комнату и огорченно доложил:

— Уехал! Он ездит быстрее, чем я бегаю!

Надя протянула Лукашину деньги и сказала сквозь слезы:

— Возьмите ваши пятнадцать рублей!

Лукашин спрятал деньги в карман:

— Я завтра же вышлю. Вы не беспокойтесь.

Надя в бессилии прислонилась к стене:

— Я вас ненавижу! Вы мне сломали жизнь!

— Он вернется! — пытался утешить ее Лукашин. — Вспыльчивые и ревнивые — они быстро отходят. Если бы вы знали, как я вас понимаю и как вам сочувствую... У меня ситуация еще хуже. Дома, в Москве, в моей пустой квартире ждет женщина, которую я люблю, а я в Ленинграде.

— И она не знает, где вы? — машинально спросила Надя.

— Конечно, нет. Она, наверное, с ума сходит!

— Так позвоните ей! — посоветовала Надя.

— У меня нет талончика... — сокрушенно сказал Лукашин.

Надя только вздохнула:

— Звоните в кредит! Звоните по автомату!

— Вы душевный человек! — обрадовался Лукашин. — Можно, я сниму пальто, а то здесь жарко? — И он начал снимать дубленку, не дожидаясь позволения.

— Делайте что хотите... — Не зная, чем себя занять, Надя села у телевизора.

— Извините, а какой номер набрать? — спросил

Лукашин заискивающе, после нескольких тщетных попыток прорваться через восьмерку. — А то автомат занят...

— 10-00-20...

— Спасибо большое. — Лукашин набрал номер. — С наступающим вас, девушка. Примите, пожалуйста, заказ на Москву. 245-34-19. Кто подойдет... Номер в Ленинграде? — Он поглядел на Надю.

— 14-50-30, — подсказала Надя.

Лукашин повторил номер и растерянно повесил трубку.

— Она сказала, что дадут в течение часа!

— О господи! — вырвалось у Нади.

Тогда Лукашин шагнул к выходу:

— Я на лестнице посижу, вы меня позовете...

Могу вообще уйти, а вы объясните все Гале...

— Нет уж, дудки. Объясняйтесь сами! — Надя не находила себе места.

Лукашин взглянул на часы и скорбно произнес:

— Между прочим, до Нового года осталось две минуты!

Надя безнадежно махнула рукой:

— Откройте шампанское!

Лукашин бросился к столу, схватил бутылку, вроде бы осторожно снял проволоку, которая опутывала пробку, но пробка тотчас с треском вырвалась на свободу, и шампанское пенной волной залило скатерть.

— И тут не везет. Что же такое сегодня! Простите... — Лукашин наполнил бокал и с виноватым видом передал Наде. — А как вас зовут? Лично меня Женей.

— А меня Надей!

С телевизионного экрана послышался бой часов. Надя и Лукашин подняли бокалы.

— С Новым годом, Надя!

— С Новым годом! — невесело откликнулась хозяйка дома.

Под новогодние удары курантов металась по Ленинграду желтые «Жигули». Они мчались вперед, потом резко поворачивали обратно.

За рулем сидел Ипполит, обезумевший от ревности.

Пробил последний, двенадцатый удар.

Надя только лишь пригубила:

— Хорошо начинается Новый год, ничего не скажешь!

Лукашин оптимистически поддержал разговор:

— Есть такая традиция: как встретишь Новый год, так его и проведешь...

Тема беседы быстро иссякла. Лукашин и Надя не знали, о чем говорить.

— А вы какой доктор? — спросила Надя.

— Хороший! — скромно ответил Лукашин.

— А если точнее?

— Хирург. А вы?

— Учительница. Русский язык и литература...

— Надо позвонить в аэропорт и узнать, когда пойдет на Москву первый самолет... — сказал Лукашин.

Надя протянула ему телефонную книгу.

Лукашин набрал номер:

— Аэропорт? С Новым годом, девушка... Когда на Москву первый самолет? Спасибо. — Он повесил трубку. — В семь пятнадцать. Но вы, Надя, не бойтесь, вот поговорю с Галей и сразу уйду.

Надя грустно усмехнулась:

— Мне кажется, что вы никогда отсюда не уйдете!

— Не надо убиваться, — посоветовал Лукашин, — все образуется.

И сразу раздался телефонный звонок. Лукашин обрадовался:

— Ну вот и Москва! Алло, Москва? Алло...

— А как вас зовут? Лично меня Женей! — Лукашин передал бокал хозяйке дома.  
— А меня Надей! — невесело сказала Надя.  
— С Новым годом, Надя!..

Артисты — Андрей Мягков, Барбара Брыльська





В будке телефона-автомата Ипполит побагровел, кинул трубку на рычаг и вышел на улицу, саданув дверцей.

В квартире Нади Лукашин огорченно сказал:

— Кажется, это был Ипполит...

— Зачем вы подходили к телефону? Кто вас просил? — Надя была в отчаянии.

— Но я ведь не знал, что это он. Я думал, это Москва, — виновато оправдывался Лукашин. — Простите, ради бога.

Снова раздался телефонный звонок.

Надя закричала:

— Не трогайте! Я сама!

Надя подбежала к телефону:

— Алло... Москву?... Да, заказывали...

В Москве, в лукашинской квартире, растерянная девушка держала в руках трубку:

— Ленинград вызывает?

— Галя, это я! — виновато признался Лукашин.

— А, вот ты где! — гневно сказала Галя... — Спасибо, что хоть позвонил...

Лукашин не знал, с чего начать:

— С Новым годом, Галечка!

— Ты позвонил, чтобы поздравить меня, я тронута!

— Понимаешь, произошла нелепая история... — начал было Лукашин, но Галя перебила его:

— А я-то волнуюсь, все больницы обзвонила, все морги... А ты... просто удрал от меня!

— Я тебя очень люблю! — возразил несчастный жених.

Галя не обратила внимания на его слова.

— Теперь я понимаю, почему ты заранее рассказал мне про Ленинград...

— Это совсем другой случай! Я тебе все объясню... Мы пошли в баню... с друзьями... Это такая традиция — мы моемся...

— Разговаривать мне с тобой не о чем! — сухо оборвала Галя.

— Ну, пожалуйста... Обожди меня... Ты можешь проверить. Мой телефон в Ленинграде 14-50-30. Я прилечу первым же самолетом...

— Можешь не торопиться! Ключ от твоей квартиры я оставлю на столе.

— Не надо... Ключ на столе... Не бросай трубку...

Но Галя не вняла призыву и резко оборвала разговор.

— Алло... Алло... — Лукашин тоже положил трубку и горько усмехнулся. — Кажется, у меня нет невесты.

— Ничего, найдете другую! — равнодушно сказала Надя.

Снова раздался телефонный звонок.

Лукашин с надеждой бросился к аппарату:

— Галя? А... Хорошо... Три минуты... — Внезапно Лукашин обрушился на Надю: — Другую... Не давайте дурацких советов! Что вы в этом понимаете? Я ни разу не был женат. Я всю жизнь искал и наконец нашел!

— Что вы на меня кричите? — озлилась Надя.

— А вы не вмешивайтесь в чужие дела! — Лукашин был вне себя. — Найдете другую...

— Вы забыли, что находитесь у меня в квартире! — Надю потрясла неблагодарность пришельца.

— Пропади она пропадом, эта квартира, вместе с вами и вашим Отелло! — Лукашин пылал гневом.

— Вы хам! — в ярости выкрикнула Надя. — Вы просто хам!

Надя уселась и спокойно вытянула ноги.

— Пошел вон!

Лукашин тоже сел:

— Никуда я отсюда не уйду! Мой самолет только в семь утра!

— Тогда уйду я! — Надя вскочила с места.

— Скатертью дорога! — Лукашин пересел к столу и принялся накладывать себе еду.

— Ну, знаете! — Надя была возмущена. — Этот номер у вас не пройдет!

Она вернулась к столу и, вырвав у Лукашина тарелку, поставила себе.

Лукашин взял себе другую чистую тарелку, но Надя выхватила ее и швырнула об пол. Мелкие осколки рассыпались по всей комнате.

— Вы просто мегера! — крикнул Лукашин.

Надя пригрозила:

— Еще одно слово, и следующая тарелка полетит вам в голову.

На всякий случай Лукашин ничего не возразил. Надя принялась за еду. Она ела демонстративно, со вкусом:

— А ваша Галя уже ушла! И правильно поступила. Ей повезло. Теперь она свяжет судьбу с настоящим человеком. Что ж вы не возражаете? Нечем крыть?

— Боюсь следующей тарелки! — признался Лукашин, глядя на кушанья голодными глазами.

И в это время в дверь позвонили.

— Это Ипполит! — воскликнула Надя. — Прыгайте с балкона!

— Охота была ноги ломать! — сознался Лукашин.

Надя пошла отворять, и в квартиру влетели Надины подруги Татьяна и Валентина. И сразу посыпалась тысяча слов:

— Мы тут шли мимо...

— Надюша, с Новым годом!

Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Лукашин быстро впихнул в себя какие-то яства.

— Мы только взглянуть на твоего...

— Наши мужики ждут внизу. Мы их не взяли, а то их потом не выставишь!

— Да, мужиков выставлять трудно! — вздохнула Надя. — Ну, что ж, проходите. Вон он... во всей красе.

Подруги вошли в комнату. Лукашин встал и поклонился. Он все еще с аппетитом жевал.

— Дорогой Ипполит Георгиевич! — не без торжественности начала Валентина. — Мы ближайšie Надины подруги...

— Мы работаем в одной школе, а она вас прячет... — вставила Татьяна.

Пока они знакомились, Надя незаметно спрятала фотографию Ипполита, которая стояла за стеклом книжной полки на самом видном месте.

— Но я не тот... — пытался спорить Лукашин, но спорить с набитым ртом было трудно.

— Не перебивайте, это невежливо! — сделала ему замечание Татьяна.

Подруги Нади были совсем разные. Если Валентина смахивала на педагогического солдафона, кото-

рый лишь по случаю праздника был одет не по форме, то трогательная, крохотная, большеглазая Татьяна все не походила на учительницу.

— Мы специально заехали, — продолжала Валентина, — чтобы поздравить вас обоих. Вы должны знать, какая замечательная женщина наша Надя, как ее любят в школе педагоги, родители...

— И даже дети! — добавила Татьяна.

— Надежда — прекрасный педагог, — привычно толкала речь Валентина. — Чуткий товарищ, она ведет огромную общественную работу, она висит на доске Почета.

— И чудесно поет, — вставила Татьяна.

— Все это очень приятно, — умудрился наконец заговорить Лукашин, — но я не тот, за кого вы меня принимаете!

— Не слушайте вы его! — неожиданно вмешалась Надя. — Давайте присаживайтесь к столу. Ведите сюда мужчин!

— Мы не хотим мешать! — покрутила головой Татьяна.

— Да вы не можете нам помешать! — Лукашину явно не нравилась вся эта история. Кроме того, правдивость была определяющей чертой его характера. — Мы, можно сказать, почти незнакомы. Первый раз я увидел Надежду... — он повернулся к Наде, — как ваше отчество?

— Ее отчество Васильевна! — сквозь смех сообщила Татьяна.

— Нет, пусть дурчится, — попросила Татьяна. — У него это славно получается. Мне так нравятся ваши отношения...

Артистки — Лия Ахеджакова и Валентина Талызина



— Я увидел Надежду Васильевну в одиннадцать часов вечера!

— Ипполит, не дурачься! — эти слова Нади относились, разумеется, к Лукашину. Грубая ложь возмутила правдолюбца:

— А я не Ипполит и никогда им не буду!

— Нет, пусть дурачится, — попросила Татьяна. — У него это славно получается. Мне так нравятся ваши отношения...

— Но я действительно... — Лукашин был разъярен, но Надя перебила:

— Ипполит, перестань, уже неостроумно! Пригласи гостей к столу.

— И все-таки я не Ипполит! — уперся Лукашин. Валентина подняла бокал шампанского:

— За ваше семейное счастье!

— Я пить отказываюсь! — Лукашин даже не взял бокала в руки.

— Горько! — крикнула Татьяна, Валентина ее поддержала:

— И правильно! Горько!

— Я не буду с ней целоваться! — заартачился Лукашин.

Однако Надя подошла к нему и, прежде чем он успел оказать сопротивление, поцеловала в губы.

— И даже после этого все равно я не Ипполит! — заявил Лукашин.

— Ипполит Георгиевич, — искренне веселилась Таня, — а вам нравится, как Надя поет?

— Не знаю... — недовольно ответил Лукашин. — Не слышал, не нравится!

Валя изумленно воззрилась на Надю:

— Ты что же, ни разу не спела своему Ипполиту?

— Это моя непростительная ошибка! — согласилась Надя. — Валя, передай мне гитару.

— Не надо музыки! — взмолился Лукашин. — Я не люблю самодеятельности!

— Да какая же это самодеятельность! — Валя сняла со стены гитару и передала Наде.

— Давай нашу любимую! — потребовала Та-



ня. — Надюша, давай «Вагончики»! — И принялась дирижировать.

Надя озорно запела:

— На Тихорецкую вагон отправится.  
Вагончик тронется, перрон останется.  
Стена кирпичная, часы вокзальные.  
Платочки белые, глаза печальные...

Таня и Валентина поддержали:

— Платочки белые, платочки белые,  
Платочки белые, глаза печальные...

Надя и Лукашин рассматривали друг друга.  
Практически они делали это в первый раз.

Начнет выпытывать купе курящее  
Про мое прошлое и настоящее.  
Навру с три короба, пусть удивляются,  
С кем распрощалась я, вас не касается.

Глядя на поющую Надю, Лукашин только сейчас сообразил, что Надя-то, оказывается, красива.

Откроет душу мне матрос в тельняшечке,  
Как тяжело на свете жить бедняжечке.  
Сойдет на станции и попрощается.  
Вагончик тронется, а он останется...<sup>1</sup>

Вразной, но зато самозабвенно подхватили последние строчки Татьяна и Валентина.

— Да, такого я еще не слышал! — сухо процедил Лукашин.

— Ой, братцы, господа, хорошо-то как! — выдохнула Валя.

— Валентина, пошли, а то наши мужья замерзнут! — вспомнила про мужей Татьяна.

— Надя, Ипполит, будьте счастливы!

— Я устал возражать! — Лукашин на самом деле обессилел.

Татьяна и Валентина двинулись к выходу.

<sup>1</sup> Стихи М.Львовского.

— Он просто прелесть! — тихонько сказала Татьяна, а Валентина добавила:

— Я одобряю... Надежда, я знала, ты не ошибешься, он хороший мужик, а главное — серьезный, положительный!

Когда Надя вернулась в комнату, Лукашин спросил:

— Зачем вы это сделали?

Надя невесело усмехнулась:

— А вы тоже — заладили как попугай: «Я не Ипполит, я не Ипполит»... Вы что же, хотите, чтоб я рассказала им про вашу баню? И чтобы назавтра вся школа говорила о том, что я встречаю Новый год с каким-то проходимцем?

— Я не проходимец, я несчастный человек!

— Как будто несчастный человек не может быть проходимцем! — справедливо заметила Надя.

— А как вы им предъявите настоящего Ипполита?

— А настоящего, наверное, уже не будет... — опечалилась Надя и вновь поставила на место фотографию.

— Почему я все время должен вас утешать? — возмутился Лукашин. — Почему вы меня не утешаете? Мне хуже, чем вам. Вы хоть дома.

— Но ведь вы же во всем виноваты!

— Ну, я же не нарочно. Я тоже жертва обстоятельств. Можно, я чего-нибудь поем?

— Ешьте! Вон сколько всего. Не выбрасывать же! Лукашин с аппетитом набросился на салат.

— Вкусно! — проговорил он с набитым ртом. — Вы сами готовили?

— Конечно, сама. Мне хотелось похвастаться!

— Это вам удалось. Я обожаю как следует поесть!

— А я, признаться, ненавижу готовить! — откровенно сообщила Надя. — Правда, с моими лоботрясами и лодырями времени все равно нет. Как ухажу утром...

— Перевоспитываете их? — Лукашин попробовал заливную рыбу, но она, очевидно, оказалась такой невкусной, что он незаметно оставил тарелку.

— Я — их; они — меня! Я пытаюсь учить их думать, хоть самую малость. Иметь обо всем свое собственное суждение...



— А чему они учат вас?

— Наверное, тому же самому... — улыбнулась

Надя.

— Ну а я представитель самой консервативной профессии...

— Не скажите. Мы с вами можем посоревноваться... — не согласилась Надя.

— У нас иметь собственное суждение — особенно трудно. А если оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям.

— Ошибки учителей менее заметны, — рассуждала Надя, — но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого!

— И все-таки у нас с вами самые лучшие профессии на земле! — воскликнул Лукашин. — И самые главные!

— Судя по зарплате, — нет.

Оба рассмеялись, и Лукашин, невольно поддаваясь возникшей между ними теплоте, сказал:

— А знаете, когда подруги вас хвалили, мне было приятно... Сам не знаю почему...

— Не подлизывайтесь... — предупредила Надя.

— В отличие от вас, — не без хитрецы заметил Лукашин, — ваша подруга сразу увидела, что я человек положительный!

— Конечно! Вы же не вламывались к ней в дом.

— Верно! — улыбнулся Лукашин и присел около проигрывателя, — к ней пока еще не вламывался. А ведь мы с вами своеобразно встречаем Новый год... — Лукашин поставил пластинку. — И, знаете, если мы встретимся с вами, ну, когда-нибудь, ну, случайно... и вспомним все это, мы будем покатываться со смеху...

И Евгений церемонно поклонился, приглашая Надю на танец.

— Положим, мне было не до смеха, когда я вошла и увидела... как вы тут разлеглись... — Надя подала руку Лукашину, и они стали медленно кружиться в центре комнаты.

— А я... — вспоминал Женя, — просыпаюсь в собственной постели оттого, что какая-то женщина по-

ливает меня из чайника! Мне тоже было не смешно! — И Лукашин прыснул.

— Я говорю: выкатывайтесь отсюда... — рассмеялась и Надя.

— А я отвечаю: что это вы безобразничаете в моей квартире! — заливался хохотом Лукашин, чисто автоматически прижимая Надю к себе.

— Я от возмущения... просто растерялась... Кто вы?.. Если вор, то почему вы легли... Вор, который устал и лег поспать в обкраденной квартире... — И щека Нади непроизвольно коснулась щеки Лукашина.

— А вы мне сначала так не понравились... — давился от смеха Лукашин... — Ну так не понравились...

Надя хотела еще громче Лукашина:

— А вы мне тоже были так омерзительны!

И тут раздался звонок в дверь.

Лукашин и Надя смолкли, сразу почувствовав себя крайне неловко, будто их застигли на месте преступления. Оба не смели взглянуть друг на друга.

Пауза затягивалась. Раздался еще один звонок.

— Открыть? — вполголоса спросил Лукашин.

Надя встала и направилась отворять. В дверях торчал Ипполит.

Войдя, Ипполит начал оправдываться:

— Родная, прости... я погорячился, был не прав... Я испортил нам новогодний вечер.

— Молодец, что вернулся! — сказала Надя. — Я боялась, что ты уже не придешь. Снимай пальто, и идем!

Надя помогла Ипполиту раздеться, он нежно поцеловал ей руку, и они направились в комнату. Увидев Лукашина, Ипполит оцепенел.

— Как, он еще здесь?

— Не могу же я выставить его на улицу. Первый самолет только в семь часов.

Крупными шагами Ипполит направился в комнату.

— Мог бы посидеть на аэродроме. Ничего бы ему не сделалось!

Лукашин молчал. Ипполит осмотрелся и оценил обстановку:



— Так-так. Поужинали... я вижу, вы неплохо проводите время... Музычку завели...

— Не сидеть же голодными, — сказала Надя, выключая проигрыватель, — присоединяйся к нам!

— К вам? — с нажимом переспросил Ипполит.

— Не цепляйся к словам! — поморщилась Надя.

Уловив ее интонацию и, наверно, вспомнив предыдущую ссору, Ипполит пришел к третьейскому решению:

— Вот что... вызовем ему такси и оплатим проезд на аэродром...

— В новогоднюю ночь такси придет только под утро... — констатировала Надя, а Лукашин попытался скрыть улыбку...

— Тогда... Тогда... — Ипполит с трудом сдерживал себя. — Пускам идет пешком.

— До аэродрома? — Надя пожала плечами. — В такую даль?

— Ты его уже жалеешь? — раздраженно спросил Ипполит.

— Дорогой! — Надя тоже была взвинчена. — Даже моему ангельскому терпению приходит конец!

Вот тут Ипполит наконец-то вспыхнул:

— Значит, я во всем виноват! Может, он успел тебе понравиться? Может, между вами что-то произошло? Может, я здесь третий — лишний?

Теперь не выдержал и Лукашин:

— Как вам не стыдно!

— Молчите! Вас это не касается! — прикрикнул на него Ипполит, а Лукашин назидательно продолжал:

— Если вы любите женщину, Ипполит Георгиевич, вы должны ей доверять, любовь начинается с доверия...

— Не читайте мне мораль! — попытался одернуть его Ипполит...

— Вам полезно послушать!

— Надя, уйми его! — прошипел Ипполит.

Но Лукашин уже завелся и остановиться не мог:

— Надежда Васильевна — замечательная женщина... как человек... Она умна, она вкусно готовит... я ел!.. Она тактична, она красива, в конце концов! А вы ведете себя с ней отвратительно! Немедленно извинитесь!

— Сейчас я его убью! — в ярости прохрипел Ипполит и кинулся на Лукашина.

Завязалась потасовка. Надя взирала на нее с некоторым интересом, как некогда на рыцарских турнирах женщины глядели на своих кавалеров, кидавшихся друг на друга с мечами и копьями.

— Для полноты картины не хватало только драки! — крикнула Надя.

В схватке победил Лукашин. Он повалил Ипполита на пол и заломил ему руки за спину:

— Проси у нее прощения!

— Почему вы говорите мне «ты»? — тяжело дыша, возмутился Ипполит.

— Потому что ты побежденный! — Лукашин нажал посильнее, и Ипполит вскрикнул:

— Вы мне сломаете руку!

— Сам сломаю, сам и почию! — милосердно пообещал Лукашин. — Проси у нее прощения.

Наде надоело это зрелище.

— Женя, отпустите его!

— Ах, он уже и Женя! — сдавленным голосом произнес Ипполит.

— А что же, по-твоему, я должен быть безымянным? — сказал Лукашин и послушно выпустил Ипполита.

— А теперь уходите! Оба! — приказала Надя.

— А я не хотел его бить! — как в детстве, протянул Лукашин. — Он сам полез! Первый!

Встретившись со свирепым Надиным взглядом, мужчины молча пошли к выходу.

Возле двери они постояли, вежливо уступая друг другу дорогу. Никто не желал уйти первым.

— Перестаньте кривляться! — прикрикнула Надя.

И тогда оба, как по команде, одновременно протиснулись в дверь, внимательно следя друг за другом, взяв свои пальто и так же одновременно вышли из квартиры.

Только они ушли, Надя схватила телефонную трубку — и набрала номер:

— Николай Иванович, с Новым годом вас!.. Это Надя... спасибо. Татьяна у вас?..



Ипполит с Лукашиным вышли из дома и остановились.

— Вам в какую сторону? — спросил Лукашин.

— Мне туда! — вытянул руку Ипполит.

— Тогда мне туда! — И Лукашин вытянул руку в противоположном направлении.

— Это естественно, что нам не по пути! — сказал Ипполит и зашагал.

Лукашин тоже зашагал, хотя понятия не имел, куда он идет.

Он дошел до конца улицы, свернул налево, прошел еще немного и остановился в задумчивости.

А Надя в это время заканчивала телефонный разговор с подругой:

— Я сейчас к вам приду... Да нет... Ничего у нас не случилось... Потом расскажу... Ну, тогда... тогда вы заходите за мной...

А Лукашин постоял немножко на снежном перекрестке. Потом какая-то мысль пришла ему в голову. Если бы мы могли читать чужие мысли, то узнали бы, что Лукашин подумал: «А вдруг Ипполит меня перехитрил и уже вернулся?»

И Лукашин резво побежал обратно.

Когда он подбегал к дому № 25, то увидел, что с другой стороны к нему бежал Ипполит, которому, очевидно, пришла в голову точно такая же мысль, как и Лукашину.

— Так! — сказал один.

— Та-ак! — протянул другой.

— Но вас же выгнали! — напомнил Лукашин.

— Нас выгнали обоих! — уточнил Ипполит.

— Это тоже правда! — не стал возражать Лукашин.

Они постояли.

— Будем долго стоять. У меня до самолета уйма времени.

— А у меня вообще выходной день!

— Холодно! — первым признался Лукашин.

— Да, прохладно, а бельишко, как я успел заметить, у вас не по сезону! — поддакнул Ипполит.

— А у вас ботиночки на тонкой подошве! — не остался в долгу Лукашин.

— Схватите воспаление легких, а там, глядишь, и летальный исход, — пугал соперника Ипполит.

— Мы погибнем рядом! — стоял насмерть Лукашин.

— Я погибать не собираюсь! Я могу и в машине посидеть!

Они замерзали, но никто из них не сдавал позиций. Соперники брали друг друга на измор. Вдруг Ипполит иронически усмехнулся.

— О чем вы подумали? — тотчас отреагировал Лукашин.

— Не собираюсь перед вами отчитываться!

— У вас на лице написано — вы думаете обо мне!

— О вас, искатель приключений! — с насмешкой сказал. Ипполит. — Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, верят не в разум, а в порыв. Вы — угроза для общества!

Лукашин пританцовывал, пытаясь спастись от холода.

— Весьма лестный отзыв!

— Я жду вашего ответа! — сказал Ипполит. — Откровенность за откровенность.

— Пожалуйста! Такие, как вы, всегда правы. Вы живете как положено, как предписано, но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверенную схему! — Лукашин неожиданно прервал дидактический монолог и заорал: — Ура!

— Чего — ура? — подозрительно спросил Ипполит.

— Я возвращаюсь. У меня уважительная причина. Я портфель забыл! — с торжеством ответил Лукашин.

— Вы это сделали нарочно!

— Тогда зачем я здесь мерз столько времени? — На этот раз логика явно была на стороне Лукашина.

— Я вам вынесу портфель! — нашелся Ипполит.

— Не доверяю! — Лукашин уже шел к дому. — В портфеле ценный веник!

— Скажите, — Ипполит не отставал от Лукашина, — зачем вы пошли в баню? Что у вас, дома ванной нету?

— Вам этого не понять! — отрезал Лукашин.

Конкуренты вошли в подъезд. В это время у Нади позвонил телефон. Надя сняла трубку.

— Алло? Москва?..

— Позовите, пожалуйста, Лукашина, — попросил женский голос.

— Это Галя? А Женя уже ушел на аэродром, — сообщила Надя.

— Кто вы такая? — с вызовом поинтересовалась Галя.

— Случайная знакомая! — ответила Надя.

— А как он оказался у вас в квартире?

— Сейчас я вам все объясню. — И, подражая Лукашину, Надя начала с самого начала: — Женя вчера пошел в баню...

— В какую баню? — переспросила Галя. — У него дома есть ванная!..

На лестничной площадке появились Лукашин и Ипполит.

Ипполит поднял руку к звонку, но позвонить не решился...

В телефонной беседе с Галей Надя искренне старалась быть убедительной.

— Это у них такая традиция. Женя и его школьные друзья каждый год тридцать первого декабря ходят в баню.

— Откуда вы это знаете? Значит, вы знакомы много лет?

— Нет, мы познакомились несколько часов назад. Вы поймите, мой адрес такой же, как у него в Москве: Третья улица Строителей, 25, квартира 12. Он пришел, ко мне, как к себе домой...

Галя не верила ни единому слову:

— Я все поняла. Вы даже знаете его московский адрес...

Ипполит и Лукашин по-прежнему торчали у дверей Надиной квартиры. Лукашин протянул сопернику брелок с двумя ключами. Ипполит попытался открыть верхний замок, но безуспешно.

— Вы не волнуйтесь! — посочувствовал москвич.

— Прошу не указывать! — отбрил его ленинградец.

— Хотите, я вам помогу? — вкрадчиво предложил Евгений.

— Нет, не хочу, — наотрез отказался Ипполит.

Лукашин отобрал ключ и вставил его в нижнюю замочную скважину.

— Все очень просто! — сказал Лукашин и, распахнув дверь, пропустил вперед Ипполита. — Пожалуйста!

А тот презрительно усмехнулся.

— Сразу видно, что вы профессиональный жулик!

Оба шагнули вперед, переступая порог, и оба одновременно услышали, что Надя говорит по телефону. И оба, услышав, что именно говорит Надя, замерли.

— Галя... Галя... — торопливо говорила Надя. — Только не вешайте трубку. Вы ничего не поняли... Ваш Женя славный, добрый... Он ни в чем не виноват... И я вам немного завидую... Вы знаете, он мне очень понравился... Простите его...

При этих словах Ипполит с ненавистью взглянул на соперника и в бешенстве скатился по лестнице. Лукашин проводил его взглядом, облегченно перевел дух и, не желая подслушивать разговор, остался на лестничной площадке.

— Почему вы его защищаете? — спрашивала Галя. — Вы замужем?

— Какое это имеет значение? — уклонилась от ответа Надя.

— Значит, не замужем... — с чисто женской мудростью заключила Галя. — И он улетел в Ленинград встречать с вами Новый год.

— Все было не так, — волновалась Надя. — Вчера Женя вместе с друзьями пошел в баню и там...

— Мне надоело слушать про баню, — перебила Галя и добавила неожиданно: — Сколько вам лет?

— Много... — после паузы тихо ответила Надя.

— Последний шанс?

— Как вам не стыдно!

— Это мне-то стыдно? Я у вас жениха не крада!

— Вы все неправильно понимаете...

— Вы хищница! Но все равно у вас ничего не выйдет! В последний момент он все равно сбежит...

Галя повесила трубку. Машинально Надя еще сказала: «Алло... Алло», потом она положила трубку на рычаг.

Лукашин снова отпер дверь, прислушался — телефонный разговор вроде бы закончился.

— Можно? — спросил Лукашин. — Извините... Я забыл портфель.

— Вам Галя звонила...

— Откуда она узнала номер? — притворно удивился Лукашин. — Ну да, я же ей сам сообщил... И потом, у вас легкий номер...

— Я ей пыталась все объяснить, но она не поверила... Я ей сказала, что вы уехали на аэродром.

— Большое спасибо! — поблагодарил Лукашин и, помолчав, робко проговорил: — Ну, я пошел!

Надя не оправдала надежд Лукашина, потому что ответила:

— Счастливого пути!

Лукашин мялся, не зная, что бы еще сказать:

— Большое спасибо...

— Не за что... — кивнула Надя.

— Ну, я пошел! — Словарь Лукашина не блистал многообразием.

— А как вы будете добираться до аэродрома? — Этим Надя вроде бы выводила Лукашина из тупика. — Автобусы еще не ходят...

— Сам не знаю... — ответил Лукашин. — Как-нибудь.

И Надя совершенно неожиданно резко бросила:

— Ну, идите!

Не будучи знатоком капризной женской души, Лукашин покорно двинулся к двери.

— Так я, значит, пошел... Я вам только хотел сказать...

— Что? — быстро спросила Надя.

— Можно, я вам как-нибудь позвоню?

— Вы помните телефон?

— 14-50-30!

— Позвоните! — разрешила Надя.

— Большое спасибо. — Лукашин еще сделал шаг к двери. — Простите за вторжение!

— С Новым годом! — в голосе Нади едва-едва прозвучал оттенок горечи, но Лукашин его не уловил:

— Спасибо! Вас тоже!

Он уже взялся за ручку двери, и Надя, отчетливо видя, что этот недотепа сейчас действительно уйдет, вскрикнула:

— Что вы делаете?!

— Ухожу!

— Но вы же... вы же ищете предлог, чтобы отстаться!

— Ищу, но не нашел!

— А я... — призналась в ответ Надя, — не могу найти предлог, что бы задержать вас!

— Правда?.. — радостно засуетился Лукашин. — Тогда я сниму пальто и задержусь!

Оба испытывали неловкость, не знали, о чем говорить, и, как водится в подобных случаях, не смели взглянуть друг на друга. Надя села в одном углу комнаты, а Лукашин присел на краешек тахты в другом. Пауза затягивалась. Становилась невыносимо долгой. Тогда Лукашин встал и, вопросительно взглянув на Надю, снял со стены гитару.

— Давайте я вам что-нибудь спою? — предложил Лукашин.

— Потому что молчание слишком затянулось?

— Может быть, поэтому. Вообще-то я не очень хорошо пою, но люблю...

И Лукашин запел задорную песенку:

— Если у вас нету тети,  
То вам ее не потерять...



Если у вас нету дома,  
Пожары ему не страшны.  
И жена не уйдет к другому,  
Если у вас нет жены.

Если у вас нет собаки,  
Ее не обидит сосед.  
И с другом не будет драки,  
Если у вас друга нет.

Если у вас нету тети,  
То вам ее не потерять,  
А если вы не живете,  
То вам и не умирать...

Оркестр гремит басами.  
Трубач выдувает медь.  
Думайте сами, решайте сами —  
Иметь или не иметь?!<sup>1</sup>

— Проблемная песня... — усмехнулась Надя.

— А я ведь гитару-то взял не зря. Теперь вы, как радушная хозяйка, должны оплатить мне тем же... Спойте, пожалуйста. — И Лукашин протянул Наде гитару.

Надя взяла гитару, но петь не собиралась.

— Вам же не нравится, как я пою...

— Нравится... я врал... я вру...

— Всегда?

— Почти! — улыбнулся Лукашин и подошел к портрету Нади, который стоял за стеклом книжного шкафа рядом с фотографией Ипполита.

— У вас хорошая фотография!

— Обычно на фотографиях я получаюсь скверно, но эта мне тоже нравится... Хотя ей уже десять лет...

— Вы несколько не изменились, — галантно заявил Лукашин.

— Опять врете?

— Почти нет...

— А вы где работаете? — спросила Надя.

— В районной поликлинике. Принимаю больных. Иногда по тридцать человек в день.

<sup>1</sup> Стихотворение Александра Аронова.

— Надоедает?

— Конечно, — согласился Лукашин. — Но что же делать? Они ведь больные. Их надо лечить.

— Ладно. Уж так и быть, спою вам, — вдруг согласилась Надя. — Хотя вы этого не заслуживаете.

И она негромко запела на прекрасные цветаевские слова:

Мне нравится, что вы больны не мной.  
 Мне нравится, что я больна не вами,  
 Что никогда тяжелый шар земной  
 Не уплывет под нашими ногами.  
 Мне нравится, что можно быть смешной,  
 Распущенной и не играть словами,  
 И не краснеть удушливой волной,  
 Слегка соприкоснувшись рукавами.

Спасибо вам и сердцем, и рукой  
 За то, что вы меня — не зная сами! —  
 Так любите: за мой ночной покой,  
 За редкость встреч закатными часами,  
 За наши негулянья под луной,  
 За солнце не у нас над головами,  
 За то, что вы больны — увы! — не мной,  
 За то, что я больна — увы! — не вами...<sup>1</sup>

Когда Надя закончила петь, Лукашин сказал неожиданно:

— Надя, у меня к вам просьба... Может быть, дерзкая...

— Какая?

— Вы не обидитесь?

— Постараюсь.

— И не прогоните меня?

— Если я до сих пор этого не сделала... Вы хотите, чтоб я еще спела? — улыбнулась Надя.

— Нет... Надя, можно, я выну из шкафа фотографию Ипполита и порву ее?

— Нет, нельзя... — холодно отказала Надя.

— Неужели вы огорчены, что Ипполит ушел? — Голос Лукашина звучал подавленно.

<sup>1</sup> Стихотворение Марины Цветаевой.

— Зачем вам это знать?

— Нужно.

— Огорчена, — с вызовом ответила Надя. — Да!

— Вы в этом уверены?

Надя промолчала...

— Сколько вам, тридцать два? — бестактно спросил Лукашин.

— Тридцать четыре...

— Тридцать четыре... — задумчиво повторил Лукашин. — А семьи все нет, ну не складывалось. Бывает. Не повезло. И вдруг появляется Ипполит, положительный, серьезный. С ним спокойно, надежно. За ним как за каменной стеной. Он ведь, наверно, выгодный жених. Машина, квартира. Подруги советуют: смотри, не упusti...

— А вы, оказывается, жестокий!..

— Хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом они чувствовали себя хорошо.

— А вы жалеете своих больных?

— Конечно... — пожал плечами Лукашин.

— А я себя тоже иногда жалею, — грустно улыбнулась Надя. — Приду домой вечером, сяду в кресло и начинаю себя жалеть. Но это со мной редко бывает...

— И вы ни разу не были замужем?

— Была. Наполовину.

— То есть как? — Лукашин даже растерялся. — На какую половину?

— А так... Встречались два раза в неделю... В течение десяти лет... С той поры я не люблю суббот и воскресений. И праздников тоже. На праздники я всегда оставалась одна.

— Он был женат? — догадался Лукашин.

— Он и сейчас женат.

— И вы, — с видимым усилием спросил Лукашин, — его до сих пор любите?

— Нет! — твердо ответила Надя. Уловила пристальный взгляд Лукашина, улыбнулась: — Нет! Давайте лучше пить кофе!

— А я у женщин успехом не пользовался, еще со школьной скамьи! — Лукашин пришел в хорошее расположение духа. — Была у нас в классе девочка. Ира, — ничего особенного... но что-то в ней было. Я в нее еще в восьмом классе... как говорили... втюрился. А она не об-

ращала на меня ну никакого внимания. Потом, уже после школы, она вышла за Павла...

— С которым вы пошли в баню и вместо которого улетели в Ленинград? — уточнила Надя.

— За него, родимого... — подтвердил Лукашин. — Меня, конечно, пригласили на свадьбу. Я сильно переживал, встал и сказал тост: «Желаю тебе, Ира, поскорей уйти от Павла ко мне. Я тебя буду ждать!» Со свадьбы меня, конечно, вытурили. Был большой скандал!

— А теперь вы с Павлом близкие друзья?

— Почему теперь? всю жизнь. Он же не виноват, что она его выбрала. Именно к ней он должен был прилететь в Ленинград встречать Новый год. Она здесь в командировке.

— Бедная Ира! Значит, она тоже пострадала!

— Почему тоже? — обиделся Лукашин. — Я себя, например, не чувствую пострадавшим! — И, улыбнувшись, добавил: — И с удовольствием пойду варить кофе...

— Почему вы? — удивилась Надя.

— Поете вы на самом деле славно! — озорно констатировал Лукашин. — А вот готовить совершенно не умеете! Ваша заливная рыба — это не рыба... Стрихнин просто!..

— Но вы же меня хвалили! — ахнула Надя.

— Я подхалимничал...

— Вы не слишком вежливы... — нахмурилась хозяйка. Ведь каждая женщина убеждена, что именно она готовит превосходно.

— Ваша заливная рыба — это не рыба... Стрихнин просто!..  
— Но вы же меня хвалили! — ахнула Надя.  
— Я подхалимничал...



— Это правда, — согласился Лукашин. — Я вообще себя не узнаю. Дома меня всю жизнь считали стеснительным. Мама всегда говорила, что на мне ездят все кому не лень, а приятели прозвали тюфяком.

— По-моему, они вам льстили! — сухо добавила Надя.

— Я сам был о себе такого же мнения...

— Вы явно скромничали, — насмешливо добавила Надя.

— А теперь я чувствую себя другим, более...

— Наглым! — саркастически вставила Надя.

— Зачем же так? — огорчился Лукашин. — Нет, смелым... Более...

— Бесцеремонным! — с той же издевкой вновь подсказала Надя.

— Нет, решительным! Более...

— Развязным! — продолжала суфлировать Надя.

— Нет, не угадали! Я чувствую себя человеком, который может всего достигнуть! Понимаете, во мне дремала какая-то сила, а теперь вот пробуждается. Это, наверное, оттого, что я встретился с вами. Благодаря вам во мне проявился мой подлинный характер, о котором я и не подозревал.

Надя от изумления всплеснула руками:

— Вы соображаете, что говорите?! Значит, это я сделала из вас хама?!

Лукашин зашелся от восторга:

— Меня никто и никогда так не обзывал! Надя, я счастлив!

И тут раздался звонок в дверь.

— Ну и настырный же он! — расвирепел Лукашин. — Я не знаю, что с ним сейчас сделаю!

Он решительно направился к двери, но Надя оттолкнула его:

— Не смейте! Я сама!

Надя вышла в коридор и резко распахнула входную дверь. На пороге стояли Валентина и Татьяна. Как и договорились по телефону, они зашли за Надей.

— Идем ночевать ко мне! — предложила Валентина. — Надька, что случилось? Он хулиганил, да?

— Вы поспорились? — спросила Татьяна.

— Он женат? — продолжала Валентина. — Я его сразу раскусила!

— У него ребенок! — высказала догадку Татьяна.

Услышав женские голоса, Лукашин подошел к шкафу, где красовалась фотография Ипполита, сокрушенно развел руками, как бы извиняясь перед соперником, и повалил карточку лицом вниз. После содеянного Лукашин решительно появился в прихожей:

— Зачем вы пришли? Кто вас звал? Уходите, пожалуйста!

— Вы что, с ума сошли! — возмутилась Надя.

Гости растерялись от подобного приема.

— Но Надя сама просила... — начала заикаться Татьяна.

— Надю я не отпущу! — решительно объявил Лукашин.

— По какому праву вы здесь хозяйничаете? — Надя тоже опешила.

Ответ Лукашина прозвучал нахально, главное, правдиво и убедительно:

— Потому что я — Ипполит!

Надя захохотала.

— Что это вы смеетесь? — поинтересовался Лукашин.

— Потому что ты врешь! — ответила Надя, даже не заметив, что перешла на «ты». — Девочки! — обратилась она к подругам. — В прошлый раз я постеснялась вам сказать...

— Говори, говори! — угрожающе посоветовал Лукашин.

— Это не Ипполит! — продолжала с отчаянием Надя. — Это совсем незнакомый мужчина. Я даже не знаю его фамилии.

— Не верьте ей! — вмешался Лукашин. — Я Ипполит. Надя не стала бы проводить ночь с незнакомым мужчиной.

— Я вам все объясню, девочки! — Надя не знала, как выпутаться. — Когда я вечером пришла домой...

— Ты им Расскажи про мою баню! — перебил Лукашин. — И тогда тебе сразу поверят!



— Когда я вечером пришла домой, то увидела... — продолжала выкручиваться Надя.

— Расскажи им, что я лежал в твоей постели, — посоветовал Лукашин.

— Пожалуй, мы пойдем! — смущенно сказала Валентина.

— Женя, — вспылила Надя, — немедленно прекрати балаган!

— Какой Женя? — вспылil Лукашин. — Вы Женю привели? Развод!

— Сейчас я его поколочу! — Надя явно собиралась выполнить свое намерение, но подруги силой удержали ее.

— Лучше это сделать, — сказала Татьяна, — после нашего ухода.

— Тогда вы не уходите! — попросил Лукашин.

— Я ему задам! — не унималась Надя.

— Девочки, побудьте еще немного. Давайте выпьем по рюмочке. Все-таки Новый год! — Лукашин подталкивал подруг к праздничному столу. Проворно разлил вино по бокалам.

— За дружбу! — Татьяна, видимо, хотела примирить «молодых».

— Какая там дружба! — посетовал Лукашин. — Она меня всю ночь по полу валяла.

Валентина поспешно произнесла тост:

— Дорогие Надя и Ипполит!

— Но он не Ипполит! — устало перебила Надя.

— Надя, это уже неостроумно! — вмешалась Татьяна.

— Конечно, неостроумно! — Лукашин победоносно поглядел на Надю.

— Я поднимаю этот бокал, — продолжала Валентина, — за то, чтобы в Новом году вы уже не ссорились!

— Мы больше не будем! — охотно согласился Лукашин.

— Девочки, я уйду вместе с вами! — сказала Надя.

— Не болтай глупостей! — грубо, как муж, крикнул Лукашин. — Почему вы на этот раз не кричите «горько»?

Надя онемела от его неслыханной дерзости.

— Если вы просите... Горько! — неуверенно пролепетала Валентина.

— Горько, горько! — поддержала Татьяна.

Надя стала отступать:

— Я не буду с ним целоваться!

Лукашин, приближаясь к Наде, объяснил свое поведение:

— Народ требует!

— Женя, не прикасайся ко мне!

— Я не Женя! Я — Ипполит!

Преодолев Надино сопротивление, Лукашин обнял ее. Долгий поцелуй. Такой долгий-предолгий, что подруги успели деликатно удалиться. В дверях Татьяна обернулась, чтобы еще раз посмотреть любовную сцену, но Валентина силой вытащила ее на лестницу.

Наконец Лукашин и Надя смущенно отошли друг от друга.

— А где Татьяна и Валя? — не зная, как себя вести, спросила Надя.

— Мне очень нравятся твои подруги... — переводя дыхание после поцелуя, ответил Лукашин.

— Разве мы перешли на «ты»? — удивилась Надя.

— Давным-давно! — ответил Лукашин. — Разве ты не заметила?

И здесь снова раздался звонок в дверь.

— Это не квартира, а проходной двор! — Лукашин в гневе бросился открывать. — Кто бы ни был, убью!..

В квартиру ворвалась шумная молодая компания.

— Синицыны здесь живут?

— Минуточку. Надя! — крикнул Лукашин. — Как твоя фамилия?

— Шевелева! — отозвалась Надя.

— Нет, не здесь. Увы... — развел руками Лукашин. — Мы — Шевелевы!

— Будем звонить во все квартиры подряд! — предложила девушка, а парень с аккордеоном заиграл браваурное вступление.

— А как твоя фамилия? — поинтересовалась Надя после того, как компания удалась.

— Лукашин.

— А отчество?

— Михайлович.

— Евгений Михайлович Лукашин, — озорно поклонилась Надя, — весьма приятно познакомиться.

Ничего не сказав, Лукашин подошел к телефону и снял трубку.

— Куда ты собираешься звонить? — удивилась Надя.

Лукашин набрал номер:

— Хочу узнать, когда уходит второй самолет...

— Почему ты решил отложить отъезд?

— Не хочу уезжать, и все! Алло, аэропорт, скажите, пожалуйста, когда уходит самолет на Москву, нет, первый я знаю... а второй... а третий? а четвертый?.. Безобразие! — Лукашин в сердцах кинул трубку: — Просто черт знает что! Они уходят через каждые полчаса! — Он прошелся по комнате. — Я вообще ничего не понимаю.

— Ты о чем? — Надя, увидев, что фотография Ипполита валяется на пустой полке, водворила ее на законное место.

— А почему я должен улететь утром? Мне на работу второго, днем мы погуляем, ходим в Эрмитаж... А вечером я улечу или уеду поездом.

— Ты ведешь себя бесцеремонно! — сделала выговор Надя. — По-моему, я тебя не приглашала.

— Так в чем же дело? Пригласи! — посоветовал Лукашин.

— Зачем? — совершенно серьезно спросила Надя.

Вместо ответа Лукашин подошел к шкафу, отодвинул стекло и взял фотографию Ипполита.

— Я не могу так разговаривать! У меня ощущение, будто нас трое!

— Не смей трогать Ипполита!

— Я не сделаю ему ничего плохого! Я засуну его между книгами! — И Лукашин исполнил угрозу.

Надя достала фотографию и вернула ее в исходное положение.

— Хорошо, — согласился Лукашин, — давай оставим его здесь, только повернем лицом к стене. Главное, чтоб его не было видно!

Лукашин перевернул фотографию, Надя тотчас же возвратила ее на прежнюю позицию.

— Оставь Ипполита в покое! — прикрикнула Надя.

— Почему ты за него заступаешься? — запальчиво ответил Лукашин. Оба говорили о фотографии, как о живом человеке. — Он дорог тебе как память?

— Тебя не касается! — отрезала Надя.

Лукашин случайно перевернул фотографию и увидел надпись: «Любимой Наденьке». Семейная надпись просто взбесила Лукашина:

— Ну это уже чересчур! Это... это переходит все границы!..

Лукашин открыл форточку.

— Что ты собираешься делать? — насторожилась Надя.

— Пусть подышит свежим воздухом, ему полезно! — Лукашин привел приговор в исполнение, выбросил фотографию за окно.

Фотография покружилась в воздухе и плавно опустилась на сугроб.

— Пойди и подними Ипполита! — приказала Надя.

— И не подумаю! — Лукашин уселся в кресло и блаженно вытянул ноги.

— Я тебе повторяю... — ледяным голосом продолжала Надя.

— Надя, не утруждай себя! Я этого не сделаю!

— Знаешь, лети-ка ты первым самолетом! — Надя была не на шутку разозлена. Выбросив снимок, Лукашин явно хватил через край.

— И улечу! — Лукашин взял с буфета электробритву и добавил: — Сейчас вот побреюсь, и ноги моей здесь больше не будет!

Лукашин достал электробритву из футляра и включил в штепсель.

— Здесь тебе не парикмахерская! — Надя немедленно выдернула вилку из штепселя.

Лукашин вновь хладнокровно включил ее:

— Не могу же я прилететь к невесте небритым!

— Да, совсем забыла, что у тебя была невеста! — издевательски воскликнула Надя.



Раздался звонок в дверь.

— Беги, открывай! — посоветовал Лукашин, продолжая бриться. — Это наверняка Ипполит. Что-то его давно не было!

Надя вышла в коридор и отперла дверь. Лукашин угадал. Это действительно явился Ипполит. Не говоря Наде ни слова, он направился в комнату, чтобы проверить, здесь ли еще его противник. Лукашин спокойно брился, делая вид, будто не замечает прихода Ипполита.

— Ах, он уже бреется моей бритвой! — вырвалось у Ипполита. Он круто повернулся и стремительно выскочил из квартиры, больше ничего не сказав. Резко стрельнула входная дверь.

Уход Ипполита снова привел Лукашина в отличное расположение духа.

Он закончил бриться и аккуратно уложил бритву в футляр.

— Это прекрасно! На этот раз он ушел навсегда! — И вдруг нахмурился. — А почему здесь находится его бритва?

— Ты летишь к своей невесте, ну и лети! — парировала Надя. — А это бритва моего жениха!

— Бывшего жениха! — уточнил Лукашин. — Был Ипполит да сплыл! И забудь про него! А ежели он посмеет явиться еще раз, я спущу его с лестницы.

Надя опять вспыхнула:

— По какому праву ты со мной так разговариваешь? Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Тебе давно пора на аэродром!

— Мой поезд уходит поздно вечером! — Лукашин нахально направился к тахте, сбросил туфли и лег.

— Тогда уйду я! — пригрозила Надя.

— Это хорошая мысль. Иди погуляй, я отдохну! — Лукашин прикрыл глаза. — Я устал.

— Я вернусь с милиционером!

— Тогда приводи все отделение!

— Подай мне пальто! — Надя на самом деле решила уйти.

— С удовольствием, — сквозь зубы сказал Лукашин. Он вздохнул, лениво поднялся, вышел в коридор,

снял с вешалки Надину шубку и подал с подчеркнутой любезностью. — Пожалуйста! Все?

— Обожди! — Надя показала на сапог. — Застегни!..

— С удовольствием! — Лукашин послушно нагнулся и застегнул «молнию». — Спасибо за доверие!

Надя показала на другой сапог.

— А теперь второй!

— Я мечтал об этом всю сознательную жизнь! —

Лукаш с удовольствием выполнил и это ответственное поручение. Потом он нежно прижался щекой к Надиному сапогу.

Надя понимала, что весь ее уход, в сущности, нелеп, но хотела, чтобы последнее слово осталось за ней:

— Только не вздумай обчистить квартиру! Учти, что я знаю твой московский адрес!

Лукашин беззаботно рассмеялся. Надя ушла, хлопнув дверью. Лукашин остался в квартире один. Озираясь, он вернулся в комнату, подкрался к книжному шкафу, отодвинул стекло и достал фотографию Нади...

Оказавшись на улице, Надя остановилась, не зная, что делать дальше. Потом подошла к сугробу, подобрала портрет Ипполита и спрятала в сумочку.

Мимо шло такси. Зеленый огонек свидетельствовал, что оно свободно.

Надя кинулась чуть ли не наперерез.

Водитель притормозил:

— Не на стоянке мы не берем!

— С Новым годом! — просительно сказала Надя.

— Ну ладно! — согласился водитель. — Садитесь, только быстро!

Надя села в машину.

— Куда ехать? — спросил водитель.

— Понятия не имею! — ответила пассажирка.

Водитель ахнул и отворил дверь:

— Вылезайте!

— Нет-нет! — покрутила головой Надя. — У меня появилась идея, поехали на Московский вокзал.

В квартире Нади открылась дверь, и в переднюю вошла Надина мама Ольга Николаевна. Лукашин тор-

жествуяще улыбнулся. Он был уверен, что возвратилась Надя.

— Кто там?

Ответа не последовало. Лукашин воровски спрятал фотографию Нади в карман пиджака и оцепенел.

В дверях стояла Ольга Николаевна и с ужасом смотрела на незнакомца.

— Ой, извините! — вскочил Лукашин, поспешно надел пиджак и туфли. — Извините, — повторил он.

— Кто ты? — в упор спросила Ольга Николаевна.

— А вы? — ответил вопросом на вопрос Лукашин. — Впрочем, я догадываюсь... — Он сделал было шаг навстречу. — Я очень рад...

— Не приближайся ко мне, я закричу! — остановила Лукашина Ольга Николаевна.

Лукашин покорно замер.

— Сейчас я вам все объясню... — И Лукашин снова хотел двинуться вперед...

— Стой, не двигайся!

— Вы меня не бойтесь! — попросил Лукашин.

— Ты зачем к нам влез? — строго спросила Надина мама, видимо, принимая Лукашина за вора.

Лукашин вздохнул и привычно начал:

— Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню...

— Ты мне не заливай! — перебила Ольга Николаевна. — Ты не смотри, что я старуха. Я тебе улизнуть не дам!

— А я и не собираюсь! Мне и здесь хорошо!

— Давай выворачивай карманы! — потребовала Ольга Николаевна. Видно было, что характер у нее крепкий.

Лукашин заискивающе улыбнулся и выложил на стол деньги, взятые у Нади на билет:

— Вот, всего-навсего нагребил пятнадцать рублей!

— Не густо! — оценила мама. — Положи их на стол. Больше ничего не стащил?

— Не успел.

— С виду ты приличный человек! — покачала головой Ольга Николаевна. — Не скажешь, что граби-

тель. Как тебе не стыдно в Новый год квартиры чистить. У людей праздник, а ты... бессовестный...

Лукашин честно искал пути к примирению:

— Как вас зовут?

Но получил достойный ответ:

— Тебе-то какое дело?

— Вы выслушайте меня. Я вам все-таки объясню! 31 декабря мы с приятелями ходим в баню... — При этих словах Лукашин нарушил обещание и сделал шаг вперед.

— Караул! — закричала Ольга Николаевна. — Бандиты!

Лукашин замер на месте и испуганно залепетал:

— Я вас умоляю, не кричите, пожалуйста!

— А ты не двигайся, с места не сходи! — совершенно спокойно ответствовала Ольга Николаевна. — Вот сейчас Надя с Ипполитом вернутся, мы тебя арестуем!

— Ипполит не вернется! — усмехнулся Лукашин.

— Почему? — растерялась хозяйка дома.

— С ним я расправился самым решительным образом с помощью бритвы!

Реакция Ольги Николаевны оказалась для Лукашина неожиданной. Пожилая женщина сразу как-то обмякла и принялась медленно сползать по стене, явно теряя сознание. Лукашин успел ее подхватить, подтащить к дивану и уложить.

— Вы не волнуйтесь! — успокоил Лукашин. — Бритва была электрической.

Ольга Николаевна с трудом перевела дыхание:

— Сбегай в соседнюю комнату, там на полочке лекарство в желтом пузырьке и рядом стаканчик. Накапай мне тридцать капель!

— Валокордин? — спросил Лукашин, спеша за лекарством.

— Смотри какой образованный! — удивилась Ольга Николаевна. Она села, пригладила волосы.

Вернулся Лукашин. Ольга Николаевна взяла из его рук стаканчик и выпила жидкость, отдающую мятой.

Лукашин мягко взял руку Ольги Николаевны, сжал у запястья и посчитал пульс:

— Кардиограмму вам делали?

— У меня... — вспомнила Ольга Николаевна. — Сдвиг влево...

— Ерунда. Это возрастное, почти у всех. Давление как?

— Сто семьдесят на сто.

— Резерпин принимаете?

— Откуда ты про все это знаешь? — удивилась Ольга Николаевна.

— Я врач.

Ольга Николаевна покачала головой:

— И такими делами промышляешь! Тебе на жизнь, что ли, не хватает?

Лукашин порылся в кармане, нашел бланк со штампом поликлиники и уселся за стол.

— Сейчас я выпишу вам новое средство против гипертонии!

Воспользовавшись тем, что Лукашин уселся за стол и писал, не обращая на нее внимания, Ольга Николаевна осторожно поднялась с тахты, прокралась к двери:

— Хоть ты и вор, а заботливый!

Ольга Николаевна выскочила в прихожую и заперла дверь на ключ.

Услышав звук запираемого замка, Лукашин обернулся:

— Зачем вы это сделали? — Он подошел к двери, просунул под нее рецепт: — Возьмите, пусть вам Надя потом это в аптеке обязательно закажет!

— Ты давно Надю знаешь? — То, что Лукашин назвал имя дочери, озадачило Ольгу Николаевну. Лукашин принялся подсчитывать:

— Сейчас семь... Я появился у вас в доме вчера около одиннадцати... Значит, мы знаем друг друга приблизительно восемь часов.

— И ты всю ночь здесь околачиваешься?

— Всю ночь! — Лукашин взял гитару и начал перебирать струны.

— Что же Надя тебя не выставила? — спросила Ольга Николаевна.

— Наверное, не хотела... Не хотела, наверное...

В это время такси свернуло с Невского к Московскому вокзалу. Надя расплатилась и вышла из машины.

И, как бы вторя Надиным шагам, послышалась песня. Ее напевал пленный Лукашин, которого сторожила Надина мама.

— Я спросил у ясеня, где моя любимая?  
Ясень не ответил мне, качая головой.  
Я спросил у тополя, где моя любимая?  
Тополь забросал меня осеннею листвою...

В здании вокзала Надя подошла к дежурной кассе, которая была открыта круглую ночь. У окошечка стояли два человека. Надя обождала немного, купила билет до Москвы, а потом через зал ожидания вышла на привокзальную площадь.

— Я просил у осени, где моя любимая?  
Осень мне ответила проливным дождем.  
У дождя я спрашивал, где моя любимая?  
Долго дождик слезы лил за моим окном...

Надя неторопливо шла по ночному городу. На площадях сверкали цветными огнями новогодние елки. Шумные, веселые толпы вываливались из подъездов и заполняли улицы. Начал падать снег. Надя одиноко брела по заснеженным проспектам.

— Я спросил у месяца, где моя любимая?  
Месяц скрылся в облаке, не ответил мне...  
Я спросил у облака, где моя любимая?  
Облако растаяло в небесной синеве...

Небо слегка посветлело, когда Надя вернулась к дому.

Она подняла голову, взглянула на свое окно, ярко освещенное, и вбежала в подъезд.

— Друг ты мой единственный! Где моя любимая?  
Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она?  
Друг ответил преданный, друг ответил искренний:  
Была тебе любимая, а стала мне жена!<sup>1</sup>

На последних словах песни входная дверь отворилась — Надя вошла в квартиру.

Мама Нади Ольга Николаевна за дверью ка- раулит «жулика»

→

<sup>1</sup> Стихи В. Киршона.





— Мама! — удивленно спросила Надя. — Почему ты сидишь в коридоре?

— Сторожу преступника! — гордо ответила мать. — А он меня песнями развлекает.

— Преступник — это я! — подал голос Лукашин. Надя устало сняла шубку.

— Мама, давай отпустим его на свободу!

Ольга Николаевна слезла со стула и отодвинула его, позволяя Наде пройти в комнату.

— Замерзла? — заботливо спросил Лукашин.

— Нет, я на такси ездила!

Ольга Николаевна внимательно следила за происходящим.

— Куда ты ездила? — настороженно спросил Лукашин.

Надя раскрыла сумочку:

— Достала тебе билет на утренний поезд!

— Большое тебе спасибо! — Лукашин взял билет и поглядел на свет, изучая цифры компостера. — Ты правильно поступила! Ты меня выручила! Я бесконечно тронут! Я тебе несказанно признателен! Ты избавила меня от нудного стояния в очереди! Нижняя полка! У меня нет слов! И хотя у меня небольшая зарплата...

Тут Лукашин открыл форточку и... выбросил билет.

Ольга Николаевна мгновенно оценила ситуацию:

— Пойду-ка я к Любе продолжать встречать Новый год!

— Огромное вам спасибо! — поблагодарил Лукашин. Вспомнил вчерашнюю сцену у себя в московской квартире и добавил: — Вы замечательная мама!

Уже уходя, Ольга Николаевна пошутила:

— Смотри, Надежда, чтобы к моему возвращению здесь не завелся кто-нибудь третий!

— Не беспокойтесь! — твердо пообещал Лукашин. — Я этого не допущу!

Ольга Николаевна улыбнулась и ушла.

— Если ты помнишь, я обещала тебе вернуться с фотографией Ипполита! — Надя достала ее из сумки и водрузила на прежнее место.

Лукашин немедленно схватил фотографию и... разорвал ее.

— Я бесконечно тронут! Я тебе несказанно признателен! Ты избавила меня от нудного стояния в очереди!

Артисты —  
Барбара  
Брыльска,  
Любовь Соколова  
и Андрей Мягков  
←

— Ай-яй-яй! — приговаривал он при этом. —  
Какая жалость! Какой ужас! Какие мелкие кусочки!

— Ты авантюрист! — в бешенстве закричала Надя.

— Конечно... — улыбнулся Лукашин.

— Бандит! — негодовала Надя.

— Конечно... — И Лукашин попытался обнять

Надю.

Надя забарабанила по его груди кулаками.

— Ты бесстыжий нахал! — сопротивлялась Надя.

— Конечно! — согласился Лукашин.

— Варвар! — Ярость Нади вдруг куда-то улету-  
чилась.

— Ну конечно! — Лукашин прижимал Надю к себе.

— Ты алкоголик! — слабея, проговорила Надя.

— Ну конечно! — шел к цели Лукашин.

— Ты обалдуй! — ласково сказала Надя.

— Да-да-да... — балдея от близости любимой,

пробормотал он.

— Ты знаешь кто? — прошептала Надя.

Но Лукашин уже целовал ее.

И сразу, как нарочно, раздался звонок в дверь.

— Не будем открывать! — попросил Лукашин. —

Нас нет дома!

— Кто бы это ни был — мы не откроем!

Снова звонок.

— Странные люди! — Это уже говорила Надя. —

Раз мы не открываем, значит, нас нет!

— А если мы дома и не открываем, значит, мы  
не хотим никого видеть!

Теперь они стояли обнявшись и не двигаясь, ожи-  
дая следующего звонка.

И когда он прозвучал, Лукашин воскликнул:

— Какая бестактность!

А Надя поддержала его:

— И какая невоспитанность!

Теперь звонили не переставая.

— Ну, это уже хулиганство! — взъерепенился

Лукашин.

— Раз так, мы назло не откроем! — сказала Надя.

— Будем мужественны! Пошла игра, у кого креп-  
че нервы!

Кому-то надоело звонить, и теперь он стучал в дверь и ногами и кулаками.

— Что они, рехнулись? — нервно сказала Надя.

— Надя, я тебя умоляю, не поддавайся панике! — призвал Лукашин.

— Придется открыть! — Надя высвободилась из объятий. — Иначе выломают дверь!

— Это сделаю я! — угрожающе сказал Лукашин.

— Женя, держи себя в руках!

Вдвоем открыли. В двери покачивался сияющий Ипполит. Его радость была явно алкогольного происхождения.

— Ребята! Это я ломаю дверь!

В пальто и меховой шапке, заломленной набекрень, он проследовал в комнату:

— Я пришел пожелать вам счастья! Я голодный как зверь!

Ипполит сразу налег на еду.

— Я в первый раз вижу тебя в таком виде... — робко сказала Надя, а Лукашин растерянно молчал.

— А я на самом деле первый раз в таком виде... — все так же весело отозвался Ипполит. — Шел по улице малютка, посинел и весь продрог... Это я про себя... — Он приподнял ногу. — Ботиночки у меня на тонкой подошве. Вот он, — Ипполит показал на Лукашина, — знает. Но хорошие люди подобрали меня, приютили, обогрели...

— Это заметно! — вставил Лукашин.

— Жизнь полна неожиданностей! — с воодушевлением продолжал Ипполит. — И это прекрасно! Разве может быть ожидаемое, запланированное, запрограммированное счастье? Мы скучно живем! В нас не хватает авантюризма! Мы разучились влезать в окна к любимым женщинам. Мы разучились делать большие, хорошие глупости! — Тут он поморщился. — Какая гадость эта ваша заливная рыба... На будущий год я обязательно пойду в баню.

— Зачем же ждать целый год? — пошутил Лукашин, но в голосе его была тревога. Он не мог не заметить, что с приходом Ипполита Надя как-то изменилась.

— Правильно! — Ипполит поднялся от стола и

направился к выходу. Затем неожиданно свернул в сторону, зашел в ванную комнату и открыл кран.

Надя и Лукашин, которые оставались в комнате, прислушались.

— Кажется, он пустил воду! — сказала Надя. — А зачем?

Лукашин кинулся к ванной и испуганно позвал:

— Надя, скорей!

Надя тоже прибежала к ванной и увидела, что... Ипполит в пальто и в шапке стоял под душем. Он намыл губку и тер ею рукав.

— Ты с ума сошел! — закричала Надя. — Вылезай немедленно!

— И не подумаю! — отказался Ипполит.

Надя не знала, как на него воздействовать:

— Пальто испортишь!

— Не мелочись! — шикарно ответил Ипполит.

— Вы бы хоть шапку сняли! — робко посоветовал Лукашин.

— Мне и так хорошо! — отрезал Ипполит. — А ты бы лучше молчал.

— Я тебя умоляю, вылез! — Надя чуть не плакала.

— Красивая романтическая история! — продолжал мыться Ипполит. — Ой, тепленькая пошла... Под Новый год человек идет в баню. Это его прекрасно характеризует. В бане он надирается по случаю женитьбы... Это тоже в его пользу. Потом его, как чучело, кладут в самолет — и вот герой в другом городе. Но он этого не замеча-

— Ой, тепленькая пошла!



ет, он человек больших масштабов... — Ипполит протянул Лукашину мочалку. — Женя, потри мне спину! Не хочешь — как хочешь! — Он выключил воду. — Да, тут, значит, ему подворачивается другая женщина, он забывает про московскую невесту и обзаводится ленинградской. Он человек высоких моральных устоев.

Ипполит снял шапку и выкрутил ее, отжимая воду.

— Прошу вас, перестаньте! — тихо попросил Лукашин, но смотрел он не на Ипполита, а на Надю.

Ипполит вылез из ванной, стащил с себя ботинок, вылил из него воду, потом проделал то же самое с другим ботинком.

— На правду не надо обижаться, даже если она горькая! Надя, все это блажь и дуры! — серьезно сказал Ипполит. В голосе его звучала горечь. — За такой короткий срок старое разрушить можно, вот новое создать нельзя! Завтра наступит похмелье и пустота. Конец новогодней ночи!

Оставляя на полу влажные следы, Ипполит направился к выходу.

— И вы оба знаете, что я прав! Надя, ты еще вспомнишь про Ипполита!

— Ты куда? — испугалась Надя. — Простудишься!

Лукашин попытался загородить Ипполиту дорогу:

— Не смейте выходить на улицу! Вы обледенеете!

— Пустите меня! Уберите руки! — потребовал Ипполит. — Может быть, я хочу простудиться и умереть!

Сцена в ванной



С этими словами он покинул квартиру. Наступила напряженная тишина. Надя заговорила первой:

— Боже мой! Как я устала! Какая сумасшедшая ночь!

— Если он придет в следующий раз, — сказал Лукашин, имея в виду Ипполита, — то подожжет дом, а почестному — он хороший парень!

— Его очень жалко... — задумчиво протянула Надя. — Но, главное, он ведь сейчас сказал нам то, что мы сами не решаемся сказать друг другу...

— Надя, опомнись!

— Именно это со мной и происходит! — грустно ответила Надя.

Внезапно отворилась дверь. Лукашин и Надя порывисто обернулись. Но это возвратилась Ольга Николаевна.

— У Любы спать ложатся, а на лестнице холодно... — Она с подозрением оглядела Лукашина и Надю. — Это вы Ипполита окатили? Он шел весь мокрый...

— Никто его не обливал! — возразил Лукашин. — Это он мокрый от слез...

— Обидели хорошего человека! — с укором произнесла Ольга Николаевна и направилась к себе.

Теперь, после ухода мамы, в комнате снова воцарилось неловкое молчание.

И снова Надя заговорила первой:

— Ну что ж, тебе пора!..

— Но самолеты ведь ходят через каждые полчаса...

— Полчаса ничего не спасут.

— Нелепость какая-то, просто глупость!.. — Лукашин понимал, что сделать уже ничего нельзя, и все-таки пытался бороться с неизбежным... — Потом мы себе этого не простим всю жизнь!

— Надо уметь сдерживать чувства! — усмехнулась Надя.

— А зачем их сдерживать? Не слишком ли часто мы сдерживаемся? — печально сказал Лукашин.

А Надя снова сняла со стены гитару и встала около окна, за которым белело первое утро нового года.

— Пойми, Ипполит ведь где-то прав. Мы немнож-



ко сошли с ума, новогодняя ночь кончилась, и все становится на свои места...

Надя взяла на гитаре несколько аккордов и запела нежно и печально:

— Хочу у зеркала, где муть  
И сон туманящий,  
Я выпытать — куда вам путь  
И где пристанище.  
Я вижу: мачта корабля,  
И вы на палубе...  
Вы — в дыме поезда... Поля  
В вечерней жалобе...  
Вечерние поля в росе.  
Над ними — вороны...  
Благословляю вас на все  
Четыре стороны!<sup>1</sup>

Лукашин невесело смотрел в окно.

— Утро уже... У меня такое ощущение, будто за эту ночь мы прожили целую жизнь...

Надя тоже взглянула в окно:

— Ты подними билет. Я думаю, его можно найти...

— Нет, поездом не поеду! — отказался Лукашин. — Семь часов трястись...

Он взял со стола пятнадцать рублей, положил в карман.

— Ты, пожалуйста, вспоминай обо мне! — тихо попросила Надя.

— И ты... — попросил Лукашин.

— Иди, Женя, иди! — Надя боялась самой себя.

— Можно, я тебя поцелую на прощание?

— Не надо, Женя, пожалуйста... Очень тебя прошу...

— Давай посидим перед дорогой! — предложил

Лукашин.

Они сели в отдалении друг от друга. Помолчали, как положено. А потом Лукашин виновато признался:

— Я украл твою фотографию.

— Мне приятно, что у тебя останется моя фотография...

<sup>1</sup> Стихи М. Цветаевой.

Лукашина вдруг осенило:

— А если нелетная погода? Можно, я вернусь?

— Нет, нет... — покачала головой Надя. — Тогда езжай поездом.

— Ну ладно, я пошел!

Лукашин резко поднялся. Схватил в коридоре пальто. Потом остановился, надеясь, что его, может быть, вернут.

Надя сидела как каменная.

Лукашин быстро вышел на лестницу. Надя было поднялась ему вслед, но потом сдержала себя и снова села...

...В зале ожидания аэропорта прервалась музыка, которую транслировали по радио, и хриплый голос произнес:

— К сведению пассажиров, вылетающих в Красноярск: в связи с нелетной погодой вылет откладывается...

Знакомый пассажир в красном кресле даже не вздохнул, только затравленно поглядел на репродуктор.

— Привет! — окликнул его Лукашин. — Все сидите?

— Лежать здесь негде! — ответил несчастный путешественник. — А вы обратно улетаете?

— Увы... — вздохнул Лукашин. — Где же Новый год встречали, в ресторане?

— Можно, я тебя поцелую на прощание?  
— Не надо, Женя, пожалуйста...  
Очень тебя прошу...

Артисты Барбара Брыльска и Андрей Мягков



— Конечно, нет. Там надо было заранее заказывать столик. Так и встречал, в красном кресле...

По радио объявили:

— Пассажиров, вылетающих на Москву рейсом двести сорок вторым, просят пройти на посадку...

Лукашин засуетился:

— Нет ли у вас двух копеек?

— Этой суммой я располагаю... — Пассажир достал монетку и протянул Лукашину. — Не могу сказать, чтобы у вас был счастливый вид...

— Спасибо... — Лукашин кинулся к автомату. В квартире у Нади зазвонил телефон.

Надя, конечно же, слышала звонок, но не снимала трубку.

В автоматной будке Лукашин все еще надеялся, что трубку снимут.

Надя грустно слушала протяжные звонки...

Наконец телефон смолк...

Как больно, милая, как странно,  
Сроднясь в земле, сплестясь ветвями.

Как больно, милая, как странно,  
Раздваиваться под пилой.

Не зарастет на сердце рана —

Прольется чистыми слезами,

Не зарастет на сердце рана —

Прольется пламенной смолой.

Торопился самолет из Ленинграда в Москву.

В самолете летел Лукашин. И казалось ему, что он слышит Надин голос:

Пока жива, с тобой я буду —

Душа и кровь неразделимы...

Пока жива, с тобой я буду —

Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой, любимый.

Ты понесешь с собой повсюду,

Ты понесешь с собой повсюду

Родную землю, милый дом...

С аэродрома Лукашин ехал в рейсовом автобусе. Лукашину досталось место у окна, он привалился к нему плечом и безучастно смотрел на перелески, на по-

ля, — их вытеснили потом ряды домов, одинаковых, как граненые стаканы...

Но если мне укрыться нечем  
От жалости неисцелимой.  
Но если мне укрыться нечем  
От холода и темноты...

И снова звучал Надин голос. Будто Надя была где-то рядом.

За расставаньем будет встреча.  
Не забывай меня, любимый!  
За расставаньем будет встреча —  
Вернемся оба, я и ты.

Вскоре после того, как автобус пересек кольцевую дорогу, Лукашин вышел. И на него накинута метель. Под ветром и снегом он шел сквозь пустой елочный базар, мимо запертых киосков, а метель играла воздушными шарами и сердито рвала бумажные гирлянды.

Но если я безвестно кану,  
Короткий свет луча дневного,  
Но если я безвестно кану  
За звездный пояс, млечный дым...

И снова ответил Надин голос. Это было как навязание.

Я за тебя молиться стану,  
Чтоб не забыл пути земного.  
Я за тебя молиться стану,  
Чтоб ты вернулся невредим.

Лукашин все еще шел, избитый метелью, ежась от холода и от горя.

Трясаясь в прокуренном вагоне,  
Он стал бездомным и смиренным.  
Трясаясь в прокуренном вагоне,  
Он полуплакал, полуспал.  
Когда вагон на скользком склоне  
Вдруг изогнулся страшным креном,



Когда вагон на скользком склоне  
От рельс колеса оторвал,  
Нечеловеческая сила,  
В одной давилъне всех калеча,  
Нечеловеческая сила  
Земное сбросила с земли...

Маленькая фигурка Лукашина брела мимо старинной церкви.

И никого не защитила  
Вдали обещанная встреча,  
И никого не защитила  
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!  
С любимыми не расставайтесь!  
С любимыми не расставайтесь!  
Всей кровью прорастайте в них!

И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь.  
Когда уходите на миг<sup>1</sup>.

Лукашин остановился около своего парадного и в отчаянии прислонился к дверному косяку. Потом резко вошел в подъезд.

Услышав знакомые шаги, в переднюю выбежала мама, взбудораженная, взволнованная, и обрушила на сына град вопросов:

— Объясни мне, что произошло?.. Я ничегошеньки не понимаю! Я вся изволновалась! Куда ты пропал? В чем дело? Где Галя?

— Я был в Ленинграде! — коротко, но ясно ответил сын.

— Где?! — ахнула мать.

— В Ленинграде! Я устал, я хочу спать! — Лукашин поплелся в комнату.

— Значит, ты опять сбежал в Ленинград! — сделала вывод Марина Дмитриевна.

<sup>1</sup> Стихотворение Александра Кочеткова.

Лукашин присел на тахту и заученно забубнил:

— Ты знаешь, что каждый год, 31 декабря, я с друзьями хожу в баню... Так вот, в бане мы выпили, а потом меня случайно, не нарочно, понимаешь, а по ошибке, отправили в Ленинград вместо Павла...

От удивления Марина Дмитриевна даже присела:

— Как это — отправили? Ты что, бандероль, посылка, чемодан? Ты что же, ничего не соображал?

— Ни бум-бум! — ответил Лукашин, снимая туфли.

— До чего же ты распустился! — возмутилась мама. — Как тебе не хватает жены! Надо, чтоб ты хоть кого-то слушался! Представляю себе, как оскорблена Галя!

— Я ей звонил из Ленинграда! — Лукашин прилег. — Я ей пытался все объяснить, но...

— Я бы такого не простила! — продолжала кипеть мама. — У Гали есть телефон?

— Слава богу, нет!

Но Марина Дмитриевна поняла ответ по-своему:

— Тебе объясняться с ней тяжело... конечно... Сейчас сама к ней съезжу и привезу ее сюда! Если она окажет сопротивление, я применю силу, — мама улыбнулась, — я ее свяжу.

— Мама! — Голос Лукашина прозвучал умоляюще. — Не огорчай лежащего!

— Ты уже не хочешь жениться на Гале?! — изумилась Марина Дмитриевна.

— Мама, я встретил другую женщину!

— Где? — Мама была потрясена.

— Как это — отправили? Ты что, бандероль, посылка, чемодан? Ты что же, ничего не соображал?  
— Ни бум-бум!



- В Ленинграде!
- Когда?
- Сегодня ночью.
- О господи! И поэтому ты расстаешься с Галей?
- Да! — ответил сын.

Мама, падая в обморок, начала сползать со стула на пол. Лукашин вскочил, поднял ее, уложил на диван:

- Что вы все, сговорились, что ли?
- Марина Дмитриевна приоткрыла глаза:
- Ты бабник!
- Мама, мамочка... Я так несчастен, мне так не повезло...

Он достал из внутреннего кармана Надину карточку поставил ее на столик около тахты.

— Наверно, я останусь старым холостяком... В конце концов, зачем мне жениться! Никакая жена не станет заботиться обо мне так, как мама... Ты представляешь себе, здесь у нас поселится другая женщина. Неизвестно, как вы поладите... Я начну переживать. Нет, мама, пусть все останется по-прежнему.

— Мой бедный мальчик! — Матери всегда жалеют своих детей. — Все образуется. Ложись, отдохни.

Долго Лукашина упрашивать не пришлось.

Марина Дмитриевна задернула на окне шторы и, уже уходя, все-таки спросила:

- Как ее зовут?
- У нее красивое имя — Надя.
- И, главное, редкое! — Мама ушла к себе, то есть на кухню.

А Лукашин... Лукашин заснул. И это не удивительно. С горя все мужчины, как правило, спят хорошо.

Прошло какое-то количество времени. По всей вероятности, небольшое.

Лукашин беспробудно спал. И не было заметно, чтобы он во сне страдал. Он не всхлипывал, не стонал, не метался. А чья-то тонкая рука вставила в замочную скважину ключ. Дверь лукашинской квартиры отворилась. И нетрудно догадаться, что это Надя отперла ее своим ключом. В руках у Нади был уже знакомый портфель, из которого по-прежнему торчал березовый веник. Не раздеваясь, Надя проследовала в комнату и увидела спя-



щего. Она присела на стул у изголовья. Но интуиция у влюбленного не сработала. Он продолжал спать. Надя укоризненно покачала головой, достала из портфеля веник и начала щекотать им лицо Лукашина. Тот испуганно открыл глаза, увидел Надю, но не поверил своим глазам и снова уткнулся в подушку. И лишь через мгновение он понял, что это не сон.

— Надя! — воскликнул Лукашин. — Это ты?

— Ты забыл у меня свой веник! — нежно сообщила Надя.

Лукашин обнял ее.

— Как же ты меня нашла?

— Все-таки ты непроходимый тупица! — ласково сказала Надя.

И тут раздался звонок в дверь.

Надя вздохнула:

— И здесь начинается то же самое!

— Надеюсь, это не Ипполит! — воскликнул Лукашин.

Дверь открыла Марина Дмитриевна, и в квартиру ввалились Александр, Павел и Михаил.

— С Новым годом! С новым счастьем!

Не снимая пальто и шапок, они заспешили в комнату. Марина Дмитриевна едва поспежала за ними.

— Как я мог перепутать! — веселился Михаил. — Ведь я никогда не пьянею!

Тут они увидели Надю и Лукашина, которые обнимались, не обращая внимания на вошедших.

— Ты что-нибудь понимаешь? — Александр толкнул Павла.

— Кажется, это не Галя! — проормотал Павел. — Один из них — Женя! — убежденно сказал Михаил



— Перестаньте, наконец, обниматься. К вам пришли! — громко сказал Александр.

— Мы не можем перестать! — Лукашин боялся отпустить Надю. — Мы так давно не виделись!

Марина Дмитриевна стояла в дверях, не в силах произнести ни единого слова.

— Мне это совершенно не мешает, — сказал Павел. — Тебя, — он посмотрел на Александра, — это раздражает?

— Меня — нет.

— Я рад, — торжественно продолжал Павел, — что Галя тебя простила! Дорогая Галя! Будьте всегда счастливы! Женя, мы одобряем твой выбор! Ты долго выбирал, но... дорогая Галя, мы Женины друзья...

В это время Лукашин заметил мать, которая все еще неподвижно стояла в дверях:

— Мама, моя Надя приехала!

Друзья оторопели. Павел потерял дар речи. Все молча воззрились на Надю.

— Вы считаете меня легкомысленной? — спросила Надя у Марины Дмитриевны.

— Поживем — увидим! — философски ответила Марина Дмитриевна, медленно приходя в себя.

Александр очнулся и толкнул Павла:

— Ты что-нибудь понимаешь?

— Кажется, это не Галя! — пробормотал Павел.

И в свою очередь обернулся к Михаилу: — А ты что замолк? Ты же у нас самый сообразительный!



— Твердо я знаю только одно, — улыбнулся Михаил и показал на Лукашина. — Один из них — Женя!

— Дорогие друзья! — Лукашин держал Надю за руку. — Я вам так благодарен за то... что вы вытащили меня в баню... потом перепутали и отправили в Ленинград... И что там тоже есть точно такая же улица с точно такой квартирой... Иначе я никогда не был бы счастлив!



## НИКТО НЕ ХОТЕЛ ВЫДВИГАТЬ, ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ИРОНИИ СУДЬБЫ»

«Иронию судьбы» мы закончили летом, в июне, и шесть месяцев картина ждала, пока наступит новый, 1976 год, а вместе с ним и телевизионная премьера. Во время этого полугодового ожидания до меня регулярно доходили слухи о разных неприятностях по поводу фильма. Помню, как Председатель Госкино Ф.Т. Ермаш при встрече злорадно сказал мне.

— Слышал, у тебя там передраги с твоей картинкой-то на телевидении. Не хотят ее выпускать из-за пропаганды пьянства.

Ермаш не мог простить моего самовольства. Мол, его ведомство запретило мне ставить этот фильм, а я ослушался, проявил упрямство, непослушание и все равно осуществил реализацию. Ведь киноначальство привыкло смотреть на нас как на холопов. И за неповиновение я потом наказывался Ермашом неоднократно. Кроме того, между министрами — кино и телевидения — существовала личная неприязнь.

Помню, я тогда спросил Филиппа Тимофеевича:

— Вы что же, считаете, что уход на телевидение — это как измена Родине, что ли?

Тот пробормотал в ответ, что, мол, да, что-то вроде этого. Я только развел руками. Как будто я ушел не на родное телевидение, а на какое-то японское или уругвайское и сделал картину не для своего народа, а только для иностранцев...

Могу вспомнить еще одну пикантную подробность. Ее поведал мне С.Г. Лапин — министр телевидения — несколько лет спустя после премьеры «Иронии судьбы». Дословно я, конечно, не могу привести его рассказ, но подробности и смысл навсегда врезались в память.

— Помню, в начале декабря тысяча девятьсот



семьдесят пятого года, — излагал Сергей Георгиевич, — у нас в Софрино в Доме творчества телевизионных работников проходил семинар. Съехались со всей страны председатели партийных бюро республиканских, краевых и областных комитетов Гостелерадио. Я им послал для просмотра вашу картину «Ирония судьбы». Они ее поглядели. А через день я туда приехал выступить перед ними. И во время своего выступления задал аудитории вопрос: «Как вы считаете, можем ли мы показать «Иронию судьбы» советскому народу?» В ответ раздалось дружное: «Нет! Нет! Нет!» Секретари партийных комитетов были единодушны. А я, — продолжал Лапин, — смотрю на них и улыбаюсь. Я-то с картиной уже успел познакомиться Леонида Ильича и заручил-ся его согласием. Вот так...

Всех этих аппаратных игр я, разумеется, не знал, но какие-то мрачные, пессимистические разговорчики регулярно доносились до меня и портили настроение. Успокоился я только тогда, когда получил газету «Говорит и показывает Москва», где фильм стоял в программе первого января 1976 года. За несколько дней до Нового года мне позвонили с телевидения и сказали, что все-таки надо снять мое небольшое вступление перед демонстрацией ленты. Это требуется для того, чтобы смягчить впечатление от пьянства, показанного в фильме, объяснить, что так выпить можно лишь в новогодний праздник. Я понимал, в какой стране живу, и послушно поехал на телестудию.

Сказал все, что от меня требовали. В нашей практике это называется «идеологические костыли», «идейные подпорки». Казалось, все! Можно ждать премьеры. Но не тут-то было. 31 декабря, вечером, накануне премьерного показа, мне опять позвонили с телевидения и попросили приехать 1 января в 3 часа дня для того, чтобы переснять мое вступительное слово.

— А что я там не так сказал? — любопытствовал я.

— Во-первых, — слышалось в ответ, — вы благодарите телевидение за то, что оно предоставило для вашей картины такой замечательный день, как первое января.

— Но я действительно очень благодарен... — сказал я.

— Это выглядит как издевательство. А когда же еще показывать ваш фильм, как не первого января? А во-вторых, вы говорите, что «Ирония судьбы» — рождественская сказка для взрослых...

— Ну, правильно, — подтвердил я.

— Так вот, — сказал мне руководящий голос, — у нас нет рождественских сказок, мы не отмечаем религиозные праздники. Вам следует сказать — «новогодняя сказка».

Я не стал спорить и объяснять, что «рождественская сказка» — специальный жанр в искусстве, что Диккенс ежегодно публиковал свои рождественские сказки. Это было для меня не принципиально, лишь бы фильм показали, и я согласился. Первого января за три часа до эфира я приехал на улицу Королева, 12.

Огромное здание телецентра было пустынным. Лишь в одном из павильонов копошилось человек пятнадцать — оператор, звукооператор, видеоинженеры, микрофонщики, осветители, администратор и два куратора из парткома, призванные проследить, чтобы я все сказал как надо. Все эти люди были вызваны специально в праздничный день для того, чтобы осуществить две абсолютно несущественные поправки, не имеющие никакого, как вы понимаете, значения. Но какой-то, видно, высокий руководитель произнес глупость, и все исправно принялись ее исполнять, невзирая на бессмысленную трату денег и времени. Я сел перед телекамерой и на этот раз не поблагодарил телевидение, а также обозвал свою ленту не рождественской, а новогодней сказкой. Через несколько часов я увидел на телеэкране свое вступительное слово, а затем пошел фильм.

«Ирония судьбы» показывалась по первой программе в очень удобное время — она началась в шесть вечера и шла до программы «Время». Это была та часть праздничных суток, когда люди отоспались, пришли в себя после бессонной ночи, а новое застолье еще не началось. И здесь я познакомился с еще одной удивительной особенностью этого нового вида искусства — одновременным масштабным показом. Демонстрация ки-

нофильма растягивается примерно на год. Тираж (количество кинокопий), даже если он велик, не может охватить сразу все кинопроекционные точки нашей страны — их сотни тысяч. Поэтому кинокартина сначала демонстрируется в крупных городах, потом переезжает в городки помельче и наконец перебирается в село. Копии кинофильма кочуют еще и из одной области в другую, так что показ картины, прежде чем ее увидит несколько десятков миллионов (причем это прекрасный результат!), продолжается много месяцев. Естественно, и отклики, будь то пресса или же зрительские письма с похвалой или осуждением, тоже растягиваются во времени. Иное дело премьера по телевизору. В один вечер 70 — 100 миллионов человек<sup>1</sup> (так утверждает статистика) в одни и те же часы видят твою работу. От этого рождается совершенно новый, оглушающий, сокрушительный эффект. Резонанс получается неслыханный: на завтра буквально вся огромная многомиллионная страна толкует о картине. Либо ее дружно ругают (а когда ругает хор, состоящий из 80 миллионов зрителей, — это страшно). Либо массы раскалываются на два гигантских лагеря и во всех учреждениях страны, в очередях, в метро и трамваях кипят яростные споры приверженцев и противников. Если же картина понравилась, то похвала 80 миллионов зрителей — обстоятельство, перед которым очень трудно устоять и не возомнить себя сверхчеловеком. И тем не менее к успеху надо отнестись очень спокойно, иначе просто погибнешь...

Пресса откликается мгновенно, а сотни и тысячи писем и телеграмм приходят сразу же, максимум через два-три дня после показа. Я был буквально смят, оглушен, ошарашен гигантским, могучим потоком откликов на «Иронию судьбы». Благодаря колоссальному охвату зрителей и единовременной демонстрации лента сразу начинает жить в сознании десятков миллионов людей. Произведение тут же становится массовым достоянием, и добиться этого может только телевидение.

<sup>1</sup> Написано мной это было еще в советские времена. Сейчас зрителей куда меньше.

Если несколько десятков лет назад самым распространенным из искусств являлось кино, то в наши дни это, несомненно, телевидение.

\* \* \*

В нашем тоталитарном государстве, еще в сталинские времена, была разработана целая система наград и поощрений для людей искусства. Сюда входили звания заслуженных и народных, ордена, лауреатства. Все эти щедроты раздавались правительством не только и не столько за талант, сколько большей частью за преданность строю.

Мы не пашем, не сеем, не строим, —  
Мы гордимся общественным строем...<sup>1</sup>

И частенько получалось, что умелый подлиза, несмотря на свою бездарность, аж сгибался под тяжестью орденов и медалей, висящих на обоих лацканах пиджака.

Система, в которую входили поощрения в виде госдач, поездок за границу, всесоюзных премьер или неслыханных тиражей, развращала нашу интеллигенцию. Устоять, не продаться было ох как непросто...

В перестроечные годы, выступая, я часто утверждал, что творец не нуждается в наградах и званиях, которые жалует ему правительство, ибо эти награды говорят не о ценности художника, а, главным образом, о взглядах и вкусах начальства. Я говорил, что если у творческого работника есть ИМЯ, то ему ни к чему звания, ибо имя дает народ! А если ИМЕНИ нет, то никакие орден и лауреатства не сделают творца властителем дум. Правда, справедливости ради надо сказать, что все это я провозглашал, будучи сам народным артистом СССР и лауреатом Государственных премий. Вероятно, это обстоятельство несколько снижало пафос моих заявлений. Не скрою, когда у меня не было этих наград, я, разумеется, желал их получить. Правда, не ценой компромисса, угождения, не ценой сделки с совестью.

<sup>1</sup> Стихи Э.Рязанова (прим. изд.).



Я никогда не клянчил, не просил,  
Карьерной не обременен заботой.  
Я просто сочинял по мере сил  
И делал это с сердцем и охотой.

И тем не менее хочу поведать, как я стал лауреатом Государственной премии СССР. Не для того, чтобы кичиться — это было бы как-то смешно. Просто история с присуждением премии оказалась не очень типичной.

Итак, «Ирония судьбы» вышла в эфир 1 января 1976 года. Рассказать, что началось после показа фильма, непросто. Телефонные звонки, телеграммы, письма, нигде не дают прохода, у людей при виде меня начинали сить глаза. Успех ленты оказался каким-то глобальным. Наша картина сразу синхронно зажила в сознании многомиллионного народа. Занятно, что несколько телеграмм были отправлены 1 января в 21 час 03 минуты, 05 минут, 06 минут, 08 минут, немедленно после окончания показа. Реакция зрителей была стремительной и восторженной.

Дальше у картины началась небывалая, сказочная жизнь. Через месяц с небольшим, 7 февраля, после нескольких десятков тысяч зрительских писем в адрес телевидения «Иронию судьбы» повторили по первой программе. Госкино, стиснув зубы, заказало киновариант, чтобы продемонстрировать комедию в кинотеатрах. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку. Повторный показ вызвал новую волну писем. Было ясно, что народ нашу ленту принял...

Однако пора кончать хвастливую предысторию и переходить к сюжету.

Наступил ноябрь 1976 года. Ежегодно в этом месяце во всех киноорганизациях, творческих союзах, издательствах — словом, во всех учреждениях, связанных с духовной жизнью общества, происходило выдвижение на Государственные премии СССР произведений искусства и литературы, созданных в текущем году.

Телевизионное объединение «Мосфильма» возглавлял тогда Семен Михайлович Марьяхин. Это был веселый, живой, энергичный человек, который светился иронией и доброжелательством. Его активность, го-

рячность, заинтересованность в деле были колоссальными. Именно под его обаятельным напором фильм «Ирония судьбы» состоялся — перекочевал с бумажных страниц на целлулоид. У него не было сомнений, что фильм достоин Государственной премии СССР. Отнюдь не только потому, что он сам был очарован нашей комедией, он ощущал многомиллионную зрительскую поддержку. И вот Марьяхин отправился к руководству телевидения, чтобы договориться о выдвижении ленты на премию. Он был убежден, что особых сложностей не будет. Мне о своей акции он даже не сказал.

Однако Марьяхин вернулся из Гостелерадио обескураженный — телевидение не захотело представлять наш фильм на премию. Резоны были неоригинальные. Следующий год, 1977-й, — юбилейный — шестьдесят лет советской власти. Увы, «Легкому пару» фатально не везло с юбилеями, он все время попадал под юбилеи, как под трамвай. Еще существуя в театральном варианте, пьеса «С легким паром!» была снята с постановок в ряде театров из-за столетней годовщины со дня рождения Ленина.

— В знаменательный год, — объяснили Марьяхину, — выдвигать на премию картину, пусть милую, хорошую, но, согласитесь, не находящуюся на магистральном пути, как-то неудобно.

— Нас могут не понять, — многозначительно добавил Лапин. — А кроме того, телевидение представило на премию программу «Время».

— А если предложить два произведения — и «Время», и фильм Рязанова? — подал идею Семен Михайлович Марьяхин.

— Телевидению положена одна премия, — разъяснил министр. — Фильм Рязанова, не спорю, очень симпатичный и поэтому может помешать...

Какое отношение имела публицистическая передача «Время» к премиям в области искусства и литературы? Но это не смущало всесильного министра, личного друга Брежнева. Он ощущал себя хозяином, да он и был им.

Марьяхин ринулся к директору «Мосфильма» Н.Т. Сизову. Николай Трофимович при всем добром от-



ношении ко мне и к картине отказался выставлять на премию «Иронию судьбы». Повод для отказа — юбилейный год. Но причина заключалась в другом. «Мосфильм», хоть и делал фильмы по заказу телевидения, подчинялся Комитету по кинематографии. А личные отношения между министрами кино и телевидения сложились неприязненные, враждебные, пожалуй, похуже даже, чем были тогда отношения между СССР и США. Сизов во избежание конфликта с самолюбивым, злопамятным Ермашом отказал Марьяхину. Тогда тот кинулся в Союз кинематографистов, который тоже имел право выдвигать фильмы на премию. Но и здесь Семен Михайлович потерпел поражение. В те годы Союз был придатком при Ермаше и поперек него, конечно, не пошел. В результате Марьяхин остался на бобах. У него в объединении была создана, по его мнению, прекрасная лента, но никто, ни одно творческое учреждение не желало поступить по справедливости. В ответ на все отказы упрямый Семен Михайлович однообразно твердил — картина очень хорошая! Он не понимал, что как раз это не повод для награждения.

Однако случилось непредвиденное. Коллектив объединения «Мосэлектроаппарат», не догадываясь, что выдвигать в юбилейный год на премию нечто безыдейное не следует, решил, что «Ирония судьбы» достойна награды. Работники «Мосэлектроаппарата» были обычными благодарными зрителями и не подозревали, что своей просьбой дать Государственную премию нашей ленте они вмешались не в свое дело и тем самым спутали все карты.

Марьяхин и работники Комитета по премиям Т. Запасник и И. Крейндлина не растерялись и, так как приближалось 15 декабря — дата, когда прекращался прием представлений, тут же послали на «Мосфильм» официальный запрос.

Нужно было срочно прислать характеристики на создателей ленты «Ирония судьбы» в связи с тем, что картину выдвинул рабочий класс. Бумажная канитель закрутилась... Но тем не менее срок подачи документов истек, кончился.

Формально комитет уже не мог принимать опо-

здавшие характеристики. Но подобная мелочь не могла смутить почитательниц комедии, служивших в самом логове, то есть в Комитете по премиям. Кто станет ревизовать, какого именно числа пришли бумаги?

Однако через несколько дней последовал новый удар. Выяснилось, что представление «Мозэлектрораппарата» недействительно, это просто бумажка. Оказывается, выдвинуть произведение на премию имеет право только творческая организация. Иначе любая прачечная или столовая разовьют большую культурную деятельность. Если уж фильм, книга, картина представлены обычным учреждением, то нужна поддержка этого ходатайства либо редакцией журнала, либо творческим союзом, либо театром или киностудией.

И тогда Марьяхин кинулся за помощью. У него был солидный аргумент. Он говорил, что ответственность по выдвижению принял на свои плечи «Мосэлектрораппарат», что нужна бумажка, где будет сказано всего лишь о поддержке мнения гегемона. Но он потерпел полное фиаско — не смог преодолеть боязливость, осторожность, нежелание. Телевидение, Союз кинематографистов, «Мосфильм» дружно не рискнули примкнуть к рабочему классу.

Тогда в бой были введены свежие резервы. Дело в том, что осенью того года в Тбилиси проходил очередной ежегодный фестиваль телевизионных фильмов. На нем наша лента получила, может быть, самую почетную награду — приз зрителей. Этот приз нельзя организовать, его не дают по приказу сверху, он не является результатом торговли и сговора между членами жюри. В этом случае присутствует свободное волеизъявление людей. Может, единственно свободное в то время.

Две женщины, почитательницы ленты, по своей инициативе сняли телефонные трубки (какое могучее оружие — телефон!) и одна за другой позвонили в Тбилиси директору студии «Грузия-фильм» Резо Чхеидзе. Одна из женщин работала в Комитете по премиям, другая — в Останкино. На следующий день в секцию кино Комитета по премиям пришла телеграмма, где говорилось, что киностудия «Грузия-фильм» горячо поддержи-



вает выдвижение на премию фильма «Ирония судьбы». В телеграмме был еще один нюанс — среди кандидатов была названа и Барбара Брыльска. «Мосэлектроаппарат» не решился включить в список выдвигаемых иностранку, боясь, что это может испортить все дело. До тех пор ни один иностранный актер, писатель или художник не были награждены Государственной премией Советского Союза. Прецедента еще не существовало! На фестивале в Тбилиси блондинка Барбара имела особый успех среди мужского грузинского населения. Не включить ее в список было попросту не галантно. У грузин — свои правила, особенно в отношении блондинок. Кроме того, вспомните старую шутку: «Поезд Тбилиси — Советский Союз» отправляется во столько-то». Короче, Чхеидзе сделал не задумываясь то, на что не посмели решиться в Москве<sup>1</sup>.

Итак, был преодолен первый этап.

Включение в список претендентов, которое для других картин оказалось легким, естественным делом, для нашей «замарашки-золушки» было мучительным и трудным.

Работа комитета, после того как определились списки, состояла из двух этапов — весенней и осенней сессий. На первой происходил предварительный отбор, а в октябре — окончательный. После осеннего голосования списки лауреатов шли на подпись в правительство. И 7 ноября, в «праздник» Революции, происходила публикация постановления.

В мае 1977 года состоялась весенняя сессия. Помимо программы «Время» безусловным фаворитом был «Выбор цели» Таланкина с Бондарчуком в главной роли. Картина, в которой прообразом был Курчатов, рассказывала об открытии атомной энергии конъюнктурно, то есть неправду. В юбилейный год это очень подходило. «Бегство мистера Мак-Кинли» тоже не вызвало

<sup>1</sup> Должен сказать, что я в этих играх не принимал никакого участия. Я знал систему, в которой прожил всю свою жизнь, и понимал — подобные хлопоты бесполезны. Друзья, зная мою точку зрения, не делились со мной тем, что они совершали ради фильма. Обо всем мне рассказали потом.

больших разногласий. Во-первых, лента разоблачала Запад, нравы буржуазных обывателей, а во-вторых, сценарий сочинил Леонид Леонов, наш советский классик. Априорной поддержкой пользовался и фильм «Белый пароход» как произведение национальное. Кстати, фильм очень славный. Так что основной сыр-бор разгорелся из-за двух комедий — «Афоня» и «Ирония судьбы». Главная часть дискуссий в секции кино и телевидения пришлась именно на то, какую из комедий выбрать. На данном этапе для нашей ленты было важно остаться в списках, дойти до осеннего голосования. Приведу сокращенные записи обсуждений, причем только то, что относится к нашей картине. Получить стенограмму заседаний комитета удалось только в конце девяностых годов.

Итак, действующие лица этого небольшого скетча:

Герасимов Сергей Аполлинариевич — секретарь Союза кинематографистов, заведующий кафедрой ВГИКа, кинорежиссер, писатель, актер. Председатель секции кино и телевидения в Комитете по Государственным и Ленинским премиям.

Ермаш Филипп Тимофеевич — министр кинематографии (и враг телевидения).

Васильев Игорь Иванович — ученый секретарь комитета.

Жданова Стелла Ивановна — заместитель Председателя Гостелерадио (патриотка нашей картины).

Андроников Ираклий Луарсабович — писатель.

Ждан Виталий Николаевич — ректор ВГИКа (ярый приспешник Ярмаша).

Ростоцкий Станислав Иосифович — кинорежиссер.

Кармен Роман Лазаревич — кинорежиссер.

Кулиджанов Лев Александрович — кинорежиссер, первый секретарь Союза кинематографистов СССР (по кличке Спящий Лев).

Озеров Юрий Николаевич — кинорежиссер.

Кириллов Игорь — диктор телевидения.

Запасник Татьяна Евгеньевна — работник Комитета по премиям.

Заседание первое.

17 мая 1977 года

*Герасимов:* «Ирония судьбы» — очень славная комедия. Но обсуждать пока не будем ввиду сложности по другим кандидатурам.

*Ермаш:* Почему эту картину выдвинула Грузия?

*Герасимов:* Телевизионных выдвижений много, и серьезных. Может быть, нам придется пожертвовать «Иронией судьбы».

20 мая 1977 года

*Герасимов:* «Афоня» — очень интересное произведение. Японцы в восторге. Глубокая мысль, глубокая картина. Социально острая и смешная. Но в юбилейный год трудно провести комедию. Исключить?

*Васильев:* Нет, этого сделать нельзя.

*Герасимов:* И «Ирония судьбы», и «Афоня» — значительные произведения. Оба фильма выделяются из всех комедий. Но «Афоня» — крупнее.

*Андроников:* Предлагаю отложить обе до осени, то есть допустить к конкурсу, а потом перенести на 1978 год.

*Герасимов:* Да, сразу снимать из-за юбилейной даты нельзя. Запускаем вопрос о критериях оценки.

*Андроников:* И Рязанов, и Данелия имеют право на премии.

*Герасимов:* Хотя у них еще многое впереди.

*Жданова:* Нельзя откладывать. Картины стареют.

*Герасимов:* Еще вернемся к ним.

*Ермаш:* Почему «Иронию судьбы» выдвинула Грузия?

26 мая 1977 года

*Герасимов:* По-видимому, «Ирония судьбы» встречает общее сочувствие.

*Ермаш:* Почему выдвигает Грузия?

Всесоюзный фестиваль телефильмов был в Тбилиси — там фильм получил первую премию (положим, не первую, а приз телезрителей. — Э.Р.)

*Ермаш:* Уже после телевидения у нас фильм собрал 20 миллионов зрителей, так как нет комедий.

*Герасимов:* Так как? Поддержим?

*Ермаш:* Как быть с Брыльской?

*Запасник* (разъясняет, что можно ей дать премию).

*Герасимов:* Голосуем. Все за.

Так фильм «Ирония судьбы», по сути, пасынок ситуации, остался в списке на осень, прополз, так сказать, к следующему этапу. Ни одну художественную картину в результате на весенней сессии не тронули, все они вышли на финишную прямую.

Тем временем я закончил «Служебный роман», а осенью, в начале октября, буквально за несколько дней до начала решающей сессии, в составе туристской группы мы с Ниной укатили в поездку по Соединенным Штатам Америки.

А на Родине в это время велись бои. Борьба мнений, интересов, проталкивание подопечных, подсиживания, давление авторитетными телефонными звонками сплелись в сложный, запутанный клубок<sup>1</sup>.

Итак, наступила осенняя сессия.

#### Заседание секции кино и телевидения

10 октября 1977 года

*Ждан:* Давайте каждый предложит свой вариант списка на премии — 5 штук.

(Премий, включая программу «Время», было четыре)

*Кармен:* Из комедий, наверное, «Афоня».

*Герасимов:* Обе достойны. Может быть, обе комедии на одну премию.

*Ермаш:* Как делить? Тут все уважаемые люди.

*Герасимов:* Не в деньгах дело. Мест мало, а претендентов много. Почему юбилейный год не оттенить картинами веселого содержания?

*Жданова:* Комедийный жанр надо поддержать обязательно. Если мы дадим двум режиссерам, активно работающим в этом жанре, — есть резон. Но только режиссерам.

*Ермаш:* Рязанов без Брагинского получать откажется.

<sup>1</sup> Ни о чем не подозревая, мы во всю гуляли по Америке. В этой стране мы были впервые.

*Герасимов:* Можно записать — за успешную режиссерскую работу в области комедии.

*Андроников:* А Куравлев свое еще получит.

*Озеров:* А Таривердиев? Здесь музыка решала успех.

*Герасимов:* Я бы все-таки об этой возможности (одна премия на двоих) подумал.

*Ждан:* Давали же одну премию двум актерам за образ Ленина.

*Жданова:* Двум за политические репортажи.

*Васильев:* Но объединение по жанру — расплывчато.

*Герасимов:* А по-моему, удачный выход из положения.

*Жданова:* Ведь юбилей Октября — это праздник, веселье.

*Ермаш:* Если объединять, то режиссеров и сценаристов. (К Данелии добавить А. Бородянского.)

*Герасимов:* Хорошая мысль. А то говорим, что комедия нравится, а награждать ее боимся. Два серьезных комедиографа.

*Жданова:* Надо разнообразить форму представления.

*Герасимов:* И подумать о точной формулировке.

В те октябрьские дни 1977 года в прессе, по радио, по телевидению вовсю бушевала юбилейная истерия, у нас это случается перед каждым праздником. Происходит великий перебор, который доводит людей до того, что они начинают тихо ненавидеть даже святые даты.

#### 17 октября 1977 года

*Герасимов:* Если объединять, то возникла идея присоединить Куравлева и Мягкова. Но в других секциях против объединения. (Очевидно, за это время произошло прощупывание мнений других секций.)

*Ермаш:* Что-то похожее на бутерброд здесь есть.

*Жданова:* Давайте конкретно. Режиссеров за две хорошие комедии.

*Герасимов:* Это упирается в стену нежелания других секций.

*Ермаш:* Нет оснований, что секции поддержат «Иронию судьбы». Говорят «хи» да «ха».

*Герасимов:* А по-моему, она нравится.

*Ждан:* Не пройдет!

*Герасимов:* Нам придется отстаивать одну комедию. «Афоня» по художественным достоинствам и социальному звучанию сильнее.

*Ярмаш:* Перенести и ту, и другую сложно. У Дanelии в «Мимино» весь коллектив другой. А у Рязанова в «Служебном романе» играет тот же Мягков. И Брагинский есть.

*Герасимов:* Может быть, все-таки перенести Дanelию. Надо его сохранить обязательно.

*Ростоцкий:* На двух комедиях настаивать нельзя.

*Жданова:* Но выбор одной будет субъективным.

Это трудно.

*Ермаш:* Для меня не трудно. «Афоня» выше по искусству.

*Жданова:* А по-моему, «Ирония судьбы».

*Ждан:* У Рязанова комедия, но по стилю Дanelия выше.

*Герасимов:* Когда речь идет о трагедиях, решать легче. Хорошо бы соединить.

*Кулиджанов:* Но Брагинского нельзя отрывать от Рязанова.

*Герасимов:* Да, их надо рассматривать вместе. Еще раз предлагаю Дanelию перенести.

*Кармен:* Успех новой работы — не аргумент для переноса.

*Герасимов:* Если хотим сохранить, выхода нет.

*Ермаш:* Если уж переносить, то я за перенос «Иронии судьбы». В «Служебном романе» тот же состав плюс Фрейндлих. А у Дanelии в «Мимино» другой состав.

*Герасимов:* Хорошая мысль.

*Жданова:* Но у «Иронии судьбы» есть преимущество в массовости, в тиражности картины. По ТВ ее показывали три раза.

*Кириллов:* «Афоня» пользовался большим успехом в Гане.

*Ермаш:* И в Англии, в США, во всех социалистических странах. Дanelия всегда социальную проблему решает.

*Герасимов:* Наведем справки, что пользуется у



членов комитета большей популярностью, и решим. Для меня вопрос решен в пользу «Афони». Это решение более стабильно у нас в секции. Голосуем список: «Белый пароход», «Выбор цели», «Афоня», программа «Время», «100 дней после детства» (эта лента шла на премию за произведение для детей).

Секция кино и телевидения проголосовала единогласно. Лишь один человек воздержался. Это была С.И. Жданова.

*Герасимов:* А «Иронию судьбы» переносим на будущий год.

Так «Ирония судьбы» выпала из списка. Песенка ее была спета. Казалось, марафон фильма к премии кончился. В это время в помещение, где заседала секция, вошел Игорь Иванович Васильев, ученый секретарь комитета (заметим, лицо нейтральное).

*Герасимов (Васильеву):* Как в секциях относятся к комедиям?

*Васильев:* Окончательного решения нет, но предпочтительнее «Ирония судьбы».

*Герасимов:* А объединение двух комедий поддерживают?

*Васильев:* Считают нонсенсом.

*Ростоцкий:* Мы хотим Рязанова перенести с присоединением «Служебного романа».

Через три дня предстояли последние заседания по секциям, после чего должен был состояться пленум, где происходило общее голосование.

Выяснилось, что в секциях, особенно у художников и архитекторов, «Ирония судьбы» пользовалась безоговорочным признанием. Немало поклонников ленты имело среди писателей и музыкантов.

По предварительным обсуждениям, которые я привел выше, соотношение сил в секции было понятно. Ермаш был активно против нашей картины. Он считал мой уход на телевидение чем-то вроде измены, не выносил Лапина, кино соперничало с телевидением и так далее. А следовательно, Ждан, Кармен, Кулиджанов, Ростоцкий и другие кинематографисты шли за ним в фарватере (Ермаш очень не любил, когда выступали против него). Герасимов занимался балансировкой, что назы-

вается «и нашим и вашим», а может быть, был искренен в своих бесконечных вилияниях. Единственным человеком, который последовательно выступал за нашу ленту, была Жданова.

**Заключительное заседание  
20 октября 1977 года**

*Герасимов:* «Иронию судьбы» поддерживают другие секции. Значит, «Афоню» переносим. «Афоня» поддержки вообще не встречает. Что-то переменялось! Если дадут дополнительную премию, то мы вставим из комедий «Иронию судьбы».

*Ростоцкий:* Надо отстаивать документальный фильм «Голодная степь». Если нам дадут еще одну премию, то не для комедии, а для документального фильма.

*Герасимов:* Есть в этом резон. Тогда уступим «Иронию судьбы».

*Васильев:* Изобразительная секция горячо поддерживает «Иронию судьбы» и отдает вашей секции свою премию.

И вот наступил пленум. Все секции собрались вместе, чтобы вынести свое окончательное решение.

**Заседание пленума  
21 октября 1977 года**

*Герасимов:* Горячо поддерживаем «Иронию судьбы». Ее конкурент — «Афоня». Чтобы сохранить обе комедии, Данелия и другие переносятся на будущий год, чтобы присоединить «Мимино» и укрепить кандидатуру. Ибо «Афоня» не всем нравится, а Данелия — большой и достойный художник. Так что преимущество на стороне Рязанова.

*Марков* (литературная секция): «Ирония судьбы» вызвала единодушную поддержку, что бывает в нашей секции редко.

*Хренников* (музыкальная секция): «Ирония судьбы» вызывает большие симпатии, и члены секции просили это передать на пленуме.

*Чирков* (театральная секция): Нам хотелось оставить обе комедии. Но так как Данелия сохраняется на будущий год, мы за Рязанова.

*Томский* (изобразительная секция): Единодушно поддерживаем «Иронию судьбы».

*Орлов* (архитектурная секция): Секция единодушно за «Иронию судьбы».

*Голосование.* «Ирония судьбы» единогласно вставляется в окончательный список. А затем, также единогласно, проходит в лауреаты за 1977 год. Надо сказать, что хлопоты по поводу лишней премии оказались ненужными. Ибо члены комитета забаллотировали ермашовского фаворита «Выбор цели»: картина не собрала нужного числа голосов и не получила Государственной премии СССР. Так что ради нашей ленты не понадобилось выбивать лишнюю премиальную единицу. Лауреатами стали также «Белый пароход», «Бегство мистера Мак-Кинли» и программа «Время». И еще «100 дней после детства», но она шла параллельно как произведение, созданное для детей.

Прошло пять дней с того момента, как пленум комитета вынес свое решение о том, кому быть лауреатами. Из Вашингтона, со взлетной дорожки аэропорта имени Джона Кеннеди, взлетел Ил-86 с нарисованным красным флагом на хвосте. Мы с Ниной сидели рядышком. Постепенно Америка отдалялась, как географически, так и в нашем сознании. И тут мы впервые вспомнили, что в дни, пока мы знакомились с США, в Москве проходила решающая осенняя сессия и, вероятно, уже состоялся итоговый тур голосования. Естественно, мы ничего не знали о том, как это кончилось.

Наконец, после изнурительного, бесконечного перелета над Атлантикой, наш самолет пошел на снижение. Колеса коснулись земли, и коллективный вздох облегчения дружно пронесся в салоне воздушного корабля.

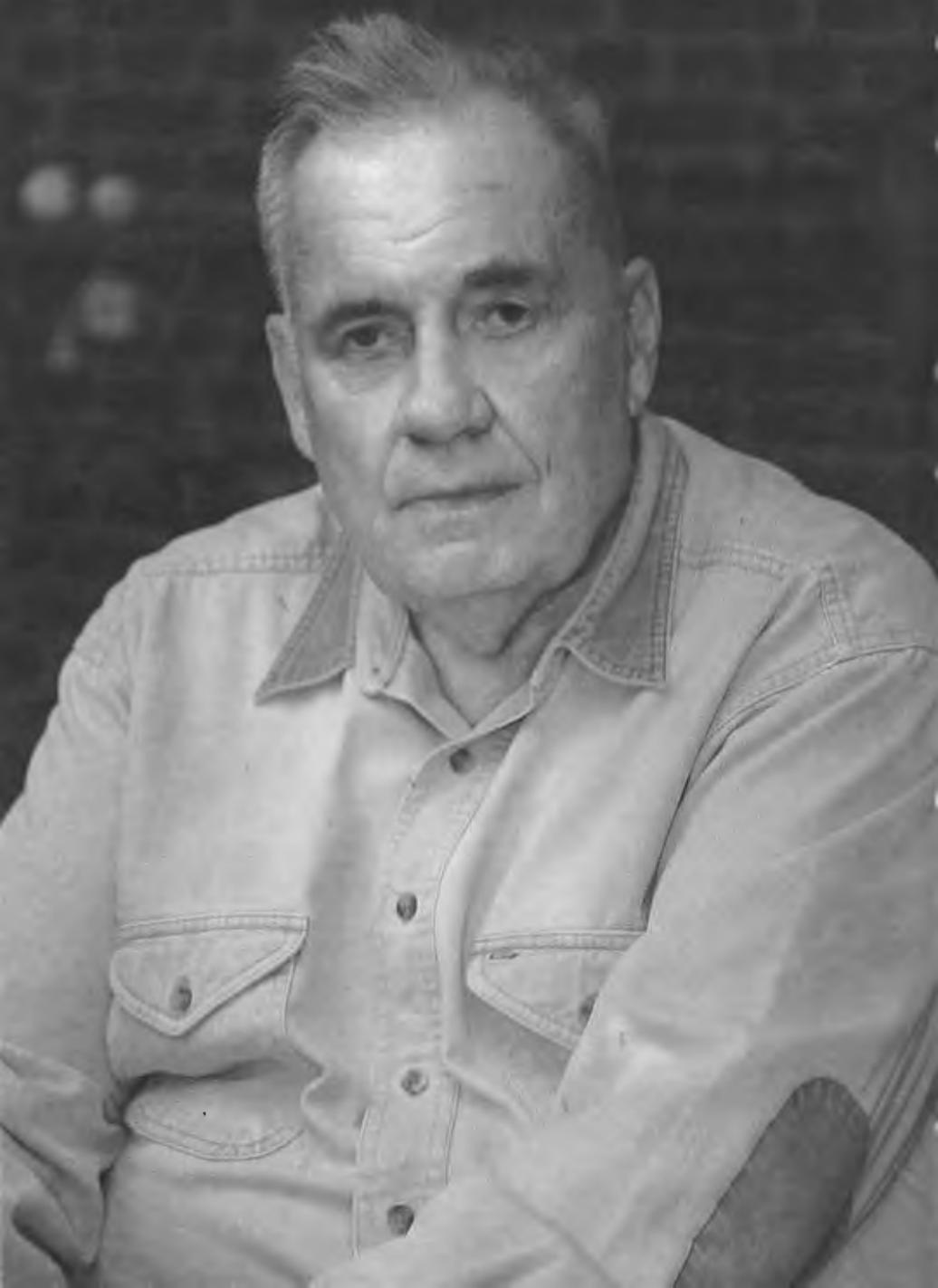
Пройдя процедуру паспортного контроля, мы с Ниной оказались в таможенном зале. Мы не думали, что нас кто-нибудь будет встречать. И вдруг за барьером, где толпились встречающие, увидели наших близких друзей Василия и Инну Катанян. Вася, мой самый дорогой друг еще с институтских годов, размахивал руками и орал на весь зал аэропорта Шереметьево:

— Единогласно, единогласно! Поздравляю! Ни одного голоса против!..

Голосование было тайным. Каждый член комитета (те самые, которые отказывались выдвигать), голосуя за «Иронию судьбы», понимал, что кто-то будет против. Поэтому знал — его не удастся уличить в том, что он предпочел безыдейную пустышку произведения магистрального направления. Гласно никто не хотел выдвигать нашу ленту, но при тайном голосовании выяснилось, что члены комитета в глубине души оказались нормальными зрителями. И все они, включая тех, кто при обсуждении выступал против, отдали свои голоса нашей комедии. Все-таки род человеческий, освобожденный от страха, догм и заклятий, не так-то уж плох!..



# Внутренний монолог. Стихи



## СТИХОТВОРЕЦ-ДЕБЮТАНТ

Я шел по опустошенному осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Где-то сиротливо каркали невидимые вороны. Я вышел на опушку. Передо мной покатым косогором стелилось поле. Рыжая стерня, схваченная инеем, серебрилась. На горизонте темнела узкая полоска дальнего леса. Крыши деревеньки высывались из-за косогора, на котором прочно стояли могучие двухэтажные стога. Освещение было тусклое, хмурое. Серо-синие низкие облака недвижно повисли над озябшим полем. Казалось, я нахожусь не в тридцати километрах от Москвы, а за тысячи верст, и живу не в двадцатом веке, а лет эдак двести назад.

Свежий сухой воздух покалывал щеки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг, сама собой, в голове возникла строчка:

У природы нет плохой погоды...

Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась вторая:

Каждая погода благодать...

Если учесть, что я уже более тридцати лет, со времен давней юности, не занимался стихосложением — это было странно. Я думал, что сейчас это наваждение пройдет, но вышло иначе. Неудержимо поползли следующие строки:

Дождь ли, снег... Любое время года  
Надо благодарно принимать...

Я удивился. Честно говоря, мне показалось, что строфа недурна. И вдруг случилось необъяснимое: строчки полезли одна за другой. Не прошло и двадцати минут, как стихотворение сочинилось само, не обращая на меня никакого внимания, как бы помимо моей воли.

Я быстро повернул домой, бормоча строчки, по-

вторяя их, так как боялся, что стихотворение забудется. Войдя в дом, я немедленно перенес все на бумагу.

Шел 1976 год. Мне как раз исполнилось сорок девять. До сих пор я имел дело с сочинением в рифму (не считая той самой юношеской тетрадки), только однажды, в 1961 году, когда писал сценарий «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Но тогда нужно было написать стихи «под Гладкова», чтобы они не выбивались из текстовой ткани пьесы и чтобы в них не было ничего самостоятельного, своего.

Например, эпизод, где Шура освобождает захваченного в плен французскими мародерами генерала Балмашева, посланца русского императора к фельдмаршалу Кутузову. После прыжка с дерева на крышу кареты Шура в гусарском костюме расправляется с кучером и, вскочив верхом на одну из запряженных в карету лошадей, угоняет экипаж с пленным генералом от французов. Доставив Балмашева на околицу деревни, где размещался штаб Кутузова, она распахивает дверцу кареты.

Г е н е р а л:

Благодарю вас, храбрый мой спаситель!  
Мою сердечную признательность примите.  
Но как смогли вы?!

Ш у р а (*подходит к своему коню, садится в седло*):

Все ведь обошлось...  
Здесь, в штабе, вы найдете все, что нужно.  
А мне пора... Простите! Служба...

Г е н е р а л:

Я государя адъютант, граф Балмашев.  
До скорой встречи, мой герой отважный!  
Отныне я навеки ваш должник.  
Но долго быть в долгу я не привык...  
Да... как зовут вас?

Ш у р а (*давая шпоры коню*):

Это, граф, неважно...

В следующий раз я тряхнул стариной в 1971 году — вместе с Зиновием Гердтом мы сочинили куплеты к семидесятилетию Михаила Ромма. Это были ку-

плеты «завистников», с мелодией, взятой на прокат у нищих, поющих в электричках, с нехитрой стилистикой, напоминающей кич. Аккомпанировал нам, кстати, Петр Тодоровский.

К примеру:

А как поступил юбиляр с Кузьминой?

Пусть знает советский народ:

он сделал артистку своею женою!

Все делают — наоборот!

Артисты меняют любовные фразы

от переполнения чувств.

А он с Кузьминой не развелся ни разу —

какой он работник искусств?!

Однако после этих двух стихотворных выплесков наступило глухое многолетнее стихотворное безмолвие, и не было никаких признаков того, что в душе зреют какие-либо поэтические ростки. Так продолжалось до тех пор, пока не родилось стихотворение «У природы нет плохой погоды...»

Потом изредка (очень редко!) меня посещало эдакое странное состояние души, в результате чего возникали небольшие стихотворения. Как правило, грустные. Даже горькие. Я объяснял это тем, что веселые, жизнерадостные силы я трачу в комедиях, а печаль тоже требует своего выражения, своего выхода. Может, это объяснение и не научно, но меня оно удовлетворяло.

Постепенно стихотворные «припадки» стали учащаться, и я даже завел большую, толстенную тетрадь, куда вписывал свои поэтические зигзаги. Иногда стихи рождались почти ежедневно, иной раз пауза длилась несколько месяцев. Я стал анализировать состояние, когда меня «посещала Муза», для того, чтобы потом попытаться вызвать искусственно аналогичное настроение. Но ничего из этого не получилось, стихи приходили или не приходили только тогда, когда этого хотели именно они, а не я. Вероятно, подобное свойство — первый признак дилетантизма, любительщины. Однако, честно признаюсь, очень хотелось напечататься, так сказать, встать вровень с профессиональными поэтами. У меня уже накопилось несколько десятков сти-

хотворений, о которых никто не подозревал. А мне очень хотелось проникнуть в толстое литературное периодическое издание! И я наконец решился! Составил подборку стихотворений (штук эдак пятнадцать) и отнес в журнал «Октябрь». Предстояла подлинная проверка моих поэтических данных. Меня, конечно, знали, но все-таки не как поэта. В этом качестве я представал впервые, пришел, в общем-то, с улицы. Как ни странно, редакция «Октябрь» решилась на этот рискованный шаг. Дело тянулось довольно долго. Стихи раздали всем членам редколлегии, они делали замечания, что-то выкидывали, что-то предлагали переделать. В конечном итоге было отобрано восемь стихотворений и одна эпиграмма — четверостишие. Я тут же предложил лихое название «Восемь с половиной»<sup>1</sup>. Но в «Октябре» работали люди серьезные, они предпочли более оригинальный заголовок. Впервые увидев экземпляр журнала, где было написано: «Эльдар Рязанов. Из лирики», я вздрогнул. Во-первых, это неординарное название стало для меня сюрпризом, а потом, так можно было, по моему мнению, назвать подборку стихов человека, который печатался неоднократно.

Итак, в десятом номере «Октября» за 1983 год состоялся мой поэтический дебют, состоялось, как я тогда думал, рождение поэта. И я начал ждать откликов. Признаться, я был избалован вниманием зрителей. После каждой киноленты, после каждой телевизионной передачи приходили и приходят сотни писем с отзывами, рецензиями, претензиями и похвалами. Чего только люди не пишут!

Но в данном случае царило полное молчание. Я понимал, что стихи могут не понравиться. Но тогда возникли бы негативные оценки. Не было никаких! Я не сказал ни одному человеку, включая друзей и знакомых, что теперь вроде бы являюсь профессиональным стихотворцем, меня ведь напечатали! Но надеялся, что кто-нибудь из приятелей или коллег узнает об этом самостоятельно и, в крайнем случае, хотя бы удивится.

<sup>1</sup> Такое же название носила великая кинолента Феллини.

Все-таки не каждый день кинорежиссеры публикуют собственные стихи! Не тут-то было! Конечно, неважное качество стихов могло способствовать стене безмолвия, но главный вывод, который я сделал: интеллигенция толстых журналов не читает. Я говорю не о нынешнем времени, когда никто не читает ничего, а о 1983 году. Я, честно говоря, не расстроился, ибо ставки на эту публикацию не делал никакой, ведь жил я не с этого. Ну, потешил тщеславие и доволен. Тем более я снимал в то время «Жестокий романс», был занят, уставал смертельно. И вскоре вообще позабыл об этом случае. Но стихи порой пописывал. Тогда, когда они сами, без спросу, посещали меня...

Постепенно мои рифмованные грехи стали попадаться на глаза читателям довольно часто — публикаций в разных журналах было изрядно. И когда меня в те годы на так называемых творческих вечерах спрашивали, почему это я вдруг ударился в поэзию, я выстроил достаточно стройную теорию. «Заниматься не своим делом, — объяснял я, — добрая традиция нашей интеллигенции. Недаром Евгений Евтушенко увлекся кинорежиссурой, а Роберт Рождественский стал вести телепередачу «Документальный экран». Что же касается Андрея Вознесенского, то он соорудил архитектурную часть памятника (автором был скульптор Зураб Церетели), посвященного 200-летию присоединения Грузии к России. Всем этим крупным поэтам, естественно, стало не до стихов. Они оказались заняты другими, более важными делами. И в нашей поэзии образовался некий вакуум. Кто-то должен был его заполнить. Этим «кем-то» оказался именно я. Если вдуматься, я попросту спасал отечественное стихосложение...»

...А осенью 1986 года я попал в Боткинскую больницу. Заболел. И не только в прямом смысле, но и в переносном. А именно, как бешеный, сочинял стихи. Каждый день. Иной раз и по два стихотворения на дню. Болезнь резко меняет психологию человека. Между здоровыми и больными как бы проходит некая незримая грань. Тем не менее граница эта очень строгая, жесткая. Здоровые этой черты, как правило, не замечают. Но больные ощущают свою ущербность и некое отторжение от остального

мира. И я целиком и полностью погрузился в мир болеющих. Это не значит, что все стихотворения, написанные в больнице, были печальными. Случались и шуточные, и озорные. Но самым удивительным для меня было то, что стихотворная энергия не скудела. Я не расставался с блокнотом и авторучкой, чтобы немедленно зафиксировать на бумаге буквально наседающие, обгоняющие друг друга строчки. Когда я перешел из Боткинской больницы в другую, откуда стал каждый день ездить на съемки «Забытой мелодии для флейты», поэтическая лихорадка кончилась. Я собрал все стихи, написанные за сентябрь 1986 года, и назвал их весьма скромно: «Боткинская осень». Стихотворения, помеченные сентябрем 1986 года, были написаны во время болезни...



## ПЕСНИ

\* \* \*

У природы нет плохой погоды!  
 Всякая погода — благодать.  
 Дождь ли, снег... Любое время года  
 надо благодарно принимать.

Отзвуки душевной непогоды,  
 в сердце одиночества печать  
 и бессонниц горестные всходы  
 надо благодарно принимать.

Смерть желаний, годы и невзгоды —  
 с каждым днем всё непосильней кладь.  
 Что тебе назначено природой,  
 надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,  
 и любви последней благодать,  
 как и дату своего ухода,  
 надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,  
 ход времен нельзя остановить.  
 Осень жизни, как и осень года,  
 надо, не скорбя, благословить.

*Музыка Андрея Петрова  
 Кинофильм «Служебный роман»*

\* \* \*

*Тане и Сереже Никитиным*

На пристани начертано:  
 «Не приставать, не чалиться!»  
 А волны ударяются о сваи, о причал.  
 Когда на сердце ветрено,  
 то незачем печалиться...  
 Нам пароход простуженный прощально прокричал,



На волнах мы качаемся  
под проливными грозами —  
ведь мы с тобой катаемся на лодке надувной.  
Зонтом мы укрываемся,  
а дождь сечет нас розгами,  
и подгоняет лодочку разбойник продувной.

Несет нас мимо пристани,  
старинной и заброшенной,  
но молчаливо помнящей далекие года,  
когда с лихими свистами,  
толкаясь по-хорошему,  
к ней прижимались белые холеные суда.

Начертано на пристани:  
«Не приставать, не чалиться!»  
А в общем, очень хочется куда-нибудь пристать...

Пусть будет, что предписано,  
пусть будет всё нечаянно,  
нам вместе так естественно, так свойственно дышать.

Мы в белой будке скроемся,  
с тобой от ливня спрячемся.  
Асфальт здесь обрывается, здесь прежде был паром.

Нет никого тут кроме нас.  
Дыхание горячее...  
И ветер надрывается от счастья за окном.

На пирсе намалевано:  
«Не приставать, не чалиться!»  
А в будке у паромщика нам, взломщикам, приют.

Здесь дело полюбовное,  
Всё кружится, качается...  
И к нам, как к этой пристани, пускай не пристают.

*Музыка Сергея Никитина*

\* \* \*

Живем мы что-то без азарта,  
однообразно, как в строю.  
Не бойтесь бросить всё на карту  
и жизнь переменить свою.

С Алисой  
Фрейндлих  
←

Какими были мы на старте!  
Теперь не то, исчезла прыть.  
Играйте на рискованной карте,  
не бойтесь жизнь переломить!

Пусть в голове мелькает проседь —  
не поздно выбрать новый путь.  
Не бойтесь всё на карту бросить  
и прожитое — зачеркнуть!

Из дома выйдя в непогоду,  
взбодрите дух, прищпорьте плоть.  
Не бойтесь тасовать колоду,  
пытайтесь жизнь перебороть!

В мираж и дым, в химеры — верьте!  
Пожитки незачем тащить.  
Ведь не уехать дальше смерти —  
стремитесь жизнь перекроить.

Печалиться не надо вовсе,  
Когда вам нечем карту крыть...  
Вы на кон бросить жизнь — не бойтесь.  
Не проиграв, не победить!

*Музыка Андрея Петрова*

*Кинофильм «Вокзал для двоих»*

С Андреем  
Петровым  
и Людмилой  
Гурченко

→

### РОМАНС ЛАРИСЫ

Я, словно бабочка к огню,  
стремилась так неодолимо  
в любовь — волшебную страну,  
где назовут меня любимой,  
где бесподобен день любой,  
где б не страшилась я ненастья.  
Прекрасная страна — любовь.  
Ведь только в ней бывает счастье...

...Пришли иные времена —  
тебя то нет, то лжешь не морщась.  
Я поняла, любовь — страна,  
где каждый человек — притворщик.  
Моя беда, а не вина,  
что я наивности образчик.



Любовь — обманная страна,  
и каждый житель в ней — обманщик.

Зачем я плачу пред тобой  
и улыбаюсь так некстати...  
Неверная страна — любовь.  
Там каждый человек — предатель.

Но снова прорастет трава  
сквозь все преграды и напасти.  
Любовь — весенняя страна  
и только в ней бывает счастье.

*Музыка Андрея Петрова  
Кинофильм «Жестокий романс»*

\* \* \*

Всё тороплюсь, спешу, лечу я...  
Всегда я в беге нахожусь,  
нехваткой времени врача  
во мне таящуюся грусть.

И все ж не вижу в этом смысла —  
жить, время вечно теребя...  
Куда бы я ни торопился,  
я убегаю от себя.

Ищу я новые занятия,  
гоню карьером свою жизнь,  
хочу ее совсем загнать я...  
Да от себя не убежишь!

*Музыка Александра Блоха*

\* \* \*

Мы не пашем, не сеем, не строим,  
мы гордимся общественным строем,  
мы бумажные, важные люди,  
мы и были, и есть мы, и будем.  
Наша служба трудна изначально,  
надо знать, что желает начальник,  
угадать, согласиться, не спорить  
и карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага,  
тут и гибкость нужна, и отвага:

Татьяна  
и Сергей  
Никитины

→



свою подпись поставь иль визу,  
 все равно что пройти по карнизу.  
 Нас не бьют за отказы, запреты,  
 мы, как в танках, в своих кабинетах.  
 Мы сгораем, когда разрешаем,  
 и поэтому всё запрещаем.

Нет прочнее бумажной постройки,  
 не страшны ей ветра перестройки.  
 Мы — бойцы, мы — службисты, солдаты  
 колоссальнейшего аппарата.  
 Мы бумажные, важные люди,  
 мы и были, и есть мы, и будем,  
 мы не пашем, не сеем, не строим,  
 мы гордимся общественным строем.

*Музыка Андрея Петрова*

*Кинофильм «Забятая мелодия для флейты»*

### ЛЮБОВЬ

Любовь готова всё прощать,  
 когда она — любовь.  
 Умеет беспредельно ждать,  
 когда она — любовь.

Любовь не может грешной быть,  
 когда она — любовь.  
 Ее немислимо забыть,  
 когда она — любовь.

Она способна жизнь отдать,  
 когда она — любовь.  
 Она — спасенье, благодать,  
 когда она — любовь.

Полна безмерной доброты,  
 когда она — любовь.  
 Она естественна, как ты,  
 когда она — любовь.

*Сентябрь 1986*

*Боткинская осень.*

*Музыка Андрея Петрова*

*Кинофильм «Привет, дуралеи!»*

**МОЛИТВА**

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть,  
дни летят в метельной круговерти.  
Жизнь — тропинка от рожденья к смерти,  
смутный, скрытный, одинокий путь.  
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!

Снег. И мы беседуем вдвоем,  
как нам одолеть большую зиму.  
Одолеть ее необходимо,  
чтобы вновь весной услышать гром.  
Господи, спасибо, что живем!

Мы выходим вместе в снегопад.  
И четыре оттиска за нами,  
отпечатанные башмаками,  
неотвязно следуя, следят.  
Господи, как я метели рад!

Где же мои первые следы?  
Занесло начальную дорогу,  
заметет остаток понемногу  
милостью отзывчивой судьбы.  
Господи, спасибо за подмогу!

*Музыка Андрея Петрова  
Кинофильм «Небеса обетованные»*

**РОМАНС**

Ты укрой меня снегом, зима,  
так о многом хочу позабыть я  
и отринуть работу ума...  
Умоляю тебя об укрытии.

Одолжи мне, зима, одолжи  
чистоты и отдохновенья,  
бело-синих снегов безо лжи...  
Я прошу тебя об одолженье.

Подари мне, зима, подари  
день беззвучный, что светит неярко,  
полусон от зари до зари...  
Мне не надо богаче подарка.

Поднеси мне, зима, поднеси  
отрешенности и смиренья,  
чтобы снес я, что трудно снести...  
Я прошу у тебя подношенья.

Ты подай мне, зима, ты подай  
тишину и печаль состраданья  
к моим собственным прошлым годам...  
Я прошу у тебя подаянья.

*Музыка Андрея Петрова.*

*На эти же стихи музыку написал и Александр Блок  
Кинофильм «Предсказание»*

\* \* \*

Мчатся годы-непогоды  
над моею головою...  
Словно не была я сроду  
кучерявой, молодой.

Едут дроги-недотроги,  
от тебя увозят вдаль,  
а покрытие у дороги —  
горе, слезы и печаль.

Эти губы-душегубы  
невозможно позабыть.  
Посоветуйте мне, люди,  
что мне делать, как мне быть.

Словно пушки на опушке  
учиняют мне расстрел.  
Мокрая от слез подушка,  
сиротливая постель.

Мои руки от разлуки  
упадают, точно плеть.  
От проклятой этой муки  
можно запросто сгореть.

Мчатся годы-непогоды  
над моею головой,  
словно не была я сроду  
кучерявой, молодой.

*Музыка Андрея Петрова*

*Кинофильм «Старые клячи»*

## ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Последняя любовь, как наваждение...  
 Как колдовство, как порча, как дурман.  
 Последний шанс на страсть и обновление,  
 прощальный утешительный обман.

В какие годы сердце горше плачет?  
 Увы, конечно, на исходе дней.  
 Любовь — загадка... Как она дурачит.  
 Не хватит жизни разобраться с ней...

Последняя любовь — мятежный случай, —  
 судьба шальная нас с тобой свела...  
 Всю жизнь мы порознь были невезучи —  
 тебя я ждал, и ты меня ждала...

Жизнь куролесит... Наворот событий,  
 сжимает сердце, голова пьяна...  
 И множество незнаемых открытий  
 мне дарит обретенная страна.

Последняя любовь, как завещанье:  
 прозрение, прощенье и прощанье.

*Музыка Андрея Петрова  
 Кинофильм «Старые клячи»*

\* \* \*

Хочется легкого, светлого, нежного,  
 раннего, хрупкого и пустопорожного,  
 и безрассудного, и безмятежного,  
 напроць забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,  
 в небо уставить глаза завидущие  
 и окунуться в цветочные запахи,  
 и без конца обожать все живущее.

Хочется видеть изгиб и течение  
 синей реки среди курчавых кустарников,  
 впитывать кожей солнца свечение,  
 в воду, как в детстве, сигать без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,  
 воздух глотать, словно ягоды спелые,

чтоб сумасбродно душа колобродила  
и чтобы сердце несло, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,  
хоть на мгновенье упасть в это *дальнее...*  
Только за все, что промчалось, заплачено,  
и остается расплата прощальная.

*Музыка Алексея Гарнизова*

*Кинофильм «Карнавальная ночь-2»*



## МУЗЫКА ЖИЗНИ

\* \* \*

Меж датами рожденья и кончины  
(а перед ними наши имена)  
стоит тире, черта, стоит знак «минус»,  
а в этом знаке жизнь заключена.

В ту черточку вместилось все, что было.  
А было всё! И всё сошло, как снег.  
Исчезло, растворилось и погубило,  
чем был похож и не похож на всех.

Погубило всё мое! И безвозвратно.  
Моя любовь, и боль, и маета.  
Всё это не воротится обратно,  
лишь будет между датами черта.

## МОНОЛОГ «ХУДОЖНИКА»

Прожитая жизнь — сложенье чисел:  
сумма дней, недель, мгновений, лет.  
Я вдруг осознал: я живописец,  
вечно создающий твой портрет.

Для импровизаций и художеств  
мне не нужен, в общем, черновик.  
Может, кто другой не сразу сможет,  
я ж эскизы делать не привык.

Я малюю на живой модели:  
притушил слезой бездонный взгляд,  
легкий штрих — глазищи потемнели,  
потому что вытерпели ад.

Я прорисовал твои морщины,  
в волосы добавил белизны.  
Натуральный цвет люблю в картинах,  
я противник басмы или хны.



Перекрасил — в горькую! — улыбку,  
два мазка — и ты нехороша.  
Я без красок этого добился,  
без кистей и без карандаша.

Ближих раним походя, без смысла,  
гасим в них глубинный теплый свет.  
Сам собою как-то получился  
этот твой теперешний портрет...

\* \* \*

Мы отпускаем тормоза...  
Кругом весна, в глазах раздолье!  
К нам собираются друзья,  
а мы готовимся к застолью.

Да будет день — из лучших дней!  
Пусть все из нас его запомнят.  
Мы в гости ждем своих друзей  
и открываем окна комнат.

Мы накрываем длинный стол,  
сердца и двери открываем.  
У нас сегодня торжество:  
мы ничего не отмечаем.

По кухне, где колдуешь ты,  
гуляет запах угощения.  
Бутылки жаждут пустоты,  
закуски ждут уничтоженья!

И вот друзья приходят в дом,  
добры их лица и прекрасны,  
глаза их светятся умом,  
а языки небезопасны.

А я давно хочу сказать —  
и тут не ошибусь, наверно, —  
что если судят по друзьям,  
то мы талантливы безмерно.

Да, если мерить по друзьям,  
то мы с тобой в большом порядке;  
нас упрекнуть ни в чем нельзя,  
нас миновали недостатки.

О, если по друзьям судить,  
то человеческий род — чудесен!..  
А нам наш день нельзя прожить  
без пересудов, шуток, песен.

Беспечно, как дымок, клубясь,  
беседа наша побежала,  
и почему-то на себя  
никто не тянет одеяла.

Стреляют пробки в потолок,  
снуют меж нами биотоки.  
Здесь совместимостей поток,  
в друзьях и сила, и истоки.

Подарку-дню пришел конец,  
и гости уезжать собрались.  
Незримой нежностью сердец  
мы между делом обменялись.

И вот друзья умчались вдаль,  
как удаляется эпоха...  
Остались легкая печаль  
и мысль, что и вдвоем — неплохо!

#### **ДЕТСКИЕ СТИХИ О РЯЗАНОВЕ, СОЧИНЕННЫЕ ИМ ЖЕ САМИМ**

Так что же такое Рязанов Эльдар?  
Расскажем о нем по порядку:  
Рязанов не молод, но он и не стар,  
не любит он делать зарядку.

Умеет готовить салат и омлет,  
гордится собой как шофером.  
В кино он работает множество лет,  
и там он слывет режиссером.

Врывается часто в чужие дома —  
ему телевизор отмычка —  
и любит поесть до потери ума,  
а это дурная привычка.

В одежде не франт, не педант, не эстет,  
как будто небрежна манера.  
Он просто не может купить туалет —  
увы! — не бывает размера.

Эльдар Александрович — из толстяков,  
 что рвутся худеть, но напрасно.  
 И если работа — удел дураков,  
 Рязанов — дурак первоклассный.

На склоне годов принялся за стихи,  
 себя не считая поэтом.  
 Имеет еще кой-какие грехи,  
 но здесь неудобно об этом.

В техническом смысле он полный дебил,  
 в компьютерный век ему трудно.  
 Но так получилось: он жизнь полюбил,  
 и это у них обоюдное.

Представьте, Рязанов удачно женат,  
 с женою живет он отлично.  
 Он любит друзей и хорошему рад.  
 И это мне в нем симпатично.

1982

\* \* \*

Ржавые иголки на снегу...  
 Значит, ветер после снегопада  
 сдунул с елок, словно шелуху,  
 то, что на ветвях держалось слабо.

Мы ведь тоже держимся едва.  
 Пожили... Порядком проржавели.  
 Как на карауле, деревья  
 ждут последней гибельной метели.

1985

### ДЕТСКИЙ РИСУНОК

Речку знобит от холода,  
 вздулась гусиной кожей,  
 серым дождем исколота,  
 не может унять дрожи.

В лодке парочка мокнет,  
 может, у них рыбалка.  
 Свет зажигается в окнах,  
 этих промокших жалко.

Возникли на лике речки  
от корабля морщины.  
Дым из трубы свил колечки,  
корабль проехал мимо.

Речка уставилась в тучи,  
небо упало в реку...  
Только не стало мне лучше,  
чудика-человеку.

1983

\* \* \*

Все я в доме живу,  
в том, который снесли и забыли;  
на работу хожу,  
ту, где должность мою упразднили;  
от мороза дрожу,  
хоть метели давно отшумели,  
и по снегу брожу,  
что растаял в прошедшем апреле.

1983

#### ПАМЯТЬ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как обычно, примчался под вечер  
легкий северо-западный ветер.  
Он принес разговоры и запахи,  
что случилось на северо-западе.  
Этот бриз — мой старинный приятель,  
он меня заключает в объятия,  
в ухо разные тайны бормочет,  
мы шушукаемся и хохочем,  
ходим-бродим по берегу запани,  
вспоминаем о северо-западе...  
А потом налетают жестоко  
ветры знойные с юго-востока,  
и меняется все в одночасье,  
убегает мой друг восвояси.  
И бреду я домой одиноко  
в душных струях, что с юго-востока.  
Жду, что завтра примчится под вечер  
свежий северо-западный ветер.

Соткан он из прохлады и влаги,  
он колышет истории флаги.  
Принесет дорогие известья,  
и опять мы закружимся вместе,  
перепутаем шорохи, запахи...  
Мое сердце на северо-западе.

#### АБСТРАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ

Я не то чтобы тоскую...  
Возьму в руки карандаш,  
как сумею нарисую  
скромный простенький пейзаж:

под водой летают галки,  
солнца ярко-черный цвет,  
на снегу кровавом, жарком  
твой прозрачный силуэт.

От луны в потоке кружев  
льется синенький мотив,  
и бездонный смелый ужас  
смотрит в белый негатив.

Дождь в обратном странном беге,  
чей-то невидимка-след.  
Тень огромная на небе  
от того, чего и нет.

1980

\* \* \*

Я в мир вбежал легко и без тревоги...  
Секундных стрелок ноги, семена,  
за мной гнались по жизненной дороге,  
да где там! — не могли догнать меня.

Не уступал минутам длинноногим,  
на равных с ними долго я бежал.  
Но сбил ступни о камни и пороги,  
и фору, что имел, не удержал.

Ушли вперед ребята-скороспелки,  
а я тащусь... Но все же на ходу.  
Меня обходят часовые стрелки, —  
так тяжело сегодня я иду.

Иступленно кланялись берёзы,  
парусил всей кроной ржавый дуб.  
Мужичонка, поутру тверёзый,  
разбирал трухлявый черный сруб.

Три дымка курилось над селеньем.  
Ветер покрутился и утих.  
Вдруг явилось сладкое виденье —  
возле клуба крытый грузовик.

Надпись на борту «Прием посуды»  
за литровку написал маляр...  
Вот пошли из всех калиток люди,  
мужики и бабы, млад и стар.

В валенках, в берете на затылке  
и по две авоськи на руке  
пер старик порожние бутылки  
к благодетелям в грузовике.

Шел верзила с детской коляской,  
бережно толкал перед собой;  
не дитя, а разные стекляшки  
голосили в ней наперебой.

Паренек в замызганной ушанке,  
явно не по детской голове,  
как бурлак, волок посуду в санках  
по осенней грязи и ботве.

Ерзали и звякали бутылки  
у старухи в рваной простыне.  
Где-то петухи заголосили,  
вороны сидели на стерне.

Тишина надмирная повсюду.  
Иней под подошвами шуршал:  
населенье шло сдавать посуду  
истово, солидно, не спеша.

Очередь безмолвная стояла.  
Все вращалась хмурая земля.  
А пустая, испитая тара  
возвращалась на круги своя.

## АПРЕЛЬ

По грязи чавкают шаги,  
шуршат о твердый наст подошвы,  
в ручьях я мою сапоги.  
Земля в чащобе — крик о прошлом.

Тут прошлогодних желтых трав  
торчат поломанные стебли,  
разбросан бурых листьев прах,  
и умирает снег последний.

Трухлявые сучки везде,  
на лужах ржавые иголки.  
И отражаются в воде  
немые, сумрачные елки.

Жизнь представляется порой  
какой-то конченной, далекой...  
Но под березовой корой  
пульсируют живые соки.

Согрет дыханием земным,  
лес оживет без проволоочки.  
Как с механизмом часовым  
дрожат на ветках бомбы-почки.

Где рядом почерневший снег,  
продрались трав зеленых нити.  
Лес замер, словно человек  
перед свершением событий.

Не слышно натяженья струн.  
Лес полон скрытого азарта,  
как победительный бегун,  
что сжат пружиной перед стартом.

Здесь бескорыстен птичий смех,  
здесь все в преддверии полета.  
Вдруг о себе напомнил век  
далеким гулом самолета.

Я выпустил из рук тоску  
в весенний ветер непослушный...  
А по последнему ледку  
скакали первые лягушки.



### БЕССОННИЦА

Слышно — шебуршат под полом мыши,  
сквозь окно сочится лунный свет.  
Плюхнулся на землю с елки снег,  
от мороза дом кряхтит и дышит.  
Скоро рассветет, а сна всё нет.

Извертелся за ночь на подушке,  
простыни в жгуты перекрутил,  
а потом постель перестелил  
и лежал недвижимый и послушный,  
огорчаясь ссорами светил.

Всё не спал и видел хаотичный  
о себе самом престранный фильм:  
я герой в нем, но герой в кавычках.  
Нету сил послать к чертям привычки,  
взять и отмочить неожиданный финт.

Вот летаю с кем-то до рассвета...  
Вижу, что безделье мне к лицу...  
Вот целую руку подлецу...  
Скачет фильм по рваному сюжету.  
Жаль, что к несчастливому концу...

Проскрипела за окном береза,  
на полу сместился синий блик.  
В пустоте безмолвен горький крик  
и шумят задушенные слезы...  
Это, видно, сон меня настиг.

1985

### МУЗЫКА ЖИЗНИ

Что жизнь? Музыкальная пьеса:  
соната ли, fuga иль месса,  
сюита, ноктюрн или скерцо...  
Там ритмы диктуются сердцем.  
Пиликает, тренькает, шпарит,  
бренчит иль бывает в ударе,  
играется без остановки.  
Меняются лишь оркестровки...

Ребячие годы прелестны,  
хрустальны, как отзвук челюсты.  
Потом мы становимся старше,  
ведут нас военные марши,  
пьяняще стучат барабаны,  
зовущие в странные страны.  
Но вот увенчали нас лавры —  
грохочут тарелки, литавры,  
а как зажигательны скрипки  
от нежной зазывной улыбки.  
Кончается общее «тутти»,  
не будьте столь строги, не будьте:  
мелодию — дивное диво  
дудим мы порою фальшиво.  
Проносится музыка скоро  
под взмахи судьбы — дирижера...  
Слабеют со временем уши,  
напевы доносятся глуше,  
оркестры играют все тише...  
Жаль, реквием я не услы...

\* \* \*

Жизнь скоро кончится... Меня не станет.  
И я в природе вечной растворюсь.  
Пока живут в тебе печаль и память,  
я снова пред тобою появлюсь.  
Воскресну для тебя, и не однажды:  
водою, утоляющею жажду,  
прохладным ветром в невозможный зной,  
огнем камина ледяной зимой.  
Возникну пред тобой неоднократно, —  
закатным, легким, гаснущим лучом  
иль стаей туч, бегущих в беспорядке,  
лесным ручьем, журчащим ни о чем.  
Поклонится с намеком и приветом  
кровавая рябиновая гроздь,  
луна с тобою поиграет светом  
иль простучит по кровле теплый дождь.  
Ночами бесконечными напомнит  
листва, что смотрит в окна наших комнат.

Повалит наш любимый крупный снег —  
ты мимолетно вспомнишь обо мне.  
Потом я стану появляться реже,  
скромнее надо быть, коль стал ничем.  
Но вдруг любовь перед тобой забрезжит...  
И тут уж я исчезну насовсем.

### **ЗИМА**

Город маревом окутан,  
весь обвязан и опутан  
проводами белыми.  
Стужа забирает круто —  
всё заиндевелое.

На заснеженной коряге,  
словно кляксы на бумаге,  
коченеют вороны  
и зрачки сквозь призмы влаги  
крутят во все стороны.

Не пробиться сквозь туманы,  
воздух плотный, оловянный,  
атмосфера твердая.  
Холодрыга окаянный  
обжигает морды.

Мир — огромная могила.  
Всё погибло, всё застыло.  
Тишь! Ледовая беда!  
Кажется, что эта сила  
не отгадет никогда.

Тело до костей промерзло,  
больше не согреется.  
Черное воронье кодро  
тоже не надеется.

\* \* \*

Ветер закружился над деревней,  
хищный ветер из холодной мглы...  
Завздыхали бедные деревья,  
закачались голые стволы.

Сокрушенно наклонялись елки —  
шум верхушек, шелест, шорох, стон...  
Словно где-то ехал поезд долгий  
под какой-то затяжной уклон.

Слезы с веток сыпались на крышу,  
сучья глухо падали в траву.  
Этот безутешный шепот слышу,  
с чувством сострадания живу.

*12 апреля 1986*



**БОТКИНСКАЯ ОСЕНЬ**

\* \* \*

О, эта неуверенность в глазах,  
приниженность, готовность к нездоровью,  
запрятанный в зрачках привычный страх,  
что всякий раз судьба ответит болью.

Какая цепь несчастий, неудач,  
болезней, слабостей, невезений  
создала лики, где запрятан плач?..  
В них — стыд и горесть самоунижений.

Просительны фигуры, голоса,  
бездонны годы тихого страдания...  
Я взгляды отвожу, а их глаза  
участья просят, словно подаянья.

А после долго чувствую спиной,  
что здесь постыдна самооборона.  
И я иду, подстреленный виной,  
и тщусь забыть... Как муторно, как скорбно!

*Сентябрь 1986*

\* \* \*

Вроде, и друзей довольно,  
вроде, многими любим.  
Только, как мне стало больно,  
оказался я один.

Все куда-то подевались,  
разбежались кто куда.  
Мы с тобой вдвоем остались,  
значит, горе — не беда.

Очутился в лазарете  
на больничной простыне,  
и в лицо дохнуло смертью,  
вроде я уже извне.

Коль пора поставить точку,  
ставь без злобы, не ропща.  
Умираем в одиночку,  
веселились сообща.

*Сентябрь 1986*

### **ПРОЩАНИЕ**

В старинном парке корпуса больницы,  
кирпичные, простые корпуса...  
Как жаль, не научился я молиться,  
и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,  
листве погибшей скоро быть в снегу.  
Я весь в разброде, не сосредоточен,  
принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,  
куда пойдет и чем закончит век?  
Как умирает праведно природа,  
как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться...  
Прощайте, запахи и голоса,  
цвета и звуки, дорогие лица,  
кирпичные простые корпуса.

*Сентябрь 1986*

### **МОИ ВЕЩИ**

#### **ТРИПТИХ**

#### **МОИ БОТИНКИ**

Нет ничего милей и проще  
протертых, сношенных одежд.  
Теперь во мне намного больше  
воспоминаний, чем надежд.

Мои растоптанные туфли,  
мои родные башмаки!  
В вас ноги никогда не пухли,  
вы были быстры и легки.

В вас бегал я довольно бойко,  
 быть в ногу с веком попевал.  
 Сапожник обновлял набойки,  
 и снова я бежал, бежал.

В моем круговороте прошлом  
 вы мне служили как могли:  
 сторали об асфальт подошвы,  
 крошились в лужах и в пыли.

На вас давил я тяжким весом,  
 вы шли дорогою потерь.  
 И мне знакома жизнь под прессом,  
 знакома прежде и теперь.

Потом замедлилась походка —  
 брели мы, шаркали, плелись...  
 Теперь нам не догнать молодку,  
 сошла на нет вся наша жизнь.

Вы ныне жалкие ошметки,  
 и ваш хозяин подустал.  
 Он раньше на ходу подметки,  
 но не чужие, правда, рвал.

Вы скособочены и кривы,  
 и безобразны, и жутки,  
 но, как и я, покамест живы,  
 хоть стерлись напрочь каблукки.

Жаль, человека на колодку  
 нельзя натянуть, как башмак,  
 сменить набойку иль подметку,  
 или подклеить кое-как.

Нет ничего милей и проще  
 потертых, сношенных вещей,  
 и, словно старенький старьевщик,  
 смотрю вперед я без затей.

#### **МОЯ РУБАШКА**

Моя бывалая рубашка  
 всегда на пузе нараспашку —  
 ты как сестра иль верный брат;

погончики и два кармашка,  
была ты модною, бедняжка,  
лет эдак семь тому назад.  
Была нарядной и парадной,  
премьерной, кинопанорамной,  
пока не сделалась расхожей,  
такой привычной, словно кожа.  
С тобой потели не однажды,  
и мерзли, мучались от жажды,  
и мокли, и глотали пыль,  
снимая вместе новый фильм.  
Ты к телу ближе всех, конечно.  
Но, к сожаленью, ты не вечна.  
Не мыслю жизни без подружки,  
тебя люблю, к тебе привык.  
От стирки, глажки и утюжки  
на ладан дышит воротник,  
от старости расползся край,  
да и манжеты с бахромой.  
С тобой веду себя ужасно:  
вся пища капает на грудь,  
теряю пуговицы часто  
и рву по шву... какая жуть!  
Моя вторая оболочка!  
Мне без тебя не просто жить,  
а мне велят поставить точку:  
лохмотья стыдно, мол, носить.  
Не понимает нашей дружбы  
жена, что тоже мне нужна.  
Рубашек стильных мне не нужно,  
моя привязанность верна.  
Женой ты сослана на дачу.  
В тебе ходил я по грибы.  
А вот сегодня чуть не плачу  
от рук безжалостной судьбы.  
Конец! Разорвана на тряпки!  
Тобою трут автомобиль.  
А я снимаю в беспорядке  
в рубашке новой новый фильм!

## МОЯ ШАПКА

Воспета мной моя рубаха,  
сложил я песнь про башмаки.  
Готов для третьего замаха.  
Чему же посвятить стихи?  
Какую вещь избрать в герои:  
пальто ли, свитер иль пиджак?  
Решенье трудное, не скрою,  
тут не поступишь абы как.  
Я не богач в экипировке,  
но все ж и не из голытьбы.  
А если взять трусы? Неловко...  
Я опасаясь лакировки  
и, грешным делом, похвальбы.  
Итак, решительно отпали  
трусы невиданной красы.  
Вдруг вспомнил я, что на развале  
в Венеции на Гранд Канале  
купил шапчонку за гроши.  
Чужая голова — потемки,  
но не для красочной шапчонки  
с помпоном красным! Сильный стиль!  
Кокетливая, как девчонка,  
родной ты стала, как сестренка,  
мелькала, словно флаг, на съемках,  
когда рождался новый фильм.  
Жила ты у меня в кармане,  
нам было вместе хорошо.  
Лысели оба мы с годами,  
но тут тебя я обошел.  
Познала ты мои секреты,  
и помышленья, и обеты,  
что удалось — не удалось,  
мои вопросы и ответы,  
тебе известно всё насквозь.  
Ты на башке сидела ловко  
с самосознанием красоты.  
А сколь пуста моя головка —  
про это знали я да ты...  
Меня всегда ты покрывала  
в обоих смыслах. В холода,

как верный друг, обогрела,  
со мною ты была всегда.  
Себя я чувствую моложе,  
когда на кумполе помпон.  
А мне твердят со всех сторон:  
такое вам носить негоже,  
мол, на сатира вы похожи,  
а умудрен да убелен...  
Но мне солидность не по нраву,  
мне райской птицей не бывать.  
В стандартную не вдеть оправу...  
А может, нечего вдевать?  
К свободе дух всегда стремился,  
повиновенья не сносил...  
Ужель лишь в шапке проявился  
бунтарский мой, шершавый пыл?

Р. С. Пора кончать стихи о шмутках,  
пора переходить к делам,  
забыв о худосочных шутках  
и баловстве не по годам.

*Сентябрь 1986*



**НЕ МНОЖУ Я ЧИСЛО ДРУЗЕЙ****СУМЕРКИ**

Сумерки — такое время суток,  
краткая меж днем и ночью грань,  
маленький, но емкий промежуток,  
когда разум грустен, нежен, чуток,  
и приходит тьма, куда ни глянь.

Сумерки — такое время года,  
дождь долдонит, радость замерла,  
и, как обнаженный нерв, природа  
жаждет белоснежного прихода,  
ждет, когда укроет всё зима.

Сумерки — такое время века,  
неохота поднимать глаза.  
Там эпоха тащится калекой,  
человек боится человека  
и, что было можно, всё нельзя.

Сумерки — такое время жизни,  
что заемным греешься огнем,  
но добреешь к людям и отчизне.  
При сплошной вокруг дороговизне  
сам ты дешеветь с каждым днем...

Сумерки — такое время суток,  
между жизнью и кончиной грань,  
маленький, но емкий промежуток,  
когда взгляд размыт, печален, чуток,  
и приходит тьма, куда ни глянь.

1989

\* \* \*

Я ничему так не бываю рад,  
как появлению стихотворенья,  
и принимаю это каждый раз,  
как дар, как счастье, как благословенье.

Непредсказуем стихотворный взрыв,  
живешь в сплетенье мыслей, дел, поступков.  
И вдруг из хаоса родившийся мотив  
дробит тебя на части, как скорлупку.

Неуправляем и необъясним  
порыв души — процесс стихосложения.  
Как будто кто ведет пером твоим,  
как будто это лавы изверженья.

Потом бывает долгий перерыв.  
Стихов, конечно, не писал я сроду!  
Какая лава там?.. Перо?.. Мотив?..  
Но вдруг опять ко мне добра природа.

\* \* \*

На могучей реке, полновластной,  
с неустанным теченьем воды,  
жили бакены — белый и красный,  
охраняя суда от беды.

Корабли шли и ходко, и смело,  
хоть порой и коварна река,  
так как бакены — красный и белый —  
путь указывали издалека.

Ночь спустилась, сгустилась опасность,  
берегов не видать у реки,  
но два бакена — белый и красный —  
зажигают огни-маяки.

Их огни одинаково разны,  
и, как только пройдет пароход,  
подмигнет другу белому красный,  
белый красному другу моргнет.

Что с того, что один из них белый,  
а другой в красный выкрашен цвет:  
половинки единого целого,  
в них различия, в сущности, нет.

Оба служат в одном пароходстве,  
оба — бакены, оба — равны.  
Не ищите, пожалуйста, сходства  
с биографией нашей страны.

\* \* \*

Ты, как дом с пооблезшим фасадом,  
с потускневшими окнами глаз.  
Неказист с новостройками рядом,  
что витринно блестят напоказ.

У тебя с чердаком не все ладно —  
паутина там, рухлядь и хлам.  
Стало делать уборку накладно,  
а ремонт — это жуть и бедлам.

Между тем перекрытья подгнили,  
кое-где отложения пыли,  
коридоры, углы и чуланы  
населяют — увы! — тараканы.

Поистерлись от времени трубы,  
электричество вяло горит,  
и о прежних жильцах-жизнелюбах  
ничего уже не говорит.

Шутки, песни, признанья и сказки  
отзвучали и стерлись следы.  
Стены нынче в ободранной краске,  
да и нету горячей воды.

Был неплохо построен когда-то,  
много буйных годков перенес.  
Да, видать, приближается дата,  
когда всех нас отправят на снос.

Мы — дома с неприглядным фасадом  
и усталыми окнами глаз.  
Чтоб не портить нарядность парада,  
на задворки задвинули нас...

\* \* \*

Я желал бы свергнуть злое иго  
суеты, общенья, встреч и прочего.  
Я коплю, как скряга и сквалыга,  
редкие мгновенья одиночества.

Боже, сколько в разговорах вздора,  
ни подумать, ни сосредоточиться.

Остается лишь одна опора —  
редкие мгновенья одиночества.

Меня грабят все, кому в охоту,  
мои дни по ветру раскурочены.  
Я мечтаю лечь на дно окопа  
в редкие мгновенья одиночества.

Непонятно, где найти спасенье?  
Кто бы знал, как тишины мне хочется!  
Удалось сложить стихотворенье  
в редкие мгновенья одиночества.

\* \* \*

Оцепенелая зима!  
От белизны сойти с ума.  
Стога под крышами из снега  
под светло-серой сферой неба.

Мелькают ярких лыжниц пятна,  
душа, как поле, необъятна.  
Упала под уклон лыжня,  
скольжение влечет меня.

Я за тобою следом еду,  
бездумно за тобой качу.  
О пораженьях и победах  
я помнить вовсе не хочу.

Заиндевелые деревья,  
как ювелирные изделия,  
где только чернь и серебро.  
В природе тишина, добро,  
спокойствие, благословенье...  
О счастья редкие мгновенья!

\* \* \*

Я, к горести своей, не знаю предков,  
кто были прадед, бабушка иль дед?  
Нет памяти, утрачено наследство,  
потеряно в глубинах страшных лет.

Свирепый век порушил эти связи.  
Инстинкт продленья рода истребил.  
Хотел подняться я из грязи в князи  
и потому детей не наплодил.

Жаль, внуков нет, что помнить меня будут  
и кровь мою нести через года.  
Я человек, пришедший ниоткуда,  
и горько, что иду я в никуда.

1985

### КОРОТКОМЕТРАЖКИ

\* \* \*

Нету веры.  
И нет уверенности,  
лишь примеры  
моей потерянности...  
Хоть ты тресни  
от своей ненужности.  
Бег на месте —  
и тот по окружности.

\* \* \*

Сколько лет участвовал я в беге!  
Спрессовалось прошлое в комок,  
а теперь, когда вблизи порог,  
не пора ль задуматься о небе  
и осмыслить жизненный урок.

\* \* \*

Жить с ощущениями вины  
и бестолковой жизни — трудно.  
Чтоб не было в душе войны,  
мы загоняем боль в предсны,  
туда, где мы себе подсудны...

\* \* \*

На панихидах и поминках  
проходят дни и вечера,  
как тренировка иль разминка —  
мол, скоро и тебе пора.



**Телеграмма Оресту Верейскому  
в день рождения**

Без тебя, Орик,  
хлеб горек,  
водка сладкая,  
а жизнь — гадкая.

*20 июля 1984*

\* \* \*

К поэзии манила непогода...  
Но на себя я не возьму греха.  
Живой подстрочник, черновик природы  
любого совершеннее стиха.

\* \* \*

Он — полурусский, полужид,  
полусоветский, полуконтра.  
О, как ему несладко жить,  
обороняясь на два фронта.

*1984*

\* \* \*

Я каждую минутой дорожу:  
я исключил из жизни все собрания,  
симпозиумы, съезды, заседания  
и приготовленных ладоней не держу  
для бурного рукоплесканья.

*Март 1983*

**ВЕТЕР**

Было тихо в белом свете,  
свет стал белым от зимы...  
Вдруг примчался шалый ветер —  
устроитель кутерьмы.

Впереди неслась поземка  
хулиганскою ордой,  
а за нею ветер звонкий,  
крепкий, смелый, молодой.  
Ветер был озорником —  
рвался нагло в каждый дом.

Он в лицо плевался колко,  
он раздел от снега елки,  
молотил метелью в окна  
так, что дом стонал и охал.  
Ветер был самоуверен —  
дул в разнузданной манере.  
Он вломился, как налетчик,  
оборвал все провода.  
В коридоре умер счетчик,  
в кране кончилась вода.  
Электричества нет в избах,  
мы не смотрим телевизор,  
мы живем теперь при свечке,  
раздуваем жар у печки.  
Ветер груб и неумерен —  
выл в разнузданной манере.  
Налепил кривых сугробов,  
не проехать, не пройти,  
на нехоженных дорогах  
ни тропинки, ни пути.  
Издавая хамский посвист,  
скорый ветер отбыл в гости  
то ль на север, то ль на юг...  
А потом вернулся вдруг!  
Мы и охнуть не успели,  
снова заскрипели ели.  
Ветер продлевал бесчинства  
и чинил большие свинства,  
сыпал манкою из снега  
так, что потемнело небо,  
вздыбил саван-покрывало,  
буря гикала, плясала,  
ветер гадко хохотал.  
Наконец, и он устал.  
Иль дебоша устыдился,  
лег в лесу, угомонился.  
Взвесил свою жизнь, подумал.  
И от огорченья умер.  
Снова тихо в белом свете...  
Только жаль, что умер ветер.



\* \* \*

В трамвай, что несется в бессмертье,  
попасть нереально, поверьте.  
Меж гениями — толкотня.  
И места там нет для меня.

В трамвае, идущем в известность,  
ругаются тоже, и тесно.  
Нацелился было вскочить,  
да черт с ним, решил пропустить.

А этот трамвай до Ордынки.  
Я впрыгну в него по старинке,  
повисну опять на подножке  
и в юность вернусь на немножко.

Под лязганье стрелок трамвайных  
я вспомню подружек случайных,  
забытых товарищей лица.  
И с этим ничто не сравнится!

*Сентябрь 1986*

\* \* \*

Где Камергерский встретился с Тверскою,  
на том углу,  
впервые ты сказала мне такое:  
— Я вас люблю!

И в первый раз поцеловала  
там на виду  
и навсегда околдовала...  
А я все жду  
покорно, сумасшедше и мятежно,  
тоску тая,  
когда придешь ко мне и скажешь нежно:  
— Я вся твоя!

Но не пришла и не сказала  
мне на беду...  
Надежда умерла, устала.  
Теперь не жду...

*1989*



\* \* \*

Нине

Когда я просто на тебя смотрю,  
то за тебя судьбу благодарю.

Когда твоя рука в моей руке,  
то всё плохое где-то вдалеке.

Когда щекой к твоей я прислонюсь,  
то ничего на свете не боюсь.

Когда я глажу волосы твои,  
то сердце замирает от любви.

Когда гляжу в счастливые глаза,  
то на моих от нежности слеза.

Как то, что чувствую, пересказать?  
Ты мне жена, сестра, подруга, мать.

Не существует безупречных слов,  
что могут передать мою любовь.

И оттого, что рядом ты со мной,  
я — добрый, я — хороший, я — живой.

Стих этот старомоден, неказист  
и слишком прост, но искренен и чист.

С улыбкой светлой на тебя смотрю,  
и жизнь, что вместе мы, благодарю.

1985

**НА ОТДЫХЕ**

У природы нет плохой погоды —  
написал я много лет назад.  
Столько я упреков от народа  
выслушал, что сам себе не рад.

Был моложе, веселей, беспечней,  
не страшился я держать ответ.  
Болтанешь, как будто плюнешь в вечность,  
ан обратно уж дороги нет.

Да и мне не скрыться от судьбины:  
отдых! Я приехал на курорт!  
Три недели страшной холодины,  
дождь на нас чихал, как злоущий черт.

Нина  
←

Мнимый парадокс весьма опасен,  
фраза прилепилась, как печать.  
Я и сам с собою не согласен,  
я хочу при солнце отдыхать.

Штормы, вихри, смерчи, ураганы,  
зной, буран, самум и снегопад,  
я скажу вам, очень не желанны.  
Я беру свои слова назад!

Отрекаюсь от своей ошибки,  
забираю эту песню вспять.  
У природы — редкие улыбки!  
Только их и надо привечать.

Жизнь идет, сменяя цикл за циклом.  
Ну, какая старость благодать?!  
А меня и эту беспринципность  
надо понимать и принимать.

1989

#### МОНОЛОГ УЧАСТНИКА МАССОВЫХ СЪЕМОК

Я снимаюсь тридцать лет в массовке,  
у меня, считайте, юбилей.  
Мне платили в день по трехрублевке,  
а теперь — аж по пяти рублей.

Я носил немецкие мундиры,  
ватники и фраки надевал,  
я бывал и красным командиром,  
но за белых тоже воевал...

Чтоб подзаработать хоть немного,  
я в массовку как-то заскочил.  
И застрял! Вот так кинематограф  
жизнь мою обжег и погубил.

Съемки шли. Мне было интересно.  
Верил, что еще сыграю роль.  
Но судьба поставила на место:  
и в кино, и в жизни — не герой!

Наважденье кончилось не скоро,  
шашкой дымовой горели дни.  
На меня орали режиссеры,  
материли кинохолуи.

Но упрям! И не терял я веры.  
Как-то раз мне дали эпизод.  
Я вложил всю душу! В день премьеры  
в Дом кино влез через черный ход.

Этот вечер помню и поныне,  
мелочей не стерли и года...  
Эпизода не было в помине,  
вырезан был кем-то навсегда.

Продолжал мелькать я на экране,  
и потел, и мерз, и хлопотал,  
но всегда я был на заднем плане,  
на передовую не попал.

Чередую шли кинокартины.  
В вечном ожиданье перемен  
я прожил средь слез из глицерина,  
бутафорских стен, актерских сцен.

Оптимизм растаял, словно свечка.  
Безнадега. Нищета. И злость.  
Не сказал я в кадре ни словечка.  
И за кадром тоже не пришлось.

Я — никто! Статист я из массовки.  
Кинозвезд снимаю я тайком  
и за фото их беру рублевки,  
чтоб не слыть уж полным дураком.

Больше мне надеяться не стоит,  
что осталось, надо доиграть.  
Жизнь моя снята на целлулоид,  
только там ее не отыскать.

Ну и пусть! Бухгалтер из конторы  
тоже для меня не идеал.  
Если мне предложат жизнь повторно,  
я б на жизнь его не променял.

1987

\* \* \*

Воспоминанья зыбки, хрупки...  
Их память прячет, хороня.  
Теперь живут мои поступки  
отдельной жизнью от меня.

Всех дел своих уж не припомню,  
они — давно, они — везде.  
И, словно брошенные комья,  
круги пускают по воде.

Они меняют цепь событий,  
рождают действия других...  
Пусть за зазнайство жесткий критик  
не посчитает слов моих.

Но чью-то участь чуть иначе  
закрутит... Только чью и где?  
И даст ли это «чуть» удачу?  
Кого-то приведет к беде?

В неведомом далеком крае  
кому-то горе причину...  
И не узнаю, не узнаю, —  
какое, где и почему?

Бывал я смелым и несмелым,  
добро вершил и нагрешил.  
Случалось, лучшим было дело,  
которое не совершил.

Теперь тем хвастаюсь, тем каюсь,  
что учинил, в чем устоял.  
Хоть я и не за всё ручаюсь, —  
нарочно зла не учинял.

Да, обошлось не без уступок...  
В душе немало ссадин, ран.  
Пусть каждый прошлый мой поступок  
летит в меня, как бумеранг.

1986

### ПОРТРЕТ

Так что же такое портрет человека?  
Лицо, на котором отметины века.  
Зарубки судьбы и следы проживания,  
что требуют стойкости, сил и страдания...

Где глаз синева, чуб курчавый и статность?  
Куда-то растаяло всё без остатка.  
Возьмем этих щек худосочную бледность —  
ее рисовала извечная бедность,

и эта угрюмая резкая складка  
у губ залегла, когда стало несладко,  
когда он отца проводил до погоста...  
Быть юным, но старшим — непросто, непросто.

Потом на работах сгибался он часто  
от окриков хамов, что вышли в начальство,  
всё горбился, горбился и стал согбенным.  
А эта морщина возникла мгновенно,  
прорезалась сразу от женской измены.  
Предательство друга, поклепы, наветы —  
он чуть в лагерь не поехал за это.  
Прокралась безвременно прядь седины!

А дальше пешком по дорогам войны,  
где горюшка он до краев нахлебался,  
но все ж повезло, и в живых он остался.  
С тех бед на лице его сетка морщин —  
для этого множество было причин.  
Вернулся в поселок хромым инвалидом,  
по тем временам женихом был завидным:  
рожденье ребенка и смерть молодухи —  
резон, чтобы влить в себя ведра сивухи.  
И всё не кончалась пора голодухи...  
По ложным призывам в трудах бесполезных  
мелькали одна за другою години,  
подкрались, как свойственно летам, болезни,  
и шли в наступленье седины, седины.

Есть пенсия, дочка, внучок, огороδικ  
и сад, где он всякую зелень разводит.

Ее он разносит по дачам клиентов —  
торговцев, начальников, интеллигентов.  
Работы, заботы, болезни, утраты,  
за то, чтобы жить, — непомерная плата.

Кончается жизнь и в преддверии гроба  
не ведает чувства такого, как злоба.  
Все стерпит, снесет, донесет до конца...  
Я в жизни не видел прекрасней лица  
со скромной, великой, простой красотой,  
смирением, кротостью и добротой.

## УХОДЯЩАЯ НАТУРА

### СМЕНА ВОЗРАСТА

Как постепенна смена возраста  
и как расплывчаты приметы.  
В усталой и осенней взрослости  
бушуют отголоски лета.

Но вот придвинулось предзимье...  
И, утренним ледком прихвачено,  
вдруг сердце на момент застынет.  
А в нас еще весна дурачится.

Такая вот разноголосица,  
смешные в чем-то несуразности:  
и детства отзвуки доносятся,  
и смерть кивает неотвязная.

1987

\* \* \*

Как хорошо порою заболеть,  
чтоб бег прервать, единственное средство.  
Под одеяло теплое залезть  
и вспомнить, как болел когда-то в детстве.

Там за окном зима — весь мир замерз.  
Пьешь с горькой миной сладкую микстуру  
и на тревожный матери вопрос  
плюсуешь ты себе температуру.

Высовываешь белый свой язык,  
«а» говоришь, распахивая горло,  
и взглядом, отрешенным от живых,  
даешь понять, мол, руки смерть простерла.

Как сладостно себя до слез жалеть,  
в мечтах готовить жуткие сюрпризы:  
взять и назло всем близким умереть,  
чтоб больше не ругали за капризы.

Вообразить — кладут тебя во гроб,  
 мать вся в слезах, дружки полны смиренья.  
 И бьет по телу россыпью озноб,  
 как предвкушенье будущих крушений.

Дней через пять, к несчастью, ты здоров.  
 Укутали и вывели на солнце,  
 и ты забыл обиды, докторов.  
 А мысль о смерти спит на дне колодца.

\* \* \*

Я всё еще, как прежде жил, живу,  
 а наступило время отступленья.  
 Чтобы всю жизнь держаться на плаву,  
 у каждого свои приспособленья.

Я никогда не клянчил, не просил,  
 карьерной не обременен заботой.  
 Я просто сочинял по мере сил  
 и делал это с сердцем и охотой.

Но невозможно без конца черпать —  
 колодец не бездонным оказался.  
 А я привык давать, давать, давать.  
 И, очевидно, вдрызг поиздержался.

Проснусь под утро... Долго не засну...  
 О, как сдавать позиции обидно!  
 Но то, что потихоньку я тону,  
 покамест никому еще не видно.

Богатства я за годы не скопил,  
 порою жил и трудно, и натужно.  
 В дорогу ничего я не купил.  
 Да в этот путь и ничего не нужно.

1988

### КРУГОСВЕТКА

Говорит старуха деду:  
 — Я в Америку поеду!  
 — Ах ты, старая балда,  
 Туда не ходят поезда!

*Частушка*

С другом старым я расстался,  
 влез в отцепленный вагон...

И поехала вдруг станция,  
заскользил назад перрон.

Мягко двинулись березы,  
шаг ускорили столбы...  
Чуть не навернулись слезы —  
знак обманчивой судьбы.

Я теперь уже не нужен,  
как исчерпанная мысль.  
Городки бежали дружно,  
переезды пронеслись.

Отпивал я помаленьку  
железнодорожный чай,  
мимо мчались деревеньки,  
проезжал родимый край.

Что за странность? Что за диво?  
Поезд без локомотива.  
И не поезд, а вагон —  
ни к чему не прицеплён.

Все стремительней стучали  
в беге гулкие мосты.  
И отъехали печали,  
и растаяли мечты.

Вдруг какой-то городишко  
встал у моего окна:  
заграничные людишки  
и чужая речь слышна.

А потом опять галопом  
сквозь рассветы и туман  
проскакала вся Европа...  
За окошком — океан!

Свирепеют злые штормы,  
волны небывалой формы,  
выше крыши, больше нормы,  
и в поклонах корабли.

А вагон стоит упорно.  
Качки нет. И нет земли.

В том отцепленном вагоне  
удивительный покой,  
а вокруг меня в разгоне  
раскрутился шар земной.

После океанской порки  
материк притормозил...  
Ноги я размял в Нью-Йорке,  
кое-что сообразил.

Завертелась вновь пружина.  
Проскочил в один момент  
экзотической картиной  
азиатский континент.

Семеняли государства,  
суетились города.  
Не успев сказать им «здравствуй»,  
я прощался навсегда.

Проявились вновь заботы,  
завершался круг судьбы.  
Круг беды или почета?  
Шаг замедлили столбы.

Снова город мой вернулся,  
скатертью лежит перрон...  
Как некстати я проснулся!  
Я хочу обратно в сон.

1991

\* \* \*

Я понял, что необразован,  
хоть и прожил немало лет,  
хотя начитан и подкован,  
хоть и объехал целый свет.

Иной мужик, что рос в деревне,  
попросвещеннее меня —  
легко читает в книге древней,  
природной книге бытия.

Он сойку отличит от дятла,  
не спутает с пшеницей рожь,

ему как своему понятна  
реки предутренняя дрожь.

По голосу он понимает  
кто — коноплянка или дрозд?  
В чужом лесу не заплутает  
и знает много разных звезд.

По запаху он ищет травы,  
легко в реке отыщет брод.  
Он изучил букашек нравы,  
какая рыба где живет.

Ему любой звереныш ведом,  
и словно азбука — поля.  
В преданьях, переданных дедом,  
ему завещана земля.

Угадывает он погоду,  
набит приметами — не счесть!  
Не знает, любит ли природу,  
поскольку сам природа есть.

\* \* \*

Еще пишу, снимаю, сочиняю.  
Дела идут и вроде хороши.  
Но знаю — не живу, а доживаю.  
И это пониманье — боль души.

Не жду удачи, озаренья, взлета.  
Мне так и не достался главный приз.  
И предстоит паршивенькое что-то,  
крушение или круженье вниз.

Эпоха раскрутилась многолико  
и припустилась в суматошный бег.  
Смотрю ей вслед безропотно и тихо,  
оставшийся в минувшем человек.

1992

\* \* \*

Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Весна.  
И жизнь легка. Не давит ее ноша.

И на душе такая тишина,  
что, кажется, от счастья задохнешься.

Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Зима.  
И жизнь тяжка. И неподъемна ноша.  
И на душе такая кутерьма,  
что, кажется, от горя задохнешься.

То ночь жарка, а то морозен день.  
Вся жизнь в полоску, словно шкура тигра.  
А на душе такая дребедень.  
Да, жаль, к концу подходят эти игры...

\* \* \*

Осень начинается в горах,  
а затем сползает вниз, в долины...  
В нижний лес прокрался желтый страх,  
белый снег покрасил все вершины.

Старость начинается в ногах,  
даже в зной, укутанные, мерзнут...  
И ползет наверх холодный страх  
предисловием событий грозных.

\* \* \*

Когда-то, не помню уж точно когда,  
на свет я родился зачем-то...  
Ответить не смог, хоть промчались года,  
на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман,  
всё зыбко, размыто, нечетко.  
Неверные тени, какой-то обман,  
и дождик бормочет о чем-то.

О чем он хлопочет? Что хочет сказать?  
Иль в страшных грехах повиниться?  
Боюсь, не придется об этом узнать,  
придется с незнанием смириться.

От звука, который никто не издал,  
доходит какое-то эхо.  
О чем-то скрипит и старуха-изба,  
ровесница страшного века.

И ночь для чего-то сменяется днем,  
куда-то несутся минуты.  
Зачем-то разрушен родительский дом,  
и сердце болит почему-то.

О чем-то кричат меж собою грачи,  
земля проплывает под ними.  
А я все пытаюсь припомнить в ночи  
какое-то женское имя.

Зачем-то бежит по теченью вода,  
зачем-то листва опадает.  
И жизнь утекает куда-то... Куда?  
Куда и зачем утекает?

Кончается всё. Видно, я не пойму  
загадок, что мучают с детства...  
И эти «куда-то», «о чем-то», «к чему»  
я вам оставляю в наследство.

#### **КАПРИЗНАЯ ПАМЯТЬ**

У памяти моей дурное свойство —  
любая пакость будет долго тлеть.  
Хочу прогнать больное беспокойство,  
но не могу себя преодолеть.

Как в безразмерной «камере хранения»,  
в сознание чемоданы и мешки,  
в которых накопились оскорбления,  
обиды, униженья и щелчки.

Не в силах изменить свою природу,  
я поименно помню всех врагов.  
Обиды-шрамы ноют в непогоду.  
К прощенью я, простите, не готов.

В самом себе копаюсь я капризно,  
на свалке памяти я черт-те что храню.  
Обидчиков повычеркав из жизни,  
я их в воображенье хороню.

Конечно, признавать всё это стыдно,  
и я раскрыл свой неприглядный вид.  
Я очень плох! И это очевидно!  
Мое сознание — летопись обид!

У памяти моей дурное свойство —  
я помню то, что лучше позабыть.  
Хочу прогнать большое беспокойство,  
но не могу себя переломить.

\* \* \*

Лесная речка вьется средь деревьев.  
Там, где мелеет, убыстряет ход.  
Река несет печальные потери,  
но неизменно движется вперед.

В нее спускают всякие отбросы,  
живую душу глушит динамит.  
Она лишь плачет и покорно сносит  
огромность угнетений и обид.

Петляет, изгибается, виляет,  
в препятствие уткнется — обойдет.  
Но на реку ничто не повлияет,  
она обратно, вспять, не потечет.

Встречая на своем пути плотину,  
речушка разливается окрест,  
так в правоте своей неукротима,  
как будто она Лена или Днестр.

Иные реки катятся в болото,  
иные выпускают злую вонь...  
В живой реке пленительные ноты,  
живой воды живительный огонь.

Опять прокол, падение, осечка.  
Растет утрат необратимый счет.  
Ты должен быть, как та простая речка,  
что знает свое дело и течет.

\* \* \*

Касса справок не дает,  
фирма веников не вяжет.  
Нам всего не достает,  
нам всегда, везде откажут.

Запрещен проезд и въезд,  
всё, что нужно, дефицитно.  
Только кто-то что-то ест  
вкусно, дешево и скрытно.

«Накось — выкуси» живем,  
главное для нас — бороться!  
Если ж плохо... Ясно, в том  
виноваты инородцы.

1987

**САГА О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ**

Он был хороший человек  
и знал, что он хороший!  
И с этим знанием прожил век,  
хорошестью обросший.  
Совсем не глуп, но не умен  
и как-то неталантлив...  
Но все же что-то было в нем —  
воспитан и галантен.  
Был в меру лыс и в меру тощ,  
и в меру толст, пожалуй.  
А в общем, просто был хорош,  
отменный, право, малый.  
С узбеком он всегда узбек,  
с татаринном — татарин.  
Он очень славный человек  
и компанейский парень.  
В охотку пил, со вкусом ел,  
коль в гости приглашали...  
И барышни в свою постель  
его душевно звали.  
Он в основном не делал зла,  
был, значит, положителен.  
Судьба его так берегла,  
что стал он долгожителем.  
Менялось всё в стране: момент,  
эпохи и формации,  
а он застыл, как монумент  
с «хорошей» репутацией.  
Стал изрекать и излучать  
хорошесть то и дело.  
И мне о нем стихи писать,  
пожалуй, надоело.

1996



**ДЕТСКОЕ**

Если все-все-все железные дороги  
взять и вытянуть в одну,  
а потом, собрав всё-всё здоровье,  
эту лестницу поставить в высоту —  
так, что в черной звездной тишине  
прислонить верхушку лестницы к луне,  
за перила-рельсины держаться  
и по шпалам-перекладинам подняться...  
Вот откуда здорово плеваться!

1989

**УХОДЯЩАЯ НАТУРА**

Есть в кино рабочий термин — уходящая натура.  
Мол, кончается цветенье, осень или половодье...  
Значит, надо эпизоды, что прихлились об эту пору,  
фильм спасая от закрытья, обязательно отснять.

Уходящая натура всем диктует график съемок,  
задержать времен движенья не под силу никому.  
Так сезоны отлетают, уступая новой смене,  
умирают, чтоб воскреснуть и вернуться через год.

Но хитер я, старый съемщик: географию меняя,  
я спешу на юг скорее, чтобы лето удлинить.  
Мне случалось настигать за полярным кругом зиму,  
догонять весну и осень, листопад и снегопад.

Но однажды наступает очень грустное прозреньё:  
уходящею натурой вдруг себя осознаешь...  
Только тут уж не поможет изменение пространства —  
север, юг, восток и запад мне спасенья не дадут.

1990

**НА ПОКОЕ**

Хотелось бы тихо и мирно стареть,  
журналы листать, в телевизор глазеть,  
сидеть на завалинке,  
обутым быть в валенки  
и старые кости на солнышке греть.

Но вместо того, чтоб спокойно сидеть,  
я должен, потея, куда-то лететь,  
забыв о завалинке,  
что я уже старенький  
и что меня запросто могут огреть.

С годами пора бы уже присмиреть,  
вздыхать и кряхтеть, вспоминать и пердеть,  
сидеть на завалинке,  
обутым быть в валенки  
и перед природою благоговеть...

1990

\* \* \*

Жить бы мне  
в такой стране,  
чтобы ей гордиться!..  
Только мне  
в большом говне  
довелось родиться.

Не помог  
России Бог,  
царь или республика.  
Наш народ  
ворует, пьет,  
гадит из-за рублика.

Обмануть,  
предать, надуть,  
обокрасть — как славно-то!  
Страшен путь  
во мрак и жуть,  
Родина державная.

Сколько лет  
все нет и нет  
жизни человеческой.  
Мчат года.  
Всегда беда  
над тобой, Отечество.

1994

\* \* \*

Всё раньше темнеет, всё позже светает,  
день ночи с обоих концов уступает...  
Вот так же и жизнь отступает пред смертью,  
и в душу вползают унылые черти.

Всё больше усилий, всё меньше отдача...  
И горько сознание — не станет иначе.  
Болезни — хреновая штука, поверьте,  
а в душу вползают унылые черти.

Усталость всё больше, а радость всё глуше.  
Пожившее тело становится суше...  
Засыпали сердце печальные смерчи,  
заполнили душу унылые черти.

Я тщетно пытаюсь поставить заслоны,  
но, видно, судьба ко мне неблагоприятна...  
Вползают... И мчатся в сплошной круговерти  
в душе моей бедной унылые черти.

И вот победили унылые черти...  
Ты, словно письмо, запечатан в конверте.  
Конверт деревянный и нет на нем марки,  
и адреса нет... Догорают огарки.

1998

## НОСТАЛЬГИЯ

Ностальгия — это значит  
неизбывная тоска,  
когда сердце горько плачет  
от любого пустяка.

Ностальгия, как дорожка —  
очень трепетная нить —  
в то, что больше невозможно  
ни вернуть, ни воскресить.

Что такое ностальгия?  
Это боль, и это крик,  
и разлука с дорогими,  
и со всем, к чему привык.

Ностальгия — это пламя,  
не зальют его года,  
это раненая память  
об ушедших навсегда.

Голову сжимает обруч,  
жизнь на медленном огне.  
Ностальгия — это горечь  
по потерянной стране.

По утраченному детству,  
куда путь заказан вновь,  
и не существует средства  
чтобы оживить любовь!

Ностальгия, как дорожка —  
очень трепетная нить —  
в то, что больше невозможно  
ни вернуть, ни воскресить.

#### ЮБИЛЕЙНОЕ

Если утром где-то заболело,  
радуйся тому, что ты живой.  
Значит вялое, потасканное тело  
как-то реагирует порой.  
Вот ты пробудился спозаранок,  
организм твой ноет и свербит.  
Не скорби о том, что ты подранок,  
а проверь-ка лучше аппетит.  
Если и со стулом всё в порядке,  
смело челюсть с полки доставай,  
приступай к заутренней зарядке,  
на ходу протезов не теряй.  
И, сложив себя из всех кусочков,  
наводи фасон и марафет,  
нацепи и галстук, и носочки,  
распуши свой тощий перманент.  
Главное — под ветром не качаться,  
чтобы не рассыпаться трухой...  
А вообще ты выглядишь красавцем,  
на молодку бросил взгляд лихой.  
Силы подкрепив свои кефиром,  
ты готов сражаться с целым миром,



показать всем кузькину мамашу,  
 чтобы, елки-палки, знали наших.  
 Если ж нету спазмов спозаранок,  
 коль кефир не пьешь, не ешь баранок,  
 может, час неровен, тебя нет?  
 Коль пусты, и душ, и рукойойник,  
 может, ты уже... того... покойник?  
 Сослуживцы вешают портрет!  
 Так привет вам, утренние боли,  
 вы — благая весть, что я — живой!  
 Что еще я порезвлюсь на воле  
 с этой вот молодойкой озорной.  
 Раз проснулся я... Всего ломает!  
 Чую, рвется жизненная нить!  
 А молодка позы принимает...  
 Дура! Надо в «Скорую» звонить!

#### НОЯБРЬ НА ВАЛДАЕ

*Эмме*

Опять ноябрь раздел дерева,  
 опять окрест округа спит...  
 И, как сто лет назад, деревня  
 печными трубами дымит.

Дым вертикальными столбами  
 вознесся к серым небесам.  
 Душа стремится за дымами...  
 И скоро улечу я сам.

Нигде не видно ярких пятен,  
 поблекло озера стекло.  
 А воздух чист! Невероятен...  
 Как на душе моей светло!

Над озером зависла дымка,  
 кочует ворон по стерне...  
 А мы с тобой идем в обнимку  
 по нашей старой стороне.

Твое плечо, твоя поддержка,  
 моя уверенность в тебе...  
 И вот опять смотрю я дерзко  
 и снова радуюсь судьбе.

Стоят, обнявшись, две коняги,  
на холки морды положив...  
И я, забыв про передряги,  
вдруг понял, чем живу и жив.

Мы, как они, храня друг друга,  
тепло и силу отдаем.  
И потому не сходим с круга,  
а, взявшись за руки, идем.

Морозец свеж, и жить охота...  
Шагаем мы по ноябрю.  
Калитка наша... дом... ворота.  
Как я тебя благодарю!

*Январь 2004*

\* \* \*

Как сладки молодые дни,  
как годы ранние беспечны...  
И хоть потом горьки они —  
дай Бог, чтоб длились бесконечно.

В двенадцать, в снег, в пургу, в мороз  
к нам Новый год пришел намедни...  
И был простителен мой тост  
«Дай Бог, чтоб не был он последний».

Зимой измотан... Где ж весна  
с ее красою заповедной?  
Болел и ждал. Пришла она!..  
Дай Бог, чтоб не была последней.

Усталость, ссоры и мигрень...  
Сменялись трудности и бредни  
в нелепый и постылый день...  
Дай Бог, чтоб не был он последний.

Бывает тошно... Устаешь,  
а тут еще и дождь зловредный, —  
осенний, безнадежный дождь...  
Дай Бог, чтоб не был он последний.

Преодолев души разлом,  
на станции одной, дорожной



нашел тебя... И стал наш дом,  
дал Бог, обителью надежной.

Седые волосы твои  
свободны... Непокорны гребню.  
А я? Я гибну от любви...  
Дай Бог, чтобы была последней.

От жизни я еще не стих, —  
тревожной жизни и печальной...  
И сочинил вот этот стих,  
дай Бог, чтоб не был он прощальный.

*3 февраля 2004*



## Предсказание



ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

## ПРЕДСКАЗАНИЕ

ПОВЕСТЬ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то вечером в конце февраля девяносто первого года у меня дома зазвонил телефон. Незнакомый женский голос начал разговор весьма банально:

— Вы меня не знаете, но мне необходимо встретиться с вами.

Подобного рода звонки случаются довольно часто. Обычно люди на другом конце провода либо жадут сниматься в кино, либо хотят работать у меня в съемочной группе, либо предлагают сочиненный ими сценарий. Умение отвертеться и остаться вежливым — дело непростое. В особенности, если ты смертельно устал, а собеседник настырен.

Я около месяца назад закончил съемки своей новой ленты «Небеса обетованные» и, собрав в кулак остатки сил и здоровья, всюю занимался монтажом и озвучиванием. Встречаться с кем бы то ни было совершенно не входило в мои планы. Для начала я поинтересовался, а по какому поводу нам «необходимо» встретиться? Оказалось, незнакомка намерена передать мне рукопись повести недавно погибшего писателя, чтобы я ее прочел.

Тут я соврал, что для следующей постановки у меня уже готов новый сценарий.

— Речь идет не об экранизации повести, — объяснила мне собеседница, — а о том, чтобы ее опубликовать.

— Извините, как вас зовут? — осведомился я.

— Людмила Алексеевна...

— Дорогая Людмила Алексеевна, — почти торжественно сказал я, — в данном случае вы ошиблись адресом. Я — не учреждение. Вам надо обратиться в редакцию какого-нибудь журнала... В «Юность», например... Или же в издательство, благо их сейчас расплодилось множество...

— Нигде не станут всерьез разговаривать с чело-

веком с улицы. Я уже пробовала, они даже не взяли читать. Вещь написана известным писателем, но под псевдонимом. Я раскрывать его не имею права. А автор умер... Я обратилась к вам, потому что вы вызываете у меня доверие...

Сейчас она начнет расточать комплименты моим фильмам и тому, как я вел «Кинопанораму»...

— Я думаю, вы, вероятно, знали автора, хотя он вывел себя в повести под чужой фамилией. Кроме того, судя по всему, вы, наверняка, человек отзывчивый.

«Телезрители даже не подозревают, как обманчива внешность человека, вещающего с экрана», — подумал я и пробормотал:

— Спасибо большое, но я вряд ли смогу помочь.

— Если захотите, сможете, — твердо сказал голос. — Поймите, речь идет о последнем, предсмертном произведении писателя.

— Но я не занимаю никакой должности, — затаил я привычную песню. — И не могу повлиять...

— Неужели вы такой же сытый и заплывший бездушием человек, как вся наша интеллигенция?.. — в ее голосе звучало отчаяние, а не желание обидеть, горечь, а не злость. — Это вещь не длинная, прочитать ее не займет у вас много времени. Каждый человек должен делать добро, и оно к нему вернется. Где я вас завтра увижу?

Я проклял себя за бесхребетность, но что-то в голосе незнакомки, какое-то подлинное горе, заставило меня сдаться.

На следующий вечер в Доме кино устраивали встречу с читателями «Экрана», где я числился членом редколлегии. Я назначил свидание у входа перед началом вечера и, честно говоря, повесив трубку, тут же позабыл о разговоре.

Назавтра после утомительной смены в душном ателье (новую тон-студию построили так, что забыли сделать вентиляцию) я, выпотрошенный до конца, подрулил к углу Брестской и Васильевской, думая с отвращением, что сейчас мне придется вылезать на сцену и какими-то байками развлекать публику. В этот момент ко мне приблизилась женщина с канцелярской папкой в руках. Я мгновенно вспомнил вчерашнюю настойчи-

вую особу и в глубине души послал подальше и ее, и себя за одно. Рассмотреть ее я не успел, было темно, да и некогда. Она всучила мне рукопись, а я нелюбезно буркнул, чтобы она позвонила мне в воскресенье вечером. Потом я вернулся к автомобилю, зашвырнул на сиденье опус, чтобы не таскаться с ним в руках, и нырнул в здание.

Через час, выступив и по мере сил развеселив полупустой зал, я покинул Дом кино. На какой-то заграничный фильм я не остался. Попрощавшись с билетершами, которые знали меня уже много лет, я вышел в февральский промозглый вечер. Ветреная, стылая, пронизывающая дрожью погода подчеркивала неуютность разваливавшейся повсюду жизни. Подходя к своему «Жигуленку» я сразу почувствовал что-то неладное. И действительно, шоферская дверца была полуоткрыта, видно, незваный гость посетил мой автомобиль. Я ускорил шаг и распахнул дверь. Магнитофон с радиоприемником были вырваны с корнем, только торчали оборванные концы проводов. В «бардачке» обычно лежал пропуск для въезда на «Мосфильм», газовый баллончик и еще что-то, чего я не мог сейчас припомнить, но в данный момент «бардачок» оказался пуст. Испарилась также моя кожаная заграничная сумка, в которой я носил с собой на съемку полдники, ибо советское казенное общественное питание я — инстинкт самосохранения — отменил много лет назад и кормился только тем, что приносил из дома. Больше брать было нечего. Тут я увидел, что на лобовом стекле, под «дворник» засунули какую-то папку. Я вылез из машины. Это оказалась та самая папка, в которой находилась рукопись неизвестного автора. Значит, литературным шедевром жулики побрезговали. Они предпочли менее духовные ценности. На душе было омерзительно, как всегда, когда тебя обворовывают, надувают, обманывают. Я открыл багажник, но там, вроде, было все в порядке, то ли не добрались, то ли их кто спугнул. Я стоял разозленный, ибо раньше вместо стыренных вещей можно было купить другие. Но сейчас в стране шел особый период, когда купить ничего невозможно. Я еще не подозревал, что через месяц, второго апреля, стоимость украденно-

го благодаря заботам правительства, как минимум, утронется. Вообще, я обратил внимание, что последние месяцы мы стали жить иначе, нежели раньше. Прежде, если, к примеру, рвались носки, их выбрасывали в мусоропровод и покупали новые. Теперь же жена садилась вечером и старательно заштопывала дыры, ибо приобрести новые носки негде. В застойные времена, если изнашивались старые рубашки или, пардон, трусы, ими пользовались как тряпками для мытья машины. Теперь на них нашиваются заплаты.

Я машинально вынул из-под дворника чужую, ненужную мне папку, и в этот момент она случайно раскрылась. Из нее посыпались на тротуар листы. Я не успел нагнуться, как вихревой порыв ветра понес белые прямоугольники, испещренные машинописью, на мокрую, грязную, местами заснеженную мостовую. Из папки высыпалась добрая половина ее содержимого. Некоторые страницы сразу же прилипли к шинам автомобилей, мчащихся по 2-й Брестской, и уехали навсегда и бесповоротно. Я было попытался догнать некоторые листы, да куда там. Мне удалось схватить только две или три мокрые, испачканные страницы. Остальные же сумасшедший ветер разметал в разные стороны, и листочки со страшной скоростью исчезли из моего поля зрения. Это меня как-то совсем доконало. Я выругался и, поняв, что заявлять в милицию — дело безнадежное, отправился домой...

В воскресенье вечером мне позвонила Людмила Алексеевна. Я, разумеется, рассказал ей о случившемся, о краже и о потере существенной части рукописи. И посоветовал, что не смог выполнить ее просьбу. Она посочувствовала мне в том, что касалось воровства, а затем сказала буквально следующее:

— Вы знаете, Эльдар Александрович, рукопись, которую я вам передала, обладает какими-то странными свойствами, я бы сказала, необъяснимой живучестью. У меня было два случая, когда мне казалось, что экземпляр погиб, утрачен навсегда, а на следующий день повесть оказывалась на месте, целая, нетронутая, листочек к листочку. Не сочтите за труд, взгляните в папку... Может, и на этот раз все страницы в порядке...

— Но я же сам видел, как ветер унес...

— Я верю, не сомневаюсь. И все-таки прошу вас, загляните в папку...

— Это просто смешно, — с легким раздражением сказал я и не совсем вежливо добавил: — Хорошо, подождите!

Я отыскал эту проклятую папку и открыл ее. На первом листе было напечатано заглавие: «Предсказание». Далее, действительно, все страницы следовали одна за другой, как и положено. Вторая шла за первой, третья за второй, четвертая за третьей и так до конца. Мне стало не по себе. Я же сам видел: исчезло немалое количество листов. Обескураженный, я вернулся к телефонной трубке и смущенно пробормотал:

— Там и правда все страницы! Но этого не может быть.

— С этой вещью может! — убедительно сказала моя собеседница.

— Но это же какая-то чертовщина! — недоуменно процедил я.

— Вы правы, тут и в самом деле замешано что-то потустороннее. Так прочитаете?

Я промычал нечто, обозначающее согласие.

— Когда мне вам позвонить? — спросила незнакомка.

— Ну, дня через три, — промямлил я.

Черт побери, я же отчетливо видел, как по меньшей мере половина этого сочинения унеслась в тартарары, в февральскую мглу. А во всяческие ведьмизмы и прочее колдовство я не верю абсолютно. Тут мелькнула мысль, что, вероятно, в папке лежало два экземпляра повести и, по счастливой случайности, исчез один экземпляр, а второй сохранился в целости и сохранности. Когда Людмила Алексеевна позвонит в следующий раз, я ее непременно спрошу об этом. Собравшись с духом, я принялся за чтение, ибо ждал, разумеется, графоманства. Однако вещь читалась легко и даже с интересом. Опус носил явно автобиографический характер, но ни с кем конкретно не ассоциировался. Я узнавал знакомые детали, места действия, известные мне личные истории, но принадлежали они все разным людям, а не какому-то единому прототипу. Я неплохо знаю писа-

телей того поколения, которое изобразил автор, он же герой повести. Со многими дружу, с иными знаком, о некоторых наслышан. Кое-какие факты я мог отнести, скажем, к Окуджаве, другие подробности к Войновичу или Искандеру, нечто прилипало к Аксенову или Трифонову, а место действия повести происходило там, где живет Горин. А то, что герой вел популярную телепередачу и его узнавали в лицо, с успехом мог бы записать и на свой собственный счет. Хотя, честно говоря, кое-какие подозрения по поводу личности автора у меня возникли. Но поскольку я не состоял с ним в знакомстве, то уверенности в том, что это именно тот человек, у меня не было. И все-таки думаю, сочинитель обрисовал некий обобщенный образ или тип, не знаю уж как точно выразиться с литературоведческой точки зрения.

Людмила Алексеевна не позвонила ни через три дня, ни через пять дней, ни через десять. Не позвонила никогда. Я был занят окончанием фильма и сперва не вспоминал о том, что у меня на руках лежит анонимная рукопись, ибо на титульном листе фамилия автора вообще не фигурировала, одно лишь название. Кроме того, не существовало обратного адреса или номера телефона этой самой Людмилы Алексеевны. Но потом работа над фильмом завершилась, и все чаще и чаще стало всплывать в моем сознании смутное чувство невыполненного долга, неясное ощущение вины. Вещь, как мне показалось, стоила того, чтобы ее опубликовали. Ибо в ней странным образом соединились мистический сюжет и наше очень реальное время, тревожное, пугающее многих, быстро меняющееся.

Я решил отдать повесть в «Юность» и позвонил главному редактору журнала Андрею Дементьеву с просьбой, чтобы он прочитал сочинение неведомого мне автора, которое я сопроводил добрыми словами. Прежде чем отнести рукопись в редакцию «Юности», надо было снять с нее копии: ну, во-первых, в журнал следовало отдать два экземпляра, а третью копию я хотел оставить себе. Так, на всякий случай. У нас на «Мосфильме» есть типография, где установлен «Ксерокс», и я упрямил барышень скопировать мне с оригинала два отпечатка. Когда я на следующий день заглянул в комнату,



где находился «Ксерокс», то увидел траурные лица сотрудниц и следы весьма приличного пожара. Стены были обезображены, потолок в копоти и саже, вороха черной рассыпавшейся под ногами сгоревшей бумаги шуршали, пачка обувь.

— Это всё случилось ночью, видимо, проводка загорелась, — сказала симпатичная Сима, которая, собственно, и согласилась помочь мне. — Я отпечатала вам два экземпляра, но они сгорели вместе с кучей сценариев, приказов и всего остального. Вроде, сама копировальная машина не очень пострадала.

— А оригинал рукописи тоже сгорел? — спросил я напрягшись.

— Это просто какое-то чудо. Папка лежала на окне, и пламя ее не коснулось. Вот оригинал в целости и сохранности.

И Сима протянула мне бессмертную папку. Я почувствовал, как дрожь пробежала по моей спине.

Я поблагодарил, сказал какие-то добрые слова погорелицам и выкатился оттуда весь в поту. Конечно, можно считать эти случаи счастливыми совпадениями, но всё же, всё же... Я решил поскорее избавиться от рукописи, но главный редактор журнала «Юность» уехал на две недели за рубеж и следовало подождать его возвращения.

Вскоре после этого я выступал в Харькове, встречался со зрителями. Рассказал, в том числе, и о странной истории с повестью. Из зала пришла записка от директора нового издательства с предложением напечатать рукопись. Я взял заветную папку и отправил в Харьков. Через некоторое время директор издательства оказался в Москве, мы встретились и побеседовали:

— Мы решили опубликовать вашу вещь, — сказал руководитель издательства из Харькова. Это был молодой образованный интеллигентный деловой человек. Именно с такими людьми мы нынче и связываем надежды на возрождение страны.

— Спасибо. Но это не моя вещь.

— Что значит не ваша? — опешил директор.

Я рассказал всю историю того, как рукопись попала ко мне.

Издатель слушал меня недоверчиво, считая все

рассказнями и фантазиями и не понимая, зачем мне это нужно.

— Так вы что, хотите напечатать вещь под псевдонимом? Нас так не устроит. Нам в коммерческих интересах нужно, чтобы повесть вышла под фамилией автора, то есть под вашей, — тон у молодого человека был непреклонен. — Мы дадим хорошую рекламу. Мы хотим продать весь тираж. Иначе мы не станем затевать публикацию.

— Но на рукописи нет моей фамилии, — сказал я.

— Ошибаетесь! — и издатель протянул мне рукопись, ту самую, что не горит в огне и в воде не тонет.

На титульном листе над названием было напечатано: «Эльдар Рязанов».

Я сразу определил, что напечатано на той же пишущей машинке, что и весь остальной текст повести.

Опять я почувствовал, что соприкасаюсь с чем-то бесовским, необъяснимым, перед чем я бессилён.

— Хорошо, — покорно сказал я, — но тогда я предварю вещь предисловием, в котором объясню, что это написал не я, расскажу, как повесть попала ко мне и про странности, которыми сопровождалась вся эта дьявольщина.

— Делайте что хотите. Это ваше авторское право. Были в истории литературы «Повести Белкина», «Театр Клары Гасуль» и еще многое другое, — сказал директор издательства. — Все равно мало кто поверит, что «Предсказание» написали не вы.

После этой беседы стало ясно: или вещь придется публиковать под своим именем, или она будет похоронена. Я выбрал первое.

Далее публикуется то, что оказалось в папке, переданной мне Людмилой Алексеевной промозглым февральским вечером...

#### ГЛАВА I

Думая о том, как начинать эту повесть, в какой манере ее писать, я понял, что никакого литературного пороха не изобрету. И очень огорчился. В глубине души я давно знал про себя, что стал совсем консервативен. А сейчас окончательно убедился в этом. Черт побери, я самый настоящий традиционалист. А в наши дни

это особенно отвратительно! У меня не получается, чтобы фраза обгоняла фразу, чтобы одна мыслишка налезала на другую, подминая предыдущую. Я не умею сочетать в одном предложении несочетаемое, сшибать нескладные противоположные ассоциации. Кажется, подобный стиль называется «поток сознания». Когда я читаю литературу «потока сознания», я восхищаюсь буквально всем: и якобы случайным нагромождением одних и тех же слов, и нарочитой неряшливостью эпитетов, и свободными ассоциациями, причинность которых может быть понятна одному только автору, да и то вряд ли. Впрочем, все это не имеет значения, ибо важна не мысль, а нагнетание речи, повторение глаголов или прилагательных до невероятного количества, в результате чего что-то рождается или не рождается. В конце концов не в смысле дело. Мне особенно нравятся фразы типа «шел дождь и два студента». Ведь написано это совсем не от неграмотности и отнюдь не от бескультурья. Поскольку писатель не может не знать букваря, грамматики и синтаксиса, следовательно, все сделано им сознательно, в полете новаторства, для обновления языка. Но те читатели, которые считают, будто писатель, выражаясь подобным образом, на самом деле, думает, как пишет, считают неправильно. Так думать противоестественно. Это все равно, что правой рукой чесать левое ухо. За эдакой манерой письма стоит тяжелая работа, каторжный писательский труд, страшный отбор словес, в результате которого будто бы и рождается беспечная моцартовская легкость рассказа, переходящая не то в свежий стиль, не то в оригинальный авторский почерк, не то в нечто новое, чему еще нет названия. Короче, мне это не по плечу, не под силу. У меня так писать — не выходит. То ли нет потока, то ли неважно с сознанием. Меня душат логика, смысл и обстоятельность, что сейчас никому не интересно. Сейчас требуется непосредственная, наивная словесность, вроде бы неорганизованная, лишенная закономерности, вне правил и, главное, не совсем понятная. Ибо раньше в нашей литературе было понятно всё, и даже чересчур, а это надоело. Однако пора кончать с тем, что не имеет отношения к сюжету...

Я решил поведать о странной истории, которая приключилась со мной, но мешает то, что не знаю, как к ней подступиться. Писать по-старому — никто читать не станет кроме старичья, а по-модному — не умею. Но история весьма фантазмагорическая, и не рассказать ее — жаль. Так и тянет начать: «В то серое, осеннее утро я возвращался из Ленинграда. «Красная стрела» подползала к перрону. Поезд, как стало обычным в последние месяцы, опоздал на два часа...» Но придется себя переломить и начать как-нибудь пооригинальнее. Или вообще начать без начала, откуда получится...

У меня с собой был тяжелый чемодан с редкими книгами. Я купил их в Ленинграде у одного дантиста, который намылился уехать в Израиль и поэтому распродал всё. Он не верил в будущее страны — боялся погромов. Он решил бросить всё, чтобы его дети росли на свободе, в сытости и безопасности. И за это его не стоит осуждать, ибо у него имелись основания для беспокойства. Внешность его, и у детей тоже, была, что называется, ярко выраженной. Как говаривала моя покойная жена, «такая внешность — пособие для антисемитов». Дантист продавал книжки за бешеные деньги, но, хоть спасибо, за советские. Поскольку рубли были не деньги, а книжки, наоборот, книжки, я без сожаления отдал за них всё, что заработал в Ленинграде творческими встречами. Казалось, гонорары мне платили немислимые, но это только казалось до первой же встречи с жизнью.

Носильщик, на тележке которого было выбито, что цена одного места стоит 30 копеек, заломил 30 рублей. Мне уже за шестьдесят, и врач запретил таскать тяжести. Я попробовал поторговаться, но носильщик понимал, что имеет дело со вшивым интеллигентом. Пришлось покориться. Носильщик повез мой многопудовый чемодан по перрону, ловко объезжая пассажиров и группки спецназовцев с автоматами. Видно, солдаты несли караул на вокзале. Среди пассажиров «Стрелы» было немало знакомых, и я все время с кем-то раскланивался. Внезапно я встретился глазами с молодой цыганкой. У нее на руках хныкала запаршивевшая девчушка лет двух. В конце перрона на тюках и чемоданах жил це-



лый табор. Мне показалось, что там даже горел костер, на котором в котелке что-то варилось.

Недаром говорят, что не надо смотреть цыганам в глаза. Через секунду цыганка уже вертелась около меня.

— Шеф, дай Бог тебе здоровья... Видишь, дочка у меня больная... Позолоти ручку, сделай доброе дело...

Пока я доставал кошелек, ко мне подскочила еще одна цыганка, чуть постарше, с тяжелым, но красивым и значительным лицом. Не успел я раскрыть бумажник, как красненькая десятка мгновенно перекочевала в руки молодой мамаша:

— Спасибо, начальник, душа у тебя хорошая!.. Зачтется тебе!..

Я попытался было пуститься вдогонку за носильщиком, но другая цыганка властно схватила меня за руку.

— Давай погадаю тебе, молодец, всё поведаю... И про прошлое, и про то, что ожидает тебя. Не скупись, супермен ты мой ненаглядный...

Я заметил, что цыганки взяли на вооружение вместо старинных слов «барин», «красавец» новые, современные.

И не успел я очухаться, как красотка-гадалка с ловкостью необыкновенной выхватила из моих рук двадцатипятирублевую купюру.

— Эй, эй, — только и сумел воскликнуть я.

Но цыганка воспаленными глазами, в которых сверкало что-то колдовское, уже изучала линии моей ладони.

Я оглянулся — носильщик с моим чемоданом скрывался в привокзальной толпе. Я попытался вырваться, но предсказательница держала меня мертвой хваткой.

— Было у тебя две жены, с одной развелся, другая померла... Дочь у тебя есть от первого брака... Внучка трехлетняя...

Цыганка говорила правду, но я не очень-то изумился. Все-таки человеком был достаточно известным, несколько лет вел по телевидению популярную литературную передачу, многие меня узнавали в лицо. Обо всем этом цыганка могла иметь представление...

— Ждет тебя встреча с незнакомой женщиной...

— Женщина, конечно, красивая и молодая, — с иронией поинтересовался я. — Вроде тебя.

Действительно, глядя на ее смуглую дьявольскую восточную красоту можно было понять предков, которые из-за цыганок пускались во все тяжкие.

— Зря насмешничаешь, — хриплым голосом сказала гадалка. Вдруг посмотрела на меня нежно, улыбнулась. Лицо ее преобразилось и стало домашним, притягательным. — Был бы ты помоложе, да позвал бы меня, я бы пришла. — Потом она снова перешла на профессиональный тон пророчицы. — Женщина будет молодая и красивая. Любовь у вас вспыхнет, но недолго продлится... Потому что...

Тут цыганка вдруг нахмурилась и замолчала.

— Продолжай, — сказал я и еще раз попытался обнаружить своего носильщика, но тщетно. Он исчез.

— Не стоит, барин. Тут что-то невнятное. Ступай своей дорогой. Не вышло у меня с тобой гадания...

Я уставился в ее бездонные глаза. Цыганка уклончиво отвела взгляд.

— Говорить не хочешь? Что-то неприятное разглядела?

— Не пытай, ясный сокол. Зачем тебе знать? — голос у гадалки, несмотря на хрипотцу, был грудной, низкий, в чем-то таинственный.

Я поневоле забеспокоился.

— Что на роду написано, того не миновать, — настаивал я. — Не скрывай!

Но ведунья отпустила мою ладонь и хотела отойти. Тогда я схватил ее за локоть.

— Давай выкладывай! Я человек крепкий. Не испугаюсь... Да и потом это все так... слова...

Гадальщица еще раз посмотрела на линии моей руки и вдруг сказала медленно, да таким голосом, что мороз пробежал по моей спине:

— Жить тебе осталось одни сутки. Завтра в это же время... — и цыганка цокнула языком, давая понять что завтра в это время я откину копыта.

Я машинально посмотрел на часы. Было без двадцати одиннадцать.

— Жить тебе осталось одни сутки, — глухим голосом сказала цыганка

→





— Ну, ты даешь, — попытался усмехнуться я. — Что же на руке и день, и час обозначены?..

— И день, и час, — как эхо повторила гадалка.

— А отчего умру, не знаешь? — я пытался ерни-  
чать, хотя, честно говоря, мне было не по себе.

— Должно быть, убьют. Видно, в роду у вас так повелось... Отца-то твоего тоже убили... — угасшим го-  
лосом молвила ворожея и с сомнением — «братъ или не  
братъ» — посмотрела на двадцатипятирублевку. — Зря  
ты из меня это вытянул...

— Да я все равно не верю, — храбрился я. — День-  
ги себе возьми. Мне до завтрашней смерти хватит того,  
что осталось.

— Я правду говорю, — вдруг обиделась цыганка  
и спрятала деньги. — Знай: через час у тебя такая встре-  
ча случится, каких еще не было ни у кого... Тогда помом-  
нишь мои слова...

— С чертом, что ли? — я махнул рукой и напра-  
вился в сторону, где исчез носильщик. Досада не поки-  
дала меня. Отдать двадцать пять рублей, чтобы узнать  
такую пакость — вот маразм! Я, конечно, ни в грош не  
ставил ворожбу цыганки, но все равно было противно.

Кому я сдался, чтобы меня убивать?.. Если граби-  
телю, алкашу или приедем из провинции юнцам-на-  
летчикам, то тут, конечно, никто не застрахован... Если  
же речь идет о Головорезе с большой буквы, то людей  
побогаче меня тьма-тьмушая... Да и для рэкетиров я не  
представлял интереса, так, мелкая сошка. Внезапно я  
вспомнил своего соседа по поезду — парня лет эдак три-  
дцати с длинными, как у женщины, пшеничными жир-  
ными волосами, которые хотелось срочно помыть. Ры-  
жеватая редкая неряшливая бородка обрамляла круглое,  
прыщавое лицо. Мы стояли в коридоре вагона, по радио  
гремел бравурный радостный марш, очевидно, пере-  
дающий оптимистические чувства пассажиров, прибы-  
вающих в столицу. Прыщавый вдруг вступил в разговор:

— Был я вчера на вашей встрече с читателями...

Я тщеславно обернулся к нему, ожидая компли-  
мента, — честно говоря, был избалован вниманием. Но  
услышал совсем другое:

Люда — актриса  
Ирен Жакоб  
←

— Зря вы так резко о нас высказались! Лично вам-то, что наша партия плохого сделала?

Вчера, получив из зала записку с вопросом, что я думаю о Национал-Российской патриотической партии, я ответил, что считаю их фашистами, что они представляют серьезную опасность для страны, что если, не дай Бог, они придут к власти, я тут же отправлюсь в эмиграцию, если успею, конечно...

Я сухо ответил прыщавому попутчику:

— Сказал то, что думаю.

— Понимаю, — кивнул прыщавый. — Только время говорить, что думаешь, кончается. Опасно. А вы вчера речь вели неосмотрительно, неосторожно. Мы ведь все фиксируем, запоминаем...

— Не сомневаюсь, — перебил я его и отвернулся.

— Не пожалеть бы вам, — безразлично произнес пассажир. Отсутствие угрозы в его интонации как раз и содержало угрозу...

Я отогнал эту картинку, вдруг вспыхнувшую в памяти, и помотал головой. Вообще последнее время я стал получать на публичных встречах оскорбительные записки, вроде такой: «Горюнов — сын жидовки и эс-совца». Иногда звонили по телефону, ругались матом и предавали меня анафеме за то, что я продался сионистам. Я еще не привык к проклятиям, и от этого у меня портилось настроение...

Усилием воли я стяхнул с себя все неприятное, что нахлынуло после встречи с цыганкой, — не хотелось погружаться в хандру...

Выйдя на привокзальную площадь, в центре которой дежурили два бронетранспортера и группа ОМОНовцев в пластиковых шлемах, я обнаружил своего носильщика. На такси стояла огромная очередь, но носильщик своими путями уже раздобыл мне машину. (Там у них одна мафия.) Как я понял, в тридцатку входило раздобывание автомобиля. И хотя от трех вокзалов до Пушкинской площади, где я живу в доме, в котором разместился магазин «Армения», всего несколько километров, шофер запросил с меня полсотни.

— Да туда по счетчику два рубля, — взбеленился я.

— А на метро пять копеек, — невозмутимо па-

рировал таксист. — Но в метро забастовка. А на такси очередь.

Я посмотрел в сторону вестибюля метрополитена. Двери были закрыты, никто не входил в вестибюль и не выходил из него.

— Давно бастуют?

— Третий день. Так как? Поедете? Скажите спасибо, что долларов не требую...

Я покорно полез в машину. Тем более что трое усатых чернявых кавказцев уже били копытами в ожидании того, чем кончится моя беседа с мародером-таксистом. Они были готовы заплатить любые деньги — это у них было начертано на физиономиях...

Во дворе я первым делом бросил взгляд на свою «Волгу». Она стояла на месте, покрытая рябым слоем пыли, из чего я понял, что ночью капал дождь.

У парадного дежурила «раковая шейка» с мигалкой на крыше. Впрочем, кажется, их сейчас так уже никто не называет. Ведь конфет «Раковая шейка» не выпускают миллион лет, и их, наверно, не помнят. Да и на милицейских машинах перестали красить на кузове красную полосу.

— Что в доме случилось? Убили кого-нибудь? — спросил я у лейтенанта, который сидел за рулем и читал книгу. Я его запомнил, ибо читающий милиционер — явление нечастое. При этом я поймал себя на том, что время изменило мою психологию. Несколько лет назад мне бы не пришел в голову вопрос об убийстве. Я бы поинтересовался: «Кого-нибудь ограбили?..»

— Квартиру обчистили! — обронил блюститель, не отрываясь от чтения. — На четвертом этаже.

Я облегченно вздохнул:

— Я на седьмом живу... Меня не было несколько дней, а дома никого...

— Считайте, что вам повезло, — усмехнулся милиционер. — Лифт не работает.

Я чертыхнулся. Пришла мысль попросить таксиста поднять чемодан, но такси уже умчалось.

За те пять дней, что я отсутствовал, почты набралось порядочно. Я опорожнил почтовый ящик и сунул всю пачку прессы в карман плаща.

Когда я пер тяжеленный, будто набитый свинцом, чемодан на свое «седьмое небо», поток сознания захлестнул меня. Правда, он сопроводился потным потоком, который тек мне за шиворот.

Зачем я тащу проклятую тяжесть? Я все равно не успею прочитать эти книги, загнусь раньше. Господи! В детстве в публичных библиотеках — я был записан сразу в нескольких — я стоял в очередях, чтобы прочитать хорошую книгу, а теперь у меня дома — своя роскошная библиотека. И книги стоят в очереди ко мне, ждут, когда я их прочту. А я не успею их прочитать. Книг — много, а времени жить — мало.

На третьем этаже я уселся на чемодан, чтобы передохнуть. Я сидел и вытирал платком пот.

Тем более если я сдохну завтра утром, как обещала гадалка, то зачем мучиться сегодня? И вообще, если предсказание цыганки — правда, надо успеть сделать неотложные дела. Тут я себя одернул, — что за хреновина лезет в голову! Кого же на четвертом этаже ограбили? Все-таки хорошо, что я установил железную дверь, — спасибо кооператорам! Может, это защитило... А что если бросить чемодан с книгами здесь, а то, глядишь, пророчество сбудется прямо сейчас, досрочно. Все-таки старость — большая мерзость!

С четвертого этажа спускались милицейский фотограф и какой-то хмырь в штатском.

— Много взяли? — спросил я.

Они с любопытством оглядели меня.

— Пока неясно. Хозяева на курорте, — сказал штатский.

— Главное — всю мебель порезали, посуду побили, нагадили везде... — добавил фотограф. — А вы, Олег Владимирович, тоже в этом доме живете?..

Работа на телевидении сделала мою жизнь одновременно в чем-то приятной, а в чем-то несносной. Иногда было лестно, что тебя узнают в лицо, а иногда это раздражало. Сейчас я был раздосадован, — я не любил, чтобы меня наблюдали в минуты слабости.

Я буркнул что-то утвердительное и с молодецким видом оторвал чемодан от пола. Думал-то я про чемодан (не бросить ли его тут, на лестнице?) логично, но харак-



тер у меня был, пожалуй, сильнее моих же умственных способностей. Он победил разум и на этот раз. Сердце у меня колотилось, пот заливал глаза, но я упрямо продолжал восхождение.

— Было бы мне сейчас лет двадцать пять! — вслух выдохнул я.

— И что бы было? — полюбопытствовал сбегавший вниз майор милиции.

— Было бы всё! — сказал я, выпустил из рук непосильный груз и, тяжело дыша, привалился к перилам. — Улики есть?

— Кое-что нашли. Хотя орудовали в перчатках. — И майор исчез.

На четвертом этаже дверь в квартиру Кустовского была открыта, в прихожей возились какие-то люди, видно из угрозыска, на площадке дежурил милиционер. Дома у Кустовского я никогда не бывал, но знал, что он много лет работал представителем «Совэкспортфильма» за границей. Думаю, что пожить у него было чем. Так думали, вероятно, и те, которые пожились...

Теперь очередные передыхы происходили после каждого лестничного пролета, через каждые полэтажа. Когда я, весь в собственном соку, устроил привал между пятым и шестым этажами, вниз, постукивая каблучками, сбегала хорошенькая барышня, которая жила рядом со мной. Увидев меня в столь непрезентабельном виде, она предложила:

— Давайте я вам помогу, Олег Владимирович...

При мысли, что молодая привлекательная женщина потащит наверх мой чемодан, я вспотел еще больше. Я ведь пытался изображать, что я еще «ого-го»! Репутация балагура, весельчака, жизнелюба требовала определенного ответа, легкого и непринужденного. Я тут же рассказал анекдот:

— Мужчина насиловал женщину в подворотне. Та закричала: «Помогите! Помогите!» Мужчина удивленно уставился на нее и сказал: «Что вы кричите? Может, я еще сам справлюсь!»

Соседка засмеялась, а я добавил:

— Спасибо. Я еще сам справлюсь!

Номер был беспронгрышным. Я им неоднократно

но пользовался в аналогичных ситуациях. Хотя сейчас я не был уверен, что справлюсь сам с чемоданом, а тем более с женщиной.

Наконец я оказался у собственной двери. Отперев два замка, я из последних сил впахнул ненавистный чемодан в прихожую, уселся на стул и стал звонить в охрану.

— Пульт! — услышал я из телефонной трубки.

— Добрый день! — поздоровался я.

— Здравствуйте, Олег Владимирович, приехали?

Это была Таня Королева, одна из барышень, дежуривших на пульте охраны квартир. Она всегда узнавала меня по голосу. Кроме того, она была моей почитательницей, знала все, что я налудил в прозе и в стихах. Я ее никогда не видел, но у нас было нечто вроде телефонного романа. После смерти жены мне не хватало теплой интонации, а манера Таниного разговора напоминала чем-то интонацию Оксаны. Мы иногда с Таней болтали, но недолго, потому что она находилась на службе и не могла занимать телефон, да и у меня никогда не было свободного времени. Я совершенно не представлял себе, какая она? Толстая, худая, высокая, симпатичная, уродливая? Единственное, что было ясно — молодая.

— Слава Богу, приехал... — ответил я.

— Как прошли ваши встречи?

— Битком было. Не понимаю, кому в такое время интересно встречаться со старой развалиной... Обломком застоя...

— Да вы что, Олег Владимирович! Я бы обязательно пошла!

— Спасибо, Танюша. Просто вы ко мне необъективны. Снимите, пожалуйста, с охраны.

— Отдыхайте! Всего доброго! С охраны сняла! — и Таня повесила трубку.

— Хорошо все-таки дома, — произнес я вслух и улыбнулся. Вынув из кармана плаща почту, я вошел в комнату. Письма от читателей, от редактора моей книги из Англии, приглашения из двух посольств, билет на открытие вернисажа, приглашение на премьеру нового фильма, анонимка с ругательствами...

И вдруг я вздрогнул. Я почувствовал, что я в комнате не один, что тут находится еще кто-то. Я поднял



голову. На кожаном диване, развалившись, сидел молодой человек в перчатках и смотрел на меня. Я уставился на него. На вид ему было лет двадцать пять. Лицо его мне показалось знакомым, даже очень знакомым. Я его явно где-то видел раньше, но где? Испуг волной прошел по моему телу. Я почувствовал, как от страха затрепыхалось сердце. Оно забилось противно и подло. Присутствие чужого человека оказалось слишком неожиданным. И, вообще, я всегда подозревал, что я — трус. Смел я только в одном: лепить правду-матку, — и в книгах, и в статьях, и в выступлениях. Тут я почему-то ничего и никого не страшился. Говорил такое, что не понимал — почему меня не уведят в наручниках. Но когда бы я представлял свою персону в сталинских застенках, по совести говоря, побаивался, что вел бы себя недостойно, всех бы оговорил, всё бы подписал, потому что боль выношу плохо. Хотя порой мне казалось, что я бы выдюжил, не спасовал и стоял бы насмерть. Но Бог миловал от подобного испытания. Когда бушевали великие депрессии, я был пацаном...

Молодой человек улыбался, глядя на меня. Улыбался приветливо и даже дружелюбно. Меня все равно чуть подташнивало от унижительного и беспомощного чувства ужаса. Почему он в перчатках? Это один из тех, кто ограбил Кустовского? Но как он проник сюда? Квартира на охране. Я бросил взгляд на балконную дверь, которая была тоже подсоединена к пульту охраны. Дверь заперта, стекло не разбито.

— Что ж ты так перепугался? — вдруг сказал молодой человек. Голос мне тоже показался знакомым. — Не робей!

— Кто вы? — хрипло спросил я.

— Не узнаешь? — он рассмеялся. — Жаль...

Неожиданно паника прошла. Я даже удивился хладнокровию, охватившему меня. Может, меня успокоил голос пришельца, но не думаю. Между нами, последнее время я готовил себя к тому, чтобы встретиться с выдержкой нежданное свидание с грабителем, уголовником, убийцей. Я давно уже проигрывал в уме разные ситуации подобного рода. Страна находилась в безумии, в преддверии гражданской войны, и всякая нечисть по-

вылезала из всех щелей. Вообще-то война уже шла на окраинах империи. Все мы ждали, когда она явится в Россию. Я приучал себя к мысли, что пожил достаточно, что пора и честь знать. Внушал себе, что если придется умирать, постараюсь уйти достойно. В конце концов, ничто меня не держит на этой земле. Разве только желание пожить еще. Но, коли вдуматься, надо уметь обуздывать свои желания.

— Что вам здесь надо? Как вы сюда вошли? — спросил я.

— Садись, поговорим, — ответил незнакомец и пошутил: — Чувствуй себя как дома.

Что-то унижительное было в том, что я обращался к нему на «вы», а этот соплик тыкал мне. Тут я вспомнил, что у меня в письменном столе лежит газовый револьвер, который я привез из Германии. По счастью, таможня тогда не проверила меня. Я рванулся в кабинет и открыл ящик письменного стола. Револьвера не было!

— То, что ты ищешь, у меня в руках, — послышался насмешливый голос из гостиной. — Я боялся, что ты в меня с испуга пальнешь, и поэтому забрал эту игрушку.

Я вернулся и увидел в руках пришельца мой газовый револьвер. Он небрежно положил его на журнальный столик и сказал:

— Можешь взять. Мне он не нужен.

Я медленно тянул руку за оружием, не сводя глаз с визитера. Он улыбнулся. Я схватил спасительную «пушку».

Мой револьвер  
был в руках  
пришельца.

Актеры Олег  
Басилашвили  
и Андрей  
Соколов



— И что ты будешь делать дальше? — лениво спросил непрощенный гость и добавил: — Слушай, обращай ко мне на «ты», а то ерунда получается.

Я подумал, что он вынул из барабана патроны, и быстрым движением проверил. Револьвер был заряжен.

— А ну, пошел отсюда! — я наставил дуло на незнакомца. — А то выстрелю.

Я знал, что не промахнусь. Я часто тренировался в тире. Раньше просто так, а последнее время делал это с двойным прицелом, то есть с двойным смыслом.

— Спасибо, что уважил мою просьбу и перешел на «ты», — спокойно сказал молодой человек, достал пачку «Мальборо» и закурил. — Не предлагаю тебе, потому что ты уже десять лет как не куришь.

В поведении этого парня, в мирной его интонации было что-то такое, что сбивало меня с толку. Кроме того, лицо его было до жути знакомым. И потом я, действительно, десять лет назад бросил курить. Я отвел револьвер и присел на подлокотник кресла.

— Так и не узнаешь? — спросил неизвестный. Он достал из кармана фотографию и протянул мне.

— Чья это карточка? — спросил он.

Я посмотрел и узнал на фотографии себя, лет эдак тридцать с лишним назад.

— Моя, — пожал я плечами.

— Вообще нет. Карточка снята японской камерой. На ней напечатана дата. А когда тебе было двадцать пять лет, этого технического достижения еще не существовало.

— Как звали твою мать?  
— Твои размышления, что я твой незаконный отпрыск, глубоко ошибочны, — с иронией сказал незнакомец



Внизу на изображении виднелись белые цифры 20.8.90, значит, снимок был сделан два месяца назад.

— Двадцатое августа — день моего рождения, — сказал я.

— И моего, — сказал парень. — Только годы у нас разные. Это я на фотографии, а не ты.

Он подошел к книжной полке и вынул из-за стекла мою карточку, где я был снят в 1953-м году в день своего рождения. Я переводил глаза с одного снимка на другой. Было совершенно очевидно, что на обеих фотографиях один и тот же человек. Я тупо рассматривал два своих изображения — костюмы были разные, прически были разные, фотографическое исполнение было разным, но, без сомнения, и на той, и на другой карточке был снят именно я.

Переведя взгляд на незнакомца, я понял, что он до жути похож на тогдашнего меня. С успехом можно было сказать, что это не я изображен на снимках, а он.

— Тебе цыганка на вокзале предсказывала необыкновенную встречу? — спросил мой молодой двойник.

Опять озноб пробежал у меня на спине. Пытаясь выстроить логическую цепь, я промычал нечто невразумительное.

— Так вот, она имела в виду меня. Ты ведь не завтракал в «Стреле»? Идем перекусим.

Я покорно ползл за ним на кухню, где был накрыт завтрак на две персоны.

— Надеюсь, ты не будешь возражать, если я тоже позавтракаю?

Он хозяйничал на кухне так, будто прожил тут немало лет. Достал из холодильника бутылку кефира и разлил по стаканам, потом поставил на плиту вариться четыре яйца, наполнил чайник водой и водрузил его на конфорку.

На столе я увидел записку от Терезы, написанную крупными печатными буквами. Тереза помогала по дому еще при Оксане и досталась мне по наследству. Сама она была из немок Поволжья и, хотя всю жизнь прожила в России, по-русски писала с вопиющей неграмотностью, а немецкого не знала вовсе. Тереза бы-



ла полуслепая старуха, добрая, старательная, и без нее я бы совсем пропал. Она готовила, делала постирушки, убирала квартиру, стояла в очередях.

«МАЛАКА Я НЕ ДОЗТАЛА НА АБЕТ КАТЛЕТЫ И ГРЕШНЕВА КАША СУПА НЕИСЧЕВА ДЕЛАТЬ БАЛЬШИ ОЧИРИДИ ИЗТРАТИЛА 20 РУБЛЕЙ 16 КОП.»

У нее была катаракта, и я договорился с самим Федоровым, что ей на днях сделают операцию в его клинике. Она знала, что я прибуду сегодня, и накануне, видно, сходила в магазины, чтобы я не ввалился в квартиру с совсем уж пустым холодильником. Но думал я, разумеется, не о Терезе. Мой молодой двойник тем временем сунул в тостер ломтики хлеба. Я лихорадочно пытался вспомнить свои романы, которые у меня случились лет тридцать семь назад. Но вспоминалось туто. Не то, чтобы их у меня совсем не было, и не то, чтобы их было чересчур много. Просто прошла такая уйма лет. Я был убежден, что этот парень, конечно, мой сын, о существовании которого я попросту не подозревал. Сходство между нами ошарашивало. В 1951 году я женился в первый раз и, что там греха таить, не очень-то был верен супруге. Как журналист, я много ездил по стране и, конечно, бывало всякое.

— Как звали твою мать? — спросил я предполагаемого сына.

— Твои размышления, что я твой незаконный отпрыск, глубоко ошибочны, — с иронией сказал незнакомец, положил на тарелку два хрустящих тоста и стал сыпать в чашки растворимый кофе. — Ты думаешь по шаблону. А что сказала цыганка? Что у тебя будет такая встреча, каких еще ни у кого не было.

— Ты что, действительно, черт? — усмехнулся я. — Вельзевул, Воланд?..

— А тут ты думаешь литературно, и тоже по стереотипу. Нет. И для убедительности могу показать свои конечности: копыт, рогов, хвоста — ничего нет. А мать мою звали так же, как и твою, — Белла Моисеевна. И отца моего звали так же, как и твоего: Владимир Иванович. Ты ешь...

Я машинально начал прихлебывать кефир. Столб-

няк, в котором я находился, не проходил, а, наоборот, становился еще более столбнячным.

— Слушай, я ничего не понимаю, — жалобно сказал я. — Чего тебе от меня надо? Кто ты? Зачем ты здесь?

— Ничего не утаю, — сказала моя молодая копия. — Всё расскажу. Но сначала позавтракаем. Налегай, Олег.

— Ты тоже давай, — я вспомнил, что все-таки я здесь хозяин. — Не стесняйся. Как тебя зовут?

— Олег. По отчеству Владимирович.

— Это я Олег Владимирович, — возразил я.

— И я тоже. Так уж вышло, что нас двое.

— Так не бывает.

Он засмеялся.

— Пощупай меня. Убедишься, что я из обычной человеческой плоти.

Чего там было его щупать. Он жрал с таким аппетитом, что подозрения насчет его нечистого, дьявольского происхождения отпадали сами собой. Я невольно смотрел на него с удовольствием. Все-таки я был хорош в его годы: строен, густые черные волосы, горящие карие глаза. Смахивал на американского героя-любовника. В общем, посмотрев на себя в молодости, я остался доволен. Не то, что сейчас, — погрузневший, полысевший, с потускневшим взглядом, со всякими возрастными болячками и хворями. «Господи, что с нами делает жизнь!» — мысль хоть и банальная, но все равно верная.

— Значит, ты хочешь сказать, что ты — это я? — подытожил я наше первое знакомство и тоже принялся с аппетитом жевать. С аппетитом у меня вообще всегда было хорошо. Я не хотел есть только в одном случае — когда температура поднималась за 38. Если я не испытывал чувства голода, значит, у меня высокая температура, — градусником можно было не проверять.

— Я твое точное повторение, только из другого времени. У нас с тобой все одинаково, кроме возраста. Я родился в 1965-м.

— Но мать и отец тогда уже умерли.

— Они умерли в этой жизни, но они продолжали и продолжают жить в другой.

— В загробной, что ли? — с ехидством спросил я.

— Ты примитивен, как все вы, изуродованные материализмом. У жизни множество измерений, ты даже не подозреваешь, сколько. Но пойми, я тебе не только не сын, но и не брат. Я — твой дубликат, точное воспроизведение...

— Но это же мистика.

— Да, — согласился он, — только у вас мистика — ругательное слово. А на самом деле...

— Но такого не бывает, — перебил я его.

— Бывает. И не такое. Ты даже не подозреваешь, что бывает. Слушай ты, атеист, материалист, марксист...

— Я не марксист, — открестился я.

— Но все равно — безбожник! Не ломай голову, а то еще свихнешься. Тебе это не по разуму. Принимай мое существование, как данность. Или, если хочешь, не принимай. Тогда расстанемся — я уйду сразу после завтрака. Но ты же сам пожалеешь.

Некоторое время мы завтракали молча. Я лихорадочно думал. В существование летающих тарелок я в последнее время начал не то чтобы верить, но стал допускать эту возможность. Очень уж много и часто про НЛО говорили, и показывали по «ящику» людей, которые общались с инопланетянами. Они так убедительно врали, сообщая всяческие подробности, что я стал колебаться в своем прежнем неприятии. И тут я ухватился за соломинку, решив, что, может, передо мной какой-нибудь внеземной прохиндей, принявший мой прежний облик. Это было, пожалуй, единственное логичное объяснение той хреновины, которая внезапно возникла в моей жизни.

Следующая фраза моего визави только подтвердила предположение.

— Ты думаешь, что я свалился с летающей тарелки и влез в твою молодую шкуру. Опять ошибаешься.

— Как же, ошибаюсь! — подумал я про себя. — Он же отгадывает мои мысли. Он их прямо-таки читает... А я слышал, что инопланетяне владеют этой способностью.

— И тем не менее ты неправ. Можешь, конечно, мне не верить, — диалог у нас получался, прямо скажем, удивительный: я думал про себя, а он отвечал мне вслух. — Ну как тебе доказать, что я — на самом деле

ты. И при этом живой — с человеческой кровью и натуральными потрохами?

В этот момент в дверь позвонили. Я испуганно дернулся, так как никого не ждал.

— Иди, открывай, — глядя на меня насмешливо, произнес мой двойник. — И не думай, что там пришли мои сообщники, чтобы тебя пришить и ограбить.

Я покраснел. Он опять угадал мои мысли. Ощущение, что тебя видят насквозь, было непривычным и, чего там греха таить, очень неудобным. Я чувствовал себя так, будто я голый. Я еще раз посмотрел на гостя и нерешительно направился ко входной двери. Прильнув к глазку, я увидел на площадке человека в милицейской форме.

— Это не переодетый, а настоящий, — услышал я голос из кухни, решив больше ничему не удивляться и не сопротивляться, отпер дверь.

Несколько лет назад по Москве пронесся слух, будто меня ограбили. Оксана тогда еще была жива. Рассказывали, будто бы я в своем подъезде наткнулся на полуодетую плачущую женщину, которая, рыдая, сказала мне, что ее только что раздели хулиганы, что она просит приютить ее. И я, — у меня репутация добряка, — привел ее, согласно байке, в дом, дал ей даже халат жены. Так мне рассказывали! Жертва ограбления попросила у меня позволения позвонить мужу, чтобы он приехал за ней. А через десять минут после ее телефонного разговора раздался звонок в дверь. Ничего не подозревая, я открыл замок. На пороге стояли двое верзил, один из

Два Олега Владимировича Горюнова — молодой и немолодой. Актеры Андрей Соколов и Олег Басилашвили



них огрел меня железной трубой, я рухнул. Квартиру обчистили полностью, а меня отвезли потом в реанимацию. Самое главное, что находились люди, которые навещали меня в больнице. Жаль только, что я лично не встретился тогда ни с одним из них. Бедная Оксана устала отвечать на телефонные звонки, а их было до полсотни в день. Оксана брала трубку и сразу же начинала говорить специальным жизнерадостным тоном, чтобы на другом конце провода сообразили бы, что все это вздор, белиберда, и не задавали бы вопросов о моем здоровье, на которые Оксана устала отвечать. Почему возник именно такой нелепый слух, я так и не понял... Если бы толки ходили компрометирующие, можно было бы догадаться, откуда они исходят и зачем. Если бы болтовня была, наоборот, лестная, это следовало приписать успеху, популярности, а тут...

Итак, я отпер дверь, и в квартиру вошел лейтенант-книгочей, с которым, мне показалось давно, а на самом деле минут двадцать назад, я беседовал во дворе.

— Извините, — сказал милиционер, — мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Долг службы. Может быть, вы сможете нас натолкнуть на что-то...

— Пожалуйста, — натянuto сказал я и невольно оглянулся в сторону кухни. Младший Олег, — будем называть его так, — вышел в это время в прихожую и поздоровался с милиционером. Я заметил, что перчаток на его руках не было, но когда он их снял — во время завтрака или еще раньше — никак не мог вспомнить.

У них и жесты  
были одинаковыми



— Я не знал, что у вас гости, но это займет несколько минут...

Я пригласил оперативника в комнату, и мы уселись около журнального столика. Милиционер оглядел комнату. Она была очень большая. В свое время мы с Оксаной, когда поженились, сменяли две наши квартиры в разных концах города на две другие, расположенные рядом на одном этаже, в одном подъезде. Первое, что я сделал, — сломал стену между квартирами, и получилась огромная комната, нетипичная для советского жилья. После бесконечного глобального ремонта мы вызвали для уборки строительного мусора человека из «Зари». Будучи, естественно, пьяным в лоскуты, он оглядел непривычную кубатуру и спросил, икая:

— Это что у вас будет? Фойе?

С тех пор мы с Оксаной иначе эту комнату не называли.

— Откуда вы приехали? — начал допрос милиционер.

— Из Ленинграда. У меня там были творческие встречи.

Милиционер бросил взгляд на моего гостя, смотревшего в окно. И вдруг нахмурился:

— Пойдите, Олег Владимирович, вы же сказали, что у вас дома никого нет, а на самом деле... В парадное после вас никто не входил.

Наступила решительная минута. Я мог бы поведать оперативнику о неожиданном и странном вторжении незнакомца, о перчатках на его руках, которые вдруг исчезли, о его странной осведомленности... Этого, думаю, было бы достаточно, чтобы парня тут же заграбастали.

Младший Олег испытующе смотрел на меня, ожидая, как я поступлю, — он ведь знал, о чем я думаю. Ждал и лейтенант, который как раз не подозревал о моих мыслях. Пауза затягивалась.

— Понимаете, — по возможности, искренне начал я, еще не зная как выкручусь, — дело в том, что этот молодой человек... — тут меня осенило, — он — мой сын... Да, представьте... Мы давно не виделись... Он вчера приехал, не предупредив меня... Мы очень похо-



жи... Остался ночевать... Вот такой приятный сюрприз... Он всегда сваливается как снег на голову...

Лейтенант, вероятно, почувствовал какую-то фальшь. Он внимательно разглядывал моего посетителя.

Я же продолжал усугублять подозрительность милиционера.

— Ты откуда приехал, Олежек? — задал я идиотский для отца вопрос.

— Я же говорил тебе, папа, из командировки, — уклончиво ответил «сынок».

— Это я помню, — сказал я. — Но ты мне не сообщил — откуда именно?

— Ты интересуешься для себя или для милиции? — нагло спросил «сынуля».

— Исключительно для себя.

Признаться, я был совсем не в своей тарелке, и роль играл плохо, при том не очень-то соображал, какую именно роль я должен играть. С одной стороны, я не хотел «закладывать» парня, — что-то меня удерживало, — а с другой, в присутствии милиционера я чувствовал себя уверенней, спокойней.

— От тебя у меня нет секретов, старик, — развязно заявил отпрыск. — Но это была секретная командировка. Так что я пока промолчу.

— Как его фамилия? — неожиданно спросил у меня лейтенант.

— А почему вы именно у меня спрашиваете? — увильнул я.

— Вы что, не знаете фамилию своего сына? — насторожился милиционер.

— Почему не знаю! — хорохорился я. — Я знаю... Но... Олег, кстати, ты сохранил мою фамилию или взял фамилию матери?

— Конечно, сохранил твою. Горюнов. Кому в нашей стране нужна фамилия Рапопорт?

— Можно ваш паспорт? — спросил лейтенант у моего не внушающего доверия потомка.

— Сделайте одолжение, — с легкой издевкой зевнул младший Горюнов и достал из кармана заграничный паспорт. Советский, но такой, какой дают при выезде за рубеж.

— Собираетесь уезжать... — процедил лейтенант, сверяя фотографию с оригиналом. — Далеко?.. Действительно, Горюнов Олег Владимирович.

— С вашего разрешения, в Израиль, — подчеркнуто вежливо объяснил мой тройной тезка.

— Но если вы сын Олега Владимировича, то почему у вас отчество Владимирович? — полюбопытствовал милиционер.

— А там отчество Владимирович? — я не сумел сдержаться. — Разрешите взглянуть?

— Пожалуйста, — лейтенант многозначительно протянул мне паспорт моего визитера.

— Папа, я во всем хотел походить на тебя, в том числе и отчеством. И попросил в милиции, — тут Олег сделал жест, показывающий, что он всучил за это деньги, — чтобы у меня было отчество по имени деда, Владимира Ивановича. Такое же, как у тебя.

Вся эта ситуация была для меня какой-то двойной пыткой.

— Понимаете, — начал я лихорадочно объяснять, — дело в том, что я расстался с его матерью много лет назад... Она снова вышла замуж... Я помогал... Потом его мать перестала мне писать... Да и Олега я не видел уже много лет...

— Как же тогда он попал к вам в квартиру? — поинтересовался лейтенант. В логике ему отказать было нельзя.

— Как ты попал? — тупо спросил я. Мне и самому это было интересно.

— Папа, ты меня пугаешь! Ты же сам оставил ключи для меня у Терезы... — разъяснил сообразительный сынишка.

— Значит, он знает и Терезу, — подумал я, а вслух сказал: — Да, верно. Как я мог забыть? Маразм... Знаете анекдот про маразм? Стоит человек на углу с пустой авоськой. И говорит сам себе: «Вот маразм чертов! Не помню, в магазин иду или из магазина?»

И я вопросительно уставился на лейтенанта, пытаюсь понять, поверил ли он нам.

— Тут, в загранпаспорте, естественно, нет ваше-



го домашнего адреса, — сказал сыщик. — А нам придется, возможно, вас побеспокоить, пригласить...

— Дело в том, что я улетаю завтра утром. Если у вас какая надобность во мне, то не откладывайте... А то неровен час...

— Но вы же вернетесь? — улыбнулся лейтенант.

— Сейчас такое время, что ни за кого ручаться нельзя.

Милиционер задумался.

— Товарищ Горюнов-младший, вы не станете возражать, если я позову дактилоскописта? Он сейчас в ограбленной квартире работает.

— А вы по закону имеете право? — спросил я.

— В нашей стране после революции никто не соблюдал никаких законов, — сказал «потомок». — Но я не против. Это замечательная идея! Я с удовольствием оставлю на прощанье милиции свой «автограф».

Милиционер позвонил в квартиру Кустовского и позвал специалиста по отпечаткам пальцев. Через несколько минут у меня в «фойе» появился еще один мент. Правда, он был в штатском, но от него несло чем-то военизированным за версту. А по физиономии было ясно, что выпито им за прожитые годы невероятное количество самого разного алкоголя.

Пока он готовился снять отпечатки пальцев у младшего Горюнова, тот поинтересовался:

— Это правда, что на свете не бывает двух совершенно одинаковых отпечатков?

— До сих пор не встречалось. Пожалуйста, надавите пальцем сюда.

Молодой Олег с удовольствием прижал свой палец к стеклянной пластинке, вымазанной чем-то синим.

— А теперь сюда, — дактилоскопист расстелил на столе небольшой лист бумаги.

— У меня к вам просьба... Вот мы с отцом поспорили на бутылку коньяка. Я считаю, что у нас с ним должны быть идентичные отпечатки пальцев, а он не согласен, говорит, что так не бывает. Вы не проведете эксперимент, чтобы разрешить наш спор?

— Незачем время тратить. Ваш отец прав.

— Но если это не очень сложно, прошу вас. Мы

поставим рядом свои отпечатки, а вы сличите. Если я неправ, то разопьем мой проигрыш вместе. И немедленно.

— Открывайте бутылку, — сказал дактилоскопист и протянул еще одну стеклянную пластинку. На этот раз мне.

Я понял, что затеял мой двойник, тезка, сын, брат, инопланетянин, — в общем, черт знает кто, — и безропотно приложил свой большой палец.

Рядом с моим отпечатком на бумажный лист лег след от большого пальца младшего Горюнова.

— Сейчас я могу сказать только приблизительно, — сказал дактилоскопист, вооружаясь лупой. — Точный анализ можно сделать в лаборатории. Но бутылочку, молодой человек, можете открыть...

Уверенности у меня, что проиграл молодой человек, не было, но я распахнул дверцу бара и достал бутылку армянского коньяка, купленную с полгода назад. Сейчас ничего такого нельзя было купить, разве что за огромные деньги. Армения фактически отделилась и перестала поставлять нам коньяк. А поскольку я уже давно не пью и даже не выпиваю, у меня в баре сохранилось несколько бутылок спиртного.

— Минуточку, минуточку, — оторопело забормотал специалист по отпечаткам пальцев и выпивке. — Боюсь, что... Нет, это невероятно... Если бы сам не был свидетелем того, что отпечатки делались разными людьми... Умом поехать можно... Елки-зеленые!..

— Неужели полная идентичность? — ахнул я.

— Боюсь, что вы проиграли, папаша, — сказал дактилоскопист. — А, впрочем, посмотрите сами.

Я схватил лупу и стал разглядывать отпечатки. Младший Олег, победно улыбаясь, взял бутылку и нахально сказал:

— Разрешите, папаша, я открою ваш проигрыш!

И тут я понял, что завтра утром, без двадцати одиннадцать, меня действительно убьют.

## ГЛАВА II

В голове у меня как будто стучал метроном, отбивающий время. Причем стучал как-то лихорадочно быстро, во всяком случае, мне так казалось. С большим тру-



дом удалось спровадить милиционеров. Дактилоскописту пришлось вручить недопитую бутылку, — я понял, что пока он ее не прикончит, его из дома не выставишь.

Мы снова остались вдвоем — я с моим младшим «Я». Сказать, что я испытывал неуверенность, двойственное чувство, сомнение — было бы слишком неполно. Смятение раздирало меня. С возрастом я стал более терпим к мысли, что необыкновенного и непознанного в мире очень много, но сам лично никогда ни с чем иррациональным, не имеющим логического объяснения, не встречался. На этот раз всю цепь случившегося я вынужден был принять как данность, хотя это противоречило моему предыдущему опыту уже довольно долгой жизни...

Однако если завтра мне, действительно, предстоит переселение, что называется, «в мир иной», то надо собраться с мыслями и перед расставанием с жизнью привести в порядок свои дела. Ну, а если все это... ну, скажем... классный розыгрыш, то я буду выглядеть законченным кретином. Впрочем, привести дела в порядок, осуществить то, до чего не доходили руки, — в этом не было ничего плохого. Я колебался, что же мне все-таки предпринять, изредка поглядывая на себя «молоденького». «Я молоденький» читал один из последних номеров «Нового мира», где, наконец-то, напечатали мою повесть, которую я сочинил лет двенадцать назад. Когда я ее писал, то знал, что работаю «в стол». И, тем не менее, вещь писалась запойно, словно я ее выдохнул. Понимая, что публиковать ее не станут, что предлагать ее журналам с моей стороны, по меньшей мере, нахально и бестактно, я все-таки предпринял тогда кое-какие попытки. Отнес вещь в послетвардовский «Новый мир» и в «Дружбу народов». Но, как и ожидал, получил отказы с извинениями, сожалениями, невразумительным бормотанием. Еще три года назад я, честно говоря, не верил, что повесть когда-нибудь прочитает наш читатель. За границей ее тиснули в «Континенте», и тогда у меня возникли неприятности. Сейчас вспоминается об этом с легкостью и даже, к собственному удивлению, без чувства злобы, но семь лет назад, когда началось гонение, было достаточно противно. Меня вызывали в Союз, на заседание секретариата, допытывались, как мой

«пасквиль» попал за кордон. Признаюсь, я и сам не знал этого, так как рукопись за рубеж не отправлял. Мое клевветническое сочинение лежало в двух редакциях московских журналов достаточно долго, что-то около полугода, а потом все экземпляры вернулись ко мне, и Оксана засунула их в папку и спрятала на антресоли. Оксана не выбрасывала черновиков и вообще ничего из того, что вышло из-под моего даровитого пера, и бережно всё сохраняла. Единственная гипотеза, которую я смог выстроить, заключалась в том, что кто-нибудь из сотрудников этих журналов, кому понравилось мое сочинение, снял с повести копию и как-то переправил ее за границу. Несмотря на разгром «Нового мира» там еще оставались приличные люди, да и в «Дружбе народов» вытравить прогрессивный дух до конца не удалось. Разумеется, этого своего предположения я вслух не высказывал, ибо у «органов» тогда были очень интимные отношения с писательской организацией. Но и на себя «грех» брать не хотел, зачем возводить напраслину на себя любимого. Поняв, что я не раскалываюсь, секретари и разные доброхоты стали от меня требовать, чтобы я дал в «Литературке» отповедь «пиратской акции антисоветчиков и отщепенцев». Я понимал, что для собственного блага надо бы пойти на уступки и написать что-то вялое, якобы возмущенное, но переступить через себя не смог и отказался. Мне пригрозили исключением из Союза писателей. Тут и я закусил удила, сказал, что чести им это не сделает, что надо не только служить, но и о совести думать, что я попаду в недурную компанию, вроде Солженицына, Галича и Аксенова. При гробовом молчании присутствующих я ушел с заседания секретариата. У меня не было никакого геройского чувства, наоборот, что-то мерзкое, трусливое и гадкое бултыхалось в душе. А потом приходил домой какой-то литературовед в штатском, советовал уехать из страны, обещал всяческую поддержку в быстром оформлении выездной визы. Я был с ним вежлив, но сказал, что выдворить меня можно только под конвоем. От меня по-маленьку отстали. Писатели не рискнули меня исключить, а КГБ, видно, тоже махнуло рукой. Правда, очевидно, были телефонные указания, и меня перестали



издавать, упоминать в газетах. Стали вычеркивать мою фамилию из критических статей, исключили из редколлегии «Комсомолки», вывели из художественного совета «Мосфильма». «Советский писатель» изъят из плана мой одноклассник. Тут оказалось, что и государственная граница на замке. Во всяком случае, для меня. Да я и не особенно тыркался. Могли выпустить, а потом хлопнуть шлагбаум и лишить гражданства. Прецедентов подобного рода было немало. Больше всего, пожалуй, пострадал мой друг Стасик, критик и литературовед. Набор его книги обо мне был рассыпан. В общем, в старину это называлось «опала». Меня вроде как бы не стало, не то умер, не то исчез, не то испарился. В такое положение я попадал не впервые, — у меня уже имелся опыт немилости властей. То за подписание письма в поддержку высланного деятеля культуры, то за автограф на протесте против ввода наших войск в чужую страну или суда над инакомыслящими. А «подписантов» у нас в стране, ох, как не жаловали. И я решил засесть за роман, приняться за который все было недосуг. Я понял, что, как минимум, годика два трогать меня не станут, и можно спокойно, — если только внутренняя эмиграция в собственной стране может считаться состоянием покоя, — заняться настоящим делом, не отвлекаясь на жизненную суету. И действительно, не приставали довольно долго. Телефон, раньше трезвонивший без умолку, вдруг утих. Куда-то исчезли интервьюеры и интервьюерши, я перестал интересоваться организаторами писательских пленумов. Оксана была трусишкой, очень боялась, что со мной может что-нибудь случиться, и вздрагивала при каждом звонке в дверь. Но, к счастью, вздрагивать ей приходилось не так уж часто...

Мой гость впился в «Новый мир» и частенько хихикал, не обращая на меня никакого внимания.

А повестушка-то содержала в себе леденящую кровь историю. Это был сюжет о молодом историке, выпускнике университета, который почему-то крайне неодобрительно относился к самому прогрессивному строю в мире и мечтал смыться из самой лучшей на свете страны. Конечно, он был неблагоприятной скотиной, не це-

нившей, что Родина его воспитала, приняла в комсомол, дала высшее образование и двухгодичную воинскую зачетку после окончания университета. Пребывание в армии почему-то особенно не понравилось герою, и он поставил себе задачу — покинуть Отечество любой ценой. Но осуществить это было не так-то просто. Уехать в туристическую поездку в капиталистическую страну, в такую, откуда перебежчика не вернули бы обратно, никак не получалось. Он был холост, бездетен, а без заложников за рубеж не выпускали. Такая родня как родители, братья и сестры, дяди и тети в расчет не принималась. Организовать служебную командировку, хотя Шурупов, — такая фамилия была у героя, — уже стал кандидатом исторических наук, тоже не удавалось. Право выезда за пределы, то, что в любой стране предоставлялось любому просто так, ни за что живешь, не за какие-то там заслуги, в нашем, самом гуманном обществе следовало заслужить. Бедняга и в партию вступил — не помогло. Те, кто думал, что в отличие от зеков живут на свободе, ошибались. Просто зона у них была побольше, а колючая проволока их лагеря шла по государственной границе СССР.

Взвесив свои возможности, Шурупов установил, что имеет три возможности отъезда за бугор. Первый способ — жениться на иностранке, на «фирменной» девочке, и вместе с ней сигануть на волю. Второй путь был похож, но менее приятен: следовало охмурить какую-нибудь еврейку (тогда говорили: «еврей не национальность, а средство передвижения»), сочетаться с ней законным браком, далее организовать вызов от мифических родственников из Израиля и рвануть в Соединенные Штаты. Еврейский вариант меньше нравился Шурупову, ибо он недолюбливал эту активную нацию. Не то чтобы он был рьяным антисемитом, но не лежала у него к ней душа, да и тело тоже не хотело ложиться у одну койку.

Третий путь был кровавый, и герой, будучи гуманистом не только по образованию, его отвергал. Речь шла об угоне самолета. Дело предстояло хлопотное: доставать оружие, суметь протащить его на борт... Кроме того, не было никаких гарантий, что самого Шурупова



не прихлопнут. Да и убить человека он, пожалуй, в отличие от Раскольникова, не сумел бы. Эта версия была отброшена бесповоротно.

Сначала герой попробовал два первых способа. Он начал каждое утро принимать душ и ежедневно менял белье, и даже душился заграничной туалетной водой. Но все было напрасно. Ни стильные девочки из-за бугра, ни еврейские барышни на него не клевали. Он потратил немало денег на рестораны, но почему-то никто не хотел ложиться с ним в постель. А он, как дурак, каждый день ходил чистый, надушенный и в свежем белье. В особенности Шурупов обижался на евреек. Он, можно сказать, делал им одолжение, предлагая себя, совершал, можно сказать, подвиг, преодолевая свою нелюбовь к их национальности, а они ужинали с ним, а потом воротили от него свои, как правило, длинные носы. Наш историк имел несколько мужских недостатков: мал ростом, неказист, некрасив, необаятелен и как-то не сексуален. И хотя у него были недюжинные мужские достоинства, ему никак не удавалось пустить их в ход. Ну не хотели женщины иметь с ним никаких амурных дел. И только невзрачная, чтобы не сказать уродливая, соседка по подъезду удовлетворяла его плотские вожделения.

Короче, многочисленные попытки завязать серьезный роман, переходящий в женитьбу со «средствами передвижения», потерпели фиаско. Шурупов устал каждый день мыться и решил пойти другим путем. Конечно, это потребовало от него своеобразного, если вдуматься, даже геройского поступка. Он — чистопородный русский — решил переменить национальность. Все-таки отвращение к социалистическому строю возобладало над неприязнью к евреям. Он написал заявление в милицию, что потерял паспорт. Через месяц ему по правилам должны были выдать новый. Когда начальник паспортного стола заполнял паспорт, Евгений Федорович Шурупов, родившийся в Васильсурске на Волге в семье агронома, вдруг сказал майору милиции:

— В графе национальность напишите «еврей»!..

Догадливый майор перестал писать и протянул раздумчиво:

— Пожалуйста. Только нужно представить документы, удостоверяющие...

Шурупов положил на стол конверт и произнес со значением:

— Здесь не один документ, а три...

И он выразительно посмотрел на майора. И хотя где-то в тайниках его сознания испуг не проходил, он все-таки надеялся, что майор не поднимет хипежа и не начнет обвинять его в даче взятки.

Его надежда более чем оправдалась.

Майор сгрел конверт со стола, заглянул внутрь, где лежало три сотенных ассигнации, прохрипел:

— Тут потребуется не три, а четыре документа.

У Шурупова испуг словно камень с плеч скатился, и что-то радостное запело в душе. Он добавил еще сотню и так, всего за четыреста рублей, приобрел желанную национальность. Как он тогда был счастлив! Но одновременно, будто резкая холодная тень, набегало чувство тошноты и омерзения. Надо же, он — и еврей! Далее, через знакомых своих знакомых, чьи знакомые укатали на свою историческую родину, он получил вызов от несуществующей тети. Подал заявление на отъезд. По тогдашним правилам он должен был оставить работу в историко-архивном институте, где преподавал восемнадцатый век в России. Изучая историю этого столетия, собирая материалы для диссертации, он поехал по русскому Северу и собрал не только материалы, но и немало старинных икон. Иной раз воровал ночью в церкви, другой раз скупал по дешевке у выживших из ума стариков, а то и выносил из дома, где только что умерли и покойник или покойная еще не успели остыть. При этом он говорил себе, что, по сути, спасает произведения русского искусства от разграбления и уничтожения. Может, он был и прав. Но ведь и его конкуренты, как правило, считали так же. Те десять месяцев, что тянулось оформление, он зарабатывал на жизнь, разнося авиационные и железнодорожные билеты по квартирам. Жил неплохо. Даже, пожалуй, лучше, чем на институтскую зарплату. «На чай» часто давали весьма щедро. Наконец документы на выезд оформили, билеты были приобретены, вещи упакованы. Одноком-

натная квартира была возвращена кооперативу, а на стоимость пая покупалось постельное белье и разные вещи, которые тут стоили дешево, а там — дорого. Предстояло щекотливое дело с отправкой икон. Но и здесь Шурупов повезло. Таможенник, проверявший его багаж — мебель, книги, телевизор, холодильник, коробки, чемоданы и пресловутый ящик с иконами, откровенно смотрел в руку; и Шурупов не поскупился. Все его пожитки беспрепятственно миновали границу и отправились в Италию. В Остию, близ Рима, должен был прибыть и хозяин багажа после кратковременной сортировки эмигрантов в Вене.

Накануне отъезда Шурупов устроил в пустой квартире вечеринку. Невзрачная любимая-нелюбимая женщина из его подъезда помогла ему приготовить ужин. Друзья завидовали, но втайне, скрывая друг от друга непатриотическое чувство. Нелюбимая возлюбленная плакала в предчувствии разлуки. Все сидели на чемоданах, старых табуретках, на подоконнике. Пили из бумажных стаканчиков, закусывали на газете. И было всем не столько грустно, сколько скучно. А когда все ушли, герой занимался прощальной любовью прямо на полу, опять-таки постелив газеты. Он клялся сожительнице прислать ей оттуда вызов, но оба понимали, что он этого не сделает никогда. Однако это не мешало им пылко предаваться страсти...

А наутро произошло ужасное, неожиданное, непредсказуемое! В Шереметьевском аэропорту, когда Шурупов проходил таможенный досмотр, к нему с распростертыми объятиями подошел земляк и близкий друг его покойного отца Степан Сергеевич. Он служил в пограничных войсках и даже имел какой-то приличный чин. Сначала он обрадовался, увидев сына своего покойного друга. Но потом, разобравшись в ситуации, буквально оцепенел. Мысль, что сын Шурупова уезжает по еврейской визе в объятия сионистов, повергла его в ужас. Но, как и подобает чекисту, он быстро вышел из прострации и поступил с незадачливым эмигрантом весьма круто. Все-таки замечательно, что нашу границу охраняют такие бдительные и неподкупные люди. На свой рейс Шурупов, естественно, не попал. Не отправи-

ли его и на следующий день. Дуболом-патриот Степан Сергеевич вывел на чистую воду афериста, несмотря на то, что тот был сыном близкого ему человека. Для полковника пограничных войск отдать чистокровного русака в лапы международного империализма было невозможно. Его свидетельства, что он лично знает этого псевдоеврейского молодца буквально со дня рождения и у того нет никакой тетки в Израиле, что тут пахнет предательством Родины и происками израильской разведки, оказалось достаточным, чтобы аннулировать визу. Так Шурупов и остался в своем Отечестве. Без работы, без квартиры, без обстановки, без икон, без телевизора, без холодильника, без постельного белья, без денег, но зато с национальностью — еврей. И кто бы смог предвидеть, как дальше повернется его жизнь? А повернулась она таким образом: он пошел работать служкой в московскую синагогу, выучил иврит, принял иудейскую веру и превратился в самого ярого приверженца сионизма. Шурупов стал не только антисоветчиком, что естественно, но и русофобом, что отвратительно. Какие только фортели не выкидывает судьба!..

По нынешним меркам, вполне безобидная вещица. Написана она была довольно едко, в разнузданной манере, чем особенно, думаю, раздражала всяких разных начальников и привела в бешенство моих правоверных коллег по «писательскому цеху», — любили у нас приблизить сочинителя к рабочему классу.

Младший Горюнов посмеивался, читая опус старшего Горюнова. А я все метался и не понимал, что же мне предпринять, с чего начать. Тут я обратил внимание на еле заметный шрам на лбу моего гостя. У меня на этом же самом месте был точно такой же, почти невидимый шрам.

— Откуда у тебя эта отметина? — спросил я, показывая при этом на свою.

Младший Горюнов оторвался от чтения:

— Слушай, я не представлял себе, что буду так здорово писать, когда подрасту.

— Надеюсь, ты будешь писать лучше, — с любезной иронией ответил я.

— А этот шрам на лбу я получил так... Мы играли



во дворе в расшибалочку. Мне было, наверное, лет семь или восемь. Я поставил на кон свой гривенник. А один из парней, он был постарше, стоял на черте, собирался бросить биту... ну, ты знаешь... Тяжелую, сплюсненную, большую монету... Так вот, этот тип думал, что я поставлю свою долю на кон и отбегу в сторону... и швырнул биту... А я не видел и побежал не в бок, а навстречу... И бита, как снаряд, врезалась мне в лоб... Я свалился без чувств...

— А разве в ваши годы еще играли в расшибалочку? — спросил я, холодея. Все это точь-в-точь случилось со мной перед войной, и я вспомнил наш проходной двор на Смоленге, голубятню, около которой гужевалось пацанье. Мы сооружали самопалы и ходили войной на соседние дворы, до одури резались в пристеночек, в расшибалочку и в джонку. В семь лет я уже курил, конечно, не всерьез, но всюю выпускал дым, а в случае опасности прятал незагашенный чинарик в рукав. В первом классе мать нашла у меня в кармане пачку папирос-гвоздиков «Бокс», которые, помню, стоили 35 копеек. Мне каждый день выдавалось 1 рубль 10 копеек на школьный завтрак. Так вот, 35 копеек из них я тратил на курево. Если вдуматься, мальчик был, как мальчик... После того, как бита угодила мне в лоб и я рухнул без чувств, меня отвезли в больницу. Я пришел в сознание на больничной койке. А потом около двух месяцев ходил с марлевым тампоном-пузырем на лбу. Я иногда думал, сыграло это ранение какую-то роль в моей судьбе или нет? Может, если бы бита промчалась мимо, психика моя не изменилась, и жизнь понеслась бы по другой колее? Кто знает? Думать про всякие случайности и что бы стало, если бы их не было, мне всегда казалось интересным...

Но сейчас поразило меня другое. Об истории с расшибалочкой кроме моих давно умерших родителей да дворовых мальчишек — где они сейчас?! — никто не знал. Этого ЕМУ никто не мог рассказать. НИКТО!

И тогда я отбросил всяческие сомнения. Я отчетливо понял — мне остался один, последний день жизни. Вдруг я почувствовал, что моя воля парализована. Энергия, сила, решимость уплыли куда-то, и я поду-

мал: не надо суетиться, что-то делать, куда-то бежать... Надо просто ждать, когда наступит конец. Главное, не терять спокойствия и ждать с достоинством. Слушать музыку, перечитать напоследок что-нибудь любимое. А еще лучше поехать куда-нибудь на природу, к воде и бездумно сидеть, глядя на чаек и белые пароходы, которые кончают навигацию. В общем, надо поступить, как подобает настоящему человеку прошлого века, а не как ничтожному порождению нынешнего. Но я — дитя своего времени, дешевого, вульгарного, торопливого. Мне было не по силам проникнуться стоическим умением владеть собой. Шило в заднице, которое сидело всегда, пришло в движение. Характер, вопреки сознанию, опять диктовал мое поведение. Я стал собираться с мыслями. Что необходимо сделать сегодня, именно сегодня? Признаюсь, я не был готов к такому резкому повороту. В голове проносились всякие незавершенные дела, почти всё казалось мелочью, по сравнению с тем, что меня ждало. Я осознал — надо отбросить мишуру, необязательное, ибо времени в моем распоряжении ничтожно мало. Рядом со смертью, которая стала критерием отсева, почти всё представлялось лабудой. Удивительным было то, что я не испытывал паники, мандража, и о смерти думал как о чем-то отвлеченном.

— Учти, я эти сутки в твоём распоряжении, — сказал «я двадцатипятилетний» «мне шестидесятидвулетнему». — У меня самолет завтра в 12 часов 40 минут дня.

То есть через два часа после объявленной моей кончины. А что, если именно он меня как раз прихлопнет и тут же уберется из страны?

— Какая чушь тебе лезет в голову, — встрял в мой мыслительный процесс двойник. — Если удастся, я, наоборот, постараюсь помешать убийству... Хотя ты и старый уже, но болван!

И он снова уткнулся в мою повесть, потом повернулся ко мне и сказал:

— Слушай, а твой сюжет мне тоже приходил в голову, но сейчас писать об этом уже поздно, поезд ушел...

«Надо поехать на кладбище, попрощаться с Оксаной, со стариками. Хотя, кто знает, может это будет прощанье перед встречей? Что там ожидает за финаль-



ной чертой? Потом надо повидать дочь с внучкой... Впрочем, они в санатории в Крыму... Слава Богу, завещание написано, менять ничего не буду... Так что времени на формальности, справки, нотариусов можно не тратить. Вечером, пожалуй, устрою вечеринку, приглашу друзей на собственные поминки... Здоровая идея!.. Кое-кому надо ответить на письма... А, впрочем, можно и не отвечать... У меня уважительная причина для неответа...»

Вдруг мой внутренний монолог оборвался, как будто что-то толкнуло меня. Как я мог не вспомнить про это дело? Ведь я занимался им уже много лет, да так и не довел до конца... В цепи доказательств зияли пустоты, я не мог найти документальное подтверждение своим догадкам, подозрениям, больше того, уверенности. Но сейчас я понял, что не могу умереть, попросту не имею права, не поставив точку. Ибо дело шло о смерти моего отца, а вернее, о его убийстве. Недаром и цыганка на вокзале сказала, что отец был убит...

Я до мелочей помню последний вечер с отцом. Он уезжал в командировку в Ленинград. Помню число — 12 февраля 1952 года. Была жуткая слякоть. Я провожал его на вокзал. Отец пребывал в замечательном настроении, его только что назначили главным инженером треста «Промстальпродукция». По этому поводу мы открыли в купе бутылочку коньяка. Я учился тогда на четвертом курсе медицинского института, но уже твердо знал, что пойду по стопам Чехова. С той разницей, что практиковать как врач не стану, а уйду в литературу немедленно. У меня уже было несколько публикаций, что Чехову в эти его годы и не снилось. Мы разложили на бумаге бутерброды с колбасой и сыром, приготовленные матерью. Проводник принес стаканы и первую порцию выпил с нами, а потом ушел к дверям вагона. Отцу повезло — ему теперь по должности полагался мягкий вагон — но билет достали в крайнее купе, где было не четыре, а всего два места, одно над другим. Я подшучивал над отцом, говорил, что его соседкой, наверняка, окажется молодая красотка. Но что я — могила, и матери о его дорожном приключении не расскажу. То, что никакая женщина не сможет устоять перед

обаянием отца, я не сомневался. Я всегда был в него немного влюблен. Он казался мне красивым, умным, добрым, широким, ироничным, «Москвошвеевские» вещи на нем сидели, как заграничные.

Ему недавно исполнилось пятьдесят. Сейчас я на целых двенадцать лет старше его. Это странное чувство — ощущать себя взрослее собственного отца. И только сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, каким он был в тот вечер молодым. Особой карьеры отец не сделал. Когда-то, в середине двадцатых — меня еще не существовало — он окончил институт инженеров железнодорожного транспорта и стал специалистом по металлургическим конструкциям. Участвовал в сооружении домен в Череповце, в строительстве Крымского моста, возведении стальных каркасов высотных зданий, которые только что были закончены и вызывали восхищение москвичей и приезжих, — мол, наши небоскребы не хуже американских.

Возведение наших небоскребов вела секретная строительная организация под названием «Особстрой», или что-то в этом духе, — за давностью лет уж точно не припомню. «Особстрой» входил не то в НКВД, не то в КГБ, тоже не помню точно, когда эти два симпатичных, любимых народом ведомства разделились, и от НКВД отпочковалось КГБ. Да это и неважно. От отца я знал, что шефом «Особстроя» был сам Лаврентий Павлович. Стройки высотных зданий были огорожены высокими заборами с колючей проволокой, за которыми зеки рыли гигантские котлованы для фундаментов. Бесплатная рабочая сила — вечная наша традиция. При царизме — крепостные, в сталинские времена — заключенные, а теперь — армия. Трест, в котором служил отец, не входил в секретную систему «Особстроя», он лишь выполнял заказы...

Наконец объявился попутчик отца, а вовсе не попутчица. Мои подначки относительно поездного романа оказались безосновательными. Я готовил себя к писательской деятельности и поэтому внимательно всматривался в каждое новое лицо, даже заносил в записную книжку описания внешности, особенности пейзажа, хлесткую услышанную фразу и изредка появляющиеся

собственные мысли, понимая, что все это может пригодиться при сочинительстве. Сосед отца по купе не очень запомнился мне. Крепкий спортивного вида человек, всего лет на пять старше меня. Единственной его особенностью был широкий синий рубец, идущий от виска вниз к щеке. Еще я обратил внимание, что у него не было с собой никакого багажа, кроме обычного служивого портфеля, который он не выпускал из рук. Короче, он выглядел типичным командировочным.

Отец предложил ему составить нам компанию, налил полстакана коньяка и протянул попутчику. Тот вежливо отказался и произнес фразу, которая нас немало удивила:

— Спасибо. Но на работе я не пью.

— Какая же в поезде работа? — улыбнулся отец.

Молодой человек на секунду замялся и потом объяснил:

— Знаете ли, я писатель. А в этой профессии человек всегда на работе.

Я посмотрел на него с уважением, потому что профессиональный писатель казался мне тогда существом высшего порядка.

— Не буду вам мешать, — любезно сказал сосед и вышел в коридор, не выпуская из рук портфеля.

Подошло время прощания. Мы обнялись с отцом, он уезжал всего-то на неделю.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Не волнуйтесь, доктор, — улыбнулся отец, намекая на мою будущую профессию. — Я в полном порядке. Поцелуй мать.

И потрепал меня по щеке. Так он часто делал в детстве. От прикосновения его руки стало приятно и тепло. Я в ответ легко ударил его кулаком в плечо и вышел на перрон. Отец встал у окна в коридоре, сменив своего соседа, который вернулся в купе. «Стрела» тронулась. Я шел за вагоном и глупо улыбался, не сводя глаз с любимого лица.

А наутро нас разбудил звонок почтальона — пришла телеграмма из Бологого, где сообщалось, что ночью отец скончался в поезде... Причина смерти — инфаркт.

Дальше были кошмарные дни: поездка в Бологое, цинковый гроб, медицинская справка с диагнозом смерти; похороны, которые начались у морга, а потом гроб установили в вестибюле «Промстальпродукции». Трест помещался на Садовом кольце недалеко от Маяковской. Речи потрясенных сотрудников, окаменевшая от горя мать. Управляющий трестом Кармазин поцеловал руку матери, обнял меня. Он раза два приходил к нам домой в гости. Этому человеку отец был очень обязан. В 1938 году Кармазин работал главным инженером треста, то есть в той должности, на которую отца назначили перед смертью, а отец был начальником технического отдела. Каким-то образом Кармазин разузнал, что отца намерены посадить, — всю эту историю мне рассказывала потом мать. И тогда Кармазин выдумал для отца командировку в Архангельск и услав его из Москвы. Целый год провел отец в Архангельске. Все это время он не писал матери писем, не звонил домой по телефону. А когда опасность миновала, и органы, наверное, вместо отца уpekли в тюрьму кого-то другого, Кармазин вернул отца в Москву...

Отец лежал в гробу с выражением лица, которое было мне незнакомым. Как будто он чего-то испугался в момент кончины. А потом Даниловское кладбище, тесные поминки в наших двух крошечных смежных комнатах в коммуналке, куда набились сослуживцы отца, родственники и соседи по квартире.

А дальше потекла уже совсем бедная жизнь. Из-за младшего брата — у нас с ним разница почти в двадцать лет — мать нигде не служила. Она стала брать работу на дом, печатала на машинке технические тексты. Служивцы отца не забывали нас и регулярно подбрасывали для перепечатки какие-то инструкции, сборники и учебники.

После окончания медицинского меня распределили на «Скорую помощь», и я пошел трудиться разъездным доктором, ибо надеяться на регулярные литературные заработки было нереально...

...Дальше память скакнула лет на семь-восемь вперед... Моя первая повесть о врачах, напечатанная в новом, только что созданном журнале «Юность», заин-

тересовала кинематографистов, и меня пригласили на «Ленфильм» для переговоров о написании сценария. Я был очень горд и польщен этим предложением. Поэтому купил себе билет в СВ, то есть в спальном вагоне. Я уже немало попутешествовал по России, будучи корреспондентом «Комсомолки», но еще ни разу не ездил в двухместном купе. По чину не было положено, а самому — дорого. Гонорар, полученный за повесть, придавал мне незнакомое доселе ощущение независимости. На перроне пассажиры, едущие в «Стреле», часто приветствовали друг друга, многие из них были знакомы между собой. В толпе мелькали лица знаменитых актеров, известных писателей. Тут были и адмиралы, крупные чиновники, сверкали золотом генеральские погоны. Я чувствовал себя приобщенным к элите страны, и хотя меня никто не знал в лицо, фамилия моя уже была на слуху. Повесть наделала порядочно шума, критики вступили в дискуссию, мордовали один другого, а заодно и меня. Благодаря их полемике я как-то сразу стал весьма известным. Меня тут же приняли в Союз писателей. Но подходить к людям и представляться: «Я — такой-то, я — автор нашумевшей повести», — было как-то глупо, хотя порой, честно говоря, очень хотелось. Потом, несколько лет спустя, тщеславие умерло во мне и казалось смешным, когда я его наблюдал у кого-то другого. Естественно, я считал себя в какой-то степени представителем богемы, и поэтому у меня в чемоданчике находилась бутылка дорогого армянского коньяка «Двин». Я не знал, кто окажется моим соседом или соседкой, но намеревался провести с ним или с ней время в задушевной беседе, хотел поделиться замыслом новой вещи, в общем, меня распирало от чувства глубокого удовлетворения и собственного величия.

Поезд тронулся, а попутчик так и не объявился. Я вынужден был ехать в одиночестве. Проводник получил с меня рубль за постель и принес чаю. Лицо проводника мне показалось знакомым, но где и когда я его видел, не припоминалось. Я пригласил его распить со мной бутылочку, потому что пить один еще не приучился. На дворе стоял не то 59-й, не то 60-й год: хрущевская оттепель, знаменитый доклад вождя, утаенный от народа,

но о котором все знали, возвращение узников из лагерей, развязавшиеся языки, хмельное ощущение свободы, предчувствие прекрасной жизни...

Проводник, крепко выпив, разоткровенничался и рассказал мне тогда историю, которая приоткрывала из нашего прошлого нечто неведомое.

«...Страшные вещи регулярно происходили у нас в поезде. Примерно раз в месяц появлялся пассажир, довольно молодой, не старше тридцати лет, здоровый, крепкий, такой спортивный, всегда с одним и тем же портфелем в руках. Что находилось у него в портфеле, мы не знали. Тогда спальных вагонов в составе было очень мало — это происходило в 50-м, 51-м, 52 годах, — у него всегда оказывался билет в крайнее двухместное купе мягкого вагона. И мы знали, что другой пассажир из этого купе ночью обязательно умрет. Так бывало всегда. Незадолго до Бологого парень с портфелем вызывал начальника поезда, говорил, что соседу по купе плохо, и просил вызвать врачей из Бологого к вагону. В Бологом входила медицинская комиссия, — думаю, что у них у всех под белыми халатами были гэбистские погоны, — и констатировала смерть. Иногда от инсульта, иногда от инфаркта, иногда отравление. Труп сгружали в Бологом. Сходил и попутчик. Каждый раз, когда я видел, что он входит в Москве в мой вагон, меня охватывала дрожь. Это был палач, который приводил тайный смертный приговор в исполнение. Причем, он никогда не работал вхолостую. Что он делал с жертвой — не знаю, потому что всегда было тихо, — ни криков, ни стонов, ни выстрелов. И лишь один раз он не успел выполнить свою работу до Бологого. Вошла медицинская комиссия, причем ее тогда не вызывали, но они и так знали всё заранее, а сосед палача по купе был жив: сидел одетый и лихо травил какую-то баланду, всякие там анекдоты. Медицинские эксперты ушли ни с чем. Но я слышал, как палач тихо сказал одному в белом халате:

— К Ленинграду управлюсь...

И, действительно, в Ленинграде весельчак был уже на том свете. Этот самый палач, конечно, понимал, что мы про него знаем, но он всегда делал вид, что никогда нас не встречал. И мы, проводники, тоже делали



вид, что этого пассажира видим впервые. Страшно было. Помалкивали в тряпочку. Ты — первый, кому я об этом рассказал...»

Я слушал рассказ проводника и трезвел от каждой его последующей фразы. Я вспомнил лицо отца в гробу, такое несвойственное ему выражение испуга. Неужели его убили? Сходилось многое: Бологое, попутчик, который не пьет на работе, медицинское заключение о причине гибели... И последняя фраза отца: «Не волнуйтесь, доктор. Я в полном порядке». Но как знать точно? Отец не был политиком, не был членом партии и, вообще, не был, не состоял, не участвовал... Технар, инженер... И карьера не Бог весть какая... За что его надо было приговаривать к смертной казни, да еще и секретной? То, что эти убийства были организованы бериевской охранкой, было ясно и бритому ежу... Может, отец знал что-то такое, чего не следовало ему знать?.. Может, он ненароком прикоснулся к какой-нибудь подлой государственной тайне?.. Как теперь это обнаружить?..

Ну, раньше, в 38-м, хватали всех подряд, у них план был по арестам, который следовало выполнять и пере-выполнять. А тут-то за что?

Проводник ушел, а я метался всю ночь в полупьяном и полусонном кошмаре, пытаюсь ухватить какую-то нить, найти что-то существенное, что поможет свести всё воедино, но это нечто ускользало, логика не слушалась, мысли путались. Кажется, я во сне плакал пьяными слезами и от горя, и от собственной тупости, и от бездонного бессилия. И вдруг меня осенило, о чем я должен спросить проводника. Уже под утро я заснул каким-то хриплым, отчаянным сном. А когда меня разбудил стук в дверь, — поезд подходил к Ленинграду, — я вдруг осознал, что забыл то важное, что пришло мне во сне. Состояние и душевное, и физическое было во всех смыслах рвотным. Меня мутило, и не знаю от чего больше. Я уныло побрел к выходу, проследовал мимо проводника, который сделал вид, что не узнает меня, и поплелся по перрону, обгоняемый бодрой и деловой элитой. И вдруг я вспомнил. Мне показалось, что я побежал обратно к своему вагону, но, вероятно, слово «побежал» было преувеличением. Проводника около две-

рей уже не было, так как все пассажиры покинули вагон. Я нашел его в одном купе, где он сдирал с полок грязное постельное белье.

— Слушай, а как он выглядел, этот самый па-лач? — хрипло спросил я.

— О чем вы? — проводник повернулся ко мне спиной, продолжая выдергивать одеяло из пододеяль-ника. Ночью мы с ним разговаривали на «ты».

— Ну, ночью ты мне рассказывал о человеке, ко-торый убивал...

— Слушай, ты, — он повернул ко мне оскаленное лицо, — запомни: я тебе ничего не рассказывал, понял?

Я взбесился и перестал что-либо соображать. За-хлопнув дверь купе, я схватил проводника за горло.

— Говно, трус, подонок, — цедил я, — если ты не скажешь мне, как он выглядел, я тебя придушу, суку...

Больше я не успел ничего сказать. Проводник, хо-тя ему было уже с полсотни, оказался парень не промах и нанес мне точный удар в челюсть, от которого я свалился на пол. Потом он перешагнул через меня, открыл дверь купе и с ворохом белья вышел в коридор. Через некото-рое время я пришел в себя и пошел к выходу из вагона. Проводник собирал белье в другом купе. Он почувство-вал, что я остановился в проходе, но даже не обернулся.

— Мне это важно знать, — тихо сказала я. — У ме-ня отец умер в 52-м году в поезде Москва — Ленинград. И его тело выгрузили в Бологом.

Проводник продолжал свою работу, не обращая на меня никакого внимания. Потом с очередной пор-цией простынь, наволочек и полотенец прошагал мимо меня, как мимо пустоты.

Я двинулся к выходу, и уже на площадке вагона проводник окликнул меня.

— Эй ты, подожди...

Я повернул к нему свое помятое лицо. Он испы-тующе посмотрел мне в глаза и произнес:

— Только меня ты в это дело не путай.

Я согласно кивнул.

— Была у него одна особенность... У него от вис-ка вниз шел такой рубец, шрам... синий... Как будто ку-сок кожи выдрали...



Тут память опять скакнула на год или два вперед. В 1961 году я впервые поехал за рубеж, во Францию. Это называлось «специализированный туризм». В иностранной комиссии писательского союза сколотили группку из сочинителей. Мы сами, разумеется, оплачивали и проезд, и пребывание. Но программа поездки предполагала не только знакомство с музеями, достопримечательностями, и, само собой, магазинами, но и общение с французскими коллегами. Наша группа (в отличие от делегаций, которые ездят за государственный счет) состояла из двух литературных мастодонтов, трех прозаиков военного поколения и меня, молодой поросли и надежды советской литературы. Встречи с французскими писателями оставили унижительное впечатление. Наши заграничные собратья отнюдь не были высокомерными, наоборот, — люди воспитанные, — они держались любезно и даже приветливо. Но было ясно, что они не только ничего не читали никого из нас, но и никогда не слышали наших фамилий. Не исключено, что в глубине души они считали кое-кого из нас, если не всех, агентами КГБ, посланными за рубеж под писательской крышей. Рассказывали, что драматург Н.Ф. Погодин, который был убежден в своей всемирной известности, после подобной поездки в Америку от огорчения и обиды умер. А через несколько дней после возвращения из Франции я неожиданно получил повестку из городского ГАИ — меня вызывали на 1-ю Мещанскую (она же проспект Мира) в определенный день и час. У меня уже около года была машина — новенький «Москвич». Я судорожно стал рыться в памяти, что, где и когда я нарушил, но никаких автомобильных грехов за собой не нашел. Советский человек привык слушаться официальных бумажек, и я не составлял исключения. В положенное время я подрулил к месту и направился искать комнату, номер которой был обозначен в повестке. В унылом казенном помещении два гаишника играли в домино. Я предъявил им повестку, и они показали мне рукой на дверь в смежную комнату, куда мне следовало идти. Я зашел в такой же безликий кабинет, как и предыдущий. За столом сидел безликий человек в штатском. Он встал из-за стола, протянул мне ру-

ку и неразборчиво произнес свою фамилию. Мы сели, и мой собеседник сразу же открыл карты. Оказывается, я не нарушил никаких автомобильных правил, а сам он вовсе не инспектор ГАИ, а работник органов. Он показал мне издали какое-то удостоверение, которое должно было убедить меня в том, что он говорит правду. Но этого он мог и не делать. Я как-то сразу поверил, что он, действительно, оттуда. Этот серый человек для начала отпустил несколько комплиментов по поводу моего дарования, сказал, что не сомневается в моем патриотизме, что он надеется на мое согласие помогать их организации... Застигнутый врасплох, не ожидавший ничего подобного, я промычал в ответ нечто невразумительное, что при желании можно было трактовать, как угодно: и как согласие, и как отказ. Дальше начался конкретный разговор. Он расспрашивал меня о поездке во Францию. Его интересовало, кто из писателей как себя вел. Отлучался ли кто? Может, кто-то не ночевал в отеле? Кто с кем встречался? Не вел ли себя кто-то из группы странно? Может, у кого-то было много валюты... Я не понимал, под кого он рыл, что именно хотел выудить из меня, но твердо знал — надо быть осторожным. Я обо всех своих попутчиках говорил в превосходной степени, рассказывал о патриотизме каждого члена нашей группы, хвалил талант и классовое чутье. Я видел, что каждая моя последующая фраза огорчает кагэбэшника. Я ускользал, как угорь. Вот уж к чему у меня никогда не было никакой склонности, так это к доношительству. Бесплодно промучившись со мной более часа, он сказал:

— Вы все-таки, Олег Владимирович, подумайте, как следует. Я уверен, что вы наверняка вспомните кое-что. Вы произвели на меня очень благоприятное впечатление.

И сексот назначил мне новое свидание — на этот раз в гостинице «Киевская» около вокзала в одном из номеров. Встреча наша должна была произойти через двое суток где-то в середине дня. Какими отвратительными казались эти двое суток! Не скрою, я боялся! Слишком еще свежи были в памяти ужасы, связанные с Лубянской. Я понимал — не расколось ни за что, но от этого



у меня только портилось настроение. Я знал, как мстительна организация, и ожидал для себя неприятностей. А их у меня лично — во всяком случае серьезных — пока еще не было. Я шел на второе свидание, как на пытку. Главное, я ни с кем не мог поделиться тем, что со мной происходит, — чекист потребовал, чтобы я хранил в тайне наши с ним рандеву. Когда в гостинице я спросил у дежурной по этажу, как пройти в назначенную мне комнату, она как-то недобро усмехнулась и показала направление. Я понял, за кого она приняла меня — за стукача. Номер был двухкомнатный, — у нас их называют полулюксами («осетрина второй свежести»), нежилой. Я сообразил, что КГБ специально снимает эти апартаменты для разных своих дел. Может, там была установлена и подслушивающая аппаратура. Я попытался представить, что происходило в этих комнатах за многие годы, и мне стало не по себе. Вообще, богатое воображение скорее недостаток, чем достоинство. Вербовщик уже ждал меня. Опять началось мытье да катанье. Он снова пытался выпытать у меня какие-то компрометирующие подробности о моих попутчиках, но я твердо стоял на позициях соцреализма, говорил о всех только хорошее и отличное. Вообще-то у нас была общая тайна, но мы поклялись друг другу там, на пляс Пигаль, никому об этом не рассказывать. Мы коллективно побывали в одном подвальчике на стриптизе, что ни в коем случае не рекомендовалось, вернее, запрещалось, и даже считалось чем-то аморальным, пачкающим советского человека. Но думаю, не это интересовало куратора писательской организации. То, что он работал «опекуном» писателей, я понял уже в следующей беседе. Осознав тщетность своих усилий в случае с французской поездкой, он стал вести светскую беседу о редколлегии «Юности», где я публиковался, спрашивал о тех, с кем я общаюсь в Малеевке — это наш Дом творчества, — что я думаю о том или другом писателе, как оцениваю их взгляды. Знали бы те литераторы, о которых он меня расспрашивал, какие лестные эпитеты я им отвешивал, как восхищенно говорил о тех, кого недолюбливал или считал бездарными, как высоко ценил гражданские, патриотические качества всех писателей

поголовно. Но — увы! — никто из них не ведал и не догадывался о том, как замечательно я думаю о всей нашей писательской братии. Мой собеседник оказался весьма сведущим человеком, в особенности в личной жизни многих. Он знал, кто с кем дружит, живет, враждует. Наконец, устав от однообразия моих ответов, он снова назначил мне свидание, на этот раз через неделю в этом же номере гостиницы. На третью встречу я шел с тем же ощущением гадливости и, пожалуй, с тем же испугом. Ибо не знал, куда и как повернет этот мерзкий, вежливый субъект, ощущавший за собой огромную силу мощного аппарата тайной полиции. Но третья попытка завербовать меня оказалась, по счастью, и последней. Еще раз намаявшись с моим безупречным отношением ко всем без исключения, агент, вероятно, махнул на меня рукой.

Прощаясь, он предупредил меня:

— Если вы увидите меня в Доме литераторов, или на каком-нибудь писательском собрании, или в Доме творчества, делайте вид, что вы со мной не знакомы и не здоровайтесь со мной.

Я с радостью обещал ему это. Тут-то я и понял, что он откомандирован своим ведомством следить за писателями. Я бы не рассказывал о попытке сделать меня стукачом, если бы знакомство с филером не продвинуло меня в истории со смертью отца. Где-то через месяц или два я оказался на премьере в Доме кино. Там в толпе увидел какую-то знакомую физиономию. Я, конечно, поздоровался и, только пройдя мимо, уже спиной понял, кого я поприветствовал. Это оказался тот самый тип, который соблазнял меня работать в охранке. Я обернулся. Он не обращал на меня никакого внимания и с кем-то беседовал. Я перевел взгляд на человека, с которым разговаривал мой знакомый незнакомец, и обер. На лице его собеседника от виска к щеке шел широкий синий рубец. Как будто в этом месте у него была вырвана кожа. Мне показалось, что я узнал попутчика отца по купе, но с таким же успехом мог и ошибиться. Надо было как-то невзначай познакомиться с ним, выведать кто он. Но я не понимал, как к этому подступиться.

...Дойдя до этого места своего повествования, я



вдруг ощутил, что в истории, которую рассказываю, появился эдакий монтекристовский налет. Надо же — загадочный убийца со шрамом! В этом, конечно же, есть нечто дюмаобразное. Если следовать правде двадцатого века, то могучий фискальный спрут, запустивший свои щупальца в каждую клетку страны, несомненно, маскировал своих агентов, гримировал их под типичное, незаметное, избегал ярких опознаваемых примет. И тем не менее человек с синим рубцом, идущим от виска к щеке, стоял передо мною...

И еще одна невеселая мысль посетила меня, когда я окидывал взглядом написанное. Мало того, что я традиционалист, с этим как-то можно было бы и примириться. К несчастью, я еще оказался и беллетристом. Беллетристика, судя по общественному мнению, созданному критиками, — это нечто второсортное, некая потребительская или, если хотите, коммерческая литература для быдла. Постепенно возникло общественное мнение о такого рода кинематографе, драматургии, прозе и живописи. Общественное мнение, кстати, сейчас стало играть у нас первостепенную роль. И это просто замечательно! Раньше считались лишь с мнением начальства, а сейчас только с общественным. Правда, диктат общественного мнения оказался, как ни странно, куда сильнее, нежели в тоталитарную эпоху партийный диктат, именовавшийся почему-то диктатурой пролетариата. Раньше похвалить отлученного, крамольного Солженицына было опасно, могли последовать оргвыводы. Зато в наши дни сказать о Солженицыне недоброе слово вовсе уж невозможно. Могут не подать руки. По мне и тот и другой экстремизм одинаково неприемлемы. А что же касается беллетристов, то их, думаю, принимают именно те писатели, которые сами не в состоянии сочинять занимательно, кто не владеет сюжетом и интригой. Но, поскольку история, которую я описываю, не имеет отношения к литературоведению, продолжу рассказ...

Итак, следовало познакомиться с человеком, который беседовал с агентом, запретившим мне здороваться с ним, а тем более вступать в публичный контакт. Через пятнадцать минут должен был начаться показ ка-

кого-то итальянского фильма, кажется, феллиниевской «Сладкой жизни». Я осознал, что упустить шанс не имею права. И тут я решился. Я вообще обратил внимание — когда меня загоняют в безвыходное положение, припирают к углу, я частенько оказываюсь способен на нечто непредвиденное, в том числе и для самого себя. Я подошел сзади к человеку со шрамом и сильно хлопнул его по плечу:

— Здорово, Боб! Сколько лет, сколько зим! Совсем скрылся с моего горизонта! — Я и сам не знал, что произойдет дальше.

Боковым зрением я отметил удивленные глаза писательского куратора. «Боб» повернулся ко мне и смерил меня взглядом.

— Извините, но вы ошиблись! Я не Боб!

Честно говоря, я не знал, настаивать ли мне на том, что он — Боб, или признать свою ошибку и попросить прощения. Времени для размышлений практически не было.

— Вы так похожи на Боба, это мой школьный товарищ. Ради всего, извините. У меня неважная память на лица, — и я протянул ему руку. — Горюнов, Олег Владимирович. Слышу писателем.

Человек со шрамом пожал мою руку и взглянул на агента.

— Кстати, вас, — обратился я к вербовщику, — я тоже где-то видел. Но не могу припомнить где. Вы не подскажете?

— Я вас вижу впервые, — не моргнув глазом, соврал чекист.

— Вы с «Мосфильма»? — спросил я их, понимая, что отступить мне некуда.

— Нас пригласили, — уклончиво сказал зарубцованный. — Мы не из кино.

— Есть еще четверть часа... Может, хлопнем по рюмашке по поводу знакомства, — я чувствовал, что остаюсь с носом. — Я угощаю...

Они обменялись взглядами. Они явно не понимали мотивов моей настырности.

— Вы, по-моему, уже хлопнули, — улыбнулся кагэбист.



— Самую малость, — согласился я. — Но не вредно добавить! Кстати, ваш приятель из вашего ведомства? А то у меня есть, что вам сообщить.

— Нет, нет, — вдруг быстро сказал тот, ради которого я и затеял весь спектакль. — Я врач. Доктор наук, Поплавский Игорь Петрович. Читал вашу повесть и рассказы... Примите мое восхищение...

— Спасибо. Тогда тем более это надо отметить...

Они нехотя подошли вслед за мной к стойке. Я заказал три коньяка и пару плиток шоколада.

— Игорь Петрович и...

— Сергей Иванович, — подсказал свои то ли подлинные, то ли вымышленные имя и отчество недоумевающий шпик. Он пытался понять, ради чего я затеял эскападу, но было видно, что он терялся в догадках.

— Поскольку вы, Игорь Петрович, как я понял, знаете, где служит Сергей Иванович, поэтому я признаюсь при вас. Мне очень жаль, что я не открыл этого вам при первой нашей встрече. Во Франции, — я понизил голос, — мы всей группой совершили недостойный поступок. Мы коллективно сходили на стриптиз.

Жаль, что не было кинокамеры, чтобы передать всю гамму чувств, которые пробежали по лицу моего вербовщика.

— А вы, оказывается, шутник, — проскрипел он.

— А вы не знали? — фамильярно засмеялся я. — Будем знакомы! Ваше здоровье!

Я опрокинул в себя рюмку. Те выпили медленно. Они нутром чувствовали что-то неестественное, но не могли уразуметь, что мне от них надо.

А у меня в мозгу стучало: врач Поплавский Игорь Петрович, доктор наук. Доктор наук Игорь Петрович Поплавский. Игорь Петрович, врач, Поплавский, доктор наук. Только правда ли всё это? Не псевдоним ли? Но большего от моего кавалерийского наскока добиться было невозможно.

— Предлагаю после просмотра пойти в ресторан поужинать, — пригласил я как радушный хозяин. — Угощаю. Гонорар получил.

— Спасибо... Может быть... Увидимся после фильма...

Но после картины я их, конечно, не нашел.

На следующее утро я бросился к ближайшему справочному киоску. Оказалось, что Игорь Петрович Поплавский существует и проживает в Москве. По 09 я узнал и номер его домашнего телефона. Как поступать дальше, я сориентировался не сразу. Потом сообразил. Выяснилось, что я зря не согласился на сотрудничество с органами — во мне погиб сыщик. Я организовал телефонный звонок к нему домой днем, когда, скорее всего, Поплавский должен был быть на службе. Звонила моя первая жена. Я проинструктировал ее: если подойдет мужчина, то надо положить трубку. Если же в трубке раздастся женский голос, то следует представиться, сказать что Поплавским интересуются из «Медицинской газеты», и, если ответят, что Игорь Петрович на работе, попросить номер служебного телефона. Так я получил рабочий телефон человека со шрамом. Следующий шаг — предстояло узнать по номеру, в каком же именно учреждении работает Поплавский. Филер я был доморощенный и этот, казалось бы, несложный поиск поставил меня в тупик. Ну не листать же телефонный справочник и сверять цифры, как в займе. В общем, не стану утомлять подробностями, но в конце концов справился я и с этой задачей. Оказалось, что Игорь Петрович заведует лабораторией в Институте вирусологии Академии медицинских наук, что он действительно доктор медицинских наук и, больше того, лауреат Государственной премии СССР. Я узнал, что у него немало научных трудов, что он преподает в 1-м Медицинском и намерен баллотироваться в члены-корреспонденты Медицинской академии...

Так рухнула моя гипотеза, подозрение, версия, называйте как хотите. Тогда соседом отца по купе был другой человек с широким синим рубцом на щеке, а не врач, ученый, доктор наук, лауреат, почти академик. Но как найти ТОГО среди двухсот пятидесяти миллионов, признаюсь, не представлял. Да и, честно говоря, я не жил только этой проблемой. Это сейчас кажется, что я был поглощен исключительно розыском предполагаемого убийцы. Я ведь тогда и не был до конца уверен в том, что отца уничтожили. Колебался и туда, и сюда...



Жизнь неслась... Я много работал... Почти по каждой моей повести, практически по каждому рассказу снимался фильм или для кино, или для телевидения. Именно благодаря кинематографу я смог, поднатужившись, купить пришедшую в упадок дачу в писательском поселке у пришедшей в упадок вдовы классика социалистического реализма. Но поскольку речь идет о судьбе отца, перенесемся еще годика на два-три.

По моему рассказу «Уроки немецкого» на Валдае снимали фильм для телевидения. Режиссер пригласил меня на недельку посидеть на съемках, помочь найти стилистику картины, переписать заново одну из ключевых сцен, к которой у него были претензии. Я охотно согласился, тем более, что актриса, которую выбрали на героиню, мне очень нравилась, и у меня мелькали по этому поводу весьма радужные мысли. Надо было ехать поездом до Бологого, а там меня встречал микроавтобус съемочной группы. Я много раз проезжал мимо этой станции во сне: поезда в Ленинград и обратно останавливались здесь около четырех утра. И лишь раз я приезжал сюда специально, за телом отца. Обычно в таких случаях мыкаются: надо раздобыть цинковый гроб, преодолеть немыслимые сложности с отправкой гроба, организовать оформление всяческих документов, но в тот раз меня поразила высокая организованность дела. Просто я тогда не подозревал, что конвейер транспортировки покойников был привычен и отлажен...

Я провел несколько дней на съемках, помог чем был в силах режиссеру. Жили мы в «Доме колхозника» в райцентре, где для меня, постановщика, и исполнитель главными ролей организовали по отдельной комнате, естественно, без удобств. Кое-кто поселился в частных избах. Со жратвой тоже обстояло неважно, хотя администрация группы билась изо всех сил. После каждого обеда, напоминавшего войну и эвакуацию, режиссер говорил одну и ту же фразу:

— ОНИ утверждают, что бытие определяет сознание. Так вот, как ОНИ нас кормят, так мы ИМ и снимаем...

Через несколько дней я отправился восвояси. С актрисой ничего не вышло. Место, на которое я целил, было уже занято оператором фильма. Роман с оператором,

впрочем, не мешал исполнительнице играть хорошо. А, может, наоборот, помогал. Ибо рассказ был написан именно о любви.

Меня снова привезли в Бологое. И я снова погрузился в воспоминания. Вдруг я подумал — в нашей бумажной стране, где документ важнее человека, не может быть такого, чтобы не осталось какой-нибудь записи в каком-нибудь гроссбухе. Я решил дождаться утра, сдал билет и прокемарил в зале ожидания. Впервые я видел, как спуют поезд между Москвой и Ленинградом не изнутри вагона.

Утром я начал с начальника станции. Я поинтересовался, не ведут ли они ежедневный журнал, служебный дневник того, что происходит на станции. Оказалось, ведут, и дежурный, сменяясь, передает его следующему дежурному. Но события, происшедшие с пассажирами, — заболел, обворовали, отстал от поезда, потерял багаж, умер — если только не попал под поезд — не заносятся. Надо идти в железнодорожную милицию или больницу. Милицейский капитан, когда я объяснял ему свою просьбу, отнесся ко мне, как водится, недоверчиво. Я показал ему членский билет Союза писателей, водительские права, паспорт, удостоверение, разрешающее мне входить на киностудию и еще что-то. И только тогда, крайне неохотно, он допустил меня в чулан, где валялись старые амбарные книги, в которых записывались милицейские протоколы и прочие сведения. Для порядка он приставил ко мне милиционера. Предстояла еще та работка. От пыли, грязи и паутины я регулярно чихал. Я листал пожелтевшие, местами некогда подмокшие и кое-где обгрызенные крысами листы. Передо мной предстал со страниц чудовищный парад русской безграмотности, такой, что порой невозможно было докопаться до смысла. Разумеется, амбарные фолианты не были разложены по годам, иногда сложно было различить дату. То, что я читал, оказалось, по сути, своеобразной фотографией, достоверной фиксацией последних лет сталинского режима. Это был слепок, сделанный с реальной жизни провинциальной железнодорожной станции тех лет. Редкий день проходил без происшествий. Убийства, несчастные случаи, пьянки, поножов-

щина, изнасилования, драки, воровство, растраты, грабежи. Но я искал регистрацию смертей в поездах. Их тоже оказалось немало — выбросили на ходу из поезда, зарезали по пьянке, самоубийства. Но я искал другое. Мы сделали с моим охранником перерыв на обед, я покормил его и себя какой-то необъяснимой бурдой в пристанционной столовке. А потом мы снова вернулись в чулан. Я устал, но чувствовал себя как ищейка, когда след становится всё более и более свежим. Наконец я наткнулся на запись, которую жаждал найти. Запись была от 13 февраля 1952 года. «Пасс-рск. поезд № 2 Горюнов Вл. Ив., 1902 г. р. Смерть в поезде, мед. закл.: инфаркт миокарды. 15 февр. труп отпр. Моск.» Ничего нового, кроме того, как пишется слово «миокарды», найти не удалось. Правда, за 52-й год я обнаружил еще девять смертей с аналогичными записями, а за 51-й год — девятнадцать. Предположить, что все эти смерти оказались ненасильственными, было трудновато. На всякий случай я переписал все фамилии и имена-отчества погибших в записную книжку. Кто-то из родных настаивал тогда на проведении вскрытия, но мать категорически отказалась. Она, да и я безоговорочно верили медицинской справке. Делать вскрытие казалось нам в те горькие дни бессмысленным издевательством над близким человеком...

В общем, я примирился с тем, что так и не узнаю тайны. Прошло еще много лет, наверное, около двадцати, пока я снова не проявил детективного интереса к этой загадочной истории. Недавно, уже в горбачевское время, в газете «Московские новости» появился материал — документы из следственного дела Берии. Вот несколько цитат: «Лист 69»

«...Изыскивая способы применения различных ядов для совершения тайных убийств, Берия издал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере уголовного наказания...»

«...Майрановский вместе с работавшими у него врачами и лаборантами производили умерщвления арестованных путем введения в организм различных ядов... через пищу, путем укола тростью или шприцем...»

(Особая папка)

«Лист 70»

« — При производстве таких опытов в секретной лаборатории было умерщвлено не менее 150 осужденных...» (Особая папка)

«Лист 71»

«...Майрановский показал: «...Кто были эти лица, я не могу назвать, так как мне не называли их, а разъясняли, что это враги и подлежат уничтожению. Задания об этом я получал от Л.П. Берии, В.Н. Меркулова и Судоплатова... Мне никогда не говорилось, за что то или иное лицо должно быть умерщвлено и даже не называлась фамилия... Я не могу точно назвать, сколько лиц мною было умерщвлено, но это несколько десятков человек... Да, для меня достаточно было указания Берии, Меркулова. Я не входил в обсуждение этих указаний и безоговорочно выполнял их...»

(Особая папка)

«Лист 72»

«...Майрановскому была присвоена ученая степень доктора медицинских наук...»

(Особая папка)

Можно представить, с каким интересом я всё это прочитал. Егор Яковлев, редактор «Московских новостей», был моим старинным приятелем. Лет двадцать назад, когда он придумал и начал издавать журнал «Журналист», он сделал попытку опубликовать еще одну мою «нежелательную» повесть, которую отвергло несколько периодических изданий. Были уже гранки, верстка, но до публикации не дошло. Цензура не дремала и выдрала повесть на последнем этапе. Тот номер «Журналиста» был очень худеньким. Гранки где-то лежат у меня в архиве, но сам я уже их никогда не найду. В том, где что лежит, разбиралась только Оксана. В наше смутное время я регулярно печатался у Егора в его по-настоящему превосходной газете. К сожалению, больше того, что содержалось в публикации, в редакции никто не знал. У Егора была вертушка, и он помог мне, как говорили бюрократы, «выйти» на генерала КГБ, в ведении которого находился архив и реабилитационные дела. На следующий день, объехав по площади вокруг



обгаженного птицами, зловещего монумента «железному Феликсу», я припарковался на Пушечной между «Детским миром» и Центральным домом работников искусств. Отсюда было недалеко. Не скрою, хотя времена стояли другие, но все равно я ощутил легкий трепет, когда прошел через подъезд, ведущий в «святая святых» грозной, кровавой мясорубки.

Генерал — он был, разумеется, в штатском — оказался не только моим поклонником, но и демократом. Он ратовал за деполитизацию органов, за открытие всех секретных архивов и спецхранов, за публичное покаяние своего ведомства. Был улыбчив, внимателен, угощал чаем и рассказывал антисоветские анекдоты. Я изложил свою просьбу: узнать, не работал ли Игорь Петрович Поплавский, доктор медицинских наук, в секретной лаборатории Майрановского или в каком другом тайном медицинском учреждении их ведомства. Он обещал узнать, записал номер моего домашнего телефона, хотя, думаю, получить его ему ничего не стоило. Под конец беседы генерал вытащил из ящика стола две моих книжки — роман и сборник повестей — и попросил сделать дарственные надписи. Я надписал. У меня было две дежурные формулы, впрочем, достаточно сердечные, к которым я прибегал, когда давал автографы незнакомым людям. Почему-то — инстинкт, что ли? — я не очень верил, что генерал сообщит мне правду, и на следующий день, не дожидаясь сведений с Лубянки, отправился в Институт вирусологии, где членкор Академии медицинских наук Поплавский по-прежнему заведовал лабораторией. Я заглянул в отдел кадров, но не к начальнику, а в комнату, где сидели две барышни. Отмычкой для меня служило то, что благодаря телевидению, население страны знало меня в лицо. Недаром Оксана, когда возникла какая-нибудь щекотливая ситуация, говорила мне:

— Иди, покажи личико!

Я шел и показывал. И сразу же начинались приветствия, похлопыванье по плечу, всякие лестные слова, и всё частенько оборачивалось к лучшему. Все-таки у нас очень хорошие люди. При этом они крайне неравнодушны к известности...

Для начала я подарил кадровичкам по небольшой книжечке собственных стихов, вышедших в приложении к «Огоньку». Вообще, со стихами у меня получилось не так, как у всех. Как правило, поэт с возрастом приходит к прозе. Я же начал с прозы и только в пятьдесят лет написал свое первое стихотворение. Потом оно стало песней в картине, которую снимал известнейший режиссер по моему сценарию. А дальше время от времени меня, выражусь-ка я высокопарно, посещала муза Поэзии. К моему стыду, я не помню, как ее зовут. Муза оказалась очень капризной. Иногда она навещала меня часто, порою даже дважды в день, а временами исчезала на дватри месяца, а то и на полгода. Так что стихи сочинялись нерегулярно, да я и не придавал им значения — долгое время не публиковал. А потом вдруг набралось их около сотни, и в разных журналах появились подборки. Но хотя время было не для стихов, некоторые композиторы сочиняли на них музыку. В результате недавно, к моему изумлению, «Мелодия» выпустила пластинку: я читаю там разные собственные стихи, а разные певцы и артисты поют мои вирши на музыку разных композиторов. Некоторые песни были вполне популярны. Как говорят в Одессе, у меня вышло сразу две пластинки: первая и последняя...

Я пудрил мозги барышням из кадрового отдела, врал, что сочиняю книгу о вирусологах и поэтому мне надо знать биографии некоторых ученых: мол, как они дошли до жизни такой. Барышни охотно вытаскивали с полка личные дела. Сначала я записал анкетные данные директора института, потом назвал одну известную фамилию и ознакомился с его прошлым, потом настала очередь Поплавского. Девушки его очень хвалили, говорили о внимательности, интеллигентности, мягкости. Я тем временем читал анкету, которую вообще-то они не имели права мне показывать. Год рождения — 1921-й, во время войны — в 1944 году — окончил медицинский институт в Саратове, окончил с отличием и сразу попал на работу в спецполиклинику НКВД, потом МГБ, потом КГБ, откуда перешел в 1954 году в НИИ вирусологии АМН СССР.

Докторскую диссертацию защитил совсем моло-

дым, еще в 1952 году, работая в загадочной спецполиклинике. Тогда же был награжден двумя орденами. Интересно, за что? Остальные награды, звания, должности, степени были получены уже на гражданке. Девчата хотели ознакомить меня еще с личными досье молодых ученых, но я неожиданно потерял интерес. Поблагодарив нарушительниц кадровой дисциплины, я смылся, сказав, что говорить о моем визите никому не стоит. Но и сами барышни, как-то отрезвев от эйфории, вызванной встречей с популярной персоной, обещали мне полную тайну. Впрочем, это было в первую очередь в их интересах.

А к вечеру позвонил генерал с Лубянки. Сокрушенным тоном он поведал мне, что Поплавский Игорь Петрович никогда не работал в медицинских организациях правоохранительных органов. Я поблагодарил, извинился, что доставил ему лишние хлопоты, и повесил трубку. Про КГБ мне стало понятно всё: своих они не выдавали.

Теперь у меня не было сомнений, кто именно убил отца. Но что я мог сделать? И что я должен был сделать? Пойти и убить Поплавского? Но я не умею. Никогда не пробовал. Да и учиться поздновато. И ненависти за давностью лет не хватало. Подать в суд? Но не ясно, примет ли суд такое дело. И потом, ничего не докажешь. Где этот самый проводник? Неизвестно, какие он даст показания, если его удастся разыскать. А КГБ представит официальный ответ, мол, Поплавский у них не работал. Поехать самому и поговорить, пригрозить? Во-первых, противно, да убийца ни в чем и не признается, отопрется. И я буду выглядеть законченным мудаком. А тут как раз и подоспела последняя поездка в Ленинград...

Всё, столь долго и подробно рассказанное, пролетело в моем сознании за несколько мгновений. Ведь я вспоминал не фразами, следующими друг за другом, не временными периодами, не логическими построениями, а сумбурно, и при том символами, знаками, ощущениями, отдельными репликами, вспыхивающими зрительными картинками, — всё это рваной каруселью крутилось в мозгу. Обрывки, фрагменты, кусочки, лица,

времена года переплелись, образуя странный калейдоскоп, где только я один мог воссоздать целое.

— Я бы хотел, чтобы ты поехал со мной, — сказал я.

Олег отодвинул недочитанный журнал:

— Я готов!

Я отыскал свои записи, сделанные в милицейском чулане Бологого, сунул их в карман, и мы вышли на лестничную площадку.

— Рассказать тебе, куда мы едем? — спросил я.

— Я, в общих чертах, догадываюсь...

Мы потопали вниз. Милиция уехала. Я открыл дверцу «Волги», одел «дворники» — день был пасмурный, промозглый, — и оба Горюновых уселись в автомобиль.

— Карательная экспедиция началась! — весело сказал младший Олег.

Я косо посмотрел на него, не понимая его радости. Я попытался завести двигатель, он проворачивался, но не заводился.

— Что за черт?

Я увидел, что стрелка, показывающая наличие бензина, находится — аж! — за нулем.

— Нет бензина, — сказал молодой двойник.

— Я же перед отъездом залил полный бак, отстоял два часа в очереди...

— У тебя есть замок на бензобаке?

— Нет.

— Ну, и лопух. Значит, отсосали, выкачали. С бензином, как и со всем остальным...

Я выругался, и мы оба вылезли из «Волги». У меня в багажнике была двадцатилитровая канистра с бензином, предусмотрительно наполненная на колонке. Олег перелил горючее в бензобак, и мы выехали со двора. Я включил радио. Последние годы радио в машине и телевизор в квартире работали у меня непрерывно. Политическая ситуация менялась ежедневно. Пахло военным заговором, переворотом, братоубийственной войной. На глазах нагнел бандитизм. Цены взлетали вверх. Жители вооружались, кто чем мог. Злую агрессию излучали глаза каждого. Непрочное балансирование на грани взрыва — такое ощущение не покидало меня послед-



ние месяцы. Все это сопровождалось безостановочной говорильней. Депутаты и делегаты всевозможных съездов, конгрессов, конференций соревновались в краснобайстве, предлагая рецепты вывода страны из хаоса, а страна, тем временем, катилась к такой-то матери.

— ...Правительство подало в отставку, продержавшись всего неделю... Число забастовщиков в столице перевалило за семьсот тысяч... Правые силы консолидируются, российские коммунисты, КГБ, милиция, армия, общество «Память», патриоты, депутаты из группы «Союз» намерены дать бой демократам, которые все время выясняют, кто именно из них левей и прогрессивней. Самая богатая партия — коммунистическая — прочно удерживает позиции в армии и в Госбезопасности... — тараторил комментатор — Ни один из указов Президента не выполняется. Такое впечатление, что их даже не читают.

Я переключил станцию и услышал знакомый голос одного кинорежиссера, который ставил когда-то фильм по моей пьесе.

«— Главное сейчас сберечь Советский Союз от распада, — говорил талантливый в далеком прошлом постановщик. — Я родился в Советском Союзе и хочу в нем умереть...»

— Тогда тебе придется поторопиться, — пробормотал я.

Олег прыснул. Я переключил радио на другую волну. Там вещал командующий крупным военным округом генерал Хромушин, вышедший на политическую авансцену. Генерал говорил темпераментно:

«— Нельзя больше допускать анархии: грабежей, забастовок, политической безответственности. Стране нужен твердый порядок. Время болтовни и пустого прожектерства кончилось. Россия не может копировать Запад. У нее свой исторически предначертанный путь».

— Хромушин — кандидат в диктаторы номер один, — пояснил я.

— Это ты мне говоришь! Я же был под его началом в Афганистане, — сказал Олег. — Напился он там кровушки! И нашей, и афганской.

Голос генерала продолжал:

«— Люди должны жить в безопасности, ходить на работу, иметь возможность покупать любые продукты. Страна дошла до точки. Больше терпеть невозможно. Соотечественники! Я призываю вас давать отпор политическим болтунам. Россия для русских! Демократизацию надо вводить силой, и такая сила у нас есть... Да здравствуют Родина, держава, коммунизм» ...

Мы проехали мимо колонны штатских, вооруженных топорами. Они шли строем, ими командовал сугубо гражданский человек в очках. На рукаве каждого была повязана черная полоска.

— А это кто такие? — спросил я.

— По-моему, дружина анархо-синдикалистов — неуверенно сказал младший Олег. — Я начинаю запутываться в этом засратом плюрализме.

Мы проехали мимо митинга, где мелькало множество красных транспарантов. Какой-то горлопан орал в мегафон:

«— Иностранцы должны жить на специально отведенных для них территориях под контролем вооруженных сил...»

— Национал-патриоты — это одни из тех, кто может попытаться свести с тобой счеты, — сказал младший Олег. — Они не любят, когда их обзывают фашистами...

— Давай не будем говорить на эту тему, — попросил я его.

— Прости...

Тут мы врезались в дорожную пробку. Сначала сидели внутри машины, а потом последовали примеру других водителей, которые вылезли из автомобилей и, встав на подножки, смотрели вперед, пытаясь понять, в чем же заговздка. Когда мы, двое Горюновых, тоже оседлали с двух сторон мою «Волгу», то сначала услышали приближающийся неистовый рев множества автомобильных клаксонов, сливающихся в могучий звук, а потом увидели, как несколько сот такси медленно и внушительно пересекали поперечную магистраль.

— Вчера милиционер застрелил таксиста, — сказал кто-то из зевак-шоферов. — Просто так. Беспричинно.



— Это демонстрация! Таксисты требуют суда над ментом, боятся, что органы его прикроют, — пояснил другой водитель.

Колонна такси проехала, все разбежались по машинам и вскоре пробка рассосалась...

Наконец мы подъехали к НИИ вирусологии. Это было недавно построенное семизэтажное здание — типичный безликий архитектурный ублодок из бетона и стекла.

— У тебя есть какой-нибудь план? — спросил младший Олег.

Я пожал плечами, ибо не совсем понимал — зачем мы едем и что будем делать с этим самым Поплавским.

Заперев машину, мы вошли в вестибюль. Вахтерша объяснила, что кабинет Поплавского находится на пятом этаже и что он, — она взглянула на доску под стеклянной дверцей с номерами и крючками, куда вешались ключи, — в институте. Мы ехали в лифте одни, и Олег сказал:

— Ничего там не трогай. Не оставляй отпечатков пальцев.

— А ты? — спросил я.

Он вынул руки из карманов и показал, что он в перчатках. Когда он их успел надеть, я не видел. Мы подошли к комнате 513, и Олег постучал в дверь. Из кабинета раздался мужской голос:

— Одну минуту!..

Мы стояли в коридоре и ждали какое-то время. Иногда мимо нас скользили люди в белых халатах, но они не обращали на нас никакого внимания. Я не знаю, нервничал ли я. Меня как бы вообще не было. Наконец из кабинета выскочила молоденькая сотрудница, тоже в белом халате, и сказала, обращаясь к нам:

— Пожалуйста, Игорь Петрович готов вас принять.

Младший Олег подождал несколько секунд, пока она не отошла, потом ловко вытащил из замочной скважины ключ с биркой и открыл дверь. Я следовал его указанию и ни к чему не прикасался.

Поплавский что-то писал. Не отрываясь от работы, он кивнул нам и, показав на стулья, пригласил:

— Присаживайтесь. Слушаю вас.

Младший Олег тем временем вставил ключ в дверь и запер кабинет изнутри. На щелчок замка Поплавский поднял глаза. Я не видел его около двадцати лет. Передо мной в белом халате за столом сидел крепкий седой старик, лет ему должно было быть, по моим расчетам, около семидесяти. Морщин на лице почти не было, вся его фигура излучала уверенность в себе, здоровье и привычку к власти. Он повернул лицо, и я увидел синюю отметину на его щеке.

— В чем дело? — сказал Поплавский. — Отоприте дверь! Кто вы такие?

Вместо ответа младший Олег сунул ключ от кабинета к себе в карман. У Поплавского была мгновенная реакция, недаром же его молодость прошла в рядах славной организации, всегда стоящей на страже. Он быстро схватил телефонную трубку и начал четко набирать какой-то номер, но и мой новоявленный дружок, видно, тоже прошел неплохую школу в Афганистане. Сильным движением он рванул телефонный шнур и вырвал его из гнезда. Поплавский рванулся к стеклянному шкафчику с пузырьками и колбами.

— Руки на стол! — приказал младший Олег и вытащил из кармана револьвер. Я не был уверен, — либо это был мой газовый, а, может, учитывая боевое прошлое Олега, о котором я только что узнал, он сохранил со времен войны настоящее оружие. Игорь Петрович после секундного колебания положил руки ладонями вниз. Мне стало казаться, что я смотрю американский детектив, причем ниже среднего качества. Уж очень не в своейственной роли я здесь находился...

— Кто вы? Что случилось? Предъявите документы... — неожиданно, сорванным фальцетом произнес Поплавский. — Что вы от меня хотите?

— Говори, — кивнул в мою сторону Олег.

— Вы обвиняетесь в том, — преодолевая дурноту, усталым голосом начал я, — что в конце сороковых — начале пятидесятых годов убили несколько десятков человек.

— Вы... Горюнов, Олег... — он на секунду замялся, — Владимирович... кажется, вы писатель?.. Что за чушь вы несете?



— Вы под видом пассажира приходили в поезд Москва — Ленинград, и у вас всегда оказывался билет в двухместное купе, — нудно продолжал я. — Каждый раз в Бологом из вашего купе выносили покойника. У меня есть показания проводников и список ваших жертв. Кроме того, известно, что до 54-го года вы работали в органах...

— Эта штука посильнее, чем фаллос у Гёте, — насмешливо перефразировал известную сталинскую фразу Игорь Петрович. — Какая ерунда! Вы что же, подозреваете, что я их убивал?

— Я могу это доказать! — бесцветно сказал я.

— Ой, не можете, — весело парировал Игорь Петрович.

В это время из коридора кто-то дернул дверь, а потом постучал в нее. Поплавский открыл было рот, но Олег тихо скомандовал:

— Молчать. Если крикнете, убью. Револьвер стреляет бесшумно.

Думаю, насчет бесшумности Олег блефовал, а, впрочем, кто его знает. Поплавский поперхнулся, но не издал ни звука. В дверь постучали еще раз, потом мужской голос сказал:

— Наверное, домой уехал...

В тишине были слышны удаляющиеся по коридору шаги.

— Продолжай! — кивнул в мою сторону Олег.

— Я требую, чтобы вы сознались в совершенных вами преступлениях!

Каким-то вторым своим существованием я отметил, что недоволен собой. Профессия, что ли, наложила отпечаток — мне казалось, что я изъясняюсь как-то штамповано и литературно. И как-то незэмоционально.

— Это вам нужно для нового романа? — иронично поинтересовался седой человек со шрамом.

— Не тяните время! — оборвал его Олег. — Признавайтесь. Знаете эту формулировку? Чистосердечное признание...

— Это становится смехотворным. Я — ученый... Я не понимаю, что вам от меня надо... Все это какой-то

идиотизм! Откройте немедленно дверь. И убирайтесь отсюда!

— Не кричите! — лениво процедил Олег. — Мы все равно вам не верим!

Я показал Поплавскому фотографию отца.

— Эта фотография ничего вам не говорит? 12-е февраля 1952 года — в этот день где вы были?

— Ну, это уже анекдот! Откуда я могу помнить, где я был почти сорок лет назад!

Фраза прозвучала убедительно. Я чувствовал, что нахожусь в тупике.

— Я думаю, с ним разговаривать — зря время тратить! — вмешался Олег. — Ты был прав, этот орешек не расколется. Ну, поскольку он убивал без суда и следствия, мы поступим с ним так же.

Я оторопело взглянул на Олега. В его интонации я ощутил определенный профессионализм. В свои молодые годы я, разумеется, не был способен ни на такой тон, ни на нешуточные угрозы. Если он и моя младшая копия, то, конечно, только в физиологическом плане. Психологически мы совсем разные. Конечно, Олег воевал, видел смерть, и, может, сам убивал, а я типичный штатский, гражданский, штафирка, как говорили раньше. Мне повезло, я ни одного дня не служил в армии. Но, главное, умудрился родиться в такое время, что проскочил между двумя эпохами — кровавой сталинской и нынешней, которая предвещала недоброе. Пожалуй, кроме мух да комаров на моей совести нет ни одной жертвы... Однако надо было как-то кончать мучительную для меня встречу с Поплавским. Я не сомневался в собственной правоте, но не мог уловить, что же делать? У меня не существовало никакого опыта в подобных делах.

— Вы работали в лаборатории Майрановского... — теперь я попытался взять Поплавского на пушку, ибо полной уверенности у меня не было.

— Это вранье! — вдруг вспыхнул Игорь Петрович, как будто я прикоснулся к больному месту. — Ко мне уже приходили по этому поводу. Еще в 1962 году. И я доказал, что не имею отношения к тем убийствам. У меня была своя лаборатория. Мы занимались другими проблемами... Можете проверить, все запротоколи-



ровано... И вообще — все это травой поросло... Вы все равно ничего не сможете доказать!

Фраза «вы все равно ничего не сможете доказать» оказалась явно лишней. Она подтверждала то, что «рыло у него в пуху», вернее, в крови. Произнеся эти слова, Поплавский явно потерял самоконтроль, дал маху... Я бесстрастно, — чувства мои находились в каком-то задавленном состоянии, — даже, пожалуй, нудно произнес:

— Хочу предъявить вам несколько десятков фамилий. Это фамилии людей, которых вы уничтожили.

И я принялся зачитывать скорбный список умерщвленных.

— Эти фамилии мне ничего не говорят, — перебил он меня, но я упорно продолжал чтение.

Когда я, наконец, произнес фамилию отца, он хлопнул себя по лбу:

— Теперь я, наконец, понял. В поезде умер ваш отец. И вы считаете, что я...

— Да, да... Именно так мы и считаем, — подтвердил Олег.

— Дорогой мой, это недоказуемо, — пожал плечами Поплавский. — А вы, вероятно, сын Олега Владимировича, судя по сходству, и, стало быть, внук...

— Я тебе, падла, сейчас покажу «дорогого», — взбесился Олег. — Слушай, по-моему, хватит, — обратился он ко мне.

— Неужели ты способен его убить? — изумленно спросил я.

— Да. И буду даже спать лучше обычного. Потому что избавлю мир от гниды.

— У тебя что, действительно, бесшумный пистолет? — этими вопросами я тянул время.

— Не беспокойся. Я сделаю так, что выстрела никто не услышит. Но приговор должен объявить ты. Я лишь исполнитель.

Я отвернулся к балконной двери.

— Ты уверен, что это тот самый? — спросил младший.

Я медлил с ответом. На душе было тоскливо.

— Да, уверен. Я же его видел тогда.

Я хотел было открыть балконную дверь, но Олег остановил меня:

— Не прикасайся ни к чему руками.

Внизу, среди других машин, белела моя «Волга».

— Ну? — спросил Олег.

— Я никогда никого не убивал, — ответил я.

— Как хочешь, — сказал Олег. — Я знал, что ваше поколение ни на что не способно. Только болтать можете. Мне эта работа тоже не доставляет удовольствия. Предлагаю извиниться и уйти...

Я не видел лица Поплавского, слышал только его шумное, неровное дыхание. Олег ждал от меня одного только слова, но, как выяснилось, произнести его очень трудно.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты его убивал, — медленно обронил я. — Ты — это все равно, что я. Но и безнаказанным его оставить невозможно. Я себе этого потом никогда не прощу.

Поплавский молчал. Я по-прежнему смотрел в окно.

— Слушай, писатель, — ехидно сказал младший Олег, — тогда придумай что-нибудь. Фантазия входит в твое ремесло.

— Пусть он умрет такой же смертью, как и отец, как и другие. От яда... — И хотя эту фразу сказал я, мне казалось, будто она произнесена кем-то другим.

— Недурная мысль! — ерническим тоном подхватил Олег. — Ты действительно замечательный выдумщик, мастер своего дела! Только придется об этой услуге попросить самого Игоря Петровича. Ему, как говорится, по этой части и карты в руки. Дорогой палач! Окажите, пожалуйста, услугу моему слабонервному партнеру, а заодно и мне. Сделайте одолжение, примите, пожалуйста, сами, без нашей помощи, какой-нибудь цианистый калий или что-нибудь эдакое, не менее слабое, чтобы результат был летальный...

Тут я не выдержал и повернулся к Поплавскому. По лицу его от страха крупными каплями тек пот. Он, не отрываясь, смотрел мне в глаза.

— Ну, ладно, я устал. Давай закругляйся, или я тебя заставлю выпрыгнуть с балкона. Все равно придут



к выводу, что ты покончил с собой, — грубо сказал убийце в белом халате Олег.

Сначала меня резануло это фамильярное «ты». Но потом вдруг, без перехода, в глубине души во мне оскалилось что-то хищное. Мне захотелось своими руками задушить эту гадину. Я захрипел, затрясся, изо рта потекла слюна. Я сделал шаг к Поплавскому. Жажда отмщения захлестнула меня. Это был, несомненно, припадок. Я впервые в жизни почувствовал себя готовым к тому, чтобы уничтожить человека, затоптать его ногами. Это был какой-то невероятный всплеск жестокости, насилия, желания убивать.

— Я тебя сам уничтожу! — прошевелил я губами. И с трясущимся от ярости лицом пошел на Поплавского.

И тут произошло неожиданное. Видно, под влиянием моего ненавидящего взгляда, убежденный, что я примусь его душить, приговоренный, поняв, что пощады не будет, вынул из стеклянного шкафа какой-то пузырек, поднес к губам и сказал:

— Единственное, о чем я жалею, что мало вас истребил!

Затем последовали матерные слова, которые незачем приводить, ибо их и так все знают.

И Поплавский залпом выпил содержимое. На губах смертника показалась пена, черты лица его исказились, и он медленно сполз на пол. Несколько судорог тела, и всё было кончено. На лице появилась легкая сиюшность. У меня опять возникло ощущение, что я не только участник, но и зритель посредственного зарубежного детектива.

Я на ватных ногах направился к двери. Олег на секунду склонился над мертвецом и последовал за мной. Мы вышли в коридор. По счастью, никто нас не видел. Олег, его хладнокровие потрясло меня, запер дверь снаружи на ключ и забрал ключ с собой. Когда спускались на лифте, я прятал от Олега свое лицо.

Я видел смерть много раз. На моих руках умерла мать. Я вынимал из петли труп своего приятеля — поэта и сценариста, покончившего с собой в Доме творчества в Переделкине. Больше того, я почти три года работал на «Скорой помощи» и посмотрелся мертвцов

предостаточно, и убитых, и самоубийц, и умерших от болезней, и задавленных машиной. Но все это было что-то другое. Там я всегда пытался спасти человека, а тут... А я ведь по первой своей профессии все-таки врач, клятва Гиппократата и всякие прочие заповеди...

— Слушай, я не понимаю, почему он не закричал, — спросил я вдруг у соучастника. — Ведь сейчас день, институт набит сотрудниками...

— Он ведь профессиональный убийца. Он понимал, что я его пришью прежде, чем он закончит ораторское первое слово.

— А ты бы действительно это сделал?

— Господи, какой ты хлюпик!.. А насчет яда — это ты лихо придумал...

Я долго не мог открыть дверь «Волги», автомобильный ключ не попадал в прорезь. Меня колотил озноб.

— Убивать человека, даже мразь, преступника, сволочь, особенно с непривычки — тяжеленное дело, — усмехнулся Олег. — Во второй раз, небось, будет полегче... — Он увидел, как меня трясло. — Давай, я поведу...

Я согласно кивнул и передал ему автомобильные ключи. Олег сел на водительское место. И вдруг меня начало рвать. Я зашел за багажник машины, склонился и блевал. Меня выворачивало наизнанку. Олег терпеливо ждал. Потом я упал на пассажирское сидение, и мы помчались домой. По дороге Олег выбросил ключ от кабинета Поплавского в Москва-реку. Во мне была какая-то разрушительная пустота, как в прямом, так и в переносном смысле. Не помню, как я взобрался домой, на седьмой этаж... Не помню, что было потом. Кажется, я повалился на тахту. Олег давал мне что-то успокоительное. Я послушно пил капли, но лучше мне не становилось. Я лежал на грани сознания и потери его. Вдруг раздался телефонный звонок. Трубку снял Олег.

— Тебя...

Я слабой рукой поднес телефонную трубку к уху и услышал следующее:

— Добрый день, Олег Владимирович. Было очень приятно познакомиться. Это Поплавский. Да, да, Игорь Петрович. Он самый. Воскрес из мертвых, как Христос. Я принял безвреднейший препарат, остальное, как го-



ворится, было делом техники. Знаете, в любой специальности нужно владеть профессией, а вы и ваш отпрыск оказались дилетантами. Эта любительщина вам дорого обойдется. В общем, теперь я ваш должник. Ждите, должок возвращу в самом скором времени... — и Поплавский повесил трубку.

### ГЛАВА III

Плата за жизнь — это факт самой жизни, то, что ты возник в природе и существуешь. И как бы ни была непомерна цена, жизнь все равно дороже. Обидным было не то, что я должен умереть, не успев еще чего-то написать. Это мура! Всё, созданное писателем, не отражает и сотой доли прожитого им. Но со смертью исчезает существо, которое уносит с собой всё то единственное, уникальное, присущее только ему. Первый поцелуй был у каждого, но у каждого по-разному. Девушка становилась женщиной, а мальчик мужчиной, но у всех это происходило не так, как у другого или другой и не с тем или не с той. Да, конечно, никому из живущих не избежать одинакового, похожего, из чего, собственно, и состоит человеческое житие: и любовь, и потеря близких, и дружба, и измена, и работа, и предательство, и карьера, и постыдные тайны, и грешные мысли, и знания, и невежество, и нежность, и агрессия, но у каждого экземпляра всё это сочетается в разной мере и степени, в иных обстоятельствах и условиях. Ты никогда не сможешь возникнуть снова в тех же пропорциях добра и зла, с идентичной внешностью, с таким же характером, аналогичным мышлением и адекватными привычками. Отдельные качества могут совпасть, но точно такой же особи появиться не может. Кто сказал — незаменимых нет. Незаменим всякий человек, ибо он — неподражаем...

Вот уж не думал, что, зная сколько мне осталось жить, я буду в состоянии уснуть. Однако стресс, вызванный убийством, вернее, по счастью, неудачной попыткой убийства, образовал в организме какой-то физиологический вакуум. Мое полузабытьё, мой разброд мыслей, постепенно перешли в сон, и я отключился минут на сорок-пятьдесят. Когда я открыл глаза, то почув-

ствовав себя освеженным. После сна сознание постепенно возвращалось ко мне, и idiotский детектив с Поплавским, а главное, его бессмысленный результат, казалось, случились давным-давно, в какой-то иной, бывшей ранее жизни. А, скорее всего, этого и не происходило вовсе. Видно, померещилась, приснилась эдакая нечисть. Но тут мой взгляд уперся в спину двойника. Он не знал, что я проснулся. Со страшной скоростью все сегодняшние события открутились обратно, и я осознал, что встреча с Поплавским не мираж, не кошмарное сновидение, а кошмарная реальность. Пусть странная, пусть необычная для меня, но была! Я лежал тихо и не подавал признаков жизни. Олег смотрел по «видяшнику» кассету, которую я снимал в Париже два года назад.

Мы с Оксаной приехали по приглашению знакомых французов, которые предоставили нам свою квартиру. Француз — корреспондент агентства «Франс пресс» — в это время жил с семьей в Москве, и его трехкомнатные апартаменты на бульваре Тампль пустовали. Мне приходилось и раньше бывать в этом городишке, а Оксана приехала в Париж впервые. Честно говоря, я поездку затеял из-за нее — хотелось показать ей умопомрачительную красоту. Мы шатались по улицам, бульварам, музеям, магазинам. Не обошлось, разумеется, и без подъема на Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Мы катались на парходике по Сене. Знакомые эмигранты, наши из посольской колонии и приятели-французы возили нас в Версаль, Довиль и Руан, на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. С большим трудом мы отыскали два дома в Ментоне, столичном пригороде, где жила в эмиграции Марина Цветаева. Денег практически не было, и мы исколесили весь Париж на метро, купив месячные абонементы — «карт д'оранж» — вроде наших единых билетов. Стыдно признаться, но парижское метро я знаю лучше московского — дома езжу на автомобиле. Вообще это была студенческая, нищенская, беспечная, счастливая жизнь в сказочном городе, который каждый русский любит еще до того, как увидит его наяву. Мы изрядно ходили пешком. Непривычные к ходьбе ноги гудели и ныли. Ели мы что-то самое дешевое с уличных лотков или в плебейских забегалов-



ках. Из привезенных консервов (один чемодан состоял только из консервных банок!) Оксана готовила обед, а я бегал с авоськой в демократический супермаркет, где, пересчитывая каждый сантим, покупал овощи, йогурт, минералку и прочее, что тяжеловато было волочь из России. Я пер авоську из супермаркета и наслаждался ощущением, что тебя в этом городе никто не знает. Это была восхитительная анонимность! Днем мы делали антракт, валялись, давая отдых натруженным ногам, читали всякую антисоветчину, которую теперь печатают все наши журналы. И, главное, каждый день любили друг друга. Это был какой-то прощальный медовый месяц. То ли очарование города действовало на нас, то ли отсутствие дел, забот и хлопот, то ли инстинкт — какое-то подспудное чутье, предсказывавшее, что скоро всему конец! Через полгода после возвращения из Франции Оксаны не стало. Я лежал на диване и смотрел на телевизионный экран, где мелькало любимое лицо вперемежку с видами Парижа. В моих дилетантских съемках участвовала одна главная героиня — моя жена, которую я обожал. А декорацией служил неповторимый Парижск, как называл его Высоцкий. В это время я увлекался очередной игрушкой для взрослых — видеокамерой. Я таскал ее повсюду и снимал все без разбору, по известному принципу: «что вижу, то пою!» Если вдуматься, мы были самыми ординарными, можно даже сказать, вульгарными туристами, каких до нас в бесмертном городе побывало сотни миллионов. Просто для нас, вероятно, Париж был более сильным впечатлением, нежели для свободных, западных обитателей, ибо мы приехали из огромного, нищего и бесправного концлагеря, где ничего нет и где живет около трехсот миллионов заключенных.

В поле зрения моей любительской камеры попали, конечно, и Люксембургский сад, и Монмартр, и лавки букинистов на Сене, и центр Помпиду с представлениями на площади перед зданием, и музей Родена, и Собор Парижской Богоматери, и статуя Свободы, увеличенную копию которой Франция подарила Америке, — в общем, весь туристский набор. Но, главное, почти в каждом кадре присутствовала Оксана. Когда

она видела, что объектив нацелен на нее, она тут же, глядя в камеру, начинала прихорашиваться и спрашивала с кокетливой улыбкой:

— Это ты меня снимаешь?

А я нежно грубил ей:

— Дура, кто же зырит в объектив. Ты же все-таки жена сценариста. Да и грим поправляют перед съемкой, а не тогда, когда крутится пленка.

В этой безденежной, но замечательной жизни случались у нас и материальные взлеты. Например, издатель моей книги устроил в нашу честь роскошный обед в дорогом плавучем по Сене ресторане. Как говорил в таких случаях один мой приятель, француз гулял нас под «большое декольте». К сожалению, книжку издатель выпустил несколько лет назад, и от тех денег давно ничего не осталось. Когда в посольстве узнали, что я приехал с частным визитом, то попросили выступить перед советской колонией. Я, разумеется, выступил и, конечно, как всегда, «намолол» немало лишнего. Но когда-то, лет, наверное, двадцать пять назад, я сказал себе, что если вылезая на сцену, трибуну или телевизионный экран, то буду говорить только то, что думаю. От этой собственной установки я перенес немало неприятностей, но меняться было поздно.

После так называемой творческой встречи в резиденции посла — роскошный, весь в позолоте дворец XVIII века, принадлежавший когда-то знаменитой герцогской фамилии, — состоялся ужин. Посол с женой пригласили помимо нас еще и советника по культуре, тоже с супругой. Во время ужина я сцепился с хозяином, руки которого были исколоты низкопробными татуировками, но не это послужило причиной конфликта. Не помню точно, как возник спор с послом, скорее всего, во время встречи я бабахнул что-то нелестное о Павлике Морозове и о том, что предателя собственного отца сделали примером для подражания и на его доблестном поступке воспитывали не одно поколение иуд. Во время ужина посол, бывший секретарь Свердловского обкома, — а Павлик оказался родом из тех мест — вступился за честь земляка-пионера, пел дифирамбы его героизму и что-то рассказывал о музее юно-



го ленинца, который посол в свое время не то открывал, не то организовывал. Я взбесился и понес такое, чего коммунистические уши посла в прямой беседе никогда не слыхивали. Оксана с трудом погасила начавшийся скандал. Ужин закончился в молчании.

На экране телевизора появился «Улей» — дом-ротонда в Монпарнасе, состоящий из мастерских художников. Построенный в начале века, он давал пристанище многим нищим живописцам, которых иногда там и подкармливали. Здесь жила и Шагал, и Леже, и Сутин, и Цадкин, часто бывал Модильяни. Мы постучались тогда наобум в какую-то мастерскую и провели полчаса у симпатичного художника. Всю нашу болтовню, его полотна, детали быта, вид из окна я снял на пленку. Он показал нам приглашение на выставку русского лубка, и потом мы встретились с этим гостеприимным французом на русском вернисаже.

В «Улей» нас привезли художники-эмигранты, участники знаменитой бульдозерной выставки. Они отнесли к нам с нежностью и даже дарили свои работы. Жаль, что уже не было в живых трогательного Вики Некрасова, с которым я был до его изгнания знаком только шапочно и хотел сблизиться покороче. Но опоздал. Некрасов — лауреат Сталинской премии за книгу «В окопах Сталинграда» — лежал на русской части кладбища Сен-Женевьев-де-Буа в какой-то коммунальной могиле вместе с неведомым никому и, скорее всего, ему в том числе, эмигрантом. Я постоял у могилы Бунина и наведался к надгробию своего друга Александра Галича.

Кстати, наш роман с Оксаной начался зимой в Малеевке, когда там жил и Галич. Каждый вечер после ужина мы собирались вместе, обычно у него в номере. Он помногу пел и не меньше пил, мы трепались о том, о сем, а потом Оксана и я уходили либо в ее комнату, либо в мою, и ничего прекраснее, чем те ночи, не было в моей жизни. На телевизионном экране Оксана наклонилась над роскошной черной мраморной плитой и положила несколько цветочков. Таких пышных надгробий у нас в Союзе достаиваются обычно генералы и маршалы. Рядом с простым скромным крестом на могиле великого Бунина памятник Галичу огорчал неуместным отечественным раз-

махом. И действительно, масштабная плита была делом рук редактора «Континента», который, выпуская антикоммунистический журнал, не мог, тем не менее, отрешиться от всего того, что его воспитало. И единственное, что отличало Сашину могилу от советской, — текст из Библии: «Блаженни изгнании правды ради».

Мы прошли по тихому кладбищу, где у входа белела маленькая уютная русская церковь. Под крестами, плитами и памятниками лежали есаулы и бароны, поручики и графы, ротмистры и потомственные дворяне. Были и коллективные памятники — врангелевцам, дроздовцам, деникинцам. Я подумал, что все эти люди неведомы никому на Родине, забыты, выброшены из нашей истории. И еще я с болью в сердце отметил, что более злопамятного и бесчеловечного строя, чем наш, в котором мне довелось прожить все свои годы, наверное, не было никогда в истории. Даже через семьдесят лет после того, как отшумела братоубийственная война, наше общество оказалось не в состоянии простить тех, которые тоже любили Отечество, но не так, как большевики. Кстати, большевики-то как раз разорили страну и нанесли ей урон, с которым не может сравниться никакая чужеземная оккупация. А эти самые белогвардейцы, что лежат под Парижем, оказались наказаны самым страшным образом — потерей Родины, смертью на чужбине и полным забвением со стороны соотечественников...

Глядя на свои съемки, я еще раз проживал нашу чудесную поездку, все те мысли, настроения, чувства, к которым примешивались сейчас отчаяние и горечь от того, что некому было сказать: «А помнишь?..»

Тут я заставил себя отвлечься от экрана и постарался вернуться в сегодняшний невеселый день. Двойник продолжал смотреть видеопленку и, видимо, не подозревал о моем пробуждении. Я потянулся, намереваясь подняться с дивана, и вдруг почувствовал в себе... даже не знаю как выразиться... определенные мужские амбиции. Я знаю, сейчас принято выражаться грубо, точно и называть вещи своими именами. Но писать подобным образом не хочется. В этом есть что-то недостойное русской литературы. Может, я консерватор, пуританин, старомодный обыватель, но уж отнюдь не ханжа. Кроме того, отношусь



к себе, естественно, с достаточным уважением, поэтому, думается, лучше недосказать, чем впасть в пошлость...

Признаться, такие мужские ощущения, неспровоцированные женским присутствием, посещали меня в последние месяцы не так уж часто, не то, что в прежние годы. Этому, наверное, было немало причин: и возраст, и смерть жены, и «первый звонок», случившийся три года назад, когда в результате высокого давления прекратилась подача крови к ушному нерву, и я оглох на одно ухо. Это был своего рода микроинсульт, поразивший, по счастью, не мозг, а ухо. Поэтому, когда в организме призывно звучали — выразимся красиво — эротические трубы, я воспринимал это с чувством глубокого удовлетворения. Значит, еще не все потеряно! Значит, я, черт подери, еще мужчина! Значит, я еще, опять-таки черт подери, живу! Я еще способен, трижды черт подери, на это самое!.. И тут я вспомнил строчки Пастернака, которые только сейчас осмыслил во всей их глубине:

— *Смягчи последней лаской женскую  
Мне горечь рокового часа!..*

Роковой час, между прочим, был на подходе. А с женской лаской дело обстояло далеко не лучшим образом... Я оборвал свой внутренний монолог и сел на тахте.

Олег повернулся ко мне:

— Ну, ты как?

— Для умирающего — замечательно! — сказал я, подошел к столу и взял лист со списком. У меня была привычка — накануне вечером составлять список дел на завтра. Обычно дел бывало очень много, и я боялся что-нибудь позабыть или упустить. В этих списках соседствовали важные вещи с пустяковыми, но благодаря «поминальнику» я успевал многое сделать.

Например, записи могли чередоваться в такой последовательности:

- 1) Зубной врач в 9 часов.
- 2) Съемка на телевидении. 10 часов 30 минут.

Студия № 6.

- 3) Купить творог, кефир и хлеб.
- 4) Взять костюм из чистки.

5) «Мосфильм» — посмотреть материал. Зал № 10. 3 часа.

6) Аптека — купить снотворное.

7) Заехать в гастроном на «Восстания» за заказом после 5 часов.

8) Лекция на литературных курсах. В 1 час дня.

9) Интервью американцу. В 17 часов, в Союзе.

10) Подкачать колеса у машины.

11) Встреча с читателями. В 20 час.

12) День рождения Васи — купить подарок и цветы. (После встречи.)

Случались и иные сочетания. Скажем, починка автомобиля на станции технического обслуживания, или визит в Моссовет или на телефонную станцию — выбивать кому-то из писателей, артистов или киноработников квартиру или телефон. После того, как я стал вести телевизионную передачу, и меня знала в лицо каждая собака, в том числе и руководящая, количество просьб такого рода: достать лекарство, положить в больницу, похоронить на близком кладбище — увеличилось. И собственных дел хватало. Скажем, нужно было встретиться с директором издательства, которого требовалось убедить в необходимости публикации моей книги, или же забрать белье из прачечной, а ботинки из ремонта; могла состояться встреча с писателем из провинции, который настырно сумел мне всучить свою рукопись, а теперь ждал отзыва, или же свидание с сантехником, ибо потекла труба, заливая нижних соседей. Могли пригласить на заседание какой-нибудь бесполезной писательской комиссии, на премьеру в театр, на юбилей, где предстояло выступить с поздравлениями, или же на прием в посольство. А еще родственники, которым все время от меня было что-то нужно. И так далее и тому подобное. Когда я думал о том, сколько километров я наезжал в день по городу, то сам не понимал, когда же успеваю писать...

Так вот на листочке, который я взял со стола, было написано:

«ДЕЛА ПОСЛЕ ЛЕНИНГРАДА»

1. СДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ «ВОЛГЕ».

Ну, это пусть теперь дочь делает, поскольку машина отказана ей.

#### 2. В ПОНЕДЕЛЬНИК В 4 ЧАСА СУД С ГЕНЕРАЛОМ.

Хрен с ним, со старым маразматиком. Доверенность адвокату отдана, могу и не приходить. Хотя, честно говоря, я был бы непрочь обозреть это военное мурло, обвинившее меня в дезертирстве с фронта, и выслушать его извинения. А в том, что старый пердила извинится, у меня сомнений не было. Ибо когда кончилась война, мне еще не стукнуло семнадцати.

#### 3. ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ В ЛОНДОН.

Перебьется, у меня уважительная причина — помер. Жаль, конечно, что не увижу английского издания. Впрочем, я много чего не увижу.

#### 4. ДОГОВОРИТЬСЯ С КРОВЕЛЬЩИКАМИ О РЕМОНТЕ КРЫШИ НА ДАЧЕ, А ТО ВО ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ ПРОТЕКАЕТ.

Пусть договаривается детский фонд. Я не хотел, чтобы в нашем с Оксаной доме жил кто-нибудь, поэтому завещал дачу детскому дому, для брошенных ребятшек. Тем более что и у дочери, и у пасынка имелись загородные строения.

#### 5. СЪЕЗДИТЬ В ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ...

Я вон какое огромное количество книг не успел прочитать, на фиг мне еще новые, которые я даже не перелистаю...

#### 6. КУПИТЬ ЖРАТВУ.

Тут я задумался. Вообще-то последний пункт в наши дни осуществить совсем не просто. Но если я намереваюсь устроить собственные поминки, то, пожалуй, его надо выполнить. Негоже звать гостей на прощальную пирушку и не угостить их до отвалу. Кстати, надо обзвонить, пригласить...

В списке имелись еще кое-какие пункты. Но все остальные, отмеченные мной дела и события, предполагалось, произойдут в середине недели и, следовательно, меня уже не касались. Хотя, не скрою, на некоторых мероприятиях я хотел бы побывать.

— Я изучил список твоих дел, — сказал младший Горюнов, выключая видеоманитофон. — Чем займемся сейчас?

— Думаю, надо пригласить друзей на ужин, — ответил я. — А потом я хочу заехать на кладбище. После поедем за продуктами.

— У тебя есть какой-нибудь блат? — поинтересовался Олег. — А то ведь ни черта не купишь.

— Обижаешь, начальник, — сказал я. — Как же у нас можно прожить без блата. У меня есть больше, чем блат. У меня имеется меценат — директор «Гастронома». Раньше меценаты посылали на свои деньги художников и певцов в Италию учиться, а сейчас меценатство приняло иные формы. Если вдуматься, довольно-таки уродливые. Ради того, чтобы сказать своим дружкам, к примеру: «Ко мне вчера Мишка Ульянов приходил или Генка Хазанов», директор снабжает кое-кого из популярной братии дефицитом. И при этом ничего лишнего сверх цены не требует. Сверх он берет с других, непопулярных.

— А тебе не стыдно этим пользоваться? — ехидно спросил двойник. — Ты же у нас прогрессивный. Слывешь совестью.

— Очень стыдно, — покладисто согласился я. — Но хочется кушать. Я только вид напускаю, что принципиальный. А вообще-то только и делаю, что поступаюсь принципами.

— А что это за суд с генералом? — спросил Олег.

— Пока я буду обзванивать друзей, ты можешь познакомиться с кипой доносов от наших славных воjak... Слушай, а ты только мои мысли можешь читать? Что было в башке у Поплавского, ты не догадывался?

Я порылся в письменном столе и достал большой конверт, на котором почерком Оксаны было написано: «ПЕНТАГОН ПРОТИВ ОЛЕГА».

— У меня было какое-то сомнение: слишком легко он принял яд... — сказал младший. — Но читать мысли я умею только твои. Так что извини...

— Вся эта хренобень с военными началась после моего юбилейного вечера, показанного по «ящику».

— Я видел... и одобрил...

— А министр обороны, в отличие от тебя, очень не одобрил. Силы, как сам понимаешь, неравные — у



него бомбы, ракеты, танки, пушки и высокие коммунистические идеалы. А у меня пшик...

В это время в дверь позвонили. Я с изумлением уставился на Олега, тот дернул плечами, и я отправился открывать.

А Олег погрузился в газетные статьи, письма и доносы, которые появились в результате моего телевизионного вечера.

— Вы мне назначили сегодня на три часа, — сказал посетитель, когда я распахнул дверь. Я с трудом узнал его — это был старик — актер из театра имени Маяковского. Он два раза играл небольшие эпизоды в картинах по моим сценариям, а в театре его фамилия обычно замыкала театральную программку: третий слуга, второй убийца или четвертый горожанин. Он действительно настойчиво домогался свидания со мной, замучил звонками и, отказываясь объяснить, зачем я ему понадобился, каждый раз говорил, что это очень важно, и не для него, а для меня. И что я буду ему очень благодарен за встречу. Наконец, я сдался, кляня себя за бесхребетность, и назначил ему встречу. И, конечно, забыл. Я с отвращением смотрел на явившегося сейчас так некстати человека.

Первым порывом было немедленно захлопнуть дверь перед его носом, но вместо этого я выдал из себя нечто вроде улыбки и сказал:

— Заходите, я вас жду.

Старик, увидев младшего Олега, произнес:

— У меня конфиденциальный разговор!

Я провел его в кабинет, предложил стул и сказал умоляюще:

— Только прошу вас, у меня плохо со временем...

Так что вспомним чеховскую сестру таланта, а именно краткость...

Глаза старика лихорадочно блестели:

— Олег Владимирович, дорогой! Вы знаете, страна на грани краха! Всюду развал! Надо призвать правительство к решительным мерам и действиям. И я придумал, как это сделать!

— Но я-то причем?.. — начал было я, но он вскочил со стула и вдохновенно зашептал:

— Именно вы можете спасти страну! Именно вы в состоянии повернуть курс правительства! С социалистическим путем пора кончать!

Я понял, что имею дело либо с безумцем, либо с фанатом.

— Что я могу сделать? — протянул я, думая о том, как избавиться от посетителя.

И тут он выпалил:

— Вы должны совершить самосожжение на Красной площади! Под плакатом, требующим от правительства объявления свободы, демократии и частной собственности!

И старик победоносно глянул на меня, ожидая ответного восхищения.

— Идея, действительно, интересная... — задумчиво процедил я, но мой собеседник не уловил иронии.

— Я так и знал, что вам понравится. Поэтому обратился именно к вам.

— Но у меня есть кое-какие планы, которые...

— Никакие личные планы не могут сравниться с интересами страдающего Отечества, — продекламировал гость.

Видно, служение музе театра наложило отпечаток на его манеру выражаться.

— Слушайте, друг мой! Мне пришла в голову прекрасная мысль: а почему бы вам самому не совершить этот героический акт?

Ответ у него был готов:

— Потому что будет совсем не тот резонанс! Одно дело, если сжигает себя никому не известный артист, и совсем другое, если эту акцию совершит крупный, известный в нашей стране и за рубежом писатель. Практически классик! Книги которого читали все. Человек, своими произведениями и телевизионными программами заслуживший любовь народа.

Чем беззастенчивей он льстил, тем больше меня охватывало чувство отчаяния. Оксана все время пилила меня за мягкотелость, за неумение отказывать, за то, что я давал возможность отнимать свое время каждому встречному и поперечному.

— Я помогу вам! — продолжал старик. — Я до-



несу вам до Спасских ворот канистру с бензином. Пока вы будете гореть, я не отойду от вас ни на шаг и подхватю плакат, выпавший из ваших слабевших, обожженных рук! О, страна оценит вашу доблестную жертву. Вы войдете в Историю с большой буквы...

— Олег! — беспомощно позвал я свое второе «Я». — Помоги мне. Выстави из квартиры этого ненормального.

— А... а... — завопил старик. — Вот где ваше подлинное лицо! Я знал, что вы — ничтожество!.. Я всегда подозревал это!..

Олег молча взял за шиворот старика и поволок его прочь из квартиры. Тот упирался и продолжал орать:

— Шкурные интересы вам дороже несчастий Отечества!.. Трусы!.. Эгоист!.. Я этого так не оставлю!.. Я буду жаловаться!..

Это была последняя фраза, за которой последовал щелчок захлопнувшейся двери. А я подумал, куда же этот психопат станет жаловаться? Когда в кабинет вернулся Олег, я рассказал ему о соблазнительном предложении посетителя и добавил:

— А вообще-то мысль недурна! Если все равно помирать, так уж лучше с музыкой.

— Ты хорошо держишься, — одобрил мое поведение Олег. — Я бы на твоём месте, пожалуй, психовал. Мне было бы не до шуточек.

— Это потому, что ты — молодой. А в мои годы нервничать по поводу смерти?.. Но вообще-то, если честно, я тоже психую. Только где-то там, глубоко... Ты в Афганистане служил доктором?

— Кончил медицинский, как и ты. Но тебе повезло, войны не было. Да... работу на скорой помощи не сравнить с той, что досталась мне. После Афгана мне не страшно ничего и никого не жалко. Во мне нет сострадания, сочувствия, доброты. Не верю ни во что. А это скверно! Я, если мне надо, не остановлюсь ни перед чем. Слюней и соплей во мне не отыщешь.

— Одна ненависть в душе? — спросил я.

— И ненависти не осталось. Выжженная афганская пустыня, сухая, знойная, мертвая. Пустота. И какая-то давленная боль... За что это мне?

— Тебе приходилось убивать?

— Не смеши меня! Убивать!.. Я видел и испытал такое, что тебе и не снилось. Иногда мне кажется, что старик — я, а ты — двадцатипятилетний соплик. Я глушил совесть алкоголем, бабами, стал наркоманом, меня подбирали черт-те где, в вонючих притонах. Но не очень наказывали — врачей не хватало. Я зашивал обрубки ног и рук нашим ребятам — ты, наверное, слышал, как моджахеды расправлялись с оккупантами. А я это не только видел: те, от кого оставалось одно лишь туловище, валялись на моем операционном столе. Я оперировал и афганских душманов, с которыми наши поступали так же. Мне теперь никогда не избавиться от кошмаров, от человеческого мяса, — оно снится по ночам. И за это никто не ответил... Нас не только послали на бойню, — оставшихся в живых эта война разрушила... Мы — оккупанты, от нас даже Отечество отвернулось... чудовищная страна... Я еду в Израиль по приглашению, на месяц, но я не вернусь в вонючую помойку под названием СССР. Не понимаю, как ты можешь здесь жить. У тебя мать — еврейка, тебе же раз плюнуть организовать вызов, приглашение, командировку. Убегай отсюда! У этой страны нет будущего. Скоро здесь всё потонет в крови, неужели ты не понимаешь? Ты видел очереди у посольств? Пойми, это — не эмиграция, это — эвакуация!

— Но я уже не успею, — сочувственно сказал я, пытаюсь погасить истерическую вспышку Олега. — За полдня не оформишь документов, не купишь билет, не соберешь вещи...

— К черту вещи! — заорал собеседник. — Когда речь идет о спасении шкуры, вещи бросают. Я почитал всю эту вонь, которую обрушили на тебя армейские дуболомы. Может, тебя завтра пришьет кто-нибудь из этих солдатушек, бравых ребяташек... Слушай, тут среди всей доносительной пакости меня заинтересовало то, что настрочил Л.Л. Николаенко генеральному прокурору. Кстати, как к тебе-то это попало? Написано твоим почерком.

— Меня вызывал московский военный прокурор. Очень извинялся. Говорил, что раз сигнал не анонимный, то они обязаны ответить. Письмо этой мрази



было направлено генеральному прокурору СССР, тот переадресовал донос Главному военному прокурору с резолюцией «разобраться», а тот, в свою очередь, уже переправил московскому. И они, согласно прокурорским правилам, должны вникнуть и ответить доносителю. Прокурор очень извинялся, ибо знал дату моего рождения, но задал мне несколько вопросов. Записывал всё, что я говорю. Потом попросил автограф на моем сборнике. Я в ответ попросил дать мне возможность переписать кляузу. Он разрешил, но предупредил, чтобы я не упоминал, откуда у меня текст. Я обещал. Потом прилежно, в его присутствии я переписал всё слово в слово. Военный прокурор очень извинялся, жал на прощанье руку, вышел провожать на улицу. Была ранняя весна, кажется, март, гигантские лужи окружали это заведение, расположенное на задворках Хорошевского шоссе. Я вышел оттуда, как обосранный. И это всё в период гласности, перестройки и прочих якобы свобод. А через два-три дня мне домой позвонила заведующая архивом нашего медицинского института и, тоже по секрету, сообщила, что приходили люди в военном, подымали документы и зачетки нашего курса за сорок пятый год, интересовались моей персоной. Изучали... видно, хотели найти компромат...

— Ты зачем переписал ябеду этого Николаенко?

— Ну, на всякий случай. Может, думал, как-нибудь сквиताюсь... Потом махнул рукой... Ну-ка, дай-ка мне...

Я погрузился в чтение доноса:

«... Всё, что говорил О. Горюнов, следует назвать клеветой на нашу Советскую Армию и ее славный офицерский корпус. Надо разобраться, почему он не был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы?! Считаю, что это еще не поздно сделать! Да и привлечь к партийной ответственности...» Тут я отвлекся и сказал:

— Я потому и не состоял в этой партии, что в ней такое количество подонков! В наши молодые годы бытовала шутка про человека, вступившего в КПСС: «Наконец-то он очистил наши ряды беспартийных».

Я снова впился в текст.

«Все, что пишет Горюнов, это насмешка над со-

ветским общественным строем, — продекламировал я полюбившиеся мне строки, сочиненные Николаенко. — Как и многие его книги — это сплошное критиканство! Кстати, у него нет ни одной книги о положительном в нашей жизни, ни одной патриотической книги, зато грязь раздувается, облачается в красивые одежды»...

Я прервал цитату и сказал:

— Такой отзыв от болвана дороже иной рецензии, где тебя хвалят... Впрочем, на что я трачу свой последний день... Боже мой!..

Я швырнул клеветническое письмо на стол. Олег подобрал бумагу.

— Тут адрес есть: Сиреневый бульвар 46/35 кор. 2 кв. 39, — и Олег вопросительно посмотрел на меня. — Николаенко Л.Л., член КПСС с апреля 1971 года.

Я засмеялся:

— С меня хватит визита к Поплавскому. Знаешь, одесский парикмахер покончил с собой и оставил записку: «Причина моей смерти в том, что всех не перебреешь!»

— Как хочешь! А я его навещу. Проверю тот ли это ублюдок, который служил у нас в Афгане. Ему парень один, приятель мой, в строю сказал в лицо, что он — трус. А тот послал его на верную смерть. Кусочки этого парня принесли ко мне в операционную, я его сшивал восемь часов.

— Ну? — спросил я. — Удалось спасти?

— Парень жив... да так... получеловек... Ты мне дашь машину? А то ехать далеко...

— Хорошо. Только ты меня по дороге подбросишь на кладбище, а вернусь я сам...

— Я донос возьму?

— Как хочешь... Подожди немного, я сделаю несколько звонков.

Однако никто из тех, кого я намеревался позвать на собственные поминки, не смог принять мое приглашение. Кто был занят, кто болен, у кого спектакль или еще что-нибудь. Разумеется, я не сообщал причины столь скоропалительного сборища. Если бы объяснил, друзья, наверное, отменили свои дела, да как-то язык не поворачивался брякнуть эдакое. Все, будто сговорившись, про-

сили перенести встречу на другой день, скажем, в субботу. И обещали с удовольствием придти. И я всех пригласил на субботу! Какая разница! Тем более, по идее, как раз где-то в субботу состоятся мои похороны. Последний вечер моей жизни у меня оказался свободным... Я отдал документы на машину Олегу.

— А ты не боишься отдавать мне «Волгу», да еще с документами? — спросил Олег Второй. — Учти, что на черном рынке я за нее могу получить больше ста пятидесяти тысяч!

— Очень боюсь, что ты продешевишь! — отбрил я его.

Пока мы ехали в машине, радио сообщало новости. Они стали грозowymi. На Дальнем Востоке войска стреляли в демонстрантов. Кровь пересекла границы России.

— Ты писать-то собираешься? — спросил я.

— А как же? Это у меня в генах заложено. Пойду по твоим стопам. Только ты три года на «Скорой» работал, а я три года был оккупантом. Так что опыт у нас разный.

— Доктор — не оккупант!

— Слабое утешение. Если уж я и буду писать, то что-то вроде Шаламова. Без украшательств. А не будь Афгана, тоже, наверное, стал бы беллетристом. Хочу, как Конрад и Набоков, — так знать английский, чтобы можно было писать на нем. Но пока буду пытаться на русском.

— Значит, хочешь отказаться не только от родины, но и от родного языка?

— Сидит во всех вас этот вшивый патриотизм! Пойми, я не хочу быть гражданином проклятой страны. И не желаю писать на провинциальном, выродившемся языке!

— Это ты круто заворачиваешь, — опешил я. — Ну, знаешь, ты даешь...

— Я человек Земли. С большой буквы, понимаешь? Да где тебе... Умом Россию не понять, аршином общим не измерить... — издевательски процитировал он Тютчева.

— Стихи-то сами по себе ни в чем не виноваты. Другое дело, что их использовали, чтобы оправдать чудовищные вещи...

— Давно пора, едрена мать, умом Россию пони-

мать... Да только уж разбирайтесь во всем этом без меня, а я вашу страну из своей жизни вычеркнул...

— Понять тебя могу... — задумчиво сказал я. — Если бы был помоложе, может, тоже подался бы в дальние страны. А теперь уж поздно...

— А это кто написал? «Пусть в голове мелькает проседь — не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое — зачеркнуть!»

— Мало ли чего я написал...

— А я думал, ты веришь в то, что пишешь...

— Верю.

— Ни хрена. Ты — литературное трепло. Но ты еще из лучших. Что же про остальных говорить.

— Слушай, ты бы мог быть повежливей в мой последний день.

— Прости. Я беру свои слова обратно. Это я так, в полемике...

— Да нет уж. Слово — не воробей. Только мы не на равных. Я-то твоей ни одной строчки не читал. Может ты, вообще, бездарь, а судишь...

— Может быть, — погрузился Олег. — Я пока знаю, как не надо писать. А вот как надо — чувствую, но не умею... Пробую и рву... Пробую и рву...

Машина остановилась у Даниловского кладбища.

В течение многих лет я приезжал сюда четыре раза в год — в дни рождений отца и матери, и в годовщины их смерти. А последнее время, когда здесь появилась третья могила, стал бывать часто. Я купил цветов у бабок, торгующих у входа, и углубился в осенние аллеи. Сначала я пришел к ограде, за которой рядом лежали две мраморные плиты. Отпер замочек, вошел внутрь ограды и наклонился, чтобы взять банки, в которых торчали сухие стебли. Последний раз я был здесь месяца два назад. Я хотел вынуть из банок увядшие цветы и пойти за водой, как вдруг увидел, что на могильной плите матери была начертана фашистская свастика. Сначала я не поверил. Потом наклонился и провел рукой, чтобы смахнуть. Но свастика была выбита резцом. Я оглянулся вокруг, перевел взгляд на отцовское надгробие. Оно было не тронуто. Я оглядел соседние памятники — на некоторых красовался паучий фашистский



знак. Прочитав фамилии, я понял, что так были помечены только еврейские могилы. Про осквернение могил черносотенцами из «Памяти» я уже читал в газетах. Но одно дело, когда речь идет не о тебе — ты возмущаешься, негодуешь, пишешь статью. Когда же касается тебя, то как передать ту степень бешенства, ярости, неистового отчаяния! Во мне всё заколотилось от ненависти! И от бессилия! Я не знал, кто это сделал, и понимал, что милицию подобные проблемы попросту не интересуют, что никто не станет искать сволочей. Мать носила отцовскую фамилию, но имени и отчества — Белла Моисеевна — оказалось для антисемитов достаточным. Мать, работавшая во время войны в санитарном поезде, а после контузии в тыловом госпитале, была награждена после смерти свастикой. Впрочем, что за идиотское, чисто советское оправдание всплыло в моем мозгу? А те, кто не воевали, те, чьи памятники испоганены только потому, что на них написаны такие фамилии, как Эпштейн, Коган, Рабинович, в чем они виноваты? Я вспомнил определение Олега: «Проклятая страна». Вместо того, чтобы посидеть на скамеечке, вспомнить родителей, попрощаться с ними, побыть в грустном покое, я испытал боль, гнев и отвращение к жизни. Боже, как я ненавидел этих подонков. У меня болело сердце от остервенения и обиды. Раздавленный и убитый, я приплелся к могиле Оксаны. Памятника пока еще не было. Только цветы и застекленная фотография. Я хотел, чтобы на этом месте находился камень-метеорит, прилетевший из космоса. Добрые люди помогли мне найти каменного космического посланца. Я летал недавно в Якутск. Там странный камень одели в огромный деревянный ящик, и я отвез его на железнодорожную станцию. Скоро метеорит должен был прибыть в Москву. Надо написать пасынку специальное письмо, чтобы он довел дело до конца. Я поставил в банки с водой свежие астры и попытался успокоиться. Но куда там. Внутри все дрожало. Постепенно, глядя на фотографию улыбающейся Оксаны, я постарался забыть-ся и стал вспоминать... Но, все равно, воспоминания получались какие-то рваные, горькие, беспокойные...

Первые дни после похорон Оксаны — а она по-

гибла в результате лобового удара такси с самосвалом, водитель которого заснул за рулем, — я уехал на дачу и заперся ото всех. Это была не та, пришедшая в упадок дача, купленная у пришедшей в упадок вдовы. Тот дом, после того, как я его отремонтировал, я оставил своей первой жене и дочери. Впрочем, оставил не только дачу, но и вообще все, что к тому времени нажил. Я стал не просто беден, стал нищ, но зато хорошо себя чувствовал.

Мы с Оксаной начали совместную жизнь с нуля. В это же самое время, когда я решил сделать себе подарок к собственному пятидесятилетию — уйти к Оксане — ее сын как раз задумал жениться. И все имущество, которое было у Оксаны, она отдала сыну. Когда мы после десятилетнего романа (о, я тщательно проверял свое чувство!), наконец соединились, у нас не было ничего. Это не преувеличение. Ничего обозначает: ничего. Мой самый старинный друг Вася сказал мне тогда:

— Тебе уже пора снова писать свою первую повесть.

В те десять лет, которые предшествовали разводу и моему уходу к Оксане, у меня полностью атрофировалось чувство дома. Я, например, никогда не покупал то, что можно повесить на стену квартиры или то, что как-то украсит интерьер. Просто не приходило в голову. Наверное, потому что не знал, где я буду жить завтра и с кем. Десять лет сумасшедшего бега между двумя женщинами, житья на две семьи, на два дома, — я даже не знаю, с чем это можно сравнить! Могу сказать только, что для такого образа жизни требовалось лошадиное здоровье!

Когда я переехал к Оксане, чувство собственного дома ожило сразу же. Его — это чувство — подхлестывало еще, конечно, полное отсутствие всего. Я должен поделиться, что начинать жизнь с начала в пятьдесят лет — замечательно, особенно если рядом любимая женщина.

Постепенно появлялось всё — и ножи с вилками, и простыни со скатертями, и телевизор с магнитофоном, и даже картинки на стенах.

Я много работал, писал запойно. И хотя не все проходило, некоторые рассказы и повести оседали в столе, что-то тем не менее прорывалось на страницы



журналов, правда, с потерями и купюрами. Видно, я работал более интенсивно, чем цензура, вообще у меня несколько лет был очень «писучий» период. Кроме того я преподавал в литературном институте. А тут еще пригласили вести ежемесячную литературную программу «Волшебство изящной словесности» по телевидению. К тому же, я занялся и рифмоплетством — это после пятидесяти-то. Если поговорка «работа дураков любит» справедлива, то я, несомненно, принадлежу к этой породе. Я работал не для того, чтобы зарабатывать, но деньги стали появляться. Кое-что экранизировалось, а две комедии для театра пошли очень широко — одна в ста десяти театрах, а другая в ста тридцати четырех. Поскольку я считался писателем не совсем советским, что мне неустанно давали почувствовать доброхоты из Союза писателей, меня усиленно издавали на Западе. Опала здесь была лучшей рекомендацией там.

«Кирпичи», которые лудили литературные генералы, воспевающие прелести социализма, почему-то не котировались за рубежом. Это бесило секретарей, они в очередной раз напускали на меня преданных опричников от критики. И очередной погром моей книги дома вызывал у зарубежных издателей очередной взрыв интереса...

Итак, после похорон я заперся на даче, не подходил к телефонным звонкам, не открывал калитку на звонки с улицы. А потом вообще оборвал провод. Несколько дней спрессовались, и сейчас кажется, что это был какой-то один страшный, сумбурный час. Я плохо помню, что делал, как жил, когда спал, а когда не спал, ел или не ел, выходил в лес или, одетый, валялся в кровати. Невнятные обрывки воспоминаний в тумане забвения. Я никого не хотел видеть, даже самых близких друзей, меня отталкивали участливые лица, сочувствующие взгляды, утешительные слова. Боялся, что начну при всех рыдать, а здесь меня никто не видел — немытого, небритого, заросшего, зареванного, полуодетого, полупьяного, — похожего на дикого, раненого зверя. Гибель Оксаны — это был крах, крушение всего, конец жизни. То, что мне предстояло дальше, можно назвать доживанием, ожиданием смерти.

Когда я вышел из состояния шока и рискнул вернуться к людям, я был будто стеклянный. Я был настрожен и готов в любую секунду снова спрятаться в логово. Контакт со мной не получался, — я обрывал выражения соболезнования, потому что был покрыт еще слишком непрочной, очень тонкой коркой самообороны, за которой копошилось горькое горе. Посторонние, вероятно, считали меня сухарем, но мне на это было наплевать. Я старался жить не в городе, а на даче, пытался писать, но не получалось. Я вспоминал, как мы с Оксаной мечтали о собственном доме, в котором можно будет отгородиться от огромного количества городских ничемностей, бессмысленно отнимающих и пожирающих время. В последние годы никто не хотел ничего продавать — люди не верили в ценность советских денег. Нам повезло: счастливый случай — мы купили дом недалеко от Москвы, со всеми удобствами, да еще на границе с лесом. Задняя калитка выходила в настоящий дикий лес, который тянулся вперемежку с полями на много километров. Когда мы услышали, сколько запросила хозяйка за дом, мы пошатнулись, закачались и обалдели. Сначала мы отказались от покупки, понимая, что не потянем. Но потом вовремя одумались. Мы залезли в долги, продали видеокамеру и последние драгоценности Оксаны, которые ей достались от матери, умершей за год до этого. В общем, поднатужились и купили дом. Мы принялись приводить в порядок наше новое, но очень запущенное жилище. Дом раньше принадлежал хорошему композитору, но его наследники довели прошлые хоромы до состояния горьковской ночлежки: здесь до нас жили какие-то приживалки, жильцы с собаками, старухи с кошками, бесконечная череда гостей, дачников, друзей и, по-моему, людей, с которыми хозяева не были знакомы. Достаточно сказать, что в момент покупки в пяти комнатах насчитывалось семнадцать спальных мест, по три-четыре в каждой комнате. Оксана вышла на пенсию. Она проработала последние двадцать лет в Гослитиздате, где, кстати, меня никогда не издавали. Из живых там публиковали только правительственных писателей. Я не мог отложить работу, ибо надо было возвращать долги и зара-



бывать на кровосос-ремонт. В это время стали хорошо платить за выступления, за так называемые творческие вечера, и я оказался персоной, с которой публика почему-то хотела встречаться. Я регулярно выезжал в разные города на два-три дня, и деньги, которые я привозил, тут же переходили из моих рук в руки маляров, сантехников и плотников. А тем временем два хищника — инфляция и дефицит — опустошали страну. Наступило время, когда долги стало иметь лучше, чем деньги. Я со смущением возвращал друзьям одолженные суммы. Со смущением и чувством стыда, так как полгода назад, когда я занимал деньги, они стоили значительно больше, чем сейчас, когда я их возвращал. Как мы с Оксаной радовались, когда удавалось раздобыть красивый кафель или симпатичные обои. Западный человек лишен таких радостей. Если ему что-то надо, он идет и покупает. Это так просто и так неинтересно. У нас другое дело. Набегаешься, намучаешься, унижаешься вконец, прежде чем достанешь то, что нужно. Зато потом испытываешь победное чувство, вовсе недоступное несчастным жителям западной цивилизации...

Немногим более года удалось Оксане пожить в уютном доме, в уютном потому, что у нее было врожденное чувство делать жилье теплым, человеческим, удобным. А нынче я слонялся, как потерянный, по двум этажам пустынного дома, из которого ушла душа... Она и из меня ушла...

Я возвращался с кладбища, но воспоминания по-прежнему цепко держали меня. Я вышел за ворота и направился к стоянке такси. Машин, конечно, не было, и я вдруг поймал себя на мысли, что уже много месяцев не видел такой картины: пять-шесть автомобилей-такси с горящими зелеными огоньками дежурят на стоянке в ожидании пассажиров. Раньше в дневные часы подобное можно было увидеть весьма часто. Сейчас я осознал, что эта картинка из прошлого, как бы из мирной жизни. Я стоял и ждал, что может подвернется какой-нибудь левак — или частник, или подхалтуривающий государственный водитель. И снова моя память понесла меня в недавнее прошлое...

Постепенно я как-то наладил свою холостяцкую

жизнь. Помогала Тереза. Я пытался писать, но ничего путного из-под пера (я сочиняю вручную, а не на машинке) не выходило. Какие-то мертвые, корявые фразы, деревянные сочетания слов, лишённые одухотворённости, в общем, получалось что-то засохшее, неуклюжее. Недописав, я отбрасывал то одно, то другое. Вдруг я впервые осознал на собственном примере, что означает слово «бесплодие». Никто еще не знал, что я, как писатель, умер. А я это открытие, естественно, не рекламировал. Я принимал участие в литературной и политической жизни, больше в политической... Выступал, публиковал хлесткую публицистику (на это еще хватало!), подписывал всякие радикальные обращения, ибо ненавидел систему, в которой рос и с которой боролся, в первую очередь, в самом себе. Среди военных, партийцев и ребят с Лубянки нажил немало врагов. Но это меня радовало, хоть как-то горячило подстывшую кровь...

Недостатка в женском внимании я не испытывал никогда, а после смерти жены — особенно.

Еще бы, по нашим понятиям, богатый: дача, квартира, машина, деньги (но тут имелось заблуждение!), известный, можно сказать, популярный да к тому же и холостой. Конечно, не молоденький, но ведь это, если вдуматься, тоже было, скорее, достоинством. Редакторши издательств и журналов, корреспондентки, телевизионные дамочки, артистки, барышни из писательского и киношного союзов смотрели на меня особым взглядом, не то, чтобы откровенным, но во всяком случае обещающим. Я этот взгляд угадывал сразу же. На встречах с читателями я сплошь и рядом получал записки такого рода:

«Если вам требуется молодая помощница или секретарша, позвоните по телефону...»

Эти записки я сразу рвал. Не потому, чтобы соблазна не было — я опасался женской назойливости. Вообще, мне свойственна определенная боязливость в отношениях с женским полом. Я, например, никогда не имел дела с проституткой, не был в публичном доме, не участвовал в коллективных сексуальных сборищах. Мне мешало какое-то врожденное чувство чистоплотности, а кроме того я не сомневался, что у меня от испуга ничего не получится. Я с детства знал, что женщину надо



добиваться, хотя и знал также, что эта точка зрения крайне архаична. Поэтому, когда я видел, что некое женское существо проявляет инициативу и настырно лезет в койку, я постыдно удирал.

И тем не менее, как говорится, жизнь есть жизнь. Через несколько месяцев после того, как не стало Оксаны, у меня случились две встречи... Мое внимание привлекла симпатичная докторша из нашей литфондовской поликлиники, но это оказалось неинтересно. Может, виноват был я, не знаю, но я ей больше не звонил. А второй раз, где-то через месяц после врачихи, я попытался переспать с одной иностранкой. Но тут и вовсе вышел конфуз. Интересная молодая славистка из Швеции — жена какого-то миллионера-фабриканта — положила на меня глаз. Она была избалована и невероятно богата — дом в Стокгольме, квартира в Париже, вилла под Сорренто, мастерская в Нью-Йорке. Она могла ни черта не делать, но была трудолюбива, энергична и предприимчива. К нам в страну она приезжала часто. Появились ее книги о взаимоотношениях Пастернака и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштама, серия интервью в модных журналах со звездами перестройки (в том числе и со мной), документальное исследование об убийстве семьи Романовых, обзор кинокартин в эпоху гласности.

Ингрид была стремительна, весела, шумна, громко ржала и, по-моему, успела перетрахаться с немалым количеством левых русских деятелей культуры. Очевидно, наступила и моя очередь... А я попросту дискредитировал Отечество. Нет, конечно, в те минуты, когда я беспомощно потел, пытаясь выполнить то, что обычно у меня получалось само собой, я не думал о престиже нашей страны. Стыд, отвращение к себе, боязнь, что такое теперь будет всегда, парализовали меня. И как ни билась многоопытная шведка, она так и не смогла добиться ничего путного. Может, меня заклинило от того, что она иностранка? — пытался я оправдать себя потом. Но думаю, все-таки, что сробел от ее наступательной активности и нетерпения. Поскольку Ингрид была хороша собой и молода по моим нынешним меркам — ей было около сорока, — то оправдания мне не

было никакого. И страх, что так может повториться, за-  
таился где-то в глубине.

Однако цыганка, — а я теперь верил тому, что она нагадала, — напорочила мне встречу с молодой, прекрасной женщиной. Кого же она имела в виду? Я стал перебирать в памяти разных знакомых женщин, на которых хоть как-то, хоть когда-то фокусировалось мое внимание. Но никто из них не вызывал намерения перейти к активным действиям, особенно в моей ситуации. И я решил не утруждать себя. Его Величество Случай организует встречу, раз уж так предписано судьбой. В тот момент, когда я окончательно решил стать фаталистом, перед моими глазами возникло женское лицо. Лицо кассирши из нашей районной сберкассы. Ее звали Люда. Я даже хотел написать о ней и наших отношениях небольшой рассказ в бунинском роде, но не стал этого делать потому, что лучше Ивана Алексеевича написать бы не смог, а хуже — зачем? Каждый месяц я два, а то и три раза бывал в сберкассе. То вкладывал какие-то деньги, то, наоборот, брал, то платил за квартиру, то штраф за автомобильное нарушение, то еще что-нибудь. Я знал всех сотрудниц по имени-отчеству, дарил им свои книги, и они тоже знали меня, и, если я напарывался на большую очередь, барышни норовили пропустить мою персону побыстрее. Года три назад в сберкассе появилась новая кассирша — Люда. Описывать женщину — дело не то, что трудное, а бесполезное. В мировой литературе создано столько прекрасных женских портретов, куда уж мне. Но все равно надо дать о ней хоть какое-то представление. Люда выглядела лет на тридцать. В лице ее было что-то беспомощно-детское. Голову она всегда держала чуть наклонив, а когда смотрела на тебя, то в ее глазах, не хочется писать «огромных», но они такими и были, казалось, прятались то ли горе, то ли боль, то ли какая-то грустная, щемящая тайна. Даже когда она улыбалась, выражение страдания не исчезало с лица. При первом же знакомстве, когда она мне вручала пачку купюр, чувство безотчетной жалости захлестнуло меня. Возникло желание сделать для нее что-то хорошее, чем-то помочь, как-то защитить, хотя я не знал о ней ровным счетом ничего.



Несколько раз в месяц я общался с ней через окошечко кассы, и с каждой встречей она привлекала к себе все больше и больше. Я чувствовал, что и я ей нравился. Между нашими взглядами и улыбками пробежало что-то больше и значительнее, нежели наши слова. В ней не было ничего ломаного, деланного, искусственного, ненатурального. Я не знаю, можно ли назвать ее красивой, скорее она была миловидна. Я видел, что всякий раз она радовалась моему приходу, и с ее лица, когда она разговаривала со мной, исчезало то затаенное чувство горечи, которое так меня поразило с самого начала. Мы говорили о всяких пустяках, но я стал замечать в себе какое-то смущение, стал ловить себя на том, что иногда вспоминаю о ней перед сном и каждый раз со смутной нежностью. Я никогда не изменял Оксане, это могло случиться только, если бы я полюбил другую женщину. Нет, конечно, я не думал о Люде. Жизнь, работа, книги, Оксана, бесчисленное количество дел, всяческая суета несли меня по течению или, можно сказать, что я сам мчался против течения с бешеной скоростью среди людей, дел, поступков, ситуаций. Нет, конечно, я не вспоминал о Люде. Разве что изредка ее наклоненное лицо, печальные глаза и приветливая улыбка возникали на миг в моем сознании и исчезали, заслоненные нескончаемым потоком разных разностей. Как-то, когда я брал полновесную сумму на ремонт дачи, у нее в кассе не хватило наличных денег, и она ушла в заднюю комнату, где, наверное, находился сейф. И тут я понял, что видел ее до сих пор только по пояс. Я впервые рассмотрел ее фигуру, так и хочется написать стройную, ибо так и было, но это же литературный штамп. В словаре синонимов я нашел другие слова, которые тоже подходили к ее фигуре: статная, складная, хорошо сложенная. Когда она вернулась, я на нее посмотрел чуть-чуть по-иному. К моему восприятию Люды добавилось нечто новое, и она почувствовала эту перемену сразу. Уже прошло несколько месяцев нашего знакомства. За это время я дарил ей свои книги, впрочем, так же, как и другим женщинам из Сбербанка — так теперь назывались сберкассы. Я пригласил ее на свой творче-

ский вечер в Останкино, и операторы разглядели ее и оценили — сняли крупно...

Однажды я брал деньги перед самым закрытием сберкассы.

— Хотите, я вас подожду и отвезу домой? — спросил я тихо, чтобы не слышала контролерша, сидевшая в двух шагах.

— Спасибо, — с улыбкой поблагодарила Люда.

Я сидел в машине и ждал ее. Честно говоря, я не знал, что делать дальше. У меня не было никаких серьезных намерений по отношению к Люде, а несерьезно вести себя с ней не хотелось. Она как-то не подходила для этого. В ней угадывались и чистота, и глубина чувств, и детская доверчивость. Да и сам я вышел из возраста легких походов. Об Оксане, которая ждала меня дома, я уже и не говорю. Люда села ко мне в машину.

— Куда? — спросил я. — Где вы живете?

Она назвала адрес. Я вел автомобиль и искоса поглядывал на нее. Одетая она была во что-то очень обычное, недорогое и скромное. И это ей тоже шло. Нет, конечно, я был в нее немножечко влюблен, или она мне нравилась, или меня тянуло к ней — выбирайте любой вариант. Я расспрашивал ее. Она обо мне все-таки кое-что знала, а я о ней ничего. Жила Люда с мамой в однокомнатной квартире, отец умер, когда Люда была маленькой. Мама — сердечница, регулярно лежит в больнице. На пенсии. Раньше мама работала в Третьяковке, служительницей в картинном зале. Люда кончила финансовый техникум. Много читает, это ее увлечение. О личной жизни сказала немного. Сказала только, что ее настойчиво атакует продавец из мебельного магазина, хочет жениться. Но ей он не нравится. Почему? Просто так, не нравится. Продавец богатый, у него машина и отдельная квартира. Он разведен, и все время приглашает Люду в театры и рестораны. Иногда она ходит с ним, и он рассказывает о том, сколько он зарабатывает, стараясь подействовать на Люду. А ей все равно. Она каждый день столько чужих денег пропускает через свои руки, что полностью к ним равнодушна. Мы давно уже стояли около ее дома. Я чувствовал, что если я скажу ей сейчас:



— Поехали! — то она, после небольшой паузы, ответит:

— Поехали!

Я думаю, она ждала, хотела, чтобы я сказал это, но ничем не показывала. И тут я, чувствуя себя одновременно и ничтожеством и страшно благородным человеком, поцеловал ей руку и промямлил, что мне пора ехать. Она ничем не выразила своего огорчения, разве глаза ее чуть погасли. Я спросил номер ее домашнего телефона, но оказалось, что у них с мамой телефона нет, они вот уже пять лет стоят на очереди. Она вышла из машины и перед тем, как открыть парадную дверь, оглянулась. Она посмотрела на меня и вдруг послала воздушный поцелуй. И тут же исчезла. Я несколько минут не трогался с места, думая о себе весьма нелестно, а потом включил стартер и поехал домой. Уже через несколько минут я забыл о Люде, поглощенный повседневными мыслями... И еще как-то раз я подвозил ее. Мама находилась в больнице, и в квартире никого не было. Все дальнейшее зависело только от меня. Думаю, она действительно была влюблена. Наверное, к этому примешивалась и моя известность, а может, для нее роман со мной стал бы каким-то выстрелом из обыденности, или еще было что-то — кто ее разберет, загадочную женскую душу. Она ждала, как я поступлю. Я бормотал слова, которые мне стыдно вспоминать. По жалким обрывкам моих фраз она могла уразуметь, что она — прекрасна, что очень мне нравится, что я был бы счастлив подняться к ней, но что она должна меня простить, ибо я должен немедленно ехать. Причину, по которой я должен был тут же испариться, я, конечно, наврал, не мог же я сказать ей, что уезжаю из-за того, что женат. Честно признаюсь, мне очень хотелось подняться к ней, но я удержался... На этот раз она ушла, повесив голову, не оглядываясь. Ушла так, как уходят совсем.

А еще через две недели меня снова занесло в сберкассу, простите, в Сбербанк. На месте Люды сидела толстая незнакомая женщина лет пятидесяти. Небрежным тоном я поинтересовался, где Люда, в отпуске или больна? А в ответ услышал, что она вышла замуж и уволилась. И тут у меня защемило сердце. Вспомнил ее глаза,

подернутые тоской, и подумал, что мне было по силам согнать это выражение, но испугался и не сделал этого. Неуютное ощущение потери чего-то прекрасного, чувство, что я сам проворонил, упустил такую женщину, охватило меня. Я уехал в дурном настроении, а потом подумал, что напишу о Люде рассказ, и довольно быстро этим утешился. Потом я отказался и от намерения написать рассказ. И тем не менее, иногда лицо Люды как бы наплывало из глубины, на мгновение перекрывая реальность, и снова растворялось в небытии. Поразительно было то, что после гибели Оксаны я вспомнил о ней сегодня впервые. Все это нахлынуло на меня, когда я на «левাকে» возвращался с кладбища. Частник узнал меня и был преисполнен почтительности. Я попросил его остановиться на минуту у телефона-автомата. Мне повезло — у аппарата не была срезана трубка. Я набрал номер Сбербанка и попросил позвать заведующую.

— Анна Васильевна, это Горюнов. Как самочувствие? У меня? Живу, как и все, то есть в бардаке и ужасе... Анна Васильевна, помните, у вас работала кассирша Люда?.. Такая симпатичная... Потом замуж вышла и уволилась... — Я старался говорить беспечно и небрежно. — Вы не подскажите, как ее найти? Да? Спасибо огромное. Пока. Передавайте всем привет...

Я повесил трубку. Здесь мне тоже повезло. Оказывается, Люда после замужества перешла работать в другую сберкассу на улице Медведева, ближе к ее новому дому. Я вернулся в машину и попросил частника подвезти на улицу Медведева. Мне очень хотелось, чтобы повезло и в третий раз, чтобы я застал Люду на рабочем месте.

У Сбербанка я еще раз попросил водителя подождать меня несколько минут. Тот согласился. Я сказал, что «за мной не заржавеет», но хозяин автомобиля ответил, что, мол, я его обижаяю...

Я вошел внутрь и сразу увидел ее. Она сидела в окошечке кассы и, как всегда, пересчитывала чужие деньги. Стояла очередь — человек пять или шесть. Я смотрел на нее издали. Она не изменилась, была так же тиха и беззащитна. Голова ее, как всегда, чуть склонилась набок, а огромные глаза, когда она их поднимала, вручая посетителю купюры или получая их, казалось,





прятали какое-то горе. Я любовался ею, и меня охватило волнение при мысли, что сейчас произойдет что-то очень значительное и важное. Сердце вдруг начало барабанить так, как бывало сорок лет назад. Она меня не замечала и работала. Движения ее рук были изящны и безупречны. Я немного подумал, как же поступить, и, в конце концов, встал в очередь к ее окошечку. И тут она неожиданно увидела меня. Я улыбнулся ей и поздоровался наклоном головы. Она покраснела и тоже улыбнулась. Некоторое время мы не сводили друг с друга глаз, а потом она снова принялась за работу. Но теперь, под моим взглядом, она делала все свои операции напряженно, часто сбивалась и начинала пересчитывать деньги снова. Сзади меня встало еще два человека, и я понял, что поговорить наедине не удастся. Время, с одной стороны, еле тащилось, а с другой — несло какими-то скачками. Наконец я смог просунуть лицо в окошечко.

— Здравствуйте, Олег Владимирович. Рада вам. Вы теперь будете держать деньги у нас?

— Я хочу вас видеть, — еле слышно выдохнул я. Звука голоса практически не было, но по артикуляции губ она поняла.

Она смешалась и не знала, что сказать. Слишком много посторонних было вокруг. Пауза становилась необъяснимой. Тогда я нашел выход из положения:

— Вы не продадите три билета денежно-вещевой лотереи?

— Конечно, — сказала она с робкой улыбкой и протянула мне веером с десяток облигаций.

— Дайте мне своей рукой, я верю — она у вас счастливая, — сказал я дежурно-любезную фразу.

Я просунул в окошечко деньги, а она передала мне билеты. Я постарался коснуться ее руки своей.

— Спасибо, Олег Владимирович. Заходите.

— Это вам спасибо, Люда. Но я еще не уйду.

Я отошел в сторонку, и на прилавке стал писать ей записку, прямо на лотерейном билете.

«Люда, милая! Я завтра утром улетаю. Может, навсегда. Прошу Вас провести со мной сегодняшний вечер. Я этого очень хочу! Если вы согласны, просто кив-

ните мне головой. Я буду ждать вас здесь у входа в машине в 8 часов. Прошу Вас. Очень прошу».

Я с трудом разместил этот текст на обеих сторонах лотерейного билета.

— Извините, — сказал я молодому человеку, ожидающему денег, и протиснул записку в щель под стекло.

Люда взяла ее, отдала деньги и сберкнижку клиенту, а потом стала читать мое послание. Лицо ее опять вспыхнуло, она подняла глаза и взглянула на меня. И вдруг боль, которая, казалось, навечно поселилась в ее зрачках, куда-то испарилась, и она утвердительно кивнула мне.

Я приложил руку к губам, что могло означать и воздушный поцелуй, и обещание молчать, и жест, означающий «до встречи». Перед выходом я еще раз посмотрел на нее, и она еще раз кивком подтвердила свое согласие.

#### ГЛАВА IV

Время было муторное, скользкое, невнятное. Старая власть выпустила вожжи, постромки ослабели. Притаилась, затихла Лубянка — там то ли уничтожали архивы, то ли укрепляли оборонные сооружения на случай народного штурма. Может быть, делали и то и другое. По окраинам валили монументы Ильичу, но на железного Феликса покушаться боялись. Только поляки подняли руку на рыцаря чрезвычайки и снесли к чертовой бабушке монумент своего соотечественника. Новая власть никак не могла ухватить бразды правления в свои неопытные руки. Партия, накопившая за семьдесят лет неслыханные богатства, по-прежнему была самой сильной организацией. Где деньги, там и власть. Страна разваливалась. Эпидемия провозглашения суверенитетов заразила все республики от больших до малых. Глобальная говорильня захлестнула страну. Болтуны всех цветов и мастей рассуждали о том, как спасти страну, а на окраинах стреляли, лилась кровь. Сотни тысяч беженцев перемещались по стране, оставляя разгромленные жилища и трупы родных. И это в мирное время. А тем временем изо всех щелей повывле-



зали полчища проныр, пролаз и прохиндеев. Заелозили, забегали ловкачи, стараясь не упустить момент. Пришло время циников, блядей, аферистов. Ежедневно открывались, а на следующий день рушились невероятные, фантастические совместные предприятия. Зарубежная шушера объединялась с отечественной. Вчерашние эмигранты становились боссами, эфемерными калифами на час. Главное было — нахапать скорей, пока муть и неразбериха. Надувательства, обманы, мошенничества обрушились на не готовый ко всему этому доверчивый народ. Нация раскололась на тех, кто стриг, и на тех, кого стригли. Идеалисты, люди идеи и веры, гибли, не в силах приспособиться. Господи! Почему в нашей несчастной стране всё, даже хорошее, приобретает карикатурные формы! И свобода, которая наконец-то пришла, какая-то у нас уродливая! И частная инициатива, которая, наконец-то, вроде бы разрешена, непременно замешана на жульничестве и предательстве. И демократия, которую наконец-то провозгласили, щедро полита кровью.

Я чувствовал себя в этом времени зыбко и неудобно, хотя употребил немало сил, чтобы приблизить его приход. Меня, как некоторых, время не отодвинуло в сторону, не выбросило на помойку, но все равно я ощущал под ногами какую-то неверную, колеблющуюся поверхность. Некоторые из моих приятелей делали головокружительные карьеры. Писатели, актеры, режиссеры, журналисты бросали свои профессии и окунались с головой в политику. Они становились депутатами, мэрами, советниками, министрами. Я тоже этому поддался и чуть было не стал депутатом. Но вовремя одумался и дал задний ход. Другие мои дружки быстро сориентировались и начали во всю сочинять нечто совместное с иностранью, в предвкушении валютных гонораров, и посему не вылезали из-за границы. «Сейчас только ленивый не ездит в Америку», — сказал мне один предприимчивый деятель от культуры. Иной раз я завидовал таким энергичным, жалел, что мне не сорок и что я лишен коммерческой жилки. А иногда философски смотрел на суету вокруг себя.

*Жизнь уходит вдаль и вбок,  
покидает твой порог.  
И не надо догонять,  
если вам не тридцать пять.  
Пусть бегут, кто помоложе...  
Но они устанут тоже, —  
годы быстро просвистят,  
станет им за шестьдесят,  
и от них, — и вдаль, и вбок, —  
жизнь поскачет со всех ног...*

Конечно, я был выбит из колен, в душе господствовали сумятица и хаос. Я ощущал себя обломком прошлого, как говорят в кино, «уходящей натурой», а главное, я был бесплоден.

Я жил по инерции, стараясь не поддаваться. Каждое утро я через силу заставлял себя делать пятнадцатиминутную зарядку, брился, чистил башмаки, пришивал оторванные пуговицы. Но если бы кто знал, какого напряжения мне это стоило! Частенько, по привычке, я садился за письменный стол и мытарил изношенные мозги в надежде придумать сюжет. Ибо мне для того, чтобы начать писать, надо найти, сочинить, изобре́сти фабулу, сюжетный ход, историю, анекдот. Я делю сюжеты на накатывающиеся и на тормозящиеся. Те, что накатываются, пишутся легко, вольно, приятно. Фантазия буйствует, и рука еле поспевает за ней. А если сюжет не накатывается, то есть одно не подталкивает другое, то я редко довожу дело до конца. Не хватает терпения. От переделок, исправлений, от недовольства написанным я так устаю, что начинаю ненавидеть собственное сочинение и испытываю к нему отвращение и брезгливость...

Я позвонил Володе, сыну Оксаны от первого брака. Первый муж Оксаны театральный режиссер, которого считали очень одаренным, умер молодым от неизлечимой болезни. Я познакомился с Оксаной года через три после смерти мужа. У нее еще тогда были очень мощные, совсем неженские бицепсы рук от того, что она несколько лет ухаживала за неподвижным лежащим больным, которого приходилось регулярно приподы-



мать, переворачивать, когда требовалось переодеть или сменить белье, или сделать укол. Я, на всякий случай, поведал Володе всё, что связано с метеоритом, где его надо получить, как водрузить на могилу, что написать на камне. Сказал, что время — беспокойное, мало ли что может случиться, а я хочу быть уверенным, что дело будет доведено до конца. Володя был хорошим, надежным парнем, он обожал мать и тоже очень тяжело переживал ее смерть. Он работал актером в незначительном театре, жил трудно, а по нынешним временам просто бедно. Я время от времени помогал ему, стараясь не задеть его мужское самолюбие...

Я сидел дома и поджидал Олега. Уже было семь вечера. Через полчаса мне понадобится машина, чтобы ехать за Людой. Я беспокоился, не ввязался ли он в какую-нибудь дурацкую катавасию с доносчиком. Наконец входная дверь отворилась, и младший Горюнов появился в квартире.

— Что так долго?

— Табачный бунт. Курильщики, человек триста, наверное, перегородили улицу. Всюду пробки. Пришлось добираться в объезд.

— Давай ключи. Я опаздываю.

— А что у меня было, не интересуешься?

— Интересуюсь. Только времени нет. Давай коротко.

— Ну, это был не тот, о котором я думал, но тоже дерьмо. Я заставил его по кусочкам сожрать собственный донос.

— И он сделал это? — Я надевал плащ.

— Не добровольно, конечно. Но после некоторых мер, принятых мною, жевал и глотал бумагу добросовестно. Потом я заставил его выпить слабительное. Причем много. Очень много. А после вывел на лестницу и (мне друг привез из Америки сувенир — наручники) приковал офицера Советской армии к дверной ручке лифта его собственного подъезда. И ушел. Он вслед мне орал, что этого так не оставит, что ты пожалеешь... Угрожал, матерился...

— Ты, смотрю, тоже выдумщик!

— Одна кровь! — улыбнулся мститель. — Я еще

не успел удалиться, как слабительное начало оказывать действие...

— Проводи меня, — попросил я, и мы стали быстро спускаться вниз.

— Слушай, у тебя в Москве есть, где жить?

— А что такое? А-а, понял... Едешь за женщиной... У тебя роман начинается... Правильно?

— Если ты читаешь мои мысли, то должен понять — твое присутствие здесь, мягко говоря, вовсе не обязательно!

— Ах, ты старый селадон. Но, послушай, в квартире три комнаты...

— Нет, ты все равно будешь мне мешать!.. Так что, валяй отсюда.

— Ладно, не сердись! Я сейчас что-нибудь перекушу, ты не возражаешь?

— О чем ты говоришь? Не совестно? — обиделся я.

— Черт тебя знает... Шучу, шучу... Поем и исчезну до утра...

— Есть где переночевать?

— За меня не беспокойся, у меня много друзей...

Найдется место...

— А утром приходи. Вместе позавтракаем, и я отвезу тебя на аэродром. Если еще буду жив...

— Слушай, а если тебе с этой... бабой уехать сейчас из Москвы? На дачу... или куда-то...

— Если это судьба, так она все равно наступит... Неважно где...

— Верно. Если это только судьба... что ж, желаю успеха...

Я сел в машину и рванул с места. Без десяти восемь я подъехал к Сбербанку на улице Медведева. Поставил машину на другой стороне. В освещенные окна я видел, что внутри оставались всего два клиента — мужчина в куртке и женщина в плаще. Вот они один за другим вышли на улицу. Часть света в операционном зале погасла. Одна из сотрудниц Сбербанка выскочила на осеннюю улицу, раскрыла зонт и заспешила к Тверской. В темноте я не разобрал ее лица. Потом в зале остался гореть только дежурный свет, и две фигуры скрылись за задней дверью. Над входом зажглась лампочка,



означающая, что Сбербанк взят на охрану. А через несколько секунд в проеме ворот, соединяющих двор с улицей, показались два женских силуэта. Они постояли рядом некоторое время, а потом разошлись. Одна из женщин направилась через дорогу к машине. В этот момент я с бьющимся сердцем распахнул дверцу и ступил на мостовую. Я подбежал к Люде, взял ее за руку, втянул на тротуар и обнял. Моя щека прижималась к ее щеке. Я гладил ее волосы и бормотал что-то нежное, невнятное, хорошее. Было темно. Никто не видел моего лица, не знал, сколько мне лет, да я, пожалуй, и не думал о таких пустяках. Я целовал ее шею, волосы, лицо, ладошки ее рук. Она молча принимала мой порыв, а потом ее губы встретились с моими... Наверное, это продолжалось очень долго. А потом — второй поцелуй... и третий... Какие-то взбудораженные мурашки носились по спине и пояснице. Ее руки гладили мое лицо, на котором годы пробуравили немало морщин, теребили волосы, вернее их жалкие остатки. Она прижималась ко мне и тоже шептала что-то любовное, ласковое, неразборчивое. А потом я открыл дверь и усадил ее в машину.

— Поехали? — хрипло спросил я с опозданием на два года.

— Поехали, — ответила она, не спросив меня ни о чем. Мы ехали молча. Начать разговор было нелегко. Я боялся неверной ноты, опасался неловким вопросом спугнуть ее. Если вдуматься, я ее совсем не знал, но почему-то был уверен, что она — замечательная. Я верил своему ощущению. Как, оказывается, не просто вступить в разговор, если женщина тебе нравится. Я уж, честно говоря, и подзабыл, как это делается. Последняя женщина, от которой у меня кружилась голова, была Оксана, и происходило это около двадцати лет назад. Смешно, но не хватало опыта и уверенности. Следя за дорогой, я время от времени поглядывал на Люду. Она смотрела вперед и тоже молчала. Меня подмывало спросить ее о муже, — она ведь так легко и сразу приняла мое приглашение. Но я понимал, что это будет не самое удачное начало беседы. Объяснять, почему я вдруг очутился и пригласил ее именно сегодня, тоже было не с руки. О том, что наша с ней встреча была мне предсказана

цыганкой, было лучше помолчать. И потом я не знал, как к ней обращаться, на «ты» или на «вы»?

Извечное мужское желание показать себя перед женщиной во всем блеске ума и обаяния, оказывается, сидело во мне крепко, несмотря на изрядный возраст.

Наше молчание затягивалось. От этого мое смущение увеличивалось. Я существовал сейчас как бы в двух пластах. Несмотря на мое беспокойство, я бы даже сказал, внутреннюю суетливость, в кабине машины висело какое-то электричество, которое излучали мы оба. Взаимная душевная тяга друг к другу поглощала, подминала под себя и малое наше знакомство, и щекотливость ситуации, и кажущуюся беспричинность встречи.

И вдруг внезапно пришло какое-то освобождение, ибо мы, по сути, объяснялись на ином языке, более высоком, нежели разговорный. Я посмотрел на Люду и убедился, что она испытывает то же самое. Не могу растолковать, почему я это понял. Я улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ.

— Если бы ты знала, как я рад.

— Я это чувствую. И я рада.

— Я хочу делать глупости.

— Я тоже, — сказала она. — Первую глупость я уже сделала — прибежала к тебе по первому знаку.

— Будем глупить дальше? — с улыбкой идиота спросил я.

— Еще как! — подхватила она. — Я очень устала жить по-умному.

— И я столько лет не валял дурака, — признался я.

Незначительные слова, идущие как бы по обочине, только подтвердили тот душевный поток, в котором плыли мы оба. Напряжение исчезло совсем, я забыл о разнице в летах, появилось ощущение равенства, которого у меня, признаюсь, не было. Страх, оставшийся от неудачи со шведкой, комплекс возраста — всё это улетучилось. В душе царили естественность и свобода.

Мы въехали во двор. С трудом я втиснул «Волгу» в узкое пространство между двумя машинами, потом вышел, открыл дверь со стороны, где сидела Люда, и подал ей руку. Она оперлась на мою ладонь, но, выбираясь из машины, случайно уронила свою сумочку. Я на-



гнулся, чтобы поднять ее. В это время раздался резкий щелчок выстрела, и от стены сзади меня отлетел кусок штукатурки. Если бы Люда не уронила сумку, меня бы уже не было. Я выпрямился и увидел, как легковой автомобиль — какая-то иномарка — с погашенными фарами, без света задних фонарей и, кажется, без номера выскользнул в арку на Тверскую улицу. Стреляли, вероятно, из автомобиля.

— Что это? — спросила Люда. — Стреляли?

Я вытирал ее сумку, которая упала на мокрый асфальт, носовым платком и медлил с ответом.

— Если и стреляли, то мимо, — улыбнулся я. Хорошо, что было темно, а то она, наверняка, заметила бы мою бледность и испуг в глазах. Я огляделся. Во дворе было тихо и пустынно. Да, видно, цыганка крепко знала свое дело. Пуля, конечно, предназначалась мне. Не в Люду же они целились. Мы направились к подъезду. Перед тем, как войти, я еще раз оглянулся, но ничего, что бы бросилось в глаза, не увидел. Ощущать себя мишенью было неуютно, тошнотно. Лифт, слава богу, починили. Мне не улыбалось, поднимаясь пешком на седьмой этаж, пыхтеть рядом с Людой.

В кабине лифта я не терял времени. Я снова обнял Люду. Не только потому, что меня влекло к ней. Это было и желание спрятаться, укрыться, успокоиться. Я испытывал чувство, похожее на детское, когда прячешься в подол матери в поисках утешения.

Лифт остановился, но я еще некоторое время продолжал обнимать Люду.

— Ты меня пригласил в лифт? — чуть улыбнувшись, спросила она.

Я отстранился, пропустил ее вперед и стал ключом отпирать дверь квартиры. Я открыл первый замок и хотел было вставить ключ в замочную скважину второго, как дверное полотно распахнулось изнутри. Нервы мои были на пределе, и я невольно отпрянул в сторону.

Квартира должна была быть пуста. Однако в двери стоял мой двойник и радушно улыбался.

— Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома, — он протянул руку Люде и представился: — Меня тоже зовут Олег. — Потом он обратился ко мне. — Я слышал

выстрел, но, видя тебя в целости и сохранности, понимаю: эти суки промазали!

— Что ты здесь делаешь? — спросил я, разозленный его присутствием и развязностью. — Я же тебя просил уйти.

— Я помню, — он кивнул. — Но я еще не допил бутылку.

Тут я сообразил, что он попросту пьян. Этого только не хватало. Тем временем он галантно помог Люде снять плащ и оценивающим взглядом бесцеремонно окинул ее с головы до ног.

— Старик, у тебя хороший вкус! — одобрил он. — Идемте, выпьем за знакомство, — обратился он к Люде.

Та посмотрела на меня. Я понимал, что должен представить Олега и объяснить его присутствие здесь, но не мог уразуметь, как это сделать.

— Люда, я тебе потом объясню, кто это, — загадочно сказал я и обратился к Олегу. — Давай, пошел отсюда. Мы же договорились.

— Сначала я выпью с Людой на брудершафт! — заупрямился пьяный двойник, разлил водку в фужеры и протянул один из них Люде.

— Спасибо, я не пью, — жестко отказалась она и отвела его руку от своего лица.

— Слушай ты, алкоголическое рыло, — свирепо прошипел я и взял его за шиворот, — чеши отсюда. Немедленно.

— Сейчас, — покорно согласился он. — Отпусти меня. Я только допью и уползу...

Я его отпустил.

— Люда, — сказал младший Олег. — Я хочу выпить этот бокал за вас. Потому что вы — мировая баба. Вы мне понравились! А мне не все нравятся.

— Спасибо, — сдержанно поблагодарила Люда, не ожидавшая, вероятно, такого приема.

Олег выпил фужер до дна и, обмякнув, опустился в прихожей на стул. Он попытался погладить Люду по коленке, но Люда оттолкнула его руку.

— Напрасно, — с укором молвил распоясавшийся афганец. — Ошибку делаете. Зачем вам эта старая рухлядь? — И он небрежным жестом показал на меня.

— Рухлядь не может быть молодой! — Я был в отчаянии. Этот пьяный кретин испортил мне первый вечер с Людой и последний вечер в жизни.

— Что у него не отнимешь — умен! — кивнул младший Олег и стал настырно уговаривать Люду. — Люда, пойдемте со мной. Что он вам может дать? Пожилое, пожившее тело? Вялую любовь? Это не жизнь, а так... литературщина. Вы же молодая женщина. Вам мужик нужен. Пойдемте со мной. Не пожалеете!

И он попытался схватить Люду за руку. Люда толкнула его, и он снова плюхнулся на стул. Вдруг, цепенея, я вспомнил, что такие или очень похожие слова много лет назад произносил и я. Мерзко было в пьяном хаме узнавать себя. Разница, конечно, была: я говорил что-то в этом же роде женщине, которую очень желал, но в отсутствие соперника, тогда как Олег выражался при мне. Не знаю, впрочем, что лучше. Кроме того, я говорил, будучи трезвым, а этот мерзавец себя не контролировал. Тоже не знаю, кто вел себя порядочнее. Тогда та женщина меня отвергла, выбрала старика.

— Посмотрите на меня, — икнул младший Горюнов. — Я точно такой же, у нас одно лицо. Только я молодой, а он — дедушка. Ну, решайте!.. А пока выпьем! — и он поднес горлышко бутылки ко рту.

— Тебе хватит, — я вырвал из его рук бутылку и посмотрел на Люду. Кто знает, о чем она думает сейчас и как поступит?

— Это твоя квартира? — спросила Люда.

Я кивнул.

— Так почему ты у себя дома терпишь эту пьяную скотину? Это что, твой сын? Или ты боишься его? Выстави его отсюда.

Я снова схватил Олега за шиворот и поволол к двери. Он, впрочем, не сопротивлялся.

— Я не скотина, — обиженно пробубнил он. — Я же хотел, как лучше... Какие все злобные... Зачем оскорблять? Убери руки, — окрысился он на меня. — Я и сам уйду...

Я отпустил его и отпер замок. Он, пошатываясь, вышел на лестничную площадку. И когда я захлопывал за ним дверь, он успел сказать:

— Нас на бабу променял!

Наконец мы остались вдвоем. Я был взъерошенный и очень несчастный. Врать ей, что Олег — мой непутевый сын, не хотелось, а сказать мистическую, необъяснимую правду было невысказано — это выглядело бы как ложь.

— Успокойся, — вдруг сказала Люда и прижалась ко мне. — Он ушел, и слава богу. Мне неинтересно, кто это. Не переживай из-за него. Было бы глупо испортить нашу встречу. Ну, улыбнись...

Чувство благодарной нежности возникло во мне. Люда пыталась спасти наше свидание. И я отрезал в своем сознании весь неприятный, зловещий шлейф из сегодняшнего прошлого и завтрашнего будущего. Я находился в квартире с прекрасной женщиной, в которую влюблялся все больше и больше. Я понял, надо жить данной минутой. Это было, действительно, царским подарком судьбы. «Смягчи последней лаской женскою...»

— Ты голодна? — спросил я, обнимая ее и умирая от счастья.

— Чудовищно, — ответила она. — И еще я умираю от счастья.

— И я тоже чудовищно хочу есть. И обожаю тебя! — Я посмотрел ей в глаза и спросил напрямик. — Что будем делать сначала?

— Не будем торопиться, — тихо сказала она.

Мы понимали один другого так, как будто прожили вместе всю жизнь.

— Тогда поужинаем. Ты хочешь чего-нибудь выпить?

— Нет... Я не хочу делить тебя с алкоголем.

— Я тоже.

Я принялся сооружать ужин, а она вошла в комнату и стала рассматривать мое жилище.

Я включил телевизор. Началась программа «Время». Специальным Указом Президента в Москве с сегодняшних 23 часов вводился комендантский час. До шести утра будет задерживаться каждый. Для работников ночных профессий выдадут специальные пропуска.

— До шести утра ты моя пленница, — сказал я, хотя на душе снова стало тоскливо.

— У меня есть еще два часа, в течение которых я могу улизнуть, — отозвалась она.

Она стояла около большой фотографии Оксаны и внимательно рассматривала ее. Я сделал вид, что не заметил этого и усердно накрывал на стол в «фойе». Обычно сами мы ужинали, как и все, на кухне. И лишь гостей принимали в большой комнате. С едой было не очень шикарно, но в холодильнике я обнаружил банку крабов, оставшуюся с незапамятных времен. Пока я накрывал, а Люда знакомилась с квартирой, телевизор сообщал одну новость мрачнее другой. Вооруженные столкновения вспыхнули в Западной Украине... Какой-то маньяк устроил стрельбу в вагоне Ленинградского метро и убил двадцать два человека... В военных действиях между грузинами и абхазцами была применена артиллерия. Много жертв с обеих сторон. Парализованы железные дороги Кавказа и Средней Азии. Через границу с Ираном ушел вооруженный отряд с грузом наркотиков. Убито три пограничника. Среди беженцев из Армении, размещенных в Коми АССР, начался голод. Когда перешли к сообщениям из-за рубежа, я выключил «ящик».

— Прощу, — пригласил я дорогую гостью за стол. — Извините, что меню не столь богатое...

— Ты перешел на «вы»? — поинтересовалась Люда.

— Это я для торжественности, ибо момент исключительный, — я отодвинул стул, чтобы Люде было удобней сесть. Усевшись напротив, я взял салфетку (я ни разу не ел с салфеткой после того, как не стало Оксаны) и засунул ее за воротник рубашки. Люда постелила салфетку на колени.

Я положил на Людину тарелку крабов и еще разной снеди, и мы принялись ужинать. В ответ на мои расспросы, она стала рассказывать о своей жизни. Муж ее сделал карьеру коммерсанта, у него оказались организаторские способности, финансовая хватка, и он возглавил совместную с французами фирму по производству и продаже мебели. Много работает, хорошо зарабатывает, в том числе и в валюте. Часто ездит за границу. Купил автомобиль «СААБ». Все время уговаривает Люду бросить службу в Сбербанке, но она не хочет, ибо тогда превратится просто в его полную собственность, в его

игрушку. Муж хочет купить под Москвой дачу за валюту. В доме крутятся какие-то люди. Они кажутся Люде подозрительными, нечистоплотными. Одна из комнат квартиры — а он приобрел четырехкомнатную — всегда заперта на ключ. Что там находится, Люда может только догадываться, муж ее ни разу туда не впускал. Тут я обратил внимание, что Люда очень хорошо одета, во все, как говорят, фирменное. Совсем не так, как раньше. Муж иногда не является ночевать, продолжала свой рассказ Люда, но она не думает, что у него какая-то женщина. Скорее всего, опасные дела, в которые ее не посвящают. Она бы, может, и ушла от него... Но когда умерла ее мать, муж — его зовут Геннадием — проявил себя замечательно. Был заботлив, внимателен, добр, не оставлял ее одну. Организовал похороны, добился хорошего кладбища, устроил широкие поминки. Не забыл про девять и сорок дней. Вел себя по отношению к Люде безукоризненно. Да и она привыкла к нему. Ну, не любит его. Да разве все жены любят своих мужей? Это редкость. А кроме того, и уходить ей не к кому, да и некуда. Квартиру матери после ее смерти забрало государство. А Геннадий, хоть и обращается с Людой, как с вещью, но как с любимой вещью. Покупает ей наряды, драгоценности, все время хочет порадовать. Наверное, по-своему, любит. Как хозяин, как собственник, как восточный человек, хотя он — русский.

Я спросил, сказала ли она Геннадии, что не придет сегодня ночевать? Да, она позвонила ему в контору буквально за две минуты до ухода из Сбербанка и сказала, чтобы он ее сегодня не ждал. Если бы она сообщила раньше, он бы приехал и помешал.

— Как он прореагировал? — поинтересовался я.

После моего заявления, сказала Люда, сначала последовала долгая пауза, потом вопросы, переходящие в крик и мат. Но куда она уходит, Люда не сказала, несмотря на его мольбы. Врать не хотелось, а правду говорить было невозможно, боязно, страшно. Характер у Геннадия мстительный и вспыльчивый. Кроме того, он жуткий ревнивец. Тем более еще до брака Люда что-то говорила ему обо мне с симпатией, и он не упускал случая, чтобы брякнуть про меня какую-нибудь гадость.



Тут Люда перевела разговор. Она сказала, что слышала от кого-то о гибели Оксаны и даже хотела тогда написать мне, но побоялась, что я неправильно пойму ее соболезнования. Она только сейчас увидела лицо Оксаны на фотографии. Оксана напомнила ей чем-то Анни Жирардо. Она догадывается сейчас, почему я в тот раз не откликнулся на ее весьма прозрачный намек. Она, кажется, понимает меня, хотя тогда ей было очень обидно и горько. Она проревела всю ночь...

Тут я осознал, на что обрекаю Люду. Попросту разрушу ее жизнь. И я забил отбой. Заявил, что завтра уезжаю навсегда. И никогда не вернусь. Будет лучше, если Люда после ужина возвратится домой и обернет свой звонок мужу в шутку. Это будет правильно, разумно. И безопасно. Я себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. Не хочу, чтобы из-за меня, из-за одной только ночи, она сломала бы свою жизнь.

— Это не жизнь, — грустно произнесла Люда. — Во всяком случае, не настоящая жизнь. Если ты хочешь, я уеду домой. Но я не жалею, что так поступила. Я люблю тебя. С первого раза, когда увидела. У нас не принято, чтобы женщина произносила такие слова первой, но мне все равно.

У меня невольно сдавило горло, влажная пелена навернулась на глаза. В это время зазвонил телефон. Я дернулся было к трубке, но она сказала:

— Не подходи.

— И я тебя люблю, — сказал я и почувствовал, что не соврал.

Мы сидели друг против друга и слушали, как надрывался телефон. Наконец он смолк.

— Спасибо, — сказала Люда.

— Ты сошла с ума. Разве за это благодарят?

— У меня какое-то дурное предчувствие, — проронила Люда. — Мне тревожно.

Я чуть было не раскололся и не поведал ей о предсказании цыганки, но взял себя в руки и промолчал. Я подошел к ней, поднял со стула и начал беспорядочно целовать. Телефон зазвонил снова, требовательно и настойчиво.

— Ладно, последний раз подойду, а потом выдерну шнур из розетки.

Я оторвался от Люды, подошел к аппарату и поднес трубку к уху.

— Добрый вечер. Это Олег Владимирович? — спросил мужской голос. — Горюнов?

— Добрый вечер, — отозвался я. — Слушаю вас.

— Попросите, пожалуйста, Люду, — сказал голос. — Я знаю, что она у вас.

— Какую Люду? Куда вы звоните? — произнес я. — Вы ошиблись.

— Позовите Люду — мою жену. И не надо врать, что она не у вас. Она мне сама сказала, что отправляется к вам.

— Уверю вас, вы ошибаетесь. Это недоразумение. Я не знаю никакой Люды, — я сделал знак, чтобы Люда сняла трубку с параллельного аппарата. Она уже, видно, догадалась, кто звонит, и поспешно схватила трубку. Я продолжал:

— Тут какая-то ошибка.

— Хватит болтать. Я же слышал, как кто-то взял вторую трубку. Не сомневаюсь, это она.

— Слушайте, вы рехнулись! Вы — ненормальный!

— Правильно. Сейчас я приеду и подстрелю тебя и ее. И меня оправдают, потому что я, действительно, рехнулся, а психов не осуждают. Слушай, Люда! Я знаю, что ты меня сейчас слушаешь. Ты меня знаешь. Я на ветер слов не бросаю. Не молчи. Имей мужество ответить. Немедленно приезжай домой.

Люда молчала, а я сказал:

— Повесьте трубку.

Трубку на том конце провода положили.

— Ты в самом деле сказала ему, что будешь у меня? — спросил я.

— Как я могла?! — Она помотала головой. — Он взял тебя на пушку.

— Откуда же он узнал?

— Он ревновал меня к тебе, хотя и понимал, что у нас ничего не было. Он видел выражение моего лица, когда ты вел передачу по телевизору, видел, как я на тебя смотрела. Один раз у нас даже вышел скандал. Он хо-



тел, чтобы я пошла с ним на день рождения человека, который для него был важен, а ты в этот вечер вел программу. Я уперлась и не пошла, и он понял причину. Обычно я безропотно подчинялась. Кроме того, твои книги. Я их читала часто. Он хорошо изучил меня, и все сообразил. Я-то не удивлена этому.

— Понятно, — процедил я, проклиная себя, что откликнулся на звонок. — Глупо вышло...

— Надо немедленно уезжать, — с испугом сказала Люда. — Собирайся.

— Перестань паниковать... — хорохорился я. — Мы никуда не поедem.

— Ты его не знаешь. Я видела у него в ящике стола револьвер. А однажды он открыл при мне сейф...

— У вас дома есть сейф?

— Да, он держит в нем валюту. И я заметила там... по-моему, это был автомат... Его окружают люди... они способны на все. Надо бежать... Сломя голову...

— У меня железная дверь, мне кооператоры поставили... Ее не взломаешь...

Люда двинулась в прихожую и стала надевать плащ. — Через пятнадцать минут он будет здесь. Пойми, я не за себя боюсь. Надеюсь, я с ним совладаю. Ты можешь уйти немедленно ради меня?

— Я ради тебя всё сделаю... Но это как-то не по мужски. Противно...

— Ты болван. Хотя и очень любимый. Он ни перед чем не остановится. Он вооружен, — она была в отчаянии. — Скорее. Тут каждая минута дорога.

Ее страх передался мне, — дело, видно, и впрямь нешуточное! Я быстро оделся, сунул в карман свое газовое оружие и стал звонить на пульт охраны. Как только квартиру взяли на охрану, мы с Людой выскочили на лестничную клетку.

Лифт был занят. Люда не стала дожидаться, она поспешила вниз. Я последовал за ней. Перед тем как выйти во двор, Люда высунула голову и огляделась:

— Никого.

Она быстро направилась к моей машине, я открыл ключом дверь, она скользнула на сидение и отво-

рила дверь со стороны шофера. Я уселся на водительское место.

— Поехали. Скорее...

Я завел двигатель и тронулся с места. Когда я поворачивал в арку, навстречу, в мой двор, въезжал серебристый «СААБ».

— Я же тебе говорила, — тихо сказала Люда. — Это он. Тут как тут.

Я вывернул на Тверскую и поехал вниз. Я посмотрел в зеркальце, погони за нами не было. Значит, он не догадался, что встреченная «Волга» — моя и что внутри сидела Люда... Я выехал из города и помчал по мокрому Калужскому шоссе.

— Куда мы едем? — спросила Люда.

— Ко мне на дачу! — ответил я и мигнул дальним светом, чтобы встречный не слепил меня яркими лучами фар. Но тот даже не подумал переключить дальний свет на ближний.

— Сволочь! — привычно ругнулся я.

Я обратил внимание, что в последние месяцы общее беззаконие перешло и на пренебрежение автомобильными правилами. Ощущение безнаказанности во всем проникло и в сознание водителей, многие начали нагло ездить на красный свет, нарушать, не обращая внимания на регулировщиков, не останавливаться на требовательные свистки гаишников. Анархия, поглотившая страну, перекечевала и на дороги — ездить стало опаснее, аварий и жертв стало куда больше. Не-

— Он ни перед чем не остановится, — сказала Люда. — Он вооружен.

Артисты Олег Басилашвили и Ирен Жакоб



смотря на будничные вечер и поздний час встречных огней было немало. Вдруг впереди послышался истошный рев сирены. Прямо на нас перла колонна военных грузовиков, впереди которой, мигая синим светом и извергая из себя тревожный вопль, мчалась легковая машина с желтой фарой в центре. Из динамиков послышалась команда:

— Немедленно встать на обочину!

Я послушно свернул с асфальта и тормознул. В Мокву на приличной скорости шли грузовики с солдатами, а замыкали колонну с десятком бронетранспортеров. Дворники беспрерывно ерзали по мокрому лобовому стеклу. Я посмотрел на Люду. Ее лицо, освещенное фарами военных машин, было загадочно и прекрасно.

— Тебе угрожает какая-то опасность? — вдруг спросила она.

— В общем... да... — Я немного помялся. — А почему ты так решила?

— Не знаю... Мне так показалось... Ты поэтому уезжаешь?

Соблазн рассказать ей всё был велик. Я даже открыл рот, но с трудом сдержался. Я считал, что это как-то не совсем по-мужски. Решил приврать что-то правдоподобное. Вспомнил своего двойника и заговорил:

— Нет, не поэтому. Я ведь наполовину еврей, по матери. Меня пригласили в Израиль. На месяц. Но кто знает, что будет за это время здесь. И кто знает, что случится за этот месяц там. Помнишь: «С любимыми не рас-

— А я его и не выпущу, — вдруг вмешалась Люда. — Сегодня ему лучше не показываться на улице. Олег вопросительно взглянул на меня: — Дама в курсе?



ставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них... И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

— Помню. Только я такого никогда не чувствовала... Умом понимала, но сама ни разу не испытала...

У меня сжало горло от того, как она это сказала. Я потянулся к ней, она приблизила свое лицо к моему. Мы поцеловались, а прожектора бесконечной колонны безжалостно освещали нас, выставляя напоказ всему свету. Наконец зловещая колонна прошла мимо, наступила черная темнота. Вокруг никого не было, машина одиноко стояла на обочине.

Мои руки непроизвольно направились от ее коленок выше. Она сначала ответила на мое желание, а потом оттолкнула ищущие руки.

— Не здесь! Так не хочу!

Лицо мое пылало, но я послушно убрал свои конечности, завел двигатель и поехал вперед, как сумасшедший.

— Не гони, дурак! — нежно засмеялась она. — Я никуда не денусь. Я сама тебя не отпущу.

Было начало одиннадцатого, когда я подкатил к даче. Достав из «бардачка» связку ключей, я сначала отпер калитку, потом снял с крюков перекладину, придерживающую воротины, и распахнул створки. Въехал, снова выскочил из машины, закрыл ворота, запер калитку, сел на шоферское сидение и тихо приблизился к дому.

Фонарь, горевший на участке, освещал стеклянные дождевые капли на голых ветках. Я открыл правую дверь, помог Люде выйти из машины и тут увидел, что в одном из окон дома горит свет. Я замер как вкопанный.

— В доме кто-то есть, — шепнул я Люде.

— Почему ты так решил? — тоже шепотом откликнулась она.

— Свет в окне!..

— Может, ты забыл погасить, когда был здесь последний раз... — мы говорили очень тихо.

— Исключено. У меня привычка — всё гасить. Подожди.

Я вынул на всякий случай из кармана плаща газовый револьвер и на цыпочках направился к светяще-



муся окошку. Осторожно, опасаясь, чтобы меня не увидели из дачи, я заглянул в комнату. Там спиной ко мне сидел какой-то мужчина и смотрел телевизор. Господи! Что за проклятый день! Кто это? И вдруг озноб захлестнул все тело. А если это убийца? Если он меня ждет? Но откуда он мог узнать, что я сегодня приеду сюда? Людин муж? Вряд ли, слишком уж быстро он сориентировался. Человек встал, подошел к столу, взял сигарету и зажег спичку. Лицо его осветилось.

Я не знал этого человека, видел его впервые. Мужчина опять уселся перед телевизором. Я понял, что услышать меня он не может, так как звук был включен довольно громко. Я, находясь снаружи, слышал песню, которую пел Саша Малинин. Кстати, он мне очень нравился. Я попятился назад к машине.

— Там кто-то есть? — беззвучно спросила Люда.

— Да. Человек смотрит телевизор.

— Ты его знаешь?

— Нет. Никогда не видел.

— Поехали отсюда, — решительно произнесла Люда. — Скорее.

— Мне надоело бежать. Сначала из своей квартиры, потом со своей дачи. Это унижительно!

— А вдруг это Геннадий? — ужаснулась Люда.

— Исключено. Что он, волшебник или супермен?!

Но Люда рванулась к дому и заглянула в окошко.

Через несколько секунд она возвратилась.

— Это не он! Уезжаем! — сказала Люда.

— Ты, оказывается, трусишка...

Я не мог уехать. Честно говоря, я сам сильно дрейфил, но не в силах был заставить себя «выйти вон». Было стыдно перед женщиной, да и сам я к себе стал бы неважно относиться! Хотя и так относился неоднозначно.

— Ты побудь здесь, а я войду в дом, — наконец решился я.

— Нет, — тон у Люды был непреклонный. — Я за тебя боюсь. И не пушу.

— Ты мне не жена, — сказал я грубовато. — Так что не командуй.

— Поехали! — приказала Люда. — Кто-то из двоих должен быть умный.

— Понимаешь, я тебя ужасно хочу. А это мой дом. И поэтому я туда пойду. И выгоню этого типа. И мы будем вместе.

— Умоляю тебя. Не надо. У нас есть дом — твоя машина.

— Нет, я так не хочу, — повторил я ее слова.

— Тогда я пойду с тобой. Рядом.

— Ладно, — после небольшой паузы согласился я. — Только ты пойдешь сзади.

Люда увидела прислоненную к дому лопату и взяла ее. Мы двинулись к крыльцу. В правой руке у меня был газовый револьвер, в левой — связка ключей. Сердце колотилось от страха и волнения. Люда шла за мной с лопатой наперевес.

Каким-то вторым зрением я увидел нас со стороны и понял, что мы представляем собой весьма комичное зрелище. Но мне было не до смеха. Я открыл входную дверь и буквально впрыгнул в комнату, — откуда только взялась прыть. Мужчина обернулся и, увидев нас, вскочил. На нем был мой тренировочный костюм, купленный в Париже по настоянию Оксаны. Мы смотрели друг на друга, а из телевизора заливался голос Малинина:

*— Не падайте духом, поручик Голицын,  
Корнет Оболенский, надеть ордена!*

— Что вы здесь делаете? — спросил я. — Кто вы такой?

— Вы хозяин дачи? — глухим голосом спросил жилец. Это был мужчина лет сорока пяти, наголо стриженный. Один глаз у него нервно подергивался.

Я увидел, что на журнальном столике стояла бутылка «Наполеона» — подарок каких-то иностранцев, — которая была наполовину пуста.

— Не только дачи, но и костюма, который на вас, и коньяка, который вы пьете.

— Простите... Я ничего не взял у вас. Я вообще-то бомж... Зимой... Вот так... Кочую с дачи на дачу... Там где хозяева живут только летом... Но не ворую...

— И давно вы здесь? — спросил я поспокойнее, видя что гость не проявляет агрессии.

— Уже четвертый день. Продукты ваши, конеч-



но, подъел... Но я отработаю... Приду весной, вскопаю что надо... Я и плотничать могу...

— Вот что, — вмешалась вдруг Люда. — Быстро уходите отсюда, пока мы не вызвали милицию. Бегом. Я вас узнала. Вас по телевизору показывали.

И тут незваного гостя словно подменили. Он рванулся к открытой входной двери и немедленно исчез. Недоумевая, я выскочил вслед за ним на крыльцо и увидел, как он слету перемахнул через забор.

— Плакал мой французский тренировочный костюм, — сказал я меланхолично. — Что это за тип?

— Несколько дней назад его рожу показывали по московской программе. Убил жену и скрылся. У него примета — нервный тик одного глаза. Вот он и задал стрекача.

Я посмотрел на Люду, которая, как ополченка, держала лопату в боевой позиции.

— Ты вооружена и очень опасна, — сказал я. — Как ты думаешь, он не вернется? У него тут небось остались какие-то его шмотки?

— Я думаю, он сейчас ставит мировой рекорд по бегу на очень длинную дистанцию.

— Неужели мы одни? — спросил я, отнимая у нее лопату и вводя в дом. — Я не могу в это поверить.

— Запри-ка получше дверь, — сказала Люда. — А потом проверь дом — нет ли здесь кого еще.

Я послушался мудрого совета. Осматривая дачу, я понял, что посетитель проник внутрь через окно второго этажа, выбив стекло в спальне. Здесь он и спал, постель была вздыблена и не убрана. Я закрыл дверь спальни и спустился. Внизу я достал две чистые рюмки из буфета, взял бутылку «Наполеона» и разлил коньяк.

— Мы должны поблагодарить этого убийцу, что он не все вылакал, — сказал я. — Честно говоря, после всего пережитого дербалызнуть по рюмашке будет недурно.

— Да, вечер выдался интересный, — поддержала меня Люда. — Разнообразный.

— Боюсь, что после всего мне понадобится немало усилий, чтобы оказаться на высоте...

— Вот уж чего не боюсь, — сказала Люда, нахально посмотрев мне в глаза.

— За нашу встречу, — мы чокнулись и выпили.

— Пойдем в кабинет, — сказал я, забрал с собой остатки коньяка, обнял Люду за плечи, и мы по деревянной лестнице отправились на второй этаж.

И когда наконец случилось то, к чему мы шли весь вечер через цепь препятствий, настырно затрезвонил телефон. Но звонок как бы раздавался в другой реальности, в ином пространстве, в неясном измерении. Я вроде бы всё слышал, но я ничего не слышал. Даже если бы это звонили от самого Господа, я бы все равно не снял трубку...

#### ГЛАВА V

Я проснулся около пяти. За окном затаилась осенняя, враждебная тьма. Тусклый свет уличного фонаря еле освещал раскоряченные голые деревья, которые в отчаянии от потерь вздымали руки-сучья к небу. Остатки света проникали в кабинет вместе с причудливыми тенями и придавали предметам зыбкую таинственность. По крыше монотонно молотил октябрьский занудливый дождь. В даче было тепло, но все равно не хотелось вылезать из кровати. Однако организм требовал. Люди моего возраста обычно встают ночью. Чего скрывать, дело житейское. Как правило, после нехитрой процедуры в туалете я отключался снова. Вернувшись в постель, где мирно и бесшумно дышала Люда, я тихо, чтобы не разбудить ее, скользнул под одеяло и лежал на спине, не закрывая глаз. Сон не приходил. Разброд мыслей, переполох чувств, поворот событий — все это перемешалось в душе. Мое плечо касалось ее плеча. Привычка к ночному одиночеству и постоянная сжатая тоска от этого прикосновения растворились куда-то, невидимая пружина как бы разжалась. Я снова был не один, я снова возвращался к жизни. «Правда, не очень-то надолго», — усмехнулся я. Но всё равно, я поблагодарил судьбу за неожиданный и бесценный подарок, который мне был преподнесен в конце пути. Я встретил Люду в тяжкую минуту. Казалось, ничто не сможет отвлечь меня от ожидания смерти. И, действительно, ожидание оказалось очень сильным, оно подмяло под себя все остальные эмоции и ощущения. Но присутствие Люды, ее нежность, ее естественность совершили чудо. Страх смерти

не то чтобы улетучился совсем, но отодвинулся далеко-далеко. И мы уплыли вместе в какую-то замечательно прекрасную страну, где не было ни времени, ни границ. О, я умел ценить всамделишность любви и искренность ее выражения. Думаю, подлинная близость между женщиной и мужчиной, если она освящена любовью, всегда безгрешна, ибо природа не бывает похотливой...

Какие только женщины не попадались мне за длинную жизнь! И кусающиеся, демонстрирующие зубами жгучую страсть (после них на теле долго остаются отметины), и лизучие, изображающие нежность, и бешено орущие, афиширующие эротический экстаз, и манерные, якобы оказывающие сопротивление и тем самым подчеркивающие собственную чистоту, и деловитые, занимающиеся любовью так, будто печатают на машинке статистический отчет, и интеллигентно постанывающие, выражающие тактичным кряхтением чувство глубокого полового удовлетворения, и ощущающие себя подарком неподвижные бревна, и лениво-пресыщенные, почитывающие во время акта заграничный детектив... Признаюсь, это глубокое расследование основано не только на личном опыте. Я не хочу казаться не лучше, не хуже — в зависимости от точки зрения на этот предмет. Кое-что я позаимствовал из практики друзей, деливших со мной своими амурными похождениями...

Потом совершенно беспричинно я вдруг вспомнил свой визит в райком партии к секретарю-женщине, ведающей идеологией. Это было лет, наверное, двадцать пять тому назад. Направили меня в этот самый райком на собеседование. Мою очередную повесть редколлегия «Юности» представила на Государственную премию СССР. И, как тогда говорили, требовалась поддержка многих организаций, в том числе и райкома партии. А меня в это время обкладывали со всех сторон, загоняя в коммунистическую стаю. И улещивали, и завлекали, и обольщали, и ласково угрожали. А я вилял, петлял, ускользал. Главное было — смыться так, чтобы не навредить себе, не навлечь гнева этого могущественного клана, ибо коммунисты мстили беспощадно. Сначала я убеждал вербовщиков, что еще не созрел для такого ответственного шага.

— Вы созрели! — уверяли меня.

Потом, после очередных покушений на мою беспартийную свободу, я принял себя порочить: мол, недостойн, не чувствую в себе уверенности, что стану активным строителем светлого будущего, что в психологии моей немало мелкобуржуазного. (Последнее, надо признаться, было правдой.)

— Вы достойны! — возражали мне. — Партия поможет вам избавиться от ваших недостатков.

Во время собеседования в райкоме руководящая дама, лет эдак тридцати пяти, понимая, что я заинтересован в поддержке, поперла на меня, чтобы я дал ей обещание вступить в их славные ряды. Я понимал, что, если я опять слиняю, не видать мне премии, как собственной плешки на макушке. Тогда, чтобы обставить как-то поприличнее свой отказ, я прибегнул к напраслине и прямой клевете на самого себя.

— Вы знаете, Имя Отчество, я бы с удовольствием пополнил ряды вашей замечательной организации, но у меня есть жуткий порок, чтобы не сказать хуже, — доверительно признался я.

Собеседница перегнулась через стол, стгорая от любопытства.

Я скромно потупился;

— Дело в том, что я — бабник! Я бы даже сказал, бабник-террорист! Увижу юбку — не могу пропустить. А это несовместимо с высоким званием коммуниста.

И я посмотрел на нее циничным мужским взглядом, как бы срывая с нее костюм, купленный явно где-то за границей. Мои глаза раздевали, шарили по ее телу, оценивая скрытые под одеждой женские прелести. Между прочим, прелести явно имелись.

В жизни, кстати, я никогда таким образом не смотрел ни на одну женщину. Но тут общение с актерской братией пригодились, я попытался сыграть Дон-Жуана. Коммунистка покраснела и откинулась в кресле. Она, конечно, почувствовала издевку и, думаю, ее больше обидело мое лицемерие, то, что мое восхищение ею, как женщиной, было ненатуральным. Она быстро взяла себя в руки и сухо закончила нашу встречу. Я покинул безликий кабинет, радуясь, что отбоаярился.

Государственной премии я, конечно, не получил. Но это меня, в общем, не огорчило, так... чуть царапнуло самолюбие... Независимость, пусть даже относительная, была мне, тем не менее, дороже...

Тут я себя одернул, ибо отдавать последние часы подобным идиотским воспоминаниям было полной чужью...

Какими длинными обернулись для меня заключительные сутки. Как будто я прожил за это время еще одну, дополнительную жизнь. Во всяком случае, событий, нагромоздившихся друг на друга, с избытком хватило бы на несколько лет.

А ведь еще совсем недавно я беспечно трясся в спальном вагоне первой полнотражной русской железной дороги. В это же самое время вчерашних суток опаздывающий состав тащился где-то между Бологим и Тверью. Я неважно спал, как всегда в поезде. В купе было слишком жарко, я мучался от духоты, клял железную дорогу, ворочался, пытаюсь уснуть. И совершенно не подозревал, что по прибытии в столицу мое существование перевернется, и я выбегу на финишную прямую собственной жизни. Пока сбывалось всё, что наобещала цыганка в своем предсказании. Но единственное, чего я никак не мог уразуметь, — это возникновение моего молодого двойника. Младший Олег был одновременно как бы я и как бы не я. Различие между нами, конечно, существовало. Но и сходство было невероятное. Если бы я родился в его время и оказался на его месте, я стал бы, вероятно, точно таким же. Но откуда он возник? И почему именно сейчас? И для чего? Увижу ли я его еще раз? И почему он улетает в Израиль? Тут я подумал о сочетании в себе самом русского и еврейского. Графа в пятом пункте анкеты, где я писал «русский», надежно защищала меня от государственного антисемитизма. В детские годы и в институтские я не ощущал на себе, что я частично неполноценен. Мама по воспитанию своему была совершенно русской женщиной. Она не знала ни еврейского языка, ни национальных праздников. А из кушаний умела готовить только два блюда — фаршированную рыбу и «тейглах» — запеченные в меду палочки из теста. Мама вообще была заме-

чательным кулинаром. Из еврейских слов я знал несколько: «дрек мит феффер» или в переводе «говно с перцем», «мишугене», что означало «сумасшедший», «лохаим» — слово, которое говорили, чокаясь, и «шли-мазл», что переводилось как «недотепа» или «неудачник». Я явственно ощущал в себе еврейские гены только тогда, когда слышал национальную музыку, щемящую, печальную, надрывную. Тут вся душа моя отзывалась на эти звуки, инстинктивно взбудораживалось что-то прятавшееся в глубине, на глаза наворачивались слезы, и какие-то смутные библейские картинки начинали бередить сердце.

Но вообще проблемы евреев довольно долгое время не привлекали моего внимания. К созданию государства Израиль я отнесся равнодушно, по-моему, даже не заметил. И лишь когда было сфабриковано «дело врачей», я впервые осознал жестокую мощь государственного антисемитизма. Тогда я расплывчато осознал, что наш строй воспринял и унаследовал гитлеровский расизм. Но в то время это было зыбкое, несформулированное чувство. Потом умер Генералиссимус, и наступили иные времена. Я не рекламировал, что я полукровка, но особенно и не скрывал. Кто-то знал о том, что я «порченный», но для широкой публики я был таким же русским писателем, как Аксенов или Высоцкий. Всерьез я начал задумываться над еврейскими делами, когда Россию стали покидать друзья — Галич, Коржавин, Копелев, Эткинд, Некрич. А в перестроечные годы, когда имперская державная юдофобия несколько отступила, то на передний план вышли черносотенцы-общественники... Добровольцы, волонтеры. Я догадывался, что и в армии, и в КГБ у погромщиков немало покровителей и сочувствующих. Но не пойман — не вор. Я вспомнил встреченную вчера бесконечную военную колонну, идущую в Москву, и поехал. Идея армейского заговора последние месяцы висела над страной. Об этом говорилось по телевидению, спорили газетчики, толковали в очередях.

Тут я ощутил, что Люда проснулась. Она лежала не шевелясь, но я чувствовал, что ее глаза открыты.



— Ты не спишь? — еле слышно, без голоса, спросил я.

— Нет... — так же тихо прошептала она. — Пытаюсь угадать, о чем ты думаешь. По-моему, о судьбе страны.

— Неужели мои мозги скрипели так громко, что разбудили тебя? — поинтересовался я.

— Нет, я сама проснулась. Преступно спать, когда у нас с тобой осталось так мало времени. Когда у тебя самолет?

Я вместо ответа погладил ее. Мы потянулись друг к другу, и снова я отправился в блаженное путешествие без времени и без границ...

А потом я отвалился в сон минут, наверное, на десять-пятнадцать. Когда я проснулся, то увидел Люду, выходящую из ванной в моем купальном халате, с мокрой головой, обернутой полотенцем.

Начало мутно светать. Дождь по-прежнему стучал по железной крыше. Я отправился в душ, наказав Люде обшарить в кухне все шкафчики и приготовить какой-нибудь завтрак. Когда я стоял под горячим душем, я вдруг вспомнил, что покойников обмывают. Стало как-то очень противно, но я подумал, что со мной можно будет эту церемонию не производить. Тем не менее стало не по себе, меня подташнивало. Я выполз из ванной в одних трусах. Кстати, кальсон я не носил никогда. Еще в молодости я твердо сказал себе, что если я надену кальсоны, то, значит, я — старик. И эта молодая бравада так засела в башке, что до последней минуты я держался. В зимние холода коченел, но в кальсоны не влезал ни за что. Это, может, и не говорит о большом уме, но «из песни слова не выкинешь». Люда уступила мне мой халат — она уже успела одеться.

— С завтраком дело — дрянь! — сказала она. — Я устроила повальный обыск, но этот убийец подъял практически все. Есть несколько картофелин, но нет ни масла, ни сметаны. Также отсутствуют чай, кофе, сахар, хлеб и все остальное тоже.

— Ты как себя чувствуешь? — спросил я.

Она нежно посмотрела на меня и сказала после паузы:

— Замечательно!

— Тогда поехали завтракать в Москву, — шутили-во произнес я и отвернулся, стараясь чтобы она не заметила, как у меня увлажнились глаза.

В сарае хранились две двадцатилитровые канистры с бензином — неприкосновенный запас. Я снял с гвоздя ключи и, осторожно озираясь по сторонам, направился к сараю. Внутри дома ощущение опасности уходило на второй план, но как только я очутился вне стен, сразу же почувял себя дичью, за которой охотятся. Однако путешествие до сарая и обратно закончилось благополучно. Я подтащил обе емкости к автомобилю, открыл багажник, всунул в жерло бензобака большую воронку и, дав бултыхающемуся внутри канистры бензину успокоиться, начал заполнять бак. Подбежала Люда и стала поддерживать канистру, чтобы мне было не так тяжело.

— Отпусти, я сам, — я не подозревал, что во мне столь сильно развито мужское самолюбие. И не только мужское, но и возрастное.

— Я хочу тебе помочь, — улыбнулась Люда. — Я хотела бы это делать всегда.

Я опять тупо промолчал, не зная, как себя вести и что ответить. Я угадывал — она понимает, что я скрываю какую-то тайну, но не хочет быть назойливой.

Я запер дом, мысленно попрощался с ним навсегда, и мы направились в город. Я за свою жизнь насмотрелся немало детективных фильмов и поэтому, время от времени, поглядывал в зеркало, не преследует ли нас какая-нибудь машина. Но нет, сзади хвоста не было. Вскоре мы нагнали колонну бронетранспортеров, которая неторопливо и угрюмо двигалась в сторону столицы. Войска явно стягивались в Москву. Всё это делалось под маркой подготовки к параду седьмого ноября.

— Если военные захватят власть, я окажусь за решеткой одним из первых, — сказал я, будто ставил диагноз. — Будешь мне носить передачи?

— Ты же сегодня уезжаешь. Будем надеяться, что это не произойдет до твоего отъезда.

— Ну, всякое может случиться... А вдруг и не улечу... — невнятно пробормотал я. Все-таки слабая наде-



жда, что я уцелею, что меня не кокнут, тлела где-то в недрах сознания.

— Правда? — встрепенулась Люда. — Ты, может, не уедешь?

— Скорее всего, уеду, — нетвердо сказал я. — Хотя, честно говоря, очень не хочется. Маленький шанс, что я останусь в Москве, есть. Тем более после нашей встречи у меня нет никакого желания расставаться с тобой. Я тебя люблю. А я так давно не говорил этих слов.

Люда положила мне голову на плечо и долго молчала.

— Я мечтала услышать эти слова именно от тебя. Оставайся. Я тебя очень прошу...

— Попробую... Но тут не все зависит от меня... — противно было не договаривать, утаивать, но выхода не было. Сказать правду я не смел.

— Я могу как-то повлиять, помочь, что-то сделать?

— К сожалению, нет. Тебя отвезти на работу?

— Нет, я сегодня не пойду. Я провожу тебя...

— В последний путь, — мысленно и невесело пошутил я. Когда мы подъехали к моему дому, я затормозил и, прежде чем въехать на свое место, внимательно оглядел пространство двора. Все выглядело буднично. У задворков магазина «Армения» стоял фургон, и грузчики что-то разгружали. Грузчики были какие-то натуральные. Я взглянул на часы: они показывали без четверти девять. День выдался тусклый, унылый, морось висела в воздухе. Я посмотрел на Люду и сказал:

— Ты даже не подозреваешь, что ты для меня значишь. Я тебе так благодарен... Тьфу... все эти слова не передают и сотой доли того, что я испытываю по отношению к тебе. Я просто помираю от счастья. Запомни, что я тебе сказал. — Видно, в моем голосе проскользнула какая-то завещательная, прощальная интонация. Люда тревожно взглянула на меня:

— Тебя что-то гнетет, я знаю. Не скрывай от меня. Тебе грозит беда? Скажи мне. Я постараюсь помочь. Не думай, что я слабая.

— Может, позже и скажу. А сейчас айда завтракать, — я перевел наш разговор на другой лад. — Желудок бунтует и требует. Никто так не любит завтракать,

как я. А также обедать и ужинать. И никто не относится к своему желудку с таким глубоким уважением, как ваш покорный слуга, — я болтал без перерыва.

Въехав во двор, я протиснул «Волгу» между двумя соседскими машинами. Одна из них была уже накрыта брезентом — законсервирована на зиму. Мы вошли в подъезд, лифт, как ни странно, работал, и мы поднялись на седьмой этаж. Здесь перед нашими глазами представило отвратительное зрелище. Обивка с моей двери была содрана и сожжена. На полу валялись куски черной обгоревшей ваты. Дымные подпалины, оставшиеся от огня, причудливо разукрасили дверь. Потолок был также закопчен. У двери на полу валялась литровая бутылка. Я поднял ее и понюхал. Она пахла бензином.

— Интересно, цело ли что-нибудь внутри? — бесцветно спросил я.

На верхнем дверном замке виднелись следы попыток взлома. Привычными движениями я открыл оба замка и распахнул входную дверь. В квартиру, похоже, огонь не пробрался. Я быстро вбежал в большую комнату и огляделся. На первый взгляд, всё было в порядке, ничего не тронули. Никто, кажется, сюда не входил. Видно, внутрь поджигатели проникнуть не смогли. Я набрал номер охраны и спросил, не получали ли они на пульте какие-нибудь тревожные сигналы из моей квартиры. Незнакомый женский голос ответил, что всё было спокойно, что сигнал у них срабатывает только в том случае, когда открывается входная дверь или разбивается окно. Я повесил трубку. Вдохнул. Помолчал. И вдруг что-то нахлынуло. Видно, лопнула какая-то пружина, которая заставляла меня держаться. Я сорвался... Куда подевались спокойствие, ирония, сила!

У меня началась форменная истерика. Я заорал, что не могу больше выносить этого ожидания, что лучше умереть, чем жить в таком напряжении. Слезы текли, а я взахлеб открывал Люде всё, что таил от нее, рассказывал про цыганку, про ее зловеший прогноз. Регулярно сморкаясь и шмыгая, поведал о том, что происходило со мной вчера, о появлении младшего Олега, о Поплавском, об осквернении материнской могилы. Она обняла меня, а я уткнулся ей в живот, как когда-то в



детстве утыкался в передник мамы. Я объяснил ей, что никуда не собираюсь уезжать по своей воле. Она гладила меня по голове, целовала лицо, умоляла успокоиться, утешала, шептала нежные, ласковые слова. Я всхлипывал, а она платком вытирала слезы с моих глаз. Не помню, когда я плакал последний раз. Ревущий пожилой мужчина — зрелище, вероятно, малопривлекательное. Но мне не было стыдно перед Людой за то, что я распустил нюни, за проявленную слабость, за малодушие, за трусость. Наоборот, мне стало легче, и я постепенно успокоился. А Люда после моего взрыва отчаяния стала мне еще ближе, еще дороже...

Когда мы завтракали, в дверь позвонили.

— Я сама посмотрю, — сказала Люда, пошла в прихожую и прильнула к глазку.

Через несколько секунд она вернулась в кухню.

— Там молодой Олег... — И Люда вопросительно взглянула на меня. — Открыть? Может, не стоит... Черт его знает... Он мне не понравился...

Вместо ответа я выскочил в переднюю. Я вдруг осознал, что ждал его прихода и желал его. Я распахнул входную дверь. В руках Олег держал небольшой чемодан.

— Не помешаю? — галантно спросил он.

— Я рад твоему появлению, — сердечно сказал я. — У тебя невероятное чутье — ты поспел как раз к завтраку.

— Привычка опытного холостяка, — отозвался Олег.

Я покосился на его чемодан.

— Это мои шмотки, все, что я увожу из страны. Рукописи, — пояснил двойник. — А я доволен, что вижу тебя целым и невредимым.

— Я отвезу тебя в аэропорт... — предложил я.

— Поскольку я читаю твои мысли, то вдвойне ценю твое предложение. Но думаю, не стоит, — отказался Олег. — Тебе лучше пока не выходить. Назначенный срок еще не кончился.

— А я его и не выпущу, — вдруг вмешалась Люда. — Сегодня ему лучше не показываться на улице.

Олег вопросительно взглянул на меня.

— Дама в курсе? — спросил он.

— Ну, ну, раскомандовалась, — мягко осадил я Люду, а потом добавил: — Люда всё знает.

— Тут у вас было не скучно, — Олег присел к столу. — Как я вижу, было жарко. — Люда налила ему кофе. — Вызывали пожарных? Или сами погасили?

— Поджигали дверь, когда нас не было. Мы здесь не ночевали.

— Повезло, — засмеялся Олег. — А то это вам очень бы помешало. Если бы я знал, что вы уедете на дачу, то я бы, может, и остался.

— А тебя кто приютил на ночь? — поинтересовался я.

— Мне вчера была необходима баба, — откровенно признался младший Горюнов. — Поскольку здесь, — он поклонился в сторону Люды, — я получил афронт... Кстати, приношу извинения за мое вчерашнее хамство... Выпил лишнего. И у тебя тоже прошу прощения... — это относилось ко мне. — Я и направился к «Националю», где меня склеила привлекательная молоденькая путанка лет двадцати. У нее уже и машина, и квартирка на Старом Арбате, и всякие там видяшники... В общем, она в порядке. Время провел недурно, девица оказалась опытная во всех смыслах. Профессионалка. Остался без копейки валюты. Рубли барышня не уважает. Так что улетаю без гроша в кармане.

— У меня есть где-то долларов пятнадцать, — сказал я. — Тебе там хоть на такси хватит, чтобы доехать из аэропорта.

— Это мне здесь хватит, чтобы доехать на такси до Шереметьева. Эти молодчики в клеточку за «деревянные» рубли теперь не возят. Исключительно за конвертируемые денежки.

Я достал из письменного стола доллары, которые не успел потратить в последней поездке по Норвегии, и отдал ему.

— Мне пора. Пока схвачу машину. Опаздывать не хочется, — сказал Олег. — Счастливо оставаться. Посидим, что ли, перед дорогой?

Мы все трое присели и помолчали. Потом Олег встал, обнял меня, помахал Люде рукой и направился к двери. Я почувствовал, что не могу позволить ему уйти

На съемках  
сцены перед  
убийством.

Артисты Андрей  
Соколов, Олег  
Басилашвили,  
режиссер  
Эльдар Рязанов

→





так внезапно и навсегда. Я понял, что без него моя жизнь станет неполной и ущербной. Мне показалось, что от меня отрывают часть меня самого. Хотелось задержать его, продлить прощание, остановить, попросить не уезжать.

— Подожди, — сказал я. — Я не могу с тобой так сразу расстаться. Я отвезу тебя в аэропорт.

И прежде чем Люда и Олег успели что-то возразить, я уже оказался на лестничной клетке. Я бежал вниз, надевая на ходу пальто. По предсказанию цыганки, мне оставалось жить не более тридцати минут. Люда и Олег спешили за мной и уговаривали вернуться. Но меня охватило какое-то безумие. Я ничего не слушал и летел навстречу судьбе.

Олег и Люда обогнали меня и преградили путь, закрыв собою парадное. Но я — откуда только сила взялась! — отодвинул их с дороги и выскочил во двор. Я примчался к своей «Волге», отпер двери с пассажирской стороны, распахнул их и пошел открывать шоферскую дверцу.

— Садитесь! — скомандовал я Люде и Олегу, которые беспокойно озирались вокруг. Олег швырнул свой чемодан на заднее сиденье.

В этот момент заляпанный грязью «Жигуленок» отъехал от тротуара и направился к арке, ведущей на Тверскую.

— Кажется, это они! — вдруг произнес молодой Горюнов и сделал два шага вперед, заслонив меня от едущего автомобиля. И тут прозвучал резкий звук выстрела. Олег медленно осел на землю, а грязный «Жигуленок» скрылся в арке. Я подбежал к Олегу, пуля угодила ему в грудь.

— Вызывай скорую! Немедленно! — завопил я в ужасе.

Люда понеслась со двора на улицу к телефону-автомату. Я опустил на колени и стал расстегивать куртку Олега.

— Ну, вот, предсказание сбылось, цыганка не ошиблась. Кажется, они выстрелили метко, — тихо произнес Олег.

— Это все из-за моего упрямства, — сказал я, цепенея, ибо видел, откуда хлестала кровь. Как бывший

На съемках  
сцены перед  
убийством.

Актриса  
Ирен Жакоб  
и режиссер  
Эльдар Рязанов  
←

доктор, я понимал, что дело — дрянь! Господи, какой же я идиот!

— Слушай меня и не перебивай, у меня мало времени... Возьми в кармане пиджака паспорт и билет... — Голос Олега слабел, паузы между словами становились все длинней и длинней. — Паспорт... на мое... и, значит, на... твоё имя... немедленно в аэропорт... улетай... только так... спасешься... у этой страны... нет будущего... беги... это не эмиграция... это эвакуация... бери паспорт...

Под гипнотическим взглядом умирающего я засунул руку в карман пиджака и вытащил паспорт, в который был вложен авиабилет.

— Беги отсюда... прошу... — прохрипел Олег. — Я... сделал... то, что... мне...

Он не договорил. Тело его дернулось и замерло. Я схватил его руку и стал искать пульс, но никак не мог отыскать. Не мог, потому что пульса больше не было. Я машинально посмотрел на часы. Через пятнадцать минут исполнится ровно двадцать четыре часа с момента моей встречи с прорицательницей.

Прибежала Люда:

— Ну, как он?

— Умер...

Люда наклонилась над телом.

— Я вызвала по 03 скорую и по 02 милицию.

— Он специально прикрыл меня от выстрела.

— Я видела...

— Он спас мне жизнь... Ценою своей...

Около нас стала собираться толпа. Люди переговаривались:

— Что случилось?

— Человека убили!..

— Я слышала — стреляли...

— Как стало страшно жить!..

— Я видела, стреляли из машины.

— Преступники совсем обнаглели!..

— На днях священника убили. Топором.

Я протянул паспорт Олега, который до сих пор держал в руке, Люде. Люда машинально положила его в сумку.

— Среди бела дня...

— Какой молодой-то!..

— Рэкетеры, что ли?..

— Жуть, одно слово...

Люда приблизилась ко мне и прошептала:

— Посмотри, как он изменился!

Я уставился в лицо мертвого. Оно, действительно, стало каким-то другим. Что-то неуловимое, необъяснимое случилось с его чертами. Нет, он не стал рыжим, или курчавым, или у него изменился нос, или ввалились щеки. Вроде всё оставалось таким же, но вместе с тем это был лик другого, незнакомого мне человека. То ли смерть так исказила внешность его, то ли проступила иная скрытая личина. Какой-то мистический страх, — чувство доселе незнакомое мне, — пронзил меня. Я снова ощутил, как свешается что-то за гранью моего опыта и понимания.

Первой приехала милиция, а вскоре явилась и скорая помощь. Толпа при виде милицейского газика быстро растаяла, осталось только несколько человек. У Олега, разумеется, не нашли никаких документов. В бумажнике было пятнадцать долларов и около трехсот рублей. Я объяснил милиции, что убитый — молодой автор, который приносил мне для прочтения свою рукопись. Назвался он моим именем и фамилией. Сказал, что и пришел именно ко мне потому, что мы с ним полные тезки. Кто он, откуда — я понятия не имею. Документов у него, разумеется, не спрашивал. Я врал с легкостью, будто кто-то мне суфлировал эту версию.

Милиционеры занесли в протокол, что жертву звали, предположительно, Олег Владимирович Горюнов. Санитар и шофер скорой помощи загрузили труп в машину. Я поинтересовался, куда его отвезут. Они сказали, что в морг больницы имени Склифосовского. Офицер милиции предупредил, что они откроют уголовное дело, и тогда рукопись убитого может понадобиться. Я дал свои координаты, вернее, они списали их с моего паспорта. А паспорт был всегда при мне, ибо без документа с пропиской в городе за последние месяцы ничего нельзя было купить. «Скорая» увезла тело моего спасителя. Опросив свидетелей, отбыла и милицейская команда. Всё это заняло не больше тридцати минут, и мы с Людой остались одни у моей «Волги», которая так и стояла с распахнутыми дверцами. Не сговариваясь, мы сели в машину и захлопнули дверцы.

Меня знобило, я не мог прийти в себя, мне ни-

как не удавалось успокоиться. Я клял себя за идиотский порыв, что выскочил во двор и подставил Олега под пулю. Люда тем временем открыла паспорт моего застреленного двойника и вскрикнула.

— Посмотри, — прошептала она и протянула мне заграничный паспорт.

Я взглянул и оторопел. В документе была наклеена моя фотография. Именно моя, шестидесятилетняя, а не молодая. В графе же «время рождения» был указан мой год — 1928, и на задних листах стояла печать с израильской визой.

— Сейчас одиннадцать часов, — решительно произнесла Люда, — а самолет в двенадцать сорок. До Шереметьева с площади Пушкина можно доехать за полчаса. Трогай. Ты должен улететь этим самолетом. Поговорим по дороге.

— Я никуда не полечу, — резко ответил я.

— Я тебя выпихну насильно. Ты что, придурок? — закричала Люда. — Самоубийца? Кретин? Заводи машину. Скорее. Не трать время.

— Я должен похоронить Олега, — упрямо сказал я. — И не хочу жить без тебя.

— Я сама похороню Олега. Лучше похоронить одного, чем двоих. Должен ты что-нибудь соображать, старый идиот! А если ты не раздумаешь относительно меня, то вызовешь, и я прилечу. Ну, давай же, заводи!

Люда была в иступлении, в бешенстве, в ярости. Потом из ее глаз брызнули слезы:

— Миленький, умоляю тебя... Спасайся... Ты должен уцелеть... Счастье мое, любимый... Поехали... Закливаю...

Это был такой сильный всплеск горя, такой неистовый напор, что я подчинился... Я выехал из арки на Тверскую.

— Давай налево, — скомандовала Люда.

— Запрещено!

— Делай, что тебе говорят! — прикрикнула Люда.

Я повернул налево и промчался мимо обалдевшего гаишника.

— Быстрее, — шептала Люда. — Быстрее!

— Красный свет, — отвечал я, инстинктивно нажимая на педаль тормоза.



— Черт с ним. Жми! Ты не должен опоздать, не имеешь права.

И я пер на красный. Я летел, нарушая правила уличного движения, подгоняемый исступлением и собственным чувством паники, которое вдруг ворвалось в меня.

— Дай слово, что приедешь ко мне!

— Приеду, прилечу, доплыву, дойду, доковыляю, доползу, — говорила она. — Быстрее! Еще быстрее!..

Я бросил машину там, где не положено, у самых дверей, ведущих в пассажирский зал.

— Вот тебе ключи от машины, попросишь кого-нибудь отогнать «Волгу» в город. Возьми также документы на автомобиль. — Мы вбежали внутрь здания аэропорта. — А это ключи от квартиры, будешь жить у меня. Распожрайся всем, как своим. Это и есть твое.

Вдруг я услышал голос аэровокзальной дикторши:

— Пассажир Горюнов! Срочно пройдите к стойке регистрации... Повторяю. Пассажир Горюнов...

Я неожиданно остановился. И вдруг увидел себя, бегущего, со стороны. То смятение, которое навалилось на меня в последние полчаса, вдруг стало уходить. Я огляделся вокруг. Ко мне как бы возвращалось сознание, искаженное доселе ужасом. И в момент, когда паника кончилась, уже холодным, трезвым рассудком я принял окончательное решение: я никуда не улетаю! Я здесь родился, здесь прошла моя жизнь, и я приму все, что выпадет на мою долю. Это моя страна, мой народ, какими бы они ни были. И я разделю общую участь. Я повернулся и направился обра...

### ПОСТСКРИПТУМ

«Я повернулся и направился обра...» Таковы были последние слова, написанные Олегом. В это мгновение там, где Олег писал свою повесть, раздался телефонный звонок, и он, не закончив слова, схватил трубку. Звонила я, Людмила Кирюшина, та самая женщина из Сбербанка. Я считаю, что обязана рассказать о событиях, случившихся после фразы, оборванной моим звонком.

...Олег резко и внезапно остановился, выслушал объявление дикторши и, не говоря ни слова, повернул обратно. Он шел решительным шагом, а я семенила рядом.

— Я не могу уехать. То, что со мной сейчас происходило, когда я поддался твоим уговорам, это как наваждение какое-то! Куда мне бежать? Что я там буду делать? Зачем? И потом, я уверен, если полечу на этом самолете, он взорвется. Такое уж у меня счастье. Зачем же убивать остальных пассажиров?

Я пыталась возражать, оспаривать его решение, но он стал непреклонно спокоен.

— Я встану сейчас на колени перед тобой! — заплакала я и начала приводить это в исполнение.

Он подхватил меня, прежде чем я успела опуститься перед ним, взял под руку и повел прочь из пассажирского зала. На улице он отобрал у меня автомобильные ключи. Весь путь назад я уговаривала его немедленно уехать из Москвы. Пусть не за границу, но сейчас же и куда глаза глядят, туда, где его не знают. К каким только аргументам я не прибегала. Но у меня не было уверенности, что он меня слышал. Мы вернулись в квартиру. Я опять пошла в атаку — призывала его бежать и немедленно! Я боялась очередного, третьего выстрела. Он вяло сопротивлялся, считал, что от судьбы не скроешься. Сказал, что у него нет сил сопротивляться, что он устал жить. Говорил о том, что не знает, кто стрелял, что можно высказывать любые предположения, что охотников на его жизнь оказалось, видно, немало: от моего мужа до боевиков «Памяти», от Поплавского до военных и кагэбэшников. Я хотела его спасти во что бы то ни стало, сохранить, уберечь, защитить. Я любила его и осознавала, что Олега нужно увезти из Москвы как можно скорей. Потом я махнула рукой на его тупой отпор и стала собирать чемоданы с самыми необходимыми вещами. Я не знала, где что лежит, и все время спрашивала его. Во мне вдруг проявилось удивительное самообладание и не свойственная мне обычно собранность. Я понимала, что уехать придется надолго, вероятно, на несколько месяцев. А может, — ситуация в стране была непредсказуемая — и навсегда. На носу зима, поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Пока я укладывалась, все время трезвонил телефон. Я запретила Олегу подходить, а потом попросту выдернула телефонный шнур из розетки. Постепенно Олег вышел из прострации, стал помогать мне, а потом —

вот уж чего не ждала — совершенно неожиданно начал ко мне приставать и повалил на тахту. Честно признаюсь, я не очень-то сопротивлялась. Перед отъездом он хотел кому-то звонить, с кем-то попрощаться, но я ему этого не позволила. Дочь с внучкой были на курорте, а остальные могли подождать. Он покорно слушался. Надо было исчезнуть безо всяких уведомлений. Я чувствовала, что опасность над его головой сгущается. Я не знала, куда мы поедем, но это можно было решить по дороге. Выходили мы из квартиры Олега, как жулики, осторожно озираясь по сторонам. Он оглянулся на обожженную дверь, невесело ухмыльнулся и пнул ногой бутылку из-под бензина. Я оставила его в подъезде, сначала отнесла в машину один чемодан, затем другой. Потом, посмотрев по сторонам, я подала ему знак, и он вышел из парадного. Сердце мое лихорадочно трепыхалось, но он шел к машине нарочито медленно. Как я его ненавидела за эту бессмысленную, якобы, храбрость. Он сел за руль, и мы оставили двор, где в Олега уже дважды стреляли. Он спросил, куда мы едем, есть ли у меня какие-нибудь идеи. Я сказала, что не знаю, что у меня нигде нет родственников. Только в маленьком городке Кашине живет сестра отца, но я с ней тысячу лет не общалась, не виделась, не переписывалась. Он поинтересовался, где находится этот самый Кашин. Я объяснила, что в бывшей Калининской, а ныне Тверской области на границе с Ярославской. Сказала, что это очаровательный древний русский город, который необъяснимо уцелел от большевистского уничтожения, там полно церквей, старинные торговые ряды, но, главное, там есть гостиница.

— Решено, — согласился Олег. — Едем в Кашин. Какая разница. А как быть с твоими вещами?

Я ответила, что попробую позвонить домой. Если мужа нет, то заскочу на несколько минут и схвачу что-нибудь, без чего нельзя обойтись.

— А вдруг он в это время вернется? — обеспокоенно спросил Олег. — Потерять тебя — не входит в мои планы. Без тебя я попросту никуда не поеду.

— Будем надеяться на удачу, — сказала я. — До сих пор нам везло.

— Ты считаешь убийство Олега везением? — укоризненно произнес он.

— Прости, — спохватилась я, понимая, что допустила больше чем бестактность.

В ближайшем телефоне-автомате я набрала домашний номер. Продолжительные гудки были мне ответом. Я ждала довольно долго, но никто не снял трубки. Я позвонила второй раз, но с тем же результатом.

Вскоре мы подъехали к дому, где я жила. Автомобиль мужа около подъезда не было, и я заспешила к лифту. Олега я оставила в машине за углом у соседнего здания и запретила ему высовываться. Откровенно говоря, сердчишко у меня прыгало беспокойно. Я кое-что побросала в чемодан, достала с вешалки шубу. Потом открыла верхний ящик письменного стола, чтобы взять паспорт, ибо у нас без документа не проживешь. Открыла и ахнула. В ящике лежали запечатанные по-банковски пачки денег в пятидесятирублевых купюрах. Там было, на глазок, несколько сотен тысяч рублей. Кто бы знал, какое искушение охватило меня! Я понимала, что нам сейчас очень понадобятся деньги, которые хоть с каждой минутой и теряли свою стоимость, но без них, тем не менее, прожить было нельзя. Я взяла две пачки, потом, поразмыслив, решила забрать только одну (авось, муж не заметит), в которой, судя по упаковке, было тысяч пять. Потом вспомнила лицо Олега и подумала, что он вряд ли бы меня одобрил. Я бросила деньги обратно, схватила паспорт и помчалась к выходу. В одной руке у меня был чемодан, в другой я несла шубу. Олег вышел из машины и заторопился ко мне навстречу, чтобы помочь. Я обругала его, мы быстро запихнули шмотки на заднее сидение и мигом отъехали от опасного места.

— У нас нет денег, — сказал Олег. — Сейчас мы заскочим в сберкассу, и я возьму все, что у меня там есть.

По дороге к Сбербанку Олег рассказал, что пока ждал меня, открыл чемодан младшего Горюнова. Там ничего не было, кроме четырех папок, заполненных машинописным текстом, явно рукописями. Он прочитал один небольшой рассказ, который привел его в восторг. Олег сказал, что это оказалась сильная, мускулистая, жесткая проза, от чтения которой возникает ощущение встречи с крупным писателем. Сказал, что хочет



все прочитать и, если остальное окажется на таком же уровне, то, значит, в России появился новый значительный сочинитель. Сказал, что сделает все, чтобы опубликовать написанное Горюновым...

— Лучше бы меня убили. Я-то уже всё, с ярмарки. А Олег только начинал, мог бы, кто его знает, удивить мир. А он себя подставил под выстрел...

Тут мы остановились около Сбербанка. На этот раз я оставалась в машине. Я заперла на кнопки все двери, чтобы нельзя было открыть снаружи. Около магазина, рядом со Сбербанком, ошивались какие-то мерзкие, угловатого вида типы, а я — трусиха. Пока не было Олега, я вспоминала время, когда работала здесь, вспоминала мое первое впечатление об Олеге. По-моему, я втюрилась в него сразу же. Несмотря на то, что мы сейчас остановились, по сути, беженцами, я чувствовала себя счастливой. Мы, наконец-то, были вместе, наконец, сбилось то, о чем я и мечтать-то не смела. Из Сбербанка выскочил Олег и зашел в магазин. Вскоре он пулей вылетел оттуда, ничего не купив.

— Денег не густо, — сообщил он, усаживаясь за руль. — Я взял аккредитив на три тысячи и восемьсот рублей наличными. Это все наши ресурсы. Хотел что-нибудь купить в дорогу, да где там, в магазине шаром покати. По какому шоссе надо ехать в этот твой Кашин?

Сначала мы катили по Ярославскому шоссе, а в Загорске повернули налево, на Калязин. В Калязине мы полюбовались старинной колокольной, которая торчит прямо из воды посреди искусственного водохранилища. Собор, скорее всего, уничтожили, а колокольня на диво сохранилась. Колокольня, растущая из воды, — зрелище весьма ненормальное и удивительное. А там еще полчасика, и мы въехали в Кашин. Сначала мы направились на квартиру к тетке. Оказалось, что тетка уже год как умерла, и в ее квартире жили посторонние. Может, мне и сообщили о ее смерти по старому, еще маминому, адресу, но я никаких известий не получала.

Мы направились в пятиэтажную типовую гостиницу, и там благодаря известности Олега удалось получить номер из двух комнат, который называется «полулукс». Словосочетание, разумеется, отечественное. В гостиничном номере имелось всё, что необходимо для

жилья — ванная, черно-белый телевизор, холодильник, но вместе взятое это напоминало пародию на апартаменты. Например, умывальник висел очень криво, его устанавливал сантехник, в котором, наверняка, булькало грамм восемьсот — выражение Олега. Кафель в ванной укладывал плиточник-абстракционист, столь неровно и причудливо, что на выставке авангарда кусок стены мог бы отхватить главный приз. На убогой мебели на самых видных местах, были прибиты жестяные овалы с инвентарными номерами. Обои наляпали люди, явно нетвердо стоящие на ногах. Когда мы въезжали в полулукс, ставший нам приютом почти на два месяца, Олег произнес небольшой монолог. Я запомнила его смысл. Он говорил, что в молодости, когда начал писать, то считал народ чем-то святым. Народ в целом, по его мнению, не мог быть неправ, народ в целом всегда безгрешен, что художники в долгу перед народом. Он сам себя всегда считал частью народа, ибо жил его жизнью, интересами, бедами, разделял долю соплеменников. Но потом — это пришло к нему, как откровение — он понял, что понятия «советский народ» не существует. Люди, родившиеся при этой власти и воспитанные ею, разучившиеся работать, разложившиеся от алкоголя, умеющие только доносить и убивать, грабить и делить — это не народ. Это толпа, сборище, быдло. Мы, говорил он, бывший народ. Но у нас, как в любой огромной невозной жижке, можно найти и бесценные самородки.

Олег сразу же засел за работу — ему не терпелось написать эту повесть. Я же занималась бытом и хозяйством — доставала продукты, бегала на рынок, стояла в очередях. Удалось купить подержанную электроплитку, выпросить у гостиничной дежурной кастрюлю и сковородку. Кипятильник, по счастью, захватили с собой. В ванной я стирала — это приходилось делать весьма часто, так как белья оказалось мало. Утром я приносила газеты, а вечерами мы смотрели телевизор. Вести все были мрачные, безысходные. Нарастал террор, межнациональный и просто преступный. Все более жестокой становилась уголовщина. Стреляли седьмого ноября на Красной площади, убивали милиционеров, прицельно палили по журналистам. По стране метались раздетые и разутые беженцы. Западные страны, в том числе и



побежденные нами, стали слать великой державе продовольственные поправки, как будто у нас прокатилась разруха и война. Черные силы во главе с коммунистами оправились и перешли в наступление. Радикалы, парализованные саботажем, выясняли, как всегда, отношения между собой. Вагоны не разгружались. Москве и Ленинграду провинция объявила блокаду. Каждые три дня молодые парни, угрожая бомбами, угоняли самолеты в Швецию и Финляндию. Президент издавал бесполезные указы, депутаты произносили бесполезные речи. Республики отваливались. Тот, кто представлял хоть малейшую ценность, оседал на Западе. Хаос, катастрофа, бардак, безвластие, безверие, отчаяние. Настроение у Олега от всего этого было подавленное. И только за письменным столом он отвлекался от беспросветных мыслей.

Перед сном Олег читал мне написанное за день. Гостиницу населяли в основном усадые люди с Северного Кавказа. Думаю, номера им предоставляли за солидные взятки. Вообще в Кашине почему-то было довольно много кавказцев, которые не то работали, не то спекулировали, а может, делали и то и другое. Между ними и местным населением часто возникали потасовки и поножовщина из-за девушек, по пьянке и просто потому, что местным парням не нравились нахальные приезжие, которые держали себя как хозяева жизни. Мы вечерами не выходили из нашего полулюкса. Три раза я ездила в Москву на поезде — Олег подвозил меня к вокзалу и возвращался работать. Он рвался в Москву сам, но я стояла насмерть.

В первый раз я поехала в Москву где-то дней через семь после нашего прибытия в Кашин. Он наказал мне узнать, где похоронили младшего Олега. Для этого он велел заехать в морг больницы имени Склифосовского, куда увезли тело, и выведать, на каком кладбище оно покоится. Это было не единственное поручение. Еще надо было завезти статью в редакцию к Егору Яковлеву. Статья, помню, называлась: «Пора брать Бастилию». В ней говорилось, в частности, о том, что для того, чтобы начинать заново, надо сначала уничтожить, снести символ прежней власти. Во времена Французской революции таким символом слыла Бастилия, в наше вре-

мя — огромное здание, стоящее позади памятника железному Феликсу. Кроме того, мне было поручено зайти к Олегу домой и захватить кое-какие вещи и книги.

В морге больницы имени Склифосовского проверили записи и сказали, что в тот день, который я назвала, покойник с такой фамилией у них не проходил. Тогда я попросила проверить, на всякий случай, несколько последующих дней. Человек с фамилией Горюнов в их книгах не значился, такого не хоронили. Обескураженная, я позвонила с почтамта в Кашин. Олег посоветовал обратиться в городской ЗАГС, в отдел регистрации смертей, наверное, такой там существует. Я поехала туда, но тоже безрезультатно. Было еще одно место, куда можно было бы адресоваться — милиция. Но туда сунуться я побоялась. Тем более у меня вдруг возникли подозрения, ни на чем не основанные, что и в милиции также не окажется никаких данных. Когда я вернулась в Кашин, Олег встречал меня у поезда. У него был вид крайне обескураженный. Я доложила ему, что и в городском ЗАГСе нет сведения об убитом человеке с его фамилией. И тогда он поведал мне, что после моего звонка решил прочитать все литературное наследие младшего Олега. Он открыл чемодан, достал папки, но вместо листов с текстом там оказались чистые нетронутые страницы. И куда-то пропал заграничный паспорт. Олег перевернул вверх дном комнаты, но документ исчез. Вот и не верь после всего этого в нечистую, вернее, в данном случае, в чистую силу. Объяснить ни появление второго Горюнова, ни исчезновение следов его существования мы не могли, хотя часто беседовали об этом. Коллективных галлюцинаций не бывает, так что двойник Олега не был миражом, фантазией, призраком. В этом мы не сомневались. Но понять, кто его послал, откуда он возник, что означала его последняя неоконченная фраза: «Я сделал... то, что... мне...»? Чего он не успел сказать: «велели, приказали, разрешили»? Так это и останется тайной, загадкой, чем-то необъяснимым...

Второй раз я ездила в Москву, когда кончились деньги. Олег попросил меня взять в его квартире японский двухкассетник «Саньо» и продать его. Поручение я выполнила. Около комиссионки какие-то расторопные узбеки дали мне за него три с половиной тысячи.



Кроме того, я привозила почту, отправляла из Москвы его корреспонденцию. Каждый раз он встречал меня на Кашинском вокзале нежно, с цветами и глазами влюбленного мальчика. Когда я поехала в столицу третий раз, то узнала страшную новость. Его дачу сожгли. Я поехала туда. От дома остались только закопченные кирпичные стены. Крыша провалилась. На меня смотрели черные пустые обгоревшие окна-глаза. Опаленный огнем скрючившийся холодильник походил на иллюстрацию к теме, что будет после атомной войны. Сгорели полы, перекрытие между этажами. Пламя сожрало несколько елок, стоявших близко к зданию. Разруху и уныние подчеркивали тающий снег на черных балках, рухнувших вниз, каркающие вороны, сгоревшие книги, какая-то разбросанная по грязному снегу рухлядь, тронутая огнем. Я постояла на пепелище и пошла прочь. Я была никто, я ни к кому не могла обратиться, не имела права. На вопрос: «Кем вы ему приходитеесь?» — я ничего не могла бы ответить. Я решила позвонить Олегу, но не хотела делать это из его квартиры, — боялась, что телефон прослушивается. Я поехала на центральный телеграф и сообщила Олегу о том, что случилось. Он сказал, что немедленно выезжает. Я пыталась его отговорить, но это было безуспешно. Я умоляла его остаться в Кашине, но он не желал меня слушать. Велел, чтобы я ждала его дома. Весь период, прошедший со времени нашего внезапного бегства из Москвы, Олег рвался обратно. Для него было унижительным скрываться, прятаться, быть в подполье. Он все время хотел продемонстрировать мне, что он не трус. И единственное, что примиряло его с таким существованием, моя фраза: «Представь, что ты уехал в Дом творчества, чтобы работать. Здесь тебе никто не мешает, и нет никаких дел, кроме повести». Тут он, скрепя сердце, подчинился. От Кашина до Москвы езды на машине было около пяти с половиной часов. Еще за полчаса до его возможного приезда я вышла во двор, чтобы встретить его. Когда я приезжала в Москву и ночевала в его квартире, то не зажигала в ней света. Я подозревала, что за квартирой, может быть, следят, ибо, помимо предсказания, два выстрела были убедительными аргументами по поводу грозящей ему смерти...

Через два дня после возвращения Олега из Кашина он погиб. Вот как это случилось. Он вышел из дома во двор на несколько минут раньше меня — разогреть двигатель машины. Стоял декабрь, но морозы были еще не столь сильные. А я ставила квартиру на охрану. Когда я спускалась по лестнице (лифт опять не работал), я услышала гулкий резкий звук на дворе. Дурнота, страшное предчувствие нахлынуло на меня. Я, кажется, закричала и побежала вниз. Когда я вылетела во двор, Олег протирал от снега лобовое стекло машины. Увидев меня, он улыбнулся, а я с каким-то нечленораздельным хрипом уткнулась ему в лицо. Рыдая, я пыталась объяснить чего испугалась, а он, перебирая волосы, гладил меня по голове, объясняя, что на соседней стройке сбросили с траллера рельсу, а я этот звук приняла за выстрел. Постепенно я успокоилась, и мы поехали. По дороге он подбросил меня к парикмахерской, а сам отправился навещать дочь и внучку, которых давно не видел. Я постояла на тротуаре, пока он не отъехал. Он помахал мне рукой, а я незаметно перекрестила его. Я это сделала впервые в жизни. Мы распрощались с ним около двух часов дня, а к шести вечера он обещал вернуться домой. Я оказалась дома около пяти и принялась за стирку. После шести я начала беспокоиться. Я выскочила во двор и стала нервно расхаживать по территории. Время тянулось издевательски медленно. Около семи я решила позвонить его дочери, но поняла, что мне неизвестен номер телефона. Я знала, что дочь замужем. Для того, чтобы разведать телефон через справочное, надо было как минимум знать фамилию ее мужа. Или, в крайнем случае, точный адрес. А я, конечно, не знала. Время ползло к восьми. Меня охватил страх. Ужасные картины расправы с Олегом вторгались в мое сознание, хотя я отгоняла их. Я не знала, что предпринять. Я опять выбежала на улицу и начала кружить около дома, как раненый зверь. Олег не появлялся. Я побежала наверх и стала названивать милиционерскому дежурному по городу. Он ответил, что данными о Горюнове не располагает. Я схватила большой телефонный справочник «Москва» и стала искать телефоны моргов. Их оказалось около десяти. Методично, один за другим, я набирала номер за номером. В каких-



то моргах никто не подходил, а в остальных отвечали, что покойник с такой фамилией у них не числится. Потом я испугалась, что телефон у меня все время занят, а вдруг Олег пытается дозвониться домой и не может. Я села около телефона и стала ждать звонка, не сводя глаз с аппарата. Но стояла мертвая тишина, телефон молчал. Наконец раздался громкий звонок. Я рванула трубку. Звонили из еженедельника «Столица» с просьбой дать какой-нибудь рассказ для публикации. Я попросила позвонить завтра.

Время перевалило за девять. От Олега ни слуху, ни духу. Я уже не сомневалась, что эти подонки убили его. Иначе он обязательно позвонил бы. Он, зная мой страх за него, обязательно добрался бы до телефона. Он где-то лежит, либо мертвый, либо беспомощный, нуждающийся во мне, а я ничего не знаю, ничего не могу сделать. И тут со мной началась истерика — я редела, выкрикивала какие-то ругательства, обращалась с просьбами к Богу, каталась по полу. А потом как-то безучастно затихла, сознание будто отключилось и вяло текло где-то в стороне от меня, помимо моей воли. Долго ли я пробыла в полубесчувственном состоянии — не знаю. Вдруг оглушительно зазвонил телефон, и я, как сумасшедшая, схватила трубку. Звонили из больницы Склифосовского. Минут тридцать назад Олега подобрали в подземном переходе, где он лежал без сознания. Сказали номер отделения и палаты, куда его поместили.

— Как он, как самочувствие? — крикнула я.

— Тяжелое — ответил женский голос и трубку повесили.

Было без двадцати двенадцать. В каком-то сумбуре чувств, когда отчаяние перемежалось с надеждой, на перекладных, где на троллейбусе, где бегом, я добралась до больницы. У меня, наверное, был безумный вид, ибо меня пропустили беспрепятственно. Я поднялась на лифте и стала беспорядочно, бестолково искать номер палаты. Когда я остановилась у нужной двери, меня колотило от озноба. Я постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. На трех койках лежали какие-то незнакомые мужчины, четвертая кровать была пуста.

— Здесь должен быть больной Горюнов, — хриплым, потухшим голосом произнесла я.

— Писатель, что ли? — спросил один из больных, а другой пациент поднялся на локте и сказал сочувственно:

— Он на этой кровати лежал. Минут десять назад его увезли... И после паузы добавил: — В морг.

А другой объяснил диагноз:

— Переохлаждение организма.

У меня подогнулись колени, и я опустила перед его койкой, перед его последним пристанищем.

А потом я увидела его в морге.

Позже врач из приемного отделения и дежурный по клинике рассказали мне, что произошло.

Олег упал в подземном переходе где-то около пяти часов вечера. Лежал он, к несчастью, лицом вниз, иначе его кто-нибудь опознал бы. Около шести часов подряд он пролежал в людном месте. Это было, в том числе и в час пик, когда подземный переход переполнен. И никто, ни один человек, ни один из тысяч, не склонился над ним, не спросил в чем дело, не предложил оказать помощь. Его брезгливо обходили, как пьянчугу, упившегося до скотского состояния. В нескольких шагах от лежащего молодые люди и девушки торговали эротической литературой и похабными картинками, а на соседнем ларьке предлагали всяческую клубничку про похождения наших политических лидеров. Никто из продавцов не обеспокоился тем, что в декабре на асфальте несколько часов подряд лежит и замерзает человек. Даже если он пьяный.

— Отчего он упал? — спросила я. — На теле есть следы удара или рана?

— На голове сильный ушиб, — сказал доктор. — Но определить, что это — результат падения или же нанесения удара — очень трудно. Здесь должен разбираться врач-криминалист.

— След от ушиба спереди головы или сзади?

— Рана на затылке. Там в переходе — ремонт. Мог споткнуться, упасть навзничь, удариться о камни, железки.

— Когда он умер?

— Его привезли к нам еще живого, но совершенно окоченевшего. Смерть наступила не только от травмы, но и от переохлаждения организма. Сделать уже ничего было нельзя, поверьте нам.



Всю ночь я просидела в подвале, в коридоре у двери морга. Утром пришел патологоанатом. Вскрытие делалось в присутствии врача-криминалиста. Они признали, конечно, что травма на голове — это не доказательство покушения, не следствие нанесенного кем-то удара, а естественный результат, возникший от падения. Ударившись о камень или что-то железное, Горюнов, очевидно, упал и потерял сознание. Я понимала их. Зачем милиции вешать на себя бесперспективное дело?

Мне отдали вещи Олега, и я вышла на Садовое кольцо. Первым делом я добралась до подземного перехода, где он упал. Действительно, там был навал камней, плит и железных труб, а рядом заджинсованное племя «младое и незнакомое» шустро торговало всякой похабщиной. Около них толпились люди, разглядывая картинки половых органов и разных способов любви — то, что еще недавно нашему человеку было в диковинку. Покупали, несмотря на лихие цены, бойко. Я попыталась расспросить их о вчерашнем инциденте, но им было не до меня. А когда я принялась выговаривать торгующей девице, мол, как они могли допустить, что рядом с ними замерзал человек, то она на меня попросту поперла:

— Че те надо? Че привязалась? На работе мы, ясно? Нам не до пьяни всякой. Пусть менты ими занимаются.

Я отскочила от нее, понимая, что тратить время на это отребье бессмысленно. Я поднялась наверх. Недалеко от перехода стояла машина Олега. Очевидно, место для парковки около дома дочери он не нашел и поставил машину на другой стороне площади. Я открыла дверь, положила на сидение сверток с его вещами и села за руль. Я долго сидела. Обрывки мыслей, воспоминаний, отдельные картинки про самое разное, не связанные друг с другом фразы беспорядочно пробегали в моем воспаленном сознании. Вспомнились любимые строчки Олега, которым надо было следовать как завету, выполнять их как святую заповедь:

С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь, —  
Всей кровью проращайте в них.

И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь,  
Когда уходите на миг.

В свое время Геннадий научил меня водить машину, и я двинулась вперед, еще не зная куда. Я остановила «Волгу» около отделения милиции, поблизости от дома Олега. Там я нашла следователя и заявила о покушении и убийстве писателя Горюнова. Милиционер, который сначала отнесся ко мне со вниманием и серьезностью, по мере моего рассказа, где я упоминала о покушениях, поджоге квартиры, о двойнике, все меньше и меньше сомневался в том, что перед ним особа, которая, несомненно, рехнулась рассудком. На вопрос, кем я прихожусь «убитому», я после паузы ответила: «Знакомая».

— Ясно, — ответил следователь. — Разрешите Ваш паспорт, я спишу данные. На первый же допрос мы Вас вызовем.

Но я понимала, что никаких допросов не будет. Хотя, кто его знает. Может мне и присылали повестку, но я больше никогда не бывала в доме, где раньше проживала.

Уходя из милиции, я постаралась сказать следователю с максимальной убедительностью:

— Поверьте, я не сумасшедшая. Я просто люблю этого человека и знаю — его убили.

— Сделаем всё, что в наших силах! — сочувственно ответил милиционер, но на его лице я ясно читала: «Господи, когда же ты уберешься отсюда со своей манной подозрительности!».

— Спасибо, — безнадежно сказала я и, съевшись, ушла.

Я въехала во двор, поставила машину на то место, куда ее обычно ставил Олег, и поднялась в последний раз в его квартиру. В квартире надрывно звонил телефон. Я машинально сняла трубку. Спрашивали, разумеется, Олега. Я спросила:

— С кем я говорю?

— Это его дочь. А я с кем говорю?

— Катя, — сказала я, — Вы меня не знаете. Про-



стите, что я сообщаю Вам страшную новость, но Вашего отца вчера вечером убили...

— Кто вы такая? — оторопело крикнула Катя.

Но я повесила трубку. Телефон снова трезвонил, но я была занята — раскладывала вещи Олега, отданные мне в больнице.

Ключи от машины и документы я положила в ящик письменного стола, костюм почистила и повесила в шкаф, рубашку бросила в корзину с грязным бельем. Потом я собрала в сумку свои немногочисленные шмотки, а из его вещей взяла фотографию да толстую рукописную тетрадку со стихами. Потом на секунду присела, оглянувшись напоследок, и подошла к телефону — ставить квартиру на охрану. И ушла навсегда...

Я не могла остаться в его доме. В качестве кого? Да, я была его женой, но нелегальной, подпольной. Я никому не смогла бы объяснить, как и почему я оказалась в его квартире. О моем наличии не подозревал никто из его близких: ни родные, ни друзья. Секретность наших отношений из-за стремительного бегства из столицы оказалась абсолютной. Я вроде бы и существовала, но по отношению к человеку, которого любила, меня как бы и не было. Три следующих дня оказались каким-то непрерывным кошмаром. Я казнила себя, что, может, Олег пал жертвой мстительной натуры Геннадия. Наводила справки, но муж, кажется, был в отъезде. Я ночевала у приятельницы, но ни в одну из этих страшных ночей не могла забыть ни на мгновение. Мне не с кем было поделиться, не существовало человека, которому я могла бы выплакаться, хотя вряд ли это облегчило бы мое горе.

В газетах появились некрологи. У нас для убиенных не жалеют пышных слов. А потом состоялись похороны. Гроб с его телом установили в Центральном доме литераторов. Пришло много людей, очередь проститься стояла на улице. Около мертвого суетились родственники — дочь, пасынок, младший брат, известные артисты и артистки, депутаты, писатели. Может быть, среди тех, кто стоял в почетном карауле, был и убийца. Говорились речи, перечислялись заслуги. А в толпе стояла я, окаменевшая от несчастья и непоправимой обиды, что не могла наедине попроситься с любимым. Среди всех,



кто толкался вокруг гроба, я была ему самым близким, самым преданным человеком. На Кунцевском кладбище, где ему отвели место, я подошла последней и крепко поцеловала его в ледяные мертвые губы. Потом, когда все уехали, дул ветер, и я долго сидела одна у свежей могилы и, монотонно покачиваясь, бормотала какие-то прощальные слова. Не знаю, сколько я просидела, не чувствуя ветра и холода, в темноте. В декабре темнеет рано. Кладбищенский служитель, проходя, сказал, что сейчас закроют ворота, и я бесчувственно поплелась к выходу.

Я вернулась на поезде в Кашин. Там в нашем полуплюксе на столе лежала незаконченная рукопись. Ко мне в гостинице относились хорошо и не стали выселять сразу же. Я решила написать окончание повести, изложить то, что случилось потом. Я посмотрела все его стихи и решила добавить их к повести. Те стихи, которые как-то совпадали с последними мыслями и настроениями Олега. Некоторые из них были опубликованы раньше, другие еще не печатались. Кое-что из лирики было посвящено мне, но большая часть, как я поняла, Оксане. А потом я собрала вещи и поехала в Москву, не зная куда. У меня не было дома, не было работы, не было денег, а, главное, все лучшее оставалось в прошлом. Но у меня была цель — напечатать его повесть... И, кроме того, доктор сказал, что у меня будет ребенок.

Ради этого я, несмотря на страшное время, как-нибудь проживу...

*Москва. 1990 год*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОВЕСТИ И ФИЛЬМУ «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

С сентября до конца декабря 1990 года шли труднейшие съемки «Небес обетованных».

Обычно, когда снимаешь картину, сил на какие-либо другие работы не остается. Съемки поглощают всю энергию, заложенную в организме. Но, очевидно, когда я снимал «Небеса обетованные», в меня как бы вдунули дополнительную мощь. Именно в эти же месяцы, когда снималась труднейшая лента, я по субботам и воскресеньям писал повесть «Предсказание». И к Новому, 1991 году закончил ее. Я не собирался параллельно со съемками сочинять еще прозу. Это вышло как бы само собой. Сюжет, вылупившийся из моего стихотворения «Встреча», как-то обосновался внутри меня, жил и развивался, невзирая на мою остальную деятельность, в частности режиссерскую.

Вот это стихотворение:

### **ВСТРЕЧА**

После ливня летний лес в испарине.  
Душно. К телу липнет влажный зной.  
Я иду, а мне навстречу парень,  
он — черноволосый и худой.

Он возник внезапно из туманности  
со знакомым, близким мне лицом.  
Где-то с ним встречался в давней давности,  
словно с другом, братом иль отцом.

Время вдруг смутилось, заколодилось,  
стасовалось, как колода карт...  
На меня глядела моя молодость,  
это сам я сорок лет назад.

Головой кивнули одновременно,  
посмотрели пристально в глаза.  
Я узнал родную неуверенность,  
о, как мне мешали тормоза!

На меня взирал он с тихой завистью,  
с грустью я рассматривал его.  
В будущем его, я знал безжалостно,  
будет всё, не сбудется всего.

Он застенчив, весел, нет в нем скрытности,  
пишет безысходные стихи.  
Я провижу позднее развитие,  
я предвижу ранние грехи.

Будут имя, фильмы, книги, женщины.  
Только всё, что взял, берешь ты в долг.  
И когда приходит время сменщика,  
то пустым уходишь в эпилог.

Главное богатство — это горести,  
наживаешь их из года в год!  
Что имеет отношение к совести,  
из печалей и невзгод растет.

Он в меня смотрелся, словно в зеркало,  
отражение было хоть куда.  
Лишь бы душу жизнь не исковеркала,  
если что другое — не беда.

Слушал он, смеялся недоверчиво,  
сомневался в собственной судьбе.  
Прошлое и нынешнее встретились!  
Или я немного не в себе?

Попрощались мы с улыбкой странною,  
разошлись и обернулись вслед.  
Он потом растаял за туманами,  
будто его не было и нет.

Только капли россыпями с дерева  
шлепаются в мокрую траву...  
Мне, пожалуй, не нужна уверенность,  
было ли все это наяву.

*Под стихотворением дата: 26 июля 1985 г.*

Пять лет, что прошли с момента создания стихотворения до момента начала писания повести, не прошли даром. Мистический странный случай оброс сюжетом, характерами персонажей, а главное, погрузился

в тревожное, беспокойное время. Реалии девяностого года стали той атмосферой, в которой протекало действие. Я писал повесть «Предсказание» так же, как Роберт Льюис Стивенсон сочинял свой шедевр «Остров сокровищ». Нет, я не сравниваю таланты авторов или же качество книг. Преобладание (и огромное) великого шотландца для меня неоспоримо. Просто случились некие похожести. У Стивенсона заболел пасынок, и писатель, сам, кстати, хворавший, сочинил в утешение мальчику первую главу «Острова сокровищ». Тому очень понравилось, и он попросил отца продолжать книгу. После каждой новой главы ребенок спрашивал писателя, а что же будет дальше с героями. Но автор не знал, и так, сочиняя для больного ребенка приключенческую сказку, Стивенсон доковылял до конца.

Закончив первую главу «Предсказания», я прочитал ее своей жене Нине. Нина, которая работала профессиональным редактором, на похвалу обычно была не слишком-то щедра... Однако в этом случае она сказала, что ей очень нравится, и спросила, а что приключится с героями в дальнейшем. Я ответил, что знаю кое-что, но довольно смутно. Нина сказала, что я должен продолжать. И вот каждую субботу и воскресенье (откуда только брались силы?! ) я корпел над сочинением. Потом прочитал ей вторую главу. И снова одобрение единственного слушателя, пользующегося моим полным доверием, было безоговорочным. Похвала близкого человека, единомышленника, соучастника всех последних работ, имела для меня огромное значение. И, несмотря на чудовищную усталость от съемок, я по выходным, как настоящий графоман, склонялся за письменным столом над рукописью. Так постепенно я дошел до последней страницы. Как раз к тому же времени, когда закончил съемки «Небес обетованных». Прочитав повесть, я решил, что «Предсказание» — чистая проза, которая экранизации практически не поддается. Так что фильм по ней я делать не намеревался. Это случилось в конце декабря девяностого года. В середине января следующего года я отдал рукопись повести в журнал «Юность». Взяли читать. Через месяц отнес «Предсказание» в «Огонек».

При журнале существует издательство, которое печатает «читательскую» литературу. Редколлегия озна-





комилась с повестью быстро. Главный редактор журнала Л. Гущин сказал, что повесть понравилась и принята. Однако в данный момент у издательства трудности с бумагой, надо подождать. В «Юности» продолжают читать.

В марте в «Огоньке» продолжались трудности с бумагой. В «Юности» читают. (Притом что главный редактор журнала Андрей Дементьев — друг и сосед по даче.)

В апреле трудности с бумагой в «Огоньке» не кончились. В конце апреля Андрей Дементьев сказал, что «Предсказание» ему понравилось, что «Юность» будет печатать ее, но не раньше первого номера следующего года, ибо весь 91-й год занят прозой Василия Аксенова.

В мае поехал в Харьков. Состоялась так называемая творческая встреча. Потом показал в первый раз «Небеса обетованные». Прием фильма замечательный. Выступая перед фильмом, рассказал, в частности, и о новой повести. Поведал и об «Огоньке» и о трудностях там с бумагой. Тут же из зала пришла записка: «Хотите, мы напечатаем Вашу повесть». И прилагался телефон Харьковского издательства. Я вернулся в Москву. Очередной раз осведомился о положении с бумагой в «Огоньке». По-прежнему бумаги не было. Тогда я позвонил в Харьков. Через два дня прикатил Геннадий Леонидович Романов — генеральный директор предприятия «Жизнь и компьютер». Высокий, молодой, энергичный, очень приятный. За день прочитал повесть, тут же принял решение об издании книги и увез рукопись в Харьков. Один молодой режиссер с «Мосфильма» попросил отдать ему повесть для экранизации. Я отдал и обещал, что, если он найдет продюсера, я напишу по повести сценарий.

20 августа. Путч. 28 августа, через неделю после подавления путча, в зале парламента состоялся просмотр «Небес обетованных» для защитников Белого дома. Этот день стал, может быть, одним из лучших в моей биографии. Зал наэлектризован. Фильм смотрели бурно, возбужденно. Зрительские реакции выражались выкриками, смехом, аплодисментами. А после фильма начался своеобразный импровизированный митинг. Встреча единомышленников. Картину защитники Белого дома восприняли как своего рода предсказание, пророчество. Люди, заслонившие демократию от гибели, выска-

С кинооператором Валерием Шуваловым  
 ←

кивали из партера на сцену. Звучали опьяняющие, горячие речи. Там были парни из разных городов России. Меня сделали членом многих отрядов, обороняющих в те героические дни свободу, подарили значки, эмблемы, фотографии. Невероятное чувство братства, единства, победы спланивало нас в этот день. Шла телевизионная съемка для «Кинопанорамы», которую вела редактор передачи Ирен Лесневская. Вскоре наши жизни будут связаны совместной работой, в РЕН-ТВ. А потом, чего греха таить, выпили и закусили. Двадцать восьмого августа я испытал чувство счастья, несказанную радость творца. Тот просмотр врезался навсегда в мою благодарную память как одно из самых значительных событий моей жизни.

В октябре случился кинофестиваль в Вене. Милый, веселый, легкий фестиваль. Я показывал «Небеса обетованные». Но вспомнил я о поездке в Вену, потому что увидел там фильм Кшиштофа Кислевского «Двойная жизнь Вероники». Главную роль в этой ленте играла молодая французская актриса Ирен Жакоб. И Нину, и меня Ирен пленила сразу, с первых кадров. Прелестное, чистое, доброе лицо, складная девичья фигурка, лукавство, задор, незаурядное актерское мастерство (кстати, за роль Вероники Ирен Жакоб получила приз «За лучшую женскую роль» на престижнейшем кинофестивале в Каннах), — весь облик светился искренностью и очарованием. Я тогда подумал: «Вот если снимать «Предсказание», то артистки на главную женскую роль лучше, чем Ирен Жакоб, не найти». Но я в этот период вовсе не намеревался экранизировать свою повесть.

А молодого режиссера, намеревавшегося снять фильм по «Предсказанию», «динамили» разные продюсеры. Фильм не наклеивался...

... В 1992 году состоялась ретроспектива моих фильмов в Париже с 4 по 11 марта в кинотеатре «Энтрепро». К этому времени молодой режиссер, которому я отдал для постановки повесть «Предсказание», все еще не нашел продюсера. И я решил, что, пожалуй, надо попробовать осуществить экранизацию самому. Но полной уверенности, что это надо делать, у меня еще не было. Уверенность появилась после знакомства с Ирен Жакоб. По приезде в Париж я поинтересовался, где сей-

час Ирен Жакоб. И нельзя ли ее пригласить на открытие ретроспективы, которая начиналась фильмом «Небеса обетованные». Оказалось, Ирен в Париже и с удовольствием вечером придет. Перед началом сеанса я познакомился с очаровательной артисткой. Я сказал ей немало искренних добрых слов по поводу ее роли в «Двойной жизни Вероники», сказал, что у меня есть проект и что я был бы счастлив работать вместе с ней.

После сеанса Ирен высказала мне свое мнение о фильме. Картина ей очень понравилась. Далее она добавила, что хотя очень разборчива и редко дает согласие на съемки, но в данном случае она обещает сниматься у меня.

Признаюсь, я не придавал серьезного значения ее словам. Я за свою жизнь наслушался немало комплиментов. Однако на следующий день я снова увидел ее среди зрителей. Она приходила каждый день и посмотрела все восемь фильмов моей ретроспективы. Тут я понял, что Ирен — девушка серьезная и слов на ветер не бросает.

После окончания ретроспективы Ирен подтвердила желание работать вместе. И просила как можно скорее прислать сценарий. А сценария-то не было, существовала только повесть. И тут я постановил для самого себя окончательно, что буду снимать картину. Согласие Ирен подтолкнуло меня к решению.

Позже, уже во время съемок, Ирен пооткровенничала со мной. Она сказала, что в марте у нее был тяжелый личный кризис, и мои фильмы, которые она посмотрела в парижском кинотеатре, помогли ей выйти из трудного душевного недомогания. Рецензия, пожалуй, для меня самая дорогая.

По возвращении в Москву сразу же уселся за работу над сценарием

В апреле, прервав работу над сценарием «Предсказание», на одну неделю уезжал в Мадрид на кинофестиваль. «Небеса обетованные» получили главный приз «За лучший фантастический фильм». Принимая приз, я не мог удержаться от смеха. Картина, с болью и горечью рассказывающая о наших бедах, о тяжелой жизни, о нищих, об обиженных системой людях, была воспринята на Западе как элегантная фантазия русского режиссера. Но все равно было приятно.

В мае окончил работу над сценарием и отдал его на перевод на французский язык.

Вскоре пришел ответ от Ирен Жакоб с окончательным согласием сниматься. Мало того, она начала учить русский, чтобы играть роль на русском языке. Начались поиски французской фирмы для коопroduкции, ибо нет денег, нужна импортная пленка «Кодак», гоноرار Ирен надо платить в валюте, требуются средства для обеспечения трех-четырёх дней съемок в Париже и т.д. Так как главная мужская роль складывалась из усилий двух исполнителей (один и тот же герой в двух возрастах: около тридцати лет и около шестидесяти), то пробы на похожесть, на «совместимость» оказались необходимы. На роль старшего Горюнова сразу же утвердили Олега Басилашвили. После совместной пробы Олега Валериановича с Андреем Соколовым был найден и молодой двойник.

О том, как сложно, неудачно, порой унизительно искали мы французского партнера, рассказывать не стану — вспоминать противно. Перейду сразу к тому, что наконец сценарием заинтересовался патриарх французского кино, человек русского происхождения, знаменитый продюсер Александр Александрович Мнушкин. Нашим партнером стала французская кинофирма «Фильм Пар фильм», которую возглавлял Жан-Луи Ливи, кстати, племянник Ива Монтана, вторым французским продюсером был Мнушкин.

В октябре начались съемки картины «Предсказание» — трудные, бесплотовые, мучительные. Разваливался на куски Советский Союз, разрушалось и кинопроизводство. То, что делалось раньше само собой, сейчас требовало от киногруппы героических усилий.

Приехала Ирен Жакоб. Она попросилась приехать на две недели раньше до начала ее съемок. Ей хотелось пожить в обычной русской семье, включиться в быт, поизучать нашу жизнь, познакомиться с тем, как существуют в своей стране русские люди. Она хотела понять свою героиню так, чтобы сыграть ее без иностранного акцента. Желание для западной актрисы довольно необычное. Ирен Жакоб вообще не укладывалась в стереотипы, бытующие о кинозвездах. Она живет напряженной духовной жизнью, любит серьезную музыку.

ку, много читает, участвует в благотворительных спектаклях для бедняков, помогает клошарам, дружит с пожилыми священниками. В ней нет ни грана дешевки, никакого современного налета. Она как бы женщина вне времени. Работать с ней было легко. Мы понимали друг друга абсолютно. Она упрямилась только тогда, когда считала, что сыграла недостаточно точно. Тут она требовала дополнительных дублей и была в этом крайне настойчива. Играла она, естественно, на русском языке. Причем это не было попугайским заучиванием роли, она вполне недурно разговаривала по-русски. Об Ирен Жакоб я могу говорить только восторженные слова — она удивительная, совершенная, трогательная женщина и актриса.

Прекрасно работали Олег Басилашвили и Андрей Соколов. Не подкачали и Алексей Жарков, Роман Карцев, Александр Пашутин. Актеры, как всегда, оставались моими самыми близкими соратниками.

В декабре съездили на четыре дня в Париж, где снимали воспоминания Горюнова. Его умершую жену играла жена продюсера актриса Каролин Сиоль, причем тоже на русском языке.

19 декабря состоялась церемония вручения приза «Ника» — профессионального приза Союза кинематографистов. «Небеса обетованные» выдвинуты по семи номинациям. В результате голосования наши взяли шесть «Ник». Александр Борисов и Сергей Иванов получили приз как лучшие художники года. Юрий Рабинович и Семен Литвинов — лучшие звукооператоры года. Андрей Петров — лучший композитор года. Лия Ахеджакова — лучшая актриса второго плана. (Почему? Ахеджакова играла в фильме главную роль. Кто отнес ее работу в разряд эпизодических ролей? Как всегда, нет ответа.) Эльдар Рязанов — лучший режиссер года.

Лучший фильм года — «Небеса обетованные».

Очень горжусь этими призами. Получить одобрение коллег труднее всего...

В апреле 1993 года завершились работы по «Предсказанию». Монтаж, озвучание, запись музыки, перезапись. Замечательно работала Анна Каменкова, дублируя Ирен Жакоб. Ирен играла по-русски, но акцент все-таки оставался. Анна Каменкова — крупнейшая наша актриса — вложила весь свой талант и всю свою душу в

эту, по сути, «негритянскую», анонимную работу. Я ей признателен от всего сердца.

За десять дней до того, как была готова картина на одной пленке, умер в Париже Александр Мнушкин, так и не посмотревший свою последнюю ленту. Он ее очень ждал, верил в картину. После его смерти сразу же оборвались дружеские нити, связывающие нас с французской фирмой. От Жана-Луи Ливи, который устно оценил наш труд высоко, горячо похвалил картину, я не получил ни одной писульки. Никогда, ни по какому-либо поводу. Или его плохо воспитывали, или он держал нас за людей третьего сорта. Может, там было и первое, и второе.

Я не знаю, шла ли наша лента во Франции. Наши партнеры не сообщили нам об этом ничего. Они ни разу не ответили на наши запросы. А у нас в стране, развалившейся на куски, где все кому не лень воровали, растаскивая почивший в бозе Советский Союз, где миглом возникали миллионные состояния у тех, кто не растерялся, где глухая бедность и отчаяние владычествовало над всем остальным населением, в нашей стране было совсем не до кино. Сводили счета, убивали тех, кто перешел кому-то дорогу, грабили на дорогах, бесследно исчезали люди... Страшное время...

Фильм «Предсказание» не шел на экранах кинотеатров, ибо эти здания — храмы кино — были захвачены предприимчивыми людьми, «новыми русскими». В бывших кинозалах торговали мебелью, продавали автомобили, предлагали купить товары, привезенные «челноками», в кинотеатрах открывали свои отделения новоиспеченные банки, возникали разнообразные рестораны и казино. С 1993 по 1997 год наше кино погрузилось в состояние комы. Новых фильмов практически не было. Много опытнейших кинопрофессионалов ушли кто куда: кто в торговлю, кто в телевидение, кто в сомнительные фирмы, кто в пьянку, кто в нищенство. Замечательные кадры кинорботников были разбазарены страшным временем...

«Предсказание» показали один раз по телевидению, и все. Этот фильм видело ничтожно малое число зрителей. И эта рана, обида за мой фильм, не затихла у меня до сих пор...



**Мой первый друг,  
мой друг бесценный**



## МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ, МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ...

На встречах со зрителями, в том числе в США, я несколько раз получал записки примерно такого содержания:

— В некоторых Ваших фильмах встречается фамилия «Катанян». Почему? Это выдуманная фамилия, или Вас что-то связывает с конкретным человеком?

И в «Иронии судьбы», и в «Забытой мелодии для флейты», и в «Привет, дуралеи!» персонажи произносят фамилию «Катанян». Когда по сюжету сценария требовалось упомянуть какого-либо человека, мы с Брагинским всегда вставляли в диалог фамилии наших друзей. Естественно, если речь шла об упоминании в хорошем смысле, а не в дурном. Это были наши авторские забавы, домашние радости.

Так вот, Вася Катанян был моим самым дорогим, самым светлым другом...

Однокурсники — среди них Станислав Ростоцкий и Зоя Фомина, Вениамин Дорман и Лия Дербышева, Вилен Азаров и Василий Левин — называли его ласково Васька, Васенька, Васисуалий. Он был самым элегантным и самым остроумным из нас. Элегантность Васи была прирожденной. Все мы в 1944—1945 годах ходили черт-те в чем, в залатанных штанах и заштопанных рубашках. Но Вася, как и остальные, носивший обноски, все равно выделялся франтовством: напялит на себя немислимый берет или завернется в какой-нибудь яркий шарф, и прямая ему дорога на подиум — показывать моды нищих. Хотя слова «подиум» мы тогда не знали. Васе была свойственна особенная пластика — отточенные, почти балетные жесты, грациозная походка, а его длиннющие ноги как бы заявляли о том, что принадлежат аристократу. Но куда всё это девалось, когда он шел сдавать сессию. Элегантность испарялась, перед экзаменатором сидел затюканный, испуганный студент, косноязычно что-то мямливший. Это оставалось для нас загадкой. Мы готовились к каждому экзамену, как правило, вместе — Зоя Фомина, Виля Азаров, Вася Катанян и я. Знали предмет одинаково, Вася иной раз луч-

ше нас, но сдавали зачеты и экзамены по-разному. Мы трое получали почти всегда пятерки, а несчастный Вася не вылезал из троек. Он почему-то всегда, всю жизнь робел перед начальством, а педагог, принимавший экзамен, был для Васи, несомненно, начальником. Особенно Катанян пасовал перед марксистско-ленинской теорией. Надо сказать, что кафедры марксизма-ленинизма были во всех институтах в те годы на особом привилегированном положении: за ними стояла власть, Сталин, Министерство государственной безопасности, коммунистическая партия и тому подобные страшилки. Двойка по политической дисциплине тогда приравнивалась к неблагонадежности. Педагоги коммунистических кафедр были поголовно неистовыми начетчиками. Подозрительность составляла их главное качество. На одном из первых занятий по марксизму преподаватель Новиков, знакомясь со студентами, спросил меня:

— А вы не родственник известному меньшевику Рязанову?

Я перепугался. Известный педагогу меньшевик был мне совершенно неизвестен. Но отец мой сидел в лагере по пятьдесят восьмой статье, и это мной, признаюсь, скрывалось. Если бы я знал, что подлинная фамилия меньшевика была Гольдендал, я бы мог ответить, что он мне не то что не родственник — даже не однофамилец. Но тогда я этого не знал и трусливо промолчал. На первом же экзамене по марксизму Новиков на всякий случай вкатил мне двойку, и я потом несколько раз ходил пересдавать. Все эти так называемые ленинцы в отношениях со студентами вели себя как садисты.

Например, Вася сдает зачет по диамату Степаняну, который особенно славился своими изощренными издевательствами. Наш сокурсник Ляtif Сафаров после зачета у Степаняна вышел заикой. Лишь через три месяца заикание прошло.

Одну студентку на экзамене Степанян спросил:

— Ну хорошо, Минайченкова. А как звали Маркса?

Устрашенная студентка, отлично знавшая, что того звали Карл, не нашлась, что ответить.

А Васе садист Степанян задал такой вопрос:

— Что такое дальтонизм?

Затраханый педагогом Вася, погрязший в мало

ему понятных терминах «эмпириокритицизм», «махизм» и прочих, только тарашил глаза на экзаменатора.

Тот улыбнулся высокомерно:

— Как вам не стыдно, Катанян. Это же из области медицины.

И сладострастно провалил Васеньку. Но, честно говоря, Вася терялся на любых экзаменах, даже таких, как история театра или литературы...

Помню трагический случай, который произошел с моим другом и нашей однокурсницей Наташей Соболевой на экзамене по актерскому мастерству. Будущие режиссеры обязаны были уметь играть. Актерское мастерство у нас вел Владимир Вячеславович Белокуров, легендарный Чкалов из одноименного фильма Калатозова и несравненный Чичиков из мхатовских «Мертвых душ» Гоголя.

Вася и Наташа подготовили отрывок из булгаковских «Дней Турбиных» — знаменитую сцену Шервинского и Елены Тальберг. Они играли блестяще, пожалуй, талантливее всех на курсе. Но на экзамене, когда начался прогон подготовленных студентами отрывков, Вася с Наташей для храбрости выпили чекушку водки. Разумеется, без закуски. А их отрывок, как лучший, Белокуров поставил напоследок. Так что очередь до них дошла не скоро. За это время исполнителей развезло, и когда наконец они вышли на подмостки, вернее сказать, выползли, то с трудом и вяло пробубнили текст, доблестно угробив замечательную сцену, которую прекрасно играли на репетициях.

По главному предмету — кинорежиссуре — Вася тоже учился далеко не блестяще. Первые работы, которые мы должны были приготовить, были литературные. Сначала надо было выбрать какое-то учреждение и написать о нем документальный очерк. А потом на основе собранного материала сочинить сюжетную новеллу. Среди учреждений, выбранных студентами, находились вокзал, морг, пожарная команда, «Скорая помощь» и т.д. Вася выбрал психбольницу для алкоголиков. Его документальные заметки об алкоголиках были полны юмора, и мы, однокурсники, дружно ржали, когда он читал на занятиях опус вслух. Козинцев разругал Васину работу и обвинил его в легкомыслии. Когда Вася сочинил рассказ, то он тоже был очень смешной. Но Григорий Михайлович, сам будучи человеком необычайного остро-

умия, почему-то отверг и эту Васину попытку работать в области юмора. Думаю, из Катаняна мог бы получиться непревзойденный комедиограф, но после козинцевского двойного отпора Вася перестал сочинять что-либо веселое, а стал как все. Только скучнее, ибо вынужден был наступить на горло собственной песне.

Самое поразительное, что, то ли в силу лени, то ли беспечности, Вася никогда не был в этой пресловутой психбольнице для алкоголиков. Он с моцартовской щедростью всё сочинил. Документальный очерк с замечательными подробностями он выдумал от начала до конца. Никто, и Козинцев тоже, не заподозрил, что мы имеем дело с талантливой фантазией, а вовсе не с копией действительности.

На втором курсе мы, как режиссеры, ставили отрывки из классики. Васисуалий выбрал сцену свидания в тюрьме Катюши Масловой и князя Нехлюдова из «Воскресения» Л.Н. Толстого. Это был конец сорок пятого года, и во ВГИКе, незадолго до этого вернувшемся из эвакуации, катастрофически не хватало мебели. И постановщик, сумев раздобыть только один стул и один стол для своей декорации, посадил Катюшу на стол, а Нехлюдова, которого изображал Виллен Азаров, на стул. Всем курсом мы посмотрели отрывок Катаняна.

— Ну, во-первых, — сказал мастер и показал на Азарова, — князь находится в сильно младенческом состоянии. Его надо немедленно рассчитать. А во-вторых, Катанян, почему вы посадили Маслову на стол?

Вместо того чтобы честно признаться, что он не смог достать нужную для сцены мебель, режиссер Вася решил запудрить мозги мастеру:

— Я хотел показать, что Катюша морально выше Нехлюдова.

Козинцев парировал немедленно:

— Тогда водрузили бы ее на шкаф!

И он показал на пустой книжный шкаф, который почему-то стоял в аудитории...

В конце сороковых годов наша кинематография выпускала шесть-восемь фильмов в год. И перспективы для самостоятельной работы у нас не было никакой. Козинцев стал уговаривать нас перейти на отделение документального или научно-популярного кино:



— Лучше самостоятельно работать и делать фильмы из жизни ткачих или насекомых, чем бегать за бутербродами для постановщика в художественном кино.

Логика, за которой стояла суровая жизненная реальность, в его словах, конечно, была. И студенты, составлявшие второй эшелон курса, дав слабину и отказавшись от честолюбивых надежд, поддались уговорам мастера. Среди тех, кто перешел к нашему педагогу по документальному кино Арше Ованесовой, прекрасному режиссеру хроники, оказались я, Зоя Фомина, Лия Дербышева и Василий Катанян.

Итак, мы стали режиссерами-документалистами.

В 1954 году мне и Васе предложили сделать фильм об острове Сахалин.

Команда, которую мы с Васей собрали, отправляясь на далекий остров, была молодежной и оказалась очень дружной. Участники этой экспедиции вспоминали съемки на Сахалине все последующие годы как праздник. Розыгрыши, шутки, вечеринки, романы, атмосфера братства и взаимовыручки — так мы работали на Сахалине.

Каждодневная работа над периодикой — киножурналами и выпусками новостей — после возвращения с Дальнего Востока невольно толкала к стереотипности мышления. Готовые рецепты, годящиеся на все случаи жизни, стали часто подменять творческие поиски.

И я ушел в художественное кино.

Вася не хотел переходить на «Мосфильм». Но он сумел найти свою, особую нишу в насквозь политизированном документальном кинематографе. Он добился, но не сразу и с большими трудностями, права делать биографические ленты о людях искусства. Ему повезло — в своем творчестве он ушел от высокопарной патриотической трескотни и погрузился в творческие миры Аркадия Райкина и Поля Робсона, Майи Плисецкой и Людмилы Зыкиной, Сергея Эйзенштейна и Всеволода Вишневского, Родиона Щедрина и Тамары Ханум. Конечно, ему не удалось совсем избежать идеологического «нужника», и, делая очередную заказную вампуку, он очень страдал и проклинал свою профессию...

Долгие годы из-за какого-то навета Вася был невыездным, его без объяснения причин не выпускали за границу. Я, будучи уже довольно популярным субъек-

том, добился аудиенции у начальника ОВИРа, и Васе наконец разрешили ездить за рубежи нашей страны, откуда он каждый раз дисциплинированно возвращался. Вообще, я не знаю другого такого законопослушного человека, как Вася. При этом он, конечно, ненавидел советский строй, но никогда не боролся с ним, он боялся. Страх сидел в нем, как почти в каждом из нас, но в Васе его, пожалуй, сконцентрировалось больше. Его политическую позицию я бы охарактеризовал так: тайный пассивный антисоветчик... Однако вернемся лучше к историям, которыми так богата жизнь моего товарища.

Хотелось бы поведать о Василии Катаняне как о защитнике Родины... Первое сентября 1944 года, наш первый учебный день во ВГИКе. Весь курс, — а нас было тогда около 20 студентов, — явился на первый день занятий, по возможности, нарядно одетым. Себя помню в первом в моей жизни костюме, справленном мне к началу учебы мамой и отчимом с большим материальным напрягом. 9 часов утра. Первый предмет «Военное дело». Юношей отделили от девушек, и военрук повел парней на стадион, кажется «Буревестник», что находился сзади ВГИКа в нескольких минутах ходьбы. Моросил дождь. Военрук вывел нас на беговую дорожку стадиона и командовал: «Ложись!» Однако никто не лег. Тогда последовали отборные выражения, перемешанные с угрозами выгона из институт. И мы все покорно плюхнулись в своих лучших одеяниях на грязную беговую дорожку.

— По-пластунски вперед — марш! — командовал военрук.

1947 год. Наш курс на практике у Г.М. Козинцева на съемках фильма «Пирогов». Вася в массовке



И мы поползли.

Я помню до сих пор имя и фамилию военрука: Павел Мацкин.

Так нас встретил ВГИК.

Почему-то это всем нам крайне не понравилось.

Мы ожидали совсем другого.

К следующему занятию бывшие фронтовики и инвалиды войны принесли справки, что они освобождены от занятий по военному делу. Остальные парни раздобыли заверенные медицинские справки, согласно которым все они больны такими недугами, что их участие в военных упражнениях попросту немыслимо. Болезни у всех оказались чудовищными, страшно вспомнить. Только два студента не сумели раздобыть себе липовых документов — Вася Катанян и Элик Рязанов. Когда, придя на следующее занятие, Павел Мацкин увидел вместо двенадцати парней только двоих, он в сердцах воскликнул:

— С двумя студентами я вести занятия не намерен! И покинул аудиторию.

Так случилось, что на нашем курсе предмет «военное дело» выпал из программы. В те годы студент покидал стены родного вуза, пройдя весь курс военных наук, а также армейские двухмесячные сборы, в чине лейтенанта запаса. Но так как мы с Васей не обучались военному ремеслу, то так и остались (цитирую свой военный билет): «Рядовой, годный, необученный, солдат».

Однако военкомат не дремал и время от времени присылал повестки, мол, надо пройти двухмесячные сборы, чтобы стать лейтенантом. Мы с Васей после

Не помню кто, где и когда снял это дивное фото. Ясно одно — мы студенты и радуемся жизни



окончания ВГИКа работали на Центральной студии документальных фильмов и каждое лето разъезжались в экспедиции на три-четыре, а то и больше месяцев в разные районы Советского Союза. Во время нашего отсутствия приходили повестки о явке на сборы, но мы отсутствовали. Мы не отлынивали, не скрывались, не избегали этого жребия. Просто мы были молодыми, активными, и студия не позволяла нам сидеть в Москве. Я так ни разу и не встретился с повесткой, а у Васи такая встреча произошла. И мой друг отправился зарабатывать лейтенантство куда-то во Владимирскую область. Трудно представить себе человека более не подходящего для армии. Швейк со своим якобы идиотизмом попросту отдыхает рядом с Васей. Я хотел бы, чтобы читатель взглянул на фотографию храброго солдата Катаняна. Из солдатчины Вася мне писал:

«Спим в палатках по сто человек, тело к телу. Если один захотел перевернуться на другой бок, то остальные девяносто девять вынуждены сделать то же самое... Когда ты читаешь в газете в сводке погоды ...заморозки на почве... то знай: это заморозки на мне»...

Лучшими днями своей боевой жизни Вася считал те две недели, когда его направили денщиком в семью какого-то старшего лейтенанта. Жена офицера, увидев перед собой нескладного долговязого «чучмека», на котором форма сидела, как на корове седло, спросила:

— А ты по-русски разумеешь?

Вообще у Васи была типичная внешность, как говорят сейчас, «лица кавказской национальности», хотя армянином он был только наполовину.

Вася ходил с лейтенантшей на базар, носил за ней корзину с продуктами, утирал соплю двум офицерским ребятишкам, сажал их на горшок, подтирал попки и пересказывал им перед сном диснеевские сказки. Семья старлея полюбила и оценила солдата. С прекрасным отзывом о проведенном армейском учении Вася получил чин лейтенанта запаса, хотя до конца жизни он так и не знал, откуда из ружья вылетает пуля — со стороны приклада или со стороны дула...

Где-то году в 1947 занятия по истории русского искусства проходили у нашего курса в Третьяковской галерее. А в то время Васин отец — известный литературовед, специалист по Маяковскому, автор многих книг о замеча-



тельном поэте, муж Лили Брик — справил себе новое зимнее пальто. Старую шубу Василий Абгарович подарил своему сыну Васе-маленькому. Кстати, у моего друга сохранились детские книги, подаренные ему Маяковским. Васе тогда было лет пять. На одной из книг поэт написал: «Маленькому Васе от большого Володи». Но вернемся к шубе с отцовского плеча. Пальто, конечно, оказалось сильно поношенное, но оно было изнутри подбито мехом енота. В прежние времена такие одеяния носили народные артисты уровня Собинова или Шаляпина. Короче, вид у шубы с изнанки был дорожный, буржуазный. И каждый раз, когда кончалось занятие в Третьяковке и студенты-голландцы заполняли раздевалку, гардеробщик в униформе пытался подать Васисуалию манто, надеясь получить за это чаевые. Но у Васи в кармане всегда был только один рубль, чтобы добраться на метро до своей «Вороньей слободки» на Разгуляе. Между хозяином шубы и гардеробщиком начиналась борьба. Ведь если Вася позволил бы себе вдеть руки в рукава шубы, любезно протянутой служителем вешалки, он вынужден был бы топтать до дому пешком. Эта перспектива не улыбалась вечно недоедавшему студенту, и он изо всех сил вырывал шубу из рук гардеробщика. Тот, в надежде выцуганить рубль, не уступал. Они дергали пальто из всех сил, каждый к себе. Дорогой, но почтенного возраста мех трещал и рвался. Иногда побеждал Вася, но иной раз гардеробщик оказывался сильнее, и тогда Вася, делая хорошую мину при плохой игре, изображал из себя барина. Получалось это у него артистично, а далее он брел до дому через всю Москву пехом.

Вася жил в Доброслободском переулке на Разгуляе напротив Московского инженерно-строительного института. В одноэтажном особняке обитало около десяти семей. Это была Коммуналка Коммуналковна Коммуналова. Надо заметить, что у каждой семьи был свой персональный деревянный круг для унитаза. И порой, когда одна соседка брела в уборную, а на руке у нее наперевес висел круг, она встречалась с другой соседкой, которая плелась из уборной с таким же кругом, болтавшимся на локте. «Воронью слободку» из «Золотого теленка» я представляю именно так. Вася жил там с мамой Галиной Дмитриевной.

О Васиной маме надо сказать особо. Она была энергичной, веселой, остроумнейшей женщиной, хотя

жизнь на ее долю выпала тяжелая. В 1937 году ее оставил Васин отец, уйдя к Лиле Брик. Чем только не занималась Галина Дмитриевна, чтобы выжить, прокормить себя и сына. Она и выступала на концертах, где пела цыганские романсы, и работала машинисткой, и сдавала половину комнаты жильцам — у них были две смежные комнаты, одна из которых была перегороджена. Одно время квартирантом был молодой пианист по фамилии Рихтер. Я думаю, что Вася свой легкий характер унаследовал от мамы. Отношения между матерью и сыном были по форме приятельскими, а по содержанию они глубоко любили друг друга.

Студенческие вечеринки мы всегда устраивали у Катанянов. Во-первых, гостеприимный дом с очаровательной компанейской хозяйкой. Мы относились к Галине Дмитриевне как к старшей подруге, с кем можно было поделиться личными секретами, неудачами, успехами. Она была мудра, афористична в оценках и всегда очень доброжелательна. Хотя язычок у нее был острый.

Однажды на рассвете, часиков эдак в шесть, мы после веселого застолья покидали Васину квартиру. Провожавший нас хозяин, кстати сказать, довольно сильно наклюкавшийся, привязал к своему поясу веревку. Другой конец веревки был привязан к ручке таза. Вася объяснил нам, что если ему станет нехорошо, то таз у него тут же, под рукой. Мы гурьбой прошли большой коридор и высыпали на крыльцо. Вася помахал нам и заявил, что отправляется в уборную. На улице мы встретили Галину Дмитриевну, которая возвращалась домой из гостей. Мы поведали ей, что Вася с тазом на привязи ушел в туалет. Галина Дмитриевна проследовала в комнату, где стол был завален обедками и грязной посудой. Прошло минут десять. Вася не появился. Мама, обеспокоенная, направилась к уборной и дернула дверь. Было заперто изнутри.

— Ты долго еще будешь там сидеть? — спросила мама. Из уборной ответа не последовало.

— Ты что, совсем с ума сошел? — поинтересовалась Галина Дмитриевна.

Вася не отвечал. Тогда мама начала барабанить в дверь и честить сына-пьяницу почему зря. В уборной царило молчание.

— Ну, я тебе покажу! — закричала мама.

В это время дверь открылась, и из туалета вышел...



сосед. А Вася, оказывается, пытается отрезветь, уже давно окунал себя в холодную воду в коммунальной ванной.

Вообще с ванной в этой квартире существовали проблемы. Горячей воды не было вовсе, ибо деревянная колонка от старости разрушилась. И Вася, не любивший баню, шлялся по друзьям, у которых были ваннные комнаты. Помню, он даже умудрился помыться на нашей с Зоей Фоминой свадьбе. И в три часа ночи из ванной нашей коммуналки раздавались Васины восклицания:

— Какая замечательная свадьба! И вкусно, и выпивки полно, и помыться можно!

Как-то раз, уходя с компанией гостей после моего дня рождения, он остановился у булочной, где из хлебного фургона, как обычно поздно вечером, хлеб подавался в квадратное отверстие в стене магазина.

Вася неожиданно для всех быстро забрался в хлебный фургон, улегся на пустые нары из-под лотков и свернулся клубком. Когда его стали стыдить и выгонять, он кротко объяснил:

— Не трогайте меня! Я городская булочка!

Читатель может решить, что мой друг был алкоголиком, пьянчужкой, но это не совсем так. Однако выпить на праздник и в гостях любил и был в этом состоянии очарователен...

Мне довелось быть свидетелем со стороны жениха на свадьбе моего друга. Вася женился довольно поздно, на подходе к сороковнику. Помню, как он мне рассказывал об Инне. Инна родилась в Эстонии в еврейской семье искусствоведа Юлиуса Генса, ученого и знаменитого библиофила. Его библиотека славилась на всю Европу. Инну воспитывали помимо мамы бонны и гувернантки. Ее учили кроме ее первого языка — немецкого — французскому, эстонскому, английскому. В доме на стенах висело множество картин знаменитых художников.

Одиннадцатилетняя Инна сидела на дереве и радостно приветствовала Красную Армию, входившую в Таллинн в сороковом году. По секретному сговору с Гитлером Прибалтика, как и часть Польши, отходила к Советскому Союзу. Установление советского режима принесло неисчислимые бедствия семье Генсов. Дом был разорен, библиотека украдена, семья лишилась крова, родители Инны умерли.



И вот этой аспирантке-бесприданнице (от прежней роскоши у Инны осталась только одна картина Коровина) Вася предложил свою руку и сердце. На свадебном обеде Инна показала себя во всем блеске: такой вкусной телятины я не ел никогда, ни до, ни после этого события. Очевидно, выйдя замуж, Инна как-то утратила секрет приготовления этого привораживающего блюда — должно быть, за ненадобностью. Жена Васе досталась замечательная, и это еще раз говорит о его вкусе и безошибочном умении разбираться в людях. Она превосходно готовила, а помимо этого стала еще кандидатом искусствоведения, специалистом по японскому кино (выучила еще и этот язык), автором ряда книг и монографий о киноискусстве Страны восходящего солнца. Но главное, она была любящим и преданным другом.

Свекровь Галина Дмитриевна и «неродная» свекровь Лиля Брик души в ней не чаяли.

На свадебном обеде, где свидетельницей со стороны невесты была писательница Наталья Давыдова — тогдашняя жена писателя Анатолия Рыбакова, была сказана фраза, которая врезалась мне в память на всю жизнь.

Анатолий Наумович, подойдя к вешалке с пальто и шубами (а свадьба справлялась на Разгуляе, в «Вороньей слободке»), спросил у жены:

— Ты сегодня в какой шубе?

Это было сказано делово и буднично, он хотел найти то, в чем пришла жена (Рыбаков приехал позже, отдельно от Наташи), во фразе не было понта или желания блеснуть богатством. Мы же, хотя и вышли уже из состояния нищеты, но до шуб нам было еще очень далеко. И поэтому фраза запомнилась навсегда...

В сентябре 1994 года Вася позвонил мне:

— Помнишь ли ты, что ровно пятьдесят лет назад мы с тобой встретились?

Я помнил. Больше того, я помнил, что полвека мы с Васей дружили, ни разу у нас не случилось ни одной размолвки и никакой черной кошке не удалось пробежать между нами. Было решено отметить нашу золотую дружбу. Это, конечно, придумал Вася. Я бы никогда до этого не дотумкал. Золотая свадьба редко, но бывает. Про золотую дружбу я услышал впервые. Пригласили друзей — повод для застолья был редкостный, из области рекордов в Книге Гиннеса...

Особое отношение у Васи было к подаркам, которые он обожал дарить. Но, правда, иногда и отнимал обратно. Помню, на заре нашей дружбы он подарил мне какую-то картинку, а через два года пришел, снял эту картину со стены и сказал:

— Она у тебя повисела. Хватит. А теперь я ее подарю такому-то. Пусть повисит у него.

Это случилось в эпоху нашей общей чудовищной бедности. В последние годы Катанян поступал так:

— Ты все равно будешь делать мне подарок ко дню рождения. Так вот, в Краснопресненском универмаге, на первом этаже направо отдел посуды. Там есть чайный сервиз на шесть персон за тридцать восемь рублей. Но там их два — в синий горошек и желтую клетку. Так ты возьми тот, который в синий горошек.

Или поступали такие указания:

— На Новом Арбате в магазине «Мелодия» в отделе классики продается альбом оперы «Пиковая дама» за восемь рублей. Подари мне этот альбом.

Это все Вася, разумеется, мог купить сам, но он, заботясь о друзьях, чтобы они не ломали головы (известно, как трудно выбрать подарок!), шел нам на помощь. И всегда его выбор останавливался на недорогих вещах, чтобы не ударило по карману. Сам же он делал порой подарки, поистине, царские. Например, мне презентовал автолитографию портрета С.М. Эйзенштейна работы Нади Леже, или же подлинную гравюру 1813 года «Переход Наполеона через Березину», или же, ни больше ни меньше — офорт Пабло Пикассо, им подписанный (не Васей, а Пикассо)...

Вася был неистощим в проявлениях дружества. Однажды, за неделю до очередного дня моего рождения, он сказал:

— Мне все равно придется сделать тебе подарок. Так вот, я придумал, что тебе подарить. Мы с Инной снимем с тебя груз забот по этому поводу и устроим твой день рождения в нашем доме. Ты можешь пригласить четверых гостей (если больше, то будет тесно). А мы с Инной постараемся не ударить в грязь лицом по части угощения.

И не ударили! Я, признаюсь, никогда не слышал о подарке в такой оригинальной форме. Мы замечательно отметили мой день рождения на катаняновской территории вместе с нашими общими друзьями.

Был шикарный стол. Отменные яства, приготовленные заботливыми и талантливыми руками Инны и Васи, таяли во рту (Вася, как и жена, был кулинар-выдумщик. В отличие от меня — обжоры, Катанян слыл гурманом). Как сама идея, так и ее воплощение оказались демонстрацией дружеских чувств. Года через два я сплагатничал, и мы с Эммой устроили Васин день рождения у нас на даче. И тоже было здорово.

Последняя акция такого рода оказалась печальной. Я, несмотря на сопротивление Инны, устроил ему поминки. Его родные и друзья собрались после похорон в ресторане Дома актера. Но наше траурное сборище оказалось на редкость, как это ни кощунственно звучит, веселым. Конечно, все застолье было окрашено скорбью, нежностью и теплом. Но при этом присутствующие все время вспоминали смешные, анекдотические, забавные случаи и истории, виновником которых был наш общий незабвенный друг. Думаю, Вася остался бы доволен.

И потом, в первый день его рождения после кончины и в первую годовщину смерти, которые отмечала Инна, наши дружеские застолья проходили так, как будто Вася сидел рядом за столом: шутки, остроты, каламбуры царили в нашей компании.

Духовное влияние Васи было таково, что он продолжал жить в наших душах и сердцах.

Вообще умерший человек продолжает жить после смерти до тех пор, пока его помнят близкие, пока они веряют свои поступки нравственным мериллом ушедшего. Эффект присутствия Катаняна в моей жизни

После церемонии в ЗАГСе мы пришли в уютную коммуналку, где жили Катаняны, на свадебный обед, на котором подавали сказочную телятину, приготовленную молодой. Свидетель со стороны жениха Эльдар Рязанов, свидетельница со стороны невесты Наталья Давыдова, молодожены Инна и Вася, жена свидетеля Э. Рязанова — Зоя Фомина



поразителен. Мы с Эммой часто говорим: «Жаль, что Вася этого не видел»... «Вася бы это одобрил»... «Как ты думаешь, какое мнение было бы у Васи?»... «Вася так бы не поступил»... Я думаю, Вася будет жить в сознании своих друзей до тех пор, пока всех нас не станет.

Всю жизнь Вася вел дневник. За несколько лет до выхода на пенсию он принялся записывать занимательные истории, связанные со знаменитостями, с которыми его сводила судьба. Я помню его первые литературные опыты. Они, честно говоря, не производили особого впечатления. Мне показалось, что записи были суховатыми и в чем-то ученическими. Но раз от разу его документальные воспоминания становились все добротнее, мастеровитее, талантливей. В большинстве своих новелл он опирался на дневниковые записи. Поэтому во всех его мемуарах совершенно нет вранья. Правда, его нет еще и потому, что Вася не выносил приблизительности, неточности и сочинительства, когда речь шла о конкретных людях. С выходом на пенсию он предался этой своей литературной слабости со страшной силой. И однажды дал почитать довольно пухлый том своих сочинений моей жене Эмме. Рукопись представляла собой не только литературный текст. Книга была любовно и с выдумкой переплетена и являлась шедевром оформительского искусства. Рассказы были снабжены и проиллюстрированы не только редкими, уникальными фотографиями персонажей и героев, но еще и газетными вырезками, театральными программками, пригласительными билетами, подлинными записками,

Мы дружили с Васей 55 лет и ни разу за это время не поссорились



адресованными Васе, рисунками и автографами. Это производило сногшибательное впечатление. Эмма, которая и до чтения Васиных опусов обожала его, после знакомства с литературными и художественными талантами моего друга заобожала его еще больше и сказала:

— Это надо немедленно напечатать!

А если Эмма что-то решила, то... Короче, она принялась за дело. Немало сил понадобилось ей, чтобы заманить в Васину квартиру издателей «Вагриуса» Владимира Григорьева и Глеба Успенского. Это удалось только с третьей попытки. Ведь кто такой был Катанян, с точки зрения руководителей издательства? Режиссер-документалист и, скорее всего, графоман. С трудом удалось всучить им рукопись Василия Васильевича.

Не знаю, какие усилия предпринимала Эмма, чтобы заставить их прочитать рукопись. Но в результате родилась замечательная книга «Прикосновение к идолам», одна из самых лучших в серии «Мой 20-й век». Эту серию, имеющую большой читательский успех, придумал «Вагриус». Кстати, расшифрую, что означает это слово — «Вагриус». Десять лет тому назад три молодых человека решили создать литературное издательство. Их фамилии Ва-сильев, Гри-горьев, Ус-пенский. Ва-гри-ус. Так появилось это непонятное слово, которое сейчас знают миллионы читателей в нашей стране.

В книге моего друга блистательные новеллы об Аркадии Райкине и Майе Плисецкой, Лиле Брик и Сергее Параджанове, Сергее Эйзенштейне и Поле Робсоне, о Дзиге Вертове и Эльзе Триоле, Романе Кармене и Фаине Раневской, Нине Берберовой и Александре Галиче, и еще о многих других.

Рассказывая о кумирах, Катанян остается в тени. Он не примазывается к славе идолов и не развенчивает их, не льстит, не славословит, не амикошонствует! Но и не унижает. Его писательская позиция настолько щепетильна и скромна, что, как это ни парадоксально, появляется ощущение: главный герой книги — не «идолы», к которым прикасался Катанян, а сам автор, добрый, деликатный, благородный и правдивый человек. Этот вывод рождается у читателя без каких бы то ни было авторских усилий.

В последние годы жизни к моему другу пришла



подлинная писательская слава. Сколько благодарных откликов, добрых писем, проникновенных слов, восторженных рецензий выпало на его долю в девяносто седьмом и девяносто восьмом годах. «Прикосновение к идолам» оказалась самой раскупаемой книгой в серии «Мой 20-й век». Я невероятно рад, что Вася узнал триумф, так называемые «медные трубы». Он воспринял этот успех очень достойно. Но, конечно, был счастлив...

А я горд тем, что у меня нет этой книги Васи с надписью мне, его самому старому другу. Однако в нашей семье есть экземпляр «Прикосновения к идолам». На нем рукой автора написано:

«Дорогой Эмме — основоположнице, которая, прочитав мою рукопись и воскликнув: «Ее же надо немедленно печатать!», — тут же позвонила куда надо — В. Григорьеву. И вот вам результат — экземпляр № 1.

С благодарностью и любовью В. Катанян.

Все еще XX век

*Июнь 1997».*

Вот и все. Я благодарю судьбу, что она одарила меня таким другом. Рассказывая о Василии Катаняне, я хотел передать собственную любовь и нежность к нему и попытаться заставить читателя разделить со мной эти чувства...

После тяжелой истребительной болезни Вася умер 30 апреля 1999 года...

Боже! Как мне его не хватает...

P. S. Очень часто в последнее время передо мной встает почему-то одна и та же картина. Конец сороковых годов. Наш курс на станции метро «Бауманская». Мы все веселые, немного выпившие, садимся в вагон поезда метро. Поздно, уже около часа ночи. Вася, у которого мы гуляли на вечеринке, пошел нас провожать. Поезд тронулся, и мы увидели, как на пустом перроне Вася принялся танцевать канкан. Он танцевал лихо, задирая свои длинные ноги выше головы. Его танцующая фигура удалялась и вскоре скрылась. Поезд вошел в тоннель...

## Разные разности



## РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

\* \* \*

Я почему-то недолюбливаю несправедливости в свой адрес, испытываю отвращение от проявленного ко мне хамства или пренебрежения. Такой уж я оригинал. При чем для меня не важно, от кого это исходит — от продавца, вахтера, инспектора ГАИ или же от коллеги-режиссера, чиновника, министра. Я человек импульсивный, и в такие минуты становлюсь неуправляемым. Вообще, импульсивность — прекрасное качество, если оно реализуется в произведениях, но очень неважное, когда находит выход в жизни. Умение скрыть обиду, не показать, что ты уязвлен, промолчать или даже весело поддакнуть нужной или влиятельной персоне — замечательные свойства характера. К сожалению, я этими свойствами не обладаю. Иной раз наломаешь дров! И сразу же репутация либо бузотера, либо закусившего удила зазнайки. И мало кто оценит, что в тебе в эти мгновения билось пламенное и чистое сердце борца за справедливость...

Осенью 1972 года мы с Эмилем Брагинским сочиняли сценарий фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Для того чтобы работать поплотней, мы решили поехать на сентябрь в Дубулты, где находился комфортабельный Дом творчества, своеобразная резервация для писателей. Брагинский похлопотал в Союзе писателей, чтобы мне продали путевку (тогда я еще не был членом этого Союза). Сентябрь в Прибалтике — уже не сезон, и сложностей с путевкой никаких не случилось. Заезд начинался, как сейчас помню, с 1 сентября. У меня же скопились кое-какие дела, и я мог приехать только седьмого. Было обидно, что пропадает неделя, но что поделаешь! На всякий случай, чтобы не возникло никаких недоразумений с комнатой и чтобы администрация Дома творчества знала, что я обязательно приеду, я загодя послал телеграмму. Текст телеграммы гласил, что задержусь на неделю и прошу, чтобы к седьмому сентября меня ждала положенная мне комната. Телеграмма была очень веж-

ливая и кончалась всякими словами насчет уважения. Но я тогда еще не подозревал, куда еду.

В этом девятиэтажном писательском доме сложились довольно странные обычаи. Читателю, боюсь, может показаться, что я всё это выдумал. Но я не лгу. Да и сочинить такого бы не смог. Действительность, как правило, превосходит любую выдумку, она богаче всякой фантазии. Как я уже говорил, в доме было девять этажей. Так вот, по неписаным местным законам комнаты распределялись в доме по этажам в зависимости от положения и должности писателя. Процесс раздачи комнат и этажей происходил не в Москве, где выдавались путевки, а на месте, в самом доме, по решению его директора. Надо сказать, что все апартаменты были совершенно одинаковы. Они были обставлены равноценной мебелью. На окнах висели стандартные шторы двух-трех расцветок. Одним словом, разницы между комнатами не было практически никакой. Но так могло показаться только непосвященному! Неписаная традиция, которая соблюдалась свято, гласила — чем выше этаж, тем выше авторитет писателя, или, наоборот, чем выше авторитет, тем выше живет писатель. Но как измерить, кто из писателей лучше? На каких весах взвешивать их талант? Как разобраться в этой запутанной иерархии? Оказывается, очень просто, и талант в этом случае не имеет никакого значения. У нас о писателе судили не по книгам, а по должности, наградам и званиям. И тогда всё становилось ясно. Так, 9-й и 8-й этажи предназначались для Героев Социалистического Труда, лауреатов Ленинской премии, секретарей Союза и главных редакторов толстых журналов. На 7-й и 6-й этажи могли претендовать лауреаты Государственных премий, члены правления Союза писателей или Литфонда. На 5-м и 4-м этажах селились средние писательские массы. Те, которых более или менее издавали, печатали, снимали, ставили. Среди них попадались влиятельные литературоведы, заведующие редакциями издательств и отделами толстых журналов.

На 3-м этаже, как правило, жили совсем невлиятельные, непрестижные, не могущие принести никому, кроме, разве, литературы, никакой пользы, очень малоизвестные сочинители. А также гости, то есть люди,

попавшие сюда по обмену путевок или в силу собственной значительности в других сферах жизни.

Что касается писателей, обитающих на втором этаже, то о них как-то даже не хочется упоминать. Поселение тебя на втором этаже практически означало, что ты — никто. Что никакой ценности для отечественной литературы ты не представляешь и явно попал в этот дом по недоразумению.

На первом этаже никто не жил — там находилась столовая, врачебные кабинеты, медицинские комнаты и, конечно, кабинет директора.

— Не может быть, чтобы подобная иерархия выросла просто так, на пустом месте! — воскликнет доверчивый читатель. — Должна же быть какая-нибудь причина!

Попытаюсь объяснить, как возникло, что понятия престижности и этажности совпали в этом заведении. Дом расположен на узком перешейке, в том месте, где река Лиелупе наиболее близко подходит к Рижскому заливу. Так вот, с верхних этажей здания открывается роскошный вид на море и на реку одновременно. Поскольку дом находился среди высоких сосен, то до шестого-седьмого этажей окна закрывали верхушки деревьев. И чем ниже, тем пейзаж становился менее привлекательным. На нижних этажах окна просто упирались в зеленую хвою сосен.

Так что вся субординация возникла из одной-единственной привилегии — кто должен, кто имеет право, кому положено — любоваться привлекательным пейзажем.

Боже, какие душераздирающие сцены, несмотря на их внешнюю респектабельность, разыгрывались каждый день в двух лифтах этого замечательного дома! Какая-нибудь жена значительного писателя, входя в лифт, бросит эдак небрежно:

— Девятый этаж, пожалуйста!

А другая жена, смущаясь и робея, говорила:

— Мне на четвертый!

И нажимала кнопку лифта с таким видом, будто была одета в драную юбку и кофту, заштопанную на локтях. Пропась между высотницами и трехэтажница-

ми была колоссальна. Трехэтажницы между собой поносили на чем свет стоит спесь и чванливость вышеживущих. А те молча несли свой гордый крест одиночества... И откуда только всё это появилось в государстве рабочих и крестьян?..

Читатель, небось, уже думает, что все это я расписываю так потому, что меня поселили на втором этаже, и я, естественно, свожу счеты! Терпение!

Итак, я приехал с недельным опозданием, но ни о чем не беспокоился — я ведь предупредил телеграммой. Меня встретила сестра-хозяйка, забрала путевку, взяла загадочный рубль, якобы на прописку, и, извиняясь, сказала:

— Знаете, сейчас нет свободных комнат. Вам несколько дней, пока что-нибудь не освободится, придется пожить в холле!

— Как в холле? Я же дал телеграмму, я сообщил...

— Да, да. Телеграмму вашу мы получили. Но свободного номера нет. А в холле вам даже очень понравится. Он просторный. Потом там телевизор...

— Но туда же все будут входить и выходить, когда им заблагорассудится...

— Что вы, холл закрывается. Вас никто не будет беспокоить...

Мы с сестрой-хозяйкой поднялись на лифте на шестой этаж. Она ключом открыла дверь холла, который из-за обилия писателей, желающих попасть в Дом творчества, превратили в жилую комнату. Видно, случилось это недавно, может быть, я был одним из первых «подопытных кроликов». Помещение было странное. Площадь его приближалась к 50 квадратным метрам с гигантским, во всю стену, от пола до потолка, окном. В холле, как водится, стоял рояль, на тумбочке — телевизор, штук восемь кресел и несколько журнальных столиков с шахматами и шашками. Диван был превращен в койку и застелен. Чудовищные эстампы, которые якобы украшали стены, завершали облик этого сарая.

— А где же тут умыться, и вообще... — ошарашенно спросил я.

— Вот вам ключ, — сестра-хозяйка вышла в коридор и отперла дверь недалеко от холла. — Это будет



ваш персональный туалет. Кроме вас им никто пользоваться не будет. Здесь есть и умывальник.

Я заглянул в каморку, где действительно все это было. Архитектор, запланировав санузел в коридоре, явно заботился об обслуживающем персонале, так как в каждой жилой комнате были все удобства, включая ванну и душ.

— Да, но я же дал телеграмму, — безнадежным голосом пробубнил я.

— Это всего на несколько дней, — развела руками сестра-хозяйка.

И я покорился. Я здесь был гостем. И несмотря на то, что у меня имелась законная путевка, я не стал «качать права». В конце концов, проживу несколько дней в холле, в холле я еще никогда не жил. Жаль только, что я не умею играть на рояле.

Да, кстати, моего соавтора, который приехал вовремя, поместили сначала (о, ужас!) в комнате второго этажа, но после недельных просьб и жалоб он добился «повышения», его перевели на третий.

На следующее утро после приезда я надел тренировочный костюм, кеды и выскочил на утрамбованный морем песок Рижского залива. В то благословенное время я бегал каждое утро перед завтраком сорок минут, отмахивая около семи километров. Я вернулся после пробежки весь мокрый от пота и, естественно, хотел сунуться в душ. Но ни в холле, ни в «персональном» санузле душа не было. Постучаться в какую-нибудь комнату на этаже к незнакомым людям я постеснялся, соавтор жил на «несколько рангов» ниже, и унижаться мне не хотелось. В общем, раздевшись в холле до трусов, я выглянул в коридор и, убедившись, что никого нет, юркнул в туалет. Там с грехом пополам над раковиной я произвел частичное, крайне неудобное омовение и, признаюсь, пришел в раздраженное состояние. Почему-то мне всё это крайне не понравилось. Опять выглянув и переждав, пока по коридору не прошествуют к лифту, чтобы идти завтракать, две женщины, я, как метеор, вернулся в свое зало. Перед завтраком надо было побриться. Я достал свою электробритву и стал искать глазами электрическую розетку. Ее не было ни

на одной стене. Как же побриться? Тут я устоялся на телевизор и понял, что он должен быть куда-то включен. Я стал следить, куда ведет шнур, исходящий из телевизора. Он вел под рояль. Я заглянул под инструмент, но там было темно и пыльно. Тогда я опустился на карачки и пополз под рояль. Ощупывая телевизионный провод, я нашел розетку. Надо было выдернуть вилку телевизора, воткнуть вилку электробритвы и, пятясь, выползти из-под инструмента, после чего можно было приступить к бритью. Вместо того, чтобы спокойно проделать все это и пойти завтракать, я повел себя несколько странно. Несмотря на то, что я был в одиночестве, из моей глотки вырвались ругательства, недостойные деятеля искусства, в особенности советского. Схватив бритву, я, прыгая через две ступеньки, понесся вниз по лестнице. Рывком распахнул я дверь приемной директора Дома творчества.

— Директор у себя? — весьма невежливо спросил я у секретарши.

— Да, но у него совещанье...

Я не дослушал и без спросу ворвался в кабинет директора. Там действительно шло какое-то заседание. Сидел почти весь персонал: несколько врачей, в том числе и главный, сестра-хозяйка, завхоз, еще какие-то люди, всего человек 14—16. Директор, стоя над столом, что-то произносил. Увидя меня, он остановился на полуслове.

— В чем дело? — обратился он ко мне.

— Где у вас тут розетка? — полюбопытствовал я.

— Почему вы вошли? — повысил тон директор.

— А, вот она, — обрадовался я.

Не обращая ни на кого внимания, я подошел к розетке, выдернул из нее шнур настольной лампы, всунул вилку электробритвы и начал бриться как ни в чем не бывало. Совещание замолчало. В тишине было хорошо слышно, как жужжит моя отечественная электробритва.

— Выйдите немедленно отсюда! — приказал директор.

— Побреюсь и выйду, — не стал спорить я.

— Прекратите хулиганить! — закричал директор.

— По-моему, хулиган вы, а не я. Вы попробуйте



побриться в холле. Это можно сделать только под роялем. Я вас предупредил телеграммой, где моя комната? — Тут я увидел на стене зеркало и перестал обращать внимание на окружающих. Мне было не до них. Я был занят делом.

Совещание явно зашло в тупик. Поняв, что я не уйду, пока не побреюсь, все сидели молча и ждали. Я же вошел во вкус и не торопился, брился очень внимательно. Потом я подчеркнуто буднично выдул волосы из бритвы и сказал:

— После завтрака я уйду на рынок. Вернусь через час. Так вот, чтобы к моему приходу была комната. Или я поселюсь здесь, у вас в кабинете.

И пошел завтракать. Директор, видимо, поверил в мою угрозу. Когда через час я вернулся с рынка, меня ждала сестра-хозяйка. Почему-то чудом нашлась свободная комната, в которой всё было чисто, убрано и вполне уютно. При этом ощущалось, что несколько дней в ней никто не жил. Комната оказалась на пятом этаже. Это было случайностью — директор, если бы его воля, заточил меня бы в подzemелье. Но он ограничился тем, что весь оставшийся срок не здоровался со мной и делал вид, что меня не существует.

Лет через пять мы с Брагинским снова приехали в Дубулты работать над пьесой «Аморальная история». Директор был тот же, и я посмеивался — на каком же этаже он поселит меня на этот раз. Я уже был членом Союза писателей, лауреатом Государственной премии СССР, народным артистом РСФСР. По моим понятиям, я явно тянул на шестой этаж. Я понимал, не стоит особенно замахиваться, не надо заноситься, не надо мечтать о седьмом небе. Это, в конце концов, нескромно! Но уж шестому-то этажу я как-никак соответствую! Действительность оказалась непредсказуемой и страшной. Злопамятный директор не забыл, как я брился в его кабинете, и поселил меня, страшно подумав, на третьем этаже. И в то же самое время моему соавтору выделили комнату аж на седьмом. Я мужественно переносил опалу. Меня многие жалели, сочувствовали, возмущались несправедливостью, но я делал вид, что мне все равно, что это меня не трогает, что я выше этих предрассудков. А что мне оставалось делать?..

\* \* \*

Имя кинорежиссера Марка Семеновича Донского было мне знакомо с детства. Еще до войны, мальчишкой, я видел его кинотрилогию, снятую по автобиографическим книгам Максима Горького — «Детство», «В людях», «Мои университеты». Осваивая курс истории советского кино в институте, мы изучали фильмы Донского, сдавали «по нему» экзамены.

Когда же я начал работать в художественном кинематографе, выяснилось, что Донской жив и всюю продолжает действовать, снимает фильмы, что он еще совсем не старый человек. Это было удивительное чувство... Ведь изучая историю литературы, мы имели дело с классиками — давно умершими писателями — от Аристофана до, скажем, Чехова. По истории искусств мы знакомились тоже с весьма почтенными художниками и скульпторами — такими как Андрей Рублев или Ван Гог, которых уже порядком как не было на свете. То же самое происходило на лекциях по истории театра или музыки. Параллельно же шел курс истории советского кино, где мы познавали творчество Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Всеволода Пудовкина, Дзиги Вертова, Михаила Ромма, Григория Козинцева и Леонида Трауберга, братьев Васильевых, Юлия Райзмана, Сергея Герасимова, Марка Донского. Все эти кинорежиссеры были не только живы, но и продолжали активно ставить фильмы. Голсуорси сказал про какого-то персонажа в одном из своих романов: «Для того, чтобы стать классиком, ему осталось только умереть». Наши старшие товарищи, режиссеры, создавшие советский кинематограф, стали классиками при жизни, и ясно почему. Искусство, в котором мы все работаем, еще слишком молодо. И сейчас практически любой талантливый режиссер охотно зачисляется в «классики». Как говорится, не жалко! Полки с классиками еще не забиты, еще есть вакансии. Но пройдет время, и жизнь сама поставит всё на места, рассортирует всех по полочкам. Я думаю, время будет руководствоваться более «жесткими» критериями, нежели современники нынешних корифеев. И тогда полетят с «классических» полок многие. Но это вопрос будущего...

Итак, вскоре после того, как я поставил «Карнавальную ночь», произошло мое знакомство с Марком Семеновичем Донским. Я не помню, где и как оно случилось. Важно другое — у нас установились отношения взаимной симпатии. При коротких случайных встречах — в Доме кино ли, на каком-нибудь пленуме или в болшевском Доме творчества — мы перебрасывались несколькими шуточными, ироническими, иногда колкими репликами, за которыми угадывались добрые, теплые чувства друг к другу. Марк Семенович никогда не держался напыщенно и величественно. Наоборот, скорее он панибратствовал с молодыми режиссерами, стараясь не показать своего старшинства.

Он в те годы частенько выступал с трибун. Практически каждое совещание — тогда я их еще посещал — не обходилось без речи Донского. Мягко говоря, умение логически мыслить не было сильной стороной Марка Семеновича. Его выступления представляли собой невообразимую путаницу, неразбериху, заносы в разные стороны. Но всё это подкреплялось страстным темпераментом, немыслимой жестикуляцией, громким голосом. Казалось, всей своей манерой оратора, трибуна, вожака он стремился компенсировать бессодержательность речей. Брызгая слюной и размахивая руками, он перескакивал с одной, так сказать, мысли на, так сказать, другую. Темперамент захлестывал его, как штормовое море. Одна волна набегала на другую и потопляла предыдущую, не дав ей разгуляться. «Вулкан, извергающий вату», — было замечено С.М. Эйзенштейном про Григория Рошала. Это высказывание можно было смело отнести и к Донскому. Правда, иногда он извергал и кое-что другое, не столь безобидное.

При каждом контакте Марк Семенович любил намекнуть, что именно он является духовным отцом итальянского неореализма.

Что, мол, его трилогия по Горькому и фильм «Радуга» оказали сильное воздействие на послевоенное итальянское кино. Что неореализм вышел непосредственно из его, Донского, творчества. Мы посмеивались над этой, как нам казалось, буйной фантазией маленького человека, относили к его любви приврать, счита-

ли манией величия. Но вот в середине пятидесятых годов, когда увеличились контакты с Западом, каждый крупный итальянский режиссер, приезжающий к нам в страну, первым делом требовал встречи с Марком Донским. И выяснилось, что претензии Марка Семеновича — не выдумка, а святая правда. Замечательные мастера итальянского кино своим учителем действительно считали нашего режиссера Марка Донского...

Но всё это — затянувшаяся прелюдия к истории, которая случилась в 1972 году. Как-то вечером в Доме кино я увидел Марка Семеновича, подошел к нему с шуткой, но тот, вместо обычного балагурства со мной, буркнул что-то невнятное, отвел глаза и быстро скрылся в «домкиновской» толпе. Я тогда не придал его поведению никакого значения. А на утро следующего дня мне рассказали, что накануне, то есть в тот день, когда Донской юркнул от меня в публику, было совещание в Госкино СССР. Я на нем не присутствовал. Так вот, на том совещании выступил среди прочих и Марк Семенович. Он покритиковал мою только что законченную картину «Старики-разбойники». Для придания своим аргументам убедительности он сказал следующее:

— Картина не нравится и самому Рязанову. Перед началом совещания он мне сам сказал об этом. — И Донской добавил, обращаясь в зал: — Верно, Эльдар?!

Ответа от меня он, разумеется, не дождался. Меня не было в зале, и Донской это отлично знал. Иначе он не прибегнул бы к такому рискованному способу. Ведь если бы я находился на собрании, я изобличил бы его немедленно. То, что я будто бы говорил Донскому о своей комедии, являлось чистым, вернее, грязным враньем. Мы не встречались друг с другом уже несколько месяцев. То, что ему не понравилась моя лента, его дело, его право. Насильно мил не будешь, но зачем в виде доказательства, подтверждающего мнение, надо было прибегать к фальшивке? Тем более что его непосредственное обращение ко мне, якобы сидящему в зале, делало эту напраслину весьма убедительной в глазах собравшихся. Народу в зале находилось порядочно — больше двухсот человек. Так что мое отсутствие не бро-

салось в глаза. Оно прошло незамеченным. А то, что я не возразил Донскому, когда он с трибуны обратился напрямую ко мне за подтверждением, превратило его фразу в неопровержимый факт. Если называть вещи своими именами, почтенный классик совершил по отношению ко мне весьма некрасивый поступок. Причем это не было спровоцировано. Донского очередной раз «занесло». Но почему на такое странное, малопочтенное поприще? Картина «Старики-разбойники» была только что завершена. Ей еще не присудили категорию, не определили тиража. И на этом этапе критическая дубинка не столь была полезна режиссеру, сколь могла принести вред фильму, дать карты в бюрократические руки, осложнить его выпуск на экран. И не понимать этого такой искушенный кинематографист, конечно, не мог. Он совершил в мой адрес недружественную и, главное, несвоевременную акцию, да еще в такой непривлекательной форме. Оставить подобный выпад без внимания я не мог. Просто я был бы не я! Узнав о случившемся, я, разумеется, взбесился! Я стал думать, что предпринять, тем более, повторяю, надо было заслонить картину от нападков. Лучший способ, конечно, — заставить подтасовщика Донского выступить на ближайшем совещании или пленуме, чтобы он публично признался в передергивании и извинился бы передо мной. Но когда теперь будет следующее многолюдное собрание? Возможно, через два-три месяца, а тогда может оказаться поздно, станет выглядеть смешным, нелепым, ведь другие люди не восприняли этого так остро. Кроме того, было неясно, как поведет себя «отец итальянского неореализма» на трибуне в решающий момент. Может, он и не пожелает поступить так, как я считаю нужным. Или же согласится, а потом его опять «занесет». Донской — человек непредсказуемый...

Итак, я позвонил по телефону на квартиру Донским и сообщил, что немедленно приеду. Я не спросил, удобно ли, не нарушу ли я чего-нибудь, — в общем, не миндальничал и к политесу не прибегнул. Прежде я никогда не бывал в их доме, я явился сюда впервые.

Ирина, жена Донского, — славная, доброжелательная женщина, — встретила меня очень радушно.

Она либо не знала об очередной выходке мужа, либо не придавала ей никакого значения. Классик чуял свой грех, догадывался, зачем я приехал, но хорохорился, делая вид, что всё в порядке, шутил. Еще пока я ехал, я решил, что мне нужно позабыть разницу в возрасте, в положении, быть безжалостным, короче, спуску не давать. И я пошел в атаку. Не очень-то стеснясь в выражениях, я выпалил всё, что думаю о поступке Донского, о нем самом, и потребовал от него признания вины. Глазки Марка Семеновича бегали по сторонам. Под градом обвинений он выглядел весьма пришибленным. Мне не возражал и не отпирался.

— Не придавай этому значения! — посоветовал он примирительно. — Мало ли что бывает...

— Может, ты пообедаешь? — предложила Ирина.

— В доме врага я не ем! — отрезал я.

— Ну, меня занесло, — покладисто сказал Донской. Он чувствовал, что рыльце у него в пушку. — Ты меня извини... Действительно, зачем я это брякнул?

— Ну, нет... Оскорбили вы меня при всех, а извинения просите наедине. Не выйдет! Сумели публично напакостить, при всех и прощения просить придется...

— Ну, хорошо, — покорно сказал Марк Семенович. Боевитости, всегда присущей Донскому, не было. — Если ты настаиваешь... Я согласен... Я пожалуйста... В следующий раз...

— Ну, нет, — взвился я. — Когда еще будет следующий раз... Придется писать публичное извинение...

— В газету, что ли? — спросил Донской.

— В газету бессмысленно, газета ни при чем, — размышлял я вслух. — Они этого печатать не станут...

— Может, ты чаю попьешь? — снова вмешалась Ирина.

— В доме врага я не пью! Значит, так: напишите сейчас заявление на имя министра.

— Зачем? — изумился Донской.

— Совещание вел министр? — уточнил я.

— Да, — подтвердил Марк Семенович.

— Ну, вот ему и напишите... Мол, Рязанов мне ничего не говорил... Просто я старый болтун и враль...

— Зачем так, Эльдар? — сказала Ирина укоризненно.

— Чтоб в следующий раз не молол невесть что, а думал бы прежде, — жестоко сказал я. — Марк Семенович, пишите заявление.

— Я же старше тебя, что же ты ругаешься?

— Возраст — не оправдание для подлости, — высказал я мысль, в общем-то, весьма верную.

— Я не знаю, что писать, — вяло произнес классик.

— Не бойтесь, я продиктую, — неумолимо сказал я. — Действительно, седой весь, и как не стыдно? Врать-то нехорошо! Или в детстве вас этому не учили?

Донской послушно уселся за письменный стол и взял авторучку.

— Чего писать? — спросил он. Честно говоря, я предпочел бы, чтоб он сопротивлялся.

— «Уважаемый Алексей Владимирович!» — продиктовал я. Это было единственное, что я знал точно из будущего письма Донского нашему министру Романову, который руководил тогда Госкино. Наступила пауза. Ирина молчала. Донской, держа в руках стило, ждал, а я думал, подыскивал формулировки.

— «Поскольку я старый маразматик», — предложил я начало заявления...

— Как тебе не совестно, Эльдар! — обиделся Донской.

— Не вам говорить о совести! — ответил я.

— Да ты присядь, — сказала Ирина. — Что ты всё носишься по квартире!

— В доме врага я не сижу! — отрубил я, понимая, что начинаю становиться смешным. — Ладно, пишите!

И Донской под мою диктовку настрочил такой текст:

«Уважаемый Алексей Владимирович! В моем выступлении на совещании от такого-то числа я заявил с трибуны, будто бы Рязанов сказал мне, что ему не нравится его собственная картина «Старики-разбойники». Так вот, я не беседовал перед совещанием с Рязановым, ничего подобного он мне никогда не высказывал. Я увлекся и произнес неправду. Приношу извинения собранию, Вам и Э. Рязанову».

Честно говоря, злость моя по мере того, как Марк Семенович старательно, высунув кончик языка, писал, постепенно проходила. Кончив диктовать, я неожиданно спросил у Донского:

— Ну, как? Так ничего?

— Вроде нормально, — сказал Марк Семенович, как будто оценивая сцену из сценария.

— Тогда подписывайте! — приказал я.

Донской поставил на документе автограф. Я схватил бумагу, боясь, что Марк Семенович еще может передумать, и спрятал ее в карман.

— Ну, я пойду... — неуверенно сказал я, направляясь к выходу.

— Может, перекусишь? — спросила Ирина.

— Да нет, спасибо. Не хочется. Я сыт. До свидания, Марк Семенович. Вы уж извините, если что не так...

Донской понуро сидел за письменным столом и только кивнул головой в знак прощания. О чем-то думал. Видно, о чем-то невеселом.

Ирина проводила меня до дверей, я оделся и, буркнув слова расставания, выскочил на лестницу. Победа оказалась слишком легкой и не доставила мне удовлетворения. Я чувствовал, что в применении напора, силы и непримиримости где-то переборщил. Я ведь настроился на сопротивление Донского, на его ершистость, на отрицание вины, а увидел лишь пассивное послушание, очень непривычное. И хотя оскорбили меня, я испытывал жалость к нашему кинематографическому корифею. Потом я вспомнил, как несколько лет назад, на ноябрьские праздники, мы встретились с Донским в Доме творчества Болшево. Я уже месяц сильно кашлял, испытывал слабость, меня прошибал пот, но я не обращался к врачам, а продолжал снимать картину. Воспитан был определенным образом: мол, «первым делом самолеты...» Не понимал еще, что здоровье — одно! Донской тогда накричал на меня, усадил в свою машину и отвез к знакомому рентгенологу, который обнаружил в моих легких воспаление. Донской проявил ко мне в том случае подлинное, а не показное внимание и заботу, хлопотал, тратил свое время...

На лестничной клетке я остановился и задумал-



ся, повертел в руках бумагу с каракулями Донского. Что же с ней теперь делать, с этой бумагой? Порвать? Нет! Дело должно быть доведено до конца: элементарная справедливость этого требует. И я поехал в Гнездиновский переулок, где расположено здание Госкино. Поначалу, пока я ехал, я думал, что добьюсь аудиенции у министра, расскажу ему о недостойном поведении старого режиссера и вручу министру саморазоблачение, написанное и подписанное рукой Донского. Надо же восстановить истину! Но пока я двигался от Дорогомиловки к Гнездиновскому переулку, мой пыл угасал. Дорога заняла всего четверть часа, но к зданию Госкино я подъехал совсем в другом состоянии. Мою ярость потушила безропотность Донского. Анализируя по пути его поступок, я стал понимать, что в актерском порыве старик ляпнул с трибуны ерундовину. Причем в тот момент ему казалось, что он говорит правду, что так вроде бы и было. Это как вера актера, когда он играет. Если вдуматься, произошла типичная иллюстрация к поговорке: «Ради красного словца не пожалеешь и отца!» И тем не менее зло мне было причинено, обида нанесена. Причем публичная. Но идти к министру почему-то уже не хотелось. Желание копаться в этой грязи увядало с минуты на минуту. Я припарковал машину. И, еще не зная, как поступить, поднялся на второй этаж в приемную Председателя Госкино. Я вручил секретарше Председателя извинительное письмо Донского и попросил передать послание министру. После чего я попрощался и ушел.

Я не звонил потом секретарше и не спрашивал, выполнила ли она мою просьбу. Думаю, что выполнила. Я никогда не навел справки у самого Романова, получил ли он эту странную бумагу и что он при этом думал. Жалко, конечно, что я не видел его лица, когда он читал это загадочное письмо. Вручив письмо секретарше министра, я как бы поставил точку на этой истории. Вернее, многоточие... Я удовлетворил потребности собственного морального кодекса, но довольства своей персоной я не испытал. В данном случае, скорее всего, надо было проявить великодушие и терпимость, сделать вид, что ничего не случилось! Но характер порой

сильнее человека. Характер часто заставляет совершать такие поступки, которые человек, по зрелому размышлению, может быть, и не совершил бы.

\* \* \*

Взятку я давал в жизни один раз, но зато Герою Советского Союза. В начале 1956 года я купил свою первую машину «Победа». В очереди на автомобиль надо было отстоять не менее трех лет. Когда в моей жизни ничего не маячило, не светило, деньгами не пахло и неизвестно было, откуда и когда они смогут появиться, я и записался в очередь на автомобиль. Раз (или два раза?) в год я ездил отмечаться. Очередь двигалась медленно, но и я не торопился. В 1955 году в моей жизни произошел перелом — я оказался на «Мосфильме». Там совместно с режиссером С.Н. Гуровым я ставил фильм-концерт «Весенние голоса». Когда до сдачи картины оставался месяц, выяснилось — очередь на «Победу» подошла, надо срочно вносить деньги. Я пошел к Ивану Александровичу Пырьеву — директору «Мосфильма» и, объяснив ситуацию, попросил заплатить мне мою долю постановочных (так в кино называется гонорар режиссеру) немедленно. Вопрос был решен сразу же. Как тут опять не вспомнить добром Ивана Александровича. Я побежал в бухгалтерию «Мосфильма», получил причитающиеся мне 20 тысяч рублей (ровно столько, копейка в копейку, стоила «Победа») и перенес эти деньги из одной кассы, мосфильмовской, в другую кассу, автомагазина. Так, совершенно неожиданно для себя, я оказался автовладельцем. Это было счастливое совпадение. Надо сказать, не первое и не единственное в моей последующей жизни.

Теперь пришла пора ставить во дворе гараж. И удобное место имелось. Но все знали, место для гаража просто так не выделяют. Надо давать домоуправу взятку. Только при мысли о том, что я приду к человеку и начну всучивать ему деньги, я от напряжения сразу начинал потеть. Дело усугублялось тем, что наш домоуправ был фронтовиком, и не просто участником войны, а Героем Советского Союза. Для меня Герой Советского Союза являлся тогда персоной священной, я говорю это

без малейшей иронии. Война кончилась лишь десять лет назад, уважение к людям, спасшим Родину, было безмерным. А мне говорят: «Надо дать ему рублей четырехста, и он тебе выдаст разрешение на установку железного гаража».

Я не мог через себя переступить. Мне мерещилось, как Герой закричит на меня, начнет стыдить, говорить о моей бессовестности, как я стану, сгорая от смущения, оправдываться, извиняться, что-то лепетать... Несколько ночей я плохо спал. Но была зима! Новенькая машина стояла на улице, на ней царапали нехорошие слова. И все равно я никак не мог решиться на бесчестный поступок. И наконец я все-таки пал! Чувствуя себя омерзительно, я зашел в домоуправление, дождался, когда мы остались с Героем одни, и начал, потев и заикаясь, мямлить, держа в руках четыре сотни, про гараж, место и т. д. Речь была до невероятности косноязычной. Но домоуправ понял с полуслова. Он ловко выхватил у меня деньги, пересчитал их и сказал:

— Надо еще сотню добавить. В райисполкоме придется тоже дать...

Тяжелый камень стыда свалился с моих плеч. Я быстро полез в кошелек и достал еще одну сотню. Домоуправ быстро присоединил ее к остальным купюрам. А через неделю я получил вождевленное место. Но в моей душе рухнуло, разломалось, раскололось что-то очень главное. Нет, я не стал циником, не начал считать всех продажными, но отрезвление было чудовищным...

\* \* \*

В морозное утро второго января 1957 года я вошел в холодном гараже, пытаясь завести свою первую машину «Победа». С этого дня у нас с женой начался отдых в писательском доме «Малеевка», что в сотне километров от Москвы. Шесть дней назад моя первая игровая лента «Карнавальная ночь» начала с триумфом демонстрироваться на экранах. Появились восторженные рецензии. Я еще не стал знаменитым, но начинал становиться известным. Зоя, моя первая жена, с которой мы шесть лет проучились в мастерской

Козинцева во ВГИКе, прибежала ко мне во двор, в гараж, и сообщила:

— Только что звонили от Михайлова. Он немедленно приглашает тебя к себе.

— А зачем? — полюбопытствовал я.

— Секретарша не сказала. Только говорила, чтоб ты срочно позвонил. Я на всякий случай сказала, что у нас с сегодняшнего дня путевка и ты, может, уже уехал... Мол, пойду посмотрю...

Дело в том, что Михайлов был министром, а я еще ни разу в жизни не видел ни одного живого министра. Тем более ни один министр ни разу меня НЕ ПРИГЛАШАЛ!

— Ты что! — возмутился я. — Пойду немедленно звонить.

— По-моему, не стоит... — сказала умная Зоя. — Уехали мы, и всё...

— А вдруг что-то очень важное, — упирался я. — Ты что?..

Я позвонил по оставленному секретаршей номеру, и мне было сказано, что министр срочно приглашает (именно приглашает) меня к себе.

— Еду! — сказал я окрыленно. Я понимал, что вот, наконец-то, начинается настоящая жизнь.

Чемоданы, собранные для поездки в писательский Дом творчества — не в какой-нибудь там захудалый профсоюзный дом отдыха, — стояли у двери. Ма-

С дочерью  
Ольгой  
и внуком Митей



шина, слава богу, завелась, и я поехал на улицу Куйбышева, где размещалось Министерство культуры СССР.

Николай Александрович Михайлов ранее был комсомольским вожаком всей советской молодежи. А потом, очевидно в связи с тем, что он с годами подрос, его бросили на культуру. Далее его сменила на этом посту сама Фурцева. Сперва министр поздравил меня с успехом моей первой комедии и сказал, что у него для меня есть два замечательных творческих предложения — сюжеты для следующей постановки. Я был растроган вниманием и заботой столь высокого лица.

— Я депутат от Омской области, — сказал Михайлов. — Мне звонил секретарь обкома. Они хотят сделать музыкальную картину об Омском хоре. Вот здесь у меня сценарий Тряпичкина (клянусь чем угодно, фамилия подлинная). Вещь, по-моему, правильная. Почитайте и позвоните мне. Я обещал моим омским избирателям, что мы выполним их наказ и подарим им веселую картину.

И он протянул мне рукопись. Я ватными руками взял и промычал что-то невнятное, мол, уезжаю отдыхать, прочту обязательно, спасибо большое за внимание... но я не знаю...

— А теперь второй сюжет. Великолепный! — Михайлов говорил очень тихо, его было еле слышно, я напрягал изо всех сил свои молодые, тогда здоровые уши, чтобы уловить, о чем речь. Потом я заметил, что шепотом разговаривал с подчиненными не только он. Познакомившись некоторое время спустя и с другими начальниками, я отметил, что все они вещали на грани слышимости. Оказывается, это шло от сознания собственной значительности. Мол, нечего глотки драть, пусть тужатся и ловят указания. На то они и нижестоящие.

Второй сюжет заключался в следующем. Хрущев в то время как-то обмолвился, что образование должно быть с производственным уклоном, чтобы из школы выходили не белоручки, а молодежь, подкованная знанием каких-либо ремесел. А раз вождь сказал, значит, велела партия, значит, надо выполнять. И министр рассказал сюжет. Не знаю, сам ли он его сочинил или его

кто-то надоумил, но рассказывал Михайлов хоть и тихо, но с вдохновением:

— Представляете, в гостиницу районного центра приехала бригада студентов строительного техникума, чтобы отремонтировать сельскую школу. И одновременно в эту же гостиницу приехала футбольная команда из какого-то поселка играть матч в совхозе. Им подали автобусы, но перепутали. И футболистов привезли на строительство сельской школы, а студентов техникума — на совхозный стадион. И что же?! Футболисты замечательно отремонтировали школу, а студенты превосходно сыграли в футбол! — И Михайлов победоносно посмотрел на меня.

Я сидел ошарашенный, выпучив глаза... Потом я с тоской подумал, что первый день путевки пропал, ибо мы попадем в Малеевку только поздним вечером. И еще я подумал: Зоя была права, когда говорила, что не надо ходить к министру. Кстати, почему-то все мои три жены были в этих вопросах умнее меня. И не только в этих.

С тех пор я усвоил, что слова «министр» и, скажем, «светлая голова», или же «министр» и «умница», или же «министр» и «широкий кругозор», или же «министр» и «личность» совсем не синонимы. Они, эти слова, не находятся в близком родстве и даже просто в родстве. Каким грустным выгодам я пришел, познакомившись позднее еще с несколькими руководителями нашего кинематографа, редакторами газет, цеховскими начальниками и шефами телевидения. Опыт общения с огурцовыми освободил меня от наивности и остолопства...

\* \* \*

В течение, наверное, лет двадцати я каждое утро готовил себе на завтрак омлет из трех яиц. Помню, я готовил его на керосинке (это институтские годы), на электроплитке (это время работы на студии кинохроники), на газовой плите (это уже мосфильмовские времена). Навострился я в изготовлении омлета очень здорово. И главное — мне это блюдо никогда не надоедало. Во время долгой восьмимесячной экспедиции на Сахалин от омлета пришлось отказаться. На острове не было яиц — ни в магазинах, ни в ресторане при гостинице.

нице, где мы жили. Кроме меня, в нашей съемочной группе отыскался еще такой же фанат омлета — оператор Александр Кочетков. Прошло уже месяца четыре с начала экспедиции, а мы с Кочетковым не съели еще ни одного омлета. Порою мы разговаривали о том, как славно было бы полакомиться нашим любимым кушаньем. Но увы!.. И вдруг мы узнаем, что у сторожа на аэродроме водятся куры. Решение было принято моментально. В магазине купили две бутылки водки и отправились на розыски курятника. Нашли. Представились хозяину. Кинорежиссер и кинооператор. Профессии весьма экзотические для сторожа. Попросили, чтобы его жена приготовила нам омлет. А то душа изныла. Страсть как соскучились по этому блюду. Для убедительности поставили на стол бутылку водки. И сказали, что за яйца заплатим. Сторож осторожно спросил:

— Из скольких яиц?

Не моргнув глазом мы ответили дружным дуэтом:

— Из тридцати шести!

После небольшой паузы хозяин попросил жену исполнить желание гостей... Кино тогда пользовалось огромным авторитетом, не то что сейчас. Через короткое время на столе в огромной сковородке шипел и урчал омлет из трех дюжин яиц. Хозяин выпивал вместе с нами, но к омлету не притрагивался, закусывал чем-то другим. Не берусь описать наши чувства, которые мы испытали после долгой разлуки с омлетом. Нам было тогда по 26 лет, молодые, здоровые, с волчьим аппетитом. Потом нам доводилось есть всякое во всяких странах, но, боюсь, такого гастрономического счастья мы больше никогда не испытывали. Дружно чавкая, мы расправились с омлетом. Далее мы неуверенно сказали: «Большое спасибо!» — но из-за стола не встали. В комнате повисла пауза. Нам с Сашей не хотелось закругляться, хотелось продлить блаженство, но некую неловкость мы все-таки испытывали. Хозяйева тоже молчали. Наконец кто-то из нас — неважно кто — сказал нерешительно:

— А нельзя приготовить еще один небольшой омлетик...

А второй добавил:

— Это наша самая любимая еда... А мы не ели ее уже четыре месяца.

И тут на стол взметнулась вторая бутылка водки. Мы напомнили, что помимо водки хорошо заплатим за съеденные блюда из такого дефицитного на острове продукта.

— Из скольких яиц? — тускло спросил сторож.

Мы переглянулись. Хотелось назвать цифру побольше, но нагличать мы все-таки не посмели.

— Из восемнадцати, — скромно сказал кто-то из нас. Неважно кто.

Хозяин крякнул, сделал знак жене, и мы начали разливать вторую бутылку. Не стану скрывать, мы дружно подмели и вторую сковородку. Поблагодарили. Расплатились. И уехали. В результате на рыло вышло по 27 штук яиц. Если вдуматься, не так уж и много. За четыре месяца нормальной жизни мы бы их съели куда больше. Посчитайте. Ведь наши ежедневные утренние омлеты состояли у каждого из трех яиц...

\* \* \*

В январе 1957 года в нашу страну приехал Чжоу Эньлай, второй человек в Китае. Это была эпоха, когда «Сталин и Мао слушали нас!..» В честь китайского вождя в Кремле закатали огромный прием. И я впервые получил приглашение, впервые оказался среди тех, кто считался цветом нации. Не скрою, я был приятно взволнован. С туалетами скверно, идти на прием не в чем. Но голь на выдумки хитра — жена вырядилась в элегантный костюм, одолженный у подруги. Меня экипировали коллективно — как говорится, с миру по нитке, — мы в эту пору отдыхали в Малеевке. Так что я напоминал в смысле одежды «сына полка». В частности, помню — галстук на мне принадлежал превосходному художнику, потрясающему парню Давиду Дубинскому. Меня пригласили на кремлевское собрание, потому что я «попал в обойму». «Карнавальная ночь», которая только вышла на экран, была тогда у всех на устах...

Шествуя на кремлевский прием в потоке суперзнаменитостей, таких как Сергей Образцов и Александр Корнейчук, Ольга Лепешинская и Михаил Чиаурели, Ти-

хон Хренников и Юрий Завадский, Сергей Михалков и Роман Кармен, Эмиль Гилельс и Сергей Бондарчук, я чувствовал себя приобщенным к сливкам общества.

Мы с Зоей, приодетые с чужого плеча, тем не менее нарядами не выбивались. Мы стояли в толпе светил и чувствовали себя среди них чужими. Светила сбивались в кучки, непринужденно беседовали и явно чего-то ждали. Все были как бы на стреме. Мы с Зоей просто душно решили, что все напряжены в ожидании появления Чжоу Эньлая и Хрущева. Мы тоже включились в ожидание, тем более нас никто не знал, мы тоже ни с кем не были знакомы. К нам никто не подходил и не вступал ни в какие беседы. Мы тупо торчали, окруженные шикарным бомондом. Неожиданно проследовавший мимо кинорежиссер Григорий Александров поздоровался с нами — оказывается, он меня знал — и представил нас самому Булганину, который милостиво пожал нам руки. Я был очень польщен. Через два или три дня после банкета выяснилось, что Булганин уже снят с поста Председателя Совета Министров СССР. Кстати, с комедиографом Григорием Александровым я больше никогда в жизни не встречался и не разговаривал. Судьба нас больше не сводила.

Наконец по радио последовало приглашение гостям направиться в Георгиевский зал к накрытым столам. И тут я понял, чего ждала расфуфыренная массовка: она ждала сигнала. Народные артисты и Лауреаты, Классики литературы и балета, Корифеи живописи и оперы, Мастера кинематографа и музыкальные Маэстро — их было около тысячи человек — стремительно рванули к столам. Мы с Зоей не успели оглянуться, как остались одни-одинешеньки. А еще секунду назад в глазах рябило от прославленных лиц. Мы тоже двинулись в Георгиевский зал к столам, да где там. Мы все время упирались в декольтированные спины, в оголенные плечи, в дорогие пиджаки, в меха и в зады, зады мужские и женские. Толкаться и пропихиваться к угощению было неловко — все-таки закусывали люди, известные всей стране. То ли они заранее готовились к банкету и не ели в связи с этим несколько дней или же неизвестное тогда слово «халява» имело над сытыми,

обеспеченными людьми столь неодолимую силу? Во всяком случае, уже немолоденькие звезды проявили поистине спринтерскую прыть. Над Георгиевским залом плыл плотоядный гомон: стук тарелок, звон бокалов, лязганье жующих челюстей, нечленораздельные восклицания... Когда минут через тридцать нам все-таки удалось пробиться к столам, они представляли печальное зрелище: объедки, остатки, останки. Я даже не могу рассказать вам, дорогой читатель, о меню своего первого Кремлевского бала. Никакая фантазия не смогла бы восстановить того, чем полакомились первачи. Думаю, саранча позавидовала бы голодной оголтелости элиты...

Тогдашнее впечатление — оно было первое — оказалось сродни ожогу. Но и потом в разные времена, и отнюдь не только в нашей стране, я наблюдал точь-в-точь такую же картину: богатые и сытые бежали к бесплатной шамовке. И, к моему глубокому сожалению, порой и я, опытный и поднаторевший, оказывался в первых рядах тех, кто храбро штурмовал крабы и икру, семгу и салаты, заливное и жульены...

\* \* \*

Какой умник сообразил назначить Первый Ташкентский кинофестиваль стран Азии и Африки в середине августа 1958 года, не знаю. Помню, что, когда я вылез из самолета в ташкентском аэропорту, я понял: жизнь кончилась. Гостеприимные хозяева ввали, что температура в тени всего 42 градуса. Думаю, такова была температура местного холодильника. Вся наша делегация (И. Скобцева, В. Пронин, Г. Марьямов и другие), прилетевшая в качестве почетных гостей на праздник, стала напоминать рыб, вытщенных из воды. Кроме, пожалуй, Романа Кармена. В пробковом шлеме на голове, в белом френче и шортах, седой, поджарый, красивый, он напоминал нам английского не то плантатора, не то колонизатора и, единственный из всех нас, чувствовал себя превосходно. Нас дотащили до ЗИМов и повезли за город, где мы должны были разместиться в правительственных дачах. Там нас рассовали по шесть человек в комнате. Уборная, по счастью, находилась не на дворе, а в

конце коридора. О том, что такое кондиционер, в этой стране тогда еще не подозревали. Сказать, что я плохо переношу жару, — значит, ничего не сказать. Я ее не плохо переношу, а просто не переношу. Когда, истекая потом, я переползал из правительственного ЗИМа в правительственную дачу, то вдруг обнаружил шагах в пятидесяти от дома искусственный квадратный водоем, на берегу которого росло одно дерево, не то баобаб, не то саксаул. Решение созрело немедленно. Бросив сумку со шмотками на отведенную мне койку, я устремился в теплую мутную воду и занял место в тени единственного дерева. Так еще как-то можно было существовать. Вода была, мягко говоря, не очень чистая, но духота пугала меня больше. Через некоторое время гостей повели куда-то на трапезу. Меня, разумеется, тоже позвали, но я пренебрег приглашением. Знающие мой всегдашний аппетит люди могут не поверить. Однако я даже не колебался в выборе. По мере движения солнца тень от дерева перемещалась. Соответственно передвигался и я. Ближе к вечеру я услышал громкий голос неистового Пырьева, руководителя нашего Кинематографического союза. Голос призывал садиться в автобусы и отправляться на торжественное открытие Первого Ташкентского кинофестиваля. Я не шелохнулся. Вернее, я передвинулся на несколько сантиметров, чтобы остаться в тени пресловутого баобаба или саксаула. Из своего мокрого убежища я слышал, как заводились автобусные двигатели и как мощные машины отчаливали одна за другой, увозя в сторону Ташкента столичных гостей, — делегация была немаленькая. Вечерело. Тень от дерева стала очень длинной, но о том, чтобы выйти на сушу, не могло быть и речи. Прохладнее не становилось. Тропическая ночь опустилась на мой водоем. Теперь я освободился от тени дерева и почувствовал себя повольготней. Зажглись вечерние огни. Наконец вернулись автобусы после открытия кинофестиваля. Некоторые из гостей навещали меня, рассказывали о том, что было на празднике. После полуночи, когда температура упала градусов до 35, я рискнул покинуть спасительное убежище. Я добрался до комнаты, где, обливаясь потом, лежали на койках мои соседи. Никто не спал, кроме од-

ного человека — заместителя министра кинематографии Белорусской ССР (к сожалению, запомнил фамилию). Дело в том, что он, киночиновник храпел так, что ни о каком сне не могло быть и речи. Он храпел не только неправдоподобно громко. Издаваемые им звуки были как неповторимыми, так и неповторяющимися. Такого высокохудожественного, я бы сказал, гениального храпа никто из присутствующих никогда не слышал. Среди неспящих были знаменитые кинематографисты, а не только такая шушера, как я. Из других комнат послушать столь высокохудожественный уникальный храп приходили экскурсии. Короче, фестивальная жизнь была ключом...

Промаявшись часа два в потном забытии под грандиозные рулады нашего храпуна, я ушел обратно в свой водоем. Завтрак кто-то из сердобольных актрис принес мне в пруд. А когда кто-то из администраторов явился ко мне с визитом, я жалобно попросил:

— Купите мне билет обратно.

К моему удивлению, меня никто не журил, не уговаривал вылезти на свет, не обвинял в саботаже, не сулил всяких подачек. Мне просто-напросто купили обратный билет. И подали ЗИМ. И в конце второго дня моей ташкентской жизни вместе с режиссером Василием Прониным, у которого в Москве были дела, я улетел в столицу.

Так я и не побывал в городе Ташкенте, так я не посетил кинофестиваль стран Азии и Африки, так я беспардонно выбросил истраченные на меня государственные деньги. Зато я на всю жизнь сохранил в своей благодарной памяти ставший мне родным мутный водоем с не то баобабом, не то саксаулом на берегу...

\* \* \*

1995 г. ФЕВРАЛЬ. В Риге состоялась встреча со зрителями. Очень теплая. Но я бы не упомянул о ней, если бы не записка, которую я хочу процитировать дословно:

«Я хочу рассказать Вам уникально анекдотический случай. Моя приятельница, разуверившись во всем и вся, решила распрощаться с этой жизнью. Она купи-



ла бутылку коньяка и несколько пачек люминала. Будучи медиком, она хорошо знала безотказное действие этой смеси. Она сделала прическу, маникюр и облачилась в свое самое нарядное платье: потом она хотела быть такой же красивой, как до того. Делала она всё это не в состоянии аффекта, а совершенно спокойно и сознательно. Она села в кресло около телевизора и включила его. На экране Ширвиндт покупал в палатке бутылку шампанского. Шло начало «Иронии судьбы». Это было в 1978 году. Моя приятельница жива до сих пор. Она недавно купила кассету с этим фильмом и смотрит его, как она выражается, «по мере надобности»...

Думаю, эта записка была написана не о приятельнице, а о себе. Во всяком случае, получить такую записку очень, очень приятно...

\* \* \*

Как-то в очередной раз я залег в клинику лечебного питания, чтобы уменьшить себя в размере. В отделении сердечников лечилась интеллигентная, хорошо одетая дама. Пациентка была чуть постарше меня. Мы познакомились. Я выяснил, что ее специальность — стоматолог и, как добавила она, профессор. Дама заинтересовалась, чем занимаюсь я. Я поведал, мол, режиссер, ставлю кинокартины. Тогда я еще не работал на телевидении, не вел передач. И в лицо меня никто не знал.

Профессор-стоматолог полюбозыгтовала, ка-

После того, как фильм о солдате Иване Чонкине не состоялся, я купил щенка ризеншнауцера и назвал его Чонкин. По собачьим правилам его следовало называть на букву «И», но я вспомнил, что в книге Чонкина звали Иван Васильевич



кие фильмы я сделал. Я перечислил несколько лент. Среди них последней упомянул «Берегись автомобиля». И тут последовала рецензия, которую не забуду вовек:

— А... это тот фильм, где Смоктуновский играл еще со старым прикусом...

\* \* \*

На студии «Сафо Палатино» в Риме я делал сборку фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». В соседней комнате знаменитый Альберто Сорди занимался монтажом одной из своих первых режиссерских работ — «Мнимый больной» по Мольеру. Он же, разумеется, и играл в этой ленте главную роль. Мы познакомились с Альберто и порой беседовали о том о сём в коридорах студии. Наконец он закончил монтаж и пригласил меня на первый просмотр своей ленты. В студийный зал набилось человек сто. Такие просмотры у нас называются «для пап и мам». Первые зрители это, как правило, родные и друзья создателей фильма. Альберто пригласил и меня.

И вот началась картина. Кроме Сорди там играли и другие знаменитости — Стефания Сандрелли, Марина Влади и еще какие-то известные актёры. Фильм мне не понравился. Он был осовременен — по французским улицам восемнадцатого века бегали какие-то террористы и что-то возбужденно кричали. А герой чем-то болел, видно, чем-то желудочным. Ибо ему всё время доктора ставили клизмы, а потом показывали, как он восседал в сортире, чтобы зритель увидел и результаты этих лечебных процедур. Всё это было мало приятно. Я что-то уже понимал по-итальянски, но не все. Однако рядом со мной сидел переводчик, который переводил то, что мне было неизвестно. Таким образом я узнал, что слово «клизма» на итальянском языке называется «клизтире». По-моему, фильм был неудачей большого артиста и, когда он кончился, я, стараясь остаться незамеченным в толпе зрителей, стал пробираться к выходу. Лишь бы не встретиться с автором! Говорить неприятное не хотелось, но врать не хотелось еще больше.

Однако Сорди увидел мою спину и повелел ассистентке, чтобы меня вернули. Как же! Я был ино-



странец и почетный, приглашенный им лично гость. И я обескураженный — что сказать автору? — предстал перед глазами маэстро. Секунду помолчав, я нашелся: изобразил на своем лице восхищение, а потом брякнул по-итальянски: — «CaRo Alberto! Vostro film e come sempre grande clistire per tutti!». Лицо Сорди на мгновенье окаменело. Он явно пытался понять, что я имею в виду. Ибо в переводе моя реплика означала: — «Дорогой Альберто! Ваш фильм, как всегда, огромная клизма для всех!» И, пожав создателю руку, я, как солист ансамбля «Березка», не оглядываясь засеменил к выходу.

Надеюсь, он расценил мои слова как комплимент!

\* \* \*

Среди моих друзей был один, который отличался от других экзотической для нашего круга профессией. В годы войны пилот истребителя, совершивший немало боевых вылетов. В послевоенные годы — прославленный испытатель новых реактивных самолетов. Получил звание «Заслуженный летчик-испытатель». За военные подвиги и успешные испытания в небе удостоен высшей награды — звания «Герой Советского Союза». Защитил докторскую диссертацию и стал доктором технических наук. С 1960 года работал инструктором первых космонавтов Ю. Гагарина и Г. Титова. Консультант великого конструктора С.П. Королева по вопросам деятельности человека как пилота космического корабля. Но была у этой многогранной личности еще одна профессия, которой он владел так же блистательно, как и всеми своими авиационными специальностями. Он писал книги, художественно-документальные повести. Короче, полковник был еще и прекрасным писателем. Это Марк Галлай. Его повести «Через невидимые барьеры», «Испытано в небе», «Первый бой мы выиграли», «С человеком на борту» справедливо считаются жемчужинами нашей литературной документалистики. В книгах Галлая — история становления нашей авиации и космонавтики в лицах и событиях, талантливо



рассказанная правдивым, неподкупным очевидцем и активным участником.

Автор гордится своими отважными коллегами-летчиками, умными и одаренными конструкторами, первопроходцами-космонавтами, умелыми инженерами и техниками. Но книги Марка Галлая, излучающие любовь к стране, к замечательным героям-авиаторам, почему-то встречали бешеное сопротивление цензоров всех мастей и рангов. Степень правды в новеллах Марка Лазаревича была тогда непривычна. Трудности не смягчались, противоречия не скрывались, не затушевывались трусость, перестраховка и лицемерие чиновников от авиации и вообще. Честно признавались жертвы, что не было принято ни тогда, ни сейчас. Но от этого ведь еще больше возвеличивалось личное и гражданское мужество людей,двигающих авиацию вперед. Однако слепая цензура этой истины не понимала. И лишь благодаря бесстрашию Александра Твардовского, редактора тогдашнего «Нового мира», повести Марка Галлая смогли пробиться к читателям, наряду с сочинениями Солженицына, Тендрякова, Бакланова, Дудинцева.

Кстати, о себе Галлай в своих произведениях рассказывал очень скупое, всё больше о своих коллегах. Все похвалы, все восхищение доставались его друзьям. И в жизни Марк был скромнее. Ходил он в обычном гражданском костюме, и внешностью, манерами напоминал скорее школьного учителя ботаники, нежели легендарного аса. У него было изумительное чувство юмора. И, конечно, самоиронии. Вот как, к примеру, он писал о себе, когда был назначен «инструктором-методистом» к первым космонавтам:

«...я думаю, в обширной истории всех и всяческих инструктажей это был первый случай, когда инструктирующий сам предварительно не испробовал, так сказать, на собственной шкуре того, чему силой обстоятельств оказался вынужден учить других».

Сам он не выносил лихачить, не любил игры с огнем, надежды на русский «авось». Помню, как он мне давал уроки осторожной езды, когда я, начинающий водитель, вез его в своей машине по зимнему, ледяному шоссе. Естественно, я хотел продемонстрировать про-

славленному пилоту, что тоже не лыком шит. Но он быстро поставил меня на место. Я наткнулся на вежливый, но твердый и, главное, разумный отпор. И при этом получил ряд ценных шоферских советов, которым следую и по сей день.

Между тем личная доблесть Марка была общеизвестна. Летом 1941 года во время первого немецкого авианалета на столицу именно Галлай, молоденький летчик, сбил в небе Москвы фашистский бомбардировщик. А ведь это была первая встреча с неведомым и грозным противником. Вообще, вся жизнь Марка была постижением неведомого. Сколько смертельных ситуаций преодолел он во время испытаний новых летательных аппаратов, когда было неясно, что может «выкинуть» незнакомый самолет. Но тут отсылаю читателя к книгам самого Галлая, ибо не хочу лишать удовольствия от встречи с восхитительным автором...

Мы познакомились с Марком в январе 1957 года в Малеевке, в писательском Доме творчества. Сразу же подружились, хотя он был порядком старше меня, и дружили более сорока лет. Он всегда вызывал во мне чувство восхищения. И своими делами, и тем, что в нем напрочь отсутствовала бравада. Цельность, чистота, ясность мышления, доброжелательность и чувство собственного достоинства покоряли всех, кто имел счастье с ним соприкоснуться. Я горжусь тем, что когда Марк надумал жениться, то среди всех своих друзей выбрал свидетелем со стороны жениха именно меня. Невестой была очаровательная Ксения Вячеславовна. Я помню, как у ЗАГСа бестактно заорал ему:

— А, Марк! Попался!

И мы отправились вовнутрь свадебного учреждения надевать на Марка брачный хомут. Марк был очень счастлив в браке. Ксения украсила жизнь моего дивного друга, и я ей невероятно признателен.

Я бывал на юбилеях Марка, присутствовал вместе с ним на каких-то торжественных мероприятиях, но никогда не видел его в военной форме, при регалиях и орденах. И лишь один раз за сорок лет дружбы я наблюдал его в нарядном мундире со всем иконостасом наград, включая звезду Героя.

Расскажу, что же заставило Марка так «вырядиться».

В ту пору я лежал в институте травматологии. Наш сосед по даче, знаменитый Александр Твардовский, тогда тоже захворал и отбывал срок в Кремлевской больнице. В один из августовских дней 1969 года моя жена Зоя и Мария Илларионовна Твардовская поехали вместе с дачи в нашей машине проведать больных мужей. Зоя была за рулем. Случилась авария. Увертываясь от чересчур агрессивного троллейбуса, Зоя резко рванула руль. Удара, столкновения избежать удалось, но наша «Волга» сделала двойное сальто, дважды перевернувшись через крышу. Естественно, что и шоферка, и пассажирка кувыркались одновременно с автомобилем. Результат: «Волга» — всмятку. Обе женщины, по счастью, чудом остались живы и даже не покалечились, если не считать ссадин и ушибов. Оглушенные, испытавшие чудовищное потрясение, обе жены все-таки собрались с силами и поехали по своим маршрутам навещать мужей. И ни Зоя, ни Мария Илларионовна не обмолвились своим благоверным о случившемся, о том, что они только что пережили и перенесли. Вот уж, действительно, «есть женщины в русских селеньях»...

Вину за аварию повесили на Зою, хотя на самом деле виновным являлся водитель троллейбуса. Требовалось переубедить противную сторону, а именно руководителей троллейбусного парка. Я этим заняться



не мог: ввиду операции мениска передвигаться был не в состоянии. И тогда Марк, узнав о происшедшем, отправился на помощь. Дело-то было чистым и справедливым. А за другое Марк, невзирая на дружбу, никогда бы и не взялся. Для пущей убедительности он нацепил на себя все свои регалии, а их было ой как немало. После визита в троллейбусное депо, где Марк одержал победу, он заявился ко мне в клинику, и я впервые увидел своего друга во всем великолепии. Он был несказанно хорош в погонах и в сиянии всех заслуженных им наград.

Именно Марк выступил в мою защиту на страницах журнала «Вопросы литературы», когда некий В. Бушин накатал гнусный пасквиль, в коем облил меня помоями с ног до головы. Я не стал читать эту клевету, но очень гордился тем, что еще до расправы со мной этот наветчик поступил так же с Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой и Беллой Ахмадулиной (признаюсь, компания меня устраивала).

Именно Галлай дал отпор критику В. Кардину, который злобно и предвзято лягал меня за фильм «Вокзал для двоих». Именно Марк Лазаревич на высоком совещании вступился за меня перед министром обороны Д. Язовым, будущим гэкачепистом, когда он спустил на меня свору послушных ему вояк. Марк был настоящим верным другом. И потом, ему вообще было свойственно обостренное чувство справедливости, не только в делах личных, но и в общественных, гражданских. От него я впервые услышал фразу, которую запомнил навсегда: «Проявить мужество в бою порою легче, нежели в мирное время, ибо в сражении можно обойтись одним отважным порывом, а в общественной жизни отвагу надо проявлять каждый день».

Вот уж кто был истинной «честью и совестью нашей эпохи».

Его не стало 14 июля 1998 года.

Полковник в отставке Марк Галлай похоронен на Троекуровском кладбище. Его проводили в последний путь как солдата, как героя, отдавая ему воинские почести. Да он и был настоящим героем...

\* \* \*

Америка. Поездка с выступлениями по так называемой «русской улице», то есть встречи с нашими бывшими соотечественниками. Кинотеатр в Нью-Джерси полон. Кстати, аншлаги, что приятно, были везде. Я болен. Высокая температура, но отменить выступление нельзя. Простуда села на связки, поэтому голоса нет. На сцене что-то шепчу в микрофон, источая сопли, слюни и прочие миазмы. Удивляюсь, что слушают очень внимательно вместо того, чтобы шикать. Вдруг в середине вечера получаю из зала записку на клочке газеты. В стихах:

Хоть вы кашляете и сморкаетесь,  
вытираете пальцами нос —  
все равно вы нам всем очень нравитесь,  
все равно мы вас любим до слез...

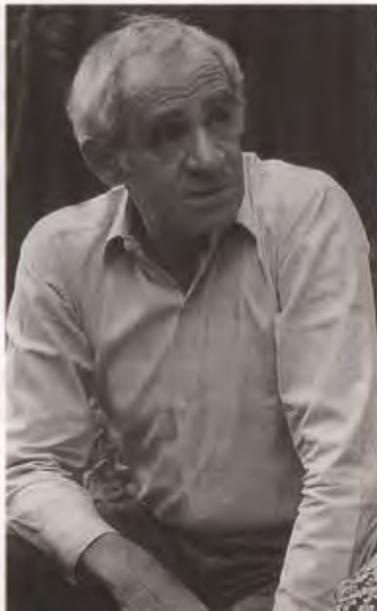
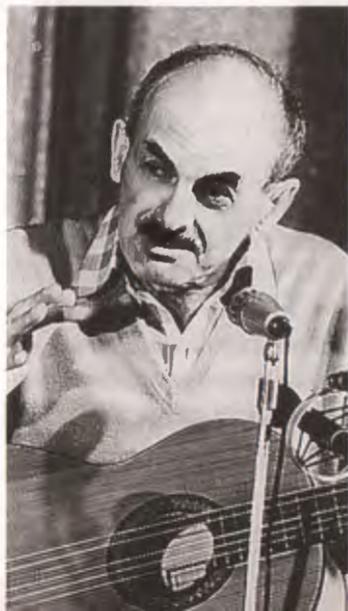
Я был невероятно растроган, хотя, может быть, это была просто-напросто психологическая поддержка... Но зато какая!

\* \* \*

Весть о смерти Булата застала нас в Потсдаме, на кинофестивале. Через три дня мы были в Москве...

Недалеко от входа на Ваганьковское кладбище мокла под дождем московская элита, от Юрия Любимова до Егора Гайдара, в ожидании, когда гроб привезут с отпевания. Похоронная процессия шла к могиле по дороге, с двух сторон усыпанной цветами...

Булат Окуджава,  
Зиновий Гердт



У Булата был тихий голос, но этот голос слышали все. У него была весьма скромная внешность, но его лицо, его фигура стояли у всех перед глазами. Он никогда не пытался привлечь к себе внимания, словом, жил «без самозванства». Но при этом всегда оставался в центре народного интереса, в гуще читательского внимания. Булат оказал огромное благотворное влияние на наше поколение и на тех, кто идет следом. Он был одним из духовных наставников нации.

Несколько раз мне доводилось вести его творческие вечера, его встречи с публикой. Меня каждый раз поражало, что он нисколько не заигрывал с аудиторией, даже не был с ней любезен, как бы застегнут на все пуговицы. Но, несмотря на это, из зала катилась огромная волна любви и обожания. Отвечая на записки, он был краток, даже сух, но говорил всегда главное, суть. Во время пения, случалось, Булат забывал строчку, спотыкался, останавливался, и тотчас из зала неслись подсказки, народ знал его песни наизусть.

Он ни перед кем не заискивал, не лебезил, не угождал. Он никогда не ронял чувства собственного достоинства. Булат прожил прекрасную жизнь. Он хотел поведать людям о чем-то своем, сокровенном. Его слышали и поняли. Люди платили ему за его честный талант признательностью и любовью. И в том, что среди нас порой встречаются человеческие экземпляры, достойные, великодушные, порядочные, — несомненная заслуга Булата. Без него их было бы куда меньше. Для многих он являлся мерилom нравственности.

Я счастлив, что Булат дарил мне свое дружеское расположение...

\* \* \*

Зямячка, Зяма, Зиновий Ефимович. Одним словом — Гердт. Мы подружились году эдак в 1967, когда они с Таней купили дачу на Пахре и мы стали соседствовать.

Я Зяме очень обязан тем, что он открыл мне Бориса Пастернака, приобщил меня к его стихам. Вообще, стихи были, пожалуй, одной из главных точек нашего соприкосновения. Мы даже сочиняли вместе всякие дурацкие вирши, в основном для юбилеев наших

замечательных, любимых нами деятелей искусства. Все-ръем мы с ним этим никогда не занимались. Помню, во время «Пражской весны» летом 1968 года мы гуляли по пахринским аллеям и валяли дурака:

Епишев и Гречко  
вышли на крылечко,  
завели гуманный разговор:  
мол, что это за субчик  
Александр Дубчек?..

И что-то дальше в этом же роде... Нам казалось тогда, что чехам удастся выскочить из соцлагеря. Но когда наши танки обрушились на Чехословакию, мы смолкли. Стало не до шуток. Было горько и стыдно осознавать свою принадлежность к стране палачей...

В 1969 году мы оба бросили курить, поддерживали друг друга в этом, но Зяма оказался слабаком, а я удержался и держусь до сих пор.

Потом был семидесятилетний юбилей Михаила Ильича Ромма. Ромм олицетворял для нас совесть кинематографа. Мы решили сочинить для него куплеты. Но не панегирические, а как бы, наоборот, разоблачительные. Назывались они «куплеты завистников». В этих незатейливых стишках мы как бы разоблачали Ромма, выводили его на чистую воду. Исполнялись они на расхожий мотив, что поют нищие в электричках. Мы вышли на сцену Дома кино втроем, аккомпанировал нам Петя Тодоровский, необыкновенный музыкант-самоподок. Вообще-то профессия его — кинорежиссер. Наше выступление не прошло незамеченным. И когда Юре Никулину стукнул полтинник, мы с Зямой взгромоздились на сцену ЦДРИ с куплетами в честь великого клоуна. Правда, стихотворный размер и мелодия были теми же, что и для Ромма. И даже некоторые строфы, имевшие, так сказать, обобщающий характер тоже переходили неизменными. Вот, например, как осуждались организаторы очередного юбилея, что, мол, уст-раивают его слишком рано:

Когда юбиляр уже дергает глазом  
и в спазмах настал апогей,

когда налицо полноценный маразм,  
тогда и давай юбилей.

Вот один из куплетов о Никулине:

Когда он вернулся с войны переростком,  
в искусство пытаясь пролезть,  
театры Москвы защитили подмостки,  
за что и хвала им, и честь...

А когда пришел юбилей Зямы — 70 лет, мы с Петей Тодоровским сочиняли куплеты, естественно, без юбиляра, и среди многих частушек спели на сцене Дома кино и такую:

Войну на себя он работать заставил,  
как пользу извлек он хитро:  
нарочно он ногу под пулю подставил,  
чтоб ездить бесплатно в метро.

У Зямы и Тани был открытый дом. В новогодние праздники десятки людей чередовались за накрытыми столами, и среди них были не только знакомые. Однажды за новогодним столом около трех часов ночи один из гостей обратился к Тане:

— Простите, а вы кто будете?

— Я вообще-то хозяйка, — ответила Таня. —

А вы кто?..

Была у нас с Зямой ужасная размолвка, когда мы несколько лет не общались. Не хочу об этом писать — Зямы нет. Скажу одно, мы оба горько страдали от этого. И все же мы нашли в себе силы распутать сложный узел, оказались мужчинами в трудной ситуации. Наша дружба в последние годы стала особенно нежной и крепкой. Помню, как он, известнейший, любимейший актер, фронтовик, мечтал о маленьком автомобильчике с автоматической коробкой передач. У него не сгибалась нога, и водить такую машину ему было бы значительно легче. Когда он был смертельно болен, угасал, удалось отхлопотать ему машину с такой коробкой скоростей. Он мечтал выздороветь и поездить на ней. Однажды, после того как я навестил его и собрался уходить, Таня сказала:

— Ну, что ты стоишь? Иди, открой гараж и отвези Элика домой.



Таня в мучительные месяцы его страданий вела себя потрясающе. Она знала, что болезнь неизлечима, что дни Зямы сочтены, но она не делала из него больного. Хочешь курить — кури, хочешь выпить рюмку — выпей, она его не ограничивала в том, что было как бы вредно. Но что могло быть вредным для человека, чья жизнь кончалась? Зяма открыл гараж, вывел маленький «опель», я сел к нему, и он отвез меня к дому, до которого было 300 метров. Потом развернулся и уехал обратно. Я долго смотрел ему вслед. Когда шла телевизионная передача, его последняя большая беседа на телевидении (ее показали в день его 80-летия, 21-го сентября, но он не увидел ее ни тогда, ни потом), я его спросил:

— Зяма, а что бы ты хотел такого, чтобы еще исполнилось в твоей жизни?

Он ответил, как ребенок:

— Знаешь, я хотел бы пожить еще немного, чтобы можно было бы поездить на этом чудесном автомобиле с автоматической коробкой скоростей. Это волшебно, он стоит на горке, а я не нажимаю на тормоз...

У меня сдавило горло:

— Ты обязательно поеддишь, Зяма, обязательно.

Я не врал тогда во спасение, я верил, что чудо еще возможно...

Но чуда не свершилось...

## Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ .....	1
КАК Я СТАЛ РЕЖИССЕРОМ	
Как я стал режиссером .....	13
Память об Эмиле .....	63
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ	
Берегись автомобиля. <i>Повесть</i> .....	91
ГАРАЖ	
Гараж. <i>Сатирическая комедия</i> <i>в 2-х действиях</i> .....	201
ИРОНИЯ СУДЬБЫ	
Ирония судьбы, или С легким паром! .....	269
Никто не хотел выдвигать, или Послесловие к «Иронии судьбы» .....	355
ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ. СТИХИ	
Стихотворец-дебютант .....	377
Стихи .....	383
ПРЕДСКАЗАНИЕ	
Предсказание. <i>Повесть</i> .....	447
Послесловие к повести и фильму «Предсказание» .....	614
МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ, МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ .....	625
РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ .....	645

# Э Р ЛЬДАР ЯЗАНОВ

## ЧЕМ ЖИВУ И ЖИВ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Ответственный редактор

А.Корина

Художественный редактор

А.Новиков

Компьютерная графика

И.Новикова

Технический редактор

В.Бардышева

Компьютерная верстка

О.Шувалова

Корректор

О.Благова

Подписано в печать 10.10.2007.

Формат 60х90 1/16.

Гарнитуры шрифта

«Charter»

Автор кириллической версии

В.Ефимов

ITC FranklinGothic

Авторы кириллической версии

И.Слуцкер, Татьяна Лыскова

Печать офсетная.

Бумага тип. Усл. печ. л. 43,0.

Тираж 4000 экз. Заказ № 4702493

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.

Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»

603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875





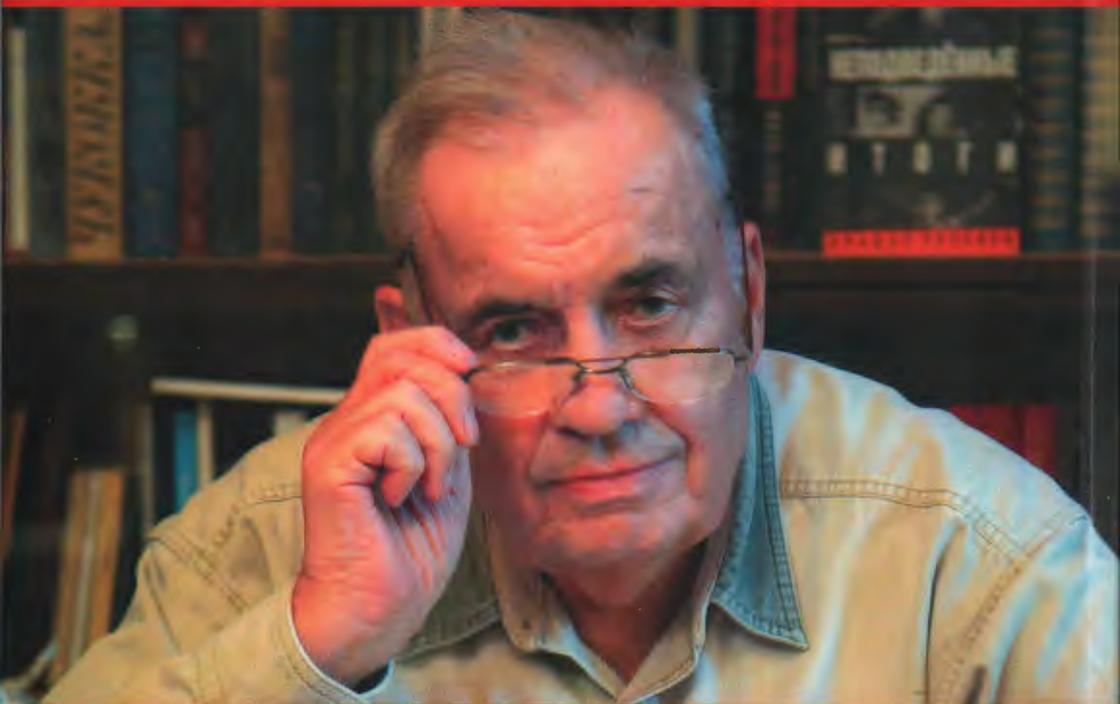
[WWW.EKMOB.RU](http://WWW.EKMOB.RU)

**00219931**



96 36

Пытаться ограничить профессиональными рамками деятельность автора этой книги — занятие бесполезное. Эльдар Рязанов — ЯВЛЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ, настолько уникальное и яркое, что мы уже и не задумываемся над тем, кто же он в первую очередь.



Известный режиссер, чьи фильмы, как теперь принято говорить, культовые, мы смотрим по многу раз, а без «Иронии судьбы» вот уже тридцать с лишним лет не мыслим Нового года? Поэт, провозгласивший, что у природы нет плохой погоды, и написавший отнюдь не «жестокий», а, напротив, сентиментальный романс? Ведущий некогда знаменитой «Кинопанорамы»? Автор и ведущий незабываемых «Парижских тайн» на ТВ?

Всего не перечислить. И то, и другое, и третье... А главное — это Человек, которому можно доверять, с чьим мнением мы считаемся и которого просто очень любим.

Книга «Чем живу и жив» рассказывает о начале — о том, как пишущий стихи и мечтавший о мореходке романтический юноша вдруг подался во ВГИК и, более того, — начал снимать комедии. О том, как они создавались, что происходило «за кулисами». И сами повести, послужившие основой фильмов, реплики из которых давно и прочно вошли в нашу жизнь и стали «народными» пословицами и поговорками.

ISBN 978-5-699-24337-2



9 785699 243372 >